



**Ф.Н.ПЛЕВАКО**

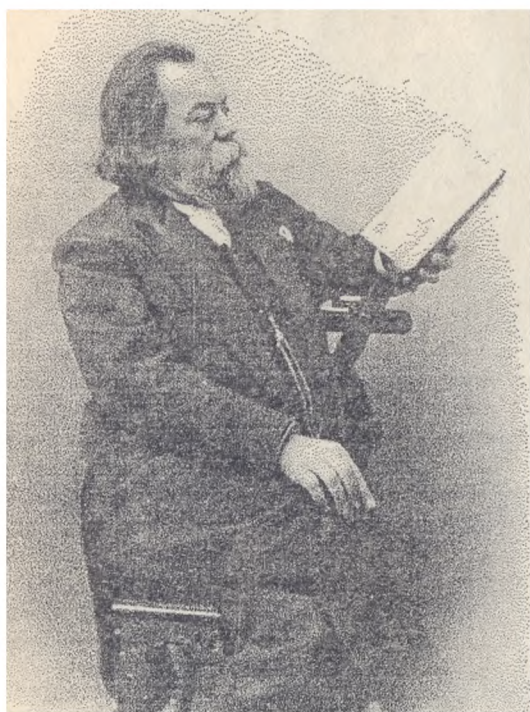
---

*Избранные  
речи*











**Ф.Н.ПЛЕВАКО**

---

*Избранные  
речи*

*Москва  
«Юридическая литература»  
1993*



Составитель сборника  
*Р. А. Маркович*

Ответственный редактор  
*Г. М. Резник, канд. юрид. наук*

**Плевако Ф. Н.**

**П 38** Избранные речи. — М.: Юрид. лит., 1993. — 544 с.  
ISBN 5-7260-0560-0

Издание сборника речей известного русского юриста Ф. Н. Плевако вызвано не только неиссякаемым интересом читателей к истокам и истории русского судебного красноречия, но и активной правотворческой деятельностью нашего государства.

Роль адвокатов в судебной деятельности определяет необходимость возвращения к культурному наследию и использованию достижений русского судебного красноречия для совершенствования современного ораторского искусства вообще и судебного в частности.

В сборник включены речи, в основном ранее не публиковавшиеся или публиковавшиеся настолько давно, что стали библиографической редкостью.

Для широкого круга читателей.

П  $\frac{1203010000-015}{012(01)-93}$  КБ-13-2-93

67.3

ISBN 5-7260-0560-0

© Издательство «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, 1993

## РЫЦАРЬ ПРАВОСУДИЯ

20 ноября 1864 г. изданы Судебные Уставы императора Александра II. В том же, 1864, году двумя месяцами раньше юридический факультет Московского университета окончил выходец из небогатой чиновничьей семьи Федор Плевако.

Через много лет прославленный русский адвокат Федор Никифорович Плевако в одну из годовщин издания Судебных Уставов скажет: «Уставы созданы не для карьеры судей и прокуроров, не для довольства и роскоши адвокатов; они — для водворения правды на Руси».

Судебная реформа 1864 года коренным образом преобразила всю систему правосудия Российской империи. Уставы ввели принцип независимости и несменяемости судей; установили подсудность всего населения без каких-либо изъятий; отделили предварительное следствие как от полицейского сыска, так и от прокуратуры; обеспечили состязательность судебного процесса, полностью уравнив в правах стороны обвинения и защиты. Сердцевину реформы составили учреждение суда присяжных и создание свободной, отделенной от государства адвокатуры.

Россия — полуфеодальная страна с глубоко въевшимися во все поры общества крепостническими отношениями, с режимом неограниченной абсолютистской власти, страна, лишённая парламента и Конституции, — неожиданно получает самую демократическую, самую прогрессивную форму организации судебной власти. И в новом суде, перед самостоятельно решающими судьбу обвиняемых народными представителями, сразу же зазвучали голоса российских адвокатов.

Их судебные речи воспринимались как чудо: со времени закрытия псковского веча в XVI веке во всей России на три



столетия утвердился безгласный, письменный процесс, обходившийся без публичного состязания сторон обвинения и защиты.

«Откуда явилось столько талантливых, знающих и честных людей, сразу сумевших освоиться с новыми, неизвестными формами судопроизводства, возвыситься судебное дело и судейское звание»<sup>1</sup>, — изумлялся историк русского права.

Спасович и Арсеньев, Александров и Андреевский, Урусов и Карабчевский, Герард и Боровиковский, Пассовер и Гаевский, — среди плеяды блистательных судебных ораторов, рожденных Великими реформами, Плевако занял особое место. Его имени еще при жизни суждено было стать нарицательным для обозначения судебного красноречия, он приобрел необычайную популярность во всех слоях русского общества, став в Москве, по его собственному шутиливому сравнению, такой же достопримечательностью, как «Царь-пушка» или «Царь-колокол».

Популярность, известность, слава... Далеко не всегда венчают они самых достойных. Популярность оратору может принести заигрывание с массами, умелое разжигание страстей и предрассудков. Известность адвокату — участие в «громких» процессах. У славы может быть дурной, скандальный привкус.

Напоминаю о прихотливости успеха вот почему. С именем Плевако связано множество легенд, оно обросло разного рода невероятными историями и анекдотами, сводящимися к тому, как умело одурачивал адвокат в судебных процессах тупых судей и доверчивых присяжных. В определенной мере формированию образа профессионального Насреддина способствовали некоторые коллеги-юристы и биографы Плевако.

Авторы ряда жизнеописаний и воспоминаний отмечают, что Плевако «не был выдающимся юристом»<sup>2</sup>, что он «мало читал»<sup>3</sup>, поверхностно готовился к выступлениям, был нередко поспешен в суждениях, приспособлялся к потребностям данного момента<sup>4</sup>. По утверждению известного русского адвоката В. Маклакова, Плевако так и не уда-

---

<sup>1</sup> Джанишев Г. А. Эпоха великих реформ. СПб., 1907. С. 426.

<sup>2</sup> См.: Утевский Б. С. Воспоминания юриста. М., 1989. С. 158.

<sup>3</sup> Там же. С. 162.

<sup>4</sup> См.: Тимофеев А. Г. Судебное красноречие в России: Критические очерки. СПб., 1900. С. 152.

лось развить имевшиеся у него задатки несравненного стилиста<sup>1</sup>. Приплюсуем к этим недостаткам упоминаемый А. Ф. Кони идущий вразрез с призыванием оратора «пришептывающий голос»<sup>2</sup>.

Поневоле начнешь думать, что единодушно отмечаемое всеми завораживающее, магическое воздействие речей Плевако и на судей, и на адвокатов, и на публику, та власть, какую приобретал оратор над аудиторией, объясняется главным образом неким гипнотическим даром вызывать у слушателей приступы «показательственного дальтонизма».

«Он был мастером красивых образов, — вспоминает Б. С. Утевский, — каскадов громких фраз, ловких адвокатских трюков, остроумных выходов, неожиданно приходивших ему в голову и нередко спасавших клиентов от грозившей кары». И продолжает: «Примером этого была защита Плевако владелицы небольшой лавчонки, полутрамотной женщины, нарушившей правила о часах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника — Плевако. Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут через 10 Плевако, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только пять минут одиннадцатого. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил председателя:

— А сколько на ваших часах, Ваше превосходительство?

Председатель посмотрел и ответил:

— На моих 15 минут одиннадцатого.

Плевако обратился к прокурору:

— А на ваших часах, господин прокурор?

Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил:

— На моих часах уже 25 минут одиннадцатого.

Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как сильно он, прокурор, помог защите.

Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидете-

---

<sup>1</sup> См.: Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 159.

<sup>2</sup> См.: Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1980. С. 434.

ли подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил:

— Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у нас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах — 20 минут, у господина председателя — 15 минут, а на часах господина прокурора — 25. Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал. А я всегда считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские. Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором?

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую.

Такие трюки действовали не только на присяжных заседателей, но и на судей»<sup>1</sup>.

Остроумному приему, примененному Плевако для опровержения обвинения, действительно стоит поаплодировать. Но это отнюдь не трюк, превративший черное в белое, истинное в ложное. Эффектная форма защиты ярко высветила недоказанность обвинительного тезиса: преступными уголовный закон признавал лишь умышленные, а не неосторожные нарушения правил торговли. Умысел подсудимой прокурором как раз не был доказан, что убедительно продемонстрировал в своей речи адвокат.

Точно так же следует расценить защитительную речь по другому уголовному делу, часто приводящуюся как пример воздействия Плевако на присяжных, оправдывающих людей, вина которых установлена.

Старушка украла жестяной чайник стоимостью менее 50 коп. Она как потомственная почетная гражданка была предана суду присяжных. Прокурор решил обезоружить адвоката и сам высказал все, что можно было сказать в защиту подсудимой: бедная старушка, горькая нужда, кража не-

---

<sup>1</sup> Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 159—161.

значительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна, все гражданское благоустройство держится на собственности, и, если позволить людям посягать на нее, страна погибнет.

Поднялся защитник Плевако. Он сказал: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Дванадцать языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет, безвозвратно. И суд оправдал старушку»<sup>1</sup>.

Находчивость адвоката восхищает. Но за язвительной иронией Плевако нужно видеть правовую суть его полемики с обвинителем. Неотъемлемое свойство преступления — общественная опасность. Если деяние формально подпадает под норму уголовного закона, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности, оно в преступлении не является. Адвокат блестяще парировал попытку прокурора внушить присяжным, что кража старушкой старого чайника обладает общественной опасностью.

Остроумие, находчивость, способность мгновенно отреагировать на реплику противника, ошеломить аудиторию каскадом неожиданных образов и сравнений, к месту проявленный сарказм — все эти качества действительно с избытком и блеском демонстрировал Плевако. Безусловно, они способствовали росту славы адвоката — на Руси всегда ценились красное словцо и сметливость.

Но главное в другом. И читатель, уверен, поймет в чем, прочитав речи Плевако, вошедшие в настоящий сборник. Это речи высочайшего класса юриста-профессионала, глубокого психолога, проникающего в сокровенные тайники человеческой души, знатока общественных нравов и быта разных социальных слоев. В них звучат преданность идеям свободы и права гражданина-демократа, гордость и боль истинного патриота России, любовь и страдание христианина и гуманиста.

И не только поймет, но, надеюсь, ощутит, как когда-то А. Ф. Кони, что лучшие из речей Плевако «блистают не фей-

---

<sup>1</sup> Вересаев В. В. Соч. Т. 4. М., 1961. С. 357.

ерверком остроумия, а трещат и пылают, как разгоревшийся костер»<sup>1</sup>.

Разгадка славы Плевако проста: он был обыкновенный гений. Гений судебного красноречия, гений судебной защиты. Гениальность всегда несет в себе загадку, до конца проверить алгеброй ее гармонию нельзя.

Вот молодой адвокат Плевако выступает в качестве поверенного гражданского истца на шумевшем процессе игуменьи Митрофании-святоши, посвятившей себя преступному промыслу — подделке ценных бумаг. Русский язык богат: можно выбрать сильные и точные слова, чтобы заклеить преступление. Но сказано было так: «...Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома божьего, — а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела!

Вместо храма — биржа; вместо молящегося люда — аферисты и скупщики поддельных документов; вместо молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов; вместо подвигов добра — приготовление к ложным показаниям, — вот что скрывалось за стенами...

Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители»<sup>2</sup>.

А вот на скамье подсудимых состав правления Харьковского Общества Взаимного Кредита, обвиняемого в халатном исполнении служебных обязанностей. Вновь Плевако — поверенный гражданского истца. Нет в его словах благородного гнева и негодования, клопочущих в речи по делу Митрофании. Но сколь убийственна его мягкая, «понимающая» ирония.

«Что же делали члены правления?

Они дремали в часы бодрствования и труда. Кажется, они приходили в банк не для того, чтобы трудиться и трудом купить себе право на домашний отдых, а, уставши от домашнего труда, приходили отдыхать в уютные комнаты правления! Они ленились изучать дело...; они, наконец, не умели следить за делом!

---

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1980. С. 436.

<sup>2</sup> Речи известных русских юристов. М., 1985. С. 352.

Лень, и сон, и простота — эти прекрасные качества, которыми наделяет судьба некоторых из своих избранных, — конечно, не проступок, и всякий может в своей личной жизни пользоваться сколько угодно своими дарами; но когда лень берется за общественный труд и портит его, когда сон берется стеречь стражу, когда простота хватается за решение серьезных общественных дел, — они делаются преступными».

По делу о массовых беспорядках на Коншинской мануфактуре Плевако произносил заключительное слово солидарной защиты нескольких десятков привлеченных к суду рабочих. Шел 1897 год. Социальные психологи только приступили к научному изучению группового поведения. С тех пор проблема массовых движений — в центре неослабного внимания социальных последователей. Многие сотни работ посвящены осмыслению психологии революций, погромов и бунтов. Но вряд ли кому-либо удавалось всего в нескольких фразах с такой силой и образностью схватить суть феномена толпы, соотношения личности и массы.

«Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм Богу и тюрьма — жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колени, от второй бежите с ужасом.

Но разрушите тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отгалкивающих черт их прошлого назначения...

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие — воздействие силой, пока она не рассеется...

Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать, или спешит встретить святыню народного почитания.

Так живое страшилище, с п а с а я, внушит страх, когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.

Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов...

Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных».

И тут же из этой поразительной по глубине и образно-

сти обобщающей характеристики следует неотразимый аргумент защиты — несправедливость затеянного властями судебного процесса становится пронзительно ясна всем:

— «Есть у настоящего дела громадный недочет, — люди жизни его понимают.

Совершено деяние незаконное и нетерпимое, — преступником была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.

Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая: ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи и обвинители.

Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпою, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйство и движения массы, — приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа, — ушла.

Подумайте над этим явлением».

По делу севских крестьян, усаженных на скамью подсудимых также по обвинению в массовых беспорядках, прокурор В. И. Сокальский оказался на высоте тех требований, какие предъявляет к государственному обвинителю закон, стал в процессе настоящим говорящим судьей.

Севские беспорядки, в его глазах, «лишь отдельный эпизод картины, заставляющей страдать всякое сердце, любящее свою родину», и естественный результат той культурной и экономической беспомощности, на которую до последнего времени было осуждено крестьянство. Настаивая на необходимости снисходительного отношения к крестьянам, обвинитель просил вынести обвинительный приговор, так как «полная безнаказанность подорвала бы в крестьянах чувство порядка и явилась бы гибельною для них самих».

Участвующие в деле адвокаты не оставили неразобранными ни одного защитительного довода.

Плевако поступил в сложившейся ситуации настолько неожиданно, что буквально ошеломил всех присутствующих.

«Гуманное обвинение обезоружило меня, многосторонне рассмотревшие дело мои молодые товарищи — обобрали меня. Как адвокату, мне не остается ничего сказать.

И я хочу просить вас, г.г. судьи, позволить мне преобразиться в одного из подсудимых, стать между ними и гово-

речь не за них, а от лица их, их словами, их думами и чувствами».

Проникновенные слова, произнесенные Плевако от лица «частью безучастных, не уразумевающих того, что происходит между ними, частью испуганных» крестьян, во многом повлияли на то, что одни подсудимые были оправданы, другим — дано снисхождение при назначении наказания.

Полуторачасовая речь в защиту князя Грузинского, обвиняемого в убийстве, произнесена Плевако без подготовки, к чему он был вынужден неожиданной позицией государственного обвинителя.

Нет никаких сомнений в том, что по данному делу произнесена именно такая речь, какая имеется в предлагаемом читателю сборнике: она застенографирована и опубликована впервые еще при жизни Плевако. Просто как-то трудно поверить, что законченное произведение ораторского искусства такой силы и сложности можно создать экспромтом.

Редкостное дарование Плевако было ясно для всех его коллег, в том числе и для тех юристов, кто высказывал в его адрес отдельные критические замечания. «Подражать Плевако было, по моему мнению, невозможно, как нельзя подражать вдохновению», — писал А. Ф. Кони<sup>1</sup>.

Но восхищают не только речи Мастера. Нас поражают, буквально ошарашивают приговоры, за этими речами следовавшие. Приговоры, как правило, оправдательные. Выносились они судом присяжных.

Перед судом присяжных произносил свои речи великий русский адвокат Федор Плевако. К присяжным всегда относился с благоговением, подчас с умилением. Суд присяжных — кумир Плевако, а он — кумир суда присяжных.

Еще вчера мы считали, что и Плевако, и суд присяжных в нашей стране всецело принадлежат истории. Всех нас учили, что коллегия присяжных — обветшалый институт системы буржуазного правосудия. Оговорку, правда, делали: относительно менее реакционный институт. Но только относительно капиталистического общества. Да и для «них» — очень и очень относительно. Потому что присяжные (как, кстати, профессиональные судьи, прокуроры, адвокаты) — сплошь «наймиты и прислужники капитала». И

---

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 444.



значит — всегда оправдают буржуя и засудят трудящегося, тем более революционера. Иногда, впрочем, они взбрыкивают: в России, вот, Веру Засулич оправдали, в США — Анджелу Дэвис. Но это не в счет. Так, редчайшие исключения. Только подтверждают правило (о том, что оправдания в суде присяжных — норма, разумеется, умалчивалось). Мужественные защиты русскими адвокатами революционеров отрицать, конечно, было нельзя. Но и это, объясняли нам, нетипично — либо барская дурь, либо недомыслие.

«Если бы эти политические защитники, — писал Б. С. Утевский, — были дальновиднее и могли предвидеть Октябрьскую революцию, никто из них, я убежден, и слова бы не пикнул в защиту не только большевиков, но и эсеров и меньшевиков»<sup>1</sup>.

Нам внушали, что самая прогрессивная форма суда — это наши «тройки»: один судья — профессионал и два народных заседателя. Нас убеждали, что наш суд — самый гуманный и демократичный в мире... Оправдательные приговоры он, конечно, выносил редко, а в 70-е годы вообще перестал их выносить. Снисхождения подсудимым тоже оказывать не любил. Из наказаний предпочитал лишение свободы и не меньше, чем на 4—5 лет.

Почему? А потому, что не решает, как буржуазный суд, спор между обвинением и защитой, а борется с преступностью. Борется! В одном строю с прокуратурой и милицией. «Проклятое наследие прошлого» должно было исчезнуть к 1980 г. Не получилось. Преступность даже возросла. Поэтому тем более нельзя либеральничать.

В нашем суде Плевако и его товарищи выглядели бы, разумеется, странно. И поначалу о них стремились вообще забыть. В 1929 году — году «великого перелома» — А. Я. Вышинский заявил, что русская присяжная адвокатура — «насквозь буржуазное учреждение», «отъявленное контрреволюционное сословие» и что «адвокатуры в прежнем, дореволюционном понимании этого слова у нас нет и быть не может».

После такого «авторитетного разъяснения» упоминания о дооктябрьской адвокатуре надолго исчезли из всех источников. Первый сборник речей выдающихся русских адвокатов был издан только в 1957 г., вызвал большой интерес, но лишь как исторический памятник. Да и это издание вызва-

---

<sup>1</sup> Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 147.

ло беспокойство; для «троек» нужна была иная школа профессиональной защиты.

В предисловии к сборнику речей адвокатов (1981 г.) с тревогой отмечалось: «представление о речи адвоката иногда еще базируется на чтении речей дореволюционных присяжных поверенных, стремившихся при помощи эмоционального воздействия на присяжных заседателей добиться желаемого результата»<sup>1</sup>.

Что верно, то верно. Попытка эмоционально воздействовать на судей, борющихся с преступностью, в лучшем случае бесполезна, в худшем — может только раздражать.

И вот многократно обруганный суд присяжных, спустя семь десятилетий, вновь вводится в нашей стране. Он возвращается как испытанная многовековым опытом наиболее прогрессивная, наиболее демократическая, без всяких оговорок, форма организации правосудия. Он значительно прогрессивнее наших «троек», которые, конечно, никакое не открытие новейшей юридической мысли, а просто ухудшенный вариант так называемого шеффенского суда, где все вопросы решаются совместно судьями-профессионалами и народными заседателями (шеффенами). Шеффенский суд имеет столь же древнюю историю, как и суд присяжных, и — если не ставить перед ним не свойственные ему задачи типа борьбы с преступностью, искоренения правонарушений и т. п. — способен вполне удовлетворительно осуществлять правосудие.

Плевако не совсем справедлив к шеффенам, считая их лишними людьми, «которые приглашались заваривать чай для действительных судей». Но момент истины в этой нелестной характеристике есть. В совместной коллегии ведущая роль принадлежит судье-профессионалу. У него достаточно средств — авторитет, знание законов, судейский опыт, — чтобы повлиять на шеффенов. Изначальное неравенство членов шеффенского суда таит угрозу сделать его управляемым: через судью-чиновника власти получают возможность добиваться удобных им судебных решений.

Что касается нашего суда, то он изначально замышлялся как орган управляемый, призванный проводить карательную политику государства. Отсюда и «всего трое»...

В отличие от шеффенов, присяжные решают вопрос о виновности подсудимого самостоятельно, без участия профессионального судьи, и вердикт свой не мотивируют.

---

<sup>1</sup> Слово адвокату / Под ред. К. Н. Апраксина. М., 1981. С. 5.

Каков будет наш суд присяжных? С надеждой, но и с тревогой, ждем его вердиктов. Я лично — с надеждой, что он будет похож на своего предшественника.

Каков был тот, дореволюционный суд присяжных?

Читатель сможет составить о нем достаточно полное представление из настоящего сборника. Надеюсь, оно будет сильно отличаться от суждений и оценок, прочно обосновавшихся на страницах нашей политической и юридической литературы.

Адвокат Плевако своими речами, а суд своими приговорами легко разрушат расхожий предрассудок, будто присяжные — судьи впечатлений и чувств. Мало что уцелеет и от ложного стереотипа дореволюционного судебного оратора, щедро тиражировавшегося нашей печатью.

«Расположить к себе слушателей, настроить их так, чтобы они больше подчинялись влиянию речи и порывам чувства, чем требованиям рассудка (выделено мною. — Г. Р.), — вот в чем заключалась в дореволюционной адвокатуре основная задача судебного оратора»<sup>1</sup>, — такое можно прочесть не только в уже упоминавшемся предисловии к сборнику речей адвокатов.

Читая речь Плевако в защиту Кострубо-Карицкого, можно подумать, что он предвидел появление процитированного и подобного ему текстов и специально задался целью их опровергнуть.

«Я буду ждть вашего приговора с полным убеждением, что совесть, управляемая разумом и опытом жизни, познает истину.

Не поддавайтесь влиянию первых впечатлений: суд по инстинкту не может быть справедлив.

Лучший в мире, английский институт присяжных, перед которым склоняются все авторитеты науки, всегда руководствовался правилом — произносить обвинительный приговор над человеком только на основании строгих, точных, доказанных следствием улик, таких, которые заключали бы в себе неотразимую силу факта и убеждения...

Страстности было много в этом деле.

Но где — страсти, увлечения, — там истина скрыта...

Будьте судьями разума и совести!»

Редкостную возможность поиграть на расовых предрассудках и националистических инстинктах получил Плевако по делу Ильяшенко — русского, обвинявшегося в убийстве

---

<sup>1</sup> Слово адвокату. С. 5.

еврея, тем более, что яд шовинистической отравы в души людей уже начали вливать идеологи черносотенства. Саму мысль о таких приемах защиты Плевако с негодованием отвергает.

«...Боязнь моего соперника, чтобы настоящее дело не выступило на шаблонную и соблазнительную тропу расовой боробы, чтобы здесь не было превращения печальной драмы в «погром еврейства» выведенной из терпения толпой коренного населения страны, — ...эта боязнь напрасна.

Защита в лице моем не забудет своих гражданских и общечеловеческих обязанностей и кровавую сцену не будет возводить в правовую норму жизни. Пусть кто хочет, но я-то не решусь, подняв руку, направлять страсти моих братьев по Христу на несчастных братьев моих по Адаму и Адонай-Саваофу. Я ищу суда, а не карикатуры на правосудие...

Здесь не Русь и еврейство, повторяю вам. На целую нацию клеветать — богохульство. Еврей не хуже нас может возвыситься до мудрости Натана, а своекорыстие и пороки Шейлока расцветают и на всякой иной почве, кроме еврейской».

Не на «голосе крови» и не на минутном чувстве основали присяжные оправдательный приговор Ильяшенко. Оправдали потому, что разделили позицию защитника, доказавшего: убийство совершено в состоянии аффекта, до которого довел подсудимого своими преследованиями Энкелес. И еще потому, что проявили предоставленное им законом право милости. Могли не проявить. И не оправдать.

Милость... Это исчезнувшее из юридического языка, да и вообще из современного лексикона слово многое объясняет в природе того правосудия, какое осуществлял в России суд присяжных.

Судебные Уставы учредили суд «скорый, правый, милостивый». Суд «милостивый» — это о суде присяжных. Как писал в свое время С. А. Зарудный, член Особого комитета по подготовке Судебных Уставов, юрист, которому более других обязаны своим рождением на Руси и суд присяжных, и независимая адвокатура: «Правосудие в широком смысле требует не только твердости и непреклонности в решениях, но и глубокого знания всех мелочей обыденной жизни и снисходительности к неизбежным слабостям человека (выделено мной. — Г.Р.)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Главные деятели и предшественники судебной реформы / Под ред. К. К. Арсеньева. Спб. 1904. С. 12.

У подобного взгляда на правосудие всегда были противники, считавшие, что «милостивый» суд подрывает единую законность в государстве. Среди них — немало видных и в целом прогрессивно мыслящих юристов. Так, с недоверием к суду присяжных относился перед судебной реформой В. Д. Спасович — будущий «король» российской адвокатуры, опасавшийся, что присущая русскому человеку склонность видеть в преступнике «несчастливого» может вредно отразиться на правильном отправлении правосудия. Впоследствии, как отмечал А. Ф. Кони, жизнь и здравый смысл народа не подтвердили этих опасений и Спасович, испытав русских присяжных заседателей на практике, твердо стал на их сторону<sup>1</sup>.

Различные точки зрения на существо правосудия покоятся на разных концепциях преступной вины и в конечном счете на разном понимании природы человека.

Согласно одной из этих концепций, практически безраздельно утвердившейся в нашей уголовно-правовой науке и законодательстве, вина выражается только в умышленном или неосторожном отношении вменяемого человека к своему деянию. Умышленном — когда человек сознает это деяние, желает или допускает наступление его общественно опасных последствий. Неосторожном — когда не осознает, но мог и должен был предвидеть.

Другая концепция, на которой и основывается «милостивый» суд, считает, что, помимо умысла или неосторожности, вина включает в себя еще и нравственную оценку, т. е. признание проявления в содеянном злой, порочной воли преступника.

Назвать виновным, признать преступником — значит нравственно заклеить личность. Бывают случаи, когда противоправный поступок совершается не по злой воле человека, когда гнет внешних обстоятельств столь велик, что человек не может ему противостоять и не в силах побороть. В подобных случаях присяжным дано право милости: они могут не признать виновным, не назвать преступником человека, который, по их убеждению, не был носителем злой воли и несмотря на совершение противоправного поступка не заслуживает нравственного упрека.

Отчетливо сознаю: читать такое непривычно. Давно уже дискуссии о человеческом измерении уголовно-правового

---

<sup>1</sup> См.: Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 427.

понятия вины у нас не ведутся. Нравственная концепция вины предана многократной анафеме, как сеющая правовой нигилизм. Дореволюционные адвокаты, взывавшие к милости присяжных, традиционно клеймятся в нашей литературе как проповедники порочной идеи, что преступление является естественным, а во многих случаях единственным выходом из сложившейся ситуации<sup>1</sup>.

Все, между тем, не так просто. Уголовное законодательство стремится к тому, чтобы не допускать разрыва между законом и нравственностью. С этой целью в уголовные кодексы введены специальные нормы, исключаящие привлечение к ответственности и осуждение человека в тех случаях, когда закон нарушен, но общественная опасность деяния отсутствует. Это — невменяемость, необходимая оборона: человек причиняет вред, обороняясь от нападения; крайняя необходимость: совершением противозаконного действия предотвращается опасность, угрожавшая более важным общественным и личным интересам; уже упоминавшаяся малозначительность.

Выход суда за рамки этих содержащихся в уголовном кодексе норм есть беззаконие, говорят одни праведы. Нет, возражают им другие: жизнь исключительно сложна и разнообразна, в ней складываются подчас драматические ситуации, которые закон учесть не в состоянии, но могут оценить судьи, рассматривающие конкретное дело. Если они придут к выводу, что подсудимый оказался во власти тяжелейших, экстраординарных обстоятельств и в его действиях не было злой воли, у них должно быть право признать отсутствие вины и вынести оправдательный вердикт.

Суть одной позиции: закон должен быть соблюден при любых условиях.

Нельзя предъявлять человеку непомерных требований — существо другой.

Обе эти позиции столкнулись в деле Ильяшенко.

Государственный обвинитель сказал присяжным, что дело разрешается применением закона к бесспорно совершившемуся факту; что закон запрещает проливать кровь ближнего и что обходить требования закона никто, кому дорог общественный мир, кто призван служить ему, не имеет права.

---

<sup>1</sup> См., например: *Алексеев Н. С., Макарова З. В.* Ораторское искусство в суде. Л., 1989. С. 128.

«Слова и мысли — безусловно истинные, — возражает прокурору Плевако, — но не вмещающие всей истины.

Обвинитель забыл, что закон наш, подобно законам всех, даже далеко опередивших нас в развитии стран, все важнейшие преступления, где человеку грозит несправедливая казнь, отдал на суд присяжных; что, несмотря на мастерство составителей закона, на многоопытность судей короны, он предпочитает суд людей жизни и опыта.

В чем причина подобного приема власти? Законодатель хочет судить волю, обуздывать волю, но отрекается от всякой солидарности с идеями тех времен, в которые думали, что для правды и мира в мире полезно, чтобы среди шума и суеты общественной жизни раздавались из подземелий тюрем и застенков приказов стоны жертв правосудия и наводили ужас на граждан, не напоминая им ничего другого, кроме того, что у власти есть и сила и средства давать знать о себе. Законодатель наших времен карает волю только тогда, когда совершенное ею зло могло быть преодолено или когда она, вместо попытки на борьбу с ним, с радостью, с охотой, по крайней мере без отвращения, бросилась на его соблазнительные призывы».

Защитник убеждает присяжных, что «усчитать вес давящих волю обстоятельств, смерить рост и силу духовную каждого отдельного человека закон сам не может: каждый из нас имеет свою особую духовную физиономию, как каждый из нас внешним обликом не похож на другого. И вот это-то живое созерцание он передает вам, живым людям. Только вы в силах в каждом отдельном случае, взвесив все данные, умея себя представить в обстановке подсудимого, — решить человечески безошибочно, что причиной падения вашего ближнего...

Не бойтесь быть милостивыми и не верьте тем, кто осуждает вас за это, говоря, что вы не имеете права милости».

Серьезны аргументы прокурора, но весомы и доводы защитника. Спор между двумя воззрениями, которые представляли процессуальные противники, думаю, исторически не завершен. Ему суждено возобновиться на новой основе, с учетом данных о человеческой психике, накопленных наукой. Но не только. Убежден: также с привлечением религиозного опыта.

Милостивый суд может существовать в обществе, где господствует христианская культура с ее, как говорил Пле-

вако, «милующим воззрением на человеческую природу, любвеобильным пониманием прирожденной слабости души», отделяющая падение подавленного злом от творящего зло.

Разные эпохи — разные культуры, разные системы ценностей.

Да, русские присяжные выносили оправдательные вердикты, которые не могли быть приняты с позиции «социалистической законности». Там, где присяжные оправдывали, наш суд лишь смягчал бы ответственность (да и то не всегда) — например, когда муж убивает в состоянии аффекта любимую жену, неожиданно застав ее в «пикантной» ситуации; или человек крадет деньги, чтобы купить дорогое лекарство и спасти тем самым близкого.

Но если бы суд присяжных не осознавал себя как милостивый суд, не была бы оправдана Вера Засулич. И если бы наше общество имело суд присяжных, не осуждались бы «антисоветчики», «шабашники», «церковники», «бескорыстные преступники», «парикмахеры» (крестьяне, состригавшие в голодные годы колоски колхозной пшеницы), самовольные застройщики. Впрочем, тогда общество просто было бы иным. Тоталитарный режим и суд присяжных — две несовместимые вещи.

Право милости — право учитывать при решении вопроса о вине специфические обстоятельства конкретного дела и сообразовывать это решение не только с нормами закона, но и с нравственностью. Отстаивая такое право, адвокат Плевако приглашает нас к дискуссии. Чего, однако, нет в его речах, так это оправдания преступления как «естественного выхода из сложившихся обстоятельств». Авторы, бросающие такой упрек дореволюционным адвокатам, либо не замечают, либо, скорее всего, замалчивают то обстоятельство, что вопросы о доказанности факта преступления и о вине подсудимого ставятся перед присяжными и решаются ими отдельно. Отвечая положительно на первый вопрос, присяжные могут отрицательно решить второй. В настоящем сборнике есть тому примеры: дело Ильяшенко, дело супругов Замятниных, дело Саввы Мамонтова, дело Максименко, дело Роскошенко.

По речам Плевако читатель может составить представление о многих сторонах деятельности адвоката, о нормах профессиональной адвокатской этики — по ряду из них не было и нет до сего времени единства ни среди ученых-юристов, ни у практиков.



Плевако предстает в настоящем сборнике в двух качествах: защитником — представителем обвиняемого и обвинителем — поверенным потерпевшего или гражданского истца. Как защитник Плевако выигрывал большинство дел, но не все: по делам Маруева, Гаврилова, Московского ссудного банка, о беспорядках на Коншинской мануфактуре суд не разделил позицию адвоката и вынес подсудимым обвинительные приговоры. Были в практике Плевако и другие дела, по которым доводы защиты не убеждали суд. Но Плевако-обвинитель торжествовал на всех процессах. Не только тех, о которых читатель узнает из настоящего сборника, но именно — всегда.

Отмеченная закономерность не случайна, она объясняется различием в критериях выбора адвокатом дел. Право на защиту от предъявленного обвинения имеет каждый человек. Сколь тяжко это обвинение ни было бы, как бы неприглядно ни выглядела личность обвиняемого, адвокат не вправе отказаться его защищать, если только не занят в другом процессе, не болен, не находится в отпуске и т. п. Конечно, на всякого известного адвоката спрос превышает предложение: Плевако обычно имел широкую возможность выбора дел и, разумеется, предпочитал дела с позицией. Но, если был свободен, не отказывал в приеме поручений на защиту обвиняемым, чья виновность подтверждалась вескими доказательствами. Проводил Плевако защиту и по назначению суда.

Со стороны же потерпевших и гражданских истцов выступал лишь тогда, когда был абсолютно убежден в справедливости их притязаний.

«Заявляют иск разного рода люди, — говорит Плевако, отстаивая интересы гражданского истца Курбатова, — иные хлопчут о том только, чтобы выиграть свой иск, иногда даже несправедливый. Защита, готовая клеветать, явиться пособником такого человека, — позорна и нечестна».

Из речи в защиту Роскошенко можно увидеть, что не все присяжные поверенные руководствовались в своей профессиональной деятельности такими нравственными критериями. Иные были весьма неразборчивы в выборе дел и соглашались поддерживать недобросовестные исковые требования. С возмущением и болью говорит Плевако в своей речи о таких адвокатах. В числе других лучших представителей русской присяжной адвокатуры Плевако внес вклад в формирование нормы профессиональной морали, утвердившейся впоследствии в адвокатской среде: вести гражданские дела либо поддерживать гражданский иск в уголов-

ном деле адвокат вправе лишь тогда, когда убежден в правоте обратившегося к нему гражданина.

Выступая поверенным гражданского истца, Плевако очень четко очерчивал границы интересов своих доверителей — добиться возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Ему, как никому другому, ведомо: суд присяжных может проявить милость и признать невиновным. Поэтому крайне важно разъяснить присяжным, что, оправдывая подсудимых ввиду отсутствия вины, нельзя отрицать сам факт преступления.

«Задача поверенного гражданского истца, — говорит Плевако в речи по делу супругов Замятниных, — заключается в удовлетворении его гражданского иска, и только в этих пределах я буду разъяснять перед вами настоящее дело».

«Для меня безразлично, останется ли обвиняемый в этом городе или будет сослан.

...Вся наша просьба заключается в том, чтобы вы рассудили, законны ли те документы, которые находились в руках Замятнина, — выданы ли они добровольно, как всякий честный акт, или же взяты силой из рук того, кому имущество принадлежало.

...К великому моему счастью я имел право не касаться Уложения о наказаниях; я шел дальше — я указывал вам факты, значительно смягчающие вину подсудимого.

...Никто не может лишать вас принадлежащего вам права помиловать его.

...Вам легко быть справедливыми, не позволив только человеку взять то, что ему не принадлежит.

...Милуя грешника, не давайте ему пользоваться плодами греха».

Ту же позицию отстаивает Плевако — поверенный гражданского истца по делу Харьковского Общества Взаимного кредита: «...Можно прощать подсудимым их вину, но никогда не следует оставлять в их руках того, что они виной приобрели; можно пощадить подсудимых, но никогда не следует щадить их больше тех, кому они причинили вред».

Весьма полезно будет прочитать речи Плевако—поверенного гражданского истца иным нынешним адвокатам, которые вместо обоснования ущерба, нанесенного преступлением, обрушиваются на подсудимого, порой превосходя в обвиняющем усердии прокурора.

Уголовная защита и нравственность... С момента появления на земле первого адвоката — в древнем Риме, свыше двух тысячелетий тому назад — не прекращались, то зати-

хая, то разгораясь, споры о моральности адвокатской профессии, о нравственной допустимости защиты любого и каждого обвиняемого. За такую работу может, конечно, взяться только неразборчивый, нечистоплотный, не испытывающий естественного отвращения к преступлениям человек — вот стойкий, неистребимый покуда предрассудок обиденного сознания. Как только в уголовном процессе возникла фигура профессионального защитника, в прессе замелькали уничижительные определения: «прелюбодеи слова», «софисты нового времени», «пособники преступников» и т. п. Сравните с расхожим выражением нашего времени — «выгораживание преступников»...

Профессия адвоката действительно требует вполне определенной жизненной позиции. И об этом говорит Плевако в одной из своих речей: «Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так и у нас, защитников, защитительная жилка остается нашим свойством не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, прощаем и о которых мы сожалеем».

Другое распространенное обвинение в адрес адвокатов было связано с их будто бы «гигантскими» гонорарами. Адвокат не состоит на службе у государства, его труд оплачивается клиентом по договору или таксе. Заработок начинающего присяжного поверенного был весьма скромен, если не сказать скуден; с приобретением опыта и расширения практики оплата, разумеется, возрастала; известные, тем более такие выдающиеся адвокаты, как Плевако, получали значительное вознаграждение.

Упреки любителей считать деньги в чужих карманах имели бы под собой почву, если бы размером гонорара определялось качество работы адвоката по делу. Но действительность свидетельствовала как раз об обратном. Многолетний председатель Петербургского совета присяжных поверенных К. К. Арсеньев писал: «Нельзя отрицать, что надежда на вознаграждение служит одним из стимулов адвокатского труда, как, впрочем, и всякого другого: но никто не замечал еще, чтобы делами малоценными присяжные поверенные занимались кое-как, обращая все свое внимание на дела более крупные.

Не говоря уже о сознании долга, самолюбие, желание успеха, опасение повредить своей репутации или подвергнуться ответственности перед советом — побуждения доста-

точно сильные, чтобы внушить присяжному поверенному одинаковую заботливость о всех делах, ему вверенных»<sup>1</sup>.

Лучшей иллюстрацией сознания русскими присяжными поверенными своего профессионального долга служит бесплатная защита стремительно набиравшим известность Плевако обвиняемого Оскара Бострема, завершившаяся оправданием подсудимого. Потерпевшим по данному делу являлся коллега Плевако — присяжный поверенный Гольдсмит, попытавшийся подмочить репутацию защитника в глазах присяжных. Плевако принимает вызов: «... подозрение могло явиться у вас, г. г. присяжные, против меня, защитника, потому, что Гольдсмит в начале заседания заявил, что я собирался быть поверенным его, как гражданского истца.

Но я очень счастлив, что не искал, где глубже, где лучше, где больше дают: это видно из того, что я, слава Богу, защищаю по назначению от суда и, следовательно, никакого личного интереса, кроме душевного, сердечного расположения, в переходе из одного лагеря в другой не имел».

По знаменитому делу крестьян села Люторичи, защиту которых Кони охарактеризовал с учетом условий и настроений того времени как гражданский подвиг, Плевако сам вызвался выступить на процессе. Более того, он не только не взял гонорара, но в течение всего процесса, длившегося три недели, нес расходы по содержанию всех 34 подсудимых<sup>2</sup>.

После публикации сборника речей Плевако, по всей видимости, придется расстаться с представлением о нем как о турнирном бойце, отличавшемся бурным натиском на противника, набрасывавшемся на него и буквально уничтожавшем страстью и темпераментностью<sup>3</sup>.

Плевако свойственна чрезвычайная опрятность всех приемов защиты, великодушие и благородство, исключительная тактичность в характеристике потерпевших, пусть даже недобросовестных.

«Суд — не война, — прямо излагает Плевако свое кредо в речи по делу Мордвина-Щодро и Оболенского.

---

<sup>1</sup> *Арсеньев К. К.* Заметки о русской адвокатуре. СПб., 1875. Ч. 1. С. 127.

<sup>2</sup> *См.: Утевский Б. С.* Воспоминания юриста. С. 161. В силу того, что речь Плевако на этом процессе была опубликована, она не включена в настоящий сборник.

<sup>3</sup> Такой облик Плевако рисует, в частности, в своих воспоминаниях *Б. С. Утевский* (С. 159).

Процесс принимает вид не истребления, а поединка между охраной закона и охраной личной чести.

Допускаемые в бою мины и засады, вылазки и диверсии здесь не у места: здесь они нарушают чувство меры».

«Следует спорить с доказательствами, а не с прокурором».

«Не следует касаться личности противника, даже если он сам нарушает это правило».

«Нет худшего приема защиты, как несправедливые придирки и нападки на потерпевших».

Кажется, что эти золотые правила уголовной защиты выведены П. Сергеевичем из речей Плевако<sup>1</sup>.

Рыцарь правосудия, «невольник чести», Плевако ждет благородства и объективности также от своего процессуального противника. Но сталкиваясь с тенденциозностью прокурора, с попытками подменить обвинительные доказательства общими рассуждениями об общественном вреде, негативными оценками личности подсудимого и свидетелей защиты, он не уподобляется государственному обвинителю и негодующим и обличительным выражениям предпочитает «сочувствующую» иронию.

Так поступает Плевако, например, в речи по делу об убийстве егорьевского купца Лебедева, отвечая прокурору, назвавшему свидетелей защиты — жителей г. Егорьевска, «целой фалангой людей, для которых ложь есть обыкновенное правило жизни». Обратив внимание суда на то, что все свидетели из г. Егорьевска — старообрядцы, придающие особое значение религиозной присяге, Плевако заметил: «С этой точки зрения упрек прокурора — в высшей степени нежизненный,.. который должен пролететь мимо г. Егорьевска, как гроза, которая хотя по какому-то велению и налетела на город, но улетела в пустыню, не причинив городу вреда».

«Высшим пилотажем» в профессии адвоката признавалось и признается умение вести так называемую коллизионную защиту, когда между обвиняемыми существуют непримиримые противоречия — они изобличают друг друга в преступлениях, возлагают всю или большую часть вины на соседа по скамье подсудимых.

Долгими годами выковывалась норма профессиональной этики: защищая одного подсудимого, не обвинять, не уличать другого. Не всеми адвокатами она разделяется. Одни стремятся не превращаться в обвинителей даже тогда,

---

<sup>1</sup> Сергеев П. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 328, 325, 321.

когда между обвиняемыми разгорается настоящая война «на уничтожение». Другие отбрасывают заповедь «не обвиняй, защищая» как ложно-сентиментальную и не церемонятся в выражениях, доказывая, что преступление совершенно не подзащитным, а другим подсудимым. Любая форма защиты допустима, если она полезна для клиента — вот смысл противоположной заповеди.

В январе 1871 г. внимание общественности было приковано к Рязанскому Окружному Суду. На скамье подсудимых находились губернский воинский начальник, полковник Кострубо-Карицкий и его любовница Дмитриева. Им было предъявлено обвинение в краже ценных бумаг на крупную сумму и производстве незаконного аборта. Дмитриева заявляла, что организатором этих преступлений был Кострубо-Карицкий, она же вынужденно стала его пособницей. Кострубо-Карицкий виновным себя не признал, обличая Дмитриеву в клевете. Кострубо-Карицкого защищал Плевако, Дмитриеву — другой прославленный адвокат, князь Урусов.

«Знакомство с этим процессом, — писал А. Ф. Кони, — следовало бы рекомендовать всем начинающим судебным ораторам: из речей обоих противников они могут увидеть, как в стремлении к тому, что кажется правдой, глубочайшая мысль должна сливаться с простейшим словом, как на суде надо говорить *все*, что нужно, и только то, *что* нужно, и научиться, что лучше *ничего* не сказать, чем сказать *ничего*»<sup>1</sup>.

По мнению Кони, «трудно отдать преимущество в этом состязании кому-либо из двух бойцов»<sup>2</sup>. Как судебным ораторам — возможно. Но как адвокат по всем статьям бесспорный победитель — Плевако.

Дело не только в том, что суд присяжных разделил его позицию: все пять подсудимых были оправданы (к уголовной ответственности привлекались еще три врача).

Урусов выступил на процессе не как защитник Дмитриевой, а как еще один обвинитель Карицкого. Причем в этом качестве даже превзошел прокурора<sup>3</sup>.

Не случайно защитительная речь Плевако — ответ не столько государственному обвинителю, сколько Урусову. Ответ блестящий — парирующий все доводы обвинения.

Но правая суть полемики открывается в совершенно

---

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 443.

<sup>2</sup> Там же. С. 442.

<sup>3</sup> С речью Урусова можно ознакомиться в кн.: Судебные речи известных русских юристов. М., 1957. С. 707.

неожиданном свете; полагаю, она не укроется от читателя. Защищая Карицкого, Плевако защищает тем самым и Дмитриеву, ведет процесс и к ее оправданию.

Парадоксально? Ничуть. А. Ф. Кони неточен, характеризуя рязанский процесс: «защита одной противоречила защите другого, так как обвиняемые складывали не только тяжесть своего поступка, но и побуждения к нему друг на друга»<sup>1</sup>. Дмитриева оговаривала Карицкого, но Карицкий не оговаривал Дмитриеву и ничего на нее не «складывал» — он категорически и последовательно отрицал свое участие и в краже, и в изгнании плода. Поэтому коллизия между подсудимыми была ложной. Обвинение держалось только на показаниях самой Дмитриевой, а они не только не подтверждались, но и опровергались другими доказательствами.

Строя защиту на показаниях Дмитриевой, Урусов исходил из признания доказанными фактов преступления. Изобличая в виновности Карицкого, он тем самым «ковал» обвинительный приговор — пусть, со снисхождением — и Дмитриевой.

Была у Урусова и другая возможность: вступить в спор со своей подзащитной, разоблачать ее самооговор, или, в всяком случае, указать на невозможность основывать обвинительный приговор на ничем не подтвержденных самообвиняющих показаниях подсудимого.

Адвокат — представитель обвиняемого. Он ни при каких обстоятельствах не может действовать ему во вред. Если обвиняемый отрицает свою вину, адвокат обязан строить защиту, исходя из этой позиции. Положение меняется, когда обвиняемый свою вину признает, а адвокат убежден, что он себя оговаривает. Тогда адвокат не только вправе, но и обязан разойтись в позициях с подзащитным и защитить подсудимого от себя самого. Но только, когда убежден!

Был ли убежден Урусов в невиновности Дмитриевой, в ее самооговоре? Кто знает? Поэтому мои рассуждения об имевшейся у него альтернативе носят в значительной мере гипотетический характер... Как бы то ни было, защита, превратившаяся в обвинение, потерпела неудачу. Победу праздновала защита, неуклонно следовавшая нормам адвокатской этики.

Профессиональная мораль регулирует и другие вопросы взаимоотношений адвоката и клиента. Процессуальная солидарность вовсе не означает, что адвокат становится слу-

---

<sup>1</sup> Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 442.

гой, «рупором» своего клиента. Прежде всего адвокату воспрещается фальсифицировать доказательства: подговаривать свидетелей дать ложные показания, запугивать их, подделывать документы и т. п. Этот вопрос сомнений не вызывает. Более сложен другой вопрос: вправе ли адвокат строить защиту на доказательствах, ложность которых ему известна, называть достоверными сомнительные данные? Плевако и тут показывает пример: негоже защитнику говорить заведомую ложь, незачем выдавать сомнительные данные за достоверные, хоть этого и требует подзащитный.

«Едва настоящее дело, в силу закона, перешло в мои руки, — говорит Плевако в речи по делу Лукашевича, — как подсудимый слишком хорошо понял и узнал, что на такие сомнительные данные представитель его на суде ссылаться не будет; что представитель его на суде не возьмет на свою совесть, не будучи внутренне убежден, клеветать на покойную женщину».

Сомнительные данные и должны быть названы сомнительными. Такая правда вовсе не ослабляет защиту, как иногда ошибочно считают. Сомнение в оправдательном доказательстве означает и сомнение в противостоящем ему доказательстве обвинительном. А сомнения, как известно, толкуются в пользу обвиняемого.

Нет, не во вред, а на пользу подсудимым идет нравственность защиты, благородство адвоката, его уважительное отношение ко всем участникам процесса, такт и порядочность в оценке личности и показаний потерпевших и свидетелей обвинения.

Плевако отличает чувство величайшей ответственности перед человеком, вверившим ему свою судьбу. Он познал себя, сознает свой бурный темперамент и вполне отдает себе отчет в том, что в пылу судебного состязания способен не сдержаться, сказать неосторожное, обидное слово, оказаться несправедливым к прокурору или свидетелю обвинения и тем самым вызвать негативную реакцию у присяжных. Не за себя переживает адвокат — за подзащитного. Такая тревога звучит в его реплике государственному обвинителю по делу С. И. Мамонтова: «Между положением прокурора и защитника — громадная разница.

За прокурором стоит молчаливый, холодный, незыблемый закон, а за спиной защитника — живые люди.

Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и ... страшно поскользнуться с такой ношей!

Если я сказал лишнее слово, я сам должен держать и ответ: на меня негодование, но ни одной стрелы — туда!»



Плевако — адвокат-универсал. С равным успехом ведет он защиты по делам разных категорий: убийствам и растратам, оскорблениям и подлогам, клевете и кражам, ограблениям и злоупотреблениям по службе, халатности и массовым беспорядкам. В одних делах на первом плане спор о фактах, опровержение представленных противной стороной доказательств; в других — оспаривание правовой оценки деяния; в третьих — анализ обстоятельств, влияющих на степень вины и меру ответственности подсудимого.

Речь Плевако в защиту купца Лебедева, обвиняемого в убийстве отца, может быть отнесена к числу образцовых по так называемым «уликовым» делам. Каждое косвенное доказательство в отдельности допускает самые разные толкования. Соединенные в совокупность, они способны приобретать колоссальную силу и превосходить убедительностью прямые доказательства. Разбивая цепь улик, показывая, что обвинитель представил суду, как говорил Робеспьер, «призрак доказательств», Плевако вводит в опровержение личностный, нравственный элемент.

Согласуются ли с личностью подсудимого приписываемые ему деяния, какой смысл заключается для него в преступлении, каким мотивом он руководствовался, к какой цели стремился? Пока не даны удовлетворительные ответы на эти вопросы, о доказанности обвинения говорить нельзя, утверждает в своих речах Плевако.

В теории судебных доказательств утвердилась точка зрения о том, что сами по себе нравственно-психологические свойства личности не могут служить ни доказательствами вины, ни доказательствами невиновности. Думается, такое обобщение все же слишком абстрактно. Вряд ли можно возвести в общее правило и суждение, высказанное Плевако в речи по делу Лебедева: «Нравственным уликам нужно давать предпочтение перед вещественными. Нравственная улика при изучении характера человека ближе разрешает вопрос».

Все решает специфика конкретных случаев. Есть дела, в которых качества личности приобретают большое, подчас решающее доказательственное значение. Лучшим тому подтверждением служат и дело Лебедева, и дело Санко-Лешевича, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, и дело Гаврилова, которого Плевако защищал от обвинения в подделке денежных знаков.

«Внутренний мир человека — это такой же факт, как и внешние деяния...

20—30 лет честной, безукоризненной жизни человека

должны заставить задуматься, быть осторожнее к показаниям, которыми приписывается обвиняемому дело, настолько темное, что решиться на него можно было бы лишь при испорченности нрава».

С этим нельзя не согласиться.

Самый, пожалуй, страшный враг правосудия — оговор. Разнообразны его мотивы. Со стороны соседей по скамье подсудимых чаще всего — стремление уменьшить свою вину, поделить ее с другими. Со стороны свидетелей — желание отвести подозрение от близкого человека, корысть, месть, зависть, стремление избавиться от соперника или конкурента.

Плевако, как и любому адвокату, приходилось бороться с оговором по многим делам — и как защитнику, и как представителю гражданского истца. Обращает на себя внимание прием, к которому он прибегает. Обычно адвокаты, разоблачая оговор, клеймят свидетеля как лжеца, так сказать, пригвозждают его к позорному столбу. Плевако в ряде процессов также обнажает низменные мотивы, которыми движим оговорщик. Но по другим делам он, напротив, поднимает свидетелей в глазах судебной аудитории и в их собственных глазах, убедительно показывая: ложь в их устах случайна, вызвана исключительной ситуацией, по-человечески понятна, вымышленные факты противоречат нравственному облику свидетеля. Разоблачительный эффект от такого приема намного увеличивается.

«Таким образом Марья Алексеевна своим рассказом только прикрывает грех своего мужа, — объясняет Плевако ложные показания свидетеля Замятниной. — Ста тысяч рублей Курбатов ей дать не мог.

Прежде всего не мог он сделать этого потому, что она лучше тех женщин, которым платят деньги... Замятнина стоит на такой высоте, которая не позволяет женщине падать до продажи своей любви и ласки».

Своими речами Плевако дает адвокатам совет, позже вошедший в книгу П. Сергеича: «Старайтесь сделать каждого свидетеля противника своим свидетелем»<sup>1</sup>.

Отстаивая невиновность подсудимого, Плевако не оставляет неразобраным ни один довод процессуального противника, тщательному анализу подвергается каждое обвинительное доказательство. По делам о преступлениях против личности это, главным образом, свидетельские по-

---

<sup>1</sup> Сергеич П. Искусство речи на суде. С. 191.

казания. По делам об экономических преступлениях на вооружении у обвинения показания специалистов, сведущих лиц, заключения экспертов.

Плевако противопоставляет им свои глубокие познания в области банковского дела, финансового права, проникновение в существо той сферы экономических отношений, с которой связано обвинение.

По делу С. И. Мамонтова Плевако обосновывает право предпринимателя на коммерческий риск, успешно доказывает, что неудавшийся замысел, неоправдавшийся расчет не могут составить уголовно-правовой вины. По делу Московского Судного банка разъясняет некомпетентность бухгалтеров как экспертов по банковским вопросам. В деле Франческо и др. принимает вызов обвинения и опровергает его тем же статистическим анализом, на котором основывалась обвинительная конструкция.

Защита не сводится к произнесению речи. Успех адвоката в судебных прениях подготавливается тщательным изучением материалов предварительного расследования и участием в судебном следствии. Умение вести перекрестные допросы потерпевших, свидетелей и экспертов, заявлять ходатайства о дополнении следствия всегда считалось важнейшей, но и труднейшей стороной профессии адвоката.

По выступлениям в прениях трудно в полном объеме составить представление об участии адвоката в судебном следствии, но отдельные фрагменты речей позволяют считать, что Мастер и здесь был на высоте.

Из перекрестных допросов потерпевших, свидетелей и экспертов адвокат стремится извлечь нужные защите обстоятельства. В то же время допрос необходимо строить так, чтобы не получить неблагоприятные для себя ответы. Это большое искусство.

Привлекает внимание следующий момент из речи Плевако по делу С. И. Мамонтова: «Вы помните этого свидетеля, властно, крикливо отвечавшего на законный перекрестный допрос моих товарищей. Когда же ряд вопросов или, может быть, некоторая страстность их ему не понравилась, то он заявил, что и два миллиона за семь давать не следовало...»

Товарищи Плевако на этом процессе — выдающиеся адвокаты Карабчевский и Маклаков. Есть основания упрекнуть их в выборе неверной тактики допроса и той «страстности», какая не рекомендуется при допросе свидетелей обвинения. Плевако уклоняется от участия в допросе, своевре-

менно усмотрев риск получения невыгодного для защиты показания. Зато он заявляет ходатайство об истребовании документа, который, опровергнув эксперта, сыграл важнейшую, если не решающую роль в конечном торжестве защиты.

Об искусстве Плевако вести психологическую защиту, о чарующем, завораживающем воздействии на слушателей его речей по делам об убийствах написано много. В сборнике отсутствует шедевр Мастера — речь в защиту корнета Бартенева, обвиняемого в убийстве артистки Висковской. Ни фразы, ни слова нельзя изъять из этого вдохновенного, законченного произведения без ущерба для его целостности<sup>1</sup>.

Психологический анализ в речи адвоката может решать разные задачи. Вскрывая психологию убийства Бартеневым Висковской, Плевако показывает вину в преступлении самой жертвы, обосновывает, почему нельзя нравственно осуждать подсудимого за то, что он не выполнил клятву, данную своей подруге, — уйти из жизни вслед за нею.

Защищая Лукашевича, обвиняемого в убийстве мачехи, и Качку, обвиняемую в убийстве своего возлюбленного, Плевако доказывает, что преступления совершены в состоянии невменяемости; при защите Ильяшенко и князя Грузинского — что имел место аффект, вызванный противоправным и безнравственным поведением потерпевших.

В настоящее время оба эти вопроса относятся к сфере специальных познаний (а вменяемость — и при Плевако) и разрешаются заключениями судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз. Однако заключения экспертов, несмотря на их научный авторитет, необязательны для суда. Как и другие доказательства, они оцениваются по внутреннему убеждению судей и никакой предустановленной силой не обладают. Для адвоката, участвующего в уголовных делах о преступлениях против личности, знание вопросов судебной психиатрии и психологии абсолютно необходимо. Плевако владеет ими в совершенстве.

Психиатрия и в ее современном состоянии содержит немало дискуссионных вопросов, различные научные школы и направления неодинаково, иногда прямо противоположно, объясняют феномены психической жизни человека. Во времена Плевако судебно-психиатрическая наука только формировалась, поле для дискуссий было еще шире — и в

---

<sup>1</sup> Эта речь неоднократно публиковалась. См.: Речи известных русских юристов. С. 316; *Смолярчук В. И.* Гиганты и чародеи слова. М., 1984. С. 204.

науке, и в суде. Таким «полем» стали судебные процессы Лукашевича и Качки. Плевако отстаивает в своих речах взгляд на психическую жизнь человека как результат сложнейшего взаимодействия прирожденных свойств с условиями среды и воспитания.

С привлечением широчайшего исторического опыта, житейской мудрости и накапливающихся научных разработок он убеждает: нельзя игнорировать влияние наследственности. Прочитывает присяжным страницы из научных работ Каскара, Шульца, Гольцендорфа и других ученых. Особое впечатление, как отмечает очевидец процесса, производят страницы из книги доктора Шюля из Илленау «Курс психиатрии» о детях-наследственниках. Казалось, что это — не из книги автора, ничего не знавшего про Прасковью Качку, а лист, вырванный из истории ее детства.

Но суд — не ученый совет, присяжные — не психиатры. И защитник переводит сухие строки научных фолиантов на сжимающие душу слова из языка жизни: «Само возникновение ее на свет было омерзительно. Это не благословенная чета предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и вызванной им плотской сладострастной похоти, ей дана была жизнь. Ее носила мать, постоянно волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего груборазгульного мужа. Вместо колыбельных песен до ее младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани да сцены кутежа и попойек».

И дальше столь же ярко о последующем психотравмирующем воздействии социальной среды.

Идет 1880 год. Только разгорается дискуссия между антропологическим и социологическим направлениями в криминологии. Чезаре Ломброзо и его сторонники объясняют преступное поведение исключительно влиянием прирожденного, наследственного начала. Оппоненты — только воздействием социальных условий. А московский адвокат Федор Плевако на процессе Прасковьи Качки уже предостерегает от односторонности этих позиций.

Идет 1883 год. В уголовном законе достаточно долго существует норма, предписывающая смягчать ответственность, если преступление совершается в состоянии аффекта, вызванном неправомерными действиями потерпевшего. Но сама аффектогенная ситуация сужена в судебной практике до обстоятельств, непосредственно предшествовавших преступлению. Только в них прокуроры и судьи ищут причины внезапно наступающего сильного душевного волнения.

«Неверно!» — утверждает в своих речах по делам Ильяшенко и князя Грузинского Плевако. Психотравмирующая ситуация может длиться неделями, месяцами, даже годами. Событие, на которое отреагировал аффективной вспышкой подсудимый, само по себе выглядит поводом ничтожным. Необходимо видеть, что оно лишь последняя капля, переполнившая чашу терпения, и проследить, как и чем наполнялась эта чаша.

Идея кумулятивного (накапливающегося) аффекта нашла признание в современной судебной психологии, сформировавшейся у нас как самостоятельная наука в начале 70-х годов. Но пока с трудом пробивает себе дорогу в судебной практике.

Адвокату Плевако приходится вести спор в судебных процессах не только о фактах, но и об их юридической квалификации, толкуя и разъясняя нормы действующего законодательства.

Судьба подсудимого Маруева зависела от истолкования правового понятия «присутственное место»; подсудимых братьев Бодстрем — от решения вопроса: образуют ли их действия состав уголовно наказуемого вымогательства; а братьев Новохацких — от наличия в их деянии признаков такого преступления, как незаконное лишение свободы. Осуществляя защиту по этим делам, Плевако демонстрирует глубокие познания в различных областях права — уголовного, гражданского, административного.

Блестящий правовой анализ законодательства о забастовках проводит Плевако, защищая рабочих Морозовской фабрики. Наказуема не всякая стачка, а лишь нарушающая трудовой договор; протестовать путем массового прекращения работ против произвола администрации — неотъемлемое право рабочих. Для обоснования этих положений Плевако тщательно разбирает нормы не только отечественного закона, но и зарубежного законодательства. Это не демонстрация эрудиции — обращение к правовому опыту европейских государств, раньше России вступивших на путь промышленного развития, позволяет Плевако выявить смысл закона о стачках, который он, как обычно, просто и доходчиво доносит до присяжных: «...если эти люди отказывались от должного и добивались недолжного путем стачки, они нарушили закон; если они отказывались от недолжного и добивались должного — их забастовка вне сферы наказуемости».

Обращается Плевако к зарубежному опыту и выступая поверенным гражданского истца по делу братьев Поповых.

Анализ практики судов Франции оказывается к месту при разъяснении противоправной сущности и общественной опасности торгового мошенничества.

А как быть с утверждением, что Плевако «не выдающийся юрист»?

Высока была планка требований в русской присяжной адвокатуре. Так, Спасович — автор первого русского учебника уголовного права, широкое признание получили также его работы по международному, государственному, гражданскому, авторскому, семейному праву; Арсеньев — почетный академик, глубокий исследователь суда и адвокатуры; Винавер — крупный историк права.

«К чему бесплодно спорить с веком, обычай — деспот меж людей». Был недолгий период в жизни Плевако (1873—1875), когда он занимался научными исследованиями, даже перевел пухлый учебник немецкого профессора Пухты «Курс римского гражданского права». Но этот всплеск прошел незамеченным. Ученых лавров Плевако не снискал. Владение двумя-тремя иностранными языками для русского интеллигента было само собой разумеющимся. Удивить кого-то переводом трудов зарубежных ученых было трудно. А что до научного признания — если уж Спасовича упрекали в том, что он не создал в науке чего-то фундаментального, цельного...<sup>1</sup>

Без особого риска можно утверждать, что научными изысканиями Плевако занялся, чтобы «соответствовать». Не был расположен его темперамент к архивным раскопкам и писанию фолиантов.

Плевако — юрист-практик. В горниле непрерывной адвокатской деятельности, в судебных ристалищах совершенствуются и обновляются его обширные правовые знания. И нет таких теоретических глубин, которых не мог бы достичь адвокат Плевако, если бы это было необходимо для защиты человека, вверившего ему свою судьбу.

Каждое серьезное дело (а есть ли несерьезные?) требует тщательной подготовки. Вновь и вновь обращается адвокат к законодательству, которое, казалось бы, знает вдоль и поперек, к руководящим разъяснениям судебной практики, к правовой теории. Но именно применительно к конкретному делу, а оно всегда своеобразно, в чем-то неповторимо.

Отличительная черта творчества Плевако — постановка общих вопросов, имеющих значение для разрешения конкретного случая. В его речах часто звучат проблемы права,

---

<sup>1</sup> См.: Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 431.

справедливости правосудия, нравственности. Пореформенная Россия расставалась с произволом, делала первые, робкие шаги к правовому государству. Идея права для страны, веками управлявшейся неограниченным административным насилием, была нова, отпугивала неизвестностью. Крепостники, бюрократы, разросшийся чиновничий аппарат приняли в штыки судебную реформу, стремились дискредитировать суд присяжных, приручить, посадить на цепь адвокатуру, затоптать начавшие пробиваться ростки демократии. Слева законность атаковали революционеры-экстремисты.

Сейчас нам довелось познать старую истину: история повторяется — и не обязательно, как фарс, может, как еще большая трагедия. Ввергнутое на семьдесят лет в пучину беззаконий общество вновь делает попытку сменить диктатуру силы на диктатуру права. И для нас также актуальны, как 100 лет назад для наших прадедов, вдохновенное и убежденное слово Плевако о преимуществах гуманного законодательства перед жестокими карами, суда присяжных перед шеффенским судом, открытого состязания обвинения и защиты перед односторонними властными полномочиями государства к обвиняемому. Оказалось, что не только современникам, но и нам — далеким потомкам нужны отточенные аргументы Плевако в пользу допуска адвоката на предварительное следствие: его критика попыток ввести в процесс данные оперативных наблюдений, придать показаниям сыскных чинов полиции предустановленную силу.

Принято выделять два периода в деятельности Плевако как судебного оратора, относя лучшие его речи к молодости и среднему возрасту. «Во втором периоде, — пишет, например, В. И. Смоллярчук, — он был оратором уже менее сильным: к 1900 году улетучивается бывшее увлечение, падает энергия и внутренняя сила слова, а речи становятся бледнее. Если в первом периоде его речи отличались бурной горячностью, колоритностью языка, в них чувствовался пульс жизни и они часто давали толчок к размышлениям, то во втором периоде все более заметной становится усталость и даже некоторая апатия оратора, уже не все его речи захватывают душу. Сам Плевако чувствует это и все чаще отказывается от выступлений даже в крупных процессах»<sup>1</sup>.

В настоящий сборник включены последние речи Плевако — в защиту коншинских рабочих, севских крестьян, Ста-

---

<sup>1</sup> Смоллярчук В. Т. Гиганты и чародеи слова. С. 202.



ховича. Уверен, что они опровергнут приведенную характеристику.

Да, годы стали брать свое, накопилась усталость — без малого 40 лет напряженнейшей правозащитной работы! — подкрались болезни. Но речи не стали бледнее. Пришла мудрость. Наступила пора подводить итоги.

Не знаю, много ли читал Плевако, но вот что много думал — так это несомненно. Не из книг черпал материал для размышлений — из самой жизни. Вся Россия прошла перед адвокатом Плевако в судебных процессах. Рабочие, крестьяне, промышленники, финансисты, поместное дворянство, студенты, князья, духовники, военные, профессиональные революционеры — представители всех социальных слоев.

Каждому гению свойствен дар провидца. Последние речи Плевако — завещание потомкам. Все подмечает его зоркий глаз: незавершенность, половинчатость экономической и политической реформ 60-х годов; всеислие бюрократии, тормозящей промышленное и демократическое развитие страны; нужду и темноту народных масс; искаженное, во многом уродливое, развитие частного предпринимательства.

С тревогой наблюдает Плевако превращение фабричных рабочих в «обессиленный физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами» придаток к машине, в «легко заменимые в случае порчи винтики»; негодуяще осуждает близорукую экономию на социальных и духовных нуждах трудящихся, политику спаивания народа; пристально вглядывается в стремительное увеличение приверженцев революционного насилия за счет необразованных и нравственно неразвитых людей.

Плевако страшится «бесмысленного и беспощадного» русского бунта. «Русская национальная черта...: тишь, молчаливое страданье и взрыв на мгновение... на час-другой, не в смысле природного дефекта, а набегом, мутью, заразой.

Русский человек дает порой Минина, порой Пугачева, порой Пожарского, порой Разина.

А между этими именами — десятилетия и столетия молчания и мертвой зыби».

Всей мощью гражданского негодования восстает Плевако против грязной клеветы лидера черносотенцев князя Мещерского, возведенной на истинного русского патриота Михаила Стаховича. Вот она «гремучая смесь», способная взорвать общественный организм: бедственное материальное положение населения, непросвещенность народа, пра-

вовое убожество, подогреваемая реакционными силами ненависть к инородцам. И в такое время, говорит в своей речи Плевако, «когда в стране не все благополучно», вместо того чтобы «сплотиться и добыть славы и чести земле своей», а со словом публичным «обращаться трепетно и честно», процветают «взаимное недоверие, опорочивание и опозоривание, литературный донос и искажение фактов».

История, увы, повторяется, но ужель и вправду она ничему не способна научить людей?!

«Общество же — что организм, — развивает мысль Плевако, — оно бывает в горячках и лихорадках, в параличе и с увечьями, возбужденное или подавленное».

Как лечить больное общество?

Плевако — решительный сторонник реформ, убежденный противник революционной хирургии и ампутации: «В пережитые нами года практиковался или пробовался на организме хирургический метод. Все кажущееся зараженным или заражающим устранялось из организма: в собственные оздоравливающие силы его потеряна была вера, и вместо гигиены и обыденной терапии в ходу были операции и *medicamenta heroica*».

Незадолго до кончины Плевако включился в политическую жизнь и стал депутатом III Государственной думы от партии октябристов. Решение Плевако заняться политической деятельностью расценивается в нашей литературе как темное пятно в его биографии и преподносится в качестве досадного, случайного эпизода, вызванного, главным образом, нежеланием мириться с заметным спадом адвокатской славы<sup>1</sup>.

Судить о помыслах человека вообще, исторического деятеля, в особенности, — дело рискованное. Слишком крупная личность Плевако, чтобы на склоне лет «тешиться обманом» своей громкой славы. Нет никаких оснований подозревать в неискренности твердого в убеждениях либерала, когда он говорит: «Мы думаем, что Дума должна быть истинной выразительницей воли народа, и прежде всего людей окраины»<sup>2</sup>. Необходимость конституции и парламента для страны осознавалась всеми просвещенными людьми России.

Вполне последовательным было и то, что политические симпатии Плевако отдал партии «Союз 17 октября», провозгласившей своей задачей «оказать содействие прави-

---

<sup>1</sup> См.: Смолярчук В. И. Гиганты и чародеи слова. С. 202—203.

<sup>2</sup> Плевако Ф. Н. Речи. Т. 1. М., 1909. С. 365.

тельству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и общественного строя России». Как и многие либералы-демократы, Плевако считал, что наиболее безболезненно буржуазно-демократические реформы могут быть проведены сверху: слишком слабым было в стране «третье сословие», вдохновлял пример Великих реформ.

Авторитет партии октябристов был подмочен тем, что ним попытались примкнуть черносотенцы. Но поддержки не получили, а свое неприятие шовинизма Плевако имел возможность выразить в речах на процессах Ильяшенко, Горнштейна, князя Мещерского.

Начинать обновление общества следует, по мысли Плевако, с утверждения правды, справедливости, свободы личности. «Вспомните, — обращался он к суду, защищая севских крестьян, — что подсудимым негде было научиться правде. Наоборот, чувство правды у б и в а л о с ь у них всеми средствами и заменялось чувством тупого молчания...

Учить правде следует правдою же! Учить уважению к закону — примерами!»

Сейчас, когда наша заблудившаяся современность продирается к правде, все острее осознается, что фундамент прогресса общества — свобода, честь и достоинство личности. Мы пристально вглядываемся в историю страны, открываем новые для себя имена, вслушиваемся в голоса русских интеллигентов-либералов: философов, ученых, юристов.

Все яснее слышим голос великого русского адвоката Федора Плевако, пытающегося донести до нас простую истину: «Честь — это весь человек. Отнеситесь к вопросам чести легко, снизойдите к мирозерцанию тех, кто обтирается после удара и смеется, слушая обиды, — и общество, приученное этим пониманием к бесчувственности, превратится в толпу рабов, забывших достоинство человеческой личности».

Человек чести, гордый тем, что способствовал, как он выразился на своем юбилее, «насаждению на родной ниве чудес общечеловеческой культуры», — таким был адвокат Плевако.

**Г. М. РЕЗНИК,**  
адвокат,  
кандидат юридических наук

**ДЕЛО**  
**Н. А. ЛУКАШЕВИЧА,**  
*обвиняемого*  
*в убийстве мачехи*

Заседание Екатеринославского суда с участием присяжных заседателей в г. Екатеринославе 7-го и 8-го февраля 1880 г. под председательством Товарища Председателя А. И. Лескова.

Обвинял Товарищ Прокурора И. Д. Ревуцкий, защищал Ф. Н. Плевако.

В ночь на 25 октября 1878 г. отставной ротмистр Николай Александрович Лукашевич, в имении своего отца, дер. Лукашевке, Екатеринославской губ., несколькими выстрелами из револьвера убил свою мачеху Фанни Владимировну Лукашевич.

Фанни Владимировна была второй женою А. П. Лукашевича, у которого от первого брака было два взрослых сына — Николай и Леонид.

Вскоре после того, как Ф. В. вошла в дом Лукашевичей, в нем начинаются ссоры, и отношения всех членов семьи обостряются; старший сын Николай, к которому она относится особенно враждебно, молча сносит ее обиды; младший — Леонид — покидает Лукашевку и поселяется в Екатеринославе.

Семейная жизнь Лукашевичей с каждым днем ухудшается, и незадолго до события 25 октября 1878 г. Ф. В. покидает мужа и переезжает в Екатеринослав.

По причинам, по делу невыясненным, Леонид Александрович Лукашевич кончает жизнь самоубийством, Николай Александрович уже не в состоянии спокойно говорить о мачехе: он подозревает ее в любовной связи с погибшим братом. Самоубийство брата постоянно волнует Николая Александровича и служит всегдашней темой разговоров в Лукашевке.

В ночь на 25 октября 1878 г. в доме Лукашевичей были отец с сыном и поздно засидевшийся у них в гостях аренда-

тор их имения Авраменко; беседа вращалась около смерти младшего Лукашевича.

Ненависть к Ф. В. и раздражение против нее Николая Александровича доходят до крайних пределов.

Вдруг поздно ночью приезжает в Лукашевку Ф. В. для объяснений с мужем. Александр Петрович старается ее удалить и предупредить встречу ее с сыном, но это ему не удается. Несколькими выстрелами из-за спины отца в мачеху Николай Александрович ее убивает.

Приглашенному врачу пришлось лишь констатировать смерть Ф. В.; вскрытием трупа установлено, что Ф. В. в момент убийства была беременна.

Николай Александрович Лукашевич обвинялся по ч. I ст. 1455 Уложения о Наказаниях, т. е. в умышленном убийстве.

Вердиктом присяжных заседателей Н. А. Лукашевич признан совершившим убийство в припадке умоисступления.

Суд постановил: считать подсудимого оправданным по суду и, согласно ст. 96 Уложения о Наказаниях, отдать его родителям или благонадежным родственникам на попечение, с обязательством иметь за ним тщательное наблюдение.

### Речь в защиту Н. А. Лукашевича

Вы, вероятно, помните, гг. присяжные заседатели, что в конце обвинительного акта говорится о том, какое вы будете дело рассматривать, о каком преступлении идет речь, что там вам прочитали статью 1455. Если вы обратитесь к Уложению и посмотрите, что собственно в I части 1455 ст. заключается, какое там преступление имеется в виду, то увидите страшные слова «умышленное убийство».

Мы полагали, что с этим обвинением нам бороться не придется, и после судебного следствия, по-видимому, с этой стороны для нас был выигрыш дела.

Но только что произнесенная прокурором речь закончена тем же обвинением — обвинением в умышленном убийстве.

Конечно, для того, чтобы судить, насколько данные обвинения готовят к подобному приговору, надо выяснить, что за деяние, в котором обвиняют нас? Нет ли в этом отношении между нами какого-нибудь разномыслия?

Но относительно умышленного убийства ни у одного народа не было разномыслия. Умышленное убийство — это

самое страшное зло, на какое только способна злая воля человека, умышленного убийцы. Я не знаю такого заблуждающегося века, я не знаю такого заблуждающегося человечества или отдельного народа, где бы на умышленного убийцу смотрели иначе. На него везде идет гнев законодателя, раздражение общества, строгий приговор суда.

И совершенно понятно. Ведь умышленный убийца — это человек, который умеет заставить в себе замолчать то естественное чувство отвращения, которое возбуждается у человека при мысли о крови, о страданиях, о смерти. Ведь умышленный убийца — это человек, которому ничего не значат стоны, просьбы и мольбы жертвы, которую он разит. Умышленный убийца — это человек, которому ничего не значит разбить те скрижали, которые имеются в сердце всякого человека и на которых написано: «не убий». Поэтому нет выше кары, как кара, преследующая подобное деяние, нет выше зла, как зло — умышленное убийство.

Но ввиду этого законодатель, суд и тысячелетняя мудрость веков давно уже выработали положение в виде математической истины, не допускающей никакого возражения, что не всякое убийство следует считать умышленным убийством, что между убийством умышленным и убийством при других условиях может быть величайшая разница, и законодатель отвел для другого убийства название **запальчивого**.

Запальчивое убийство — другое дело. Здесь человек не имеет времени побороться с нравственными запросами, которые мешают ему исполнить известное зло. Запальчивое убийство необыкновенно быстро появляется, мысль необыкновенно быстро переходит в действие, так сказать, разум и совесть не успевают догнать той решимости, сила которой вызывается причинами, не всегда лежащими в самом подсудимом. В самом поступке запальчивого убийцы видно бывает, от каких причин произошло убийство: произошло ли оно от внешних причин — страха, ужаса, или от причин внутренних — мести, ревности и т. п.

Мало того, запальчивым убийцею иногда бывает человек, который вовремя не мог остеречься от того зла, на которое нечаянно напал. Здесь возможны даже мотивы нравственные, мотивы похвальные. Нередко убийство совершают ввиду того, что человек раздражен силою неправды тех, против которых убийца в минуту запальчивости направляет свою преступную руку.

Многие страны, которые опередили нас своим юридическим опытом, страны, которые более нас имели приме-

ров, более думали над вопросами права, давно выработали у себя образцовый суд, которым мы владеем только несколько лет, — многие страны с давнего времени признали между этими двумя родами убийства такую разницу, что эти два преступления существенно отделены одно от другого. В то время, когда первое рассматривается как тяжкое преступление и суд над умышленным убийцею совершается при помощи представителей общественной совести, которые всегда призываются в самых важных делах, — запальчивые преступления во многих странах рассматриваются как такие деяния, которые не колеблют сильно общественный порядок; этого рода дела разрешают судьи в малом составе, потому что здесь нет уже такой кары, которая идет на преступника умышленного.

Наш закон в этом отношении составляет некоторое исключение. Правда, и он уступил требованиям справедливости: наш закон смотрит на запальчивое убийство, как на такое преступление, которое наказывается слабее; этот род убийства рассматривается как преступление низшего порядка. Но эта разница не выражена в такой существенной форме, как это сделано в других странах. У нас запальчивых убийц приводят сюда, рассматривают вопрос об их участии при вашем участии, а вы, гг. присяжные заседатели, уже по опыту знаете, что вас призывают на дела самые важные: где одни коронные судьи затрудняются разрешить вопрос о виновности, там законодатель призывает на помощь голос общественной совести.

Объяснить подобного рода аномалию в нашем уголовном процессе очень легко: наше Уложение отстало от нашего процесса. В то время, как мы пользуемся теперь судом самой последней выработки, судом, который может поспорить с судебными учреждениями стран более культурных, наше Уложение на несколько лет старше.

Но старость не везде достойна уважения. В нашем Уложении еще осталось много такого, что не подходит к требованиям науки и нуждается в усиленной работе серьезной мысли. Наше Уложение написано в то время, когда о новых судебных учреждениях не было и помину, когда судебный процесс составлял канцелярское производство, от которого общество было совершенно удалено; когда судебные дела решались руками, слишком не подготовленными, когда, по русской пословице, работа делалась топором там, где нужен искусный резец. В то время учение такого рода, которое бы различало убийства умышленное и запальчивое, умело бы отнести данное деяние к той или другой категории, — такое

учение казалось не под силу, — не под силу тем, кто редактировал Уложение и творил суд и расправу.

Вот почему законодатель дал несколько более общую форму понятию о запальчивом убийстве и не обособил это преступление такими резкими признаками, по которым оно существенно отличалось бы от преступлений тяжких. Вот почему разрешение вопроса о том, к какой категории отнести то или другое деяние, передано суду с участием представителей общественной совести.

Но ввиду строгости закона, ввиду важности преступления, называемого убийством в запальчивости, недостаточно было бы остановиться только на том, не подходит ли настоящее деяние к этой категории: это противоречило бы и тем данным, которые дало нам судебное следствие.

Вот почему я должен сказать, что одним спором о том, к какому из двух видов убийств относится настоящее деяние, я не могу ограничиться: задача моя не будет выполнена, обязанности мои будут нарушены. Я должен идти далее, и сам законодатель дает мне для этого средство.

Законодатель знает еще случай убийства, — это случай, когда от моих насильственных действий последовала чья-либо смерть, хотя в моем намерении и не было мысли нанести ее. Здесь законодатель принимает во внимание, что все-таки моя рука была причиною смерти, убийства человека, хотя мысль и не шла за этим. Такое деяние законодатель рассматривает более снисходительно, и раз признают, что, причиняя смерть, преступник не имел умысла, законодатель рассматривает это деяние как менее наказуемое, более терпимое, причем рассуждает так: здесь рука была в несогласии с головой.

Но так как за грех, который совершила рука, за неимением возможности наказать преступную руку, пощадить голову и душу, наказывают человека в целой его личности, а не какой-либо отдельный член организма, то поневоле приходится рассматривать это деяние, как более слабое, которое является продуктом лишь одной руки, без всякого участия головы.

Вот третья форма преследования со стороны законодателя за деяния, производящие насильственную смерть.

Тем не менее законодатель не мог остановиться и на этом. Правда, с большою трудностью, с большою борьбою, шаг за шагом уступая требованиям науки и опыта, законодатель должен был признать, что совершаются убийства нередко в таком состоянии, когда суду человеческому нет места, когда обвинению нет основания. Это — убийства, совер-



шаемые в таком состоянии человеческого духа, когда воля и разум оставляют человека.

В прежнее время трудно соглашались на подобного рода суждения. В летописях старых уголовных судилищ записаны отвратительные протоколы, рассказывающие о колесовании и других тяжких наказаниях, которым подвергались сумасшедшие и безумные за то, что в сумасшествии и безумии совершали те или другие деяния.

Уступая постепенно требованиям жизни, науки и справедливости, законодательство пошло дальше. Не только тот, кто безумен или сумасшедш от рождения, кто неизлечимо болен, бывает в таком состоянии; бывают в таком состоянии и люди, доведенные до болезни обстоятельствами жизни, сложившейся под влиянием особенных условий, которые оставляют в душе те нагноения, под давлением которых человек легко отдается известному току страсти, без всякого участия разума и воли.

Это — те деяния, которые законодатель называет убийством в состоянии умоисступления и доказанного беспамьятства.

При этом законодатель вовсе не карает и объясняет это тем, что человек в это время делается бессмысленным животным, человек делается просто машиной, представляет собою странную смесь, смесь разумной воли с безволием. Законодатель знает преступление, зажигательство в беспамьятстве, — такое преступление, для которого нужен известный ряд действий, известная осторожность, сообразительность: как, куда и в какое время пойти, что зажечь, чем зажечь и т. д., но и в этом случае законодатель допускает доказательства совершения подобного рода деяния в умоисступлении.

Таким образом, пред нами четыре категории одного и того же преступления. К какой из этих четырех категорий отнести данное дело, — это будет служить предметом того слова, с которым в последний раз я обращусь к вам в интересах подсудимого.

Признаюсь, я немало удивляюсь тому недоверию, с каким отнесся представитель обвинения к выводам того эксперта, который по обстоятельствам дела высказал свое мнение о болезненном состоянии подсудимого в момент несчастия.

Замечательно в этом отношении устроена человеческая мысль; вообще, с развитием и образованием, каждый любит наблюдать всякий внешний факт, всякое внешнее явление природы, и истолковывать причины внешних явлений

не только текущих, но и давно протекших. В грудях мусора мы находим причины нынешнего состояния земли, в той или другой форме открываем причины, действовавшие за сотни тысяч лет, а пылкое воображение заходит даже за миллионы лет.

Но когда исследуем человека, то большею частью, как только привяжем известное деяние к делу его рук, так и полагаем, что задача мысли уже окончилась, что весь вопрос уже разрешен: чья рука совершила, того воля повинна. За человеком, вне его, причин не ищем и не признаем.

Прием отчасти разумный, но только им часто злоупотребляют. Разумность его вот в чем состоит. Судебный закон, запрещающий под страхом наказания известное деяние, признает самое суждение о нем мыслимым только под одним углом зрения: человек нравственно свободен и нравственно ответствен в своих деяниях. Но когда человек расстраивается, когда его мысли и чувства идут вразлад с действиями, тогда человек вовсе не ответствен за свои деяния, ибо он не есть необходимый автор тех или других действий и совершает их с такою необходимостью, с какою совершаются внешние явления природы.

Если так, то, собственно говоря, суд и положения закона будут пустыми словами. Если мы признаем человека совершившим известное деяние в силу роковой необходимости, значит он есть та лейденская банка, в которой совершилось то или другое действие, подлежащее исследованию науки. Суд, которому надлежит разобрать, кто виновен и кто не виновен, будет взамен суждения кидать в рулетку о виновности или невиновности человека; но может ли быть речь о виновности человека, которому суждено было совершить то или другое деяние? Может быть, со временем мы узнаем и то, что теперь, по мнению одного из экспертов, находится вне власти науки, обладающей еще малым запасом опыта и наблюдений. Может быть, со временем при новом толчке метафизических, философских воззрений тот инстинкт, который живет во всех, главным образом в обществе обыкновенных практических людей, настолько восторжествует, что придется иметь счеты с каждым деянием. Пока же я считаю совершенно соответствующим требованиям времени понятие об ответственности человека, доколе действия его имеют своей подкладкой свободную волю, потому что и нравственный человек может совершить безнравственный поступок.

Но при этом надобно одно помнить, что человек — не Бог и не демон, что силы его не безграничны и он не может

справиться со всякими тягостями, которые идут ему навстречу. Человеческая душа в этом отношении похожа на человеческое тело. Самый рассудительный человек, отправляясь из одной местности в другую, конечно, старается идти по прямой дороге, — идет прямо, подходит к самой цели своего путешествия; но вдруг навстречу ему буря, от которой нет возможности спрятаться; как бы человек ни был убежден в крепости своих сил, но ему остается одно — пасть на землю — и выжидать, пока буря пройдет.

Сильная буря бывает не только вне человека, но и внутри его; эту бурю представляют собою страсти, которые волнуют человека и разлагают его внутренний мир. Как бы ни был благоразумен человек, как бы он ни желал удержаться от известного зла, но если ему придется повстречаться в собственной жизни со страстями, принявшими размер бури, то разум, который идет прямо, совесть, которая содействует тому, чтобы не шататься в стороны, замолчат, если только вполне разыгралась душевная буря.

Поэтому, как в душевной области, так и в области внешней не тот благоразумен, кто не падает, несмотря ни на какую бурю, а тот благоразумен, который не позволяет себе пуститься в дальний путь в то время, когда его может застигнуть буря и засыпать ему песком глаза.

Но человек — не Бог, силы его ограничены, он должен по возможности избегать всяких душевных бурь и не насаждать в своей душе тех мелких, сорных растений, которые, развившись, могут потом человека погубить. Когда раз, по неосторожности ли человека, или под гнетущим давлением внешних причин, в душе его посеяны те или другие семена, то из семян этих, равно как из семян брошенных в хорошую почву, совершенно естественно выходит роскошная растительность. Как вырастают деревья из семян, так точно из причин являются поступки уже помимо воли человека.

Вот ввиду этого обстоятельства в настоящее время господствует учение, что не нужно быть сумасшедшим навсегда, не нужно быть безумным навсегда, но что можно быть в состоянии невменения, в состоянии того душевного угнетения, которого не существует и прежде события, к которому не бывает возвращения и после него.

С таким случаем, как я думаю и даже убежден, в настоящее время мы имеем дело.

Чтобы понять, в каком состоянии духа и в каком состоянии нравственной ответственности был Н. А. Лукашевич в ту злополучную ночь, в которую совершилось убийство

Ф. В. Лукашевич, нужно себе представить всех действующих лиц той печальной драмы, которая разыгралась в семье Лукашевичей. В этой драме, как и во всех драмах, которые мы видим на сцене, есть главные действующие лица, есть второстепенные артисты и есть люди без слов. Главными действующими лицами в этой драме являются покойная Ф. В. Лукашевич, Н. А. Лукашевич и отец его А. П. Лукашевич. Изучая их характер, их свойства, мы найдем очень многое; мы увидим, что многое, что выполняется волей и характером отдельного человека, есть результат соединения трех взаимно противоположных, несходственных элементов, которые, однако, вместе дают сплошную картину ссор в их семейной жизни.

Эти три лица я назвал. С одним из них, подсудимым, вы, конечно, знакомы более всего, ибо ему посвящались эти дни. Для определения характера этого человека и того, как он мог поступить в злополучную минуту, мы найдем немало данных в его жизни. Но как у дерева первые ростки определяют его будущий штамб и крону, так детство и первые годы ребенка нередко влияют на образование будущего характера, — иначе немислимо говорить о семейных чертах.

Детство Н. Лукашевича не радостное. Хотя мы здесь недостаточно подробно изучили семейную жизнь отца Лукашевича с первой его супругой, но одно оказалось несомненным, — что Н. Лукашевич очень рано был лишен родительской ласки; его увезли подальше от Екатеринослава, в Петербург; из Петербурга он отправился к немцам, в Ригу, где и закончил свое воспитание.

Потом мы встречаем его на театре войны. Про дом свой он знал так, как евреи знали, живя в Египте, про обетованную страну, — что там есть что-то кипящее молоком и медом. На самом же деле этой страны он не знал, он только мечтал о ней.

Вместе с тем он был лишен главного условия, необходимого для правильного роста, того здорового дерева, которое называется «нравственным человеком», — того условия, которое природа предоставляет с рождения всякому человеку; это — участие матери, которую Н. Лукашевич никогда не видел.

Я не думаю, что только во втором браке старика была плохая семейная жизнь. Не было ли и во время первого брака каких-нибудь печальных страниц, которые заставили мать предпочесть держать своего сына вдали от семьи?..

Но отсутствие матери едва ли может быть заменено

чем-либо. Гувернантки и бонны, окружавшие его с раннего детства, едва ли могли посеять в нем какое-нибудь нежное чувство...

Затем он провел свое детство исключительно в мужской школе, в среде мальчиков, в немецком заведении. Понятно, что у него не могло образоваться той необходимой нежности и ласки, которые сообщает человеку материнское воспитание.

Таким образом велось воспитание Н. Лукашевича. Потом, когда он поступил на службу, то был уже человеком зрелым, с характером жестким. Служебная обстановка его также была чужда элементов нежности. Судьбе угодно было поставить его жизнь так, что даже общественная деятельность не приучала к нежности. Едва он успел поступить на службу, как вдруг, по стечению исторических причин, общих для всей России, ему пришлось очутиться в действующей армии, сразу стать лицом к лицу с кровью и страданиями; тут уже и речи не могло быть о развитии нежных чувств.

Там он проводит год. После — возвращается в дом, но здесь застаёт уже существенную перемену. В этом доме давно уже нет матери; в этом доме завелась другая женщина, на правах матери, — Фанни Владимировна, которая имеет своих детей. В доме совершенно другая обстановка. Отец, естественно, мог привязаться, по известным нравственным и физиологическим условиям, и к этой новой женщине. Но привязанность мужа к жене никогда не могла связать мачеху и пасынка тою любовью, которая лежит в самой крови, в самом факте рождения.

Поэтому привязаться к мачехе, почувствовать родственные к ней отношения он не мог. Если эта женщина не отличалась особенно высокими нравственными качествами, если она не имела с ним нравственного общения, то, конечно, отношения между ними с первого же дня должны были быть натянуты, потому что не было того сдерживающего элемента, который примиряет родственною кровью людей даже после вспышки. В то же время его волнуют совершенно другие качества мачехи...

Но школа и служба научили его такту, научили сдержанности, военная дисциплина выработала в нем терпение. Конечно, не любовью к мачехе я объясняю ту выдержку, которая являлась ответом на различные сцены. Не родственным чувством, не духом любви, не примиряющим началом руководствовался Н. Лукашевич, когда подобного рода сцены оставлял без вредных последствий и часто, уходя без

обеда, оставляя на несколько часов родительский дом, бродил с ружьем по полям.

Сдержанность долго его выручала. Но сдержанность без чувства примиряющей любви представляет собою здание из досок, не сбитых гвоздями, здание крайне непрочное и весьма опасное для прикасающихся к нему. Сдержанность — это только средство угнетать волю, загонять снаружи внутрь болезненные наросты. Такт и сдержанность напоминают мне те хозяйственные распоряжения, существующие в некоторых городах, когда накопляющиеся в домах нечистоты, вместо того, чтобы вывозить за город, в самих домах закапывают в землю. Снаружи все прилично и, как будто, есть порядок; но в сущности эти нечистоты накапливаются, накапливаются и заражают ту почву, которая скрывала их. Таким образом, результатом сдержанности являются те горькие плоды, которые, постепенно развиваясь в душе человека, заражают весь внутренний его мир.

Заражение это было тем ужаснее, что противовеса в этой душе и со стороны не находилось. И сама Фанни Владимировна была далека от чувств ласки, дружбы; она вовсе не старалась посеять семена этих чувств в своем пасынке Николае, равно как и в прочих лицах, с которыми она проживала по несколько времени.

Таков Н. Лукашевич в момент приезда его в родительский дом.

В родительском доме живет Фанни Владимировна. Я о ней дурного ничего не скажу и вместе с прокурором разделяю мнение, что на несчастную женщину много наговорено лишнего. Но я считаю возможным пока утверждать только следующее: что у ней характер был никуда не годный. Это я знаю не только из слов домашних; но и из показаний беспристрастных посторонних свидетелей, вроде мирового судьи Ковалевского, Кисель-Загорянского, Орловского и некоторых других.

Вы помните: к кому она ни адресовалась, на всех производила одно и то же впечатление, — в натуре ее для всех заметна была какая-то раздражительность. Приезжает к одному посоветоваться, чтобы начать дело с мужем. Тот говорит: «Нельзя с мужем!..» «Ну, так с сыном!..» Очевидно, начинается дело с сыном не потому, чтобы она действительно была обижена: она начинает одно дело взамен другого, чтобы только удовлетворить известному состоянию духа.

Вы знаете от других лиц, живущих в доме, какой несдержанный характер был у ней по отношению к пасынку. Вы помните, сколько происходило печальных сцен, ярко обрис-

совывающих историю развития отрицательных качеств ее души...

Другой вопрос, что было причиной всех этих историй, кто был виновником в подготовке той почвы, на которой цвели всевозможные семейные безобразия. Быть может, почва эта была подготовлена проделками ее мужа. Может быть, совершенно справедливо, что он женился на ней только для того, чтобы вместо гувернантки по условию, за известную плату, иметь гувернантку даром, к чему присоединялись еще и другие удобства. Быть может, он, не любя второй жены, не любил и детей от второго брака. Все это, может быть, правда. Сам он далеко не владел таким сердцем, которое было бы вполне застраховано от других. Нет! Нет! Это сердце ныне занимал один предмет, завтра другой...

Но если только эти факты верны, то, конечно, женщина, которая мечтала в браке найти новую, обеспеченную, мирную жизнь, не могла быть счастлива. Она не могла относиться с уважением к человеку, который изменяет обязанностям семьянина, будучи в таком возрасте, когда бы уже нужно об измене отложить всякое попечение и настоятельно думать только о том, чтобы нам не изменили по нашим преклонным летам. Отсюда рождается неуважение к мужу; а вместо чувства любви, которое проявляется иногда, как-ким-то придаточным обстоятельством, начинаются те неприятные столкновения, которые весьма естественны в семье, где вместо любви и верности, вместо желания долго жить-поживать, — длинный ряд неудовольствий, обманов, измен и оскорблений.

Все это неизбежно сообщило некоторую резкость ее характеру. На ту беду она была в некотором отношении счастливою матерью, т. е. слишком часто приносила детей своему мужу. У ней появилось естественное чувство материнское. Но, как совершенно справедливо заметил и представитель обвинительной власти, с рождением детей известные отрицательные качества мачехи должны были сделаться ей вполне присущими. Самые добрые качества, качества матери, любящей своих детей, обуславливали в данном случае качества злой мачехи.

К этому надобно сказать, что, кажется, была у ней еще одна привычка — привычка считать в своем доме главным лицом то лицо, которое было главным в ее жизни до выхода замуж: слишком большое значение она придавала своей матери... Видимо, она мало знала ту давнишнюю, вековую истину, что, женившись, люди оставляют отца и мать и жи-

вут самостоятельную жизнью. Таким образом, она вводила в семью еще новый элемент, которому желала дать значение. Входя в дом, она получала права, которых не имели родные первой жены. Весьма естественно, что подобные права не могли не вызвать чувства отвращения в детях от первого брака, а также и со стороны жениной родни. Вы помните, что едва только состоится примирение, немедленно пишется матери: «Приезжайте...» Здесь вы видите новую черту характера, которая обуславливала семейный раздор.

Третье действующее лицо — старик Лукашевич. Я уже сказал мимоходом, что он стар, но не весь... Кроме того, сколько видно из дела, у него есть еще одно качество, качество рисоваться своим горем. Он даже здесь на суде, когда рассказывал длинную повесть своих отношений ко второй супруге, указывал, что, когда он жаловался на свою супругу, то она была кругом виновата, а он всегда был прав. Я оставляю этот вопрос в стороне. Но должен сказать, что есть лица, которых до известной степени можно назвать страсто-терпцами: они любят рассказывать о том, что много страдают, даже болеют, но никогда не страдают за тех, кому сами причиняют страдания; они даже не понимают этих страданий и не упоминают о них; свою впечатлительность они слишком высоко ценят.

Старик Лукашевич был именно таким человеком. Он помнил только то, что ему нехорошо; но что другим худо, хотя бы и по его вине, он это совершенно забывал. Он не стесняясь, здесь на суде рассказывал о своем горе, причем напирал на то, что все его горе шло от второй жены. Следовательно, он не мог делиться с нею своими страданиями, он должен был искать на стороне покровителя, такого человека, с которым мог бы поделиться своим горем.

На ту беду в семейство, по окончании войны, приезжает Н. А. Лукашевич. В доме ему представилась картина не очень радостная. Много изменилось из прежнего с тех пор, как он помнил себя. Правда, не было такого разрушения, какое изобразили м-ль Тюрен и Гофман. Но ведь привычки детства к известному месту вызывают много святых воспоминаний; иногда тот же самый образок, переставленный на другое место, мы считаем не тем; от самых незначительных перестановок мебели картина совершенно меняется. Лукашевич почувствовал, что здесь не тот дом, о котором он мечтал: в нем пахнет чем-то чужим; вместо меду — он встречает горечь; вместо обетованной страны он попадает в египетское рабство.

Затаенные чувства отца, по-видимому, быстро раскры-



лись пред старшим сыном. Чтобы не сделать с ним того же, что сделал с младшим, Леонидом, отец рассказывает ему свое горе, свои страдания, причиной которых выставляет свою жену. Как он мог не верить? Может быть, и в самом деле все это так, тем более, что ему передана только одна сторона медали. Как видно, он искренно верит всему этому; он вполне сочувствует отцу, он переживает все то, что происходило в самом страдающем отце.

В это время мачеха возвращается, и начинаются постоянные сцены. Мачеха все свое раздражение переносит на пасынка. Заботясь о судьбе своих собственных детей, она возмущается тем, что человек молодой, способный работать, живет у них в доме, ест их хлеб и т. д. Вместе с тем она раздражается еще и по другим причинам. Вероятно, под впечатлением рассказов своего отца, сын как словом, так и делом везде показывал, что он принимает сторону отца. А ей казалось, что ее значение в доме умалено, что отец отдает преимущество сыну, что отец даже может подпасть под влияние сына. Неприятностям нет конца... Конечно, ей надобно было попробовать объяснить откровенно, но мы не видим к этому ни малейшей попытки...

Таким образом, душа Фанни Владимировны была совершенно закрыта для старика Лукашевича. Хотя, по рассказам свидетеля Орловского, старик Лукашевич имел прекрасные сведения в деле сельского хозяйства и, быть может, в других подобного рода отраслях знания, но он был плохой знаток человеческой души и тех педагогических обязанностей, которые лежат на всяком отце по отношению к детям. Он слишком щедрой рукой расточал перед сыном свою семейную злобу, он слишком стеснен возбуждал и возбуждал сына против своей жены. Вы знаете одну из тех сцен, которые происходили в Харькове, в Одессе и которые переданы отцом сыну в том смысле, что виной всех этих сцен была Фанни Владимировна.

Но и на этом дело еще не остановилось. Александр Петрович сам раздражался на жену и естественно, что во время раздражения перетолковывал всякий факт в сторону возможно худшую. Он не остановился даже перед очень злым подозрением и указывал на тот знаменательный факт, что с отъездом Фанни Владимировны в Екатеринослав в том же городе живет Леонид, указывал на тот факт, что между ним и мачехой ведется знакомство. Он начал подозревать и, может быть, сам распространял мнение о том, что сын Леонид и жена Фанни дошли до такого порока, которым возмущается здоровое нравственное чувство.

Требовать от отца фактических доказательств сыну было трудно и даже невозможно, потому что подозрение уже засело крепко в душе его.

Вы сами хорошо знаете тот житейский факт, как часто мы любим верить всему худому, если это касается наших врагов, наших недругов, хотя бы на самом деле этого и не было.

Я думаю, что Николай Александрович под влиянием отцовских рассказов о том зле, которое совершается в семье, быть может, склонен был даже верить и этому безобразному слуху.

Я лично готов разделить с прокурором мнение, что, может быть, бедная женщина была оклеветана. Я могу подыскать другие человеческие причины, почему Леонид сошелся с мачехой: у них было общее горе, так сказать, они имели одного общего врага.

Леонид часто жаловался, что отец его обижает в средствах; как он говорил, отец, будучи его опекуном, жил на его средства, а ему отпускал необыкновенно миниатюрную долю — 30 руб. в месяц; он жаловался, что отец даже нанес ему какое-то сильное оскорбление. Во всяком случае, что-то одно из двух случилось. Но то количество денег, которое оказалось накопленным в банке, исключает возможность подозрения отца в растрате сиротских доходов, хотя большей частью опекуны пользуются сиротскими деньгами и весьма часто злоупотребляют в своих отчетах. Не допуская в данном случае растраты и злоупотреблений со стороны старика Лукашевича, как опекуна, нельзя, однако, не признать, что он действительно стеснял своего сына: он слишком урезывал его средства к жизни, так что Леонид должен был бросить школу. Таким образом, в действиях отца он видел сознательную, умышленную деятельность лица, которое мешает ему жить.

Точно так же Фанни Владимировна сознавала, что муж нарушает священнейшие права жены и необыкновенно тяжело поступает с нею.

Вот в этом общем чувстве неудовольствия к человеку, который неправ по отношению известных обязанностей: к одному — отца, к другому — супруга, могла возникнуть такая приязнь, которая обыкновенно соединяет людей преследуемых, обиженных одним и тем же сильным врагом.

Но люди часто бывают слишком подозрительны, и А. П. Лукашевич объяснял все эти отношения иначе. Объясняя их иначе, он не преминул заподозрить самую ужасную связь мачехи с пасынком. Этого рода подозрение он

вселил в смущенную, уже потерявшую равновесие, большую душу Николая Александровича.

Когда подобного рода мысль была высказана ему, то я думаю, что душа его возмутилась до крайней степени. Если бы даже в первый момент, когда сведения эти были ему сообщены, он немедленно дошел до известного зла, и тогда бы человек мыслящий не отказался от изучения этой души.

Для того чтобы уяснить душу, переполненную терпением, подавленную тяжелыми сценами, которые перед нею разыгрывались, мы обыкновенно, для объяснения этих запутанных, трудных вопросов, обращаемся к мудрецам времени. Мудрец веков, один из величайших английских писателей, разработав вопрос о том, как действуют страсти, как действуют разного рода душевные состояния на людей, вывел перед нами образ человека в лице Гамлета не с такими духовными силами, с какими является совершенно обыкновенный человек, Н. А. Лукашевич; но и Гамлет, когда выяснилось, что перед его глазами совершается безнаказанно величайшее из преступлений, что мать отправила на тот свет его благородного отца, сию же минуту обличает супружескую ложь и делается убийцей матери; возбуждение это продолжает действовать и далее: через несколько времени он становится убийцей своего отчима и убивает себя.

То же самое высокое чувство, только в более минорном тоне испытывал Н. А. Лукашевич.

Перед ним восстали образы всех сцен, постигших и оскорбивших его отца в самых священных его правах. Пред ним рисовалась Фанни Владимировна, насмеявшаяся над самыми священными узами семьи. Вместе с тем он и сам являлся страдающим лицом. Страдания его возбуждались с двух сторон. С одной стороны, его волновало чувство гнева. С другой — ужасная связь между такими двумя лицами, от которых нельзя было этого ожидать.

Хотя последнее еще не доказано, но одного подозрения уже достаточно для того, чтобы задавить в человеке все помыслы свободной воли. Правда, человек в таких случаях представляется очень жалким; при этом неизбежны бывают такие явления, что человек даже не видит того, чем он возмущается. События, которые другому человеку не позволяют даже подозревать, становятся доказательством таких отношений между мачехой и пасынком, которых на самом деле, быть может, и нет.

Тем трагичнее становится это положение, что о таком подозрении ему передавали люди слишком близкие. Будучи искренно убежден в этом, при каждой новой встрече с

нею он все более и более раздражался. Но это было уже раздражение больного человека: потупила глаза, заговорила неловко, явился проблеск какого-то чувства, — все это рисовалось в превратном виде. Может быть, чувство раскаяния Ф. В. заставило бы подать ей руку помощи, уговорить ее отступить от этого зла; может быть, Ф. В., ни в чем неповинная, желая разрушить подозрения своего мужа, при встрече с ним хотела открыть ему какой-то секрет, хотела указать главного виновника всех семейных несчастий, — но и это желание Ф. В., вызванное, быть может, прежними дружескими отношениями, раздражало его.

К чувству гнева присоединилось еще другое чувство, которое тот же великий писатель показал в другом герое. Это — герой, который заподозрил свою жену в супружеской неверности, который долго скрывал свое подозрение, но чем дальше продолжал скрывать в себе это сильное чувство, тем оно более развивалось, пока из человека не сделало дикого зверя. Он готов был растерзать своего врага...

В таком положении находился слабый духом Н. А. Лукашевич. Между тем, покойная Ф. В., которая как-то особенно умела вызывать к себе ненависть людей, окружавших ее, нисколько не думала о примирении с пасынком. Напротив, она систематически, искусственно старалась волновать его и для этого придумала еще новый способ — судебный процесс. В начале октября месяца Ф. В. предъявляет против Н. А. в высшей степени неосновательный иск. Она заявляет мировому судье, что пасынок оскорбил ее, ссылается на массу свидетелей. Об этом процессе узнают в окрестности. Процесс этот еще прибавил сраму и без того обесславленному семейству Лукашевича.

Прокурор указал здесь на то, что, может быть, факт оскорбления и существовал, но он только не был доказан, потому что свидетели были расположены говорить в пользу Лукашевича. Утверждать это — значит говорить: я понимаю и умею отличить истину, а мировой судья не мог понять. Но мировой судья — такая же судебная власть, власть, так же способная отличить правду от неправды, как и представитель обвинительной власти. Свидетель рассказывал здесь о том впечатлении, которое произвело это дело на вызванных судьею свидетелей: они полагали, что призваны свидетельствовать по обвинению в чем-нибудь Фанни Владимировны. Но когда им объявили, что они призваны свидетельствовать за Ф. В. о каком-то несбыточном преступлении, то они были крайне удивлены.

Итак, это дело было вызвано известной чертой характе-

ра Ф. В., и мировой судья понял его совершенно правильно. Такого рода факт на душу, зараженную уже известными чувствами, не произвел целебного действия. Это никоим образом не привело к примирению и успокоению. Но зато эта новая сцена имела несомненное влияние на последующие действия.

И вдруг к этому присоединяется еще последнее извещение — о смерти брата, отношения которого к Ф. В. уже давно волновали Н. А., заставляли его задавать себе вопрос: «правда или нет?»

В одно прекрасное утро застрелился в Екатеринославе младший брат Николая Александровича — Леонид. Я не стану говорить об отношениях братьев, потому что не обладаю достаточным материалом для того, чтобы установить, как факт безусловно верный, что отношения братьев были очень дружеские.

Но кто знает человеческую жизнь, ее условия, человеческую природу в особенности, тот не сочтет абсурдом, когда я скажу, что раздирательная сцена, произошедшая у гроба безвременного погибшего брата, много содействовала скорому появлению другого гроба в том же семействе. Нет надобности мне доказывать существование пламенной братской любви и дружбы. Смерть — это тот момент, в который даже вражда, существующая между родственниками, умолкает. Если же не было вражды, а было до известной степени равнодушие, даже внутреннее чувство злобы за тот грех, который подозревался, то все это должно было смолкнуть у гробовой доски. Уже самый гроб все это примиряет.

Брат должен был думать о мотивах самоубийства не без тех мучений совести, которые говорили о грехе, какой он сделал. Стоя у могилы безвременного погибшего, у могилы человека, во цвете лет прекратившего свою жизнь, стоя у гроба, конечно, этот человек должен был, глубоко возмущившись, отыскивать причины смерти. Чтобы найти причину, вызвавшую преждевременную смерть, необходимо было сначала определить, какого рода могли быть эти причины.

Причин внешних не было. Денежные средства его, расстроенные прежде, только что поправились. Не было у него и долгов, чтобы из самолюбия, не имея возможности удовлетворить кредиторов, покончить с собою. Может быть, боязнь предстоящей ему воинской повинности? Но из писем Леонида, которые здесь были прочитаны, мы можем прийти к заключению, что он знал жизнь и не мог не знать, что при настоящих облегченных правилах военная служба не

так страшна, как это кажется. Он мог ясно понимать, что полтора года казарменной службы не были так тяжелы, чтобы предпочесть ей пулю в лоб... Может быть, он боялся быть убитым на войне? Но война кончилась, и было бы нелогично, боясь быть убитым через год, убить себя в нынешнем году.

Очевидно, такого рода мотивов не могло быть. Мотивы, должно быть, лежали во внутренних причинах, в том разобщении, в каком он находился с родительским домом. Может быть, он застрелился от тех подозрений, которые относительно него ходили по городу. Может быть, и совершенно напрасно покойный обвинялся в том зле, которое дикая молва приписывала ему. Может быть, только из-за того, что он открыто принял сторону мачехи, пользовался ее ласками, про него говорили такие вещи.

Можно еще много подобрать разных других мотивов этого самоубийства. Во всяком случае это будут мотивы гадательные: действительные мотивы были известны только ему, и он унес их с собой в могилу.

Так можно было рассуждать о мотивах самоубийства. Но брат его Н. А. не мог так рассуждать. Он жил и рассуждал под тем мирозерцанием, которое в душе его было подготовлено рассказами отца, теми рассказами, которым он вторил.

При этом я не могу не вспомнить одну сцену из того события, которого он был свидетелем. В тот день, когда труп брата поднесли под нож анатома, чтобы в нервах, застывшей крови, в разрезанном сердце отыскать то, что можно было отыскать только в душе, которая под нож анатома не дается, — в эту минуту нужно было пощадить Н. А. От высоких тонов струны лопаются на всяком инструменте. И струны человеческой души не так крепки, чтобы могли выдерживать высокие тоны...

Но даже на самых похоронах разыгралась сцена, которой верить трудно. В ту минуту, когда нужно было смолкнуть и забыться ради общего горя, его личность сильно задевают. На могиле брата ему посылают такой привет, который не мог пройти бесследно даже в здоровой душе. У гроба брата ему шлют такой привет: «И ты, подлец, пришел сюда!»

Одна эта сцена на могиле могла окончательно разорвать уже подорванную душу. Но у него оставалось одно утешение, у него было одно целебное средство, — это деревня, куда он мог уехать, откуда Ф. В. выехала навсегда, взяв с мужа обязательство платить ей известную сумму денег.

Вдруг и она едет туда. Это была непростительная ошибка с ее стороны, которая доказывает, как неосмотрительно поступала покойница, как легко она могла делать ошибки. Она едет в этот дом именно в то время, когда возмущение в доме достигает самых крайних пределов, когда стены вопиют против нее; когда не только родственники, но и чужие возбуждены и разделяют мнение о том, что в смерти Леонида она виновна. Приезд ее был необыкновенно неудачен: она как будто приехала именно для того зла, которое совершилось, для того несчастья, которое обрушилось на голову подсудимого.

Когда Н. А. возвратился в деревню после похорон, то его здоровые, крепкие нервы были уже сильно подорваны. Он постоянно ходил по комнате и не мог ничем заниматься. Его волновала исключительно несчастная судьба покойного. Кроме того, он находился под новым тяжелым впечатлением, которое испытал на могиле брата. Он привык к подобным впечатлениям, когда они получались за столом, при одних и тех же людях, до известной степени привыкших к этой обстановке. Но ведь слова, сказанные ему Ф. В. на могиле брата, были произнесены во всеуслышание, при массе окружающих посторонних людей, которые могли подумать Бог знает что.

Слова эти, быть может, роковые, в ту минуту остались без всякого ответа со стороны Н. А. В то время он еще не мог чувствовать всего значения этого ужасного привета, но такого рода чувства долго действуют и не скоро остывают.

Судьбе угодно было, чтобы Ф. В. приехала в дом поздно вечером, в тот самый момент, когда Н. А. разговаривал о смерти брата с Абраменком, когда он уже сильно волновался. В этот момент, когда шла речь о только что пережитом несчастье, рана, которая еще не зажила, которая, так сказать, затянулась легкой пленкой, вновь была расцарапана. Он вновь начал представлять себе всю историю этого самоубийства, того порядка, который довел до самоубийства его брата и всего того, что совершилось. В это время сердце его опять начало сильно биться, душа его опять стала страдать от того, что уже было пережито; но в это время он еще сильнее страдал, потому что перед ним сразу восстали образы многих сцен.

Я не знаю драмы более удачной по эффекту, нежели та, которую разыграла природа. В то время, когда Н. А. говорил Абраменке: «Больше никто, как она виновата», — в это время входит Еременко и говорит: «Фанни Владимировна приехала».

Об этом докладывают в 11 часов ночи, когда все домашние имели полное право успокоиться. Понятно, какое состояние духа должно было быть у него.

Когда здесь об этом состоянии духа спрашивали людей сведущих, то по данным науки ответ был один и тот же. В это время его аффект достиг высшей степени. Это был такой толчок человеческой природе, при котором в одно мгновение разум и воля оставляют человека: человек делается рабом всего того, что им пережито. Яд, которого так много накопилось в груди, моментально разливается по всему организму, не встречая себе ни малейшего противодействия...

Таким образом, мы покончили с главными действующими лицами и с той обстановкой, при которой они действовали.

Чтобы понять, как быстро эта сцена достигает своей развязки, мне придется сделать отступление в сторону. Нужно напомнить вам, кто были ее свидетели. Большая доля вашего внимания отдана интересному показанию свидетельницы Тюрэн. Ее показание действительно интересно тем, что к каждому ее слову можно относиться без всякого доверия. И тем не менее она — самая достоверная свидетельница не только самого факта, но вообще того, что тамошняя атмосфера вырабатывала из людей посторонних.

В своем рассказе г-жа Тюрэн представила целую повесть о том, что совершалось в этом доме. Правда, ей все казалось в мрачных красках, но некоторые явления она объясняла очень удачно. Г-же Тюрэн все мерещились поджоги, убийства, отравления и т. п. Может быть, это особенность ее болезни, может быть, русские нервы не похожи на нервы людей тех стран, где, благодаря тесноте населения, преступления очень часто совершаются и принимают иногда такие тонкие формы, до каких наша широкая русская натура еще не доросла. Во всяком случае она все видела в темных красках, в таких красках, для названия которых нет даже слов в том языке, на котором она с нами говорила. Вероятно, она всю свою повесть охотнее сообщила бы там, где ей пришлось бы говорить на своем природном языке, без всякой подделки.

И я думаю, что в этом доме были причины, которые располагали к такому мирозерцанию людей, живущих там...

С другой стороны были люди, которые разделяли общее горе, и это было тем опаснее, что разделяли искренно. Во время ссоры, происходившей в коридоре и в той комнате,



где совершилось несчастье, туда и сюда постоянно бегали те женщины, которые жили в качестве гувернанток и бонн. Г-жа Тюрен несколько раз вбегала в детскую — узнать, спят ли дети, то она опять бежит в коридор, то побежит в столовую. Каждому незначительному действию она придает значение. Когда Ф. В. начинает раздеваться, с целью остаться ночевать, г-же Тюрен представляется, что она ищет пистолет. Когда приехавшая с Ф. В. г-жа Волковникова выходит в переднюю (мы этого вопроса не разъяснили, хотя его очень легко можно было разъяснить), ей кажется, что она ходила за пистолетом, что она принесла его, или что-то вроде того.

Всему этому верить нельзя. Но поверьте же тому, что, вероятно, г-жа Тюрен первая вызвала всю эту страшную сцену.

После долгой суеты она обращается к Н. А. и говорит: «Спешите к вашему отцу, — ваша матушка, Фанни Владимировна, что-то хочет сделать ему».

Такие слова, как искра к пороху, были поднесены человеку, находившемуся в высшем состоянии аффекта, человеку, который в этот день подводил итог своим страданиям.

К несчастью, мы поздно хватились, что эксперты не слышали обвинительного акта; поэтому я не мог с достаточной ясностью рассмотреть вопрос о самих выстрелах. Между прочим здесь было сказано, что все выстрелы были сознательно направлены в цель. Но для нас не имеет особенного значения число выстрелов. Для нас важен другой вопрос — о той решимости, с какою был сделан первый выстрел. Если вы вспомните то расстояние, на котором были произведены выстрелы, то увидите, что первая пуля была смертельна, что она положила женщину на месте, а прочие уже вошли в труп — изнизали тело уже погибшей женщины. Очевидно, человек, который производил эти посмертные выстрелы, уже не владел своей рукой. Тут был человек, который действовал в страхе того зла, которое отделило его руку от сознания, окончательно помраченного искрой — криком Тюрен и поздним приездом Ф. В. Лукашевич.

Убийство совершается мгновенно. Раздирательные сцены следуют одна за другой. Проблеск сознания, что сделано великое, ужасное зло... Он бежит заявить сельской полиции о том, что случилось. Его догоняют, берут. Он приходит в какое-то исступление, начинает рвать на себе платье. Потом это возбуждение сразу переходит в минорный тон. Сын становится на колени перед отцом и просит прощения: «Прости, отец! я убил твою жену, мою мачеху».

Отец, в свою очередь, стоя на коленях, умоляет сына не налагать на себя рук.

Может быть, эти факты, которые имели место вслед за выстрелами, не подходят под картину аффекта? Но представители науки, конечно, не откажут мне в ответе, если бы я предложил им такой категорический вопрос: все ли случаи и все ли формы душевных болезней записали они на страницах своей медицины? Можно ли признать, что изложенные по этому предмету правила никогда никаким исключениям подвергаться не могут? Наверное, представители науки скажут, что на подобные вопросы другого ответа, кроме отрицательного, быть не может. Действительно, многие факты в судебной медицине уже обобщены, но наука еще далеко не дошла до таких положений, которые бы представляли собою математические истины, по которым можно было бы заранее определить, каким логическим законом разрешается та или другая задача. Поэтому дальнейшее поведение Лукашевича, если и не вполне совпадает с тем, как обыкновенно разрешаются аффекты, все же не может служить доказательством того, что он совершил зло сознательно. Наконец, один из представителей науки обратил здесь внимание на случай, который свидетельствует о замечательной сознательности убийцы в состоянии аффекта. Это — случай, когда отец в состоянии аффекта зарезал своих детей, затем отправился в полицию заявить об этом и просил, чтобы, прежде чем его арестуют, ему подали медицинскую помощь.

Странные бывают явления в природе человека, и наука еще не сказала нам своего последнего слова. Сознание и бессознательность, воля и безволие так перепутываются в душе человека, что, сколько бы мы ни изучали ее природу, мы никогда не можем сказать, что в будущем каждый отдельный факт из жизни отдельного индивидуума не представит ничего такого, что бы нам еще не было известно, еще не было нами вполне изучено...

*(После трехминутной паузы).* Около мертвого трупа Фанни Владимировны началось судебное следствие. Судебный следователь собирал данные о том, каким образом произошла эта смерть. Судебный следователь убедился даже в том, что мертвый труп унес не одну жизнь, что он унес с собою в могилу жизнь, еще не начавшуюся, а только зарождавшуюся. Но уже сам прокурор и обвинительная камера не признали возможным вменить в вину Лукашевичу, чтобы он знал, что мачеха его была беременна. Этот факт был вне его воли. Я даже не знаю, для чего упоминают о

том, что она была беременна, если это не может иметь никакого отношения к его деянию. Я думаю, что правильно поставленная юстиция всякое случайное зло, стоящее вне нашей воли, не может выставлять на суд, доколе желает, чтобы ваш приговор был приговором чистого правосудия. И если указывают на то, какие неожиданные последствия произошли от того или другого деяния, последствия, которые были для нас самих неведомы, но от которых пострадало еще другое лицо, этим сводят современное состояние юридической науки на старые понятия, согласно которым наказание есть возмездие за содеянное зло. Между тем современное правосудие имеет более высокие задачи, его цель — не карать и не миловать, а разрешать вопросы о виновности по внутреннему убеждению и чистой совести.

Прежде чем окончить защиту, мне нужно остановиться на некоторых мелких замечаниях представителя обвинения, в речь которого вкралась несколько уродливых соображений. Со стороны обвинения вам, между прочим, было указано на то, что на настоящем следствии некоторые свидетели, преимущественно свидетели подсудимого, сознательно добавили такие события, о которых не было сказано на предварительном следствии, предполагая, что такие события, хотя их на самом деле не было, помогут подсудимому.

Я должен защитить подсудимого от подобного нареkania.

Здесь было указано на показания двух свидетелей — старика Лукашевича и г-жи Тюрен. Г-жа Тюрен прямо заявила, что некоторые события, записанные на предварительном следствии, не совпадают с тем, что она говорила. Я думаю, если принять во внимание, что следствие писано на русском языке и писано совершенно правильно, чисто русским человеком, то не будет никакого сомнения в том, что некоторые слова свидетельницы, плохо владеющей русским языком, прошли еще через цензуру судебного следователя, — он выправил мысль просто в интересах грамотности. В этом легко убедиться, если мы вспомним показание Тюрен, данное ею здесь на суде.

Но не так резко соображения г. прокурора относительно показания Тюрен, как относительно показания отца Лукашевича. Прокурор говорит, что г. Лукашевич не поместил в предварительном следствии важного факта, на который ссылается здесь на суде, — об одном из номеров той гостиницы, в котором будто бы покойная жена его имела свидание с пасынком Леонидом. Что подобного рода факт создан

свидетелем, а не нами, что в этом факте ни мало не повинен подсудимый, это видно из характера нашей защиты. Едва настоящее дело, в силу закона, перешло в мои руки, как подсудимый слишком хорошо понял и узнал, что на такие сомнительные данные представитель его на суде ссылаться не будет; что представитель его на суде не возьмет на свою совесть, не будучи внутренне убежден, клеветать на покойную женщину; что в этом отношении защита ограничивается только указанием на то, что А. Лукашевич, верил ли или не верил он, говорил ли правду или клеветал на свою покойную жену, но об этом факте передал Н. Лукашевичу и таким образом пустил в его большую душу подозрение.

Во всяком случае анализ этого случая с покойными второй женой А. Лукашевича и сыном его Леонидом вовсе не входит в нашу задачу. Да это не может входить и в задачи представителя обвинения, потому что эти лица уже ушли от нашего земного суда, уже явились на суд небесный, на тот суд, который всякому воздаст по делам его.

Я не буду останавливаться на других мелких соображениях представителя обвинения. Представитель обвинения, между прочим, указывает на то, что показания всех домашних свидетелей, совершенно согласные между собой, возникли на почве предварительных соглашений, что показания эти о характере покойной резко отличаются от показаний других, посторонних свидетелей относительно ее личности. Понятное дело, что подобного рода соглашения могут быть установлены только теми лицами, в интересах которых заставить свидетелей показывать на суде в ту или другую сторону.

Но у нас есть русская пословица, довольно удачно обрисовывающая характер человека, живущего в семье: «в людях — ангел, не жена; в доме с мужем — сатана». Человек может быть дома один: может и поссориться, и подраться; но как только явится к посторонним людям, он будет совершенно другой. Чувство ли деликатности, ложный ли стыд, но во всяком случае в человеке есть какое-то чувство, которое заставляет его дома быть одним, а вне дома другим. На людях человек всегда сдерживается от тех резкостей, которыми судьба его наделила. Поэтому нет ничего удивительного, если Фанни Владимировна вне дома выказывала иногда такие качества, которых в доме никогда не проявляла.

Вот те мелкие замечания, которые я имел сделать против некоторых соображений прокурора.

Оканчивая свою обвинительную речь, прокурор опять-

таки остановился на предумышленном убийстве. Отрицая в данном случае возможность убийства в запальчивости, он утверждал, что Н. Лукашевичу выгодно было оставаться в доме отца, и этим мотивировал то деяние, которое Лукашевич совершил против Фанни Владимировны. Если бы только такая цель была в деянии подсудимого, то Лукашевич, не будучи от природы совершенно лишен здравого смысла, должен бы был понимать, что хотя бы даже подобного рода деяние и совершилось, хотя бы ему и удалось удалить этим путем из дома мачеху, но и сам он в этом доме не остался бы. Когда люди прибегают к известному средству, то прежде всего думают о целесообразности этого средства. А если мы остановимся на целесообразности, то увидим, что в этом отношении прокурор безусловно проиграл свою мысль. Если подсудимому выгодно было остаться в доме из каких-то корыстных видов, то ему также было выгодно в те тяжелые дни, когда брат его лежал в гробу, быть как можно ласковее с своей мачехой, которую он считал виновницей смерти брата. От смерти брата он вдвое разбогател и должен был отказаться от всякого возмущения против мачехи. Обыкновенно, когда к таким людям переходят средства, они бывают очень рады тому, что чья-то другая рука позаботилась о благе их и увеличила их благосостояние. Таким образом, эти два основания умышленного убийства падают сами собою.

Я вначале предполагал другой способ исследования настоящего дела, способ подведения деяния подсудимого под запальчивость, и думал, что по отношению к запальчивости мне придется долго бороться с прокурором. Но прокурор сам достаточно подробно доказывал, что запальчивости здесь нет; по его мнению, здесь должно быть что-нибудь одно: или выше запальчивости, или ниже запальчивости. Таким образом, сам прокурор указал нам на невозможность подведения настоящего деяния под запальчивость и раздражение.

Тем не менее перед нами все-таки мертвое тело, которое бы не было мертвым, если бы в 1878 г. не существовало ночи на 25-е октября. Но так как эта роковая ночь была, и обстановка ее вызвала печальный поступок со стороны Н. Лукашевича, то я утверждаю, что здесь никакого умысла не было, что сама рука поднялась в то время, когда он был выведен из себя сбивающим с толку криком г-жи Тюрен, которой казалось, что отцу его грозит какая-то опасность, которая испугалась какой-то драки.

Если это так, то, хотя Н. Лукашевич поступил и неосто-

рожно, тем не менее он не совершил преступление, а впал в преступление. Его душа, подавленная предшествующим горем, была доведена до такого состояния, которое, наконец, превысило его силы: он не перенес этого и впал в преступление. Часто у людей не его темперамента, не его закала, у людей старых, опытных, являются такие действия, которые свидетельствуют нам, что многие люди, в высшей степени достойные, по-видимому, застрахованные обстоятельствами жизни от всяких побуждений к тому или другому преступному деянию, нередко совершают преступления. И их оправдывают. И понятно: когда заберется в душу тот червь, который покоится неизвестно где и незаметно подтачивает духовные силы человека, то вдруг, моментально, существо разумное превращается в существо непонятное, — дикого зверя... Вот почему я думаю, что и в данном случае будет справедливо признать то состояние души, при котором нет места для вменения, то беспамятство, до которого человек был доведен путями, часто скрытыми от нас.

Я всегда разделяю то убеждение, что есть истинный смысл у законодателя, который менее преследует людей, совершивших известное зло, если предшествующие обстоятельства располагали к этому. Например, если в пьяном виде человек совершает преступление, то принимается во внимание, каким образом человек очутился в таком состоянии. Хотя человека в пьяном виде законодатель признает в известной степени больным, тем не менее, если человек искусственно, умышленно привел себя в такое состояние, то он карается. Если же человек постоянно находится в состоянии опьянения, то законодатель относится к нему гораздо снисходительнее.

Опьяняет душу человеческую не одно вино. Опьяняют еще и страсти: гнев, вражда, ненависть, ревность, месть и многие другие, между которыми бывают даже благородные побуждения. Поэтому нет ничего труднее, как анализировать душу и сердце человека. Здесь нужно тщательно разобрать, какое чувство закоренилось в груди, откуда это чувство явилось, когда и как оно развивалось? Конечно, рассудительный человек должен избегать стоять на такой дороге, где ему грозит какая-нибудь опасность. Но вот что бывает: иногда то или другое злое чувство искусственно развивают даже те самые лица, против которых оно направлено. В деле Лукашевича замечательно ясно обрисовалось, как это злое чувство сеяли другие: Н. А. представлял собою только почву, на которой щедрой рукой разбрасывались разного рода семена, семена того, что могло только угнетать его душу. От

самого рождения он был лишен всего того, что могло бы правильно развить его душу. Наконец, после тяжелой болезни, после изнурительных походов он довольно долгое время почти на каждом шагу сталкивается с несчастной Фанни Владимировной, в которой было все, что угодно, но только не было любви, мира, не было человеческих отношений к Николаю Лукашевичу. Поэтому я думаю, что голос защитника в этом случае есть голос смысла человеческого, что я говорю не столько в интересах подсудимого, сколько в интересах правосудия. Сознывая, что на моих плечах висит судьба подсудимого, я в то же время чувствую, что на моей обязанности лежит высокая задача содействовать правильному отправлению правосудия.

Представители науки ясно сказали нам, что мы имеем дело с аффектом, причем один из них отнес, и совершенно основательно, этот аффект к аффектам высшей степени. Вы скажете, как же при совершившемся зле, при признании со стороны самого Лукашевича того факта, что он застрелил свою мачеху, каким же образом можно сказать, что он в этом не виновен? Я не стану на это возражать моими соображениями, но скажу словами одного из достойнейших представителей вашей власти — словами одного из прижанных заседателей.

Недавно, две-три недели тому назад, Петербургский окружной суд, после довольно продолжительной сессии, закончил свои занятия. Когда председатель суда благодарил присяжных этой сессии за тот труд, который они понесли, то из их среды выступил почтенный профессор Таганцев и, обратясь к суду с речью от лица своих товарищей, сказал: «Присяжные заседатели, в свою очередь, приносят признательность суду за доставление им возможности исследовать всякое дело до мелочей»... При этом профессор добавил: «Уходя из залы суда, присяжные чувствуют, что они честно исполнили свою задачу. Да не смутит суд тот факт, что мы нередко выносили оправдательные вердикты, несмотря на то, что деяния были совершены. Для того чтобы признать человека виновным, еще недостаточно одного факта, им совершенного: мы ищем в деянии его злой воли, и только тогда, когда злая воля оказывается в наличности, для нас виновность человека становится вне всякого сомнения; в противном же случае совесть не позволяет нам обвинить человека».

Что же такое злая воля? Мне думается, злая воля — это та способность человека, тот грех человеческой души, когда, понимая зло, человек желает его сделать, когда личный или

имущественный интерес стоит у человека на первом плане; когда из-за того или другого интереса человек не желает знать ничьих страданий; когда самолюбие или корысть заглушают для него стоны и мольбы жертвы; когда человек говорит себе: «в моей собственной воле предписано ему умереть, и он должен умереть».

Вот злая воля. Карайте злодеев! Но когда такой злой воли нет, — пощадите душу человека. В том или другом зле часто сквозь гниль просвечивает чистое существо. Когда вы увидите, что есть только верхушка зла, а внутри лежит здоровый зародыш души, случайно зараженной, тогда по совести вы должны освободить такую душу от злокачественных наростов, вы должны пощадить эту душу. Когда вы увидите руку, обогренную кровью, думайте, что это преступная рука; но когда под этою кровью видна белая, чистая, на преступление неспособная рука, тогда остановитесь: эта рука еще способна на человеческие дела. Если я сию минуту наткнулся на лужу крови, виновата ли моя рука? Когда другая сила, сила внешних обстоятельств натолкнет меня на зло, будет ли моя вина?

Когда перед вами предстанут люди, в исследовании жизни которых вы увидите, что в их катехизисе написано, что для личных, или даже общественных целей, они готовы на всякое убийство, — карайте их. Когда перед вами стоят люди, которые в борьбе за тот или другой принцип, задавшись известными целями, не разбирают средств, — карайте их, не останавливаясь ни на минуту. Но когда перед вами стоит человек, которого вина вот в чем: одни пришли, меч принесли; другие наточили; сама жертва пришла, подняла этот меч; нашлись и те, которые дали меч в руки, — то вы подумайте, можно ли покарать этого человека?

Таков, по обстоятельствам дела, оказывается подсудимый Н. Лукашевич.

Меч ему принес отец, точили его друзья, плохие друзья — гувернантки и бонны, которые каждую минуту приносили все необходимое, чтобы меч не затупился в его руках. Сама жертва играла с этим мечом: она не оберегалась, а когда меч был уже поднят, она сама пришла, хотя тот вовсе и не думал...

Все совершилось в одну минуту. Это не было то раздражение, при котором человек схватил оружие и пошел отыскивать жертву. Это редкий случай, что жертва сама пришла, сама искала возможности, чтобы из человека сделать зверя.

Припомните, что происходило в то время в коридоре



дома Лукашевичей, припомните всю ту суету, какая там была, и скажите достойный ваш приговор. Он пишется не на теле, а на душе человека, который понесет позор.

Не могу не закончить мое последнее слово просьбой к вам, просьбой, обращенной когда-то в этом зале к другим слушателям, которые сказали одно слово, и человек был чист от суда.

Вероятно, многие из вас в часы досуга бывали в театре и видели на сцене перед собой пьесу, в которой ревнивый любовник, в диком возбуждении своих страстей, пронзает кинжалом своего врага. Вы тогда приходили в экстаз, вы аплодировали, вам это казалось таким естественным чувством: вы аплодировали не тому, кто так верно изобразил эту ужасную сцену, но тому, кто действовал в этой сцене.

И вот перед вами теперь стоит и смотрит на вас человек, который не роль играет, а со страхом ожидает вашего приговора на всю жизнь. Перед вами стоит человек, который не искал преступления, но которого преследовало преступление. Неужели для этого человека уже ничего более не осталось, кроме сурового, кроме холодного обвинительного приговора? Суровый приговор окончательно отравит его на всю жизнь. Семейство Лукашевича много пережило горя. В этом семействе весь путь испещрен кровью, труп лежал, жизнь уничтожалась.

Спросите ваш здравый смысл, будет ли суровый приговор соответствовать интересам правосудия? Посоветуйтесь об этом с вашей умиротворяющей совестью и скажите ваш справедливый приговор, — мы примем его с благодарностью...

## ДЕЛО КОСТРУБО-КАРИЦКОГО,

*обвиняемого в краже и  
изгнании плода*

23 июля 1868 г. живший в своем имении майор Перемешко-Галич сообщил полиции о том, что у него украдено разных процентных бумаг на сумму около 38 000 руб. Он заявил, что эти процентные бумаги вместе с другими находились в ящике письменного стола в его кабинете, что 20 июля он, не пересматривая, взял их с собой в Липецк, а по возвращении домой обнаружил недостачу в 38 тыс. руб. Ящик стола взломан не был. Ключ же, которым ящик открывался, был найден в той же комнате.

В то время, когда, по предположению Галича, произошла кража, в квартире его из посторонних находились воинский начальник Николай Кострубо-Карицкий и племянница Галича Вера Павловна Дмитриева. Относительно участия Корицкого или Дмитриевой в краже денег ни у кого подозрения не возникало.

Через 3 месяца после пропажи процентных бумаг Галич узнал, что в г. Ряжске Вера Дмитриева, назвавшись женой майора Буринской, продала одному местному купцу 2 выигрышных билета.

Допрошенная, по указанию Галича, судебным следователем, Дмитриева признала факт продажи ею в Ряжске двух билетов. Объяснить происхождение этих билетов она, ссылаясь на запямятование, отказалась. Назвалась она чужим именем потому, что не хотела, чтобы стало известно ее пребывание в это время в Ряжске. В следующем своем показании, данном через несколько дней после первого, Дмитриева дала другое объяснение, которое устанавливало участие Кострубо-Карицкого в краже денег у Галича.

Дмитриева показала, что в Ряжск она ездила ввиду приближения родов, что проданные ею билеты дал ей Карицкий, с которым она в течение 4-х лет находилась в связи, что назвалась она чужим именем тоже по его совету. Она рассказала затем о своей поездке вместе с Карицким в Мос-

кву, где она по его поручению меняла процентные бумаги. При всех этих поездках, связанных с наступлением родов, она постоянно получала от Карицкого различные процентные бумаги. В последний раз, когда она уезжала, Карицкий дал ей большое количество купонов и попросил ее купоны эти разменять только в Москве, в других же городах ими не пользоваться.

О краже процентных бумаг у своего дяди Галича она сообщила Карицкому. Он велел ей об этом никому не говорить.

Кострубо-Карицкий заявил, что все рассказанное о нем Дмитриевой неверно. Предварительное следствие, однако, дало как-будто некоторые указания, подтверждающие участие Карицкого в краже. Было выяснено следующее: во время предполагаемого совершения кражи Карицкий был у Галича и имел свободный доступ к письменному столу, в котором хранились деньги. Допрошенные свидетели показали: служащий под начальством Карицкого капитан Радугин — что Карицкий, действительно, вместе с Дмитриевой ездил в Москву; один из купивших у Дмитриевой билеты, — что у нее было свидетельство, выданное Карицким на поездку в Москву, и, наконец, отец Дмитриевой Павел Галич показал, что она созналась в краже процентных бумаг лишь после долгого уединенного разговора с Карицким.

Из последующих показаний Дмитриевой выяснились факты, послужившие причиной обвинения Кострубо-Карицкого также и в том, что он, с согласия Дмитриевой, употребил средства к изгнанию ее плода. Она объяснила, что Карицкий, узнав от нее, что ей предстоят роды, неоднократно предлагал ей различные средства для производства выкидыша. Для этой цели он обращался к докторам Дюзину и Сапожкову (оба эти лица были привлечены по этому делу в качестве обвиняемых). Сапожков, после нескольких попыток сделать ей выкидыш, от этого отказался. Тогда сам Карицкий, узнав от Сапожкова, как надо делать выкидыш и получив от него же для этой цели инструкции, у себя на квартире сделал Дмитриевой операцию, после которой у нее родился недоношенный ребенок.

Карицкий и по этому обвинению отрицал свою вину и утверждал, что с Дмитриевой в связи никогда не был и что она на него клеветает.

Свидетели отчасти подтвердили рассказ Дмитриевой и показали, что о близких отношениях Карицкого с Дмитриевой знали многие.

Врач Сапожков, отрицая свою вину, показал, что Дмит-

риева несколько раз просила его устроить ей выкидыш, что от нее он слышал, что беременна она от Карицкого и что после выкидыша Карицкий обещал ему достать место врача в гимназии.

Дюзин сначала признал себя виновным в том, что уговаривал Сапожкова произвести выкидыш Дмитриевой, а затем от этого объяснения отказался.

Все эти лица вместе с обвинявшейся за недонесение Кассель судились Рязанским Окружным Судом с участием присяжных заседателей с 18—27 января 1871 г.

Полковнику Николаю Кострубо-Карицкому было предъявлено обвинение в краже процентных бумаг на сумму около 38 тыс. руб. и в употреблении с ведома и согласия Дмитриевой средств для изгнания ее плода; вдова штабс-капитана Дмитриева обвинялась в укрывательстве похищенных бумаг, в именовании себя непринадлежащим ей именем и в употреблении средств для изгнания плода; врач Сапожков — в употреблении средств для изгнания плода; инспектор врачебного отделения Рязанского Губернского Правления врач Дюзин — в подстрекательстве к этому преступлению; и, наконец, Елизавета Кассель в недонесении об этих преступлениях означенных лиц.

Председательствовал Родзевич. Обвинял тов. прокурора Петров. Защищал Кострубо-Карицкого — Ф. Н. Плевако; Дмитриеву — кн. А. И. Урусов; Сапожкова — Городецкий; Дюзина — Спасович и Кассель — Киревский.

На суде все подсудимые свои показания подтвердили. Кострубо-Карицкий продолжал настаивать на полной своей непричастности к тем деяниям, которые ему ставились в вину, указывал на свое высокое положение, которое не могло позволить ему совершить преступление и все объяснял желанием Дмитриевой опорочить его.

Дмитриева, сознавшись в принятии мер к вытравлению плода, подробно рассказала об участии в этом преступлении, а также в похищении денег у Галича Кострубо-Карицкого.

Защитник Дмитриевой кн. Урусов, подробно разбирая показания Дмитриевой и Карицкого, приходит к заключению, что показание Дмитриевой правдиво, что оно заслуживает полного доверия, что нет никаких оснований предполагать, что Дмитриева клеветает на Кострубо-Карицкого.

Несмотря на отсутствие прямых улик против Кострубо-Карицкого, кн. Урусов, указывая на ряд противоречий в его показаниях, на целый ряд очень тяжких косвенных улик, полагает, что Карицкий совершил как первое, так и второе

преступления. Своим высоким общественным положением Кострубо-Карицкий хочет обмануть правосудие.

Речь Плевако в значительной своей части посвящена возражению кн. Урусову.

Все подсудимые были оправданы.

### Речь в защиту Кострубо-Карицкого

Гг. присяжные!

Вчера внимание ваше было посвящено двум речам: речи обвинителя и речи защитника Дмитриевой, которая, по свойствам своим, была тоже обвинением против Карицкого.

По окончании этих речей, когда слово мое было отложено до другого дня, признаюсь, не без страха отпустил я вас в вашу совещательную комнату; не без страха за участь того подсудимого, который вверил мне свою защиту, оставил я вас под убийственным впечатлением обвинений, которые так беспощадно сыпались вчера на его голову.

Защитник, кончая свою речь, обращал к вам не просьбу о помиловании Дмитриевой, а требование обвинить Карицкого, обвинить — во имя равенства, братства, во имя христианского милосердия, — и последние слова этой речи: «обвините, обвините его, согните его гордую голову!» провозжали вас в вашу комнату, как бы стараясь проникнуть туда вслед за вами...

Это страшно!..

Но защита Карицкого не лишена еще слова, — и вот, с надеждой на свои силы, я приступаю к исполнению своей обязанности.

Я уверен, что вы не допустите укорениться в вашей совести убеждению, что после слышанных вами вчера обвинений нет надобности в дальнейшем разъяснении дела, нет возможности иными доводами, которых еще не слышали вы, разъяснением иных обстоятельств, которые были обойдены моими противниками, подорвать цену всех их слов и соображений.

Вы поймете, почему слышанный вами вчера защитник, защищая Дмитриеву, обвинял Карицкого и вносил какую-то особенную страстность во все свои обвинительные доводы, — вы должны понять, что виновность или невинность Карицкого есть вопрос жизни или смерти для Дмитриевой...

Вы слышали речь защитника, — эта речь была особен-

ная, исполненная нехороших слов против всех свидетелей, которые показывали в пользу Карицкого. Вы слышали, что этими свидетелями руководила трусость перед начальством, что они чуть не клятвопреступники, что на них были затрачены огромные деньги, и проч. и проч. Слепленный страстностью борьбы, защитник Дмитриевой и во время всего судебного следствия, и в речи своей указывал вам, что свидетели говорят заданные уроки, что мы явились во всеоружии интриги и подкупа...

Я не пойду этим путем.

Здесь, в храме правосудия, единственное дело защиты должно заключаться в спокойной и бесстрастной оценке фактов, в обстоятельном разъяснении улик. Здесь не место увлечениям, — мы должны быть чужды их, мы должны отогнать от себя все недостойное дела правосудия, которому мы служим. И обвинитель и защитники одинаково специально изучают дело, хотя и смотрят на него с различных точек зрения; обвинение не выше защиты, и защита не выше обвинения, — закон признает их равноправными: все должны быть равны перед законом...

Положение мое в настоящем процессе особенно трудно, и потому я прошу вас, гг. присяжные, пожертвовать мне несколькими часами усиленного внимания. То обстоятельство, что, кроме обвинителя от правительства против моего клиента, явился еще другой обвинитель, заставляет меня и дает мне, кажется, право обратиться к вам эту просьбу и просить, требовать от вас ее исполнения. Когда обвинение одного подсудимого раздается в суде из уст защитника другого, когда задушить другого — значит снять петлю с себя, — тогда начинается страстная борьба не на жизнь, а на смерть, и средства уже не разбираются.

Как бы то ни было, но эта борьба объявлена мне, и я должен вступить в нее.

Прежде всего я должен заметить, что ни обвинитель, ни защитник Дмитриевой не доказывали вам прямо виновность Карицкого в тех преступлениях, в которых обвиняется он по определению московской судебной палаты. Нет, они требовали от вас разрешения других вопросов, которые, правда, наводят на некоторые размышления, способны даже бросить тень на Карицкого, но, в смысле прямого обвинения, ничего не доказывают ни за, ни против него.

Таких вопросов поставлено было перед вами три: доказана ли связь Карицкого с Дмитриевой, доказано ли свидание их в остроге и, наконец, имела ли какие-нибудь основания Дмитриева для своей клеветы? Затем, разрешив утвер-

дительно два первых из этих вопросов и отрицательно последний, обвинение заранее торжествовало победу.

Но я не признаю этой победы. Я не признаю себя побежденным даже и в том случае, если вы, не решаясь совсем обратно ответить на предложенные вам вопросы, допустите только иную комбинацию ответов.

В самом деле, если вы решите, что и связь и свидание Дмитриевой с Карицким доказаны, и в то же время скажете, что Дмитриева могла все-таки оклеветать его, — то и в таких ответах ваших обвинение еще не найдет для себя прямой опоры. При наличности трех фактов, о которых идет речь, перед нами встает новый, самый существенный в деле вопрос, на который еще нет ответа: достаточно ли их для обвинения, можно ли на основании только этих фактов признать Карицкого виновным? Ведь, кроме некоторых данных о связи и свидании, судебное следствие не дало нам ничего такого, на чем могло бы быть построено обвинение Карицкого. Кража денег, подговор Дюзиным Сапожкова, прокол пузыря — не имеют ни в чем подтверждения, кроме слов Дмитриевой... Несуществующий факт не может иметь доказательств, — оттого их и нет, и на них никто не указывает.

Оба обвинителя, чувствуя недостаточно крепкую почву под ногами, дают в своих речах обширное место таким соображениям, которые вовсе не идут к делу и даже не заслуживают ответа с моей стороны.

Вам говорили об особенной важности настоящего дела, о высоком положении одного из подсудимых, о друзьях и недругах его. Вам говорили, что дело это решает вопрос о силе судебной реформы, решает болезненное недоумение общества, — может ли новый суд справиться с высокопоставленными подсудимыми. Обвинитель указывал вам на положение и известность защитников, связывал с этим возможность их влияния на общественное мнение и рядом указывал на свою малоизвестность.

Унижение паче гордости, — подумали мы тогда!

Вам говорили о каких-то слухах, — что влияние сильных людей и денег коснулось даже и вас...

И все это, как венцом, покрылось последними знаменитыми словами того обвинения, которое вы слышали вчера из уст кн. Урусова. Проповедуя вам символ либерализма — великие идеи равенства и братства, он, во имя этих идей, сумел просить вас осудить Карицкого, — осудить его даже и в том случае, если против него нет основательных улик, если и плохо доказано обвинение...

Светлое учение равенства, думаю, хорошо знакомо мне, вам и всем людям: оно прожило уже тысячелетия. Но с того самого дня, когда впервые было возведено оно на земле, и до вчерашнего, конечно, никому не удавалось сделать из него такого пристрастного, такого извращенного применения!..

Пусть же пройдут мимо вас все эти громкие, благозвучные, но недостойные фразы. Вы пришли сюда сотворить правый суд, которого ждут от вас и общество, и подсудимые. Вы не решите и не должны решать вопросов о судебной реформе, о том, быть или не быть новому суду, силен или слаб он в борьбе с подсудимыми.

Таким вопросам здесь не должно быть места.

Здесь другие вопросы: жизнь и смерть, позор и честь, свобода и несвобода...

Жизнь одного человека дороже всяких реформ, и если бы за оправданием Карицкого должен был последовать конец нового суда, то и тогда вы все-таки обязаны оправдать его, если только по совести не признаете его виновным.

Вы не обвините его, по учению равенства и братства, за то, что он стоит выше других. Вы знаете, что каково бы ни было положение человека в обществе, оно — его заслуга, его труд, пользоваться плодами которого он имеет полное право. Лишить его принадлежащих ему прав за то только, что он выработал себе высокое положение в обществе, во имя братства, несмотря на бездоказательность обвинения, приготовить ему, по-братски, позор и бесчестие, — такую просьбу могло сказать вам только ослепление, только человек, которому совершенно чуждо и неизвестно то учение, которое он здесь так старательно проповедывал. Но вы иначе понимаете это учение и ваша совесть научит вас иначе применять его к житейским вопросам...

Теперь я последую за речью товарища прокурора и постараюсь во всех подробностях разобрать ее.

Обвинитель прежде всего говорит, что ребенка Дмитриевой не Кассель бросила на мосту, а Карицкий, и как-то непонятно доказывает это тем, что ребенок оказался именно на мосту, а не под мостом, в овраге, спускаться куда было бы Карицкому опасно.

Я положительно не понимаю такого соображения и думаю, напротив, что если бы Карицкий бросил ребенка, то он бросил бы его непременно под мост. И для этого вовсе не нужно было спускаться в овраг, — ведь ребенок был мертвый, а с мертвым нечего церемониться: можно было бросить вниз и прямо с моста.



Не ясно ли, что неопытная, трусливая рука работала это дело?

И если вы припомните, что Кассель признала себя виновною в подкинутии ребенка, то, конечно, вы никоим образом не припишете это Карицкому, хотя товарищ прокурора и старается доказать противное разноречием Дмитриевой и Кассель относительно того часа, в который последовали роды.

Он спрашивает: «матери ли не знать этого часа?» Я отвечаю: Конечно, мать, лежащая в родовых муках, вряд ли имеет возможность наблюдать за часами...»

Далее, переходя к оговору Дмитриевой Карицкого относительно прорвания ей околоплодного пузыря, товарищ прокурора считает этот оговор вполне вероятным и искренним. Карицкий берет у Дмитриевой уроки, как вводить зонд в матку, — значит, это для него новое дело, и он не может знать, как оно кончится: может быть, Дмитриева даже умрет от этой операции. Но Карицкий считает лишними подобные опасения: он настолько смел, что решается проколоть пузырь в своей квартире, хотя это не трудно бы сделать и в квартире Дмитриевой, где делались и вспрыскивания, и души, где можно положить больную прямо в ее постель.

Что за нелогичность! И неужели такой оговор, такое странное показание можно не считать клеветою?!

Из числа свидетелей более всех не понравился обвинителю Стабников, показание которого дышет правдою, хотя и служит в пользу Карицкого. Показание это точно, подробно, и вместе с ним на сцену является записка Дмитриевой, которая бросает новый, яркий свет на все дело.

Как быть? Как подорвать значение этого неумолимого факта?

Свидетеля заподозривают, его начинают сбивать и для этой цели обращаются к суду с просьбой вызвать целую массу новых свидетелей. И вот гонцы от суда рассылаются по всей Рязани и в какие-нибудь полчаса собирают толпу людей, которых суд начинает допрашивать.

Но свидетели не противоречат Стабникову, а только подтверждают его показание. Тогда показание это заносят в протокол, не скрывая намерения преследовать Стабникова за какое-то преступление...

Все это совершается перед вами; но несмотря на все это, факт, что Кассель рассказывала Стабникову о том, что прокол сделан врачом Битным, что Кассель показывала ему записку Дмитриевой, — остался неопровергнутым. Из слов

Кассель, из слов жены Стабникова, вызванной в свидетельницы из числа публики, сидевшей в зале, происхождение записки еще более подтвердилось.

Действительно, г-жа Стабникова иногда разноречила с мужем, — но возможно ли помнить все мелочи в жизни, особенно, когда не знаешь, что помнить их надобно для какого-нибудь дела? А говорить, что сходство показаний всех этих свидетелей находится в связи с темными предположениями о влиянии, — было бы совершенно неуместно. Свидетели эти взяты по просьбе защитника Дмитриевой, солидарного с прокурором в обвинении Карицкого, — взяты вдруг... Не вся же Рязань закуплена Карицким! Стабников даже и вызван в суд Сапожковым. Неужели Карицкий сам не вызвал бы его, если б только он знал, что будет показывать Стабников!..

Обвинительная власть поставила перед вами вопрос о побуждениях, какие могли иметь подсудимые для совершения выкидыша. Понятно, что у Дмитриевой могли быть побуждения: скрыть беременность было ей нужно и по отношению к мужу, и по отношению к отцу, и к кругу знакомых.

Но нет этих побуждений для Карицкого!..

Теперь я должен несколько остановить ваше внимание на показаниях Галича, дяди Дмитриевой, который по делу о краже является в качестве потерпевшего лица.

Этот свидетель объяснил нам, что в июне 1868 года, когда у него в деревне ночевал Карицкий, все деньги были целы. Были они целы также и в начале, и в середине июля, т. е. до и после поездки его в Воронеж. Пропажа обнаружилась в конце июля. Галич помнит, как и когда он брал с собой деньги. Украденная пачка лежала отдельно, когда была в Липецке, в деревне же деньги лежали вместе. В июле Карицкий у Галича не был, а Дмитриева была и в деревне, и в Липецке.

Показание это дает нам капитальные факты: Карицкий был в июне, деньги при нем и после него были целы; деньги пропали в июле; пропажа случилась в Липецке. Вы, вероятно, помните, что, когда окончил Галич свое совершенно ясное показание, на него напали и целыми сотнями вопросов целый день старались сбивать несчастного старика! Всякая малейшая неточность его вызывала всеобщее изумление. Доходило до того, что фразы: «я проверял бумаги и видел, что они целы», и «я проверял пачки, вижу, что они целы, — отсюда я заключал, что все в целости», — называли противоречием, называли доказательством ничтожности слов свидетеля.

Но ведь это заходит за пределы житейской опытности, за пределы здравого рассудка. Кому придет на мысль сомневаться, что в жизни разве только незанятый ничем человек будет ежедневно перебирать все свои бумаги и деньги? Обыкновенно, если деньги лежат в пачках, то целостность этих пачек ведет к заключению о целостности и денег.

Свидетель, говорят, сбивался под перекрестным допросом. Еще бы не сбиться! Вместо вопросов о деле, вместо выпуклых фактов, надолго остающихся в памяти, его закидали вопросами о мелочах, которых человек не помнит и не считает нужным помнить. Путем различных подробностей, путем утомления свидетеля повторением одного и того же наконец добились каких-то неточностей, о чем и было во всеулышание объявлено.

Но кто внимательно прислушивался к показанию Галича, тот вынес из него, конечно, то, что вынес и я, т. е. что деньги похищены не в июне, что они были целы в июле и пропали в конце этого месяца, когда Карицкого не было у Галича.

В это время там было другое лицо, — оттого-то защита Дмитриевой и стремится к невозможному усилию — момент кражи объяснить задним числом.

Предполагая в Галиче свидетеля, поющего по нотам, изготовленным Карицким, обвинители забывают, что дружба Карицкого и Галича сильна только верой в честность Карицкого, и что дружеская услуга Галича Карицкому, простирающаяся до укрывательства его вины, была бы слишком необъяснимою странностью.

Давая полную веру всем рассказам Дмитриевой, товарищ прокурора требует от Карицкого ясных доказательств того, что он не ездил с нею в Москву менять украденные билеты.

Карицкий представил такое доказательство в виде свидетельства, выданного ему из канцелярии воинского начальника. Разве этого мало? Разве свидетельство это не подтверждено свидетельскими показаниями?

Но обвинители Карицкого не останавливаются ни перед чем, не пренебрегают никакими средствами: они бросают темные тени на все наши доказательства. Они оспаривают формальное свидетельство, говорят, что свидетели не могли объяснить закона, который допускает выдачу подобных справок. Кн. Урусов глумится, указывая на то, что свидетельство выдано подчиненными Карицкого своему начальнику.

Неправда! День выдачи свидетельства опровергает эту

остроумную заметку: Карицкий был не воинским начальником, а обвиняемым в то время, когда было дано ему это свидетельство. А между тем свидетели совершенно ясно разъяснили, почему отсутствие Карицкого должно было оставить за собою след в делах его управления...

Что касается до вопроса о пропаже контромарок, то свидетели подтвердили этот факт, и мы видим, что обвинение обрадовалось этому: оно доказывает этим, что у Карицкого было побуждение украсть деньги.

Но, увы, контромарок пропало только на 37 руб.!..

Теперь мне следует сказать несколько слов о показании свидетеля Соколова, бухгалтера здешнего казначейства, которое, по моему крайнему убеждению, должно быть истолковано в пользу моего клиента, потому что оно изобличает само себя...

Но мне что-то дурно, и я прошу у председателя небольшого отдыха...

*(После 10-минутного перерыва).*

Я остановился, гг. присяжные, на показании свидетеля Соколова, продавая которому похищенные у Галича билеты, Дмитриева будто бы сказала, что билеты эти принадлежат Карицкому: так показал свидетель на суде.

Но странно, почему ни одним словом не заикнулся он об этом на предварительном следствии? Между тем, из показаний г. Соколова видно, что он хорошо понимает значение того факта, о котором свидетельствует, и потому, я думаю, если бы только этот факт был в действительности, то он, сознавая его важность, непременно показал бы о нем следователю...

И вот я снова спрашиваю: почему не сделал он этого? Не потому ли, что самого факта не было, что ничего подобного сама Дмитриева никогда не говорила ему, что показать так понадобилось теперь по каким-нибудь посторонним соображениям?..

Не подумайте, чтобы я желал вступить на тот путь, который сам осуждал в начале своей речи. Нет, я не буду кидать в свидетеля грязью, не возьму на себя права называть ложью его показание.

Притом, по моему мнению, всякое показание может быть и не лживо, и не достоверно в одно и то же время: свидетель может говорить неправду и думать, что он говорит правду, — это совершенно естественно. Он может ошибаться, может, будучи очевидцем некоторых фактов, придать к

ним много новых, — таких, о которых только слышал он, и которые были восприняты его умом путем различных предположений.

Так и в настоящем случае: свидетель Соколов легко мог усвоить себе несуществующие обстоятельства и показывать во вред моему клиенту, предположив, что он виновен... И это не удивительно! В деле, которое наделало так много шума, в котором обвинение против одного подсудимого несвоевременно раздается даже из вчерашних газет, неуместно вспоминаящих суд над Юрловым и Обновленским, — подобные обвинительные обстоятельства могут являться на устах свидетелей.

Но вас не должно смущать это.

Далее, в качестве улики против Карицкого, товарищ прокурора выдвигает и то обстоятельство, что в начале 1869 года, около станции Рязанской железной дороги, в снегу, найден был конверт с купонами от билетов Галича. Дмитриева находилась в это время уже под арестом, — значит, она не могла подбросить конверта, и в этом я совершенно согласен с обвинителем.

Но что же из этого? Товарищ прокурора спрашивает: кто, кроме Дмитриевой, мог подбросить купоны?.. И отвечает: конечно, тот, кто боялся оставить их у себя как улику в краже, т. е. Карицкий, ежеминутно ожидавший обыска.

Я положительно не понимаю этого соображения. Мне кажется, что если бы купоны действительно находились у Карицкого, и ему нужно было бы уничтожить этот след преступления, то достигнуть этой цели, не разъезжая подбрасывать их, он мог бы более легким способом: зимою в каждом доме, каждый день, топятся печи и камины...

Вот как несостоятельна эта улика.

Выдвигая ее, обвинение само подрывает доверие к себе: оно прибегает к натяжкам, — из этого видно, что оно доказывает невозможное или, по крайней мере, то, что не может быть доказано.

Перейдя к свиданиям в больнице и остроге, из которых первое имеет за себя действительно веские аргументы, я и здесь не могу не указать на то, что свидание осторожное далеко не бесспорно.

Морозов, смотритель острога, и ключница утверждают, что его не было, и последняя свидетельница обвинителем не опровергнута. Для нее, как уже оставившей занятия в остроге, для Морозова, который уволился от должности смотрителя, нет особых причин скрывать свое упущение по службе.

Их опровергают бывшие арестанты Громов, Юдин и Яропольский.

Но, вопреки предварительному следствию, один из них показал, что не видал, а ему сказали, что был Карицкий, другие разноречат в обстоятельствах, относящихся до одежды, в какой был Карицкий, и других, правду сказать, мелочах, которые, однако, имеют свое значение.

Свидетели эти появились на предварительном следствии при странных обстоятельствах. Они сидели в одной камере вместе с десятками других арестантов. Один из них, Громов, поступает в дворянское отделение, чтобы прислуживать в камере дворянина-арестанта. Там лицо, которому он прислуживает, спрашивает его и затем доносит, что к Дмитриевой приезжал Карицкий.

Доносчик называет из полусотни арестантов только троих, и все трое арестантов оказываются из числа таких, которые на другой день должны оставить тюрьму. Прочие оставшиеся, которых можно было бы десяток раз переспрашивать, почему-то не знают ничего об этом свидании.

Сближая эту странность с тем, что донес о свидании Карицкого не кто другой, как Сапожков, в то время находившийся под стражей, мы получаем относительно свидетельских показаний арестантов совсем иной вывод. Вывод этот делается еще более основательным, если вспомнить, что Дмитриева сама здесь опровергает единообразное показание свидетелей о часе свидания. По их словам, свидание было в 7 часов, при огне, а по ее словам, это было в 3 часа, т. е. днем.

Опровергая свидетеля Морозова, обвинитель и защитник Дмитриевой главным доводом считают показание нотариуса Соколова. Непримириемое противоречие — между ним и Морозовым.

Одно странно в показании г. Соколова: разговор Морозова с ним ограничился, по его словам, двумя фразами. Раз приходит к нему Морозов и говорит: просится у меня Карицкий к Дмитриевой. И более ничего.

Соколов не может указать по этому делу никакого разговора с Морозовым, хотя, по его словам, дело его интересовало. Морозов ему ничего более не говорил. Интересное признание Морозова им хранилось почему-то в секрете, и только благодаря особенному участию, с каким один из свидетелей заботился о ходе процесса, секрет сделался известен защитнику Дмитриевой и обнаружился на суде.

Странно, почему Морозов, ни о чем по делу Дмитриевой не разговаривавший с Соколовым, приходил к Соколо-

ву, сказал ему эти две фразы, необходимые для будущего его уличения на суде, и более никогда ни о чем не говорил. В этой странности простая причина недоверия моего к Соловю.

Свидание в больнице прокурор основывает на показании Фроловой. Но самый ее рассказ, что между Карицким и Дмитриевой, людьми, относительно говоря, состоятельными, шел спор о том, дал или не дал Карицкий Дмитриевой 10 руб. за то, чтобы она показала у следователя так, как он ей сказал, служит лучшим опровержением действительности события. Если припомним, что, по осмотру, оказалось, что замазка окна, которое, если верить Дмитриевой, отворялось для свидания, была суха, какою она не могла бы быть, если бы была недавнего употребления, то обстоятельство свидания будет далеко не достигнуто, если можно считать событие это все-таки возможным.

Вопрос, во всяком случае, — спорный и решить его я предоставляю вашей совести и убеждению, гг. присяжные.

Вот и все фактические доводы, выставленные обвинением. Как видите, будучи озарены светом защиты, они лишаются всякой силы и значения.

Более фактов нет в деле, — я покончил с ними. Теперь я должен вступить в темный лес тех обвинительных предположений, которые опираются, главным образом, на оговор Дмитриевой, имеющий вид чистосердечного сознания.

Много ли в нем чистосердечия — это мы увидим...

Была ли связь между Карицким и Дмитриевой? Вот неразрешимый вопрос, вокруг которого вращалось все судебное следствие. Дмитриева упорно настаивала на связи, — Карицкий также упорно отрицал ее.

Я, со своей стороны, не придаю большого значения разрешению того, кто из подсудимых более прав в настоящем случае; но, если угодно моим противникам, я готов даже признать существование связи, хотя и должен заявить, что судебное следствие не убедило меня в этом.

В самом деле, свидетельницы Царькова и Акулина Григорьева, т. е. прислуга Дмитриевой, и свидетельница Елена Гурковская, дочь хозяйки того дома, в котором несколько лет живет подсудимая, не дали нам решительного, категорического ответа на вопрос о связи. А между тем, от прислуги, от людей, с которыми живешь под одной крышей, мне кажется, трудно утаить подобную связь, как бы секретны ни были сношения любовников.

Никто не видал, чтобы Карицкий и Дмитриева позволяли себе ту простоту и бесцеремонность обращения, которые

допускаются между людьми близкими. Царькова показала, что иногда она уходила ночевать к матери и, по возвращении, получала от г-жи Кассель выговоры, что «вот мол тебе спокойно, а я всю ночь беспокоилась, — у нас ночевал Карицкий»...

Давая веру этому показанию, придется допустить, что несчастные любовники дожидались случая остаться наедине и провести вместе ночь до тех пор, пока их горничной придет в голову случайное желание уйти на ночь из дому. Что за странные отношения! Я не буду, да и не могу проникать в душу Царьковой, — вы сами оцените ее показание. Замечу только, что, если Дмитриева остерегалась своей горничной, то, вместо того, чтобы постоянно скрываться, она могла бы, кажется, совсем прогнать ее от себя...

Существует еще один сильный аргумент против связи: это — те близкие, родственные отношения Дмитриевой к семейству Карицкого, которых не отрицают ни мой клиент, ни сама Дмитриева. Жена Карицкого чуть ли не каждый день ездит к Дмитриевой, ухаживает за нею, целые часы просиживает у ее постели, с теплым сочувствием следя за той болезнью, виновником которой был Карицкий...

Скажите, в каком краю мы живем? Что это за Аркадия?! Жена в нежной дружбе с любовницей мужа... Естественно ли это?..

Близкие отношения свои к Карицкому Дмитриева хотела доказать, между прочим, и письмами, которые она писала к нему на «ты», как к своему «милому Николаю».

Но что за странная судьба этих писем на «ты». Одно из них, содержащее в себе упрек и весть о гибели, не доходит до Карицкого и прямо из кармана Дмитриевой попадает к следователю; другое вместо Карицкого, посылается к Камневу, который, к сожалению, не любопытствовал прочесть его. Напротив, те письма, которые получают Карицким, писаны на «вы», самым холодным и вежливым тоном.

Далее, в числе доказательств связи следуют солдаты, которых посылал Карицкий к Дмитриевой. И, наконец, право этой последней пользоваться экипажем Карицкого. Вот и все.

И все эти доказательства, повторяю, не убеждают меня в существовании связи...

Но вам говорили еще о слухах, говорили, что связь была известна всей Рязани.

Я — не рязанец, не знаю здешних сплетен и не могу судить, насколько основательны они. Но вы, быть может, признаете их за доказательство. Хорошо. Признайте суще-



ствование связи, — я уже сказал, что не придаю ей никакого значения в настоящем деле.

Что же из того, что связь между Карицким и Дмитриевой действительно была?.. Если смотреть на дело беспристрастно, без предвзятой мысли во что бы то ни стало обвинить человека, то нечего было и спорить из-за этого вопроса. Неужели мужчина, находящийся в связи с женщиной, непременно участвует во всех делах своей любовницы, непременно главный виновник всех ее преступлений?

Мне возразят на это, что в противном случае, если бы подсудимый не сознавал себя виновным, — ему незачем бы было скрывать свою связь перед судом, зная, что всякое отрицание доказанного факта может служить во вред ему. Я вполне согласен с этим: отрицание подсудимым безразличных фактов, дозволительных поступков кидает тень на все его показания.

Но дело в том, что связь мужа с чужой женой, с точки зрения общественной нравственности, — вещь далеко не дозволительная; связь эта на обыкновенном языке называется преступною, и открытое признание ее, хотя бы и здесь, на суде, не могло быть безразлично для Карицкого, который имеет дома больную жену и детей, имеет, наконец, и известное общественное положение, не как подсудимый, а как человек.

Этим объясняется поведение Карицкого на суде. Может быть, он стал на ложную дорогу и, раз допустив себя до этого, все более и более сбивается с прямого пути.

Но ложь, обнаружившаяся в одном случае, еще не доказывает лжи во всем. Допустим, что Карицкий солгал в отношении связи, — разве это доказывает, что и все его показания, от первого до последнего слова, были ложью?

Нет! Оставьте за ним право не представлять собою особых совершенств и быть таким же человеком, как и все другие...

Рядом с вопросом о связи в настоящем процессе стоит другой вопрос, на который и во все время судебного следствия, и в речах с особенною силой напирали обвинители, надеясь найти в его разрешении твердую улику против Карицкого.

Это — вопрос о свидании, которое, так же как и связь, и не доказано и, как я думаю, не имеет в деле обвинения моего клиента никакого значения.

Свидание в остроге само по себе не составляет преступления: арестанты имеют полное право видаться с родственниками, людьми близкими, знакомыми; в тюрьме, как из-

вестно, происходят сотни вполне законных свиданий. Значит, в настоящем случае весь вопрос сводится к цели и средствам свидания, к тому, что было результатом его.

Прежде всего признаем самый факт: пусть свидание в остроге совершилось, — между Карицким и Дмитриевой, как людьми когда-то близкими, оно совершенно естественно.

Но какую же цель могло иметь это свидание? Вот существенный для обвинения вопрос.

Дмитриева говорит, что Карицкий явился просить ее снять с него оговор и заставил, умолял ее, написать известную записку.

Правда ли это? Рассмотрим показание Дмитриевой.

Карицкий приходит к ней просить о снятии оговора о выкидыше, когда еще нет никаких данных у следователя для обвинения его, и ничего не предпринимает по краже, относительно которой Дмитриева уже дала показания. Карицкий торгуется с ней, предлагает 4000. Она просит 8000 руб. из числа выигранных по внутреннему пятипроцентному билету.

Но никаких 8000 руб. Дмитриева никогда не выигрывала; а так как на предварительном следствии этот факт был положительно опровергнут справкой из банка, который указал имена выигравших по 8000 руб. и в числе их Дмитриевой не было, то Дмитриева почти об этом не упоминала, и, следовательно, рассказ Дмитриевой о торге между нею и Карицким относится к области вымыслов, как и весь ее оговор.

При свидании все время сидел смотритель Морозов, а когда ему надобно было выйти, то вместо него был поставлен часовой солдат. Таким образом, если верить Дмитриевой, то Морозов допустил тайное свидание, но не допустил разговоров Дмитриевой, один на один и, уходя, поставил свидетеля — часового, чтобы сделать это свидание известным большему числу лиц.

В этой путанице подробностей я вижу дальнейшее неправдоподобие оговора. Дмитриева покончила на этом, когда давала свои объяснения суду. Далее она не шла. Замечу, что столько же подробностей свидания занесено и в обвинительный акт.

Надобно заметить, что у Дмитриевой господствует прием показывать на суде только то, что записано в обвинительном акте. Сколько бы показаний у нее ни было на предварительном следствии, но на судебном она их знать не хочет: она держится только слов, занесенных в этот акт.

Но на суде обнаружили записки, писанные ею из тюрьмы. Записки эти оказались целы в руках г-жи Кассель. Появление их было до известной степени ново. Но Дмитриева, однако, знала о них, так как муж Кассель приходил к ней и напомнил о существовании этих записок не более месяца тому назад.

Пришлось дать об них показание, и Дмитриева рассказала, что в то время, когда она виделась с Карицким в остроге, она, по просьбе его, написала их. Но так как он ей не дал денег, то она ему их не отдала, а потом отдала их смотрителю. Смотритель возил их к Карицкому, потом привез их назад, зажег спичку и сжег их при ней. А так как записки целы, то, значит, что смотритель ее обманул, — сжег вместо этих записок похожие на них бумажки.

Вот какие объяснения дает г-жа Дмитриева.

Выходит, что при свидании она не согласилась снять оговор с Карицкого, но написала, по его приказанию, записки на имя Кассель. Выходит, что Карицкий, которому нужно немедленно снять с себя оговор, опозоривающий его имя, выманивает у нее записки, которые цели своей не достигают и во все время следствия не были известны, не были представлены к делу.

Записки, которые так дорого ценятся, которые смотритель ездил продавать, которые притворно сжигаются, чтобы убедить Дмитриеву, что их нет, — записки эти вдруг гибнут в неизвестности и ими не пользуется Карицкий во время предварительного следствия, когда они могли дать иное направление делу.

Соответствует ли природе вещей, чтобы записки, при происхождении которых была, по словам кн. Урусова, разыграна глубоко задуманная иезуитская интрига, — были оставлены в тени, были вверены г-же Кассель и при малейшей ее оплошности могли перейти в руки врагов Карицкого, благодаря экономическим соображениям г-жи Кассель?

Объяснение о происхождении записок, составляющее последнюю часть показания Дмитриевой об осторожном свидании, лишено всякого вероятия. А если вы разделяете со мною недоверие к слову Дмитриевой, то от этого, сначала так много обещавшего, факта, для обвинения ничего не остается.

О всех преступлениях Карицкого мы слышали только от Дмитриевой: она обвиняла его во всем, сваливала на него все, — и это называют ее сознанием, и на этом основываются все выводы и надежды обвинения!

Все обвинительные пункты против Карицкого построе-

ны на оговоре Дмитриевой, — значит, более серьезных, более основательных доказательств его несуществующих преступлений нет в деле.

Что же касается до тех соображений обвинительной власти и тех рассказов Дмитриевой, которые я возобновил в вашей памяти, то на них, собственно говоря, не стоило и останавливаться, и если вы позабудете их, то дело ничего не потеряет от этого...

Что должен я опровергать? Оговор? Но это такая слабая улика, которая почти не требует ответа. Оговор всегда служит в пользу оговаривающего и во вред оговариваемого, — это всем известно. Поэтому в старом Своде оговор никогда не был признаваем за улику.

Оговаривая Карицкого, Дмитриева перешла даже черту, отделяющую мир действительности от мира фантазии. Несуществующие выигрыши, неестественнейшие интриги изобретает она для своих целей.

Я не хочу обвинять ее, но я должен обличить ее ложь. У Карицкого в остроге она требует восемь тысяч, которые когда-то выиграла и передала ему. Он соглашается отдать четыре. Но в деле есть свидетельство государственного банка, которое положительным образом утверждает, что никаких 8 тысяч никогда Дмитриева не выигрывала. Следовательно, этот выигрыш — ложь с ее стороны, а кто лжет в одном, тот лжет и в другом, — эта ложь обличает и весь оговор Дмитриевой.

Обвинение в краже колеблется меж двух лиц: между Карицким и Дмитриевой. Повторяю, я вовсе не хочу обвинять Дмитриеву, не желаю следовать примеру ее защитника, бывшего обвинителем моего клиента, но, как защитник Карицкого, я обязан выставить перед вами некоторые факты, может быть и не совсем выгодные для Дмитриевой.

Из тех двух лиц, между которыми колеблется обвинение, одно было за 300 верст от места кражи в момент совершения ее, другое присутствовало на этом месте, в обоих вероятных пунктах, т. е. и в деревне, и в Липецке; у одного никто не видал краденной копейки в руках, другое разъезжает и разменивает краденые билеты; у одного не видно ни малейших признаков перемены денежного положения, у другого и рассказы о выигрышах, и завещание, и сверхсметные расходы — на тарантас, на мебель, на отделку чужого дома...

И кто возьмет на себя смелость, на основании одного оговора, обвинять человека, против которого нет ни одной существенной улики, в то самое время, когда целая масса улик против оговаривающего подрывает значение этого оговора?

Неужели ничего не значит то обстоятельство, что Дмитриева, вскоре после кражи, созналась в ней отцу, дяде, тетке и, наконец, Карицкому, который был призван ее родными, как близкий человек, как родственник? Сознаваясь, Дмитриева плакала, раскаивалась, умоляла о прощении, — сознание ее было искренно, все поверили ему, никто не заметил в нем ни малейшего притворства.

Напрасно защитник Дмитриевой называет отвратительно сцену этого сознания и старается подорвать в ваших глазах ее значение. Мы дорожим этой сценой, мы смотрим на нее прямо, видим ее такую, какова она есть, и считаем ее уликой против Дмитриевой. Вы видели, что отец ее, вызванный в суд в качестве свидетеля, отказался дать показание на основании закона, который дает это право близким родственникам подсудимых.

Но что означает отказ отца Дмитриевой? Неужели он уклонился бы свидетельствовать перед судом ее невинность, если бы только был убежден в этой невинности, если бы только имел хоть одно слово, хоть один факт в пользу своей дочери?

Нет! Он отказался быть свидетелем, вероятно, потому, что знал о невозможности оправдывать ее и верил, и до сих пор верит тому ее признанию в краже, которое слышал от нее три года назад...

Теперь несколько слов об оговоре Дмитриевой относительно прокола околослодного пузыря.

Судите, насколько состоятелен этот оговор, когда ни одно свидетельское показание, ни один, хотя бы самый ничтожный, факт не подтвердили его на судебном следствии.

Сапожков и Кассель прямо заявили, что виновника прокола надо искать не между подсудимыми, и, мне кажется все мелкие обстоятельства дела подтверждают достоверность этого заявления. Сапожкову незачем укрывать Карицкого, — он никогда не отличался особою дружбою к нему; что же касается до Кассель, то о действительном виновнике выкидыша она говорила еще Стабникову, задолго до настоящего заседания. На судебном следствии они назвали имя этого виновника...

Нам остается разрешить еще один вопрос, который, видимо, интересуется вас и который служил одним из краеугольных камней для обвинителей моего клиента. Вопрос, действительно, серьезный: какие побуждения, какие причины могла иметь Дмитриева для того, чтобы так нагло оклеветать Карицкого?

Отвечая на этот вопрос, я приму две точки отправления:

иная причина клеветы, если была между подсудимыми связь, иная — если связи не было.

Допустим сначала последнее. Если Карицкий не имел связи с Дмитриевой, но, как близкий знакомый, как родственник, убеждал ее сознаться в краже, уверяя, что ей ничего за это не будет, что дело будет потушено, то, весьма естественно, когда не сбылось это обещание, когда она попала в острог, у ней могла явиться мысль отомстить ему. А раз закравшись в душу человека, эта мысль уже не умирает, не дает ему покоя до тех пор, пока не выполнит он ее.

И вот, Дмитриева начала оговаривать Карицкого в краже. Потом, когда она увидела, что оговор этот несостоятелен, что против Карицкого нет улики, то чувство злобы и мести заставило ее создать и новый оговор в произведении выкидыша...

Теперь допустим, что существование связи доказано: Дмитриева была любовницей Карицкого. В конце 1868 года, узнав, что она совершила преступление, кражу у дяди, Карицкий разрывает эту связь, и разрывает окончательно, — совсем перестает ездить к Дмитриевой, совсем отвергается от нее. В этом случае оговор делается для нас еще понятнее. Нет ничего удивительного, что женщина решается жестоко отомстить человеку, которого она любила, который был отцом ее ребенка и который бросил ее в ту самую минуту, когда его помощь была для нее нужнее всего, когда погибала она, уличенная в преступлении...

И вот, Дмитриева всю себя отдает этой страсти, вся проникается ею и не разбирает более средств для того только, чтобы обвинить его, чтобы отомстить ему...

Мы можем взглянуть на дело еще и с третьей стороны, со стороны практической пользы. Вы видели, что оговор Дмитриевой не бесполезен для нее: им она выгораживает себя и все обвинение складывает на голову Карицкого. Предположите же, что она была в связи не с Карицким, а с другим лицом: допустите это предположение, — оно естественно, — и тогда все дело предстанет вам в новом, ярком свете.

Сознавшись в краже, Дмитриева попадает в острог и там, в этой академии разврата, начинает изучать теорию уголовного права. Там нет тайн, нет ничего сокровенного. Профессорам искусства она рассказывает свою жизнь, свои преступления, и ее научают оговорить Карицкого, чтобы спасти себя за его связями, за его высоким положением. Когда оговор в краже представляется недостаточным, ей говорят, что она может оговорить его в выкидыше, — огово-

рить, пожалуй, вместе с ним и себя, для большей достоверности, так как хуже от этого не будет. В остроге хорошо знают, что произведение выкидыша — такое преступление, за которое женщин, большею частью, оправдывают...

Теперь — продолжайте идти по пути этих предположений и будьте уверены: ни одно обстоятельство дела не станет для вас препятствием...

Не могу не заметить вам, гг. присяжные, что прошедшее Дмитриевой не настолько чисто, чтобы можно было во всем безусловно верить ей и считать ее невинною, напрасно погибающею жертвой, какою с одинаковым усердием хотят ее представить вам и обвинение и защита. Вспомните, что в связи с именем Дмитриевой, Галич говорил о краже серег у жены его, свидетель Радутин о краже часов у Карицкого...

Но в связи с именем моего клиента нет таких темных фактов: во все время судебного следствия вы не слышали ни одного слова, ни одного намека, который бросал бы тень на это честное имя.

Вспомните, наконец, как меняла Дмитриева свои показания, — на это указывали вам все подсудимые. Не ясно ли, что от сознания, от правды, которую она сказала в 1868 году, она шла в остроге к нравственному растлению и далеко ушла вперед по этому пути, — глубоко упала нравственно...

Я попрошу г. председателя дать мне еще раз несколько минут отдыха...

*(После 5-минутного перерыва).*

Что я знал, что вспомнил, то сказал вам, гг. присяжные! Вы мне простите и не поставите в вину моему клиенту, если я забыл вам что-нибудь сказать.

Вы видели, какую горячую, страстную борьбу целые девять дней приходилось мне выдерживать; вы, конечно, заметили, что в борьбе этой большим числом орудий, большим числом средств располагали мои противники.

Вы видели, как велось настоящее дело: другого подобно-го образца не встретите вы в практике уголовного судопроизводства.

Прокурорский надзор и защита Дмитриевой не скрывали своих предубеждений против Карицкого.

Мы допускали к допросу всех свидетелей и ко всем им относились с равным беспристрастием.

Но когда являлись наши свидетели, против них все восставали, — их, не задумываясь, клеймили грязью, обвиняли в полном забвении долга и святости присяги.

Мы не платили таким же оружием, зная, что сбить всякого свидетеля легко, и думая, что честная защита никогда не решится воспользоваться вынужденными противоречиями показаний.

Мы ошиблись: все это делалось, — во имя высокого положения нашего клиента.

Ополчаясь против наших свидетелей, против наших доказательств, вызывая целую толпу новых свидетелей и из публики, и с разных концов Рязани, обвинители пользовались полной благосклонностью суда, — это вы видели. Они заявляли, что если только свидетели наши, подобно всем прочим, удалятся на ночь из суда, — все дело погибнет, все следы преступлений Карицкого сотрутся с лица земли...

При таких данных борьба час от часу становилась труднее для нас...

Теперь, слава Богу, настал конец ее. Теперь наступила ваша очередь разрешить, кто победил в этой борьбе, — разрешить наши недоумения, дать нам суд правый.

Я буду ждать вашего приговора с полным убеждением, что совесть, управляемая разумом и опытом жизни, познает истину.

Не поддавайтесь влиянию первых впечатлений: суд по инстинкту не может быть справедлив.

Лучший в мире, английский институт присяжных, перед которым склоняются все авторитеты науки, всегда руководствовался правилом — произносить обвинительный приговор над человеком только на основании строгих, точных, доказанных следствием улик, таких, которые заключали бы в себе неотразимую силу факта и убеждения.

Вы пойдете этим же путем, вы не обвините подсудимого по одному оговору женщины, меняющей показания так же легко, как и свой гардероб...

Вы не обвините Карицкого потому только, что он сильный человек, — потому, что он не склоняет своей головы перед вами и ждет от вас не милосердия, а правды.

Вам говорили, что старая теория улик, требовавшая основательных доказательств вины, более не существует; вам говорили, что если без улик вы обвините Карицкого, то делаете великую заслугу перед обществом и перед правосудием, совершите честное дело, — покажете, что русский суд может сладить и с высокопоставленным подсудимым, что он — сила, над которою смеяться нельзя...

Так, господа! Страстности было много в этом деле.

Но где — страсти, увлечения, — там истина скрыта.



**Прочь эти фразы! Не верьте легкомысленным приговорам толпы.**

Обществу нужны не жертвы громких идей, а правосудие. Общество вовсе не нуждается в том, чтобы для потехи одних и на страх другим время от времени произносились обвинительные приговоры против сильных мира, хотя бы за ними и не было никакой вины...

Не поддавайтесь той теории, которая проповедует, что для полного спокойствия на земле нужно иногда звучать цепями осужденных, нужно наполнять тюрьмы жертвами и губить их из-за одной идеи правосудия...

**Будьте судьями разума и совести!..**

Разумно ограничив свою задачу разрешением того, что дало вам судебное следствие, отрешившись от всех страстей и увлечений, вы, оставаясь в строгих рамках судейской мудрости, правда, не понравитесь проповедникам теории равенства или теории жертв и цепей, но зато ваш честный приговор найдет себе привет и оправдание и в вашей чистой совести и в мнении общества, которого вы являетесь здесь представителями!..

**ДЕЛО**  
**А. И., Н. И. и М. Д. НОВОХАЦКИХ,**  
*обвиняемых в лишении свободы сестры,  
вымогательстве денежного обязательства  
и подлоге*

Дело это слушалось в заседании Екатеринославского Ок-  
ружного Суда с участием присяжных заседателей в г. Верх-  
неднепровске 25—27 сентября 1874 г.

Как видно из обвинительного акта, А. И. и Н. И. Ново-  
хацкие обвинялись в том, что по предварительному между  
собою соглашению в августе 1870 года самовольно и на-  
сильственно лишили свободы родную свою сестру Марию  
Новохацкую, поместив ее в Москве, на квартире у некоей  
Аверьяновой, где она находилась по 5-е июля 1871 г., и в  
том, что в августе 1869 г. угрозами и побоями заставляли  
брата своего Кэвнстанина Новохацкого подписать невыгод-  
ное для него условие об отдаче им в аренду имения. Усло-  
вие это не было, однако, подписано, благодаря вмешатель-  
ству штаб-ротмистра Вейгнера.

Кроме того, Николай Иванович Новохацкий и его жена  
Мария Дмитриевна обвинялись в том, что 18 октября  
1865 г. составили от имени Марии Ивановны Новохацкой  
подложный вексель на сумму 15000 руб.

Эти преступления предусмотрены ст. ст. 9, 1160, ч. 1  
ст. 1540, ст. ст. 1544, 1686 и 1687 Уложения о Наказаниях

Судебное следствие под председательством П. П. Весе-  
ловского продолжалось три дня. Обвинял товарищ проку-  
рора Г. Э. Винклер. Защищали подсудимых присяжные по-  
веренные Ф. Н. Плевако и М. Я. Городецкий.

Перед судом прошли 29 свидетелей. Судебное следст-  
вие, сопровождавшееся оглашением почти всех показаний,  
данных на предварительном следствии, нарисовало в ко-  
нечном итоге следующую картину.

Потерпевшая Мария Ивановна Новохацкая после окон-  
чания в 1864 году харьковского института поселилась у  
своей матери Екатерины Новохацкой в ее имении. Тотчас

по выходе из института у Марии Ивановны появились припадki падучей болезни, которые, от времени до времени учащаясь, продолжались до самого процесса.

Дед Марии Новохацкой, Байдак, завещал своей любимой внучке три тысячи десятин земли, находившейся в пожизненном владении ее матери, и десять тысяч рублей деньгами, помещенными на ее имя в Приказе Общественного Призрения.

Мария Новохацкая была больной и малоинтересной невестой и, если и было немало охотников жениться на ней, — их, несомненно, привлекало ее состояние.

В августе 1869 года брат Марии Новохацкой, Николай Новохацкий, возивший ее раньше для лечения в разные города юга России, поместил ее в Екатерининскую больницу в Москве. Через год он взял отсюда сестру и поселил ее в Москве же, на квартире у некоей Аверьяновой, где она прожила также около года. Жизнь Новохацкой у Аверьяновой протекала в крайне неблагоприятных условиях, и первыми ее показаниями, данными судебному следователю Бескровному была очерчена в крайне непривлекательном виде. Новохацкая занимала небольшую комнату, ее плохо кормили, из квартиры Аверьяновой не выпускали, содержали антигигиенично, никаких известий от родных она не имела и т. д.

Другой потерпевший, Константин Иванович Новохацкий, судя по многим признакам, был тоже ненормальным субъектом и страдал kleптоманией. Обстоятельства, при которых он подвергся насилию со стороны братьев, достаточно изложены в речи защитника.

Такое больное, семейное дело возникло следующим образом.

До слуха местного полицейского пристава Селезнева на обеде у помещиков, соседей Новохацких, доходят разговоры о неладах в семье Новохацких, о таинственном исчезновении больной дочери Марии, получившей наследство от деда. Эти слухи, нагромождаясь один на другой, вырастают в целую историю, и уже 18 мая 1871 г. Екатеринославский Губернатор уведомляет Прокурора Окружного Суда, что в Верхнеднепровском уезде из имения дворянки Екатерины Новохацкой полтора года назад увезена старшим сыном Николаем дочь, девица Мария, которая с тех пор неизвестно где находится, несмотря на то, что имеет три тысячи десятин земли, находящейся в аренде у братьев.

Анонимное письмо, полученное г-жою Вейгнер, сестрою Новохацкой, о том, что Мария насильно помещена в

Москве в доме умалишенных своими братьями, подтверждает носившиеся слухи, и в результате братьев Новохацких и жену Николая, Марию Дмитриевну, следственная власть привлекает в качестве обвиняемых.

Показания, записанные следователем со слов потерпевших, дают почву для обвинительного акта.

Впоследствии, 6 ноября 1871 г., теми же потерпевшими были поданы судебному следователю заявления о том, что они отказываются от своих первоначальных показаний.

Вердиктом присяжных заседателей все подсудимые оправданы.

### Речь в защиту подсудимых

Господа присяжные заседатели!

Судя по страстности, с какой велось следствие, я думал, что мне придется спорить с обвинительной властью на каждом шагу, — спорить о приемах прений, о предметах, подлежащих вашему разрешению, о средствах борьбы.

Но я ошибся. Оказывается, что обвинение сходится с защитой во взгляде на способ ведения дела.

Напрасно страшился я, едучи сюда для защиты Новохацких, что на исход дела будет иметь влияние давно заведенная сплетня. Напрасно боялся я, что общественное мнение, сложившееся на основании непроверенных на суде слухах и разговорах, будет указываться прокуратурой как сильнейшая улика против подсудимых. Напрасно опасался я, что все усилия защиты сломить ложные улики, поколебать сомнительные сведения, уничтожить противоречивые свидетельства пропадут бесплодно под нажимом предвходящего в дело предубеждения. Совершенно согласно с долгом, лежащим на блюстителе закона, обвинитель просил вас ограничиться лишь тем, что проверено и приобретено на суде.

К этой просьбе позвольте присоединиться и мне.

Бросьте сплетни, неведомо где зарождающиеся, заражающие воздух, — бросьте их: они создаются праздношатающим людом, которому необходимо сочинять и распространять клевету, чтобы занять свой ум и совесть подходящею работою. Немало на Руси подобных людей, этих за-всегдаев провинциальных клубов, которые, по меткому замечанию одного писателя, способны, вслед за гнусной клеветой на вас, подойти и пожать вашу руку, предложив пить за ваше здоровье.

От сплетни беззащитен человек: за стеною ему не видеть чужих оскорбительных взглядов. Лишь тогда, когда прямо и гласно ему бросают обвинение и зовут на суд, он знает, в чем его подозревают и обязан доказательствами очистить свою личность от того, что считает несправедливым. Новохацкие теперь знают, в чем их подозревают. Они пришли опровергнуть обвинение и просят внимания к их слову.

План обвинительной речи я несколько изменил в своем возражении. Спорить удобно, когда ясно поставлен спорный вопрос, когда знаешь, о чем говорить и что не идет к делу.

Не так поступило обвинение: оно собрало из дела данные, которые говорят об ошибках, об уклонении от правды, о темных сторонах быта Новохацких за их 40-летнюю жизнь, и за это предлагает обвинить их в подлоге, лишении свободы и вымогательстве обязательств у младших членов семьи.

Путь этот сложен: нам нужно уяснить сначала, в чем их обвиняют. Когда это будет выяснено, тогда видно будет, какие сведения идут к делу и что надо бросить.

Ведь если перед вами посадят обвиняемого в краже и начнут доказывать, что он не почитает отца с матерью, то будут говорить не то, что следует. Нехорошо быть мотом, нехорошо не почитать отца с матерью; но кто это делает, тот еще не вор, — его поступки кражу не доказывают. Если мы за то, что человек нехорош по другим делам, обвиним его в том, чему нет доказательств, обвиним в пылу увлечения и негодования, — мы обвиним неправосудно.

Уясним себе предметы обвинения.

Спор идет о трех преступлениях.

Обвинительный акт приписывает А. и Н. Новохацким противозаконное лишение свободы своей сестры Марьи в течение больше года времени. Здесь вам говорили, что Новохацкие насильно лишили сестру свободы; обвинительный акт выражается мягче: в нем сказано, что А. и Н. Новохацкие отвезли сестру против ее желания и без надобности в больницу, а потом взяли оттуда и поместили у Аверьяновой, у которой она прожила до освобождения, потому что братья лишили ее средств на возврат домой, не оставив денег. Физического насилия там, кажется, не было, и в этом поступке обвинение видело нравственное насилие.

Здесь была оставлена эта система обвинения, и заявлено было, что лишение свободы было насильственным.

Этот скачок обвинения не оправдывается судебным

следствием, хотя понятно, зачем он сделан. Дело в том, что обвинитель не может по своему произволу карать деяния людей и подвергать их наказанию. Уложение, книга Уголовного Свода Российской Империи, — вот единственная указательница того, что запрещено. Что ею запрещено — то наказуемо; за то, что ею не запрещено, будь оно дурно, очень дурно, наказывать нельзя.

Между тем обвинение, изложенное в акте, грешит тем недостатком, что оно преследует ненаказуемое, непроступное деяние. В самом деле, ст. 1540 говорит вот что: «Кто по какой-бы то ни было причине и с каким бы то ни было намерением... самовольно и насильственно лишит кого-либо свободы, тот... приговаривается за сие...»

Ясно и просто требование закона. Но обвинение искажает его смысл и вводит новую теорию лишения свободы.

К счастью, высшее толкование принадлежит Сенату, а Сенат смотрит иначе на дело. Лишение свободы немислимо без того, чтобы оба эти средства были в ходу со стороны лица, лишившего свободы.

Таков вывод из решения Сената 1871 г. № 712 по делу Мельмана.

Но насилия и угроз, требуемых ст. 1540, в деле Новохацких не было, и простой смысл подскажет вам, что никто этой статьи не нарушал, что все слышанные вами и подобранные в одно целое речью прокурора подробности дела требования этой статьи не удовлетворяют, и эта часть обвинения лопается, как мыльный пузырь.

Но так как в отношениях Новохацких к сестре, по сведениям предварительного и судебного следствий, есть что-то жесткое и неприятное, то позаймемся и пообсудим эти факты.

Нечего бояться подсудимых, если я напомним подробности, открою уголок их семейной жизни и неурядиц, — ведь вы обещали не обвинять невинного, не оправдывать виновного, и — сдержите слово.

Вы поймете, что, если в деле не окажется того зла, за которое поделом вору и мука, а откроются иные, может быть, и непохвальные семейные ошибки, то нельзя злоупотреблять правосудием и за малое дурное обвинять в большом преступлении.

Вспомним же сведения о быте Новохацких, только не так, как это делало обвинение, скользившее мимо хорошего и долго-долго останавливавшееся на дурном: не станем останавливаться на бородавке и морщине, составляющих недостатки лица, а бросим взгляд на всего человека, на всю его фигуру.

Концы настоящего дела лежат далеко. Недавно умерла старушка Байдакова, бабушка подсудимых. У ней была дочь — Екатерина Новохацкая, мать подсудимых. Ее прижила Байдакова еще до брака. У Екатерины Новохацкой, кроме подсудимых и потерпевших, — еще три дочери, выданные замуж. Этим сестер мы здесь допрашивали, и они сказали нам, что братья Н. и А. Новохацкие с ними обращались родственно и по-братски и что никаких притеснений никогда себе не позволяли.

Обвинение было бессильно опровергнуть эту черту семейных отношений Новохацких и старалось свободным толкованием одного из писем А. Новохацкого доказать, что подсудимые были дурны с матерью. Позднее мы оценим этот довод, а теперь прошу вас вспомнить слова самих потерпевших, Марии и Константина Новохацких, три дня постоянно отрицавших обвинение и заверявших, что не было места ни тому истязанию, ни тому притеснению, которые приписывает подсудимым обвинение. Получается черта из жизни, совсем не похожая на то, что доказывает обвинение.

У подсудимых — сестра Марья больна падучей болезнью. Болезнь эта началась еще в детстве, с испугу. Так заверяет мать ее, которой, конечно, лучше известна жизнь ее дитища. Болезнь усиливалась с годами и по выходе из института достигла сильнейшего развития.

Что это за болезнь, — вы знаете. Ужасны приступы ее. Когда больного корчит судорога, похожая на предсмертную агонию, когда появляется пена у рта и закатятся зрачки глаз, страх нападает на окружающих. Один вид болезни заражает других, пугает детей; привыкшие к страданиям доктора заявляют здесь, что даже для них невыносимы эти сцены. А этой болезнью страдала Марья Новохацкая.

Как же поступили с ней братья, — эти злодеи и разбойники, по выводам обвинительного акта? Отвернулись? Бросили на произвол?

Нет! В течение трех дней все свидетели единогласно показывали, что Александр и Николай Новохацкие (именно они из всей семьи) ездили с больной то в Екатеринослав, то в Харьков, то в Киев и Одессу, посетили всех знаменитостей южного края по части медицины и искали помощи. Не их вина, что болезнь не поддавалась усилию врачей, но их заслуга, что они ни времени, ни труда не жалели для сестры своей. И так же, как сыновья, заботилась о больной мать; у ней, говорили здесь, другого разговора с гостями не было, как расспросы о том, как бы помочь бедной дочери.

Что же обуславливает тот резкий переход, который до-

пустили Александр и Николай Новохацкие по отношению к сестре в последнее время? Почему из братьев, так братски заботившихся о сестре (о чем умалчивает обвинение), они превратились в разбойников, в заточителей сестры своей? Из желания обобратить? Но они люди умные, самые развитые в семье своей, а Марья — девушка такая неразвитая и больная, что у ней можно взять, без всяких особых умений, всякую, какая понадобится, бумагу; сажать ее для этого в сумасшедший дом или делать то, что приписывают подсудимым по отношению к ней, было бесцельно.

Были другие поводы и другие побуждения.

Марья Новохацкая больна падучей болезнью, но рядом с этим у ней развита особая, страстная склонность — во что бы то ни стало выйти замуж. Доктора и опыт говорили, что удовлетворять это желание опасно. Иногда болезнь усиливается от брака, иногда она передается потомству.

Приходило на ум, что порядочный жених не решится связать себя с больной узами брака. А между тем сыскались женихи: то были не из числа искренно любящих девушку, искренно ищущих в ней прежде всего ее самое. То были люди, которым сама невеста была не нужна, а нужны были ее средства. То были какой-то выгнанный за пьянство писец и за тот же порок рассчитанный Новохацкими управляющий. Здесь, на суде, кроме этих двух искателей, говорили еще о третьем. Недавно, на этих днях, по словам свидетеля, когда Екатерина Новохацкая уехала из деревни, живущая у нее женщина чуть-чуть не устроила свадьбы Марьи Новохацкой с одним из служащих при имении, и только горничная девушка спасла свою госпожу от ловушки, заявив о болезни невесты священнику.

Против таких людей боролись в семье Новохацких: таких людей опасается старший брат, когда пишет, что держать сестру взаперти нельзя, но нужно спасти ее и себя.

«Спасти себя», прибавляют братья, т. е. они не желают, чтобы состояние сестры перешло к ловкому обманщику, а предпочитают лучше, чтобы оно перешло после сестры в их руки. Желание эгоистическое, себялюбивое; но кто же назовет это мошенничеством или преступлением? Пожелать, чтобы имение сестры после нее досталось им, а не какому-нибудь постороннему лицу, ищущему не невесты, а ее денег, — совершенно естественно и извинительно. А это и руководило братьями.

Вам уже известно, что муж недавно умершей Байдак, девушка Новохацких, любил больше всех свою больную внучку Марью, которая жила с детства у него. У него было пре-



красное состояние — имение Соленое, которое он пожелал оставить ей. Но так как ему в то же время хотелось обеспечить и дочь свою, мать Новохацких, Екатерину Новохацкую, то он оставил имение этой последней в пожизненное владение, а Марье — в собственность, не ранее смерти ее матери.

Из смысла завещания выходило, что в случае, если Марья Новохацкая не переживет своей матери, то и не наследует имения деда, и оно тогда поступает, как наследственное, в род Байдака. При этом, так как мать Новохацких, дочь Байдака, Екатерина, прижита им до брака со своей женой, то имение Соленое к Екатерине Новохацкой не поступит, а поступит, а перейдет в род Байдака, к его боковым родственникам. Следовательно, от случайности, переживет или не переживет Марья Новохацкая свою мать, зависело то, останется или не останется в семье Новохацких Соленое. Затем, если Соленое достанется Марье Новохацкой каким бы то ни было образом, то, принимая во внимание ее болезнь, семья решила, что она управиться с имением не сможет, и, вероятно, судьба этого имения будет та, что оно попадет в руки одному из тех женихов, который сумеет обделать дельце.

Надобно было выйти из этих двух затруднений, надо было закрепить имение за семьей, — против случайности и против происков женихов. Этого думали достичь первой сделкой, и решили, что по купчей крепости Марья Новохацкая уступить свои права матери. Таковую купчую написали. В тот же день мать завещанием уступала это имение Александру и Николаю, с тем, чтобы они пожизненно, под страхом двойного взыскания, вносили сестре по 2000 руб. в год.

Обвинение вам напомнило это завещание, но оно отступило от обязанности беспристрастия, упустив из завещания пункт о выдаче 2000 руб., что дает совсем иной характер сделки. Без этого сделка похожа на своекорыстную работу, а с этим условием выясняется, что мать и братья, закрепляя за собой имение, заботились о сестре. Без имения от нее отстанут женихи, но она двумя тысячами рублей обеспечена в средствах жизни. Если и теперь кто на ней женится, то обманет ее год, другой, но у ней все же впереди останется вечный кусок хлеба.

Однако вся эта сделка оказалась негодною. Купчая крепость, которою преждевременно, до момента наступления права собственности, Марья Новохацкая продавала свое будущее наследство матери, была недействительна. Явилась

необходимость другим путем добиться той же цели. На семейном совете решили, что Екатерина Новохацкая откажется от пожизненного владения. Тогда, конечно, Марья сделается собственницей. В качестве собственницы она уступит это имение по купчей крепости своей матери, и тогда — дело сделано: имение за семьей Новохацких закреплялось прочно.

Но при совершившемся отказе Екатерины Новохацкой в пользу дочери от пожизненного владения до момента перепродажи имения ей же ее дочерью наступала минута самая опасная для семейства, самая интересная для искателей руки Марьи Новохацкой. До этого отказа Марья Новохацкая была только будущей наследницей Соленого, а с отказа в ее пользу она делалась собственницей этого имения. Жениться на ней в эту минуту было особенно выгодно: ждать богатства не придется, — оно уже в руках; не придется уступать доходы с имения в пользу матери, — она отрелась. Ловкий человек в это время мог быть особенно опасным для Новохацких.

И вот предпринимается поездка в Москву, поездка, в которой были две цели: лечение Марьи Новохацкой и удаление ее из опасного для нее и семейства места. Кроме этих целей — других не было.

Поездка совершилась с согласия матери, даже по прямой ее на то воле. Все родные знали, что мать приказала отвезти больную дочь.

Где же тут насилие и лишение свободы? Давно ли мать и братья не смеют лечить больную от падушей болезни без ее разрешения? С больными не советуются! А если болезнь такова, что в это время над больным может быть сделано много дурного злыми людьми, спасти от них, удалить от них больную — не право, но едва ли не долг здоровых членов семейства. Новохацкие, увозя сестру, творили не преступление, но исполняли долг и волю матери.

Но если так, то зачем они не сообщали подробного адреса ее в Москве, зачем родным и знакомым не было известно, где живет Марья Новохацкая?

Ответ на это прост. Больную удалили от искателей ее средств. Если бы они узнали, где Марья, — все усилия Новохацких пропали бы. Вот почему в письмах к матери Николай Новохацкий не пишет об адресе, а передает его уже потом, на словах, как утверждает мать. Затем и не говорится вовсе родным и знакомым о ее месте пребывания. Это для того, чтобы слух не дошел до тех, кого боятся.

Довод обвинения, что Марью Новохацкую увезли в

больницу без надобности, падает перед тем фактом, что ее признали больной в Екатерининской университетской больнице в Москве. То, ведь, не какие-нибудь неизвестные медики, — то были люди науки, профессора старейшего университета на Руси: неужели же меньше обвинителя они смыслят в распознавании болезни? А возражать против добросовестности их мнения не найдется смелости ни у кого.

Когда Марью Новохацкую взяли из больницы, домашние меры еще не были кончены. Везти ее домой было рано. Ее поместили у Аверьяновой.

Обстановка была небогата. Но это не вина братьев. Мать, уступившая дочери Соленое, все же считала себя хозяйкой имения и на себя тратила доходы. Будучи человеком старого покроя, отличаясь замеченной здесь скупостью, она мало давала на содержание дочери. Брат Николай поместил ее по этим скудным средствам. Он мог бы прибавить своих, но, если он этого не сделал по скупости, унаследованной от матери, то он сурово, но не незаконно поступил.

Об этом месте пребывания родные не знали. Но где закон, обязывающий давать им знание о месте жительства их родственника? Мать знала, — матери писалось чуть не в каждом письме о здоровье дочери; мать оставалась спокойной и доверяющей своим детям судьбу их сестры. Братья даже друг с другом меняются сведениями о сестре. Неужели так выражается преступление?

Небогата была квартира Марьи, — но ведь это зависело от средств, даваемых матерью. Небогат был гардероб; но вы слышали протокол осмотра: и белья и платья было довольно. Просто, небогато все, но Новохацкие все и здесь одеты просто, и крайне ненарядно. Гардероба этого не стало, и Марью Новохацкую водят в одном платье только тогда, когда она живет у Бескровного.

Марью Новохацкую не пускали одну из дому у Аверьяновой, но ведь и у Бескровного ее не пускали одну даже на свидание к родной сестре. Почему же дозволенное Бескровному обращается в преступление для других. Бескровный, по-человечески заботясь о больной, не позволял ей этого... Но позвольте думать, что мать и братья с большим правом и с большей искренностью могут решить, что позволительно и что опасно для их больной дочери и сестры. Бескровный по отношению к Марье Новохацкой был следовательно, — не больше.

По закону он обязан преследовать тех, кто нарушает чу-

жие права. Вне закона у него нет побуждений быть особо внимательным к этой женщине. Но, тверже и глубже писанного закона, иной закон господствует в душе человека, — закон права и родственных уз: он переживет писанную правду, он — вечен.

Да будет же позволено сказать, что сердце матери и братьев надежнее забот Бескровного, и уверять, что мать — убийца здоровья и свободы своей дочери, что она и братья хотели терзать ее, это — слишком много приписывать Бескровному, слишком сильно клеветать на человеческую природу.

Нет, мать и братья боролись с болезнью и с врагами семьи и сестры. Они удалили больную из опасного места. Этим-то искателям принадлежит почин дела. Вы слышали, что оно началось с анонимных писем. Когда Марью Новохацкую увезли в Москву лечить, кто-то писал на имя жены Вейгнера, что Новохацкую увезли в сумасшедший дом. При этом в письме писалось прямо: «спасите ее 3000 десятин, ее имение от рук братьев».

Пристав произвел дознание. Дознание дало только тот результат, что Марья Новохацкой в деревне нет. Сплетня заботившихся о целостности ее имения лиц создала остальное, создала небывалые московские ужасы, и — началось дело.

А между тем, не удали ее, и она — жена первого проходимца, имение ее — в руках первого плута, и все это было бы запечатлено формальностью и печатью внешней справедливости. Совершилось бы возмутительное мошенничество, и жизнь больной была бы загублена для корыстной цели обманщика, из брака сделавшего выгодную аферу.

Вот против чего сознательно боролась семья, вот кого бессознательно берет под свое покровительство обвинение. Усвой обвинение эту точку зрения и отрекись от предвзятого намерения обвинить во что бы то ни стало, а не разрешить спорный вопрос о виновности, — и ему было бы ясно, что для обирания Марьи Новохацкой не нужно было больницы: обобрать ее было легче под шум московских удовольствий и среди богатой, непривычной для нее обстановки. Было бы ясно, что молчание о ее жительстве — мера против искателей. Было бы ясно, что по окончании сделки о Соленом имение перешло бы к матери, Марья возвратилась бы домой; но, не будучи обладательницей 3000 десятин, она не была бы лакомым куском для женихов и покойно вела бы дни свои. Было бы ясно, что жизнь у Аверьяновой не была лишением свободы. Лишить свободы без замка или стражей нельзя. А Марья не сидела под замком, и

Аверьянова ее не держала силой, ибо она тогда была бы преступницей и сидела бы на скамье подсудимых, а она суду не предана и свободна.

Правда, здесь ее назвали публичной женщиной, чтобы показать, кому вверили больную. Но против этого я не стану даже возражать. За что оскорбили честное имя? За что позором заклеили человека? Я не допускаю подобного забвения обязанностей со стороны обвинителя, убежден, что он не решится повторить этого имени, и думаю, что жестокое, несправедливое слово сгоряча сорвалось с языка, вопреки серьезному желанию прокурора.

Обвинение останавливается на показании Марьи Новохацкой. Вы слышали его: она любит братьев, не жалуется на них. Не этому показанию, а другому, на предварительном следствии данному, просило вас верить обвинение. Почему? Потому что сестра, хотя и потерпевшая, говорит оно, склонна говорить в пользу брата.

Верю. Но если так, то чем же объяснить полную злобы и жестокосердия речь ее, записанную тогда? Ведь и тогда она была сестрой. Значит, не ее, не ее язык читаем мы в протоколе!..

Прокурор дал нам объяснение, что следователь Бескровный 12 лет был здесь известен за лучшего деятеля суда.

Разгадка найдена. Местный житель, — он был охвачен, сдавлен местною сплетнею, величавшей себя общественным мнением. Как следователь, он уже видел преступление там, где оно предполагалось.

Вопросы и протоколы всюду носят следы предвзятости, и только сознательные ответы способны не сбиться с дороги.

Не такова Марья Новохацкая. Она легко могла быть увлечена на тот ответ, который уже предвходит в вопросы. Ее неразвязная речь, ее с трудом понимаемые и бессвязные ответы, — то ли это, что мы читаем в ее протоколах?

Нет!

То — речь живая, бойкая, связная. А по замечанию г-на Орлова, бывшего прокурора Одесской Палаты, она не может выражаться связно, она почти слабоумная. Значит, вопросы, диктуемые следователю заранее убежденной мыслью, сбивали на ответ, какого ему желалось. Плохо высказанный ответ толковался предубежденным следователем так, как, по его убеждению, было дело.

Припомните, что следователь записал даже рассказ о том, что Александр и Николай Новохацкие били бабушку Байдакову и сажали в погреб, требуя денег. Все со смехом и

негодованием отвергают эту клевету; Марья Новохацкая решительно оспаривает возможность такого показания, — все, все решительно делают то же; а между тем в протоколе Бескровного красуется такая сцена!

Жаль, что оставлена система допросов, где на одной стороне пишутся вопросы следователя, а на другой ответы. Тогда легко видно было бы, как предвзятость вопросов влияла на ответы. Тогда мы увидели бы, как совершенно добросовестно, под влиянием поспешно сложившихся убеждений, Бескровный мог и себя и людей ввести в заблуждение. А таких мест в деле немало...

Покончив с общими для подсудимых вопросами, я должен обратиться к моей задаче, которая состоит в защите интересов Александра Ивановича Новохацкого. Как бы вы ни посмотрели на это дело, было ли оно преступно или не было, но вас спросят об участии каждого из обвиняемых в этом деле.

Что же собрано против Александра Новохацкого? А вот что: сама прокуратура не спорит, что отвез в Москву Марью Новохацкую Николай Иванович Новохацкий по поручению матери. Александр Иванович в этом не принимал участия. Сама прокуратура, ссылаясь на письма Александра Ивановича Новохацкого, доказывала только то, что Александр Иванович, заботясь о семейном деле, писал, что, по его мнению, единственное средство избавиться от врага — пока отвезти Марью Ивановну куда-нибудь подальше. Ни слова, ни намека, что это «подальше» — должно быть заточение. Он даже говорит в одном из писем, что постоянно держать сестру взаперти нельзя.

Затем, само обвинение не отрицает того факта, что Александр Иванович Новохацкий даже не знал, до возбуждения дела, где живет Марья Ивановна.

Переведем дух. Не правда ли, что выводы из фактов непонятны?

Каким образом человека, не знающего, как в Москве обращаются с Марьей Ивановной, можно винить в том, как с ней обращались? Каким образом человек, который дозволяет только удалить сестру свою из места опасности, может быть обвинен в преступном лишении свободы?..

Далее: когда началось дело о заточении сестры, Александр Иванович приехал к Марье Ивановне, чтобы осведомиться о том, насколько основательно возводилось обвинение. Если бы Александром было действительно известно, что здесь совершается преступление, то он не стал бы оглашать это событие перед мировым судьей, а он про-

сил судью исследовать образ жизни и обстановку своей сестры.

К этому же моменту относится письмо Александра Ивановича к матери: не имея причины не доверять Николаю Ивановичу, он сообщает матери, что Марья Ивановна живет хорошо, со слов и из писем Николая Ивановича. Вот все, что есть в деле относящегося до моего клиента по вопросу о заточении.

Обвинение утверждает, что А. И. Новохацкий получил из приказа общественного призрения деньги сестры, в количестве 20000 руб. Где доказательства? Говорят, что видели доверенность сестры на этот предмет. Но разве доверенность — доказательство? Если я даю доверенность на покупку дома, это не значит, что дом уже куплен. Так и здесь. Доверенность даже не помечена на полях цифрой, что обыкновенно бывает, когда она представлена в присутствие, где на основании ее ведется какое-либо дело. А это знак, что она не была предъявляема.

Да если бы обвинение желало серьезно убедиться, получал ли Александр Новохацкий деньги из Приказа, оно бы предложило следователю навести справку. Но оно само отвернулось от возможности раскрыть истину и решается здесь обвинять в бездоказательном проступке.

Деньги эти никогда Александр Новохацкий не брал — так он утверждает — и это правда, потому что обвинение не возражает тем, чем возразить (если бы могло) обязано: безусловным доказательством, справкой из Приказа, справкой, которая всегда к услугам прокуратуры и которая положила бы конец всяким слухам.

Желание, разделяемое и матерью, спасти сестру от несчастного брака — братский долг, а не тирания или стеснение. Пока существует закон, что воля родителей имеет значение при совершении брака, пока существует в обычаях нашей земли обязанность родителей и старших заботиться об устройстве счастья члена семьи, пока дорожат благословением и волею матери при вступлении в брак, до тех пор обвинение не смеет упрекать семью за ее вмешательство в супружеский вопрос Марьи Новохацкой.

Вычеркните статью из Свода, вырвите обычай из правовых убеждений страны, тогда ставьте в вину им их заботу, а пока, — братья, везущие больную сестру на излечение, мать, желающая счастья дочери и препятствующая безумному браку, — не злодеи, и подсудимым место не здесь, а там, среди добрых сограждан, в стороне от сплетников...

Второе дело важнее первого. Из семейной ссоры создано

преступление ужасное. Этой ссоры, перешедшей в потасовку, я не отвергаю.

Но во что обратило ее тяготеющее над Новохацкими предубеждение?

Говорят, что они вымогали у брата арендный контракт, побоями и истязаниями насилуя его волю. По закону такое деяние приравнивается к грабежу. Неужели же было место и повод к такому злодейству?

Константин Новохацкий, предполагаемый потерпевший, — младший брат в семье. Это — личность характерная: он и теперь едва умеет говорить; с детства он был недаровит, наука не далась ему. Рядом с простоватостью, по свидетельству матери и сестер, у него развилась страсть к воровству: он брал мелочь у своих, брал и у чужих (вспомните бритвы Бескровного, кажется — отца следователя).

Вот, наконец, он стащил у матери 800 руб. Правда, он уверяет, что стащил потому, что считал ее должной ему эту сумму за раздел, но он не отвергает, что взял тайно.

Обвинитель ставит в вину Новохацким, что они заставили брата сознаться в похищении, и отстаивает право Константина Новохацкого на эти деньги.

Но обвинению менее всего уместно возводить проступок в право.

Не разделяя такого учения, Новохацкие оскорбились. Досадно иметь дело с похитителем, еще досаднее, когда это — свой человек, брат. Сознание, что он порочит семью, бесчестит фамилию, — раздражает.

Под таким чувством братья преследуют Константина. Для разбоя в чужом доме ловить своего брата Новохацкие не стали бы. Константин жил у Александра Новохацкого десять лет в его доме: вот где ловко и тайно могли они, если хотели бы, обобрать брата; но у него там ничего не взято, а только ему давались бесплатно и квартира и стол.

Драка случилась на глазах всех. Разбой, как всякое преступление, ищет тайны. О разбое ограбленный заявил бы, а об этой ссоре Константин ничего не заявлял, и она сделалась предметом дела только тогда, когда Константин показывал, как свидетель, по делу сестры. Тогда следователь открыл особое производство, и в протоколе его из уст Константина полилось тяжелое обвинение в разбое.

Здесь мы слышали его братски мягкое, хотя едва понятное, слово. Ничего похожего на его речь в предварительном следствии, ничего схожего с тем, что там записано, нет.

Скажут, что здесь он говорил ложь, у Бескровного говорил правду.



Господа! Константин, — вы сами видели, — малоумная личность. Умных лжесвидетелей изобличает перекрестный допрос, с ним ли не сладили бы, если он говорит неправду?

Сам закон говорит, что судебное следствие есть проверка предварительного, сам закон допускает увлечение, пристрастие, ошибку, неправду в предварительном следствии... Протоколы Бескровного оправдывают соображения законодателя. Семейная ссора, обыденный грех многих семейств, возведена в разбой! Зачем арендный контракт, когда еще старый не кончился? Какая громадная выгода — вместо 1 руб. за десятину заплатить по 75 коп., где всего 800 десятин?!. Ведь это 200 руб. в год! Из-за этого-то станут насилловать побоями брата в присутствии нескольких лиц?

Где доказательства, что подобный контракт писался, когда потерпевший не утверждает этого, а говорит, что его звали к матери, чтобы там написать контракт. Между тем, сами подсудимые говорят другое: они говорят, что с него требовалась расписка, что он позволяет, в случае повторения кражи, подвергнуть его мерам домашнего исправления.

Им не верят и ссылаются на то, что во время драки Вейгнер кричал, что у него в доме разбой.

Да кто из нас не слыхивал, что в обыденной жизни буяна обзывают разбойником, потасовку обзывают разбоем?!

Слабо обвинение, если ищет в случайно сорвавшемся во время драки слове юридического определения события! Односторонна и ложна привычка всякий приписываемый подсудимому факт истолковывать самыми худшими для него предположениями. Драка возводится в насилие, клочок бумаги — в невыгодный контракт, ссора — в принуждение к выдаче обязательства. С такой логикой всякого покупающего нож надо считать за приготавливающегося к убийству, всякого гуляющего ночью с фонарем — за поджигателя.

Мне кажется, что человечество не заслужило такого приема... Только те, кто потерял веру в нравственную природу людей, те, кто, не проповедуя материализма, как догмы, на самом деле, в действительной жизни, заражены практическими выводами этого учения и между природой бешеного зверя и природой человека не видят разницы, — только такие люди приписывают человеку все самое дурное, самое зверское и не могут подобрать других мотивов для наших действий, кроме неразборчивого на средства эгоизма и захвата чужого, не разбирая пути и прав своей жертвы. Только при этом пессимизме, при этом человекоунижении понятно то мнение, которое мы здесь слышали при обсуждении действий Новохацких.

Здесь, указав вам, что Александр Новохацкий проехал Москвой, когда в больнице лежала его сестра, и не навестил ее, говорили, что этим одним доказывается жестокость брата с сестрой.

Вы слышали, когда и зачем он проезжал Москвой? В Петербурге разрешалось бракоразводное дело Александра Новохацкого, исход которого был ему важен. Не он нарушил брачную верность, не его обрекали на безбрачие. Нет, ему готовилась свобода от нарушенных брачных уз, а эту свободу он искал для того, чтобы отдать ее той девушке, которую любил, которая ждала его здесь, чтобы сделаться его женой.

В чаду любви, в ожидании счастья, в ожидании ласки любимого существа, позвольте человеку хотя несколько дней забыть о всех, кроме себя, позвольте позабыть ему, что, кроме тех, кого он любит, есть кто-нибудь на свете, кроме того места, где решается его судьба, есть что-нибудь на свете, и томиться всякой минутой, отдаляющей его от счастья...

Перейдем к подлогу. Доказан ли он?

Марья Новохацкая здесь, по желанию присяжных, обозрела вексель и признала его. Что она могла выдать его в Кишиневе, что она там была, — это доказывается ее показаниями и здесь и на предварительном следствии: поездку в Кишинев она не отвергала. Подорожная на ее имя подтверждает эту поездку независимо от ее слов.

Экспертиза дала вывод за нас. Я ссылаюсь на мнение эксперта-учителя, человека, призванного обращать внимание на почерки. Что же касается до секретарей, то это — не эксперты: нынешний день он секретарь, завтра — нет; ныне вы его не считаете экспертом, завтра он поступит в секретари, и вы его признаете сведущим человеком. Очевидно, что на такую экспертизу положиться нельзя: качество эксперта здесь чисто формальное.

Происхождение векселя объяснено естественно. Перед поездкой за границу Николаю Ивановичу Новохацкому надо было денег, а их не было. Взят был безденежный вексель, чтобы дисконтировать его с своим бланком. Марья Ивановна одолжила брата этим векселем. Вот почему она на предварительном следствии даже показывала, что она ссудила брата 15000 руб. Дать вексель для дисконта — это одолжение, ссуда.

Если бы вексель был подложен, его бы беречь не стали, а здесь мы видим, что во время следствия Николай Новохацкий отдает его на сбережение Романову, которому и прежде отдавал ценные бумаги. Отдавая, Николай Новохацкий не

скрывал, что это его документ, а собственной рукой написал на конверте, что посылается пакет от такого-то.

Вексель писан и явлен у маклера в 1865 году. Подлога без цели не бывает. Если бы делали подлог, нуждаясь в деньгах, его бы не держали без употребления, а вексель лежал шесть лет, пока его не представил Романов следователю.

Что же за удовольствие составить подложный вексель и хранить его у себя?

Очевидно, что это не подлог.

Вексель явлен. Значит, он записан в книге маклера и там еще раз подписан. Отчего же следователь не вытребовал этой книги? Тогда бы было видно, что маклер удостоверил личность векселедержательницы, и если вексель подложен, то следовало привлечь и его.

Но следователь чувствовал, что книга опровергнет обвинение, что маклер докажет самоличность Марьи Новохацкой и разобьет неосновательное обвинение.

Беспристрастие требует, однако, иного приема: оно требует стремиться к истине, а не отворачиваться от нее.

Не представляя доказательств, когда их можно достать и взвесить, обвинение само себя обрекло на недоказанность...

Вот очерк дела. И этих данных было достаточно прокуратуре, чтобы вторгнуться в семью Новохацких, разделить членов ее на злодеев и обиженных...

Спасите, воскликнуло оно, указывая на Марью и Константина, этих несчастных от подобных людей!

А на это обвинительное слово откликнулись слова матери подсудимых и, будто бы, потерпевших: я — мать их, все они одинаково дороги мне, одних другим я не дам в жертву, но по правде и по сердцу я уверяю, что подсудимые не виноваты, что они равно достойны любви моей.

Режет ухо жестокое возражение с трибуны прокурора, что мать изменила голосу природы и выдает одних детей на жертву другим.

Слабый и неразвитый брат, Константин, большая душой и телом сестра, Марья, каким-то чудом собрали свои последние силы и проговорили: мы любим братьев, прощаем обиды, отвергаем обвинение; а оно — это обвинение — заткнув уши от этих из сердца исходящих криков, просило вас не верить им и засудить сидящих перед вами, неповинно привлеченных, братьев Новохацких...

В семью надо вторгаться осторожно, и осторожно обсуждать совершающиеся там явления. Многое, что кажется преступным, там не только дозволительно, но и обязатель-

но. Кто смеет поднять голос и заметить мне о моей неправоте, когда я так или иначе распоряжаюсь своими собственными интересами? Но то же замечание из уст отца или матери я выслушаю благоговейно.

Преступно лишить человека свободы на день, на час, на минуту, но отцовская мера против непокорного не подлечит осуждению.

Не законами, писанными людьми, а иными, от века существующими в душе людей нравственными убеждениями обеспечена семья от распада.

Пока семья не зовет вас на помощь, не трогайте ее покоя.

Любовь матери и ее оправдывающее детей слово — лучшая порука, что там не совершилось насилия.

Тысячами обвинительных речей не докажется, что подсудимые истязали и мучили своих единокровных, когда эти, названные потерпевшими, лица просят не защиты, не охраны, а мира, союза и неразрывного единения с оторванными от них членами их семьи.

Все усилия доказать, что мать в сообщничестве с одними теснит несчастную дочь, останутся напрасными перед одной из таких сцен, какую мы видели сегодня: обвинение обзывало мать злодейкой своей дочери, а эта дочь в это время покоилась на груди у матери...

Обвинение зовет подсудимых преступниками и просит вырвать у них сестру и брата, а они, эти обиженные, если вы осудите подсудимых, уйдут отсюда не с кликами радости, а с воплями отчаяния.

Правосудие вносит мир и господство права над неправдой, а обвинение подсудимых лишит потерпевших и мира и сознания своей правоты.

Осужденные будут силою своих страданий мучить совесть тех, за кого они напрасно потерпели.

Проклятие, а не благословение услышат оставшиеся дома члены семьи из уст матери за то, что из-за них у ней отняли ее детей.

Зато поднимут голову те, кто из-за кулис начал всю эту историю, объявят свое имя авторы анонимных писем и вновь примутся за свои гнусные замыслы. Лишенные заступников, старших, опытных братьев, к кому, как не к этим проходимцам в руки попадут нравственно слабые личности, Марья и Константин Новохацкие?!

Неужели же это — желанная цель дела?!

Отцы, мужья, братья! Вы лучше нас знаете мир семейных отношений!

Житейски благоразумно оценив поступки Новохацких, вы выделите из числа преступлений обычные неурядицы в семейной жизни средних по развитию людей, — тем паче вы откажетесь признать за проступки добрые намерения, имевшие в виду добрые цели, если эти намерения иногда воплощались в грубую форму первобытной дисциплины.

Ваше сердце научит вас обрести истину в массе переданных фактов, а Тот, кого вы призывали, обещаясь рассудить дело по совести, наставит вас на путь правды.

Настоящее дело — поле для святой, всепримирающей, миротворящей работы.

Тяжело, вопреки свидетельству внутреннего чувства, осуждать неизобличаемого, но легко и радостно снять с ближнего тяжесть незаслуженного обвинения.

Эту радость вы испытаете и теперь, когда своим «нет» прекратите долговременное и напрасное горе, тяготеющее на ожидающих вашего правосудного слова подсудимых!..

## ДЕЛО БУЛАХ,

*обвиняемой в причинении с корыстной целью  
расстройства умственных способностей Мазуриной*

В январе 1881 года до прокурорского надзора г. Ржева дошли сведения, что живущая в учрежденном на ее средства духовном училище потомственная почетная гражданка девица Анна Васильевна Мазурина лишена свободы начальницей училища Н. А. Булах, что помещается Мазурина в комнате, имеющей сообщение лишь с квартирой Булах, никуда оттуда не выходит, не бывает даже в церкви и бане, доступа к ней почти никто не имеет, а те, кому приходится случайно видеть главную учредительницу училища, поражаются ее бессмысленным и неряшливым видом.

Судебный следователь, прибывший в училище, нашел Мазурину в состоянии, близком к идиотизму.

Находившийся при осмотре врач, принимая во внимание, между прочим, то обстоятельство, что во время своей бессвязной речи Мазурина не отрывает глаз от взора Булах, заключил, что больная находится под сильнейшим влиянием последней, что воля ее вполне подавлена, и что, если Мазурину отделить от этого влияния и оказать ей медицинскую помощь, — ее умственное состояние может быть до некоторой степени улучшено.

Предварительным следствием по этому делу обнаружены следующие факты.

А. В. Мазурина родилась в Москве в 1843 году, детство свое провела в монастыре с болезненной матерью-вдовой. По смерти матери круглая сирота поступила под опеку родных и перешла жить в дом бабушки своей А. М. Зевакиной.

В 1861 году Мазурина получает в свои руки весьма значительный наследственный капитал в размере 514 426 р., а в 1863 году внезапно тайно скрывается из дома бабушки вместе со своей гувернанткой Булах, захватив часть своих капиталов и драгоценные вещи. Потом оказывается, что они обе живут во Ржеве, где у Булах есть родные.

По мнению знавших Мазурину людей, побег ее объяс-

нялся исключительно влиянием Булах, которая, с одной стороны, приобрела любовь питомицы, во всем ей угождая, а с другой, принимая личину угодливости, всячески старалась перессорить девушку с родными.

Во Ржеве гувернантка тотчас же отстраняет от Мазуриной всякое постороннее влияние, — даже портниха не видит девушки и шьет ей платья по старым образцам. Родных, делающих попытку видеть Мазурину, Булах приказывает выгонять. Протоиерей Попов, старик, удален от знакомства с Мазуриной, после того, как в разговоре наедине предложил ей жениха. В то же время Булах внушает своей питомице мысль готовиться к монастырю, советует надеть черное платье.

В 1864 году Мазурина уже дает Булах доверенность на замену билетов Коммерческого Банка и Сохранной Казны другими билетами, а лавки свои в Москве около этого же времени продает при посредстве племянника Булах. С этих пор у Булах и близких ей людей начинают появляться дома быстрораствующие вклады в банках.

В 1865 году Булах и Мазурина учреждают духовное училище, потом приют для призрения детей, — на все это тратится 170 тыс. Начальницей училища делается Булах...

Летом 1869 года ржевская благотворительница выезжает в Тверь. Цель поездки — формальная передача мазуринских капиталов Булах и поступление в монастырь. Деньги передаются, у Мазуриной остается лишь 5000 р.

Из Твери Мазурина уезжает путешествовать по монастырям, ища, где бы остаться навсегда. Вскоре она, однако, возвращается в Ржев: жизнь в монастырях ей не нравится, — в ней много несимпатичного. Но затем девушка опять начинает странствия по разным монастырям, а в 1871 году едет «с благословения» все той же Булах миссионерствовать на Алтай. В Томске она селится в женском монастыре, но и там думает лишь о возвращении во Ржев. Однако на ее письма об этом Булах отвечает отказом — пишет, что в училище нет помещения для Мазуриной.

Находясь в крайности, Мазурина в 1873 году выезжает в Ржев с женой есаула Буяновой. Приезд, очевидно, неприятен Булах. Буянову немедленно удаляют: ее не допускают даже проститься с Мазуриной. Вернувшись в Томск, Буянова пишет Мазуриной письмо, но ответа не получает.

С этих пор бывшая богачка начинает вести уединенный и странный образ жизни, не занимается делами, не одевается и, наконец, впадает в состояние слабоумия. Даже для случайно встречающихся с ней людей заметен упадок ее

физических и нравственных сил от недостатка общества, чистого воздуха, движения и каких бы то ни было занятий; одна Булах, по-видимому, не обращает на это внимания и не дает больной никакой медицинской помощи. Лица, могущие обнаружить болезненное состояние Мазуриной, особенно люди влиятельные, не могут во время посещений училища добиться разрешения видеть главную учредительницу его. Люди, обнаружившие поползновение войти в какие-либо сношения с Мазуриной, удаляются, а порой и прямо преследуются Булах. Так, начальнице приюта Волковой отказывают от должности за то, что в отсутствие Булах она вошла к Мазуриной.

Так идет дело до января 1881 года, когда было возбуждено уголовное расследование по поводу отношений Булах и Мазуриной.

Как только удалось отделить Мазурину от Булах и дать ей лучшее помещение, здоровье пострадавшей, видимо, начинает улучшаться. Она, как дитя, радуется удобствам жизни, прилично одевается, ищет общества, у нее, наконец, появляются признаки сознания, речь приобретает более осмысленности. Из слов ее можно заключить, что она вовсе не была расположена к тому образу жизни, какой вела под влиянием Булах, и не выходила никуда, только боясь эпидемий, которыми ее постоянно пугали.

Под влиянием тоски, одиночества, бездействия и советов своей наставницы, утверждавшей, что смерть есть переход к лучшей жизни, который всякий человек вправе устроить себе сам, Мазурина не раз помышляла о самоубийстве, но не знала, как это сделать.

Булах — вдова небогатого врача, бывшая крепостная, воспитанная за счет помещицы, до поступления к Мазуриной ничего не имела. В 1881 году у бывшей гувернантки оказывается до 400 000 руб. в банке, которые она спешит вынуть, как только возбуждается против нее дело.

Зато у Мазуриной при следствии оказывается почти полное отсутствие даже носильного белья.

Врачи, свидетельствовавшие потерпевшую, нашли, что она находится в состоянии неизлечимого постепенно развивавшегося слабоумия — результат ее продолжительного одиночного заключения и полного бездействия умственных способностей. Из всех способностей у Мазуриной сохранилась только память. Сравнительно хорошо одаренная от природы, немного робкая, застенчивая и нелюдимая, девушка прожила бы, вероятно, счастливой и здоровой, не будь хорошо рассчитанных действий Булах, развивших в



ней чувство полной несамостоятельности, желание свою слабую волю подчинить воле другого лица, которое и навязало Мазуриной образ жизни и цели, чуждые ее натуре. Не случись перемены обстановки, Мазурина прожила бы недолго.

Над личностью и имуществом потерпевшей учреждена опека.

Судебные заседания по этому делу происходили 18, 19, 20, 21, 22 и 23 мая 1884 г. в Москве под председательством Председателя Московского Окружного Суда В. Н. Лаврова. Обвинял прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров. Гражданскими истцами со стороны опеки явились присяжные поверенные Ф. Н. Плевако и С. В. Щелкан. Защищал подсудимую присяжный поверенный П. А. Швенцеров. Потерпевшая Мазурина на суд не явилась.

На решении присяжных заседателей поставлен вопрос о виновности Булах в том, что, подчинив слабую от природы волю Мазуриной всецело своей воле, а затем, достигнув передачи последнею ей, Булах, большей части своего состояния, она в 1873 году, живя в Ржеве с Мазуриной и заметив в ней предрасположение к психической болезни, с намерением нанести вред здоровью Мазуриной, как физический, так и нравственный, окружала ее в течение семи с лишним лет вредной обстановкой, чем заведомо довела к 1881 году до полного расстройтва умственных способностей, выразившегося в состоянии неизлечимого слабоумия.

Присяжные ответили на этот вопрос утвердительно, не дав подсудимой даже снисхождения.

Суд приговорил: подсудимую Булах, лишив всех прав состояния, сослать в не столь отдаленные места Сибири на поселение.

Гражданский иск предоставлено рассмотреть гражданскому суду.

### **Речь гражданского истца в защиту интересов опеки А. В. Мазуриной**

Господа судьи и господа присяжные заседатели!

Есть на свете больная и жалкая слабоумная девушка — А. В. Мазурина, Бог знает зачем коротающая ни себе, ни людям ненужную жизнь.

Есть на свете другая женщина, — она перед вами, — почтенного вида и преклонных лет, которой, казалось, не след

и сидеть на скамье позора, на скамье отверженников общества.

А между тем, судьбе угодно было связать общей нитью эти две противоположные натуры.

Замечательная энергия, завидная сила воли этой и бессилие и безволие той — дали место драме, реальностью ужасов и страданий превосходящей сотни созданий фантазии сердцеведов, по которым мы изучаем внутренний мир человека.

У этой драмы до сегодня недоставало только эпилога. Какой он будет — трагический или комический, с победой добра в конце концов или же с вакхическим смехом торжествующего и безнаказанного порока, — это досочините вы и напишите нам на том листе, который, по окончании наших прений, вручит вам руководящая вами и нами судебная коллегия.

Наша драма разыгрывалась во многих уголках России, но самый главный момент ее, на который вы обратили особое внимание, происходил в Ржеве. В этом городе есть два выдающихся благотворительных заведения, воздвигнутые на средства Мазуриной, но управлявшиеся Булах. В одном из этих заведений есть небольшая, сомнительной опрятности, комната, которую следовало бы сохранить как исторический памятник растления нравов. Знаете ли что это? Это — единственное убежище и то данное нехотя Булах Мазуриной, созидательнице этих домов, когда она, нищая и больная, постучалась у ворот, прося корки хлеба и крова для ночлега...

Главные деятели драмы вам уже названы. Отметим выдающиеся черты их.

Мазурина — дочь и наследница богатого отца; в детстве она не выдавалась особо сильными способностями, но и не была обижена судьбой. Она была молода, сильна надеждами юности, у ней был, — правда, небольшой, — умишко, который ждал только опытных рук для своего развития.

Булах от воспитателей и мужа не получила богатого наследства, но за то ей было много дано судьбой. Она много знала, могла этим знанием добывать себе честный кусок хлеба.

И они встретились.

Настало время учения, родственники Мазуриной пригласили к ней подсудимую. Началась священная связь воспитательницы и питомицы: эта учила, та училась.

И вот, когда курс учения кончился и данный Богом та-

лант Мазуриной дошел до того предела, который соответствовал взглядам руководительницы, она, гордая своим успехом, потребовала плату, выплатив которую, ученица осталась нищей...

Что же она взяла и что дала?

Было у Мазуриной прекрасное состояние, обеспечивавшее спокойную жизнь, — его взяла Булах, взяла до последней крохи. У Мазуриной были молодые силы и умишко — их не взяла Булах, потому что в уме не нуждалась, — у нее своего довольно, как гордо заявила она в своем литературном труде, вчера здесь прочитанном, — а молодые силы не передаются от лица к лицу. Но эти силы и этот ум мешали Булах, — и она растоптала, уничтожила их; а когда довела ее до потери разума, этого образа божества, когда довела ее до состояния мумии, мычащей наподобие человека, разбила, растоптала живую душу, — она признала курс учения законченным, а себя — правомерной и законной обладательницей того, чего не нужно более ее воспитаннице...

Опытная, глубоко проникающая в жизнь, Булах знала, что мир завистлив к быстрому обогащению, что, как пес, лающий на татя, пробирающегося к чужой сокровищнице, огрызается мир на всякое незаконное присвоение чужого. Она бросила этому миру подачку, — бросила два куска, в образе двух, чужими руками созданных, заведений любви и милости, и пока, обнюхивая и смакуя добычу, мир прервал свое ворчание, — одетая в тогу благотворительности, окруженная почетом, Булах не дремала: казнохранилища Мазуриной опустели, а у Булах, — и не только у нее, но и у всех ее присноблизких, — воздвигнулись богатые хоромы, а в них закрома... И наполнила она их казной через край, захватив, без всяких прав, чужое добро, чужое достояние.

История этого превращения богатой питомицы в нищую, а бедной гувернантки в богачку и составляет преимущественное содержание дела. В обвинительной речи прокурора эта история освещена лучами света правды подзаконной, и мы видим, какую длинную, слишком длинную и черную, тень кидали от себя факты из жизни подсудимой.

Теперь очередь за мной, теперь меня послушайте, пришедшего ходатайствовать за разбитое и больное существо...

Я пришел с более смиренной целью: добиваться с вашей помощью того, чтобы в годы будущей печали и отчаяния несчастной жертвы закон обязал эту женщину из того, что она еще не прожила или не сумела схоронить от власти, — дать хотя бы ничтожные средства для борьбы с нищетой и голодом жертве своего бессердечия. Идя к этой це-

ли, я, может быть, во многом разойдусь с представителем обвинения. Не смущайтесь: это не противоречие. Мы идем с ним к одной цели, по одному направлению. Но, сохраняя за собою свободу мнения, я не хочу отказаться от права всякого человека — определять прямую и кратчайшую линию, идущую к данной точке, своим глазом и своим разумением.

Итак, вот положение, которого я буду держаться и в чем хочу вас убедить: Булах не с момента встречи с Мазуриной задумала преступление. Ряд эгоистических предприятий ее и в Москве, и даже в Ржеве, вплоть до захвата состояния Мазуриной, будучи рядом безнравственных действий, истекающих из ее характера и взгляда на цель жизни, — не был преступлением в смысле закона. Преступление началось с возврата Мазуриной из Сибири, когда для обеспечения себе приобретенного положения и средств Булах увидела, что ей полезно не допускать к Мазуриной посторонних, держать ее безвыездно в Ржеве и, в особенности, не только не заботиться о ее выздоровлении от ясно обрисовавшегося душевного недуга, но и способствовать ему идти к своему довершению.

Развивая эти положения, я не буду вновь перечислять перед вами оглашенные здесь факты дела. Я думаю, что судебный оратор, говорящий перед присяжными, и не должен этого делать: вы ведь недаром и не бесцельно здесь сидели; летопись событий повторялась преимущественно для вас, и ваше соборное единомыслие и память, конечно, лучше нас сохранили виденное и слышанное. Мое дело, на основании вам известного, дать общие взгляды. Если же взгляды не будут противоречить тому, что было, вы их примете, вы им поверите. Но если мои взгляды будут основаны на произведении моей фантазии, на фактах несуществующих, вы поднимете в недоумении свое чело и скажете мне: «Равви! Что это?»... И отвергнете мое слово.

Точно так же я не буду стараться ввести в мои слова вывод из всей совокупности фактов. Масса сведений, нам сообщенных, поразительна, но она не вся идет к делу; попытка воспользоваться ими всеми была бы даже ошибочной. Подобно скульптору, стоящему перед глыбой мрамора, адвокат должен угадать, какое цельное, говорящее уму и сердцу, живое, жизненное создание воспроизвести из данного материала, и, угадав, смело своим резцом отсекал ненужное как массу мертвой материи.

Во имя положения, мной поддерживаемого, я прошу вас из разных периодов совместной жизни Булах и Мазуриной

удержать пока имеющее несомненное значение, — то, что вы сейчас услышите. Я постараюсь зато вашему вниманию дать материалы, не заимствованные из спорных источников; я возьму только такие обстоятельства, которые не отвергают обе стороны или которые, как очевидные истины, не вызывали даже и попытки сомнения.

В московской жизни деятелей нашего процесса запомните черты, рисующие раннюю молодость Мазуриной.

Ребенок рано лишился отца и, живя с матерью, конечно, сохранил в себе впечатления, оставленные ему ею.

Мать ее была женщина веры, любви и отречения. Богатая вдова, имевшая возможность окружить себя благами мира, она уходит в монастырь, отрекается от богатства, как от греха, и, в тиши кельи, молитвой и милостыней наполняет жизнь.

Девочка впитала в себя взгляды матери: на всю жизнь осталось в ее душе неуничтожимое, перешедшее из мысли в ощущение, связанное с ее натурой, мнение, что богатство — тягость, долг Богу, который мы должны отдать через руки нищих. Дитя, когда оно было уже круглой сиротой и когда неравенство состояний являлось ей лишь в образе ее с ее богатой родней, а с другой стороны — в образе бедной и нуждающейся прислуги, любило утешать последнюю словами: «Когда вырасту и буду хозяйкой, я не стану держать вас так, — я дам вам много, много...»

Ребенок сохранил и другую черту материнскую — нелюбовь к блеску и роскоши. Сама она без ропота переносит те неудобства, которые впервые испытала у бабушки.

Но все это отходит на второй план при воспоминании об одной черте детства: у ребенка было любящее сердце, то сердце, которое самой природой награждается способностью нести радость и счастье тем, к кому оно стремится, а с другой стороны — до поры до времени ограничивается в выборе предмета любви. Детское сердце еще не знает ни той любви, которая вспыхивает с годами, сверстниками страстей, ни той, которой болеют за все человечество. Детское сердце способно любить и довольствоваться любовью к тому, кто дал ему жизнь и питает его.

Но, рано потерявшая отца и мать, круглая сирота тщетно носила эту свежую силу в сердце: ее не к кому было применить и некому было отдать. Дитя привязалось бы к бабушке, но эта последняя, принявшая ребенка в дом не с первых дней его появления на свет и, к тому же, по натуре холодная женщина, не сумела привязать к себе ребенка: сердце, искавшее любви, было одиноко и рвалось к другому сердцу.

И вот в эту-то пору ребенок поступает на руки Булах. Его доселе не удовлетворенное ласками прислуги сердце кидается навстречу новому лицу; а это лицо, путем исполнения долга учительницы и воспитательницы, захватывает все затребы молодой души.

Пусть Булах руководило здесь только расчетливое и вместе отчетливое исполнение своей службы, пусть любовь и сердечность отсутствовали: ребенку этого не понять. Предубеждение, что инстинкт открывает дитяти теплоту или сухость тех, кто его ласкает, — неверно. Чистые сердцем всюду видят то же согласие между делом и намерением, какое живет и в их душе...

Теперь рядом поставим Булах и по отдельным чертам, уцелевшим от ее прошлого, восстановим и ее облик.

Оставшись вдовой и поместившись в Москве для прискания занятий, Булах сразу сказала натурой, ищущей прежде всего выгоднейшего приложения своего труда: стоило ей дать сравнительно более, чем получала она в данном месте, она переходила на новое. Нельзя же предполагать, чтобы в том, доселе почтенном московском купеческом семействе, где ее застают г-н Филиппов, она была обделена или дурно содержима. Это была, одним словом, натура, ищущая, где лучше ей жить, и для этого пренебрегающая привычками и привязанностями.

Если же, уподобясь историкам и социологам, объяснять настоящее, пользуясь указаниями прошлого, и наоборот, то из последующих данных, припомнив гордый и властный, не знающий сострадания и прощения характер Булах, мы можем сказать, что, поступив к Мазуриной, подсудимая не руководилась желанием более ей подходящего места: поддаваясь временно необходимости — «мелким бесом унижаясь пред родней Мазуриной» — обеспечивать себе прочность положения, Булах не желала и не могла далее оставаться в бездействии, а всякий момент времени, когда это могло представиться надежным, она стремилась устранить принижающие ее препятствия и достигнуть высшей роли сравнительно с ролью наемной и вечно зависящей от каприза родственников Мазуриной интеллигентной слуги дома.

Ее положению угрожает ворчливость няньки, — она отдаляет от нее питомку, ей опасно возможное в будущем родственное сближение бабушки с подрастающей внучкой, — она взаимно возбуждает их друг против друга. Нетребовательной девушке она внушает мысли, благодаря которым та заявляет и, при посредстве опекуны княгини Оболенской, достигает перемены помещения, отдельного

хозяйства, и будто бы необходимой для девушки самостоятельности.

Но и этого мало. Московская жизнь даже и в лучшей обстановке делается неудовлетворительной для девочки, — она уезжает во Ржев.

Кому же нужно было бежать из Москвы? Г-же Булах или Мазуриной?

Я утверждаю, что это нужно было Булах.

Вот мои аргументы.

Из всех уголков России избирается Ржев, город, с которым у Мазуриной не было никакой связи. У Булах — наоборот: там ее свойственники, ее сын; туда посылала она советные письма, приглашая помочь побегу. Для Мазуриной, полной любви и желания посещать святыни веры, Москва могла быть сменена Питером, Киевом, но не Ржевом. Ни исторической святыней, ни широтой жизни общественной Ржев не выдается среди городов России.

Бежала ли туда Мазурина, ища свободы, удобств жизни?

Нет! Ни та обстановка, в которой нашли ее в 1881 году, ни та, в которой она жила в шестидесятых, — не лучше, а хуже позднейшей московской обстановки.

А свобода? Да когда же в Москве стесняли так девушку, как стесняли ее во Ржеве! Возьмите всю совокупность свидетельских показаний — и останется в итоге, что видеться с Мазуриной было нелегко, писать ей — значило терять даром время.

Увезти туда Мазурину, уговорить ее там поселиться — был прямой расчет для Булах: этим расчетом связь с Москвой разрывалась, уничтожалась возможность потерять место по домашним соображениям Мазуринской родни.

Следует взять во внимание и то, что богатство и возраст девушки делали ее в начале 60-х годов предметом искательств для брачного союза. Найдется муж, увезет жену и вытеснит из сердца привязанность к гувернантке.

Бегство Мазуриной из Москвы было уместно, пока ее теснили, в год же ее отъезда она пользовалась наибольшей самостоятельностью. А для Булах это было подходящим временем: теперь Мазурина получила деньги и не обязана никому давать отчет; теперь вместо роли зависимой гувернантки она чувствовала наступившую новую пору, — пору руководительницы богатой и независимой девушки, пору, лучше которой пока ничего и не желала Булах, но зато и не желала потерять того, что приобретено...

Теперь последуем за ними во Ржев.

Нет никакого сомнения, что хорошо изучившая почву

Булах понимала, что как бы ни была податлива ее питомица, но нельзя забирать власть над ней далее пределов упругости личности.

Прибавьте к тому и то, что Булах, еще недавно бедная труженица, при переходе к достатку имела сравнительно неширокий идеал удобства. Только достигнув одной ступени и свыкнувшись с ней, она мечтала о лучшей и делала шаг далее. Это общий закон.

Прилагая этот общий закон к событиям, становится понятным, что первый период ржевской жизни не мог быть полной подавленностью Мазуриной: надо было фактами поддержать авторитет совета ехать именно сюда; надо было здесь дать пищу наклонности Мазуриной — благотворить и любить нуждающееся и страждущее человечество. Отсюда ей дают указания на способ благотворения и сосредоточивают на устройстве двух широко задуманных учреждений любви и милосердия. При этом Булах, еще стремящаяся только к прочному сожительству с Мазуриной, как к теплomu и почетному месту, не идет далее совета сделать и ее номинальной участницей жертвования, а вместе учредительницей и пожизненной распорядительницей воздвигаемых заведений.

Личные цели ее пока еще умеренны: все ограничивается тем, что местная портниха получает заказ на платья более богатые для нее и менее богатые для Мазуриной, да одной парой новых сапог стало продаваться более во Ржеве, потому что до той поры шатавшийся без дела, одетый в старое платье и дырявые штиблеты сын Булах, Николай Егорович, вдруг стал одеваться и обуваться прилично и, досель нуждавшийся в 5 к., чем уплатить долг за бритье цирюльнику, стал заказывать новые одежды и даже модный халат для своего обихода.

Вскоре, однако, податливость Мазуриной, считавшей Булах за высший образец того, к чему она стремится, а с другой — ее дальнейшие благочестивые намерения принудили задуматься Булах и дали толчок следующему шагу — из роли подруги-руководительницы в роль властной распорядительницы судьбой покорной ученицы-подруги.

Дело в том, что Мазурина, создавшая дома призрения для ржевских бедных девушек, обеспечившая их, имела большую часть своего имущества еще нетронутой. Но эта натура не могла остановиться на полдороге в своих намерениях и одной частью своих дел отрицать другую. Коли деньги — грех, коли добро и милость — долг и потребность души, то она хотела отвернуться от всего греха и исполнять



долг до предела ее сил. Денег много, а бедных на Руси еще больше: значит, надо ехать, смотреть, искать и благотворить.

Вот этого-то и не захотела Булах. Мазурина уедет, уедут с ней ее средства, а Булах ничего более не приобретет, кроме того, что уже есть, что уже пригляделось, что только раздрадило аппетит.

Булах пошла палее.

Отпустить Мазурину, значит — отпустить ту имущественную силу, около которой тепло и уютно жилось Булах. Податливая под чужую волю, впечатлительная и доверчивая, Мазурина встретит новых людей, новые нужды и другим отдаст то, что так ценно в ней, — ее богатство.

И вот, рядом советов и решений, Мазурина убеждается в том, что лучшего помещения для денег, лучшей гарантии, что они будут отданы на добро, как в передаче их всех на руки Булах, — нет.

И Мазурина отдает, уверенная, что этим обеспечен переход их на добрые цели, что надежный поверенный ее намерений остается при деле, а она может, оставив себе только умеренную долю, — всего 5000 руб. на всю жизнь, — ехать и искать места полного душевного покоя; если же встретится ей надобность в деньгах, для себя или для бедных, ей стоит сказать — хранительница выполнит ее волю.

Деньги переданы. Мазурина соблюдает все формы, какие необходимы, а Булах осведомляется у одного из своих родственников, сильного в знании законов, достаточно ли крепки формы перехода к ней имущества Мазуриной. Перечитываются статьи закона, пересматриваются документы, предусматриваются случаи, при которых возможно возвращение дара. Только укрывает Булах на семейном совете, что дар этот оставляет дарительницу нищей, укрывает, что дарительница, не чая души в своей воспитательнице, делает не то, что хочет, а то, что ей советуют.

Словом, возбуждены и разрешены были все вопросы формы и права, а не было и помина о том, что вопросы справедливости и морали требуют и своего участия в деле и ответа на них.

Однако мнение юриста-свойственника, что дар возвращается в случае доказанной неблагодарности, а может быть, и боязнь мнений света, где Булах заняла и положение и уважение, заставляют ее прибегнуть к старому, давно практикуемому приему искусственного обеления своего не совсем хорошего для самой себя поступка.

Она, — если допустить, что странная молва, о которой

говорил г-н Филиппов, и подтверждающая эту молву мука, тяготившая душу покойного святителя, митрополита Филофея, имели основание, — она, говорю, припутывает к делу местного архипастыря, — дарит ему не лично, но как епархиальному начальнику на нужды церкви 30 000 руб.

Это маневр тех, кто знает за собой грех, — они любят становиться за людьми чистыми и их достоинствами прикрывать свои проступки: смотрите, не я одна, но и святитель не побоялся взять из этого источника, — значит, дело чисто и поступок праведен... Но это старый, избитый способ, и в наше время вы никого им не обманете!

Отдавая деньги, Мазурина уезжает.

Но, прежде чем мы ее встретим еще в Ржеве, остановимся на данном периоде жизни: мне нужно убедить вас, что, уезжая, Мазурина не дарила, а только препоручила свои деньги, как фонд своих будущих целей.

Вот мои доказательства по этой части моих утверждений:

1) Весь строй души Мазуриной — ее неизменные, даже позднейшим слабоумием непоколебленные основы ее взглядов на богатство доказывают, что дарение состояния одной личности было бы противоречием ее природе.

2) Письма Мазуриной свидетельствуют о том, что дара не было.

3) Несвязные речи периода слабоумия оставляют впечатление, что денег она не отчуждала от себя.

С детства привыкнув тяготиться деньгами, как грехом, с детства стремившаяся ими утешить горе страждущих, глубоко убежденная, что и Булах живет и согрета той же любовью и теми же помыслами, Мазурина не поверила бы, если бы услышала, что Булах стремится к личному обогащению. Дать все свое 300-тысячное состояние ей одной, перенести на нее тот грех и ту тяжесть, которые мучили ее, она не могла, не впадая в непримиримое противоречие. Булах не возьмет, обидится, оскорбится такой черной неблагодарностью. Деньги могут быть на руках Булах только для передачи бедным: ведь они и взяты от них...

Позднее, уже совсем безумная, она продолжала лепетать: «Мужички бедны, мы им должны давать, это — их»... Более здоровая, она поступила так, как говорила, и кассу бедных отдать в дар хотя бы подруге, отдать для богатой и роскошной жизни для Мазуриной было так же невозможно, как взять и утаить чужое.

Вспомните письма Мазуриной, писанные после совершения дара: есть ли намеки на радость, испытываемую тем,

что любимая воспитательница награждена до возможности жить на широкую ногу и утопать в блаженстве? Есть ли заочные мечтания о той обстановке, в которой может жить теперь царственно одаренная подруга-руководительница?

Нет! Мазурина пишет о своем вечном долге перед потевшей на нее время воспитательницей, извиняется за причиненные беспокойства, мечтает о Ржеве и просится туда; зовет Булах к себе на краткое свидание и опять извиняется, что ее беспокоит.

Так не пишут к тому, кто награжден до возможности комфорта и кого не стеснят расходы, вызываемые краткосрочной поездкой на свидание к своему щедрому дарителю...

Наконец, о том, что дара не было, свидетельствуют в полубреде и в минуты ослабления душевного недуга слова, высказываемые Мазуриной. Она говорит о деньгах, что они — ее деньги и их надо взять; иногда она говорит, что их не надо трогать, потому что Булах знает, что с ними делать, что их — 200 000 руб., что они целы.

Не бойтесь прислушаться порой и к бреду больной: разрушенный человеческий организм, как старые руины древнего храма, своими остатками иногда красноречивее свидетельствуют об истине, чем живые и здоровые люди. Здоровый человек, имея свободу воли, может сознательно извращать истину; больной и безумный, если его язык беспрепятственно повторяет одно и то же, как мертвый своей смертельной раной, не давая сознательного ответа, дает путь к уразумению правды...

А допустив, что под наружными формами дара скрывалось препоручение денег на добрые цели, мы совершенно ясно поймем и повод к преступлению, совершенному Булах по возвращении Мазуриной из Сибири, и необходимость его для нее.

Киевского периода, жизни в Сибири, воспроизведенной показанием Буяновой, — всего этого нечего повторять. Лучше отдадим себе отчет, каким образом могло случиться, что г-жа Булах вдруг изменила свое отношение к Мазуриной и отпустила последнюю.

Дело просто: все, что привлекало Булах к ее ученице, ее сила, — в руках у ней: Булах богата, сильна; теперь люди, вновь приблизившие к себе Мазурину, возьмут у Булах то, что она выносила как бремя, а то, что ей нужно, — деньги, — в ее руках: крепко держит она их. Устой надежны, осмотрены и одобрены советами людей, сведущих в законе...

Вдали отыскивающая себе место успокоения, девушка, полная и теперь веры и любви к своей учительнице, едва ли переменит образ мыслей. Булах, зная ее безвольной, еще не знает, что эта слабость характера — плод душевного недуга. Она уверена, что Мазурина спокойна, что деньги ее пойдут на добро, и не заикнется о них. А там, среди скитаний и аскетических трудов, глядь, и кончит свое земное странствование, надломленное существование... Тогда конец всему, конец сомнениям и заботам...

Но судьбе угодно было поразить г-жу Булах неожиданностью, спутавшей все ее расчеты.

В 70-х годах, в одно прекрасное утро, к воротам одного из Мазуринских богоугодных заведений подъехала телега, а в ней сидела Мазурина с какой-то женщиной. Долго, долго не видели бедные люди своей благотворительницы и, увидав ее, с криком: «Вот мать наша приехала!» бросились к ней навстречу.

Бросились с теми же приветствиями и прислужники дома, ничем ей не обязанные, но благоговевшие перед ее добротой. Одна Булах, пораженная, встречает ее сухо, нерасторжительно; друзья и враги Булах не проронили ни одного слова здесь, из которого можно было заключить о ласке, поцелуях и объятиях...

Когда к нам неожиданно является друг и близкий из дальнего странствия, когда он своим приходом приносит нам счастье и наслаждение, все и все, что способствовало этому другу вернуться к нам, все и все нам дорого, нам любезно. Ямщик, слуга, послуживший ему, в этот час нам близок, приятен...

А г-жа Булах? Как приняла она Буянову, 4000 верст проехавшую, чтобы помочь Мазуриной доехать до Ржева?

Она не устаивает ее слова, она сажает ее с прислугой, она обрезывает всякую копейку, возвращая ей дорожные издержки, — да и это дает только потому, что наутро считает долгом выпроводить Буянову вон из города.

А Мазурина? Ее вместо радостной встречи ждет здесь суровая доля; ей, со властью былого времени, запрещается свидеться даже с той, которая оказала ей услугу. Ни во что считает Булах тот стыд, который она вызвала у Мазуриной, не смевшей исполнить простого долга гостеприимства перед той, кого звала она, надеясь вознаградить ее ласками, как своими, так и своей подруги-воспитательницы...

Но что же делать с Мазуриной?

Этот вопрос должна была задать себе Булах.

Выгнать вон ни на что более ненужную нищущую? Но что

будут говорить в городе, в печати? Ведь девушку знают все, ведь заступятся за нее! Кто знает, может быть, родственники заговорят о возврате дара? Найдется человек, — не один же Т. И. Филиппов имеет добрую душу, — возбудит дело. А Булах дорожит репутацией, дающей ей положение и обеспечивающей ее от неосторожных покушений заподозрить ее в нечистых способах обогащения.

Нет, отпускать Мазурину нельзя. Там, далеко, в Сибири и в Киеве, — другое дело: там Мазурина безопасна.

Но у девушки нашлась энергия выдержать долгий путь и вернуться во Ржев; более отпускать ее бесцельно.

Остается одно — держать ее около себя. Для этого не нужно тюрьмы: без гроша в кармане, без достаточной силы, чтобы не смутиться властью Булах, Мазурина будет опять покорна, как рабыня. Не нужно будет теперь и ухаживать за ней: она ничего более дать не может.

И приговор произнесен: свобода сношений с миром, с теми самыми детьми, которые воспитываются на средства Мазуриной, с отцами их, с подчиненными, — все устранено с удвоенной строгостью.

А между тем возвратившаяся из Сибири Мазурина привезла зерно болезни, которое быстро дало рост под давлением на ее душу обстоятельств, перевернувших в ее глазах все ее миросозерцание.

Она увидала, что вместо ласки, дружбы, о которой она так долго и постоянно мечтала и писала, ее окатили холодностью бессердечия; идеал благотворения, верная хранительница ее казны, посвященной на добро, оказалась эгоисткой, скрягой, отказывающей ей в нищенской подачке, изгоняющей из дому ее подругу и открыто завладевшей в свою пользу и в пользу детей своих благами, данными ей с другой целью.

Все перепуталось в голове Мазуриной, а ее умственные и нравственные силы и без того были утомлены: до сих пор, отрекшаяся от всего, она жила в Ржеве, хоть скудно, но — необходимое у ней было; Киев и Сибирь впервые познакомили ее с тернистым путем отречения на самом деле: она не раскаивалась, не отступала, но она падала, уставала и разбила свои незакаленные в труде силы...

Удар, нанесенный на ослабевшие силы, само собой, еще легче в конце пошатнул их.

Мазурина заболевает. Род ее болезни становится очевидным. Умной ли женщине, как Булах, не заметить этого?

И она заметила, но не вопросом, как помочь несчастной, занялся ее ум: что делать, чтобы не упустить своих выгод, — вот что теперь было на очереди.

Еще опаснее, чем прежде было, еще опаснее стало отпустить Мазурину: ее отдадут в больницу, учредят опеку и... поколеблют то положение, которое завоевано Булах.

Самой отправить ее в подходящее заведение — тот же результат: опека, иски о возврате подаренного... К чему же было столько трудиться? Неужели отдать назад взятое, отдать деньги?

А для г-жи Булах деньги — все: божество и сила. Ведь и здесь, на суде, и всем поведением своим не дает ли она знать, что, в противоположность библейскому Иову, она не блага и сокровища отдает, чтобы соблюсти душу, но, наоборот, она лучше отдаст и отдает себя на распятие, но зато скрывает то, что ей всего дороже, — награбленное богатство; скрывает так, что едва ли соединенные усилия суда и власти что-нибудь отымут у нее.

Остается держать, держать девушку, удесятерив те меры разоблачения, которые принесли плоды и прежде: пусть никто не знает о ней ничего, пусть не доходят до властей и родичей соблазнительные слухи о ее болезни.

Относительно низших по положению издаются строгие повеления: не допускать, гнать, сменять за попытку свиданий; а в отношении сильных пускается хитрость и дерзость: тщетно стараются проникнуть к Мазуриной духовники, учителя. Изгоняются и отступают архиереи и губернаторы. А когда один из архипастырей во что бы то ни стало хочет увидеть аскетку-благотворительницу, Булах становится между ним и дверью и озадачивает его своими каноническими познаниями: «Отец, — говорила она ему, — девушка больна и полураздета, а кормчая не позволяет монаху видеть обнаженное женское тело!»

Болезнь Мазуриной могла быть задержана, дать или обратный ход, к лучшему, или, медленнее развиваясь, на многие годы сохранить в ней разумные человеческие способности.

Но, если сношения с миром прерваны, родственники устранены и, видимо, примирились с этим, — к чему стремиться к здоровью, а следовательно, и к такому состоянию Мазуриной, когда она может требовать назад своего или, если и не требовать, то сознательно укорять ее, Булах, за измену делу? Пусть идет своей дорогой разрушающий девушку недуг. Не мешать, а, наоборот, очищать ему путь, чтобы шел он торжественно и быстро к полной победе над своей добычей — вот что стало мечтой и делом Булах.

Я боюсь верить более убийственным замыслам Булах, но зато в данном поступке убеждаюсь рядом мыслей и выводов из слышанного нами.

Когда дело шло о захвате состояния Мазуриной, сколько трудов на соблюдение форм и обрядов закона, сколько семейных советов употребила Булах!

А когда заболела Мазурина, когда наступил долг позаботиться о ней, пригласить тех, кто силой науки мог бы помешать враждебным силам недуга, — хоть бы одно слово в Питер и тому же советнику своему по делам, чтобы он указал сведущих людей, чтобы обратиться к их помощи!

Сколько заботливости и мер для того, чтобы злоприобретенное закрепить за своей семьей; сколько решительных мер, чтобы остаться безнаказанной, когда началось дело, спасти деньги от иска опеки Мазуриной, мер с точки зрения цели разумных, действительных!

А когда заболела Мазурина, у Булах не промелькнуло мысли, что нужна медицинская помощь, что обстановка, в какой живет та, — убийственна, нравственная атмосфера — невыносима. Не умела сама ухаживать — вспомнила бы, что есть дома для подобных больных; не хотела сама — дала бы знать родству, которое и теперь своим попечением утешило и, видимо, уменьшило болезнь несчастной.

Наоборот, систематично, бездушно соединено все, что сокращает период разрушения больного ума; устранено все, что, питая и поддерживая силы, отдаляет конечную гибель.

Что у Булах в душе не жило ни малейшего чувства к Мазуриной — этому ряд очевиднейших доказательств: обобрав до нищенства девушку, возвратила ли она ей, в ее настоящем положении, хоть частицу?

Нет!

Душа растоптанного существа и ее муки для Булах — ничто. Сотни тысяч, и не сотни тысяч, а один рубль, — для нее выше и священнее прав загубленной личности.

А если настоящее таково, то не ясно ли, что тем же чувством руководствовалась эта женщина и в те 7 лет, когда рядом с ней стонала и медленно таяла ее ученица? Не ясно ли, что боязнь потерять приобретенное и уменьшить его хоть бы на малую долю руководила волею Булах, и она сознательно шла к быстрой и желанной развязке, терпя Мазурину около себя лишь из расчета, чтобы не выпустить в свет улику против своего бездушного эгоизма?

Зло, знающее, что закон и право не одобряют его, не выставляется наружу, а действует тайно, скрытно. Для того же, чтобы достигнуть преступных целей в данном случае, вовсе не нужны были явные и грандиозные меры. Здоровье Ма-

зуриной разрушилось путем постепенного устранения противодействующих мер: люди неопытные могли не замечать их...

Великий поэт Англии Мильтон говорит, что сатанинская природа такова, что она может сократиться до булавочной головки и носить целый ад зла в груди своей...

Так и поступала эта женщина.

Ее хитрый ум обошел не одних прислужников того дома, где жила Мазурина: люди умные, законоведы, успокаивали ее, говоря, что в ее поступках нет предусмотренного законом преступления.

Может быть, Булах и вам станет говорить про то же. Не идите на этот опасный путь не принадлежащих вам вопросов!

Вас спросят не о том, преступны ли дела этой женщины; вас спросят, творила ли она то, что ей приписывается, и творя, была ли нравственно повинна. Если дела ее и ее вина в них, вами установленная, однако, рассмотрены законом — суд освободит ее, а если ошибется суд, силу закона восстановит Сенат.

Ваша же задача, судьи совести, — вменить в вину человеку его дела, если они не могли быть совершены без злой и преступно настроенной воли.

Если суд поставит перед вами человека, обвиняемого в том, что он ложными обещаниями вступить в брак довел девушку до самоубийства, и если спросят вас, виноват ли он, что обманул ее, вам нечего рыться в книгах закона для того, чтобы сказать, что он виновен в обмане.

Другое дело — судьи: их дело, получив ваш ответ, справиться, как наказуемо то, что совершил обманщик. Найдя ответ, что деяние ненаказуемо, суд отпустит виновного, и пусть отпустит: это — вина не ваша и не судей, — вина закона или его государственное соображение, что факт ненаказуем.

Вы же, обвиняя, не нарушите вашей обязанности, ибо суд совести тогда и свят, когда руководствуется при оценке людей и их поступков чистыми побуждениями нравственного чувства, вменяя злой воле ее зло и освобождая волю, если она не водилась, совершая ошибку, целями преступными и человеконенавистными.

Обратите внимание и на то, что довести человека до безумия можно намеренным употреблением вредных средств и намеренным устранением полезного: я и мой брат, мы — два злодея, желаем довести до безумия две жертвы: я даю своей жертве сильнодействующие средства, а брат мой



томит своего врага голодом, и, когда тот мучится им, он ставит около него хлеб, но мешает ему взять его... Муки голода сводят с ума и этого человека. Я употреблял средство, брат — мешал жертве пользоваться необходимым для жизни, и оба достигли одного результата. Неужели же вы разделите нас: одного сочтете виновным, а другого безнаказанно простите? Всякая мера делания или воздержания от дела, направленная к достижению той или другой цели, есть способ добиться ее...

Но не довольны ли? Не думает ли эта женщина, что надежда на возврат ею взятого руководит по преимуществу нами и теми, кто взял из рук Булах загубленную душу?

О, вы жестоко ошибаетесь, г-жа Булах! Все наши права, все наши средства, которые были, мы бы кинули вам в лицо за то, чтобы вы отдали невозвратно погибшее, — за нашу молодость, силу, душу и разум! Их вы взяли и зверски растерзали человека.

Знаете ли вы, что у нас отнято? Слыхали ли вы, что есть горе и есть страдания, пред которыми смертный час — ничтожный удар, для которых гроб — райская отрада?

Когда пресекается жизнь, преждевременно отнятая злодейской рукой, у жертвы, — если за гранью земного существования нас ждет не ложное обетование веры, — есть мир новый, лучшего бытия. И эта вера утешает тех, кто теряет дорогих сердцу!

А безумный? Какая скорбь для его друзей созерцать, как образ разумного создания на их глазах превращается в юродствующее, скотоподобное существо! Какое отчаяние для веры в бессмертное и духовное достоинство личности, когда вчерашний наш брат по разуму и чувству здесь, в мире очевидности, перестает быть человеком, не переставая быть чем-то.

А если безумный иногда на минуту возвращается к сознанию, или, наконец, от частных переходов от боли к моментальному просветлению, в быстробегущие мгновения последнего, знает, что оно преходяще? Какую адскую муку должен он испытывать!

Помните у Шекспира сцену тени отца с сыном, Гамлетом?

На краткий срок уходит он из мира небытия в мир живых надежд, чувств и упований. Он спешит скорей-скорей насладиться созерцанием любимого сына и сказать ему все то, что тяготит его душу... Но вот поет петух, утренний, предрасветный ветерок возвещает наступление восхода солнца, и тень спешит назад, в ужасный мир небытия и сени смертной...

Не то же ли и с безумными? Заговорить вновь человеческим языком, зажить человеческим чувством и знать, что сейчас, сейчас опять — возврат в пучину, худшую смерти, шаг назад из царства разума и духа в царство неразумного и скотского прозябания!

Подсудимая, вы знали, что вы делали, но вы сознательно принесли право ближнего на его жизнь в жертву вашей ненасытной жажде обогащения. И мы, пораженные глубокой вас охватившего порока, не боимся прегрешения, призывая закон отмщения на вашу голову!

И нам дадут его, дадут перед вашим удивленным взором!..

Знаю я, что непонятно вам все то, что совершается, и — торжествую, ибо это начало казни вашего злобного духа!

Вы жили упованием, что сила — в богатстве, вы думали, как говорит поэт, что «перед золотом гнется копьё стальное правосудия», и вдруг, — о, чудное зрелище! — вы, владелица несметного достояния — на скамье позора! Вас не спасли ни лживый почет, ни сила ваших связей!

А она, — нищая и обезличенная, не могущая промолвить слова, стоит перед вами, как личность, имеющая право, правда, не сама, — ей, благодаря вам, этого уже не придется сделать, — но стоит, представляемая мной, пришедшим говорить за нее.

А меня слушают и о бедной заботятся и закон, который вы хотели обойти, и прокурор, не жалевший труда, и судьи, внимательно исследующие событие. Рассудить вас с какой-то ничтожностью, на ваш взгляд, пришли люди общества и терпеливо отдают труд и время, считая вашей жертвой равноправное со всеми человеческое существо! Еще час-другой, и раздастся слово правосудия, которого вы не ожидали...

Расставаясь с местом и уступая его тем, кто будет говорить после меня, я хочу бросить еще одно последнее, сравнительное, соображение по делу.

Десять лет тому назад, в этом самом здании, под этими самыми сводами, на эту самую скамью была приведена женщина, облеченная в черные одежды и обличаемая в черных поступках.

То была — игуменья Митрофания.

Духовная гордыня внушила ей мысль дать учрежденной ею общине, бесспорно благому делу, размеры, превосходящие ее средства. Она не остановилась, и подлогами хотела дополнить то, чего не доставало.

Ваши предшественники, сидевшие на ваших местах, спросили у совести и во время ее велений осудили нечистое дело.

Знаете ли, что поступки Булах во сто крат хуже и нравственно гаже поступков Митрофании?

Там дурно понятое человеколюбие и извращенные благочестивые цели натолкнули ее на преступление, а здесь — само благочестие эксплуатировалось как орудие для хищнических захватов.

Там, правда, крали, но краденым, по скудости ума и сухости сердца, думали угодить Богу, воздвигая алтари. Здесь — строили храм молитвы и милости на чужие средства, чтобы в притворах его, заманив свою жертву, растерзать ее!

Далее еще не шло человеческое лицемерие!..

Дадите ли вы право гражданства этому способу наживы?

Не думаю!

Нет, вы отторгнете зло; вы произнесете суд, который будет отражением нравственного мирозерцания вас и того общества, которого вы плоть от плоти и кровь от крови.

Во имя этого общества, во имя правды и справедливости, в которых оно нуждается, я молю вас: воздвигните по-прежнему право, подайте руку обиженной, защитите сирую и убогую.

Да воскреснет закон в вашем приговоре и да расточатся враги его, явные и тайные, дерзкие и, как крот под землей, подкапывающиеся под его истину.

А нечестивые дела, о которых нам свидетельствовали, и те, нечистые руки, ими же зло совершено и внесено в мир, от негодующего на неправду людскую манования вашей властной руки, как исчезает дым, да исчезнут!..

## ДЕЛО БРАТЬЕВ БОСТРЕМ,

*обвиняемых в ограблении  
присяжного поверенного Гольдсмита  
и вымогательстве у него документов*

В сентябре 1874 года в семью Оскара Бострем присяжный поверенный Гольдсмит, случайный знакомый брата Оскара, Александра Бострем, поместил на воспитание ребенка.

Гольдсмит, навещая ребенка, стал часто бывать в квартире Бострем.

Молодая жена Оскара Бострем через некоторое время после принятия на воспитание ребенка Гольдсмита стала жаловаться своему мужу, что Гольдсмит ухаживает за ней и даже предлагает ей сожитительство, обещая за это всевозможные блага.

24 ноября 1874 г. Гольдсмит, по его показанию, явился, как это он часто делал, в квартиру Бострем. Едва он туда вошел, как братья Бострем напали на него и, сильно избив, потребовали, чтобы он выдал вексель в 5000 руб. Гольдсмит выдал им вексель, но в тот же день заявил об этом судебному следователю, сообщив при этом, что, кроме векселя, братья Бострем угрозами же заставили его выдать долговую расписку в 1000 руб. и во время драки из бывших у него 7000 руб. похитили две тысячи.

Оскар Бострем не отрицал факта избия Гольдсмита и получения от него векселя в 5000 руб. Он рассказал, что в этот день по приходе Гольдсмита он вместе со своим братом Александром потребовал от него выдачи векселя в 5000 руб. Сделал он это с той целью, чтобы проучить Гольдсмита за его постоянные приставания к его жене. Вексель они взяли с Гольдсмита, кроме того, в целях обеспечения таким способом ребенка Гольдсмита. Расписку же в 1000 руб. Гольдсмит выдал сам для того, чтобы вексель не был тогда же предъявлен ко взысканию. 2000 руб. ни он, ни его брат у Гольдсмита не похищали.

Гольдсмит, напротив, объяснил, что, по его мнению, вымогательство Бостремом векселя, расписки и похищение

2000 руб. сделаны исключительно с целью обогатиться на его счет; нападение на него было для него совершенной неожиданностью.

В дальнейших объяснениях Гольдсмит указал на то, что за г-жей Бострем он никогда не ухаживал; что ездил он к Бострем только для того, чтобы проведать ребенка; что в комнаты г-жи Бострем заходил редко и то только тогда, когда г-жа Бострем приглашала его туда и, под предлогом необходимости произвести различные расходы на ребенка, часто просила у него денег.

Все домашние Бострема подтвердили рассказ Оскара Бострем о постоянных, для всех очевидных ухаживаниях Гольдсмита за женой Бострема. Никаких доказательств того, что Бострем похитили у Гольдсмита 2000 р., кроме собственного показания последнего, обнаружено не было.

Братья Бострем были преданы Московскому Окружному Суду с участием присяжных заседателей.

Председательствовал председатель суда Загоскин. Поверенным гражданского истца выступил Громницкий.

Защитали: Оскара Бострема — Ф. Н. Плевако, Александра Бострем — кандидат прав Высоцкий.

Вердиктом присяжных братья Бострем были признаны по Суду оправданными.

### **Речь в защиту обвиняемого Оскара Бострем**

Защитнику, прежде всего, необходимо постараться приобрести доверие к себе. Доверие приобретается основательностью речи; но бывают речи основательные, которым, однако, нет веры: это бывает тогда, когда явится подозрение, что человек говорит не то, что хочет его сердце, — сердце в разладе с умом.

Подобное подозрение могло явиться у вас, господа присяжные, против меня, защитника, потому что Гольдсмит в начале заседания заявил, что я собирался быть поверенным его, как гражданского истца.

Но я очень счастлив, что не искал, где глубже, где лучше, где больше дают: это видно из того, что я, слава Богу, защищаю по назначению от суда и, следовательно, никакого личного интереса, кроме душевного, сердечного расположения, в переходе из одного лагеря в другой не имел.

Поэтому я полагаю, что вы отнесетесь ко мне с доверием настолько, насколько этого будет заслуживать внутренняя правда моих слов.

В настоящем деле, что ни шаг, то трудности. На скамье потерпевшего сидит наш товарищ, присяжный поверенный, призвание которого защищать подсудимых, защищать истину и говорить на суде только правду.

После этого не положить ли уже оружие?! Если присяжный поверенный Гольдсмит говорит, что с ним поступили так-то, то не правда ли все, что он говорит от первого и до последнего слова, не делаю ли я большой ошибки против сословия, к которому принадлежу, что решаюсь доказывать возможность неправды в словах потерпевшего лица?

Господа, я не думаю, что делаю ошибку: только гнилым корпорациям, гнилым сословиям свойственна такая идея, чтобы непременно отстаивать поступки своих членов, не подвергать их критике, не подвергать суду.

Всякое же сословие, которое вмещает в себе членов, достойных доброго имени, не боится предстать перед судом, не боится слова правды...

Итак, нимало не стесняясь тем, что предо мной в качестве потерпевшего лица стоит товарищ по сословию, я скажу: я вам не дам более веры, чем каждому человеку, явившемуся на суд поддерживать свои жалобы; если вы не подтвердите их, я сочту себя не только вправе, но и обязанным не верить вам, потому что во имя высоких человеческих интересов нельзя доверять тому, чего не докажет жалобщик.

Нет сословия, звания, в котором человек не мог бы сказать такой вещи, которая оказалась бы неправдой, даже в том случае, когда он сам полагает, что говорит правду...

Подсудимые обвиняются в преступлении, которое по закону приравнено к разбою.

Но деятельность подсудимых, их общественное положение прежде всего противоречат всем известной характеристике разбойника: они только что начали жить, жили честным трудом, между тем, как имели возможность запускать свои лапы в чужое добро, если бы не были люди нравственные.

Если положение, воспитание, средства, которые они имели к жизни, не могли предохранить их от соблазна на чужую собственность, то по крайней мере, их ум, образование дают основание ожидать, чтобы средства, избранные ими для достижения корыстной цели, соответствовали их уму, развитию. Между тем все обстоятельства дела указывают на то, что это — или невинные люди, или наивнейшие нарушители чужой собственности.

Хотя товарищ прокурора отказался от одного из обвинений, взведенных на подсудимых, именно от обвинения в

ограблении подсудимыми 2000 руб., но гражданский истец все-таки приводит два соображения в подкрепление этого обвинения: во-первых, он смело и свободно заявляет, что можно назвать участницами грабежа и разбоя двух честных женщин, против которых не представлено никакого пятна, заявляет только потому, что женщины эти не были обысканы, и во-вторых, — гражданский истец указывает на то, что один из подсудимых имел возможность до обыска сходить на Никольскую улицу...

Но если бы подсудимые действительно желали скрыть что-нибудь, то они скорее должны были бы позаботиться скрыть вне дома не деньги, а документы, потому что принадлежность документов видна, деньги же, приобретенные честным трудом и приобретенные преступлением, по внешнему виду не отличаются друг от друга.

Итак, по поводу ограбления 2000 р. противная сторона не представила никаких доказательств; за отсутствием данных она только бросает тень на людей честных, имя которых должно пользоваться уважением с большим правом, чем имя тех, кто возбудил настоящее дело...

Переходя к другому обвинению, — к обвинению подсудимых в вымогательстве обязательств, защитник счел нужным выяснить понятие нашего закона об этом преступлении.

Так называемое вымогательство обязательств у другого лица путем насилия или угроз по нашему закону относится к преступлениям, направленным против имущества другого лица. Конечная цель такого преступления — что-нибудь приобрести: угрозы, побои, насилие рассматриваются здесь как средства. Если я встречаю на улице человека, бью его и говорю, что буду бить до тех пор, пока он не отдаст мне своих часов, то я совершаю грабеж; но если человек отправился к своему приятелю за двумя вещами — получить долг и, кстати, поссориться за неаккуратность, приходит к нему, видит на столе деньги, хватает их: «Ты мне должен, я не хочу ждать судебного решения и беру эти деньги», — здесь будет только самоуправство, а не грабеж.

Если с противной стороны будет сказано резкое слово, если я в ответ также скажу резкое слово и затем выйдет брань и драка, то, хотя здесь, как и в грабеже, были одинаково драка и перевод имущества от одной стороны к другой, но ни один серьезный юрист не станет утверждать, что тут и там было одинаковое деяние.

Это мнение имеет за себя такой авторитет, пред которым должен преклониться авторитет каждого суда. Именно,

в 1869 году до кассационного Сената, как видно из решения его № 327, доходило дело, в котором возникал такой вопрос: не следует ли считать грабежом переход имущества от одного лица к другому, когда в это же время между лицами случалась драка, хотя бы эта драка и не была средством для вымогательства имущества.

Сенат признал, что грабежом называется только такое деяние, в котором насилие, побои, угрозы, — все это было затеяно для того, чтобы добиться приобретения имущества; если же одно из другого не вытекает, как следствие из причины, — тогда нет грабежа.

На основании этих соображений легко разрешить вопрос о вымогательстве.

Если обязательство выдано путем угроз, вследствие боязни, обиды действием, то тогда обязательство выдано через вымогательство; но если между двумя лицами по поводу семейных или других обстоятельств происходила ссора, драка, если оскорбленное лицо наносит побои другому не для того, чтобы взять вексель, а чтобы проучить оскорбителя, и если обязательство предложено не как последствие побоев, а как плата, чтобы я не обращался к законной власти и не оглашал действительных событий, — тогда угроз и вымогательства не было.

Посмотрим, при каких обстоятельствах происходило столкновение Бострем и Гольдсмита.

Как я уже сказал, подсудимые не занимались по ремеслу днями, им приписываемыми, — прошлое их безупречно. Здесь была оглашена только одна печальная сцена из их семейной жизни, печальная не в том смысле, чтобы существовал разлад в семье, а в том, что явился внешний враг, разрушитель семейного счастья.

Факты, которые мы выслушали здесь, заставляют меня согласиться с обвинительной властью относительно того, каким образом развилось настоящее дело.

Я не стану говорить о том, откуда г-н Гольдсмит привез ребенка; может быть, тот факт, по поводу которого заявлялись разные темные предположения, свидетельствует о Гольдсмите, напротив, с хорошей стороны, — человек, который, имея к тому возможность, не бросает ребенка на произвол судьбы, а воспитывает его, не достоин порицания: он исполняет только священный долг природы.

Но этот факт свидетельствует об одном, — что у почтенного нашего товарища, который здесь является гражданским истцом, были легкие воззрения на семейные отношения. Это — его дело: он за это отвечает перед судом собственной совести...



Но каково людям, к которым в дом он войдет и будет проповедовать те же легкие воззрения?!

Есть люди, которые имеют полное право смотреть гораздо строже на семейные отношения, и идеи, разрушающие семейный союз, не должны проникать в их дом...

Я нисколько не сомневаюсь, что первоначально г-н Гольдсмит посещал господ Бострем с одной только целью, — с целью устроить ребенка, и никак не больше.

Но вот факт, который нельзя отвергать: мать этого ребенка умерла, а молодая женщина, только что вышедшая замуж, взяла на себя обязанность второй матери.

У матери — разные обязанности. Почему же не распространить эти обязанности на даму, которая была так любезна, что взяла на себя воспитание ребенка?..

И вот г-н Гольдсмит начинает разговор, не верить которому я не имею права, потому что, хотя его сообщает жена подсудимого, в нем столько внутренней правды, что не верить этому невозможно.

Г-н Гольдсмит спрашивает Елизавету Александровну Бострем: любит ли она своего мужа?

Очень удачно, с большим тактом задан вопрос!..

Но здесь, по-видимому, встретилось противодействие: жена любит мужа... любит человека бедного, живет в нужде.

Тогда, имея в виду, что блага мира всем дороги, г-н Гольдсмит указывает ей на возможность изменить свое положение. А так как она любит мужа, то лучшим средством для этого представляется приискать мужу хорошее место.

Женщина, любящая мужа, могла задуматься над этим предложением, потому что есть женщины, готовые жертвовать всем, даже жизнью, для человека, которого они любят.

Первый шаг сделан — представлена прелесть богатства.

Но у женщин, даже у тех, которых может прельщать богатство, есть еще другая, более дорогая, вещь: честь, целомудрие...

Нужно разбить и эту брешь.

Что такое честь?

Доброе имя перед общественным мнением и, в особенности, перед своим мужем.

Но ведь только четыре стены будут свидетелями наших отношений, говорит оболыститель, а стены — немые: не бойтесь, они никогда не изменят...

Но и этого мало: честная женщина должна колебаться, в особенности, когда не любовь влечет к человеку, а человек этот средствами старается сбить ее с долга.

«Чего же вы боитесь? Вы знаете, что людская природа так устроена, что некоторые грехи, совершенные женщиной по выходе честною замуж, могут быть прикрыты?!»

Я сомневаюсь, чтобы 18-летняя женщина, 5 месяцев вышедшая замуж, могла так ловко лгать, передавать так естественно историю, которая известна всем нам, — как обманывают мужчины честных женщин!..

Елизавета Александровна, как порядочная женщина, обратилась с жалобой к мужу.

И здесь является естественный факт: ее оскорбила та вольность, которую позволил Гольдсмит, поцеловав руку.

Но муж благоразумнее ее и говорит: здесь нет ничего дурного — может быть, это сделано из чувства благодарности за твои заботы о ребенке!.. Известно, что в некоторых классах общества целование руки женщины считается только вежливостью... Заводить из-за этого историю — преждевременно, говорит муж.

Но Гольдсмит счел долгом идти кверху и от руки добрался до шеи...

Этот факт — движение к шее — также был передан мужу.

Муж не нашел в лексиконе света такого обыкновения, чтобы можно было целовать шею посторонней женщины, и он решился отомстить.

Разбойничьи, грабительские идеи начинаются так: человеку нужны деньги, и он обдумывает, где бы достать их.

Здесь же на первом плане желание не достать денег, а как бы наказать человека, отучить от известного дома.

Есть пословица, что известных людей можно добить не дубьем, а рублем...

И действительно, в наш девятнадцатый век, век меркантильных интересов, рублем можно задеть всякого за живое.

Почему же не наказать рублем человека, который считал в деньгах все величие, желал даже обольстить ими женщину, наказать не потому, чтобы для нас был дорог рубль, а чтобы показать, что нельзя вторгаться в чужой мир безнаказанно?!..

Обыкновенно разбойник, вор, задумав разбойничать, воровать, идет на место преступления; здесь же предполагаемые разбойники и грабители остаются дома, а жертва приезжает к ним.

Жертва эта входит в кабинет и начинает разговор.

Как этот разговор перешел в драку и как появились обязательства — история темная, которую может разъяснить Гольдсмит, а если его объяснения недостаточны, то — подсудимые.

По утверждению Гольдсмита, на него напали подсудимые, потребовали подписания обязательств и тут же выгнали 2000 руб.

Неправдоподобность этого последнего заявления ввиду того, что 4000 руб. остались целыми в кармане, когда грабители обшаривали свою жертву, достаточно разъяснена обвинительной властью, так что едва ли вы можете дать какую-нибудь веру этому заявлению об ограблении 2000 руб.

Это заявление Гольдсмита дает мне право сказать: нельзя губить целую жизнь подсудимых на основании слов такого недостоверного свидетеля, которому верить отказываются даже во имя здравого смысла.

Значит, Гольдсмит — недостоверный свидетель события...

Обратимся к другому источнику — к показаниям братьев Бострем.

Они говорят, что между ними и Гольдсмитом происходила драка, драка вследствие оскорбления, нанесенного Гольдсмитом жене одного из Бострем. Дело началось из-за этого. Цели приобрести во что бы то ни стало денежное обязательство у них не было. Обязательство это появляется как путь к соглашению, — чтобы г-н Гольдсмит не был опозорен публично, чтобы до сведения лиц, от которых зависело его положение, не было доведено об обстоятельствах, его компрометирующих.

На это указывают, между прочим, следующие факты: обыкновенно получение обязательства есть последнее действие грабежа, насилия, и потерпевшее лицо сопротивляется до последней степени.

Здесь же происходит предварительно спокойный разговор о замене одного обязательства другим, и обнаруживаются до того добрые отношения, что Гольдсмит находит даже нужным успокоить господ Бострем, боясь, что они раздумают воспользоваться документами: я, говорит Гольдсмит, дал им документ и успокаивал их, что деньги отдам.

Для чего делалось это?

Для того, чтобы явиться к следователю и накрыть противников.

Года два назад наше общественное мнение сильно возмущено было подобными фактами: известные чины полиции, узнав, что такое-то лицо желает совершить преступление, вместо того, чтобы остановить его на приготовлении или на покушении, выжидали, пока совершится преступление, чтобы накрыть преступника и получить похвалу, награду.

Почтенный наш товарищ не принадлежит к этому словию — он не нуждается в какой бы то ни было награде; но у него была другая цель: он желал отомстить людям, которые подрались с ним.

Он дает им денежное обязательство, но боится, чтобы они не раздумали, и поэтому старается успокоить их, чтобы они, — например, по совету жен, — не отказались от злого дела.

Ей богу, мне кажется, что, если здесь совершенно было преступление, то совершению его усердно помогало само потерпевшее лицо...

*Затем защитник перешел к изложению доказательств того, что между г-ном Гольдсмитом и женой Оскара Бострема действительно существовали те отношения, о которых упоминается выше.*

Об этих отношениях показывают: Елизавета Александровна Бострем и кухарка Матрена Федоровна.

Гражданский истец не доверяет г-же Бострем, потому что она, как существо, очень близкое своему мужу, готова показать в пользу него неправду.

Не верьте ей, — говорит гражданский истец, если она плачет; не верьте, если в ее голосе слышится правдивость; не верьте даже тогда, когда ваше сердце начинает верить.

Но источник правды есть сердце; если ваше сердце говорит вам, что такой-то человек говорит правду, то, значит, так и есть... Отказаться от этого — значит, отказаться от очевидной истины...

Затем противная сторона говорит: не верьте кухарке, что для нее показались подозрительными продолжительные свидания Гольдсмита с Елизаветою Бострем, потому что разве свидание кума с кумой — вещь редкая?..

Я не спору, что кум с кумой могут видаться, но когда эти свидания очень часты, то у нас даже есть пословица, что они опасны.

Если бы кума молчала, то наше сомнение разрешилось бы в пользу Гольдсмита; но ввиду заявления Елизаветы Бострем следует думать, что, кроме духовного родства, в отношениях Гольдсмита к куме было еще нечто другое. По свойству человеческой природы всегда возможен переход из мира духовного немного к миру реальному, и вот этот-то реальный мир и выяснился в том факте, который видела кухарка.

Противная сторона ссылается на кормилицу, которая действительно, говорит, что Гольдсмит никогда не бывал более пяти минут у г-жи Бострем.

Но вы припомните, что кормилица — чешка, которой не с кем слова было перемолвить; вероятно, она была поставлена в такие условия, что весьма редко выходила из своей комнаты и потому не могла знать, подолгу ли оставался г-н Гольдсмит у г-жи Бострем.

Но, если действительно со стороны Гольдсмита было ухаживание за женой Оскара Бострема, то взятие с него денежного обязательства не есть ли факт нравственно безобразный, ради которого нужно отвернуться от подсудимых, и не доказывает ли этот факт преступления, в котором обвиняют Бострема?

*Повторив, что в деянии подсудимых нельзя видеть корыстную цель, потому что первым побудительным мотивом и целью этого деяния не было получения от Гольдсмита денежного документа, защитник задался вопросом: самый факт взятия векселя, заемного письма всегда ли указывает на корысть?*

Не всегда: например, жена живет несчастливо с мужем, и последний, хотя согласился жить врозь, но все-таки иногда приходит к ней, мучает ее, и, если с такого мужа будет взято обязательство в 15—20 тыс., с тем, что, как скоро он нарушит свое обещание не приходить к жене, то обязательство будет представлено ко взысканию, — в таком случае нет корыстной цели, потому что здесь обязательство служит средством только для другой более отдаленной цели.

Точно так же и в настоящем деле, если согласиться с подсудимыми, что документ был взят для того, чтобы отказаться от преследования Гольдсмита по суду и перед общественным мнением путем оглашения известных фактов, то здесь нельзя видеть корысть, а — месть или приобретение документа по добровольному соглашению...

Но не приняла ли здесь месть форму чрезвычайно нелепую, отталкивающую?

Действительно, скверно бесчестье оценивать на деньги. Но когда семейство торжествует, когда человек, покушавшийся разрушить семейный союз со стыдом выгнан из дома, — тогда нет такого желания мести, которое требовало бы другой, более благородной формы, а есть только желание, чтобы тот, кто пытался нарушить мир в семье, тяжело поплатился за свою попытку.

Вот это-то обстоятельство, — что покушение на честь жены его не удалось, и примеряет с личностью Бострема.

Здесь не было вымогательства, а было получение документа безденежного, без всякой валюты.

Подсудимые считали этот документ до того законным,

что, когда явился следователь, они добровольно представили его: они, конечно, этого не сделали бы, если бы считали, что приобрели документ путем незаконным, путем насилия.

Документ явился результатом соглашения: или будут оглашены такие-то факты, или должен быть представлен такой-то выкуп: при этом уголовный, преступный характер, приписываемый деянию подсудимых, сам собою падает.

Правда, если люди расправляются с другими, сами приискивают меру удовлетворения, играют в одно и то же время роль и оскорбленных, и обвинителей, и судей, то такое самоуправство нетерпимо.

Но в данном случае событие совершилось при таких обстоятельствах, которые заставляют относиться к нему более мягко.

В самом деле, в этой семейной драме, в драме между мужем оскорбленной женщины и лицом, которое желало быть обольстителем, кто был истинно потерпевший и кто нападал на самое дорогое сокровище?

Конечно, ни на одну минуту вы не остановитесь в выборе, и этот выбор, разумеется, падет не на тех, кто сидят на скамье подсудимых.

Подсудимый Оскар Бострем только за 5 месяцев до события женился и женился на девушке 18 лет, которая вышла по любви за человека, не имеющего ничего, кроме трудового рубля.

Образовав семейный мир, этот человек только что начал наслаждаться, когда в его дом явился неожиданный друг в лице потерпевшего от преступления.

Этот неожиданный друг, вместо того, чтобы, благодаря высшему развитию, стоять за соблюдение долга и нравственного закона, старался разрушить семью. Целое семейное счастье, с радостями мужа и жены, отца и детей, этот человек хотел принести в жертву минутного сладострастия, минутного удовлетворения своей потребности, погубить навсегда, безвозвратно, — потому что павшая и затем раскаявшаяся жена никакими слезами не заставит мужа позабыть оскорбление, нанесенное ему.

Если же люди узнали, что в их дом под видом друга вошел обольститель и если против этого обольстителя приняты меры, которые немного не сошлись с требованиями закона, то такие люди, ввиду страшного несчастья, которое угрожало им, заслуживают той доли внимания и участия, какого заслуживает человек, когда он в бедствии ополчается на своих врагов...

**ДЕЛО**  
**СУПРУГОВ ЗАМЯТНИНЫХ,**  
*обвиняемых в вымогательстве векселей*

13 марта 1881 г. в Козьмодемьянске, в своей квартире купец Семен Замятнин путем угрозы убийством, с револьвером в руках, заставил казанского купца Устина Курбатова подписать в свою пользу 4 векселя на сумму 100 000 руб.

В дом Замятнина Курбатов явился к его жене Марии Алексеевне по делу о поставке последней дров для своего пароходства.

Еще до 13 марта проездом из Нижнего Новгорода, постоянного места своего жительства, в Ирбит Курбатов заезжал к Замятниным, но не видел их и оставил записку, что заедет на обратном пути в Нижний.

С Замятниной Курбатов и раньше имел торговые дела. После смерти первого мужа Замятниной между ней и Курбатовым установились близкие отношения. Со вторым мужем Замятниной Курбатов познакомился впервые 13 марта 1881 г.

Когда Курбатов явился к Замятниным, им прежде всего была заключена с Замятниной сделка о поставке дров, по которой он вручил Замятниной в задаток 3000 руб.

После предложенного чая Замятнин пригласил Курбатова из зала в другую комнату и здесь, вынув из кармана револьвер, заявил ему, что за существовавшие между ним и женой Замятнина отношения пришло время расплатиться. Продолжая держать револьвер в руке и угрожая смертью, Замятнин заставил Курбатова подписать сначала два векселя по 25 000 руб., затем один в 50 000 руб., а оставшиеся при нем вексельные бланки еще на 150 000 руб. он тут же уничтожил, заявив, что удовлетворится векселями на выданную им сумму, хотя раньше собирался требовать их на 250 000 руб.

Угрозой мести Замятнин потребовал от Курбатова молчания обо всем происшедшем между ними.

Очень взволнованный этим Курбатов немедленно уехал к себе домой. По приезде своем из Петербурга, куда он должен был немедленно выехать, он сообщил обо всем происшедшем прокурору.

Тогда же Курбатов узнал, что подписанные им Замятнину векселя уже представлены последним к учету в Волжско-Камском банке.

Спрошенная обо всем этом Замятнина рассказала следующее.

Во время своего вдовства она сблизилась с Курбатовым. Еще за 4 года до этого случая, в 1877 году, Курбатов, в виде подарка, выдал ей 4 векселя по 25 000 руб. каждый и затем ежегодно векселя эти возобновлял.

В этот приезд Курбатова в Козьмодемьянск ее муж Семен Замятнин, знавший о бывших ее отношениях к Курбатову и о подарке, который последний сделал ей, предложил Курбатову уплатить по векселям деньги. Курбатов сказал, что у него с собой денег нет, и на означенную в прежних векселях сумму написал новые векселя.

По поводу показания Курбатова Замятнина заявила, что он говорит неправду для того, чтобы не платить по выданным им векселям.

Общественное положение Курбатова, его очень значительное состояние, отзывы о нем людей как о крупном благодетеле, не позволили думать, что Курбатов говорит неправду, и С. Замятнин был привлечен к ответственности за получение от Курбатова векселей путем угроз, а его жена — за пособничество в этом преступлении.

Добытые следствием обстоятельства, заключение экспертизы о том, что подписи на векселях сделаны человеком, находившимся в волнении, показания домашних Замятиных, что им ничего не было известно о пребывании в их доме Курбатова, что приезд его был обставлен какою-то таинственностью, — объяснения Замятниной не подтвердили.

Замятнины судились в г. Козьмодемьянске выездной сессией Казанского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 7—9 июня 1882 г.

Подсудимых защищал присяжный поверенный Н. П. Шубинский.

Гражданский иск со стороны Курбатова поддерживал Ф. Н. Плевако.

Присяжные заседатели, признав доказанным факт вынужденного получения Замятнинными с Курбатова на 100 000 руб. векселей, по вопросу о виновности в этом преступлении Замятнинных ответили отрицательно.



Окружной Суд постановил: признать С. и М. Замятников по суду оправданными, а векселя, выданные Курбатовым, уничтожить.

### Речь в защиту интересов гражданского истца Курбатова

Шестнадцать лет я — адвокат.

Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так и у нас, защитников, защитительная жилка всегда остается нашим свойством не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, прощаем и о которых мы сожалеем.

Годы закалывают нас в этой привычке...

Рядом с ними к нам приходят и другие люди, которые жалуются на преступников, подсудимых и говорят: «Они нас обидели, защитите нас, просим вашего содействия: у нас нет других защитников, нам не к кому обратиться».

Кроме нас, защитников, для прямой защиты их от обидчиков законом не создано иного класса. При нашей привычке защищать, при нашей привычке к снисхождению мы встречаемся с необходимостью требовать восстановления нарушенных прав, отнятия из их рук того, что они захватили.

Если ко мне является человек, у которого сняли с плеч кафтан, я действую таким образом, чтобы возратить похищенное; но если этот же человек требует наказания преступника, то его заявление кажется мне еще недостаточным.

Как же примирить это?

Очень легко!

Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о котором я говорил, и чувства справедливости к тому человеку, который страдает.

Заявляют иск разного рода люди: иные хлопчут о том только, чтобы выиграть свой иск, иногда даже несправедливый. Защита, готовая клеветать, явиться пособником такого человека, — позорна и нечестна.

Наоборот — нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего...

Но есть противоположный класс потерпевших, где сила смеется над всем.

Когда приходят к нам обиженные люди и говорят, что у них силой отняли то, что им принадлежало, что им негде искать защиты, — тогда указываешь им на Бога; но они отвечают, что там — пустое место, вот тут нужно уличить, покарать преступника, доказать ему, что насилие — презренно, потому что нарушает человеческие права...

Бывают еще третьего сорта дела, когда, под влиянием гнева, вражды и других житейских обстоятельств, человек порой совершит преступление, а потом сам не может додуматься, как он его совершил; дело поправлять поздно, и вот, из чувства самосохранения, он начинает отпираться. Может быть, он не прочь возвернуть несправедливо отнятое, но боится дать улики обвинению.

Тогда он начинает давать невероятные показания, говорит неправду; между тем потерпевший — страдает, интересы его — нарушены... Тут мы будем вполне правы, защищая эти интересы, но не будем правы, если захотим карать обвиняемого.

Для меня безразлично, останется ли обвиняемый в этом городе или будет сослан. Позор подсудимого для интересов Курбатова не имеет значения.

Вся наша просьба заключается в том, чтобы вы рассудили, законны ли те документы, которые находились в руках Замятнина, — выданы ли они добровольно, как всякий честный акт, или же взяты силой из рук того, кому имущество принадлежало.

Задача поверенного гражданского истца заключается в удовлетворении его гражданского иска, и только в этих пределах я буду разяснять перед вами настоящее дело.

Вопрос, как вы знаете, поставлен ребром. Приходит человек и говорит нам: «Меня обманули — заставили силой и угрозами подписать векселя... Прошу признать их недействительными».

Приходит также другой и говорит: «Документы — мои собственные; я получил их в обмен на старые документы».

Выступает жена и говорит: «Эти документы — законные; получив от Курбатова, я передала их мужу; правда, я денег ему не давала, не трудилась для него, но когда-то он оставил у меня документов на 100 тыс. в благодарность за то, что проводил у меня время, отдыхал от забот... Теперь я с ним рассталась и вышла замуж».

Вот задача, которую я должен объяснить вам и решить вопрос, который в глубине вашей совести, верно, уже явился.

Для разяснения дела я прошу вашего внимания, про-

шу вас мысленно отправиться в тот дом, куда мы сегодня с вами ходили.

Я увидел этот дом в первый раз; увидел обстановку человека обеспеченного, достаток которого начался не сегодня, не вчера, а, вероятно, уже давно. Во всей этой обстановке видна женщина не нуждающаяся, имеющая в руках довольно средств, чтобы жить спокойно, не выпрашивая, не унижая себя до того, чтобы продавать кому-нибудь свою честь за более или менее значительное вознаграждение.

Без сомнения, на такую продажу Мария Алексеевна нравственно не была способна.

Как мы видим из всей ее прежней жизни, она после смерти первого мужа вела торговые дела, пользовалась всеобщим уважением, считалась женщиной достаточной. Когда же она погрешила против известных правил нравственности, что говорит: «Я получила от Курбатова документов на 100 тыс.»?

Нам нужно рассмотреть, правда ли, что такой факт был.

Мария Алексеевна говорит, что она серьезно полюбила Курбатова, что между ними были отношения настолько короткие, что должны были перейти в брак; в ожидании его они не были слишком сдержанны и позволили себе отношения очень близкие. Мария Алексеевна говорит, что эти отношения не оглашались, но что Курбатов бывал у нее, что она появлялась с ним у знакомых, каталась на его лошадях, бывала в театре в его ложе.

Курбатов этих отношений не отрицает.

Но смотрел ли он на Марию Алексеевну как на будущую жену? Это обстоятельство нужно проверить.

Обращаю ваше внимание на один факт: люди этого романа, по крайней мере один из них, не были молоды в начале своего знакомства: если Мария Алексеевна была не старше 25 лет, то Курбатов приближался уже к 50-летнему возрасту.

Молодой человек, встретив женщину, которая ему понравилась, хотя бы эта женщина была и легкого несколько поведения, имеет достаточно мужества, чтобы не стать к ней в неловкие отношения.

Но этого возраста люди, встретясь с женщиной, не так легко поддаются впечатлению, не так легко забываются.

Поэтому, если Мария Алексеевна говорит, что она серьезно полюбила Курбатова, я все же думаю, что до замужества было далеко; он все-таки оставался для нее чужим человеком, который не решился бы ввести ее в свой семейный круг.

Если бы отношения между ними не дошли до известной степени короткости, то в словах Марии Алексеевны было бы много правды; разбивать эту правду пришлось бы с большим трудом.

Но раз она говорит, что «спозналась с ним», то такой человек, как Курбатов, после этого нелегко изменяется. Женщина, которая имела полную свободу идти с ним к венцу и которая отдалась ему до свадьбы, — такая женщина, прежде чем он решится назвать ее своей женой, всегда заставит подумать: если она легко отдалась мне, то почему же она жила до встречи со мной? Молодой человек, если полюбит женщину, то не задумается жениться на ней, каково бы ни было ее прошлое; пожилой же — не скоро на это решится.

Раз Мария Алексеевна не отрицает своих близких отношений к Курбатову — она сама себе произносит приговор, она созналась, что о будущем браке он с нею не говорил. И действительно, в отношениях их мы подтверждения этому не находим.

Правда, он приглашал ее к себе, они вместе посещали общих знакомых...

Здесь были свидетели, которыми мы могли проверить эти слова.

Так, свидетель Четвергов показал, что Мария Алексеевна была у него на вечере в числе других знакомых. Но они бывали не вместе, не как жених с невестой, — это вещи разные. Другое дело, если бы Курбатов, приехав с Марией Алексеевной, прямо сказал, что это — его объявленная невеста, если бы он приводом ее оглашал их будущий брак; но мы знаем, что этого не было.

Из свидетельских показаний видно, что, судя по их обращению, никто не подозревал их близких отношений. Напротив, при известных отношениях приличие наружно соблюдается тем строже, чем свободнее они внутри.

Объяснения Замятниной, что Курбатов хотел вступить с ней в брак, лишены всякого основания. Это подтверждается показаниями близких знакомых Курбатова, которые ничего об этом не слышали. То обстоятельство, что Мария Алексеевна бывала в ложе у Курбатова, посещение общих знакомых, объясняется, в сущности, весьма просто: Мария Алексеевна вела свои торговые дела настолько крупно, настолько видно, была такой значительной негодичанкой известного торгового дела, что поэтому, конечно, входила в сношения со многими лицами купечества, которые смотрели на нее как на одну из своих добрых знакомых. Может быть, при этом Мария Алексеевна отличалась некоторой свободой в

разговорах, свободой в своих приятельских отношениях — такой долей свободы, при которой женщину все-таки не стесняются принимать в обществе. Благодаря тому, что она часто бывала в обществе, где мог быть и Курбатов, последний легко мог пригласить ее бывать с ним в театре...

Итак, установив положение, что никакого вопроса о будущем браке не было, можно ли допустить факт подарка 100 тыс.?

На этот вопрос я отвечу отрицательно.

Здесь я встречу с одним положением, для меня не совсем приятным: мне придется утверждать, что в этом важном вопросе Мария Алексеевна говорит неправду. Если бы она говорила правду, то не могло бы и быть настоящего дела; если же допустить, что она говорит неправду здесь, то вы можете не поверить ей во всем остальном и вообще смотреть на нее другими глазами.

Здесь мы находим и объяснение, почему по поводу этого признания она позволяет себе говорить неправду.

Замятнин — ее муж; вряд ли прав г-н прокурор, говоря, что Мария Алексеевна раскаивается в том, что вышла за него замуж; вероятно, он остался для нее самым дорогим человеком: дорогому человеку нужно подать руку, ему нужна помощь, его нужно выручить, а для этого следует не противоречить ему, и вот — самый близкий человек, жена, поет ему в унисон.

По моему мнению, этого нельзя ставить ей в вину. Если посторонний человек совершает преступление, закон обязывает нас заявить об этом, а если кто-нибудь докажет, что не заявили, то нас предадут суду; но если брат, отец, жена позволяют себе до известной степени укрывать близкого человека, то у закона рука не поднимается наказывать их за это: он знает, какая страшная мука видеть, как пропадает близкий человек.

Таким образом, Мария Алексеевна своим рассказом только прикрывает грех своего мужа. Ста тысяч рублей Курбатов ей дать не мог.

Прежде всего не мог он сделать этого потому, что она лучше тех женщин, которым платят деньги. Плохую услугу оказывают те, которые уверяют, что Курбатов заплатил ей за их отношения. Я уже указал, что Замятнина стоит на такой высоте, которая не позволяет женщине падать до продажи своей любви и ласки. Я утверждаю, что, довольная своим личным состоянием, она не могла дойти до такого положения, когда прежде, чем отдаться человеку, с ним условливаются о вознаграждении, заставляют его покупать

любовь! К чести самой Марии Алексеевны, я не могу этого допустить!..

Но если даже Курбатов и смотрел бы на свои отношения к Марии Алексеевне как на подлежащие оплате, то даже и тогда он не мог бы дать за них такого чудовищного вознаграждения: за такие деньги покупаются женщины известного рода, любви которых добиваются многие, когда одни лица стараются перебить любовь у других, одним словом — такие деньги платят за модный товар. Это имеет известное значение тогда, когда мужчина во что бы то ни стало хочет сделать женщину своей, — тогда не жалеют денег, тогда действительно платят сотни тысяч...

Платят деньги еще и в других случаях: когда последствием отношений к женщине являются дети; тогда, чтобы не поставить женщину в трудное положение, чтобы дать ей возможность не зависеть от других, чтобы дать возможность воспитывать детей, порядочные люди платят большие деньги.

Но мы знаем, что Мария Алексеевна умела устроить свои отношения к Курбатову таким образом, что даже самые приближенные к ней люди отрицали существование этих отношений; знаем также, что никаких последствий этих отношений не осталось, и, следовательно, видим, что Курбатов не имел никакого основания выдать ей за прошлую связь 100 тыс. руб.

Если допустить, что векселя на эту сумму были ей выданы несколько лет тому назад и потом, после ее брака с Замятниным, были переданы ее мужу, то, мне кажется, нашелся бы случай обнаружить эти векселя, когда отношения между Курбатовым и Замятниной прекратились, когда он, по ее словам, охладел к ней: она, оскорбленная холодностью, могла бы обнаружить векселя.

Между тем до 13 марта никто о них ничего не знает...

Получив их по бланковой надписи, Замятнин по наступлении срока мог ими воспользоваться. Раз ему показалось неловким обнаружить векселя раньше и предъявить их до истечения срока, когда никто не знал о существовании их, то почему он нашел возможным после 13 марта представить их к учету в банк? Ему легче было сделать это раньше, пока векселя не были еще просрочены, или же требовать, чтобы Курбатов уплатил ему по этим векселям деньги, если они самому ему были нужны.

Ничего этого сделано не было. Вот почему я думаю, что выдача документов на 100 тыс. руб. ничем не доказана.

Если векселя, как показывает Замятнин, уже несколько

лет находились у них, то неужели бы не нашлось ни одного свидетеля, который бы об этом знал? Мы видели, что между приказчиками у Замятнинных были такие, которым дела их были очень хорошо известны, — один из них даже высчитывал наизусть, сколько, на какой пристани находится пятериков замятнинских дров. Неужели не нашлось никого, кто знал бы что-нибудь об этих документах? В какой-нибудь книге они были бы записаны!..

А между тем нигде о них не упоминается...

Таким образом, фактических доказательств, что эти документы существовали, нигде нет.

Обратите внимание на показание потерпевшего Курбатова, сравните его с показаниями Замятнина и решите: которму из этих показаний больше верить?

Неправду можно говорить и со скамьи свидетелей, и со скамьи подсудимых. Но когда слова потерпевшего находят себе подтверждение, а слова подсудимого не находят, когда характер показания первого таков, что ему можно верить, когда ему нет надобности кривить совестью, то очевидно, чьи слова заслуживают большего доверия.

Для Курбатова, получающего 250 тыс. ежегодного дохода, потерять 100 тыс. не значит лишиться состояния: ради чего же человек мог бы покривить душой?

Курбатов жертвует большие суммы на благотворительные учреждения. Понятное дело, что для человека с таким имущественным положением что-нибудь да значит его честное имя: он не стал бы им жертвовать для того, чтобы спасти крохи из своего состояния!

Если противоречия в фактах нет; если о документах нигде не заявлялось во все время, когда, по показанию Замятнина, они находились у его жены; если документы эти находились под спудом, — то будьте уверены, что они не существовали, и если на доске значилось, что тут находятся векселя, то под доской было пустое место!

Я объясняю показания Марии Алексеевны о векселях только желанием спасти мужа...

Перехожу к вопросу: доказана ли вынужденная выдача векселей 13 марта 1881 г.?

Пред этим числом, по обычаю предшествовавших лет, Курбатов, отправляясь из Нижнего в Ирбит, дорогой заехал в Козьмодемьянск к Замятниной. Посещение это не имело в себе ничего чрезвычайного, небывалого: он часто заезжал к ней и прежде, так как Козьмодемьянск находится на пути из Нижнего в Казань.

Курбатов приезжает поздно ночью, приходит в дом За-

мятнинных, прямо в контору, и просит разбудить супругов Замятнинных; на ответ, что они спят и их видеть нельзя, он пишет записку, что заедет на обратном пути из Ирбита и привезет деньги за покупку дров.

С этого времени Замятнинным делается известным, что торговые отношения с Курбатовым не прекращены и что на днях нужно ожидать его обратно.

Вернулся он 13 марта, так как несколько времени жил в Казани. Ирбитская ярмарка кончается в конце февраля, так что в первых числах марта можно было ожидать Курбатова в Козьмодемьянске. Так, в 1881 году он приехал туда 5 марта, — мог приехать и раньше.

В то время, как он был в Ирбите, в последних числах января, в нижегородском казначействе совершается крупная покупка вексельных бланков — на 250 тыс. — покупка настолько необычная, особенно ввиду глухой поры, в феврале месяце, что продавец этих бумаг, свидетель Благосмыслов, запомнил эту покупку.

Кто был человек, купивший эти бланки, долгое время оставалось неизвестным, пока Благосмыслов не указал на Замятнина.

Вернувшись 13 марта из Ирбита, Курбатов, согласно обещанию, зашел к Замятнинным и на этот раз был бесспорно принят обычным порядком — новостью было только то, что в этот свой приезд он в первый раз увидел супруга Марии Алексеевны; затем дал ей задаток за дрова 3 тыс. руб., и после этого муж ее вступает с ним в разговор весьма пикантного свойства, из которого видно, что он знает о прошлых отношениях Курбатова к жене.

Результатом этого разговора является подпись векселей. Векселя подписаны 13 марта, а текст же показывает — 2-го.

Что же это значит?

Замятнин говорит, что выставил это число по примеру прежних лет, и по его желанию Курбатов написал расписку, что векселя от 2 марта подписаны 13 марта.

Затем, обманутый таким образом, Курбатов распротился, вышел и тотчас же уехал в Нижний.

Замятнину, в тот же день уехавшему в Нижний, понадобились деньги, и он отправился в банк, чтобы учесть векселя.

Так как вы много раз слышали все эти подробности, то я прошу позволения не распространяться о них.

Из осмотра книги николевских номеров в Казани видно, что Курбатов был 5 марта в Казани, следовательно, не мог быть 2 марта в Козьмодемьянске. Это подрывает веру к сло-



вам Замятнина, и то обстоятельство, что векселя, подписанные 13 марта, действительно помечены 2 марта, согласно и с показаниями Курбатова.

Экспертиза текста векселей доказала, что он отличается особенно тщательным и старательным письмом и написан орфографически правильно, без одной ошибки; между тем как по сравнении этих векселей с письмом, писанным рукой Замятнина, эксперты нашли, что он не умеет правильно писать и делает много ошибок: чтобы писать безошибочно, нужно иметь в голове известные правила правописания, а человек, ничему не учившийся, не может писать грамотно. В полчаса научиться грамоте невозможно, следовательно, текст векселей не мог быть писан Замятнинным без посторонней помощи или без того, чтобы он откуда-нибудь их списывал.

Но такого объяснения Замятнин нам не давал. Быть может, он дал бы его теперь, но это было бы слишком поздно: он не ждал выстрела с этой стороны и не приготовил ответа; мы замечаем, что на неожиданные вопросы Замятнин не умеет отвечать.

Векселя были написаны на разные сроки и немедленно учтены.

Прошу обратить внимание на следующее обстоятельство: если на другой день по приезде в Нижний Замятнину настолько понадобились деньги, что он идет в банк учитывать векселя, то спрашивается: какое имел он основание ожидать от Курбатова уплаты по старым векселям? Если мне нет надобности в деньгах, я могу не оглашать неисправность должника и брать новый вексель; но раз мне самому деньги нужны и вексель просрочен, то это далеко некоммерческий расчет — согласиться на отсрочку платежа, и учитывать векселя в банке.

Притом, мог ли Замятнин войти в какую-нибудь сделку с Курбатовым? Припомните, что векселя были даны Замятнину как талон за позор жены; следовательно, он решается торговать позором жены; раз этот человек напоминает ему ошибку жены, может подсмеяться над ней, вызвать краску стыда в ее лице, то с таким человеком сделки не заключают, такому человеку векселей не переписывают: раз мне самому деньги нужны, то я ждать не стану 13 марта, если вексель был от 2 марта, а попросту предъявлю просроченный вексель.

Ясно, что Замятнин 2 марта векселей не имел, иначе он предъявил бы их в срок; между тем он до того времени никакому нотариусу об этих векселях не заявлял.

Отсюда я вывожу заключение о несправедливости его показания.

Раз вы признаете, что векселя были безденежные, для меня не важно, с пистолетом в руке или без него сделано принуждение: отягчение участи подсудимого не входит в интересы Курбатова.

Для меня также не важно проверять, хотел или нет Замятнин лишить жизни Курбатова, или это была одна угроза.

Я только утверждаю, что векселя — результат какого-то насилия, так как до 13 марта их у Замятнина не было.

Насилие, которому подвергся Курбатов со стороны Замятнина, меньше всего может быть объяснено ревностью. Ревность человеку свойственна. Человека, который был причиной измены жены, который опозорил семейный мир, поселил среди супругов вечный разлад, обыкновенные натуры встречают с ненавистью: ревность свойственна мужскому сердцу: я дорожу всякой лаской любимой женщины, я не хочу делиться ею, я всю, всю хотел бы взять ее себе!

В такой ревности, которая проявляется потемнением всех сил духовных, человек совершает страшные деяния: она появляется мгновенно и заглушает собою все другие чувства.

Но та ревность будет плохая, где, ревнуя соперника, мы в то же время заключаем сделки в свою пользу; та ревность будет плохая, которая замолчит, если ее прикрыть вексельным листом на более или менее значительную сумму: это уже будет не ревность — это хуже позора, который себе позволила жена!..

Ревнивец не скажет жене: я за твой позор удовлетворен векселями... Он не будет ценить честь жены на деньги!..

Ошибка Замятнина — в его нравственной неразвитости, в том, что, примирив в душе своей противоположные чувства, он только огласил прошлое своей жены, и теперь это отражается не только на ней, но и на всей их семье, начиная с маленьких детей.

Без сомнения, Замятнин теперь сознает свою ошибку и страдает в душе...

Я бы желал, чтобы это внутреннее страдание было для него единственным наказанием...

Из объяснений Курбатова я пришел к искреннему убеждению, что подарка в 100 тыс. руб. не было, что никаких векселей не было и что 13 марта они произошли насильственно. Этот вопрос вам будет предложен, и я попрошу вашего правдивого разрешения.

Думаю, что фактически вопрос этот доказан, что все вы убеждены в неправильности векселей и что вопрос этот следует разрешить согласно с моим ходатайством.

Факты неопровержимы, и их отвергать бесполезно. Смею думать, что векселям этим произнесен смертный приговор, что деньги никогда не получатся из той могилы, откуда не смогут извлечь их поверенные целого света.

В этом отношении я ничего не боюсь, но мне было бы больно, если бы, внутренне сознавая, что векселя неправильны, руководствуясь каким-нибудь посторонним побуждением, вы ответили на этот вопрос отрицательно, потому что суд есть самое светлое учреждение нашей страны: суд помогает человеку сознавать свою ошибку, не дает ему эту ошибку довести до конца; заставляя его ответить за те поступки, которые он уже совершил, не покровительствует ему, однако, в преступных деяниях и прощает человека, достойного милости.

Факты отвергать нельзя: снятой головы к плечам не приставишь.

В делах подлога, в делах насилия, если мы видим, что подсудимый, действительно, желает воспользоваться неправильными документами, — отвергая факт, присяжные как бы говорят: позволяем тебе подложные акты считать за настоящие, благославляем на такие поступки, весь твой нравственный грех принимаем на свою совесть!

Дорожа судом, где я провожу свою жизнь, мне было бы больно встретиться с подобными фактами.

Пределы нам даны, я их не касался: к великому моему счастью, я имел право не касаться уложения о наказаниях; я шел дальше — я указывал вам факты, значительно смягчающие вину подсудимого.

Если нет свидетелей преступления и если по вашему нравственному убеждению обвинять человека в подлоге документов нельзя, то никто не может лишать вас принадлежащего вам права помиловать его.

Если бы явилось сомнение относительно того, точно ли все так произошло, как нам говорят, то, я думаю, нужно поставить вопрос таким образом: если сомнительно, как произошли эти неправильные документы, то зачем отягощать свою совесть сомнением? Зачем не оказать милость такому человеку?..

Председатель в своем последнем слове, вероятно, скажет вам, что всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого. При таком положении дела вам легко быть справедливыми,

не позволив только человеку взять то, что ему не принадлежит.

Документы эти можно рассматривать как грех: смерть греху, но оставьте жизнь грешнику!

Простите человека, который обвиняется: пусть в его пользу говорит то положение, в котором он находился все это время, то страдание, которое ему пришлось вынести!..

Оканчивая мое обвинительное слово, я жду вашего решения. Думаю, что вы сознаете, что дело правосудия есть дело великое. Надеюсь, что мне, как вашему собрату по стране, не придется краснеть за вас, что вы сознаете, что нужно давать руку помощи упавшему, поднять грешника кающегося, оказывать милость страждущему...

Но, милуя грешника, не давайте ему пользоваться плодами греха!..

## ДЕЛО ПЕРВУШИНЫХ,

*обвиняемых в уничтожении духовного завещания*

В июле 1866 года в г. Александрове Владимирской губернии, в собственном доме медленно умирал престарелый Григорий Андреевич Первушин, 1-й гильдии александровский купец, откупщик-миллионер. Толпа родственников наполняла дом умирающего. Среди них были старший сын Первушина — Иван, младший — Григорий и дочь Александра.

Дочь откупщика и оба его сына были богато наделены им за несколько лет до смерти. Оба сына, сами уже к тому времени богатые откупщики, вели каждый свое дело. Григорий жил при отце, Иван отдельно — в Ростове.

Ко времени смертельной болезни старика у него осталась лишь незначительная часть состояния — дом в Александрове и тысяч 18 рублей в процентных бумагах: такая ценность отцова имущества казалась братьям с высоты их миллионов «сущими пустяками», как выразился один из них на суде.

Тем не менее вот что произошло из-за этого имущества.

5 июля 1866 г. Иван Григорьевич Первушин уехал по делам из Александрова в Ростов. На другой день после его отъезда, 6 июля, в его отсутствие, было составлено и надлежащим порядком подписано домашнее духовное завещание, согласно которому умирающий старик из особенной любви к находящимся при нем дочери Александре и сыну Григорию завещал первой дом в Александрове, а второму — оставшийся капитал.

Сбивчивые и во многом противоречивые показания свидетелей и объяснение обвиняемого устанавливают, что духовное завещание это было составлено, вероятно, по инициативе Александры Первушиной и, во всяком случае, при деятельном участии ее и Григория Григорьевича.

11 июля вернулся в Александров Иван Григорьевич Первушин. Узнав о состоявшемся в его отсутствие духовном завещании, он очень взволновался и хотел было идти к умирающему отцу объясниться. По его мнению, отец был всегда к нему расположен более, чем к брату Григорию, и для него было непонятно, как мог старик обойти его, более, по его мнению, заслуживавшего той «особенной любви», о которой говорилось в завещании.

Александра очень испугалась намерений брата и уговорила его не идти к отцу, сама же, попросив у брата Григория хранившееся у него завещание, отнесла его Ивану Григорьевичу.

Здесь — одна ли, или при содействии своего брата Ивана, — она разорвала завещание, о чем и сказала брату Григорию. Тот заявил об этом в Александровское Уездное Полицейское Управление.

Когда вслед затем наведался в дом Первушиных александровский уездный исправник, желая уговорить братьев «покончить дело домашним порядком», он застал старика Первушина уже в гробу.

Заявлению Григория был дан ход, и в результате долгой процедуры 60-летний Иван и 38-летняя Александра Первушины были преданы суду по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 1657 Уложения о Наказаниях, а Григорий Первушин вступил в дело в качестве гражданского истца.

Дело было рассмотрено 14 и 15 декабря 1871 г. Владимирским Окружным Судом с участием присяжных заседателей.

Председательствовал товарищ председателя Арцимович. Обвинял товарищ прокурора Петров. Защищали: Ивана Первушина — присяжный поверенный Бениславский, а Александру Первушину — присяжный поверенный В. А. Капеллер.

Гражданский иск Григория Первушина поддерживал Ф. Н. Плевако.

Присяжные заседатели на вопрос о доказанности того, что Андреем Первушиным было составлено завещание, распределявшее имущество между Григорием и Александрой Первушиными, ответили утвердительно.

На вопрос о доказанности того, что завещание это было истреблено 11 июля 1866 г. — отрицательно. Вопросы о виновности подсудимых оставлены без ответа, почему последние были признаны по суду оправданными.

## Речь в защиту интересов гражданского истца

Господа судьи, господа присяжные заседатели!

Все мы призваны поработать в настоящем деле: вы — решить его, мы — содействовать вам в этом.

В ряду сторон, — я говорю о себе, о прокуроре и о защите, — на мне, как на поверенном гражданского истца, лежит задача доказать, что совершился факт разрыва завещания, — от признания которого зависят имущественные права моего верителя.

Дальше этой задачи я не пойду: я не буду прибавлять со своей стороны никаких отягчающих участь подсудимых доводов и соображений. В настоящем деле, более чем когда-либо, не следует ходить дальше пределов, предоставленных истцу: в настоящем деле, наряду с законом, совесть указывает на эти пределы.

В самом деле, настоящий процесс — из ряда вон. Дело антипатично с первого взгляда: брат ведет брата на суд, родной родному готовит участь, какую не всякий враг захочет приготовить врагу своему.

Против этого говорит нравственное чувство. Конечно, преступление должно преследовать: это слово закона, о котором напоминают его печатные своды. Но еще глубже и сильнее голос нравственного закона, — что когда правонарушение совершил свой, близкий человек, член одной семьи, то мы должны прощать, отпускать ему неправду.

Голос, напоминающий об этом законе, так силен и очевиден, что пред ним преклонилось само государство: оно, как известно, преследуя преступления в интересе общественном, оставляет без последствий многие виды правонарушений, когда их совершили друг против друга члены семьи и когда потерпевшие не желают преследования.

Но если дело так антипатично, то зачем же, вы спросите, служитель закона, призванный по обязанности и праву своей профессии защищать подсудимых, отстаивать невиновность лиц, привлеченных к суду ревнивою бдительностью прокурорской власти, — зачем он покинул тот лагерь, где легче, теплее, где задача человечнее, и стал отстаивать дело, за которое его могут ожидать упреки и осуждения?

Ответом на это будут дальнейшие слова мои.

Мы стали здесь потому, что не целей осуждения желаем мы, не к ним стремится мой веритель. Я убежден, что печальные последствия процесса его бы испугали; позднее раскаяние мучило бы его совесть; верующий человек, — он

ежеминутно слышал бы голос карающего Бога: «Что ты сделал, ты убил брата своего!»

Брат обвиняемого ищет только права, самовольно нарушенного произволом старшего брата. Он ищет восстановления завещания, которым покойный отец его засвидетельствовал перед светом первенство младшего брата в чувстве родительской любви и благословил его теми незначительными крохами своего достояния, которые дороги не как ценность, а как дар, как знак любви, как предмет семейной гордости одаренного.

Корыстной цели в деянии моего клиента нельзя видеть, как ее нет и в деянии обвиняемых: братья Первушины считают свое состояние миллионами, а имущество завещанное — старый отцовский дом и другие вещи — стоят многомного 10 тыс. руб., а по заявлению защиты — менее 5 тыс.

Искать разрешения поводов настоящего дела следует именно в самолюбии и семейных интересах, в том желании удержать за собою знаки отцовского благословения, которое свойственно людям, сохранившим во всей целостности семейные привязанности.

При этом взгляде на дело антипатичность его пропадает.

В лице обвинителя и обвиняемого вы видите лишь двух спорящих об отцовском благословении сыновей, придающих значение, дорожащих памятью и волей покойного.

Вы будете так смотреть на это дело и отбросите чувство антипатии к брату, начавшему процесс, когда примите во внимание, что он не искал уголовного суда, не хотел вести брата на скамью позорную. Это уже форма нашего суда, нашего судопроизводства, по которой доказывать, что лицо изорвало духовное завещание, нельзя иначе, как в порядке уголовного суда; это уже закон сделал, а не потерпевший, что обвиняемый предан суду; у потерпевшего — одна цель: доказать, что было завещание, содержание которого такое-то.

Если это так, то вправе ли вы будете отвернуться от требования потерпевшего, вправе ли отвергать тот факт, от существования которого зависят не ценные, а дорогие по воспоминаниям права истца?

Я утверждаю, что вы этого сделать не вправе.

Из предметов, подлежащих вашему суду, первый — это факт совершившийся, второй — это виновность лица, совершившего этот факт. Вы решаете их по совести, т. е. по правде.

Поэтому, если вы видите, что факт совершился, вы по-



ступаете против совести, если скажете, что он не совершился. Отвергнуть его вы вправе лишь тогда, когда его не было, когда сомнительно его существование.

Но, признавая факт, вы не признаете еще виновности, ибо между ними нет необходимой связи. Для виновности ваша совесть имеет иную меру: она мерит силу воли, обстоятельства, среди которых действовала эта воля, и степень зла в этой воле, когда она совершала то или другое дело.

Поэтому, если совесть ваша — против виновности, не думайте, что тогда вы должны отвергнуть факт: вы должны отвергнуть лишь виновность. Приговор по совести не может быть в противоречии с очевидной истиной, и тот, кого нельзя признать виновным в деянии, воспрещенном законом, но им совершенном, должен быть признан незлонамеренным деятелем факта, который им совершен...

*Переходя затем к фактической части речи, поверенный гражданского истца указал на те свидетельские показания, которыми подтвердился факт составления завещания и его уничтожения. Он обратил внимание присяжных на рассказ подсудимой Александры Первушиной об этом событии и доказывал, что появление завещания, составленного в интересе Григория и Александры Первушиных, детей покойного Андрея Первушина, живших с ним, легко объясняется этим фактом сожительства.*

Живя с отцом, — продолжал он, — и тем имея случай в последнее время постоянно оказывать мелкие услуги и знаки внимания к умирающему старику, Григорий и Александра Первушины могли этим нравственно влиять на волю старика и дать ему повод к составлению в их пользу завещания.

*Утверждая, что было завещание и что оно уничтожено волею Ивана Первушина, поверенный гражданского истца просил признать этот факт.*

Далее признания этого факта, — продолжал гражданский истец, — я ничего не желаю, да и не вправе искать. Отстаивая интересы моего доверителя и стесняя себя в праве поступаться его интересами, обоснованными на завещательной воле покойного, я, однако, думаю, что и за пределами этих прав не прекращаются интересы его. Интерес семьи, интерес каждого из ее членов, это — свобода и оправдание брата и сестры Первушиных; подобный вердикт был бы великим нравственным благом для семьи.

Поэтому, если сейчас, в настоящую минуту, увлеченный заблуждением ума и давно накопившейся желчью от семейного спора, Григорий Первушин не сознает важности

для себя этого семейного интереса, то мы не должны обращать на это внимания.

Адвокат служит правосудию, но никогда не будет орудием мести и вражды. И если в душе его верителя еще гнездится неостывшая досада на брата — адвокат ее не знает, ее не слышит.

Единственный интерес — о котором можно говорить в суде, не оскорбляя его святости, это — восстановление воли покойного, признание, что эта воля была высказана так или иначе. Вот все, чего мы желаем.

Но так как этот интерес все же преходящий, так как он выразился в форме передачи имущества любимому сыну, то он стал внешним, учитываемым.

Правда, цена его ничтожна, — малый ребенок сосчитает его: вес и мера его незначительны. Поэтому было бы несправедливо, взволновалось бы чувство, если бы для достижения этого интереса пришлось заплатить такой дорогой ценой, как потеря брата и сестры, и я от имени моего верителя прошу возвратить ему не только то, чего он домогается, но равно и то, что дороже этих благ, — возвратить ему брата и сестру.

Повторяю, что, может быть, сию минуту, слова мои не гармонируют с настроением души моего клиента; может быть, слово осуждения готово сойти с языка его, — но что до этого за дело!

Так врачу у постели больного, когда он совершает операцию, тяжелую, но необходимую для спасения жизни, приходится слышать неодобрение, — иногда, отчаянный крик брани...

Значение дела выяснится: придет время — и в спасении брата и сестры увидит мой клиент осуществление высших интересов в своем нравственном хозяйстве.

Я кончаю.

Как адвокат моего клиента, я прошу признать те права, которые мы отстаиваем; как человек, как член семьи, знакомый с ее интересами и привязанностями, прошу вынести приговор, который был бы встречен радостным чувством оправданных, а не криком отчаяния осужденных...

**ДЕЛО  
ГОРНШТЕЙНА И ДРУГИХ,**  
*обвиняемых в поджоге*

Дело это слушалось в заседании Смоленского Окружного Суда с участием присяжных заседателей на выездной сессии в г. Ельне. Председательствует Председатель Суда Мушкетов.

Защищают Горнштейна Ф. Н. Плевако и В. А. Александров.

Дело заключается в следующем.

В ночь на 6 января 1901 г. близ станции Ельня сгорел лесной склад Горнштейна. Пожар начался сразу в нескольких местах.

Ночевавшие около склада рабочие видели, как в самом начале пожара с места его стремительно бежали двое людей, впоследствии признанные свидетелями в лице Горнштейна и его приказчика Рудницкого.

Эти обстоятельства заставили предположить поджог.

Имущество Горнштейна до этого случая горело уже два раза. Застраховано оно было в Московском страховом обществе в 39 000 руб. Срок страхования кончался 5 января 1901 г. Подавший в Страховое общество заявление о пожаре Горнштейн указал, что пожар начался в 12 час. ночи.

Допрошенные по этому делу свидетели не установили фактов, которые бы исключали сомнение в виновности Горнштейна и служивших у него Рудницкого и Темкина. Обвинение основывалось на том, что у Горнштейна уже не в первый раз сгорает имущество и он уже не в первый раз получает страховую премию, что, по показанию свидетелей, он со своими приказчиками бежал с места пожара, что без поджога нельзя объяснить того, что склад загорелся сразу в трех местах.

Присяжные оправдали всех трех обвиняемых.

## Речь в защиту подсудимого Горнштейна

Господа судьи и присяжные заседатели!

В делах о преступлениях, называемых тяжкими преступлениями, закон, вверенный в руки надежных его хранителей, не терпит внесения жалости...

Правда, и при наличии таких преступлений защитники часто обращаются к вам с просьбой о милости, но при решении настоящего дела я прошу у вас лишь соблюдения трех условий: законности, здравого смысла и совести.

Бесспорно, преступление — вещь нетерпимая, и мы должны быть очень благодарны власти, стремящейся его пресечь и покарать.

Но смею думать, что в стремлении своем и люди, и власть часто ошибаются...

А потому необходимо, чтобы при решении вопроса о преступлении мы не заходили слишком далеко в рвении, часто влекущем за собой ошибки.

А тот случай, который надлежит вам обсудить, есть несомненно случай излишнего рвения власти.

Сейчас я познакомлю вас с законной точкой зрения на возникающий в настоящем деле вопрос, и если я погрешу против этой законной точки зрения, то здесь есть кому меня исправить...

Закон карает только злых людей... Но ведь их очень много!..

Поэтому карает он их только тогда, когда они сделают незаконное дело.

Если же человек обнаружит только намерение совершить что-нибудь, но не осуществит своего намерения, то закон не тронет его. Не тронет даже тогда, когда случайные, не зависящие от человека и его воли обстоятельства, помешают ему совершить проступок.

Закон прикоснется к человеку только тогда, когда намерение его перейдет в злое дело.

Я объясню это на примере.

Предположим, что я получаю телеграмму, в которой написано, что мой управляющий застраховал какую-либо мою постройку. Пользуясь удобным случаем, я сжигаю ее. А через полчаса получаю письмо, из которого вижу, что в телеграмму вкралась ошибка и управляющий сообщал, что он не успел застраховать постройку...

Я несомненно обнаружил злое намерение; я сжег постройку с преступной целью; но обстоятельства помешали этой цели осуществиться, и никто меня пальцем не тронет.

Только тогда, когда я затрагиваю чужие интересы, — только тогда совершаю я преступление.

Что же мы встречаем здесь?

Обвинительный акт начинается, — и следствие ничего против этого не возражает, — с того, что человек с корыстной целью поджег склад, хотя страховой полис за 2 часа до пожара потерял свою силу.

Налицо был незастрахованный склад, уничтожением которого убыток мог быть нанесен только карману самого Горнштейна.

Все это чувствуют и прекрасно сознают, а поэтому представляют всевозможные доводы, чтобы доказать, что все-таки Горнштейн сделал зло другому.

Пытаются применить к нему ст. 1612 Уложения о наказаниях, основываясь на единственном факте — выдаче в некоторых случаях вознаграждения в течение трех дней по окончании срока страховки.

Но припомните, что агенты общества говорят: выдаем, когда хотим... Это уже — не право на вознаграждение, это — милость...

Поджигатели такого рода похожи на матерей, уродующих своих детей в надежде получить побольше милостыни...

Я понимаю дилемму: я поджигаю, — мне должны заплатить. Но здесь платить никто не был должен, здесь можно было рассчитывать только на подачку. Прошу вас обратить внимание на эту особенность, имеющую для подсудимого огромное значение.

Ваше дело сказать правду, — и мы ее требуем от вас!

Скажите: когда совершился факт поджога?

Вы должны ответить, что после окончания срока действия полиса.

Здесь нет преступления, караемого ст. 1612 Уложения о наказаниях, — здесь наказание лежит в самом преступлении, как это имеет место при самоубийстве.

В уголовном праве, — в той науке, которой мы руководствуемся, — такое преступление называется преступлением над негодным предметом.

Вот вам пример.

Идет человек с самыми злыми намерениями: идет, положим, взорвать на воздух кого-нибудь... Совершает взрыв, и вдруг узнает, что тот человек, по отношению к которому он собирался совершить страшное преступление, накануне умер.

Его, быть может, накажут за стрельбу в публичном мес-

те, за разрушение какой-нибудь кибитки, но его не накажут за лишение жизни.

Далее: я — человек, которому сказали, что ему заплатили вчера жалование фальшивыми деньгами. Но мне нужны деньги, и я решаюсь идти их менять. А потом оказывается, что дали мне самые настоящие деньги.

В душе я — преступник: я имел твердое намерение разменять фальшивые деньги, но я — преступник только в душе, — я только душу себе испортил, только ее загрязнил...

Точно такое преступление приписывается Горнштейну.

Промежуток времени здесь не важен: два ли часа, две ли минуты прошло по окончании срока страховки, это — безразлично; довольно того, что срок права на получение вознаграждения кончился.

Если бы даже Горнштейн думал совершить поджог, имел самое твердое намерение сделать это, — все равно он не наказуем.

Но было ли здесь намерение?

Пожар возникает тотчас после окончания страховки. Я думаю, нужно быть безумным, чтобы совершить поджог в такое время. И кажется мне, что преступник легко мог додуматься до того, что уж если идти на преступление, так идти в такой день, когда не будет возникать сомнений... Ведь не ребенок же он?!...

Обвинитель находит подтверждение своим положениям, ссылаясь на неоднократные случаи пожара, бывшие у Горнштейна. Нам говорят, что в этом видна какая-то политика.

Но, господа, если видеть в этом политику, то ведь нельзя же забывать и об уме, а приемы предполагаемого преступника прямо нелепы.

Обратите внимание на завод, сгоревший в Лапине. Этот завод был передан на особых условиях: расплата производилась векселями. До окончания расплаты Горнштейн оставался собственником завода. Переход его мог совершиться только по уплате всей суммы долга. При таких условиях страховое общество не должно было выдавать вознаграждение. Наш кассационный суд по делу Крылова с казной — по делу, любопытному, между прочим, тем, что пришлось подавать девять кассационных жалоб, прежде чем суд удовлетворил мое требование, — разъяснил, что арендатор может страховать постройки...

Я думаю, что лучше жечь тогда, когда спора о праве нет...

Но иду далее.

Говорят, склад был застрахован на короткое время. Но вы, может быть, знаете, что значит страховка на короткое время? Есть ведь целый ряд таких владений, которые страхуются только на опасное в пожарном отношении время, и лесные склады страхуют, обыкновенно, только на летнее время...

Вообще, что касается до поджога, то нет улик, которые нужно было бы разбирать: так легко их опровергнуть.

Я приведу только одно соображение.

Неужели вор станет пробираться в дом в тот момент, когда по улице идет многолюдное шествие!.. Так и в нашем случае. Уж если кто сделал поджог, так несомненно человек чужой. Невероятно, чтобы хозяин, задумавший совершить поджог со своими приказчиками, не сказал им, что нужно его устроить в такой-то благоприятный момент, а ждал бы стечения обстоятельств, вроде настоящего: это уж спорт!..

Вдумайтесь в настоящее дело и не забывайте, что нам не дано права исправлять людей: мы можем наказывать только запрещенное законом деяние. Запрещенным оно будет только тогда, когда касается чужого имущества; то или иное действие над собственным имуществом подлежит наказанию только в том случае, если затрагивает одновременно интересы других лиц.

Здесь этого нет.

Перед нами — поджог, совершенный в надежде на милость страхового общества, на подачку с его стороны.

Но мы знаем по опыту, что общество, раз только усомнится, заподозрит что-нибудь неладное, — вознаграждения не выдаст. А ведь здесь — несколько пожаров на протяжении одного-двух лет; естественно, что у общества может явиться подозрение и милости оно не проявит...

При таких условиях ни один разумный человек не стал бы совершать поджога!

Вот, соображая все это, я и обращаюсь к вам.

Не пользуйтесь бесконтрольной властью сокрушить человека только потому, что он предан вашей власти: этим правом нужно пользоваться осмотрительно!..

Есть, правда, у подсудимого одна страшная улика, — улика, разбить которую можно только обращением к вашему сердцу: перед вами на месте подсудимого сидит не просто преступник, но преступник-еврей!..

Страна наша — страна разноплеменная. Не все национальности в ней, к сожалению, пользуются равноправием: его племя, вольно или невольно, отвечает за чужие грехи.

И вот часто всякое сомнение по отношению к еврею переходит в убеждение!..

В жизни мы часто грешим легким суждением. Но когда вы делаетесь судьями, вы должны высоко поднять голову над всеми предрассудками, над всеми предвзятыми мнениями!..

Ведь когда правосудие будет национальным, лучше не жить человеку на свете. Ведь правосудие — это последнее прибежище человека, последняя его защита...

Если вас захотят ограбить на большой дороге, вы можете выйти на грабителя с пистолетом: против насилия вы можете защищаться с оружием в руках...

Но если проповедник в церкви подымает против вас свой голос, тогда самое честное, самое святое, что остается у человека, — это правосудие!..

И если мы будем судить за преступление не Ивана и Петра, совершивших его, а их родственников, и только за то, что они — их родственники, это будет не суд...

Часто говорят, что евреи обвешивают...

Но что, если мы будем обвешивать... на правосудии?!..

Моя гордость, гордость русского человека, не позволяет мне вам говорить об этом...

Я не поклонник преклонения перед угнетенной национальностью только потому, что она угнетена: я слишком русский человек!..

И моя горячая любовь к русскому человеку, моя вера в него не позволяют подумать о том, чтобы вы могли... обвесить на правосудии...

И стыдно бы мне было, стыдно сидеть рядом с вами, если бы вы сделали это!..



ДЕЛО  
А. Ф. МОРДВИНА-ЩОДРО И  
КНЯЗЯ А. Д. ОБОЛЕНСКОГО,

*обвиняемых  
в растрате 16 лошадей*

21 мая 1891 г. по претензии кредиторов штаб-ротмистра Мордвина-Щодро судебным приставом Московского окружного суда была описана его скаковая конюшня, состоявшая из 16 лошадей.

Представлявшие ценность в несколько десятков тысяч рублей, лошади эти были оценены в 1600 руб. и, с согласия кредиторов, сданы на хранение князю Оболенскому.

Ко дню, назначенному для продажи лошадей, 11 июля того же года, ни одной из отданных на хранение Оболенскому лошадей в конюшне не оказалось.

Князь Оболенский заявил, что ввиду окончания срока аренды конюшни он должен был освободить ее: часть описанных лошадей он отправил в Петербург на скачки, другую — в деревню.

Впоследствии оказалось, что все арестованные лошади проданы Мордвиним-Щодро с ведома Оболенского. Продажа производилась с согласия кредиторов, одновременно с удовлетворением их долгов.

Мордвин-Щодро и Оболенский показали, что они произвели продажу лошадей для того, чтобы на вырученные деньги покончить мирно с кредиторами. И действительно, большинство кредиторов подтвердили, что за время с июля по сентябрь 1891 г. они рассчитались с Мордвин-Щодро. От многих кредиторов представлены были расписки о полном удовлетворении их претензий к Мордвин-Щодро.

Обвинение было возбуждено поверенным одного из кредиторов.

Обвинитель и поверенный гражданского истца считали обвинение с формальной стороны вполне доказанным. Они указали, что оба обвиняемых — люди с плохим прошлым, что оба они уже были объявлены несостоятельными должниками, что князь Оболенский до этого судился по делу о

злоупотреблениях в Кронштадском банке и что они не могли не знать преступного характера своих действий.

Следует заметить, что по делу о злоупотреблениях в Кронштадском банке князь Оболенский был оправдан.

На основании всего этого Мордвин-Щодро и князь Оболенский были преданы Московскому окружному суду с участием присяжных заседателей. Заседание происходило 26—27 мая 1895 г.

Председательствовал товарищ председателя суда А. М. Бобрищев-Пушкин. Обвинял товарищ прокурора Иогансон. Гражданский иск поддерживал присяжный поверенный Козловский.

Защищали: Мордвина-Щодро — Н. П. Шубинский, князя Оболенского — Ф. Н. Плевако.

После очень непродолжительного совещания присяжные заседатели обоих подсудимых оправдали.

### Речь в защиту князя А. Д. Оболенского

Господа присяжные заседатели!

Вам предложат высказать судебное мнение в форме ответов на вопросы, соответствующие предъявленному к господам Мордвин-Щодро и князю Оболенскому обвинению.

Исполнить свою обязанность по разуму и совести вы сможете только в таком случае, если вам переданы данные дела так, как следует, и высказано, при оценке фактов дела, правильное мнение о свойстве их.

Но когда судьи, от которых требуют ответа, не были очевидцами события, а должны судить о нем по работам, посвященным исследованию его лицами, к тому законом уполномоченными, то условие истины стоит в зависимости не только от события, которое судят, но и от приемов, которые употреблены при восстановлении перед судьями действительности.

Точно так же, когда от судей требуют не только ответа на вопросы о событии, но и о нравственной оценке его и его деятелей, большое значение приобретает прием, к которому обращаются лица, в облегчение вашего труда предлагающие вам свои воззрения и основания к ним.

Мой сотоварищ по делу занялся восстановлением события, нас занимающего, и, в меру своего разумения, внес те поправки, которые, кажется нам, приближают исторический рассказ к действительному ходу дела.

Я сначала займусь другим: я прослежу, правильны ли

были приемы противников при летописной и критической работе, посвященной деятельности подсудимых. Делаю это потому, что, раз обнаружится, что приемы не согласовались с требованиями, предъявляемыми к работе, имеющей в целях своих истину, а в результате — вероятнейшее к ней приближение, тогда мы смело можем отвергнуть выводы неточного исследования и даже нравственно обязаны воздержаться от согласия с ними.

Простая справка с памятью о том, что здесь было, укажет нам на крупную ошибку обвинения в этом отношении.

Припомните: обвинительный акт возведал вам, что дело идет о том, что описанные по долгам Мордвина-Щодро его лошади, сданные на хранение князю Оболенскому, не оказались налицо к 11 июля 1891 г. в той конюшне, где они стояли в момент описи; затем, в сентябре того же года, лошади, гласно распродаваемые Мордвиним-Щодро разным лицам, были ли, вопреки воле кредиторов, растрочены или нет? Было ли здесь то уголовное деяние, которое преследует закон, как растрату, или не было?

И вот, разрешая этот вопрос, обвинение и во время следствия и сейчас, в обвинительной речи, сочло целесообразным ввести в дело такие подробности: оно дало вам понять, что Мордвин-Щодро был недавно судим по обвинению в растрате облигаций своей тещи, что эти облигации были в руках князя Оболенского несмотря на то, что они Щодро не принадлежали, и не были возвращены, когда Щодро трепетал за свою судьбу, боясь ответственности.

Но при этом обвинение не обмолвилось, что князь Оболенский, как известно обвинителю, не был привлекаем к делу, как человек, в этом деле ничего противозаконного не сделавший. Обвинение не сочло нужным заметить, что и предположение о виновности Щодро или было отвергнуто представителями общественной совести, т. е. законными судьями дела, или, в признанных фактах, оказалось, по авторитетному мнению высшего суда в России, деянием, законом не воспрещенным, как не заключающим в себе качеств преступления.

Обвинитель, направляя свое слово против князя Оболенского, выразился, что князю давно известно, чем уголовный закон грозит за растрату, ибо князь опытен в уголовном законе благодаря делу Кронштадского банка.

Впечатление, на которое рассчитывали, понятно: князьде, не в первый раз сидит на скамье подсудимых, и это должно быть ему поставлено в счет.

Правда, господин председатель остановил господина об-

винителя, но слово и облеченная в слово мысль коснулись вас, тем обязывая меня на отпор явно неправильному приему.

Говоря о Кронштадтском банке, обвинитель должен был, по требованию долга, упомянуть и о том, что князь оправдан, следовательно, обвинение было ошибочно, и если этот прискорбный факт должен быть кому поставлен в невыгодный счет, то не неповинному и напрасно привлеченному, а в счет привлекшим его, как веское доказательство возможности со стороны обвинителей жестоко ошибаться, несмотря на искренность своих взглядов.

Упоминалось здесь и о двукратной несостоятельности Щодро, о несостоятельности моего клиента, князя Оболенского, имевшей начало в 80-х годах.

Но тогда следовало сказать и о причинах прекращения первой несостоятельности и о судьбе несостоятельности князя Оболенского.

Прекращенная несостоятельность свидетельствует, по общему порядку, что должник покончил свои счета или уплатил свои долги: поконченная несостоятельность частью есть доказательство того, что должник вышел из несчастья, его постигшего, тем, что погасил претензии, а не прибегнул к конкурсному производству, как к средству отделаться от кредиторов путем грошовых дивидендов.

Говорилось о несостоятельности князя Оболенского, а не говорилось о причине ее, столь извинительной, благодаря побуждениям, которые заставили князя броситься в подряды во время восточной войны и потерять, благодаря несвойственности его положению и характеру коммерческих дел, все свое состояние и на всю жизнь затянуться в сети долговых пут.

Это ли прием для правильного освещения спорного вопроса?...

Не будет ли правильнее счесть эти посторонние спорному делу факты за тот напускной туман, который мешает духовному оку судьи усвоить предметы в их истинном облике и который, извращая прямой путь лучей света, идущих от предмета к зрительной способности исследователя, рисует их в неестественной и уродливой наличности.

А между тем редкое дело так просто, как настоящее, и так несложны те обстоятельства, над которыми надо подумать, чтобы оценить их и определить нравственную и законную пригодность их.

Следует объяснить вам, что со времени нового суда наступил новый порядок взыскания долгов, отличный от

прежнего, полицейского. Многочисленный штат полиции заменен единоличным мероприятием судебного пристава, у которого нет под властью низших служителей и нет казенных помещений для хранения арестованного имущества должника. Пришлось закону допустить особливую форму охраны имущества, в интересе кредиторов, — через хранителя — частное лицо.

Легкость правонарушения, при злонамеренности хранителя, стоящего в соблазнительной близости и в головокружительном властвовании над чужим имуществом, обуславливает возможность правонарушений. Охраняя интересы кредиторов, как законных требователей, закон поспешил, кроме имущественного взыскания, пригрозить правонарушителю уголовной карой.

В действующем до издания нового устава судопроизводства законе уголовном не было статьи, предусматривавшей данный случай в его особом виде, но в деянии, составляющем акт злой воли, направленной на поправление чужого права, преступны не особливые, а напротив, те общие, отталкивающие от него добрую волю, черты, которые присущи преступлениям, наносящим однородный вред потерпевшим. И закон сослался в случаях, требующих преследования за растрату хранимого, на статью Уложения, запрещающую растрату вообще.

Отсюда следует, что случай, имевший место в данном разе, должен рассматриваться при помощи понятия о растрате чужого имущества вопреки воле хозяина. Деяния вменяются в вину с большей или меньшей степенью строгости или снисхождения в зависимости от наличности обстоятельств, при которых растрата и присвоение или свидетельствует о преступности намерений, или об извинительности побуждений.

Данный случай весь сводится вот к чему: князь принял, — по просьбе ли взыскателей, по своей ли просьбе к ним, — это все равно, — на хранение от судебного пристава скаковую конюшню Щодро, описанную за долги и оцененную для продажи, по неопытности взыскателей, всего в 1600 руб., при ценности имущества, по сознанию обвинителя и гражданского истца, в несколько десятков тысяч. Лошади, числом 16, были помещены в конюшне Бардина, причем хранителю не было дано денег для уплаты за помещение и прокорм. Срок содержания лошадей (время, оплаченное хозяину помещения) истекло в первых числах июля, а продажа была назначена на 11 июля.

В день продажи лошади были уведены из помещения, и

пристав не мог произвести торга. Но перед глазами пристава была бумага хранителя, что лошади живы, целы и здоровы, но уведены частью в Царское Село на скачки, частью в деревню, за неимением средств на уплату за помещение.

Известие не вызвало ни со стороны взыскателей, ни со стороны пристава, опасения, что лошади растрчены, и на самом деле, по фактам, на которые ссылаются сами обвинитель и гражданский истец, лошади до сентября продаваемы не были. Следовательно, в июле был увод лошадей из помещения, но не растрата их, ибо в сентябре они были целы, и до сентября целость их не вызывала сомнения.

В сентябре Щодро начинает продавать лошадей, а князь ему не препятствует, и в сентябре, — точнее, в самом конце сентября, — взыскатель Казимиров делает заявление приставу, обусловившее запрос пристава князю и сообщение прокурору о том, что совершилась растрата.

Время от июля по сентябрь отмечается лихорадочной заботой князя, направленной к тому, чтобы продажи с аукциона не было, и к ходатайству перед кредиторами о том, чтобы было дозволено арест снять и лошадей продать по вольной цене. С июля по сентябрь получается, — при частичной уплате долга, или переписке векселей, — или письменное удостоверение, или словесное, которое князю казалось достаточным для прекращения взыскания. Затем лошади продаются Мордвиным-Щодро.

Установлен и тот факт, что заявлений приставу, вызвавших с его стороны снятие ареста, в деле нет, и формальная обязанность князя, как хранителя, формально прекращена не была.

Изложенное, — это так ясно для самого непосредственного созерцания, — указывало на рамки спора.

Надо было выяснить: были ли даны кредиторами те посредственные и непосредственные согласия на отложение торгов и на вольную продажу лошадей, о которых говорит князь? И если согласия были, то в исчерпывающем ли волю всех кредиторов количестве?

Если воля шла ото всех, то достаточно ли этого, и не имело ли отсутствие формального распоряжения пристава о снятии ареста значение достаточное, чтобы превратить факт в преступление?

Между тем, обвинительная сторона, давшая место чуждому элементу, не разрешающему спорного вопроса, слишком мало остановилась «на едином на потребу» и слишком легко проскользнула по месту действительного боевого пункта. Обвинение не потрудилось продумать настоящее

значение тех шероховатых мест в поступках князя Оболенского и Мордвина-Щодро, которые только внешним видом сходны со злостными поступками, но с большим правом могут быть объяснены в духе безобидном и примирительном.

То заботливое и тревожное участие, которое принимал князь в деле Щодро объясняется тем, что по общему, отмеченному самую истину, убеждению, с которым я спорить не хочу, ибо это было бы неправдой, — князь был весь в нравственном долгу перед Щодро, обусловленном дружескими до самозабвения вырубками, какими, как доказано обвинением и защитой Щодро, последний старался помочь князю после бед и разорений, нанесенных ему неудачей подряда во время турецкой войны.

Щодро угрожало конечное разорение. Его дорогая конюшня, существования которой он не скрывал от публики, была описана и оценена нелепо: по 100 руб. за кровную, скаковую лошадь.

По установленным в джентльменских кружках обычаям, — а члены беговых и скаковых обществ не чужды качествам этих кружков, — на аукцион не пойдут пользоваться несчастьем сочлена настоящие знатоки и ценители лошадей. Придут аукционисты и те темные барышники, которые умеют безнаказанно обращать публичную продажу в место открытых сделок на понижение, платя ничтожные цены за продаваемое и оплачивая халтурами и отходными мнимое отступление торгующихся от повышения цен.

Все знают, что даже аукционы судебные не в силах бороться с силой зла, и утверждать, что аукцион, благодаря конкуренции покупателей, повышает цену продаваемого до высшей цифры — значит свидетельствоваться в своей наивности.

Нет, недаром люди залезают в долги, платят чудовищные проценты, чтобы достать денег на отсрочку, когда им грозит аукцион. Будьте уверены, что, продавайся с аукциона, по описи судебного пристава, Дрезденская галерея, то, чего доброго, спустят за сотни рублей Сикстинскую Мадонну...

Князю, как сведущему в конском деле человеку, во что бы то ни стало хотелось, чтобы ужасного аукциона не было. И я не могу не заявить, что увод лошадей в Царское Село и деревню, прикрытый формальным правом хранителя выводить лошадей из одного помещения в другое, когда в старом помещении держать их не на что или невыгодно, для меня представляется одной из мер сорвать аукцион и тем

дать возможность Щодро не потерять лошадей за гроши, но выручить сколь возможно больше, что равно выгодно и для должника, и для кредиторов.

Поступок не правомерный, но не преступный, как не преступны многие приемы, неправильные, но не воспрещенные, и последствием которых может быть лишь то или другое хозяйственное мероприятие.

К концу сентября дело меняется. От большинства кредиторов получили расписки и заявления в учинении расчета с ними; многие, — и этому нельзя не верить, — словесно разрешили князю изъять лошадей из-под описи и ареста в их интересе.

То и другое несомненно существовало.

Первое положение князь доказывал, прося огласить расписки и заявления кредиторов. Ему в этом было отказано. Формальные условия процесса, по мнению суда, его обязывали к отказу.

Не ожидая такого отношения к письменным документам, подтверждающим окончание расчетов и выводимое отсюда разрешение на вольную продажу, князь не озаботился пригласить свидетелей по этим собственным обстоятельствам. Но ведь чего-нибудь да стоит та твердость, с какой князь утверждал содержание поданных кредиторами бумаг, и не боялся проверки слов своих письменными документами, а, напротив, страстно желал проверки.

Да если бы и не было этих письменных доказательств, то сила вещей должна была бы вас убедить в том, что кредиторы удовлетворены и согласие их было, что и развязывало руки должнику и хранителю, считавшим свои обязанности, — хранить свое в интересе должников, — конченными, за расчетами с ними. Кредиторы, будто бы пострадавшие от деяния, нарушившего их интересы, отсутствуют, ничего не ищут. Если бы они были обмануты и обижены, они были бы здесь.

Наличный гражданский истец, по его собственному слову, пришел ходатайствовать не за них. Явившиеся в качестве свидетелей кредиторы ни о каком обмане их не свидетельствуют, на нерасчет с ними не жалуются.

Правда, вопреки их взгляду на дело и на свои интересы, обвинитель силится их и вас убедить, что они обижены и не удовлетворены, но кредиторы — люди совершеннолетние, правоспособные и очень ловкие в своих практических делах. Они, когда их обидят, прибегнут к помощи прокуратуры, но когда они обсуждают свои гражданские интересы, они в ее опеке не нуждаются. Поверьте мне, что в этих воп-



росах они практичнее и сообразительнее нас, и в помощи и руководстве ни по своей воле, ни по слову закона не нуждаются.

У обвинения и так масса благородного дела: зло жизни, называемое преступлением, так часто, что для интересов общественных важно, чтобы наши охранители не разбрасывались на такие дела, не утруждали себя такой опекой там, где люди сами лучше разберутся в своем интересе...

Согласие было дано. Кроме того, на что ссылался князь, оно должно быть признано и в отношении к тем кредиторам, которые не оставили следов ни своего согласия, ни своего несогласия.

Раз кредиторы были людьми, занимающимися преимущественно денежными операциями, отнесенными в некоторых случаях тяжелыми выкладками, то такие люди, для которых всего важнее взять больше в своем интересе, не могли допустить аукциона, зная, что на аукционе лошади пойдут за бесценок и выручка не покроет их номинального долга. Лошадиных охотников не было, следовательно, они, по неподготовке к лошадиному барышничеству, сами покупать лошадей не пошли бы. Их собственный интерес требовал недопущения аукциона.

А если так, то что же сделано? А вот что: деяние, которого лучше бы не делать, потому что в нем похвального нет ничего, но в котором не найдешь достаточно злой воли, чтобы обратить его в преступление...

Подсудимые, довольствуясь фактически выраженной волей кредиторов, — притом настоящих кредиторов, а не Казиминова, который, как это ясно из показания Миронова, был только поверенным, — не озаботились оформить положение дела и слишком понадеялись на факты, еще не подкрепленные формой.

С ними случилось нечто подобное такому казусу: получается телеграмма, что я умер. Судебный пристав описывает мою квартиру и загоняет мою семью в две комнатки, обесцененные выносом всего моего имущества в запечатанные комнаты.

Но известие ложно. Я приехал и, вместе с семьей, радуясь прекращенной печали, не дожидаясь прибытия пристава или долгодневного распоряжения о снятии печатей, ломаю наложенные ошибочно печати.

Формально здесь совершился слом печатей, но неужели здесь то преступление, которое имел в виду закон, охраняя печати, наложенные в интересе разумного общественного интереса? Такого идолопоклонения форме, как в данном

случае, лишенной всяческого значения и по существу, и по целям, имевшимся при описании имущества умершего — едва ли желает закон. Нельзя же считать законные предписания за сети, разбросанные в надежде улова ротозеев, а не в целях уловления злых людей?

По прекрасному выражению одного из выдающихся учителей нашего дела, закон — не силки, а барьер, чтобы гражданин не поскользнулся и не упал.

Если бы обвинение осторожнее было в выводах, поражающих обвиняемых, оно не стало бы извлекать из фактов такие выводы, которые берутся как возможные, а не как необходимые.

Оно, помня, что единственное препятствие к снятию описи и ареста с имения Щодро, имевшееся в виду к 25 сентября, было в заявлениях и мероприятиях Казиминова, должно было бы припомнить, что Казиминов, как это видно из показания Миронова и расписок, им к делу предъявленных, получил извещение, что вся претензия ушачена и ему велено было возвратить все листы на Щодро. Он возвратил один исполнительный лист, а другой, под предлогом, что он у судебного пристава, оставил у себя, обещая, как и следовало поверенному, возвратить его, раз доверитель приказывает.

Князь, имея записку о прекращении претензии хозяином ее, Мироновым, во всей сумме, считал дело законченным, а Казиминов, оставив исполнительный лист у себя, тогда, когда князь спешил дать Щодро весть, что вольная продажа разрешена, заявил об исчезновении лошадей.

Не ясно ли, что не князь, а Казиминов делал крупную ошибку против закона, предъявляя требование по удовлетворенному листу и подводя Оболенского и Мордвина под уголовщину тогда, когда знал наверное, что лошади за уплатой долга освобождены, и лишь формальная принадлежность исполнительного листа ему, Казиминову, может придать делу вид уголовного деяния и открыть для его интересов особые, широкие горизонты.

Я кончил. Располагая теми данными, какие нам давали условия процесса, я оспорил те факты и выводы, которые относятся к вопросам настоящего дела. Я бессилён был спорить лишь с теми посторонними обстоятельствами, которых не ожидал и которые усилили свое значение, явившись в моменты, лишаяющие нас средств опровержения.

Идет дело о растрате лошадей Щодро, при попустительстве хранителя, а чуть не за полчаса до дела вызывают свидетеля сообщить гнетущие подробности, бросающие на

Щодро и на князя подозрение в другом деянии, которое по отношению к Щодро отвергнуто судом, а по отношению к князю никогда не возбуждало подозрения. Чуть не за полчаса извлекаются вещественные доказательства из другого дела и бьют по нас...

Конечно, требования обвинителя опирались на формальное право и не могли быть отвергнуты судом. Но, думаюется мне, что, вверяя меч на защиту закона своему «оку», государство считало, что хранитель сам соблюдет те правила рыцарской морали, которые требуют условий равноправия в борьбе и битвы на равном оружии.

Суд — не война. Там, озабоченная сокрушением вражьей дерзости, величием и славой Отечества, государственная власть возводит в подвиг все меры, от мин и подкопов до засад и вылазок, которыми разумный военачальник сокрушает неприятеля и охраняет жизнь вверенных ему защитников Отечества.

Но в судебном бою — другие условия: подсудимый — сын своей страны и, может быть, наш несчастный, может быть, еще гонимый брат. Закон столь же думает о нем, сколь и о необходимости кары действительному злодею.

Отсюда его забота о даровании подсудимому всех средств оправдания, отсюда его милосердие, растворяющее строгость кары.

Процесс принимает вид не истребления, а поединка между охраной закона и охраной личной чести.

Допускаемые в бою мины и засады, вылазки и диверсии, здесь не у места: здесь они нарушают чувство меры.

И если я прав, что это чувство не было вполне удовлетворено в настоящем деле, и чаша обвинения имела лишние гири, то да найдут подсудимые в вашем спокойном и чуждом предубеждения житейском благоразумии и в вашей общей способности к различению добра и зла и к оценке человеческих поступков по их внутренним достоинствам и недостаткам — ту желанную добавочную гирю, которая восстановит нарушенное равновесие..

## ДЕЛО Ф. И. МЕЛЬНИЦКОГО

*по обвинению в растрате казенных денег  
и М. Ф. Литвинова в преступлении по должности*

3 ноября 1881 г. казначей московского воспитательного дома коллежский ассессор Ф. И. Мельницкий получил из Московской конторы Государственного банка 339 000 руб. на содержание воспитательного дома и, уложив из них 337 000 руб. в кожаный саквояж, отправился пешком в Купеческий банк, чтобы внести туда деньги на текущий счет воспитательного дома. На половине пути он почувствовал себя дурно и присел. Когда он через несколько минут пришел в себя, саквояж с деньгами, бывший при нем, исчез. Взволнованный, он явился к прокурору Судебной Палаты и, рассказав ему обо всем происшедшем с ним, просил арестовать себя.

Высокое общественное положение Мельницкого в городе Корчеве, где он до службы в воспитательном доме 4 года по единогласному избранию гласных был председателем земской управы, одиннадцатилетняя служба в должности казначея в воспитательном доме, материальная обеспеченность Мельницкого, его почтенный возраст, — все это не оставляло сомнения в том, что Мельницкого постигло несчастье.

Тем не менее, ввиду значительности суммы похищенного была произведена тщательная проверка заявления Мельницкого и обследовано поведение Мельницкого за все время его службы.

Было установлено, что Мельницкий, когда ему представлялась возможность обогащения, не останавливался для этого перед сомнительными средствами, что Мельницкий не всегда правильно записывал проходившие через его руки суммы.

Было обнаружено, что Мельницкий из находившихся под его ответственностью сумм часть присвоил, что Мельницкий через своего сослуживца Литвинова продавал нахо-

дившиеся в кассе воспитательного дома облигации, принадлежащие приюту принца Ольденбургского. Эти растраты Мельницкий пополнил.

Вместе с этим раскрылась растрата 5000 руб. из сумм, принадлежащих воспитательному дому. Мельницкий периодически получал от директора воспитательного дома деньги для раздачи их служащим. Перед 3 ноября он получил 5307 р. 79 к., записал их в расход, но не роздал.

Мельницкий объяснил, что заимствования из сумм, хранившихся в кассе воспитательного дома, им действительно производились, но делал он это для того, чтобы оказать услугу находящимся в затруднительном положении своим сослуживцам, и всегда взятые суммы возвращал.

В это время большим материальным достатком Мельницкий не обладал. Дом его был заложен, имевшиеся у него 500 десятин земли служили обеспечением исполнения им казначейской обязанности по воспитательному дому и не могли быть проданы, все остальное имущество представляло незначительную ценность. Покрыть растраты собственными деньгами Мельницкий не мог, и являлось естественным предположение, что якобы украденные у него деньги он присвоил себе.

Несомненность присвоения Мельницким денег подтверждалась следующими фактами.

До этого случая Мельницкий не брал из Государственного банка деньги для перенесения их на текущий счет в Купеческий банк, так как суммы воспитательного дома постоянно оставались в Государственном банке на текущем счету Купеческого и выбирались только по мере надобности; и в этот день кассир Государственного банка, как это делалось обыкновенно, заготовил для Мельницкого перевод на Купеческий банк, но Мельницкий сказал ему, что он желает получить деньги; затем, вопреки правилам Учреждения и Ведомства Императрицы Марии, согласно которым лицо, получающее из какого-либо учреждения деньги, должно быть сопровождаемо счетчиком, Мельницкий на этот раз, получив деньги, сопровождавшего его счетчика отпустил.

Кроме того, Мельницкий, куда-то, очевидно, торопясь, не просчитал всех денег, против своего обыкновения, с довольно большою тяжестью отправился в Купеческий банк пешком, избрав к тому же самый неудобный путь. Наконец, по показанию счетчиков Государственного банка, Мельницкий вышел оттуда с деньгами в час дня, а с заявлением к прокурору палаты явился после 3-х часов, в то время как

пройденное им расстояние медленным шагом можно было пройти в один час.

По всем этим обстоятельствам Мельницкий дал очень сбивчивые и неясные показания. По его словам, деньги он взял из банка потому, что в этот день он поздно явился в Государственный банк и не мог уже получить перевода, а счетчика он отпустил потому, что не знал правила о том, что счетчик должен сопровождать казначея при получении денег.

Кроме Мельницкого, к следствию был привлечен и счетчик Литвинов. Он обвинялся в том, что, зная о своей обязанности сопровождать казначея при получении денег, на этот раз обязанности своей не исполнил.

Дело по обвинению Мельницкого и Литвинова слушалось в Московской судебной палате с участием присяжных заседателей 4—8 ноября 1882 г.

Председательствовал член палаты Терновский при членах палаты Воеводском и Орловском.

Обвинял прокурор палаты Гончаров.

Поверенными со стороны воспитательного дома были присяжные поверенные Плевако и Шмаков; со стороны учреждений Императрицы Марии: юрисконсульт — тайный советник Колесов.

Защитали присяжный поверенный Курилов (Мельницкого) и отставной поручик Миллер (Литвинова).

Вердиктом присяжных заседателей Мельницкий в приписываемом ему преступлении был признан виновным и приговором палаты присужден к лишению всех особенных прав и к ссылке на житье в Томскую губернию.

Литвинов признан невиновным.

Обнаруженные впоследствии факты подтвердили правильность вердикта присяжных: уже после осуждения Мельницкого присвоенные им деньги были найдены у его детей и других близких родственников.

### **Речь в защиту интересов гражданского истца — московского воспитательного дома**

Здесь выяснилась внешняя, строгая церковная дисциплина Мельницкого: он постится, почитает праздники, соблюдает обычаи.

Но та вера, которая мощно влияет на нравственное настроение человека, — есть вера не внешняя, а внутренняя.

Обрядность царила в эпоху рождения Богочеловека в

иудействе, но когда же более низко, чем в то время, падало нравственно еврейство?! Недаром к нему обращен упрек, сравнивающий его с роскошным гробом, вмещающим в себе издающий зловоние, разлагающийся труп...

Внешне верующий — не лицемер: он верит в существование Того, Кому молится, но духа его не разумеет.

Так, внешней верой можно объяснить почти комические явления жизни: похитители чужого, говорят, раз в году, под один из больших праздников, служат молебны, призывая помощь небесную на свои дела; так, балерины и певицы нередко, выступая перед публикой в сладострастном па или с шутливо-фривольной песенкой, набожно крестятся перед выходом на подмостки...

Полное невежество первых, простота и наивность последних, есть результат их внешней веры.

Мельницкий плакал у прокурора...

Говорят, что это доказательство его невинности.

Но это не так.

Заявляя о потере, он знал, что ему не вдруг поверят и начнут дело; что, во всяком случае, обнаружится, что он 25 000 взял для пополнения прежних грехов; что карьера его в этот день убита, что жизнь кончена.

Волнение, охватившее человека в такую минуту, могло вызвать слезы. Плачут даже убийцы, когда им приходится нести повинную и навсегда разрывая с прошлым...

Прокурорский надзор ошибочно привлекал других лиц. Были аресты.

Конечно, желательно, чтобы рядом с рвением в преследовании росло во властях и уважение к свободе и личности граждан; но ошибки власти, самое большее, ведут к ответственности ее за свои промахи, и отсюда нельзя вывести логического заключения, что за это следует оставить без удовлетворения законные интересы потерпевших от преступления...

Мельницкий присвоил чужое.

Закон и совесть не с одинаковой строгостью карают разные виды похищения. Давно похищение средств, принадлежащих христианским храмам, карается строже, — как святотатство.

Не к числу ли святотатств следует отнести и подобный поступок.

Храмы молитв и песнопений — не все, что нужно для веры. Вера любви и братства требует иных алтарей. Воспитательные дома, где мы призреваем отверженных без вины, приюты, где мы даем средства осиротелым детям павших

воинов — разве это не храмы деятельной любви к ближнему?..

Но рядом с нищетой, на меже между ней и богатством, стоят миллионы людей, не нищих, но живущих заработком дня, пока сильна рука, пока видит глаз, пока мыслит мозг. Болезнь случайная, безработица, арест и т. п., — и труженик — кандидат в нищету.

Борясь против этого, люди додумались до самопомощи, до ссудных касс, потребительных обществ. Это — не храмы богатства...

Мельницкому вверены были интересы и тех, и других учреждений. Он безжалостно растоптал их, все принеся в жертву своему эгоизму.

За этот-то интерес, за эти-то храмы деятельного христианского общения людей я предстательствую.

Может быть, я и все мы, его обвиняющие, заблуждаемся; может быть, факты так злополучно собрались на несчастном...

Тогда я желаю вам (*оратор обращается к защите*) всякого успеха и всяческой силы, желаю полного торжества невинности!

Но трудно вам будет сдвинуть с места тот вопросительный знак, который стоит над вашим клиентом, над его нравственной ценностью, над его человеческим достоинством!..

## **Вторая речь по тому же делу: возражение защите**

Я отниму у вас 10 минут, но зато можете успокоиться: моим словом закончится сезон обвинительных речей.

Я дорожу вашим доверием к моему слову, а потому буду защищать себя против подрывающих его общих взглядов защитника.

Ко мне не относится упрек в том, что я речь вел не против Мельницкого, обвиняя кого-то другого, а не его.

Я обвинял того Мельницкого, который 3 ноября получил наши деньги, но не донес их; того Мельницкого, который говорит, что он деньги потерял, но против которого зловеще собрались факты и могущественно управомочивают к обвинительному заключению.

Я обвиняю того Мельницкого, которому вчера пожелал, в лице его защитника, успеха в борьбе, если это — факты несчастия, а не свидетели его преступления.

Мне поставили в упрек то противоречие, которое я допу-



скаю или намеренно обхожу. Если Мельницкий присвоил 300 тыс., прикрываясь несчастьем, потерей, то почему он оставил в воспитательном доме улики в других своих поступках и, таким образом, делал бессмысленным свое усилие замаскировать свое последнее преступление?

Отвечаю: в план Мельницкого не входило бить на верное оправдание. Совершенное правонарушение по приюту и ссудо-сберегательной кассе уже висело над ним. Средств прикрыть их не было. Только суммы воспитательного дома давали ресурсы к этому. Надо было дожидаться дня, когда они пройдут через его руки.

Но взять только то, что нужно на пополнение касс, значит, снять с себя одну и надеть другую петлю. Все равно, растрата обнаружится, и он погибнет. Так уж ответить, но и себя не забыть: семь бед, один ответ!

Но зачем же тогда пополнение?..

Без пополнения растрата была бы очевидней, а с пополнением — потеря выигрывает в достоверности, и рассчитанное необнаружение старых грехов давало надежду на успех плана...

Меня упрекают, что я обвиняю Мельницкого без улик, а на основании подбора фактов, предшествовавших преступлению. Такие факты, говорит защитник, из любой сотни лиц приведут 50 на скамью подсудимых.

Да, приведут, если в одно и то же время будут налицо 50 преступлений, требующих для объяснения своего бытия 50 злых волей.

Какие бы улики сейчас ни были на каждом из граждан данного города, их не тронут.

Но если сейчас в десяти местах города одновременно вспыхнут десять пожаров, несомненно преступного свойства, — десять преступников среди нас предполагаются, и сомнительные факты из жизни десяти лиц, житейской логикой связанные с данными пожарами, обратятся в неотразимые улики...

Я изучал жизнь Мельницкого 3 ноября и в дни предшествующие. Я прошел мимо трех фактов, которые не имеют генетической связи с поступком. Но в растратах по приюту и кассе, в ожидании внезапной ревизии, в поступках Мельницкого 3 ноября, в их несходстве с поступками, сопровождавшими прежние получки крупных сумм, в их необходимости для задуманного присвоения денег — я увидел объяснение вопроса.

Приходя к этому выводу, я руководился той аксиомой здравого смысла, которая ищет позднему факту причи-

ну в предшествовавших событиях; той аксиомой, которая заставляет применять к фактам человеческой жизни то же изречение, которое философ высказывает о движениях физического мира: «Вся наша жизнь насквозь — сплошная причинность».

Несколько слов, сказанных древним мыслителем Цицероном, в его, кажется, «*De natura deorum*», навели когда-то Гуттенберга на идею книгопечатания. Не наведут ли эти слова и вас на веру в мой способ доказательства?

Доказывая, что мир управляется божественной силой, Цицерон говорит: «Если бы взяты и нарезаны из дерева громадное количество букв и затем кидать их кучами на пол,— буквы падали бы в беспорядке и ничего бы собою не выражали. Но если бы вы пришли и увидели их сложенными в такой порядок, что они составляли бы целую речь, образцовое произведение ораторского искусства,— вы бы ни за что не допустили тут случая, а искали бы Творца этой речи и крепко бы были убеждены в Его существовании».

Воспользуйтесь этой мыслью в данном случае.

Если вы видите, что отдельные, от общего порядка отступающие поступки Мельницкого 3 ноября слагаются в такую стройную систему действий, при предположении, что исчезновение денег есть преступление; если вы видите, что случайности составляют части целого плана,— тогда невольно в том, от кого зависят эти случайности, разум подсказывает видеть и виновника плана!..

Мне поставили в упрек, что я коснулся и той, дорогой для подсудимого черты его личности, которую назвал «внешним христианством».

Но я счел себя вправе это сделать.

Мне надо было доказать, что внешнее, обрядовое исполнение веры не противоречит дурно настроенному духу, что дух возвышается от усвоения внутренних требований веры.

Я счел себя вправе на это, так как для меня христианство — не система привилегированной метафизики, а нечто более святое, и в этой области я могу распознаться...

Теперь несколько слов о Литвинове: о нём вчера я не упоминал вам.

К нему также предъявлен иск. От обвинения его отказалась прокуратура. Я не хочу оставить в долгу перед ним то учреждение, которое его привлекло.

Позвольте же сказать несколько слов не против него, а за него...

Здесь указали на замечательное совпадение в его жизни: 8 ноября, в его именины, прошлым годом его арестовали, — 8 ноября вы и судите его.

По стародавнему обычаю, в именины дарят хлебом-солью. Прошлым годом Воспитательный дом поднес ему хлеб-соль в виде первого блина: комом засел он в горле обвиняемого.

Но старый солдат стоит на своем и ждет подарка, и сегодняшней день в антрактах он не раз обращался ко мне с вопросом: скоро ли его отпустят домой?..

Это не от меня зависит, и я не могу ему дарить того, чего не имсю; но зато, вместо того пятиалтынного, каким когда-то наградил другого счетчика Мельницкий, я подарю ему небывалую сумму: я дарю ему те 307 000 руб., которые мы с него ищем...

Но журавль в небе не то, что синица в руках: старому служаке этого мало...

И вот я попрошу вас за него,— небольшой, но серьезной картинкой заканчивая мое слово.

К Иерусалимскому храму, вскоре после завершения земной жизни Христа, подходили верховные проповедники его учения.

У дверей они встретили хромого нищего...

Может быть, это был старый римский легионарий, потерявший здоровье, борясь за независимость тех немногих уголков земли, куда укрылась свобода человечества от всепоглощающей завоевательной политики цезаризма...

Он увидел проходящих и попросил — «на чаек», как сказал бы Шекспир, но нам, маленьким людям, анахронизм воспрещается и мы скажем: «на хлеб и воду».

Сильные духом, были бедны деньгами учителя любви.

— Сребра и злата мы не имеем, но что имеем, то даем: встань и ходи,— сказали они...

Прошли века.

Сегодня эта картинка насильно напрашивается на мой язык, наталкивая на уподобление...

В храме правосудия идет служба. Вы — верховные служители в нем: в руках ваших и жизнь, и смерть.

В храм приведен Литвинов, старый ветеран, Николаевский солдат, защитник Севастополя.

Как истый русский герой, он вернулся домой с регалиями на груди и нищенской сумой за спиною.

За честный труд принялся, но чужие ошибки привели его на скамью подсудимых.

Он обращается к вам с просьбою...

Скажите и вы ему в ответ те же слова, какие были сказаны в ответ на просьбу библейского хромца: «Сребра и злата нет в нашей власти, но что имеем, то даем — встань и уходи отсюда!..»

## ДЕЛО МАРУЕВА,

*обвиняемого в подлоге*

20 января 1868 г. уголовное отделение Московского Окружного Суда с участием присяжных заседателей слушало дело дворянина Александра Маруева, обвинявшегося в подложном составлении повесток от имени конкурсного управления по делам Немцова и в подложном написании бланков на векселях, принадлежащих мещанину Храмову.

Существенные обстоятельства дела в том освещении, какое придается им обвинительным актом, сводятся к следующему.

Лебедянская купчиха Глафира Неронова обратилась в конкурсное управление над имуществом умершего Немцова с просьбой удовлетворить ее долговые требования в размере 12 450 руб.

Председателем конкурса в то время был мещанин Храмов.

Письмоводитель конкурса, Александр Маруев, заявил Нероновой, что деньги у председателя имеются и что их можно получить, если Неронова уплатит ему, Маруеву, 500 руб.

Под влиянием этого требования тогда же Маруеву были даны; по просьбе Нероновой, Расторгуевым 75 руб., Ивановым 100 руб., да сверх того Маруев в квартире своей, при Иванове, принудил ее написать на его имя сохранныю расписку в 350 руб. и показал Иванову журнал на выдачу Нероновой денег. Тут же Иванов получил от Маруева повестку, которой вызывали Неронову к председателю конкурса за получением денег.

Когда в назначенный день Неронова и Иванов явились в конкурс, то председатель Храмов вырвал из рук ее повестку и объявил, что это ошибка и что денег в конкурсе нет.

Почти то же самое повторилось с тайным советником Рюминым. Маруев принес ему повестки, которыми его

приглашали в конкурс за получением денег, но когда Рюмин пришел к Храмкову, то председатель конкурса заявил, чтобы повесток к нему не посылать, денег в конкурсе нет, и кто писал повестки, ему неизвестно.

Привлеченный к формальному допросу Храмков дал такие показания:

1) все деньги, поступившие в конкурс, истрачены на содержание самого конкурса; 2) журнала на выдачу денег купчихе Нероновой никогда не составлялось; 3) Неронова, действительно, приходила в конкурс 28 мая с неизвестным человеком, но повестки у нее он не видел и не брал, а просто сообщил, что никаких денег в конкурсе не имеется; 4) что касается до прошения Рюмина, то заключения конкурса о выдаче ему денег и процентов ни разу не было.

Об остальных обстоятельствах дела Храмков рекомендовал узнать у Маруева.

Привлеченный к допросу Маруев показал судебному следователю, что две повестки на имя Рюмина, находящиеся при деле, писаны им; подпись же председателя Храмкова на обеих повестках сделана не его рукою, и кем она сделана, он не знает; повесток ни Рюмину, ни Нероновой он лично не носил, 23 и 24 июля 1864 г. Рюмина ни в конторе, ни дома у него не было и приходо-расходной книги ему не показывал.

Повестки Иванову он также никакой не давал, денег от Расторгуева 75 руб., от Иванова 100 руб. и от Нероновой сохранный расписки на 350 руб. не брал.

Представленный Храмковым клочок бумажки, на котором на одной стороне написано: Московский мещанин Николай Андреев Храмков и на другой — председатель Храмков, им не писан, и он не помнит, хвалился ли он Храмкову, что может подписать под его руку.

Свидетель Рюмин показал, что повестки от конкурса ему несомненно были присланы, но кем они были доставлены, он твердо не помнит. Приходо-расходную книгу конкурса приносил к нему сам Маруев, сам предложил ему устроить выдачу денег и просил за это благодарности.

Кроме только что изложенного, Маруев обвинялся еще в том, что подделал руку Храмкова на 4 векселях и предъявил их ко взысканию.

Дело было приблизительно так. Поверенный Маруева предъявил к векселедателям Скутарлеевым и Козыреву 4 векселя на 600 руб., перешедшие к Маруеву по бланковой надписи мещанина Храмкова.

Относительно этих векселей Храмков заявил спор, доказывая, что векселя эти принадлежат ему и поручены бы-

ли им Маруеву для предъявления ко взысканию, но он сделал под ними фальшивые бланковые надписи и представил ко взысканию от своего имени, почему магистрат требовал, чтобы Управа благочиния распорядилась произвести следствие о подлогах векселей.

Дело было передано судебному следователю, которому Храмков показал, что он передал Маруеву 4 векселя с прошением, написанным в управу благочиния, поручив Маруеву лишь подать прошение и векселя, а Маруев поступил иначе: прошение уничтожил, подделал бланковую надпись и подал векселя от своего имени.

Таково было первоначальное показание Храмкова. Затем он с каждым разом все далее и далее отступал от него. Два раза он подавал следователю новые прошения и на допросе по поводу подачи последнего объявления Храмков утверждал категорически, что бланки на векселях были подписаны им самим. Подавая свое первое прошение, в котором он обвинял Маруева в подлоге, он запомнил, что бланки были написаны им.

Приглашенные следственной властью эксперты признали, что почерк, которым написаны бланки на векселях, тождествен с почерком, которым написан клочок бумаги, представленный Храмковым, как писанный под его руку Маруевым, и с почерком, которым подписаны повестки, находящиеся при деле, но при этом следует обратить внимание на то, что бланковые надписи на векселях писаны разными почерками и что почерк, которым надписаны бланковые надписи на трех векселях, с почерком Храмкова тождественны.

Присяжные заседатели вынесли подсудимому обвинительный вердикт по всем, поставленным на их разрешение вопросам.

Суд приговорил Маруева к ссылке на житье в Томскую губернию с лишением всех особых прав и преимуществ.

Подсудимого защищал кандидат на судебные должности Ф. Н. Плевако.

Нижеприводимая речь первая по времени из сохранившихся речей Ф. Н. Плевако и, вероятно, одна из первых, произнесенных им в уголовном суде.

### **Речь в защиту обвиняемого Маруева**

Господа присяжные!

Для подсудимого настала решительная минута: вопрос его чести, его жизни отдан на суд ваш.

Вследствие обвинений, брошенных на него разными лицами, вследствие некоторого согласия в этих обвинениях, давно он уже лишен свободы, давно заключен в тюрьму, — эту школу всякого порока, тем более опасную, чем впечатлительней, моложе ее воспитанник.

Но обвинение еще не признак виновности подсудимого. И на честную душу может быть подано, сгруппировано самое поразительное обвинение: самая лживая клевета, пока не обсудится, не обследуется, может быть так же стройна, так же логична, как и добросовестное заявление о совершении преступления.

И было время, — наше счастье, что оно прошедшее время, — когда, записав такое обвинение узаконенным числом свидетелей или сбивчивостью оробевшего или подгулявшего, не ожидая допроса, подсудимого, и далеко от родной стороны приходилось ему раскаиваться в своей робости или носить в сердце чувство недоверия к человеческому правосудию.

Не то теперь!

Вы, представители общественной совести, судите согражданина; перед вами являются — обвинитель со всеми доказательствами, защита — со всеми аргументами, и тогда только, все выслушав, все обсудив, вы произносите ваше совестливое решение.

Наше дело — дело лиц, посвятивших себя изучению предстоящего процесса, обратить ваше внимание на те обстоятельства, над которыми следует призадуматься, на те обстоятельства, которые имеют важное значение для обвинения и защиты...

Приступаю к выполнению моей задачи, как я ее поставил себе.

Прокурорская власть приписывает Маруеву два преступления. Она утверждает, что Маруев составил подложные повестки конкурсного управления, что такие повестки с целью обмануть известных лиц он вручил им и этим способом выманил у них известную сумму денег; он же, Маруев, написал на векселях Храмова подложные бланки, чтобы присвоить себе следующую в пользу Храмова сумму.

Вот существо обвинения.

Чем оно держится, на чем основано?

Тут много слабых мест, над которыми я прошу вас подумать.

Первое, о чем следует поразмыслить, это вот что: есть ли конкурс присутственное место? Придает ли закон всем бумагам его — значение исходящих от правительства бумаг?

Государство дает санкцию и власть, именуя их правительственными учреждениями, только таким местам и лицам, которые необходимы для него, как органы его жизни. На них закон смотрит так, что полагает существование их для государства необходимым всякую минуту, а потому они существуют непрерывно. Для этого в особой книге законов, называемой «Учреждения», они все поименованы, всякому месту и лицу даны задачи, указан круг деятельности. Бумаги их, как акты, исходящие от воли верховной власти, как акты, которыми граждане должны руководствоваться в своей деятельности, имеют важное значение; а потому всякий подлог в них, всякое принуждение граждан к каким-либо обязательствам во имя воли, выраженной в подложной правительственной бумаге, должно быть строго наказано. Этого требует уважение к власти, этого требует уважение к свободе гражданской.

Конкурс никогда не мог иметь значения и важности присутственного места. Это — собрание поверенных кредиторов, которое только для кредиторов имеет значение как бы присутственного места в тесном кругу их претензий к несостоятельному.

Всякое место, всякое лицо, именуемые органами правительства, имеют своим существенным признаком власть над обществом, подчиняются уже только иерархически старшим местам и лицам. Общество имеет над ними только право общественного мнения.

Не таков конкурс. Его подчиненные — кредиторы должника суть вместе с тем и его начальство. Конкурс подчинен общему собранию, конкурс действует по предположению, что его деятельность одобряется теми, чьи дела он ведет.

Правительство требует от своих органов той черты деятельности, какая прилична им, как государственным учреждениям; но без желания кредиторов оно не поверяет деятельность конкурсов. Значения выше комиссии, основанной для имущественных расчетов нескольких частных лиц, конкурс не имеет.

Слова ст. 1910 XI тома не оправдывают обвинительной власти.

Слова закона говорят о значении конкурса по отношению к кредиторам, ему вверившимся, но не о значении конкурса в системе правительственных учреждений; и о договоре говорится, что он есть закон для договорившихся, но это не значит, что нарушитель договора равен нарушителю закона, — это значит только то, что договор для обязавшихся так же силен, как закон для обязавшихся законом, т. е. всех граждан.



Но вообразите себе лицо, дурно отзывающееся о законе, и лицо в таком же отношении к договору, — и по судьбе этих лиц можете судить о различии закона действительного и договора, имеющего значение закона.

Представьте себе судей перед зеркалом, отправляющих правосудие, и шумную малотолковую коллегия кураторов, и сознайтесь, что нельзя допустить мысли, чтобы эти оба учреждения были одинаково органами власти, правительственными местами.

Целое сословие лиц, которым дано даже особое имя — конкурсантов, захватили в свои руки эту область; всякий адвокат, дорожащий своим добрым именем, чуждается принять на себя участие в этом учреждении; правительство спешит вырвать судьбу должника, судьбу кредиторов от произвола конкурсного производства. Готовятся законы, изготовляются проекты.

Словом, ни по смыслу законов, ни по внутренней организации, ни по фактическому состоянию своему, — конкурсу и всякой его бумаге, — а особенно бумагам, не имеющим значения бумаг, определяющих имущественное право, — нельзя придать значения бумаги, исходящей от правительства.

Конечно, если бы дело шло о подложном журнале, журнале, которым присуждается кому-либо какое-либо право, можно было бы говорить еще о подлоге акта с целью воспользоваться чужой собственностью; но что касается до повестки, которая ни более ни менее как приглашение явиться куда-либо, которая не заключает в себе укрепления за кем-либо какого-либо права, то подлог в ней, по моему мнению, может быть низведен до простого подлога в чужой подписи, в бумаге, не имеющей никакого гражданского характера.

Я нахожу теперь своевременным приступить к вопросу: что дало следствие для обвинения Маруева?

Слышали мы свидетелей, видели акты, слушали заключение экспертов.

Обвинительница Неронова спрошена без присяги. Закон допускает основательное сомнение к словам лиц, потерпевших от преступления. Останемся верны этому взгляду, тем более, что показание ее противоречиво, особенно если сравнивать его с показанием Иванова.

Одна говорит: я дала деньги, когда мне показали, что журнал подписан; другой — что подписанного журнала Нероновой Маруев не показывал. Неронова говорит, что она сама не получала повестки у Ростовцева; Иванов — что она

сама получила, и отрицает ее показания о том, что он ей передал. Теперь Неронова уверяет, что она лично дала деньги Маруеву, но в 1865 году показала, что деньги дал Маруеву Иванов; а Иванов тогда и теперь говорит, что денег не давал.

Чтобы избежать противоречий, мы даем им очные ставки, но дело не поправляется. Они не отзываются запятованием, а один приписывает другому то, что другой, со своей стороны, приписывает первому. И это о самом важном обстоятельстве. Неронова настаивает, что повестка была ей доставлена, а Иванов — что она сама получила.

Так сильны противоречия, так взаимно уничтожают они себя в самых существенных вопросах! Какая может быть к ним вера?!

Я отрицаю достоверность не только показаний Нероновой, но и Иванова.

Правда, Иванов — присяжный свидетель. Но присяга его, заставляя меня отклонить всякое сомнение в его достоверности, в намеренной неправде, не мешает мне, на основании его противоречий, не верить в его впечатлительность к событиям, в его отчетливое, разумное сознание того, что случилось около него. Никакая присяга не даст человеку больше памяти, лучшей способности, чем какие даны ему природой.

И я поэтому считаю себя вправе заметить, что Иванов не может быть свидетелем, опасным для участия подсудимого.

По поводу повестки г-на Рюмина мне приходится недоумевать от слов господина товарища прокурора. На чем основано его уверение, что повестка № 321 получена Рюминым лично? Здесь при вас много раз заявлял Рюмин, что он не уверен, чтобы повестка была им получена лично.

Соглашаясь с г-ном товарищем прокурора, что положение г-на Рюмина таково, что исключает всякую возможность недоверия к его показанию, я прошу вас обратить внимание на его слова, сказанные и не один раз повторенные перед вами. Его показание, что Маруев был у него с бумагами, чего не отвергает и обвиняемый, дало г-ну товарищу прокурора основание заключить, что Маруев приносил и фальшивые журналы; но опять, — по каким данным?!

На мои вопросы г-н Рюмин ответил, что книг и журналов он не помнит и не знает, приносили к нему подписанные журналы или проекты их?

Предложили мы вопрос Храмову. Зная, что такое конкурс, мы спросили его о внутреннем состоянии конкурса.

Беспорядочно велся он; в товарищах — неурядица; журналы рвутся; по поводу их идут дела в губернском правлении; претензии не рассмотрены несколько лет; деньги все израсходованы на конкурс.

Разве из этого описания конкурса можно вывести убеждение, что повестки только потому, что они не согласны в нумерах с номерами исходящего алфавита, несомненно подложны? Разве при этой медленности конкурса есть повод сомневаться, что к Рюмину Маруев являлся с проектами удовлетворения кредиторов? Мало того, из записи Маруева Храмкову от 30 мая видно, что Маруеву поручено было заготовить дело для общего собрания.

Следовательно, заготовление им повесток было вещью естественной.

Против меня можно заметить: зачем же в повестках говорится о получении денег, когда их быть не могло?

Это объясняется формализмом. Ко дню, когда назначается общее собрание, вызываются все кредиторы. Цель вызова — согласно взаимному отношению кредиторских претензий разделить имеющуюся сумму. До дня, пока не рассмотрится правильность расходов, сделанных конкурсом, сумма прихода есть достояние конкурсной массы, а кредиторы, по общему правилу, суть претенденты на эту сумму.

Вот объяснение, почему в повестках упоминалось о получении денег.

Что касается до векселей Храмкова, то вы слышали его собственные показания. Не доверять им нельзя, нельзя потому, что всякое сомнение устранено экспертами. Он и эксперты признали руку за его.

В делах, где нужно специальное знание, голос эксперта — авторитет, и мне в высшей степени непонятно, как можно было господину товарищу прокурора давать так мало цены их показанию. Его предположение, что Храмков отказался от показания, повидавшись с Маруевым и упрощенный им, есть предположение и только. За то же, что подписи эти принадлежат самому Храмкову, — голос экспертов. Выбор невозможен.

О векселях — довольно. Но показания Храмкова для меня важны: он способен был оклеветать Маруева, он приписывает Маруеву и подпись на лоскутке бумаги, которая, по словам экспертов, принадлежит Храмкову. При такой недовольности Храмкова товарищ прокурора, однако, находит возможным верить Храмкову, когда он отрекается от подписей под повестками, верить ему, несмотря на то, что сходство в известной степени признается, и что во всяком

случае эксперты отрицают сходство этих подписей с рукою Маруева.

Еще одно соображение: если бы Маруев хотел передать Рюмину фальшивые повестки, то, конечно, скрыл бы свою руку. Но на повестках обыкновенная, нимало не измененная рука Маруева. Это дает веру словам его о назначении повесток, — что они были запасные.

Преступнику свойственно скрывать концы в воду. Здесь же, если это подлог, — самовольное обречение себя на погибель.

Спор о подлоге — не признак подлога: не каждый ли день наши гражданские дела начинаются рядом споров о них. Это — болезнь наша. Старый процесс, где нелишними были всякие средства, затягивающие дело, приучили нас, — и вот чем можно объяснить дело Храмкова. Этим же объясняется, быть может, и дело Нероновой.

Бросая беглый взгляд на дело, приходишь к убеждению, что сомнения и сомнения выносятся из всех свидетельских показаний. Взаимное противоречие Нероновой и Иванова, отказ от всяких обвиняющих показаний со стороны Рюмина, внутренняя несостоятельность Храмкова — вот материал обвинения.

Сверх того мы читали, что показал Щитунин, умерший уже свидетель. Сомневался и он, Маруев ли ему принес повестку. Останемся верны и мы этому сомнению.

Но, кроме свидетелей, мы слышали экспертов. Они чужды интересам дела, их голос авторитетный. Но что они говорят? Они приписывают подписи Храмкову, они отрицают сходство руки Маруева с этими подписями.

Итак, только два убеждения можно вынести из дела: или подсудимый невиновен, или виновность сомнительна.

Но то и другое ведет к необходимости оправдания.

Третьего рода убеждение, думаем, невозможно. И можно ожидать, что с вашим приговором кончится для подсудимого неволя и засияет ряд светлых, свободных дней...

## ДЕЛО РОСКОВШЕНКО И ДРУГИХ,

*обвиняемых в подлоге векселей*

26 июня 1883 г. в Одессе кредиторам товарища прокурора Одесского Округного суда В. Росковшенко, собравшимся в его квартире, по его приглашению, стало известно, что Росковшенко из Одессы скрылся.

Немедленно после этого они стали обращать обязательства Росковшенко ко взысканию, и тогда же обнаружилось, что векселя, учтенные Росковшенко, подложны.

Всего подложных векселей оказалось на сумму около 20 тыс. руб. Все векселя находились в руках ростовщиков, которые и явились истцами по настоящему делу.

В. Росковшенко, товарищ прокурора Одесского Округного суда, был переведен из Витебска. Кругом в долгах, он, по переводе в Одессу, на некоторое время был оставлен своими кредиторами, но, когда последние узнали, что он женился и занимает видное место по службе, они стали требовать от Росковшенко уплаты.

Скрывая свои долги от жены, он для оправдания их стал заключать займы у одесских ростовщиков, и затем все с той же целью расплатиться, будучи не в состоянии получать векселя для учета своих знакомых, стал учитывать подложные векселя.

В этих векселях были подделаны подписи товарища председателя Одесского Округного суда В. Пащенко и инженера Лишина. Оба они были хорошими знакомыми Росковшенко и сами давали на его векселях подписи, с тем, чтобы Росковшенко мог их учитывать. По наступлении сроков векселя должны были возвращаться, и, действительно, Росковшенко их возвращал, но, как оказалось впоследствии, он снимал с них копии и вновь учитывал.

Вместе с Росковшенко суду, как пособники преступления, были преданы мещане М. Вульфсон и Моргулис.

Дело по обвинению Росковшенко слушалось в Киши-

невском Окружном суде с участием присяжных заседателей с 25—27 октября 1885 г. Председательствовал товарищ председателя Зубов. Обвинял товарищ прокурора Дымчевский, Росковшенко защищал Ф. Н. Плевако.

На суде выяснилось, к каким сделкам приходилось прибегать Росковшенко для того, чтобы платить свои долги. Ему приходилось платить чудовищные проценты под угрозой своих кредиторов-ростовщиков обратити обязательства ко взысканию. Все сделки происходили при участии Вульфсона.

Большинство свидетелей и те лица, от имени которых выдавались векселя, охарактеризовали Росковшенко как человека, сделавшегося жертвой ростовщиков.

Еще до суда все кредиторы Росковшенко были удовлетворены.

В своей речи прокурор, отказавшись от обвинения Моргулиса, всю тяжесть ответственности за преступления возложил на Росковшенко, как на бывшего представителя власти, которая должна оборонять общество от преступлений.

Председатель в своем резюме подчеркнул выводы обвинителя и указал, что нет в деле оснований для оказания снисхождения Росковшенко.

Присяжные заседатели оправдали Моргулиса и Росковшенко и признали виновным лишь Вульфсона.

### Речь в защиту Росковшенко

Господа судьи!

Того, что видели и слышали вы здесь, того, что выяснено показаниями свидетелей и чистосердечным признанием самого подсудимого, было бы совершенно достаточно для суда формального. Преступление совершилось, факты бесспорно установлены — и все тут.

Но законодатель, отдавая человека на ваш суд, на суд общественной совести, суд общественного мнения, имел в виду другие цели. Он хотел, чтобы вы оценили по достоинству все мельчайшие детали, мельчайшие обстоятельства, сопровождавшие преступление.

Обвинение нападает на то, что Росковшенко занимал такой пост; обвинение негодует при виде того, что человек одной и той же рукой писал обвинительные акты и делал фальшивые векселя.

Но, господа, прежде всего я прошу вас отрешиться от того сознания, что вы судите надворного советника, товари-

ща прокурора. Человек приходит в мир не в мундире, не с регалиями, а в своей обыкновенной коже; он является на свет с одинаковым расположением к добру и злу и, если оказывается, что одно из этих начал победило, то для вас, судей совести, представляется трудная задача рассмотреть обстановку жизни данного субъекта, оценить обстоятельства, сопровождавшие борьбу его со злом и затем падение.

Как только в основание своих суждений вы положите такой принцип, то нет ни малейшего сомнения, что в дальнейшем мои взгляды не будут расходиться с вашими.

Я, господа судьи, понимаю негодование, я понимаю весь ужас обвинителя при виде того, что один из наших братьев по корпорации, один из членов нашей семьи, пал так низко; но здесь я позволю себе для иллюстрации рассказать весьма интересный анекдот.

В Англии во время борьбы против табака жил чрезвычайно талантливый проповедник; его пламенные речи, его неотразимая логика действовали на слушателей подавляющим образом.

Раз как-то он особенно красноречиво восставал против нюхательного табака; многочисленные слушатели благоговейно внимали ему и до глубины души проникались теми убеждениями, какие приводил оратор; но вдруг, в самую патетическую минуту, когда напряжение публики достигло высших размеров, проповедник торопливо вынул из кармана табакерку и — понюхал из нее!..

Что станете делать: человек создан таким образом, что ни корпоративные особенности, ни мундир не изменяют его, и публика рассматривает его только с точки зрения человеческой природы.

Я защищаю не преступника, я защищаю несчастного человека, стыд и слезы которого вы видели здесь. Я понимаю это отчаяние, понимаю эти слезы.

Чем он был раньше, чем стал теперь, и какой долгий, бесконечно долгий путь терзаний и ужасающих мучений прошел он!

Историю его жизни вы знаете уже. Молодой, талантливый человек (он работал в одной из московских газет), он прошел ту счастливую школу, где люди рано научаются отличать левую сторону от правой.

Но он был увлекающийся человек; увлечение — не достоинство, но и не недостаток... В Витебске он увлекся одной женщиной, отдавая ей все; когда же страсти охладели, то он не хотел бросить жертву своего увлечения на произвол судьбы: не имея денег, он гарантировал эту женщину векселями.

Это был первый ком, превратившийся потом в гигантскую лавину.

Приехав в Одессу, Росковшенко не избавился от витебских кредиторов; они, как вы слышали здесь, постоянно наезжали к нему в гости, они его преследовали, не давали ему минуты отдохнуть. К несчастью Росковшенко, в Одессе на его долю выпало большое счастье: он влюбился в женщину, которая отвечала ему тем же и которая согласилась разделить с ним жизнь.

Тут, господа, говорили, что ввиду именно этой женитьбы Росковшенко мог рассчитаться с кредиторами; но ведь мы знаем хорошо, что женихи меньше всего любят рассуждать о своих долгах в гостиной невесты... Конечно, он мог объявить себя несостоятельным, и было бы дело суда определить, какого свойства эта несостоятельность; однако он этого не сделал, не решился сделать, быть может, вследствие предстоящей женитьбы, а после о подобной идее и речи не могло быть.

Между тем кредиторы, пронюхав о том, что их клиент сделался женихом богатой невесты, наступали все больше и больше; приходилось прибегать к новым займам, приходилось уплачивать громадные проценты, выдавать новые векселя.

Но вот он, наконец, женился.

Свидетель Пащенко говорит, что он советовал ему обратиться к жене, рассказать все откровенно.

«Только не это!» — восклицает Росковшенко.

И для меня понятно подобное чувство: легко ли объявить любимой женщине, что мы разорены, что у нас ничего нет, что если ты предполагала обрести со мной счастье, покой, благоденствие, то жестоко ошиблась в том, — я принес в твой дом несчастье, разорение, нищету!

О, господа, немного найдется людей, которые решились бы на подобную вещь: лучше преступление, лучше смерть, но только не это.

А тут еще ребенок, маленькая Оля, которую он обожает, — а иногда эти годовалые глаза так выразительно смотрят!..

И вот, в критическую минуту, когда дела приняли ужасный оборот, — ему предложили дать подпись на фальшивом векселе Лишина. Минута колебания, ужас, а затем страшная решимость...

Где есть человек, способный оценить по достоинству те нравственные мучения, то состояние вечного гнета, вечного страха, какие выносил Росковшенко с того рокового момен-



та? Он думал, что раз прибегнув к подобному средству, он снимет с себя петлю, но ошибся. Труден первый шаг. Кто летит по наклонной плоскости, тот не может уже остановиться: всякая попытка сдержаться неминуемо повлечет за собой падение.

Росковшенко пал, а вокруг него все шло своим чередом: кредиторы не унимались; они сразу поняли, в чем дело, и сообразно с обстоятельствами работали. Трудно, господа, допустить, чтобы столько людей, у которых Росковшенко одолжался под учет фальшивых векселей, не знали этого, особенно в том случае, когда каждую минуту предоставлялась возможность проверить факты. Ведь ростовщик, раз два не получив своих денег от бланконадписателя, неминуемо должен был обратиться к векселедателям, тем более, что они — люди хорошо известные в городе и живут тут же в 20 шагах. Как хотите, но я с этим не соглашусь.

Напротив того, я убежден, что деньги давались не под учет фальшивых векселей, а под залог головы Росковшенко! Ростовщики знали, что векселя подложные, но они знали также, что учитывающий их — муж богатой жены, что в случае чего она ответит всем своим состоянием. Судебная хроника хорошо знакома с подобными приемами...

Обвинитель говорит, что продолжительность времени, в течение которого совершалось преступление, доказывает напряжение злой воли, доказывает глубокую развращенность подсудимого.

Нисколько: здесь одна и та же петля лишь все больше и больше затягивалась.

Да, наконец, против кого же была направлена злая воля? Лишин и Пащенко не пострадали, ростовщики с лихвою получили свое.

Закон карает злую волю, но для него вовсе не безразлично знать, кто в данном случае является пострадавшим субъектом. Росковшенко мог делать подлог, мог набивать карман и затем ликовать. Так нет же — он поступает иначе, он борется, изворачивается и при первой возможности оплачивает долги, — все равно, какие бы они ни были.

Все данные дела от начала до конца доказывают это. Ни один свидетель, ни один кредитор не обмолвились ни единым словом против Росковшенко. Даже свидетель Пащенко, показание которого вовсе не обличает симпатий к подсудимому, когда дошло дело до подложных векселей и до обнаружения им преступления, здесь, перед вами, как бы оправдывался, как бы извинялся.

И это понятно, потому что все чувствуют, что Рос-

ковшенко — не злодей, не преступник, а несчастный человек.

Для нас образ действий г-на Пашенко вполне понятен: он вместе с Лишиным не согласился замять поднятую ими историю только потому, что они боялись новых векселей; боялись того, что их может всплыть целая масса и тогда, пожалуй, пришлось бы поплатиться.

Росковшенко, между тем, все делал для того, чтобы поправить зло.

Он — не из тех фарисеев, которые на глазах света корчат добродетельные рожи, а за спиною совершают преступления.

Он — тот мытарь, который с отвращением вступил на ужасную дорогу и пал под ударами жестокой судьбы; он до конца борется, борется для того, чтобы спасти свою честь.

Сам закон, строго карающий подобные преступления, делает различие между человеком, воспользовавшимся плодами своей преступной деятельности, и тем, который ничем не поживился. По закону, например, строго карается чиновник, совершивший растрату казенного добра; но пусть этот самый чиновник за пять минут до произнесения приговора пополнит растрату, наказание ему уменьшается до *minimum*'а.

Закон только не мог регламентировать, не мог предвидеть всех возможных в жизни случаев. Определив общее значение подлога, определив наказание за него, закон суждения о существе преступления, о тех последствиях, какие оно вызвало, предоставил на разрешение судей совести.

Возьмем два-три примера.

Составление подложного духовного завещания с корыстной целью, денежных документов, векселей и т. п. по закону признается подлогом и, несомненно, заслуживает строгой кары.

Ну, а если я, например, принимаю к себе гувернантку, молодую девицу, у которой весьма странное имя — Голендуха (бывают такие случаи), и эта гувернантка, по странному кокетству или по чему-либо другому, делает в своем метрическом свидетельстве подчистку, прописывая вместо Голендухи другое более поэтическое имя — что скажете вы на это? Ведь закон с формальной стороны не делает различия; он, как первый, так и второй случай признает подлогом, определяя за него строгое наказание.

Или вот еще пример: дама 30 лет исправляет в метрике свои года, уменьшая их (известно ведь, что дамы в таком возрасте любят уменьшать свои года), — неужели же

вы и здесь признаете подлог и сурово накажете «преступницу»?

Я думаю, что нет.

Положим, что приведенные мною примеры не совсем подходят к данному случаю, но между деяниями Росковшенко и этими есть нечто аналогичное.

Росковшенко точно так же не извлекал выгоды из своих преступлений. Пользовались другие, — пользовались кредиторы, которые сознательно давали себя обманывать, чтобы только человеческую душу держать в залоге! Современные ростовщики, это — те пиявки, которые сосут вас; они хуже кредиторов Древнего Рима, бросавших своих должников в тюрьмы, физически мучивших их: наши ростовщики, это — те шейлоки, которые за долг берут фунт человеческого мяса...

Печально было бы положение закона, печально было бы положение суда, призванного охранять интересы подобных людей...

Кредиторы Росковшенко получили все, все с лихвою, подлоги же подсудимого имеют до крайности оригинальный характер: имущество его перешло в чужие руки, жена — нищая, ребенок — нищий, он сам, опозоренный и униженный, сидит перед вами на скамье подсудимых...

Остались пока неоплаченными такие долги, как например, Ольги Кусенко. Но вы, господа, видели уже, какого рода эти долги. С Росковшенко на одну и ту же сумму, бессовестно увеличенную, берут два обязательства.

Присяжный поверенный Шишманов знает, в чем дело, и, когда к нему обращается его постоянный клиент Ольга Кусенко с просьбою предъявить иск, то Шишманов, человек, очевидно, безусловно честный, отказывается вести подобное дело. Тогда Ольга Кусенко, раздраженная и негодующая, бросает своего «благодетеля», как она его всегда называла, и обращается к г-ну Митрофану Городецкому... С редким рвением и редкой горячностью последний ведет дело и ведет его настолько энергично, что несчастного Росковшенко прижимают к стене...

Господа, вы видели здесь всех «потерпевших», вы видели, что они все довольны, все улагодворены, все получили свое; но тут забыли одного гражданского истца, — забыли лишь одно существо, которое пострадало: забыли дочурку Росковшенко, его маленькую Олю, — только она, и она одна осталась обиженной, она одна имеет право иска!..

Нельзя в регламент вписать, что ты не ешь, когда есть хочется. Обвинитель не придает никакого значения част-

ным интересам наряду с общественным благом, — он предлагает жертвовать ими ради этих последних.

Но ведь я, кажется, доказал, что пострадавшими в данном случае являются только члены семьи Росковшенко, — больше потерпевших нет; сам он достаточно наказан, так неужели же мы во имя какой-то отвлеченной справедливости до конца станем убивать человека?..

Обвинитель, далее, не придает ни малейшего значения той нравственной борьбе, какую вынес подсудимый, — он даже смеется над его слезами, над слезами горя, отчаяния и стыда. Но нельзя издеваться даже над человеком, сидящим на скамье подсудимых, и небезопасно — над тем, который не сидит на ней... *(Здесь председатель останавливает защитника заявлением, что никто не позволил себе издеваться над подсудимым).*

Подчиняюсь... Тем лучше! Я очень рад, что из уст председателя встречаю опровержение того, что мне, по-видимому, послышалось...

Итак, вы, значит, видели совершенно искренние слезы, а в Писании сказано есть: «блаженны плачущие — они утешатся!..»

## ДЕЛО ГАВРИЛОВА И БЕКЛЕМИШЕВА,

*обвиняемых в подделке билетов  
Государственного Казначейства*

В мае и июне 1865 г. в Харькове и других городах Харьковской губернии обнаружено было обращение в большом количестве поддельных государственных серий. В самом начале расследования этого преступления было установлено, что главным сбытчиком серии был Иоахим Щипчинский, живший в городе Изюме Харьковской губернии. Тогда же было раскрыто место приготовления серий — деревня Варваровка Изюмского уезда. В этой деревне были найдены необходимые для приготовления серий машины. В ней одно время тайно проживал Щипчинский.

Щипчинский, изобличенный в подделке серий, сознался, и как на участников этого преступления указал на целый ряд лиц, которые были преданы суду. Среди них не было ни Гаврилова, ни Беклемишева.

Впервые указание на их роль в подделке серий было сделано арестованным и затем судившимся по этому делу изюмским предводителем дворянства Солнцевым. Он, рассказывая о виновниках преступления, Гаврилова и Беклемишева выдвинул как вдохновителей и главных деятелей этого преступления.

По его оговору дело о Гаврилове было в рассмотрении дореформенных судебных мест и доходило до Государственного Совета, который и признал его невиновным, и это мнение Совета утвердил Государь. И только впоследствии, когда явились обстоятельства, очень серьезно уличавшие Гаврилова и Беклемишева в приписывавшемся им преступлении, они были переданы Харьковскому Окружному суду с участием присяжных заседателей.

Таковыми обстоятельствами явились прежде всего показания лиц, уже обвиненных по этому делу.

Еще за 3 года до раскрытия преступления один из осужденных, Витан, писал, что готовится преступление — под-

делка государственных билетов и что его душой является Гаврилов.

Другие обвиняемые, Гудков и Зебе, рассказали, что еще во время нахождения их под стражей, в тюрьме, до слушания дела, Гаврилов и Беклемишев подкупили их, чтобы они их не оговаривали. Этот рассказ нашел себе подтверждение в целом ряде фактов.

Кроме показаний обвиняемых, в деле были установлены сношения Гаврилова и Беклемишева со многими лицами, осужденными по делу о подделке серий. Было доказано рядом письменных документов, что Гаврилов и Беклемишев участвовали в покупке машин, в посылке для этой цели денег, в совместных совещаниях по вопросу о подделке серий.

Сами машины найдены были в амбаре в имении Гаврилова.

По этим данным Гаврилов был привлечен в качестве обвиняемого в подделке серий.

На судебном следствии было установлено, что Гаврилов был человеком очень состоятельным, что ему предстояла большая карьера и что никаких побудительных причин к совершению означенного преступления у него быть не могло.

Дело о Гаврилове и Беклемишеве слушалось в Харьковском Окружном суде с участием присяжных заседателей с 14—23 декабря 1872 г., через 7 лет после совершения преступления.

Председательствовал товарищ председателя В. И. Анненков. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Монастырский. Защищали: Беклемишева — присяжный поверенный Громницкий; Гаврилова — помощник присяжного поверенного Анненков и Ф. Н. Плевако.

Присяжные заседатели обоих подсудимых признали виновными в приписываемом им преступлении и дали им снисхождение.

На основании этого вердикта суд приговорил П. С. Гаврилова и А. И. Беклемишева к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на 4 года каждого, постановив ходатайствовать перед Его Императорским Величеством о замене этого наказания лишением особенных прав и ссылке в Иркутскую губернию.

### Речь в защиту Гаврилова

Господа судьи и господа присяжные заседатели!

По естественному праву, которое принято нашим законом, подсудимый, прежде чем вы произнесете приговор о

его вине или невинности, может требовать, чтобы избранная им защита указала вам в деле на все те данные, которые или оправдывают его, или значительно ослабляют те основания, доводы и улики, которые только что вы изволили выслушать в обвинительной речи господина прокурора.

Только в этих пределах слово защитника и будет верно своему назначению. Только в этих пределах он исполнит то, чего ожидает от него общество и чего вправе ожидать и сам подсудимый.

Думается, что, по крайней мере, не ко мне относится предвидение прокурорского надзора, что защита будет, ввиду болезни и тяжких страданий подсудимого, а также и других причин, взывать к вам о невенении того преступного деяния, за которое подсудимый предан в настоящее время вашему суду. И болезни, и тяжкие страдания имеют значение смягчающих обстоятельств, и если защита указывает на них, как на таковые, то все-таки она остается на почве закона, и мы упрека на себя в этом отношении не принимаем; о болезнях же и страданиях, как о причине невенения, вы от меня, господа присяжные, не услышите.

Всякая защита, правильно исполняющая свое призвание, должна указать на доводы двух родов. Первого рода доводы — те, которые она лично выносит из дела, в которых лично убеждена.

Но бывают случаи, что, независимо от этого, один и тот же ряд фактов указывает на два вывода: конечно, при этом, один — более вероятный и другой — менее вероятный, а между тем один из них полезнее для подсудимого. Тогда защита, независимо от того, убеждена она или не убеждена в этом выводе, должна не упустить его из внимания, ибо ее главная цель — содействовать, по возможности, правильно-му произнесению приговора, а для этого необходимо все-стороннее рассмотрение предмета.

Вот чем ограничивается право защиты и чем исчерпывается ее обязанность перед подсудимым.

Обращаясь к делу в этих пределах, я пойду немного не тем путем, как обвинение. Обвинение начинает свой путь от момента, когда возникает преступление, со времени, когда зародилась преступная идея. Затем оно рассматривает, как приготовили людей для этого и, вообще, как приступили к нему, как после этого преступники пользовались плодами этого преступления, затем, как это преступление обнаружилось, как люди потерялись, стали трусить и разбежались, как после этого пошло следствие, как во время следствия виновные давали те и другие показания, желая

избегнуть той участи, которая им грозила, и достигнуть более благоприятных для себя результатов при постановке приговора.

Этот путь противоречит приему, которым успешно разрешается задача, предложенная человеку: этот путь идет от неизвестного к известному.

В самом деле, как узнать, когда возникла идея или преступный замысел по настоящему делу? Этого не разрешить, пока не узнаешь многого, что совершилось позднее.

В эту минуту, когда мы сидим в суде, может быть, в этом городе возникает ряд самых преступных замыслов, но их нам не узнать, как бы ни были бдительны чиновники, охраняющие безопасность. Когда же умысел переходит в дело, когда мысль дает движение рукам, языку, тогда становится известным задуманное, с этого момента открывается поле деятельности властям, предупреждающим и карающим, и от самой лучшей администрации мы не вправе требовать ничего более.

А если это так, то об умысле, об идее преступления мы можем заключать и догадываться, когда уже изучили внешнее проявление зла, когда познакомились с ним по известным фактам, — только тогда мы можем переходить и к неизвестному и не наделать неосновательных предположений и промахов.

В данном деле правосудие натолкнулось на преступление именно в таком же порядке. Только тогда, когда появились в обращении фальшивые серии, когда лица, в руки которых они попали, донесли о их фальшивости, — только тогда правосудие и общество узнали о шайке преступников, окружавших нас, узнали затем о месте фабрикации, об участвующих лицах и получили возможность заглянуть в то отдаленное от правосудия время, когда мысль о преступлении возникла у злодеев.

Пойдем и мы исследовать это дело с момента появления серий и только тогда, когда факт преступления будет изучен, перейдем к тому, что предшествовало выпуску фальшивых денег, — к работе, приготовлению и идее, и к тому, что следовало за совершившимся злом, — сокрытию следов преступления и к манере, как держали себя лица, участвовавшие и заподозренные.

Само собой разумеется, вы согласитесь со мной, что преступление, вроде настоящего, не совершается бесцельно, не бывает искусством ради искусства. Вор крадет не потому, чтобы ему нравилась кража, а потому, что ему нравится покраденное. В деле подделки бумаг виновники решаются на



опасное занятие не из артистического желания добиться искусства сделать копию равной настоящему образцу, не из соревнования с мастерами комиссии изготовления государственных бумаг, а ради той выгоды, которую они надеются получить, ради обогащения без труда и законного основания, ради благ мира, к которым им даст доступ фальшивая бумажка, принятая за настоящую.

В мае и июне месяцах 1865 года появляются в обращении серии фальшивой фабрикации. Одна из них попала в руки Мессерова. Попала ли она к нему от Беклемишева, а к Беклемишеву случайно, — это разъяснит вам его защитник. Я напоминаю все прежние случаи: серии у городского головы Быстровского, серии, найденные у г-на Житинского, заложённые учреждению, от имени которого перед вами — гражданский истец... Путь, каким дошли до них серии, известен. Все они сходятся в руках Щипчинского, чего не отвергает и он. Следствие, несмотря на тщательность изысканий, на сильные средства, которыми оно располагало, несмотря на то, что сведения ему доставлены даже из-за пределов России, например из Рима, несмотря на продолжительный период времени, какой прошел с начала дела по настоящий час, — не представило ни одной фальшивой бумаги варваровской работы, которая была бы пущена в обращение моим клиентом или прошла бы через его руки.

Итак, Гаврилов не несет на себе подозрения в сбыте ни одной фальшивой серии. Сбываемые Щипчинским, они не касались его. А если это так, то для полного, законченного представления о преступлении, в котором обвиняют Гаврилова, недостает важного условия, — недостает того, для чего преступление делается, недостает пользования плодами своего дела.

Этими ссображениями я добиваюсь не смягчения участи подсудимого, не воспользовавшегося своим преступлением, — нет: я думаю, что этот довод — отсутствие доказательств, что серии были в руках Гаврилова и выпускались из его рук — дает основание предполагать, что Гаврилов был к деланию фальшивых монет в Варваровке непричастен.

Где появляются серии? В Харькове и Изюме. Около Изюма живет Гаврилов, в Изюме — Щипчинский.

По общему правилу, подтверждаемому наблюдением, преступник, если он дорожит той местностью, где живет, если крепко связан с ней и нелегко ему с ней расстаться, из чувства самоохранения, для отклонения подозрения, сбывает где-нибудь далеко плоды своего преступления. Так,

фальшивые деньги, изготовлявшиеся в притонах около Москвы шайками, ныне побежденными правосудием, сбывались на ярмарках на востоке России. Преступник знает, что рано ли, поздно ли, мнимое достоинство денежных знаков открывается, и люди припоминают, кто и когда им дал их; вот почему ему важно быть далеко от места сбыта, чтобы путь затерялся для исследования.

Если бы Гаврилов сам приготовлял серии и пользовался плодами этого дела, он бы никоим образом в Изюме не сбывал их; а сбывало бы их такое лицо, которое, будучи преступно, в то же время не было бы привязано к той местности, не имело особенных причин там оставаться, — это был человек гулевой, которому все равно, где бы ни быть, — нынче в Харькове, завтра где-нибудь в другом месте. Таким человеком по характеру, по бездолжности, по отсутствию средств к жизни, является Щипчинский.

Посмотрим, какие в деле имеются данные для обвинения Гаврилова в участии его в самом делании этих бумаг? Факт, что фальшивые серии делались в Варваровке, — в селении, стоящем на пути из Бахмута в Харьков, — признан. Но ни один из допрошенных подсудимых, ранее осужденных по этому делу, несмотря на свой оговор Гаврилова, — ни Солнцев, ни Щипчинский, ни Зебе, никто другой, не подтвердили ни единым словом, а напротив, положительно отвергнули, что Гаврилов приезжал в Варваровку, тогда как они весьма подробно в прочих своих показаниях.

Отсутствие Гаврилова на том месте, где совершается преступление, может объясниться другим мотивом, мотивом тоже довольно вероятным, — мотивом, что всякое лицо, имеющее средства приобрести плоды преступления путем загребания жара чужими руками, не станет сам пребывать на опасном месте, — мотивом, который совместен с понятием об осторожности того преступника, который задумал известное деяние.

Если этот мотив принять, то надо же провести его по всему делу.

Но обвинение само постоянно указывает на отсутствие осторожности в Гаврилове. Обвинение находит два раза машины в доме Гаврилова, видит, что деньги посланы в Одессу Масленникову для покупки машины Гавриловым же, и, веря этим документам, выставляет их как доказательство, что Гаврилов принимал участие. Если таков Гаврилов, то тогда соображения обвинителя о том, что в Варваровке Гаврилов не был из предосторожности, идет вразрез с характером этого же самого лица во время покупки средств пре-

ступления, с характером чересчур открытым и откровенным.

Есть только один документ и одно показание, которые могут считаться обвинительной властью уликой.

Из показания оговорщика Зебе видно, что в Варваровке сначала делали 50-рублевые бумажки, и, когда делание их не удалось, тогда Щипчинский едет в Харьков советоваться с Беклемишевым о том, чтобы 50-рублевые бумажки отложить в сторону и заняться сериями, на что нужно было получить его разрешение. К этому времени относят телеграмму, в которой Беклемишев дает знать в Бахмут Гаврилову, что в Варваровке дело о подделке улажено, но самому Гаврилову не советует ехать в Варваровку, и затем уже говорит о посторонних вещах.

Если бы была такая телеграмма, которую бы уведомлялся Гаврилов о невыезде в Варваровку, тогда это был бы факт решительный, несомненный. Но такой телеграммы в самом деле нет.

Вот текст, на который ссылаются: «Был Щигров, улажено, куда-то не ездит, повидайтесь с Соболевым. Номер ко-силки».

Сама по себе телеграмма не дает никакого понятия о своем содержании и не может вести ни к какому выводу. Тогда прибегают к толкованию. Не маги или книжники, а те же оговорщики, Гудков, Зебе и пр., берут на себя роль толковников.

И вот что происходит: Зебе утверждает, что Щипчинский ездил к Беклемишеву советоваться о сериях. Беклемишев это отвергает. Слова Беклемишева подтверждает Щипчинский. Чтобы опровергнуть Щипчинского и Беклемишева, Зебе опирается на телеграмму и с авторитетом утверждает, что «Щигров» значит Щипчинский; «дело улажено», — значит вместо ассигнаций будут делать серии.

То же мнение поддерживают ученые Гудков и Солнцев. Между ними, как настоящими учеными, кроме общего мнения, есть и разногласие. Гудков и Зебе слово «Соболев» переводят словом «Шахов», а Солнцев видит в этом свою собственную фамилию. Мнение авторитетное и под рукой Гудкова, Зебе и Солнцева из телеграммы создается страшная улика, подтверждающая оговор Зебе.

Но я позволю себе усомниться в силе этой улики и обращу ваше внимание на то, что сразу роняет цену ее. Оговор Зебе не подтвердился Щипчинским, отвергнут Беклемишевым и не может быть признан достоверным. Он нуждается в подтверждении. Телеграмма не имеет положительного

смысла; вместо нее нам предлагают другой текст, созданный Зебе и Гудковым и измененный Солнцевым. Она, поэтому, еще более нуждается в разъяснении. И вам предлагают недостоверный оговор подтвердить изобретенным текстом телеграммы, а недостоверность толкования телеграммы подтвердить шатким оговором Зебе. А ведь недостоверное положение, сколько ни подтверждай ссылкой на недостоверное же доказательство, все-таки будет недостоверно.

Веру в эти два положения подрывает обстоятельство в высшей степени интересное. Я говорю о количестве серий. Щипчинский считает их на 70 тыс. руб. Гудков когда-то доводил эту цифру до 200 тыс. руб. Ему ли, печатнику, не знать этого? А между тем он потом согласился, что серий было не более чем на 70 тыс. руб. По показанию Солнцева останавливаемся на 22 тыс. руб., а по количеству обнаруженных в обороте бумаг играет роль цифра 9500 руб.

Вот какая разногласица в показаниях лиц, на которых строится обвинение, вот какая достоверность! Она подрывает веру в достоинство того материала, из которого обвинение строит свое здание. А этим исчерпывается все, чем располагает обвинитель для доказательства, что Гаврилов принимал участие в подделке.

Перейдем к дальнейшему.

Насколько вяжется с этим предположение, что Гаврилов был тем не менее душою дела, что он приобретал людей и средства, для предприятия необходимые?

Разберем это.

В 1862 году некто Виттан, человек, рассчитывавший, наверное, получить место следователя, задался задачей, помимо административной и судебной власти, расследовать какое-нибудь знаменитое уголовное дело. По словам его, он на собственный счет содержал штат шпионов, при помощи которых все и всё были ему известны.

Благодаря своей энергии, он, как говорит, наконец, обогатился сведением, что в 1862 году Гаврилов задумал то преступление, за которое вы его ныне судите. Как подобает доброму гражданину, он доводит об этом до сведения властей. Дознание, однако, ничем не кончилось, — не подтвердилось.

Но бесследно оно не пропало: тень брошена на Гаврилова, определенся и характер Виттана. Благодаря всему этому, если в будущем в доме Гаврилова нашли бы одну фальшивую монету, а у Виттана окажется их 500 штук, то и тогда не усомнятся, что Гаврилов — подделыватель, сбытчик, а у Виттана собрана целая коллекция, как улика против Гаврилова.

Этот Виттан, хотя бумага, поданная им губернатору, и изображает его преследователем зла, на практике, однако, играет в другую игру. Живя в Ростове-на Дону, он, по словам Гудкова и Зебе, приглашает их подделывать фальшивые деньги, находит лучшим самому испробовать то дело, которое он только что преследовал. Решиться страшно, но у него есть выход. Его не заподозрят, — ведь у него есть официальное заявление, что он преследует, а не совершает это зло.

Гудков соглашается. Он живет на квартире, за которую платит Виттан. Он платит и за Юрченко, — за другого подговоренного работника. Гудков утверждает, что при этом Виттан уже говорил о Гаврилове, как настоящем хозяине дела; значит, Гаврилов должен был тратить деньги и на содержание Гудкова с компанией.

Несмотря на то, что Гудков знает до мельчайших подробностей ход дела, он не указал, и следствие, по его словам, не обнаружило ни одной посылки денег к Виттану от Гаврилова за этот период времени.

В августе 1863 года Виттан, поддерживая мысль, что Гудков и Зебе приглашены Гавриловым, едет в Бахмут, в город, где живет Коротков, где фигурирует Спесивцев. Туда же еще прежде едут Гудков и Юрченко, сопровождаемые Спесивцевым. Они не едут прямо к Гаврилову, а ждут Виттана. Дождавшись, едут в Копанки и там останавливаются на постоялом дворе. Остановиться там было нетрудно, в глаза не кидалось: большая дорога, в селе — станция и большой постоялый двор, останавливайся, сколько душе угодно.

Что же делают они там?

Виттан утверждал, что он приторговывал аренду у Гаврилова. Это объяснение, поддерживаемое Гавриловым, оправдывается несколькими свидетельскими показаниями. Люди давали Виттану дроги ездить смотреть имение, слышали от него, что он взял Абазовку в аренду. Хотел ли в самом деле Виттан арендовать — это другой вопрос; но он приезжал говорить об аренде. Он и сам допускает, что аренда маскировала иную цель, — желание наблюдать за Гавриловым, а мы, изучив его деятельность ростовскую, можем допустить, что и здесь предполагалось второе упражнение в роли мнимого доносчика.

Предположить, что Виттан приезжал для преступных переговоров, — труднее. Виттан доносил на Гаврилова, Гаврилов мог знать это и, конечно, счел бы за ловушку союз со своим доносчиком. Если же Виттан приезжал для делового,

хозяйственного разговора, то не было причины бояться его, не принять его.

Преступный характер свидания Витана с Гавриловым предполагает Гудков. Подкрепляется его показание рассказом о его собственном свидании с Гавриловым. Если верить Гудкову, то Гаврилов, несмотря на то, что первый раз в жизни видел его и Юрченко у себя, фамильярно, как добрый знакомый, встретил их и прямо, вместо всякого приветствия, спросил их, хорошо ли они сумеют сделать 50-рублевые. В тот же день, продолжает Гудков, Гаврилов ходил с ними охотиться и вел переговоры, гуляя с ружьем по лесу, где бы выстроить тут дом для фабрикации.

Здесь много неестественного. Не говоря, что люди разного положения и развития вряд ли, если бы хотели, сумели в час знакомства сойтись, как свои, — неправдоподобно, чтобы, не узнав человека, так откровенно его спрашивали о щекотливом деле, об умении подделывать деньги: при самом ничтожном градусе осторожности человек не решится на это. Охота в лесу богатого помещика с ремесленниками, при понятиях того времени, показалась бы странной, загадочной выходкой. И думается мне, что ни этой охоты втроем, ни искания в лесу удобного места для постройки не было.

Сотоварищ мой по защите указал вам, что лес этот, имевший едва 150 десятин, окаймленный дорогами, насквозь был виден едущими мимо людьми. Тут хорошо было бы какому-нибудь фарисею устроить молельню, чтобы всему свету видны были его добродетели, но здание для фальшивых денег выстроить, вероятно, не пришло бы в голову и самому недалекому человеку.

Отвратительно этой же охоты Гудков припомнил обстоятельство, по-видимому, маловажное, но убедительное. Он назвал ружье, которым охотился. Управляющий Гаврилова на очной ставке доказывал, что ружей в Копанках даже не держали, а держали их в Бахмуте. Но Гудков настаивал, твердостью подкупая слушателя, подробностью описания орудия, убеждая в своей правоте.

Загадка разрешается легко: никто не отвергает, что Гудков жил у Гаврилова в бахмутском доме. Там ему было время ознакомиться с коллекцией ружей Гаврилова. А разузнаешь их устройство, ничего не стоит воображением перенести их куда угодно.

Сотоварищ мой уже обратил ваше внимание на странное совпадение отъезда Гудкова и Юрченко от Гаврилова тогда, когда машины прибыли из Одессы. Тут-то бы Гаври-

лову, если он приобрел машины, держать рабочих, а вышло наоборот. Гудков уехал в Харьков и Воронеж, знаменуя этим, что он жил у Гаврилова, пока ему негде было жить, нечего делать, и уехал тогда от него, когда ему приготовили работу приобретатели машин в Одессе.

В то время, когда Гудков живет у Гаврилова, в Одессу посылаются деньги. Посылку приписывают Гаврилову, а назначением денег считают покупку машин.

Защита, обращая внимание на это, не может не указать вам на факты следующего рода.

Виттан доносит на Гаврилова, однако и приглашает к себе подделывателей, их везет в Копанки, их устраивает у Гаврилова, и пока они там или, лучше, пока нет машин, оставляет их там. Спесивцев с Коротковым, несомненным участником его в деле, едут в Харьков, а оттуда с Виттаном отправляются в Одессу, где к ним присоединяется Масленников, отправляются для приобретения машин.

В покупке машин предполагается решительное участие Гаврилова, выразившееся ссудой капитала. Но это предположение встречает отпор вот в чем.

Машины, по словам Масленникова и свидетеля, — продавца-литографа, куплены в конце 1863 года. Между тем деньги, приписываемые Гаврилову, отсылались в 1864 году, начиная с 19 марта, кончая первыми числами апреля, как об этом свидетельствуют почтовые сведения.

Оговорщики, приписывая покупку машин на средства Гаврилова, сами же утверждают, что на покупку дано Коротковым 2000 руб. (слова Гудкова), Солнцевым — 1000 руб., Щипчинским — 500 руб., денег этих совершенно достаточно, ибо машины, которые мы видели, будучи подержанными, не стоят более 1000 или 1500 руб. Куда же и зачем было требовать 500 руб. от Беклемишева, брат 3000 руб. от Гаврилова (Гудков говорит, что 3000 руб. Гаврилов дал Виттану в Харькове) и еще от него же получить в Одессе в 1864 году до 2000 руб.?

Четыре посылки денег в Одессу приписывают Гаврилову. Почтовые сведения говорят, что три посылки шли от Рощина (принятое Гудковым имя). Но что нужды? Гудков говорит, что это посылки Гаврилова. Слова Гудкова подтверждает четвертая посылка: она подана Носовым от имени Гаврилова. Таким образом, заключает обвинитель, хотя три раза Гаврилов скрытничал, но в четвертый раз назвался своим именем и обнаружил свое участие.

Но вывод, сделанный прокурором, непоследователен.

Если Гаврилов находил нужным скрывать посылку от

своего имени денег, то зачем же он в четвертый раз отступил от плана? Если же посылка денег в Одессу не была опасна, так что Гаврилов мог послать от своего имени, то нет разумной причины для первых посылок пользоваться чужим именем.

Не вернее ли будет, что Гудков пересылал под именем, которое он сам себе приписывает, деньги?

Где он брал их? Я сближаю в вашей памяти два факта: Коротков, участник в деле, жил в Бахмуте в это время, Коротков дал на дело 2000 руб., и к этой сумме приближается итог посылок в Одессу. Оставалось, для безопасности, отклонить подозрение от себя. Гаврилов, по плану Виттана, был таким человеком. Деньги посылаются через Носова, близкого Гаврилову человека, бывшего его крепостного. К этому человеку Коротков вхож, и ему легко было воспользоваться услугой Носова, сказав ему, что «твой барин велел услать этот пакет». В почтамте же не могло возникнуть затруднения, — там не проверяют личности отправителя, а только получателя. Машины куплены и отправлены на имя Носова, того самого Носова, который посылал сомнительную гавриловскую денежную посылку. На перепутьи машины побывали в Копанках. Здесь их не прятали, не скрывали. Они открыто стояли на возах. Не видать никаких мер предосторожности, которые бы принимал Гаврилов и которые давали бы нам право заключать, что Гаврилов знал назначение вещей и опасался чужого любопытства. Из Копанок машины едут в Бахмут. Кто и где хранил их в Бахмуте, это не относится до Гаврилова, и мы займемся теперь одновременно с путешествием машин историей сближения и тех переговоров участников варваровского учреждения, которые в это время начались и деятельно велись между членами товарищества.

Гудков, как вы знаете, уехал от Гаврилова, когда прибыли машины; несколько времени он прожил у матери в Воронеже. Наступило время действия, и его вызвали. Он говорит, что вызвали его телеграммой и неподписанным письмом, присланным ему Гавриловым.

Письма этого нет, как вообще многих важных документов, известных дословно Гудкову, но почему-то не сохранившихся. Остановимся на телеграмме.

Она Гавриловым не подписана, однако настаивают, что она — его. Эксперты видят в ней сходство с рукой Гаврилова, но при этом заявляют и о намеренном искажении руки и сходстве ее также с рукой Милевского.

Значение экспертизы учителей чистописания вам объ-



яснил прокурор. Я присоединяюсь к этому мнению. Тем более оснований не доверять экспертизе, что их мнение о намеренном изменении руки не вяжется с обстоятельствами дела. Если Гаврилов хотел скрыть свое участие, то при близости его с домом Милевского он мог просить написать ее кого-нибудь из этого дома. Содержание телеграммы обыденно и просто, и бояться было нечего. Телеграмма подписана «Херсонским». Имя это, по свидетельству оговорщиков, носил Виттан. Значит, она ему и принадлежала.

Но обвинению необходимо доказывать, что сзывал людей в Харьков Гаврилов, и оно допускает произвольно, что на этот раз именем Херсонского подписался Гаврилов. Когда соберется много других данных против Гаврилова, обвинение не будет ему приписывать этой фамилии, но теперь, в этот момент, еще ничего нет против него, так отчего же не отнести к нему этой телеграммы.

Гудков приезжает в Харьков. Не застал Гаврилова и идет к Беклемишеву. Там было совещание. Я не стану на этом останавливаться: защита Беклемишева разберет, был ли Гудков у Беклемишева и было ли совещание. Отрицая то и другое, я попрошу вас припомнить несогласие Гудкова и Солнцева по этому обстоятельству и противоречие их в том, был ли Щипчинский при совещании.

Затем Гаврилов, принимающий в телеграммах чужое имя, не подписывающийся в письмах к Гудкову, везет Гудкова с собой до Бахмута, когда уже решено место и время подделки

Я эту поездку не отвергаю, но обращаю на нее внимание, как на довод за то, что Гаврилов оттого не опасался ехать по дороге, где его все знали, с Гудковым, что не знал ни затей, ни дела, на какое решился Гудков с товарищами.

Гудков в Ростове; он сманивает Зебе — другого оговорщика; Зебе от Гаврилова не получал приглашения, но приглашен его именем. Чтобы уехать, надо предлог; придумано написать письмо на немецком языке от родителей и прислать его к Зебе: он покажет хозяину и уедет. Пишут письмо и отсылают его с эстафетой Гаврилову, чтобы он переписал его и прислал от имени родителей Зебе.

Письмо, говорят, было прислано. Но опять-таки нет его в наличности, и мы не можем судить о достоверности рассказа, что его писал Гаврилов.

Что же касается денег, то указывают на то, что 300 руб. присланы; а что присылка эта имела соотношение с приглашением Зебе, ссылаются на телеграмму, которую Гудков писал Гаврилову: «Товар куплен, недостает 300 руб.».

Телеграмма эта в переводе, сделанном Гудковым, значит: Зебе согласился на наем, нужно 300 руб.

Все это объяснено, но не обращено внимания вот на что: телеграмма послана 2 февраля 1865 г., а деньги, посылку которых не отвергает Гаврилов, объясняя ее поручением Гудкову купить железа в Ростове, — отправлены 30 января. Допустив связь телеграммы и посылки денег, приходится сказать, что бывают иногда следствия прежде причин; но с этим согласиться трудно.

Этим исчерпывается все, чем обвинение располагает по вопросу о приготовлении Гавриловым средств и людей для дела.

Самое дело не удалось, — серии вышли плохи; компания распалась, развела другие преступления, и люди рассеялись.

Какими данными запаслось следствие по участию Гаврилова в этом периоде дела? Об этом мы будем говорить после небольшого перерыва времени, о чем я прошу господина председателя.

*Объявлен перерыв на полчаса.*

*По возобновлении заседания защитник продолжал.*

В привозе машин в Копанки, увозе в Варваровку и в обратном доставлении из Варваровки в Копанки, после неудачной подделки, господин прокурор находит наибольший запас данных против Гаврилова.

Не могу согласиться, чтобы и тут не было натянутых и поверхностных выводов.

Да, машины останавливались в Копанках, но без всякой опаски и таинственности. Так не поступил бы Гаврилов, если бы знал, что это за вещи и зачем их везут.

Вещи эти, даже без участия Гаврилова, отправлял управляющий Богданович, он же принимал их и выдавал билеты в принятии извозчикам. При второй отправке вещей в Копанки, уже из Варваровки, они шли с письмом Щипчинского, просившего дать ему возможность перегрузить их в Копанках; принимая их, Гаврилов открыто выдал квитанцию в приеме.

Если бы Гаврилов знал, что делается в Варваровке, если бы он был руководителем, он бы лучше других имел сведения, что компания распалась, что ходит слух о подделке, и самое главное, не распорядился бы в своем имении складывать улики преступления. Так всегда поступают действительно виновные. Вот, Солнцев, участник дела, когда к нему попала часть машин, поспешил скорее отделаться и ускакал их туда же, в Копанки...

Когда правосудие обнаруживает преступление, страх и чувство самосохранения дают известный характер жизни и поступкам участников злого дела. Нет таких личностей, которым бы не изменило тогда спокойствие духа.

И в настоящем деле случилось то же. Скрылся из Варваровки Щипчинский, скрылись Зебе, Гудков и проч.; один Гаврилов остается спокоен. На пути к побегу Щипчинский заезжает к нему, но и такой случай не нарушает обычного порядка жизни подсудимого. Свидетель Деревянников, живший в это время у Гаврилова, не замечает ни волнения, ни беспокойства, ни секретных переговоров Гаврилова с Щипчинским. Щипчинского берут, Солнцева арестовывают — значит, будет раскрыто все дело; но Гаврилов и тогда остается у себя в имении, так же в имении, как и до ареста этих личностей. Не изменился он и тогда, когда Солнцев делает признание и оговоры. Действительно, прошло несколько времени, и Солнцев снял с Гаврилова обвинение.

Вот те выдающиеся факты настоящего дела и те выводы, которые, вытекая из сопоставления известных нам обстоятельств дела, говорят в пользу подсудимого.

Кроме фактов внешних, задаваясь вопросом, совершил ли подсудимый то деяние, которое ему приписывают, — необходимо обратить внимание на внутреннюю сторону, на нравственные качества обвиняемого, надо посмотреть, насколько способен подсудимый к тому делу, о котором идет речь.

Прокуратура предвидела, что мы обратимся к этой стороне дела, и на этот раз не ошиблась; но она назвала этот материал ненадежным, назвала его «областью предположений» в противоположность «фактической почве», на которой она исключительно остановилась.

Против этого я спору со всею силою убеждения.

Внутренний мир человека — это такой же факт, как и внешние деяния. Движение человеческой мысли и науки в области права шли именно к тому, чтобы в суждении о человеческих поступках давалось преобладание этому внутреннему миру.

20—30 лет честной безукоризненной жизни человека должны заставить задуматься, быть осторожнее к показаниям, которыми приписывается обвиняемому дело, настолько темное, что решиться на него можно было бы лишь при испорченности нрава. Как-то не вяжется одно с другим!

То же мы видим и здесь.

Прошлого Гаврилова более чем безупречно. Вам читали отзыв лиц, перед глазами которых проходила домашняя и

общественная жизнь подсудимого. Ответьте мне: Гаврилов, как его изображают отзывы, похож ли на Гаврилова, каким его изображает обвинение?

Впрочем, отзывов всех было подано до 50, а, по заявлению защиты, читалось их три-четыре; может быть, это — лучшие отзывы, а другие на них не похожи?

Совсем нет.

Отзывы одинаковы, я вам это сейчас докажу.

Кроме отзывов, читанных по нашему заявлению, читался один по выбору прокуратуры. Очевидно, что, преследуя цель, противоположную цели подсудимого, прокуратура взяла наиболее неблагоприятный отзыв. И что же? Отзыв Филимонова говорит то же самое. В нем только есть некоторые подробности, вызванные мирозерцанием автора. Так, автор лучшим качеством человека считает «привычку не беречь денег и держать их не запертыми» и хвалит за это Гаврилова.

Я не останавливаюсь на отзывах дворян и купцов, людей, равных с ним по богатству, равных по сословным преимуществам. Я обращаю внимание ваше на крестьянские отзывы. Крестьяне, не его крестьяне, а окрестные, заявляют, что не было лучшего посредника, не было добрее человека, чем он: он тратил свое, чтобы улучшить их быт. Он познакомил их с благом, им дарованным «положением», настолько осязательно, что, по его почину, они день 19 февраля, день свободы, ежегодно празднуют общественной молитвой.

И против этого человека, который, насколько мог, содействовал развитию и благосостоянию низшего сословия, теперь собрались улики, обвиняющие его в преступлении — подделке государственных бумаг, сбыт которых всегда рассчитывается на эту же массу простонародья.

Уликой против Гаврилова, уликой, образовавшейся после, но изменившей взгляд на все дело, считают «подкуп свидетелей и соучастников». Перейдем к этому и мы. На первых порах нас поражает масса противоречий и неправды, сказанных Гудковым и товарищами. Чуть ли не все начальство тюрьмы обвиняется им: и доктора, и фельдшера. На его показаниях основан вывод обвинения, что даже тюремный священник занимался не пастырской деятельностью, а переговорами и подкупом.

Но нам известно, что ни начальство, ни служащие при больнице в самом деле суду не преданы, ибо высшая, обвинительная камера не нашла возможным довериться показаниям, с полной верой принимаемым прокурором. Обвини-

тельная камера расходится и в другом с прокуратурой: иной, кроме пастырской деятельности, она не усмотрела в отношениях священника к подсудимым.

Что касается до Гудкова и Зебе, как лиц, оговаривавших Гаврилова и бравших назад оговоры, то прежде всего надо заметить, что тюремная жизнь давно сделала из поступков, им приписываемых, источник денежных выгод. Там нередко создаются оговоры, чтобы за снятие их взять выкуп, — и за правду, и за неправду. Когда сделан оговор и снят, и при снятии оговора играли роль деньги, то еще нельзя судить: оговор или снятие оговора ложны, и куплена правда или неправда. Вопрос разрешается иными обстоятельствами.

Подтверждают подкуп, указывая на то, что Гудков и Зебе жили роскошно в тюрьме, что жизнь их была так хороша, что и на воле лучше не бывает. Но нам известно, что, кроме Гудкова и Зебе, Виттан и Щипчинский были участниками дела: их слово могло быть не менее важно для Гаврилова, как слово Гудкова и Зебе, значит, и им бы следовало жить так же хорошо. Но ни они, никто другой не указывают на роскошь в жизни этих подсудимых. Между тем Гудков и Зебе все-таки раз оговорили Гаврилова, снятие оговора достоверными их еще не делало; тогда как Щипчинский и Виттан, и особенно первый, не меняя своих показаний, должны были показаться Гаврилову более надежными помощниками.

Но есть свидетели того, что Гудков жил хорошо. Где же средства? Средства эти ему давала должность арестантского старосты, должность прибыльная, если досталась ловкому человеку...

Гудков, настаивая на подкуп, говорит, что за снятие оговора назначено было 10 000 руб. Деньги не были отданы, а ограничились одним обещанием. «Я верил его слову, — говорит Гудков, — я жил у Гаврилова прежде и знал его хорошо». Если Гудков, живя у Гаврилова, вынес впечатление, что последний настолько честный человек, что ему можно поверить на слово 10 000 руб., и если он ему после на слово поверил, то значит, что мнение Гудкова о Гаврилове осталось одинаковым, неизменным.

Но Гудков же говорит, что, однако, в бане, когда ему палач принес водки от имени Гаврилова, он не стал ее пить, потому что слышал кое-что о Спесивцеве и других. Если это правда, то значит Гудков уже не считал Гаврилова человеком хорошим и, следовательно, вряд ли на слово ему поверил бы 10 000 руб.; если же поверил на слово, то не значит ли это, что свидание в бане изобретено Гудковым и что вообще Гудков способен на изобретательность.

Более правдивый Зебе поддерживает оговор Гудкова, однако нигде не указывает на то, чтобы Гаврилов вел переговоры лично с ним: все делалось через Гудкова, значит, достоинство его показаний держится и падает вместе с достоинством показаний Гудкова, от которого он все слышал. Обвинение ссылается на записку, которой Гаврилов просил у сестры присылки 515 руб., как на несомненное вещественное доказательство подкупа. На что, мол, Гаврилову в остроге деньги?

Мы хорошо знаем происхождение этой записки. Когда она была писана Гавриловым сестре, она его спросила: не 15 ли рублей он просит? Она изумилась сумме 500 руб. Значит, Гаврилову в острог деньги не посылались, если требование 500 руб. изумило его сестру. А на 500 руб. подкупа нельзя было сделать, ведь, по показанию Гудкова и прочих, один он по 200—300 руб. проживал в месяц, да сверх того, жили роскошно друзья и подруги Гудкова.

Обвинение утверждает, что всех сериистов содержал Гаврилов через свою сестру Тимченкову; подтверждает это книжкой Тимченковой, где нашли расход в 20 руб. с пометкой «Сантор», «Санжер.»; утверждают, что это значит «Санторжецкому 20 руб.», а Санторжецкий — арестант, повар, который кормил подсудимых по делу серии. Но на самом деле никакого Санторжецкого в остроге не было, а был Свенторжецкий; в то же время на свете жил некто Санжеревский, хозяин бахмутской квартиры Гаврилова, которому, как он здесь показал, Тимченкова раз платила от 25 до 30 руб. за брата, когда он уже содержался в остроге. Платеж этот ему памятен, потому что она всего раз ему и заплатила. Тимченкова говорит, что этот платеж и был занесен в ее книжку.

Ей не верят. Но я думаю, что «Свенторжецкий» нельзя писать через «Санторжецкий» и что Тимченкова совершенно верно объявила, что эксперты совершенно неверно читали ее руку. Выводы прокурора уже и потому неверны, что на 20 руб. Свенторжецкий бы не прокормил целую семью преступников, а между тем в той же книжке нет других выдач на имя этого арестанта.

У Тимченковой в книжке нашли расход в 300 руб. и около него слово «Трущобы». Она объяснила, что купила роман Крестовского «Трущобы» и заплатила 6 руб., а рядом поставила 300 руб., истраченные на какой-то наряд. Обвинение не верит и, руководясь уроками Гудкова и Зебе, свободно истолковывающих телеграммы и письма, без их помощи на этот раз, решает, что «Трущобы 300 руб.», — это значит: «израсходовано на острог 300 руб.».

Опровергать можно выводы; но я не знаю, как и чем опровергать изобретения...

Найдены черновые бумаги, копии тех, которые поданы Коротковым, Гудковым и Зебе в уголовную палату. Нашли заметки и поправки, и опять заподозрили участие Гаврилова. Как еще не задавались вопросом: чьей рукой проведены на этих бумагах черточки и знаки препинания? Экспертиза, вероятно, и тут нашла бы сходство и изменение. Обращаю внимание ваше на то, что поправки относятся, большею частью, к тем местам бумаг, где указывают обстоятельства, не имеющие влияния на судьбу Гаврилова; обращаю ваше внимание на то, что нахождение этих бумаг у Гаврилова вовсе не странно. В остроге не всегда строги. Арестанты все знают друг про друга; и если один из арестантов подает бумагу, затрагивающую интересы другого, поверьте, этот другой узнает и, если бумага эта важна для него, открывает ему надежду на лучшее, он сумеет достать и ознакомиться с ней.

Прокурор обещал построить все обвинение не на оговорах, — он сам разделяет мнение, что оговорщик — свидетель недостоверный, — а на вещественных доказательствах. Но какие же это доказательства? Прощение Короткова, бумага Гудкова, непонятные телеграммы и несуществующая осторожная и доосторожная переписка. Они ничего не объясняют. Сделались они материалом обвинения только тогда, когда тот же Гудков и компания дали им толкование и воспроизвели текст, как им было угодно.

Итак, что бы обвинитель ни говорил, а масса доказательств, им предложенных вам, и вся сильнейшая аргументация его — все это тяготеет к оговору, все держится смелою Гудкова, а по нем уже Зебе и прочими.

Но правосудие не должно быть безразлично к материалу, которым оно пользуется. Вы услышите от председателя, что закон обращает внимание на качество свидетелей и обязывает напомнить вам об этом. Закон дает возможность отводить от присяги людей, близких к потерпевшим от преступления, считая их недостоверными свидетелями. Еще менее достоверен тот, кто называет себя потерпевшим. Слово его, чтобы дать движение уголовному делу, о котором он свидетельствует, должно быть подтверждено другими. Еще более оснований не доверять подсудимым по тому же делу, когда они обвиняют друг друга. Соблазна много снять вину с себя, перенося ее на чужую голову или разделяя ее с

другими. В настоящем деле подсудимые обвинены, им назначены каторжные работы. Как ни дурны арестантские роты, но все же они — лучше каторги, и, желая отдалить от себя грозное наказание, не были ли Коротков и другие податливы на искушение ложными оговорами в подкупе замедлить свою отправку в места назначения...

Таковы оговорщики. Прокуратура поэтому сама чувствовала нетвердость основанного на их оговоре обвинения и искала опоры во внешних для дела данных. Предугадывая, что защите придется пользоваться вместо фактов посторонними обстоятельствами, что она будет ссылаться на жизнь подсудимых до обвинения, на их общественное положение, она, однако, сама прегрешила еще более нашего. Смелое, уверенное в своих силах обвинение — на материале, разъясняющем данный случай, составило бы свои выводы: мелочи и сторонние вопросы только тормозили бы ему путь, и оно отвергнуло бы их. Но не так бывает, не так случилось и здесь. Вас призвали, и вам сказано, что вы призваны судить Гаврилова и Беклемишева за подделку серий; но вместо этого здесь шло также следствие о смерти Спесивцева и Карпова. Опираясь на то, что повешенный Спесивцев найден с слабой петлей, что он повесился после того, как заявил желание сознаться; опираясь на то, что и Карпов оказался отравленным, когда собирался сознаться, хотя о сознании того и другого нет указаний, — намекают, что известная рука поработала над этими несчастными.

Но, господа присяжные, смерть того и другого были явны, и правосудие, однако, не заподозрило ни Гаврилова, ни Беклемишева. К чему же это делать? Если к тому, чтобы вы, подозревая насильственную смерть несчастных, тем с большим негодованием отнеслись к подсудимым, то это уже будет — не суд: обвинительный приговор будет не результатом исследования, а результатом искусственно возбужденного инстинкта мести против подсудимого. А приписывая смерть Спесивцева и Карпова чужой руке без всякого повода и основания, не наносим ли мы оскорбления и без того несчастным. Преступно против нравственного закона самоубийство, но к нему прибегали нередко те лица, которые, хотя и впали в преступление, совершили какое-либо страшное зло, но совесть у которых еще не потеряна и мучает, и терзает их. Потеряв свою честь, стыдясь показаться перед глазами света, тяготясь злом, ими совершенным, люди решаются покончить с собой. Их смерть — грех и несчастье,



но она же знак того, что они не равнодушны были к доброму и честному имени и, прегрешив против закона, много и тяжело страдали. Данных, которые дали бы нам право сказать, что Спесивцев и Карпов убиты чужою рукой, нет, и мы не смеем тревожить их могильного покоя, отнимая от них последнее доказательство их неполного нравственного падения.

Не знаю, убедило ли вас соображение прокурора о смерти Спесивцева и Карпова, но оно понравилось Короткову. Он заявил, что и его хотели отравить. Свидетель достоверный, отчего же и не поверить? Только свидетель этот, будучи осужден за подделку, внушает недоверие: он утверждает, что он невинно осужден и ничего не знает, но что тем не менее его подкупали и хотели отравить. Ничего-то не знающий человек чем мог быть опасен?..

Я забыл, исследуя возможность для Гаврилова того преступления, которое ему приписывают, обратить ваше внимание на побудительные причины к нему.

Специальная цель подделки — обогащение. Толчком может служить нужда, которая приводится Солнцевым, как причина, вовлекшая его в дело, которая видна и по отношению к Карпову и Щипчинскому.

Гаврилов и здесь был не в тех обстоятельствах: он был богат, у него, вы слышали, было более 10 тысяч десятин земли, незаложенной, свободной. На богатство его указывает и звание предводителя дворянства. Конечно, предводителем избирают иногда тороватых, которых не отличишь от богатых; но зато такие лица попадают нередко из предводителей в долговую. Гаврилов, неся обязанность, на него возложенную сословием, не разорился, не задолжал. Он потерял имение свое уже после, по иным несчастным обстоятельствам.

Мне заметят, что имение его было в споре. Но спор этот был только фиктивный. Завещание, по которому мать его думала завладеть имением, было написано с нарушением форм и, очевидно, было недействительно. Какое же побуждение было к подделке? Надо, чтобы между добром, которого ждут от преступления, и злом, в каком находятся до него, была бы ощутительная разница. Для бедных и запутанных в делах людей это побуждение очевидно, но надо было слишком много благ, слишком мало риску, чтобы с 30-тысячного годового дохода решиться на подделку бумаг.

Сотни лиц, против которых собирается гроза улик, по-

являются здесь, и многие из них, разрешенные приговором, уходят свободными. Закон преклоняется перед этим актом правосудия, потому что опыт времени научил его, что иногда и против неповинного лица слагается масса обвиняющих его обстоятельств.

Вам предстоит разрешение недоумения по настоящему делу. Много данных, много сил у обвинения — я не спорю; но нет недостатка на иные выводы и у подсудимого. Сообразите же все это, припомните, что те же улики и оговоры были уже в виду судов. Суды обвинили Гаврилова. Когда же дело дошло до верховного учреждения, до Государственного Совета, который по прежнему порядку мог являться и законодательным, и судебным учреждением, то у членов его, как у судей, явилось сомнение в силе улик, и они не взяли на свою судейскую совесть обвинения против моего клиента. А после этого разве открыто что-нибудь новое? Данные остались те же.

А подкуп? Но подкупом называется — если даже допустить, что сотоварищи по несчастью пользовались помощью Гаврилова, — подкупом называется дача средств под условием говорить неправду: «На тебе деньги, ступай, говори неправду». Кто же, кроме Гудкова, этого достовернейшего свидетеля обвинения, слышал, знал, беседовал и условливался с Гавриловым о подкупе? Не вернее ли, что на вопросы ревностной комиссии, которая принялась за дело горячо, арестанты показывали одно, а когда переведены были в тюрьму, отделались от ее влияния, то показывали то, что находили сообразным с делом. И так они продолжали до того времени, пока состоялся приговор; тогда же, чтобы избежать, отдалить наказание, они вернулись к старым оговорам.

Этому предположению дает подкрепление и тот факт, названный обвинением уликой, — факт, что из арестантских рот Гудков посылал к Гаврилову, прося у него 5 руб. Простая просьба, даже искренняя, прямо указывает, что, кроме просьбы, иного основания требовать с Гаврилова денег у Гудкова не было. А если верить Гудкову, то в это время наступал платеж 10 000 руб.; если бы это было так, то у Гудкова это выразилось бы в письме и ином, более решительном тоне.

Вот что дает нам настоящее дело. Многим располагает обвинение, но и подсудимому есть на что указать. Так много сомнительного, так недостоверны лица, которым верит

прокуратура, что обвинение становится вопросом. И, может быть, настоящие концы этого дела покоятся в той бумаге, которую в 1862 году Виттан подал властям. Может быть, это его усилиями, правда, не вполне удавшимися, правосудие сведено на ложный путь. Может быть, не лишено достоинства слово подсудимого, что он невинен.

Я не могу сказать ничего более: я — человек, сужу по-человечески, по внешним фактам, а душу его я не знаю.

Но и от меня, и от вас ничего более не потребуется, и вы должны постановить приговор по тем данным, которые вы изучили. Ваше убеждение должно создаться не беспричинно, а на основании того, что предложено вам обвинением и защитой. Если данные шатки, если показания не внушают доверия, следует вынести оправдание подсудимому. Это не моя просьба, это голос закона.

Председатель, отпуская вас в вашу совещательную комнату, ознакомит вас с требованием закона. Для меня важно только указать вам руководящие начала его.

Закон наш не жесток к подсудимому: он не забывает прав его и не лишает его средств оправдания. Закон не желает обвинения подсудимого во что бы то ни стало: им оставлена теория, требующая для страха подданных сильных и частых обвинений, — он хочет осуждения только тех, чья вина несомненна, всякие же сомнения он требует принять в пользу подсудимого. Закону важнее, чтобы суд был строг к доказательствам и не жесток к подсудимым. Закону одинаково дороги интересы как обвинения, так и оправдания. Никогда не принесет он основательности судебных решений в жертву минутному интересу обвинения того или другого лица.

Строгости в суждении — вот чего я прошу у вас, другой просьбы вы не услышите от меня. Я не подумаю настаивать на том, что годы страданий искупили вину: это будет уже просьба о пощаде, а пощады просят провинившиеся. Это будет уже просьба о милости; но защита, оставаясь верна долгу гражданина, не может вас просить о том, на что вы не имеете права. Вам не дано миловать, да нет и надобности настаивать на этом. Право миловать принадлежит иной, выше вас стоящей власти, перед которой еще не оставалась тщетной ни одна из просьб, отыскивающих милосердия.

Но тот же закон, который не дал вам права помилования, требует, чтобы осуждение произносилось только тогда, когда доказана основательность обвинения.

Теперь я окончу слово мое, и подсудимый останется один перед вами, томительно переживая минуты неведения, ожидая вашего слова.

Не будьте строги без пользы, не будьте жестоки!

Если то, что вы видели здесь, убедило вас, крепко убедило в его виновности, скажите: «Виновен».

Но если от вас требуют грозного приговора, не представив данных, которым бы вы могли верить без всякого сомнения, вы скажете, вы должны вынести — оправдание.

Судите же!

Молю Небо, чтобы приговор ваш, удовлетворяя высшим требованиям закона, в то же время был полон наитием того любвеобильного правосудия, сущность которого состоит в том, что, веруя в лучшие стороны нашей природы, суд до последней крайности, до последней возможности сомневается в человеческом падении.

Только этот взгляд истинен, только он верен, только в нем отражается возможно полно та небесная правда, которой жаждет человеческое сердце!

## ДЕЛО БРАТЬЕВ АЛЕКСАНДРА И ИВАНА ПОПОВЫХ,

*обвиняемых в мошенничестве*

В 1878 году в Москве купец А. Попов, учредив торговый дом под фирмой «А. Попов и К<sup>о</sup>», стал производить торговлю чаем в этикетках, сходных с этикетками известной уже в то время чайной фирмы «Братья К. и С. Поповы».

По ходатайству торгового дома «Братья К. и С. Поповы» департамент торговли и мануфактур разрешил ему употребление нового рисунка на этикетках. Тогда и «Торговый Дом А. Попов» соответственно изменил рисунки на своих этикетках.

После этого торговый дом «К. и С. Поповы» был превращен в товарищество чайной торговли «К. и С. Поповы» и, согласно новому названию, были изменены и этикетки. Братья А. и И. Поповы не замедлили внести в рисунки своих этикеток соответственное изменение.

Этикетки торгового дома и товарищества оказались настолько сходными, что чай «К. и С. Поповы» смешивались с чаями «А. и И. Поповы», и вследствие очень дурного качества последних установившаяся слава чайной фирмы «К. и С. Поповы» стала падать.

По указанию товарищества «К. и С. Поповы» было установлено, что чай торгового дома «А. и И. Поповы» готовится смешением настоящего чая с капорской травой, в доказательство чего было представлено письменное требование торгового дома «А. и И. Поповы» к М. Ботину о высылке значительного количества капорской травы.

Было, кроме того, установлено, что торговый дом «Братья А. и И. Поповы» производил торговлю и другими предметами, пользуясь для этого такими же средствами, как и при продаже чая, — придавая им внешнюю форму такого же фабриката одной из известных фирм.

Ввиду этого братья Александр и Иван Поповы и Матвей

Ботин были преданы московскому окружному суду с участием присяжных заседателей.

Заседание происходило с 4—7 мая 1888 г. Председательствовал товарищ председателя Лавров. Обвинял товарищ прокурора Горнштейн. Гражданский иск товарищества «К. и С. Поповы» поддерживал Ф. Н. Плевако. Защищали: братьев Александра и Ивана Поповых присяжные поверенные В. Высоцкий и Н. П. Карабчевский; Ботина — помощник присяжного поверенного В. Курлов.

Присяжные заседатели признали виновными Александра Попова и Матвея Ботина в приписывавшемся им преступлении, дав им обоим снисхождение. Иван Попов был признан невиновным. Окружной суд приговорил Александра Попова к лишению особенных прав и к ссылке на жительство в Томскую губернию; Матвея Ботина, ввиду признания присяжными заседателями размера выгоды им от преступного действия не превышающим 300 руб., — к заключению в тюрьме на 2 месяца.

### **Речь поверенного гражданского истца**

Товарищество «К. и С. Поповы», как вам известно, по почтенному прошлому и по личным достоинствам своего теперешнего состава, принадлежит к тем промышленным фирмам, которые делают честь торговому сословию своей страны.

Долговременный почет развивает в лицах, им пользующихся, — особенно, если этот почет заслужен, — тонкое понимание того интеллектуального блага, которое в добром имени и почете заключается. Для таких натур, — независимо от более осязаемых и всем понятных побуждений искать защиты своего нарушенного подрывом их торгового дела права, — для таких натур, говорю я, тяжело переносить упреки в нерадении и неохранении славы и чести, ими унаследованной.

И вот, когда на проверку оказывается, что упреки идут не без основания, опираются на факты, а между тем эти факты — плод грубого и злонамеренного подкопа со стороны неразборчивого торгашества, простительно и понятно стремление положить предел злу, понятно ополчение против недругов.

Но хотя мы теперь в положении боевом, хотя против нас готовятся удары сильные и, по всей вероятности, меткие, я хочу отступить от прививаемой боевой тактикой

привычки тянуть во что бы то ни стало в свою сторону, рассчитывая на подобный же прием и со стороны соперников и на то, что вы, судьи, восстановите истину, отсекая крайности наших мнений.

Более вдумчивое отношение к задачам сторон на суде убедило меня, что применять механический закон диагонали сил к живому делу правды не следует: две крайности не намечают верного пути, а дают двумя вероятностями больше, что исследователь попадает на путь недолжный.

Я хочу верить, что живое чувство справедливости может угадать и в одном робком голосе более правды, чем в десятках громких и ловких голосов, извращающих ее...

В настоящем деле, как и в большинстве дел, требующих вашего решения, собраны факты, значение которых не общепризнанно. Предстоит по отношению к ним выйти из состояния неизвестности и установить определенное мнение.

Но задача этим не кончается.

За внешними фактами — чаем, травой, ящиками, за их движением по направлению от складов, как за мускульными движениями ног человеческих, лежит вопрос о том, куда и зачем это движение предпринимается. Траву могли везти в склад по ошибке, и ошибка могла заключаться только в том, что ее мало привезли; от склада могли отвезти траву, как нежелательную, и могли отводить отвозом глаза менее подозрительной власти.

Этикетки, которыми А. и И. Поповы украшали свой чай, могли быть только подражанием малограмотного грамотному, могли быть случайным совпадением существенных букв — инициалов одного предприятия с не менее существенными инициалами имени другой фирмы...

Словом сказать, судебной власти удалось найти в помещении А. и И. Поповых, предназначенном для чайного дела, присутствие подмеси капорки. Сведущие люди установили, что этот сорт травы не имеет на рынке никакого употребления, ни к чему не пригоден и получает свое значение лишь в подпольных сферах промышленности. Кажется, достаточно твердо установлено и то, что Ботин и Хохлов ставили этот продукт именно этому торговому дому.

Я могу смело принять эти факты как непоколебимые. Будь сомнение в этих фактах, обвинителю и нам пришлось бы согласиться, что дело шатко. Фактическую почву надо устанавливать осторожно: фактические вопросы, это та область, где нет места догадкам, где каждый обвинительный штрих, как цена крови, должен быть куплен дорогой ценой.

Но раз факт установлен, то значение факта в общей экономике жизни данного лица мы можем устанавливать смелее: ведь закон, правосудие и суд имеют смысл и право на свое существование только потому, что в нашей жизни так много схожего, что по образу и подобию своей обычной, чаще всего случающейся нормы, мы можем без страха судить о других. Придумайте, поищите в вашей памяти схожие случаи: зачем честному торговцу в своем помещении иметь, зачем приобрести внушительную массу материала, из которого фабрикуется подделка того самого товара, которым он торгует?

Опыты? Но вы видели здесь, что для опытов достаточно щепотки травы. Мысль тем лучше сосредоточивается над вопросом, чем менее ненужного хлама окружает его оболочку...

Но всякий спор о причине нахождения капорской травы в складе А. и И. Поповых уничтожается, благодаря красноречивому комментарию, даваемому местом нахождения.

Стоит перейти из складов чая и капорки, и длинные переходы прямо вводят вас в особые отделения, где в миниатюре вся Европа имела своих неаккредитованных представителей: вот английское мятное масло, вот лаки, вот приютился оподельдок, вот и касторовое масло. Тут неведомо для себя работают иностранцы, работает даже прибывший с того света Алякритский.

Очевидно, мы присутствуем в лаборатории современного Фауста, заключившего союз с Мефистофелем...

Во всяком деловом отношении, в особенности промышленном столкновении, частные удобства и неудобства, слабые и сильные стороны правил и установлений, ограждающих отношения, сказываются во времени. Если мы хотим знать, в данном случае, что значит в торговле фирма и какое зло наносится воспроизведением и подражанием этикетке существующей давно фирмы, мы должны обратиться к опыту стран, где крупные торговые обороты ведутся веками, где и охрана интересов, и подкуп под них богаты многолетним опытом. Позвольте мне познакомить вас в этом отношении с богатой, глубокомысленной практикой французских судов. При заманчивости, какие имеют произведения известных фирм Франции для всемирного рынка, легкомыслие и злоумышление давно старались вводить в заблуждение публику и сбывать, вместо настоящих, фабрикованные продукты.

И вот как строго и справедливо отнеслись к подобным проделкам французские суды. Они признали, что сбыт то-



вара своего, не снискавшего к себе доверия на рынке, под чужим этикетом, есть деяние, равное мошенничеству и воровству.

Таким ложным знаменем они признали не только случаи полного воспроизведения чужого имени или знака, но и всякое внешнее действие, где имеется в виду недобросовестно ввести покупателя в обман, а себе приобрести незаконную выгоду. По мнению их, даже пользование своим именем, если при этом видно намерение не напоминать о себе, а рассчитывать на сходство своего имени с именем, приобретшим заслуженную репутацию, есть деяние наказуемое и наносящее ущерб чужому законному праву.

*Свой взгляд на вышеизложенное оратор иллюстрирует далее примерами из жизни известнейших французских фирм.*

Некто Bardou приобрел себе большую известность папиросной бумагой с клеймом J < > B. Подметив сходство знака < > с буквой O, публика стала называть бумагу JOB.

Другой торговец пустил в продажу свою бумагу также под маркой JOB и защищался против предъявленного к нему иска тем соображением, что название JOB получилось лишь благодаря заблуждению публики, марка же Bardou не JOB, а J < > B.

Но суд признал его подделывателем.

Тогда обвиняемый подыскивает себе компаньона по имени JOB и продолжает торговать под этой маркой, но новый вердикт приговаривает его к штрафу в 5000 франков одновременно и на будущее время по 100 франков за каждую открытую подделку.

Осуждая виновных, ввиду их недобросовестного образа действий и старания ввести суд в обман, суд заканчивает свой приговор словами: «Правосудие, охраняя честную и законную торговлю, не может не порицать тех средств, к каким прибегают некоторые торговцы с целью привлечь к себе покупателей».

Та же доктрина будет уместна и в тех случаях, где торговец рядом со своей фамилией ставит фамилию жены, тождественную с названием какой-либо громкой фирмы, если только суд из существа дела убедится, что смешение двух фирм было возможно. Самым простым примером может служить та обыкновенная мошенническая уловка, когда одну фамилию или слово пишут крошечными буквами, а другое рядом — крупными, чтобы оно бросалось в глаза. Так что весь вопрос будет заключаться не в праве, а в намерении, которое, бесспорно, подлежит неограниченному усмотрению судьи.

Другой пример.

В процессе Chartreus подделыватель настоящего ликера «Elixir de la Chartreuse» оправдывался тем, что он с помощью магнетизма проник в свойства монастырского ликера и фабрикует ликер совершенно с тем одинаковый и называть его иначе он не может, ибо это значило бы неправильно обозначить истинные его свойства; что открыл он торговлю в Chartreus; что он не называет свой продукт «Liqueurs de la Chartreuse ou de la grande Chartreuse», а — «Liqueurs, fabriquées à la Pierre de Chartreuse», где и основана фирма; что его этикет отличается двумя медалями и, наконец, что фамилия его там вся прописана.

Но уголовный трибунал нашел: 1) относительно права — закон должен быть толкуем в следующем смысле: преступление налицо во всех тех случаях, когда прибавка, убавление или какая бы то ни была порча могут иметь своим последствием смешение новых продуктов с прежде бывшими и составляющими частную собственность; 2) относительно факта, что, без сомнения, право на имя R. P. Chartreus не принадлежит безразлично каждому собственнику; что название, присвоенное ими ликеру и внесенное в реестр, составляет нечто отдельное от самого ликера; что, стало быть, никто, ни прямо, ни косвенно, права их в этом отношении нарушить не может; что никто не может ни делать, ни публиковать, ни писать что-либо, могущее вызвать смешение; что таково всегдашнее применение закона и что в данном случае и коммерческий суд, и Гренобльская палата, и исправительный суд в Лионе совершенно правильно поступили, признав, что совершенное тождество не необходимо: достаточно, если клеймо, печать, этикет или виньетка могут ввести публику в заблуждение, убыточное для собственника предмета...

Еще случай, хотя и грубой подделки: некто с целью воспользоваться фирмой Petit, пишет на вывеске au gagne petit («с малым барышом»), — но это «au gagne» можно открыть лишь при усиленно внимательном всматривании...

В этом отношении закон предоставляет судье полнейшую свободу оценки. Судья должен иметь в виду «намерение, с которым совершалось действие», — а это намерение раскрывается из той цели, которую преследовал виновник, — из результатов, к которым он стремился, и, наконец, из тех предосторожностей, которыми он обставлял свое дело и которые, как заметил один суд, нередко выдают обман старательностью скрыть его.

Не нужно, чтобы подделка была грубая или полная. До-

вольно, если можно смешать поддельное с настоящим и если это смешение старались создать.

Известна громкая репутация одеколона Jean Marie Farina. Один фабрикант принял фамилию Antoine Farina и считал себя в безопасности за разницей имени, но по жалобе Jean Marie был приговорен к тюрьме.

Еще резкий пример: Торговый Дом Veuve Cliquot et Pousardin de Rheims снискал большую известность своим шампанским. Некто Fisse подыскивает себе в Париже компаньона по имени Cliquot, в лице агента страхового общества, вступает с ним в мнимое товарищество под фирмой Cliquot et Co. Управление делами фирмы вручается приказчику Frantz в качестве простого вкладчика с правом сбывать застоявшиеся в их винных погребах вина (Fisse — тоже виноторговец) под громкой маркой... Cliquot продолжает служить агентом страхового общества.

Cliquot et Pousardin предъявляет к Fisse, Cliquot et Frantz иск о воспрещении последним продавать вино под маркой Cliquot. Реймский коммерческий суд не решается опорожить товарищеский договор и отказывает в иске. Но Парижский апелляционный суд уничтожает контракт ввиду того, что: 1) из представленных к делу документов, и в особенности из того обстоятельства, что Louis Cliquot не живет в Реймсе, где находится фирма, что он не коммерсант, что во время заключения компанейского договора он не мог внести капитал в коммерческое предприятие, и, наконец, из его положения в деле явствует, что A. Cliquot был приглашен в товарищество только ради своего имени и в надежде, что при помощи этого последнего новая фирма воспользуется кредитом, открытым дому Veuve Cliquot et Pousardin; точно так же очевидно, что лишь ради этого имя Cliquot фигурирует на пробках бутылок и помещено в названии новой фирмы; 2) такая мнимая спекуляция с вышеуказанной целью наносит ущерб интересам дома Cliquot et Pousardin и потому должна быть прекращена, и хотя Cliquot не лишен права пользоваться своим именем с торговыми целями, но он не может ссужать им других лиц и доставлять им с помощью обыкновенной уступки своего права коммерческий кредит, которым пользуется ныне фирма вдовы Cliquot.

Кассационная жалоба ответчиков была оставлена судом без последствий.

Такой же пример представляет процесс Mogaux, где точно так же суд удовлетворил требование истцов ввиду недобросовестности и обманного характера сделки.

Там, где суд видел перед собой серьезную ассоциацию,

он предоставлял компаньонам выбирать для фирмы любое из их имен, но под условием, чтобы такой выбор не служил скрытому желанию отбить покупателей у одноименного, но более старого торгового дома.

Так, в деле *Roederer et C<sup>o</sup>* суд предписал младшей фирме писать перед словом *Reoderer* имя *Theophile* буквами одной формы и одного размера с первым словом и прибавить еще таким же почерком: «*maison fondée en 1864*».

Итак, попытки подделки этикета преследуются, и суд в одном случае, констатируя факт, что лицо, чье имя пишется на вывеске новой фирмы, само в деле не участвует, капитал в него не вложило, а ведет свое особое комиссионерское дело где-то на юге Франции, заставил фирму вычеркнуть его наименование из этикета. В другом случае, где новая фирма располагала товарищем, имеющим общую фамилию с владельцем знаменитой фирмы и имя, начинающееся одной и той же буквой, заставил подробно обозначать, что эта фирма — новая и что ее глава есть младший представитель знаменитой фамилии.

И нельзя не приветствовать этих решений.

Если бы достаточно было исковеркать более или менее фамилию, чтобы очутиться вне запрещений, налагаемых законами, чтобы избежать всякого удовлетворения, всякой кары, то и закон стал бы вскоре мертвою буквой, а самая постыдная конкуренция не знала бы границ.

Суды не опасались нарушить волю закона, а в твердом намерении ее выполнить отсылали в тюрьму лиц, которые снабжали свои этикетки рисунками, похожими на употребляемые известными фирмами, или воспроизводили их вполне, кроме имени, заменяя его другим созвучным, например, вместо Александр — Алексапетр и т. п.

Я утверждаю, что и наш закон охраняет не этикет от буквального воспроизведения, а охраняет право от всякой недобросовестной подделки под него. Если преступно настроенная воля достигает своей цели менее утонченным способом, благодаря малограмотности страны, то и этот способ, как достаточный для злого умысла, должен быть достаточным и для кары его.

А Поповы, А. и И., это именно и делали. Под этикетками, схожими с фирмой К. и С. Поповых, они сбывали свой низкопробный и вредный чай.

Сбывая, они достигали разом двух целей.

Вы знаете, что чай капорский они мешали только в поддельную обертку, а под литерами А. и И. они сбывали чай, равный цене, а иногда и лучший, чем позволяла цена.

Маневр ясен. Этикет давал подмеси сбыт и барыш — сбытчику, а дурное свойство чая под этим этикетом роняло доверие к фирме, именем которой они злоупотребляли. А рядом с дурным чаем предлагался чай доброкачественный под настоящей оберткой А. и И., чтобы покупатель знал, что на смену дискредитированной фирмы появляется новая, хорошая фирма с доброкачественным чаем.

Неужели же это недостойно порицания?!

А если достойно порицания, то поверьте, что распространение вами на новые нежеланные явления карательных мер закона едва ли сочтется за нарушение границ, положенных законом.

Законодатель, помоществуемый вашей опытностью, видя ваши усилия в борьбе со злом в его новых путях, вместе с вами не позволит преступлению уходить безнаказанным только потому, что оно придумает для одной и той же цели, для одного и того же результата несколько видоизмененную форму...

От вас мы ожидаем, что вы не дадите злу пересилить правду и отстоите ее от хитроумных способов, на которые так изобретательна нажива...

## ДЕЛО ОБ ИСКУССТВЕННЫХ АВАРИЯХ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ

(Франческо и др.)

Керчь-Еникальский пролив был очень мелок и вследствие этого для прохода больших судов неудобен. Пароходы приходилось перегружать, но, несмотря на это, были частые случаи посадки пароходов на мель. Для устранения такого неудобства, вредно отражавшегося на интересах русской торговли, Керчь-Еникальский пролив в 1876 году был правительством значительно углублен путем устройства канала.

Преследуемая при этом правительством цель не была, однако, достигнута, так как аварии и посадки судов на мель продолжались и даже чаще, чем до устройства канала.

Последнее обстоятельство в связи с состоянием погоды, временем дня и при условии существования одной только конторы по спасанию и перегрузке больших английских судов навело следственную власть на мысль о существовании правильно организованной шайки, которая искусственно устраивала аварии с целью извлекать для себя доходы.

Следствием было установлено, что организатором и душой такой шайки был Александр Франческо, служивший вначале матросом на каботажных судах, затем кухарем и, наконец, цеховым лоцманом.

Еще до устройства канала Франческо обзавелся лодками для перегрузки судов и путем всяких операций приобрел значительные средства, что побудило его к расширению своих операций. С этой целью он привлек к делу лиц с видным общественным положением. В числе последних был и великобританский вице-консул Иосиф Колледж, наживший до занятия этой должности состояние на всяких темных делах. Участие Колледжа являлось особенно важным, так как все контракты по спасению и перегрузкам ставших на мель английских судов заключались в его конторе; этим,

между прочим, объясняется и то, что жертвой шайки были только английские суда.

Очень важным также являлось участие начальника лоцманского цеха А. Прасолова, по указаниям которого все члены цеха, узнавая из великобританского консульства об ожидаемых английских судах, переставляли бакены с таким расчетом, чтобы суда садились на мель; либо, будучи сами приглашены для проводки судна, сажали его на мель. Вызывавшиеся затем Франческо пароходы своими действиями умышленно увеличивали только аварию судна. Являлась необходимость заключать договор с Франческо о спасении судна, и для этого приходилось ездить в контору Колледжа.

Таким образом все действия шайки были сосредоточены в английском консульстве.

Так как для компании Франческо было чрезвычайно важно участие карантинного начальства, то к делу был также привлечен и помощник капитана над портом Михайлопуло.

Кроме всех этих лиц в состав компании вошли еще следующие лица: английский подданный Иван Подесто, греческий подданный Анастасий Мурато, купец Константин Зворано, приказчики Спиро, Кефала, Коруано, члены лоцманского цеха и др.

В отношении распределения прибылей между членами компании соблюдалась строгая последовательность, размер дивиденда каждого пайщика соответствовал положению его в деле: Франческо и Колледж получали более всех, менее их получали Зворано и Коруано, Мурато же, Падесто и Кефало получали только жалованье.

Совокупность всех данных, добытых следствием, привела к следующим выводам:

1) что в конце 1870-х и в начале 80-х годов в Керчи возникло преступное сообщество, имеющее целью путем умышленной посадки на мель в канале и в проливе английских судов и создания искусственных, ложных аварий достигнуть материальных выгод;

2) что во главе этого сообщества стояли, в качестве начальных его составителей, купец А. Франческо и скрывшийся великобританский подданный И. Колледж, которые руководили действиями остальных членов шайки и распоряжались теми операциями ее, ради которых она была составлена;

3) что членами этого сообщества были: купец Константин Зворано, греческие подданные Спиро, Кефала и

Анастасий Мурато и великобританский подданный И. Подеста;

4) что помощник капитана над Керченским портом, коллежский ассессор Михайлопуло и бывший начальник Керчь-Еникальского лоцманского цеха Прасолов, зная о существовании вышеупомянутого сообщества и его преступных целях, доставляли ему средства к достижению этих целей, смотря по обстоятельствам, бездействием или превышением власти;

5) что все цеховые лоцманы еникальского цеха, зная о существовании сообщества и его целях, также оказывали ему непосредственное содействие, выразившееся в том, что за получаемое от шайки вознаграждение они умышленно сажали на мель поручаемые их управлению английские суда и переставляли входные на канале бакены с целью посадки тех судов, шкипера коих принимали сами на себя управление ими во время следования по каналу, и

6) что некоторые, не привлеченные к настоящему делу шкипера английских судов, также принимали участие в деятельности шайки, умышленно сажая на мель и заграждения в канале и проливе вверенные их управлению суда за получаемое от членов шайки вознаграждение.

Следствие изложенного обвиняются:

1) Керченский 2-й гильдии купец А. И. Франческо, 42-х лет, в том, что в конце 1879 или в начале 1880 гг. в г. Керчи, совместно с другими лицами, составил преступное сообщество или шайку, с целью повреждения, путем умышленной посадки на мель в Керчь-Еникальском канале и проливе иностранных судов, для извлечения из сих умышленных аварий противозаконных выгод, посредством спасения тех судов и их грузов.

2) Керченский 2-й гильдии купец К. Зворано, 50 лет, греческий подданный С. Кефала, 32-х лет, и А. Мурато, 33-х лет, и английский подданный Подесто, 58 лет, — в том, что в конце 1879 или в начале 1880 гг. вступили с корыстной целью в составившееся в Керчи упомянутое выше преступное сообщество или шайку, зная о его целях и в качестве членов таковой содействовали достижению этих целей.

3) Помощник капитана над керченским портом коллежский ассессор К. Михайлопуло, 70 лет, и бывший начальник еникальского лоцманского цеха, капитан 2-го разряда А. Прасолов, 57 лет, в том, что тогда же и там же, зная о существовании вышеуказанной шайки и ее целях, не только не противодействовали достижению этих целей, но вопреки



своим служебным обязанностям, из корыстных или иных личных видов, доставляли ей средства для совершения предположенных ею преступлений: Михайлопуло — тем, что допускал членов шайки в допросное отделение керченского карантинного для свидания со шкиперами прибывавших в Керченский порт иностранных судов, а Прасолов — тем, что, зная о преступных деяниях подчиненных ему лоцманов еникальского цеха, не только не принимал никаких мер к прекращению их злоупотреблений, но явно им покровительствовал и даже исключал из цеха тех лоцманов, которые действовали не в интересах вышеуказанной шайки.

4) Тот же А. Прасолов еще и в том, что, состоя начальником Керчь-Еникальского лоцманского цеха, при определении на службу подчиненных ему лоцманов того цеха, требовал и получал с них незаконные поборы.

5) Лоцмана еникальского лоцманского цеха мещанина Атманаки, 42 лет, Богданов, 45, Барнасузов, 37, Влахов, 49, Вальянопуло, 37, Чуприн, 39, Ткаченко, 35, Кацадаки, 37, Атманаки, 56, Васильев, 33, Коцик, 45, Дракопуло, 43, Бехливанов, 52, Попов, 28, Ефимов, 42, Пекарников, 31, Костюков, 27, Манераки, 52, Туфекчи, 39, Метакса, 42, Кушнарев, 28, Анищук, 40, Панаиоти, 29, Врето, 59, Деспотули, 63, Кантаржи, 34, Бурилин, 39, Пиченевский, 34, Николаев, 57, Зак, 34, Радити, 27, Петров, 62, и сын губернского секретаря Виноградов, 45 лет, — в том, что, зная о существовании указанной выше шайки и ее целях, в качестве членов ее, из корыстных или иных личных видов, содействовали осуществлению предположенных ею злодеяний тем: а) что умышленно ставили на мель в канале проводимые ими английские суда и б) что перемещали поставленные по распоряжению надлежащей власти, для безопасности мореплавания, предостерегательные знаки, ограждавшие вход в Еникальский канал, с целью причинить крушение тем судам, которые решились бы следовать по тому каналу без их содействия.

б) Те же Франческо, Зворано, Подесто, Кефала и Мурато — в том, что, состоя членами описанной выше шайки и в видах более успешного достижения ею целей, посредством убеждений или подкупа, склоняли перечисленных в предыдущем пункте лоцманов еникальского цеха к перемещению поставленных по распоряжению надлежащей власти, для безопасности мореплавания, предостерегательных знаков, ограждавших вход в Еникальский канал, для крушения иностранных судов, следовавших по тому каналу.

7) Тот же Виноградов — в том, что, в качестве члена вы-

шеописанной шайки, в мае или июне 1881 года, приняв по званию лоцмана команду английского парохода «Сольвай» при следовании его через Еникальский канал, с целью создания аварии того парохода умышленно поставил его на мель.

8) Тот же И. Атманаки — в том, что, в качестве члена описанной выше шайки, в октябре 1881 года, приняв по званию цехового лоцмана команду английского парохода «Амбрук», при следовании его через Еникальский канал, с целью создания аварий того парохода умышленно управлял им так, что он неминуемо должен был стать на мель, причем намерение это не исполнил по обстоятельствам, от воли его не зависевшим.

9) Те же: А. Франческо, К. Зворано, И. Подесто, С. Кефала, А. Мурато — в том, что, состоя членами описанного выше преступного сообщества, в конце 1879 и в начале 1880 гг., в виде создания аварий, с корыстной целью, при посредстве и содействии других лиц по предварительному с ними соглашению, умышленно посадили на мель в Керчь-Еникальском канале и проливе английские пароходы «Сольвай», «Ашорук», «Стефанотис», «Трегена», «Ларполь», «Дора-Тулли», «Селинен», «Нора» и многие другие, каковые пароходы потерпели от этих умышленных посадок повреждения.

А посему все эти лица были преданы суду одесского окружного суда с участием присяжных заседателей.

Слушание дела началось в Одесском Окружном Суде под председательством товарища председателя П. А. Крижанского 10 декабря, а кончилось 20 декабря 1885 г.

Присяжные заседатели вынесли всем подсудимым оправдательный вердикт.

### Речь в защиту подсудимого Франческо

Господа присяжные заседатели!

Я попрошу у вас немного внимания: я буду говорить один только час и несколько минут и надеюсь, что за это время мне удастся передать вам всю сущность моих мыслей и чувств, вызванных во мне настоящим делом.

Все, что я скажу вам, вы, конечно, выслушаете с глубоким вниманием: я не сомневаюсь в этом потому, что это — ваш долг, долг, состоящий в том, чтобы прежде, чем произнести свой беспристрастный приговор, разделить свой слух поровну, отдав одну половину обвинению, а другую — защите.

Но чтобы исполнить свою задачу в возможно короткое время, я позволю себе поставить, выражаясь хорошо знакомыми нам терминами, так сказать, бакены и вежи, которые будут облегчать мне мой путь.

Я выскажу свой взгляд на обязанности защиты, взгляд, который будет моей отправной точкой.

Защитник не должен искать новых данных, не должен стараться выставлять перед вами дело в новом виде, и этим самым возбуждать в вас чувство недовольства. Защитник должен руководствоваться теми же нравственными убеждениями, какими руководствуетесь и вы.

И я, конечно, не буду проповедовать перед вами, что вольный грех не наказуем: вы не услышите от меня восхваления того, что по естественному чувству человека считается преступлением, беззаконием. Я не предложу вам, чтобы вы своим приговором расчистили путь людям порочным и вредным для общества.

Я не хочу, чтобы ваш приговор шел вразрез с теми великими нравственными идеями, которыми вы руководствуетесь. Я хочу, чтобы вы беспристрастно высказали ваше мнение.

Но вы должны помнить, что от вас требуется мнение решительное. Если бы вы его писали, то я сказал бы, что концом вашего пера острее, чем мечом, вы касаетесь души человека.

Не могу скрыть от вас, что, когда я слушал здесь весь этот прошедший перед вами устный материал, я волновался.

Воспитанный в понятиях, что клятва перед Крестом и святым Евангелием — священна, я болел душой, видя все то, что здесь происходило.

Мы видели, как здесь отказывались от своих слов простые люди. Неужели же, думал я, русская земля так оскудела верой и доброй нравственностью, что даже простолюдин не считает преступлением нарушить клятву, данную перед Крестом и святым Евангелием?

Я понимаю, что мог найтись один, другой человек, не боящийся преступить клятву; но перед нами прошли не один, не два и не десять...

И вот я задумался.

Если поверить обвинению, которое утверждает, что все, что они говорили здесь, — лживо, то где же порука в том, что на предварительном следствии они говорили правду? Ведь здесь они клялись!

Страшно — верить здесь, а еще страшнее — там...

Все предварительное следствие есть материал, по которому мы можем судить, как чувствовали свидетели, когда их допрашивали.

Представьте себе, что в известном городе живут люди, из которых каждый занимается своей работой.

И вот возникает какое-то грандиозное, но еще таинственное дело, к которому привлекают без разбора, — берут и сильного, и слабого, и на весь город наводят и ужас, и страх.

Сегодня призвали Зворано в качестве свидетеля, а завтра он уже в тюрьме, как подсудимый, и есть опасение, что это может случиться со всяким.

Под влиянием страха нетрудно столкнуться с истиной даже людям обыкновенной порядочности...

Это первое.

Далее, мы должны рассмотреть, насколько бескорыстны были те побуждения, которые дали ход этому делу.

Я должен сказать прямо, что совершенно убежден в порядочности и бескорыстии следователя и чистоте его намерений и не хочу заподозрить ни на одну минуту.

Но нужно помнить, что едва ли лучи света, исходящего от истины, когда-либо доходят к нам в чистом виде: прежде чем прийти к нам, они проходят сквозь известную призму и преломляются в ней.

Итак, посмотрим, откуда началось это дело.

Мы видели здесь свидетеля Гунченко, который занимался негласным расследованием и добыл значительную часть материала.

Но кто такой этот Гунченко?

С одной стороны, он служил и старался угодить властям, рассчитывая, может быть, на похвалу и поощрение; с другой — хлопотал, и притом успешно, получить награду от заинтересованных страховых обществ.

Так в этом состоят его бескорыстные побуждения?!

Были тут еще и другие обстоятельства, которых не должно бы быть в видах открытия истины.

Еще при самом начале дела были допущены гражданские истцы. По закону, они должны быть допущены уже только на суде, когда закончено собирание материала; пока же еще не собран точный материал, гражданские истцы представляются орудием, опасным для правосудия.

Но тогда, во время возникновения настоящего дела, это еще не было разъяснено. И вот, благодаря, может быть, именно этим чисто личным и корыстным побуждениям, дело доходит до того, что судебную власть прямо дурачат, над нею прямо смеются.

Вспомните комическое положение, в которое поставил судебную власть умерший свидетель Муссури. Он сообщает массу данных, клонящихся к обвинению, следовательно с радостью сейчас же записывает. В его рассказе даже ни разу не встречается так часто упоминаемая в других показаниях фраза: «Нет, господин следователь, вы меня не так поняли».

Но вот он к своему рассказу прибавил еще какую-то греческую подпись, а следователь, не обратив на нее внимания, не потрудился даже перевести ее.

А между тем в этой фразе было отречение: Муссури подписал то, что показал в прошлом году!

Это, конечно, недосмотр. Может быть, следователь не знал греческого языка?

Нет, он знал греческий язык. Посмотрите, каким прекрасным русским языком записаны у него показания трех свидетелей, которые говорили здесь по-русски, как говорят попугаи, заучившие несколько слов...

Словом, материал, предоставленный нам предварительным следствием, это — какая-то разорванная и притом плохо написанная книга, читая которую, я никак не мог доискаться смысла...

Но как же было дело? Судебное решение — это не простое житейское решение: его нельзя отложить до тех пор, пока соберется более точный материал. Во что бы то ни стало его, это решение, надо высказать. И я думаю, что у нас найдется особенный материал, который не станет противоречить себе ни с присягой, ни без присяги, ни без Креста и Евангелия, ни перед Крестом и Евангелием.

Это — материал бесценный. В материале этом цифры и камни играют огромную роль, и свидетель, сказавший, что о злоупотреблениях в Керченском проливе «говорят не только люди, но и камни», сказал больше, чем думал сказать.

В Керчи издавна велась торговля с иностранными судами, но условия были неблагоприятны, пролив был слишком мелок, и нужны были лоцманы и перегрузчики.

Правительство принимает меры и углубляет канал.

Едва это совершилось, как оказало уже на все дело свое влияние: суда стали строиться больше и глубже сидящие, изменяется самая конструкция их и т. п.

Вследствие расширения торговли и перегрузка принимает формы обширного капиталистического производства, входит в свои права борьба за существование, причем сильный побеждает слабого. Мы можем не одобрять это явление с точки зрения нравственной, но должны признать его естественность.

И вот, едва успели прорыть канал, как основания для зависти и злобы уже налицо. Таков источник тех слухов и толков, которые послужили основанием для этого дела.

Но было и другое явление: здесь говорили много о том, что именно со времени прорытия канала начинаются учащенные посадки пароходов на мель. Это походит на то, как если бы сказали, что в городе, где нет никакой эпидемии, вдруг стал умирать народ.

Да, это странное явление! Но, может быть, вы припомните те неблагоприятные свойства канала, о которых говорили здесь свидетели, вспомните о ходатайствах Агищева и об исправлении канала.

Это уменьшает число необъяснимых посадок, но это еще не все объясняет. Тут есть еще остаток, который нужно исследовать, и только тогда, когда будет исследован последний остаток, можно будет сказать, что и самый предмет исследования — таков: в этом, кажется, метод позитивной науки.

Обратимся к статистическому методу.

Нам говорят, что с появлением на сцену следователя вдруг всякие посадки прекращаются. Но никто не представляет нам точных доказательств этого, а, напротив, мы видим, что аварии были и в 1883 и 1884 годах. Это раз. Уже, значит, нужно скинуть известное число из 52 случаев посадок.

Но из 52 случаев немало было и без аварий, — придется еще кое-что скинуть.

И вот уже в статистических данных мы видим не такое сильное колебание, как это кажется.

Далее: в прежнее время случаи перегрузки до входа в канал не считались авариями. Колледж дает закону новое толкование: авариями начинают считать перегрузки и в канале. Понятное дело, что некоторые капитаны, держащиеся старого взгляда, не могут сразу согласиться с новым, и вот именно этим объясняется показание Праута: Праут никак не хочет согласиться с этим толкованием.

Но как бы то ни было, а новый взгляд, высказанный английским вице-консулом и агентом «Ллойда» Колледжем, создал соблазн насчет страховых обществ. И вот мы видим, что в книгах страховых обществ там, где в сущности были перегрузки, говорится об авариях.

Вот и еще приходится кое-что скинуть с 52-х, и таким образом расчет товарища прокурора оказывается не совсем точным.

Предварительное следствие шло своим чередом, а слухи

в обществе — своим; а раз слышался слух, уже говорят, что что-нибудь да есть.

И вот в обыденных разговорах начинают говорить о какой-то шайке.

Но нужно различать шайку юридическую и шайку житейскую.

Возьмем такой пример: молодые люди подвыпили и безобразничают. Вон собралась их целая шайка. Это шайка — житейская.

Здесь было так. Были в Керчи прежде мелкие дела, теперь образовались крупные, явились предприниматели, которые стали, так сказать, командирами цен; как убитым конкурентам не назвать их «шайкой»? Ведь говорим же мы: «шайка капиталистов» или «железнодорожная шайка»?!

Нет ничего удивительного, что конкуренты предпочитают войти в союз, а раз вошли в союз, образуется стачка. Они понимали, что стоит им только соединиться, чтобы назначать за перегрузку цены, какие хотят.

Здесь говорили много о том, что была опасность для русской торговли. Не видно этого из дела! Капитаны платили, и все-таки пароходы продолжали проходить во множестве. Цены, действительно, были доведены до *maximum*'а и, несомненно, что это было злоупотребление с точки зрения нравов, но не с уголовной.

Переходим к положению дел в карантине.

Мы видим на каждом шагу, что человек самого демократического образа мыслей тем не менее принимает простого человека в передней, а даму — в гостиной...

Не то же ли самое было в карантине? Михайлопуло, как человек чиновный, с известными привычками, людей достаточных допускает туда, где сам проводит время, а более простых принимает в передней. Что здесь преступного?

Я не отрицаю, что здесь могла получиться для него выгода, но эта выгода всегда уже сама собою вытекала, и это совершенно понятно.

С чисто нравственной точки зрения это, конечно, несправедливо. Но представьте, что по одному и тому же делу и к одной и той же цели — один, достаточный, стремится по железной дороге, а другой, бедняк, — плетется пешком. Это сплошь и рядом бывает, и это тоже несправедливо, но не преступно, — это не запрещенное деяние.

Колледж в Керчи в особенном положении. Приезжает английский шкипер, который не говорит по-русски: естественно, что он идет к Колледжу.

Говорят, что шкиперов заставляли насильно принимать те или другие условия. Но неужели, если бы это было так, не нашелся бы между ними ни один, который огласил бы это?

Но такого не нашлось, однако. Надо предположить, что здесь не было того, что здесь называли разбойничеством, а была лишь простая торговля.

Допустим, что у Колледжа шли переговоры о посадке на мель. Но ведь на это бесчестное дело не всякий же согласится; нельзя же допустить, чтобы такое дело не всплыло наружу. Но ни один из шкиперов ни здесь, ни в своем отечестве не обмолвится об этом ни одним словом.

Что же это? Только догадка!

Немалую роль играло здесь и такое обстоятельство: для «шайки» и для товарищества внешние признаки существуют одни и те же. И вот мы под законную форму подводили все, что нам захотелось.

Уж если бы в самом деле это была шайка, то Франческо, конечно, согласился бы вступить в нее за большой куш. Что за расчет рисковать из-за пустяков?!

Между тем, из расчетных книг мы видим, что барыш у него оставался обыкновенный — какие-то рубли, а сотни остались там. Колледж брал себе львиную долю, а ему давал или очень мало, или расплачивался расписками, по которым он и поныне ничего не получил.

Нет, если бы это была шайка, то члены ее делились бы поровну. Если Колледж и шкипера понимали, что совершают преступление, то именно Франческо им вовсе не расчет было принимать в свое сообщество. Франческо живет в России, где действуют известные законы, он, конечно, потребовал бы от них в виде самосохранения, чтобы ему указали на какие-нибудь законные формы.

Нет, если у них была шайка, то они делили барыш между собой, а Франческо только уплачивали что следовало. Если это было злодеяние, то ведь злодеяние всегда ищет тайны. Сами они были гарантированы. Они совершили свое злодеяние в стране чужой, имея возможность всегда убежать, а Франческо был дома, над ним висели законы его страны, и вот этот самый Франческо вступит в такую «шайку» ради наименьшей доли, которая ему доставалась?

Если это была шайка, то не русская, а английская шайка. Не мое дело обвинять Колледжа и шкиперов. Но мы это допустим. Скажите же, разве кто-нибудь из свидетелей



присутствовал при том, как он входил в соглашение с этой «шайкой» или слышал его преступные разговоры с ними?

Нет, говорили только о торговых отношениях, о сближении. А когда нет неопровержимых данных, то нужно брать наиболее благоприятное объяснение. Этого требует голос справедливости. И вот оно.

В Керчи его видели с этими людьми, видели, что он идет с ними дела и, называя их «шайкой», называли так наравне с этим и тех, кто соприкасался с ними. Отсюда — заблуждение, в которое было введено общество.

Да зачем здесь говорить о шайке? Всякий интерес собирает людей без всякого соглашения.

Я приведу пример.

Не знаю, как здесь, а у нас в столице так водится. Где-нибудь в доме появится покойник, и вот пономарь идет к гробовщику и сообщает ему, что в таком-то доме нужен гроб, можно заработать, за что получит маленький доход. Тут не было никакого соглашения, а только общий интерес.

Контрабандисты продают товар на рынке — это преступление; а обыкновенные люди приходят покупать этот товар, потому что хотят купить подешевле. Они не соглашались и, конечно, не участвуют в преступлении.

Около бойкого места все ходят без всякого соглашения. Это может повести и к сообществу — могут явиться и преступные средства, но из этого не следует, что и в данном случае непременно было так.

Дело это блистает отсутствием надлежащих доказательств. Где эти все лоцмана и шкипера, участвовавшие в посадках, приведите их к нам, и они, может быть, докажут, что крушений не было.

Франческо обвиняется в привлечении к шайке и лоцманов. Но в таком случае зачем же он платил им по 100 руб.? Если он состоял с ними в сообществе, имеющем целью умышленную посадку, — зачем же он платил им за благополучный провод?

Да платил он потому, что был обыкновенный грузоотправитель.

Спрашивается, почему он платил сравнительно большую сумму — 100 руб.? Да очень просто. Его дела шли лучше, чем других, он получал больше и считал своим долгом платить больше.

Если бы допустить, что лоцманский цех подкупался, то плата была бы не 100 руб., а гораздо более: за такое пре-

ступление, как перенесение бакенов, это была бы ничтожная плата.

Тут следует остановиться и на этом обвинении — в перенесении бакенов.

Зачем, спрашивается, нужно было это перенесение? Ведь, по закону, без лоцмана нельзя провести судно. Но если подкуплен лоцманский цех, то вместо того, чтобы переносить бакены для пилотов, не лучше ли было бы наложить безусловный запрет на этих пилотов, так чтобы без лоцмана в самом деле не проводилось ни одно судно?

Говорят, что Франческо был душою дела. Это строго наказуемое данное, но решительно не обладающее какой бы то ни было ошутительной доказательностью.

Где то видимое помещение «души»? Покажите мне его! Ведь раз Франческо — душа дела, нужно, чтобы были ясны нити, связующие его с другими. Если бы было доказано, что лоцмана по вечерам ходили к нему, если бы было доказано, что лоцман после свидания с ним вдруг стал богат и пр., — ну, тогда была бы понятна связь между ними. Но ничего этого нет, и здесь все связано не духом Франческо, а духом подозрительности и предвзятости.

Надо отличать годный материал от негодного. Разве могут общие теории заменить точные доказательства? А нам вместо этих точных доказательств говорят о «пагубном влиянии на русскую торговлю».

Но дело в том, господа присяжные заседатели, что, принимая во внимание интересы торговли или не принимая, — все равно вы должны решить дело справедливо. При отправлении правосудия, при решении судьбы живого человека вы, конечно, не станете справляться, упадет ли или подыметесь завтра от вашего решения курс русской валюты...

Говорили о том, что за все заплатит русский мужик. Вникал я в дело и этого не видел: ничем это не доказано.

Потерпели английские страховые общества, но и они взяли назад свой иск, может быть, убедившись в его несправедливости, или, как говорили здесь, «не доверяя русскому правосудию».

Что за обида! Я не взошел бы на трибуну, если бы хоть на минуту разделил это мнение.

Если бы англичане считали своих шкиперов виновными, они преследовали бы их в своей стране, но те живут на свободе. За них же несут на своих плечах обвинение вот эти

люди. А что, если вы их обвините, и вдруг через 3—4 месяца англичане скажут, что Колледж невиновен!

Защита председательствует перед вами, господа присяжные заседатели, и надеется выйти победоносной.

Я, конечно, не смею утверждать, что в Керчи было царство добродетели. Я понимаю, что конкуренция там переходила границы нравственного, но она не переходила законных границ.

Быть может, все эти люди и знали, что там происходят противозаконные дела, но между ними не нашлось человека, столь мужественного, чтобы донести об этом.

Это все равно, как иной человек везет какой-нибудь преступный предмет, не зная, что это за предмет, и думает: «Ой, хороша ли моя кладь».

А все-таки везет!

Ведь он именно, а никто другой совершает преступление...

И разве вы его обвините?!

# ДЕЛО САВВЫ ИВАНОВИЧА МАМОНТОВА И ДРУГИХ,

*обвиняемых  
в злоупотреблениях в обществе  
Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги*

Дело это рассмотрено в заседаниях Московского окружного суда с участием присяжных заседателей 23—31 июля 1900 г. под председательством Н. В. Давыдова.

Суду преданы следующие лица: коммерции советник Савва Иванович Мамонтов, потомственный почетный гражданин Николай Иванович Мамонтов, поручик запаса гвардейской кавалерии Сергей Саввич Мамонтов, потомственный почетный гражданин Всеволод Саввич Мамонтов, дворянин Константин Дмитриевич Арцыбушев и потомственный почетный гражданин Михаил Федорович Кривошеин.

Обвиняли: товарищ прокурора палаты П. И. Курлов и товарищ прокурора суда В. В. Цубербиллер.

Представителями интересов гражданских истцов выступили: от Управления казенных железных дорог — присяжный поверенный М. П. Домерщиков и П. Е. Рейнбот и от В. В. Третьякова — В. В. Быховский.

Защищали: К. Д. Арцыбушева — Н. П. Карабчевский, М. Ф. Кривошеина — Н. П. Шубинский, С. С. и В. С. Мамонтовых — М. М. Багриновский, Н. И. Мамонтова — В. А. Маклаков и С. И. Мамонтова — Ф. Н. Плевако.

Центральной фигурой этого дела является С. И. Мамонтов.

С. И. Мамонтов, бесменно в течение 20-ти лет избираемый председателем Правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, состоял одновременно и главным пайщиком товарищества Невского механического завода, штат служащих в котором был заполнен его ставленниками.

Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги заказывало паровозы и другие части подвижного состава поездов на Невском заводе.

Таким образом, оба предприятия, и железнодорожное, и завод, находились в непосредственном заведывании С. И. Мамонтова.

В 1899 году, ввиду дошедших до министерства финансов слухов о крайне стесненном денежном положении Мамонтовых, министром было поручено чиновнику особых поручений Хитрово произвести ревизию в правлении акционерного общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги.

В это время, т. е. в 1899 году, общество получило право постройки рельсового пути от Вятки до С.-Петербурга и было накануне преобразования в грандиозное предприятие Северных железных дорог.

Ревизия Хитрово обнаружила крупные недочеты и злоупотребления. 30 июля 1899 г. старое правление вышло в отставку, а 31 июля во главе общества стало новое правление в составе председателя Хитрово и членов — присяжного поверенного Шайкевича и Грачева.

Новое правление, состоящее из упомянутых лиц, ознакомившись с делопроизводством, нашло, что прежнее правление, во главе с С. И. Мамонтовым, перевело из кассы железной дороги в кассу завода около 9 000 000 руб. под видом аванса под заказы, которые или были уже оплачены, или же не были даже предназначены к выполнению.

Получаемые авансы, составившие в итоге 9 000 000 руб., завод в свою очередь переводил Мамонтовым, которым постановлением правления общества был открыт кредит под пай завода по их номинальной стоимости, превышавшей действительную на 70 %.

Кроме того, новое правление обнаружило целую систему другого рода авансов — получение крупных сумм членами правления «под отчет», якобы «на нужды предприятия». Этими авансами прежнее правление пользовалось в таких громадных размерах, что размер растроченных С. И. Мамонтовым авансов этой категории достиг 750 000 руб., а Кривошеинным — 150 000 руб..

Кроме того, С. И. Мамонтов обвинялся в растрате ренты на 400 000 руб., отданной ему В. В. Третьяковым по договору для взноса залогов по контрактам с казной.

Предварительное следствие подтвердило фактические данные этих злоупотреблений, в результате чего московскому окружному суду с участием присяжных заседателей преданы были:

1) Савва, Николай и Всеволод Мамонтовы и Арцыбушев по обвинению в том, что, состоя: С. Мамонтов — пред-

седателем правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, Н. Мамонтов и Арцыбушев — директорами того же правления, а В. Мамонтов — с 1896 года исправляя должность директора сего правления, сознательно нарушая доверие означенного общества, в течение нескольких лет, до первой половины 1899 г. включительно, из принадлежавших обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги сумм передали товариществу Невского завода под видом выдач вперед под заказы, сделанные заводу железной дорогой, в действительности полностью уже оплаченные, несколько миллионов рублей, причем 20 июля 1898 г. часть образовавшегося таким образом долга товарищества Невского завода обществу железной дороги в размере свыше 6 000 000 руб. перевели на С. и Н. Мамонтовых, для чего открыли им у общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги многомиллионный кредит, в обеспечение которого приняли от них по нарицательной стоимости на 6 000 000 руб. не имевшие этой ценности паи товарищества Невского завода и всем тем причинили обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги убыток свыше трехсот рублей.

2) Сергей Мамонтов — в том, что, исправляя с 1895 года должность директора правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, вместе с другими лицами сознательно нарушая доверие означенного общества в течение нескольких лет, до первой половины 1899 года включительно, из принадлежавших обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги капиталов передал товариществу Невского завода под видом выдач вперед под заказы, данные заводу железной дорогой, в действительности полностью уже оплаченные, несколько миллионов рублей, чем и причинил обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги убыток на сумму свыше трехсот рублей.

3) Савва Мамонтов — в том, что, состоя председателем правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, в нарушение доверия акционеров этого общества, пользуясь своим служебным в нем положением, в 1898 и 1899 годах под предлогом производства расходов на нужды названного общества, получил из кассы правления общества 763 000 руб. и из кассы состоявшего при правлении коммерческого отдела 40 000 руб., и деньги эти в сумме свыше трехсот рублей самовольно израсходовал на свои личные надобности.

4) Кривошеин — в том, что, занимая при правлении общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги должность начальника коммерческого отдела, в 1897 и 1898 годах, имея в своем распоряжении для расходов на нужды означенного общества его деньги в размере 370 000 руб., часть их на сумму свыше трехсот рублей по назначению не употребил, а самовольно обратил в свою пользу и израсходовал на свои личные надобности.

5) Савва, Н. и В. Мамонтовы и Арцыбушев — в том, что, состоя первый — председателем, а последние — директорами правления общества Московско-Ярославской железной дороги, сознательно нарушая доверие акционеров этого общества, из капиталов его, без всякой в интересах общества надобности, под предлогом производства расходов на его нужды, в течение нескольких лет по 25 июля 1897 г. выдавали значительные суммы не находившемуся на службе общества коллежскому регистратору Игнатьеву, чем причинили обществу убыток в размере свыше трехсот рублей.

6) Арцыбушев, Н., Сергей и В. Мамонтовы — в том, что первые двое, состоя директорами правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, а последние, исправляя эту должность, в нарушение доверия акционеров названного общества, умышленно, под предлогом производства расходов на нужды общества, из средств его в 1898 и 1899 годах выдали денежные суммы председателю правления С. Мамонтову и тем, ввиду невозвращения С. Мамонтовым этих денег, причинили обществу убыток на сумму свыше трехсот рублей.

7) Савва, Н., В. Мамонтовы и Арцыбушев — в том, что, состоя на должностях, первый — председателя, а последние — директоров правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, в нарушение доверия акционеров, не установив должного порядка отчетности в состоявшем при правлении коммерческом отделе, без всякой в интересах общества надобности, из средств его, в 1897 и 1898 годах, выдали начальнику означенного отдела Кривошеину для расходов на нужды общества денежные суммы и тем, ввиду невозвращения их Кривошеиным, причинили обществу убыток на сумму свыше трехсот рублей.

8) Арцыбушев — в том, что, состоя директором правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, в силу предоставленной ему доверием общества власти, в нарушение этого доверия, воспользовался уплатой за его счет подведомственным ему коммерческим от-

делом 35 000 руб. и денег этих по принадлежности не возвратил, чем причинил обществу убыток на сумму свыше трехсот рублей.

9) Савва Мамонтов — в том, что, получив от дворянина Владимира Владимировича Третьякова, по заключенному с ним 21 декабря 1896 г. нотариальному договору, срок действия которого был по нотариальному же договору продолжен по 23 декабря 1899 г., принадлежавшие Третьякову 80 свидетельств государственной четырехпроцентной ренты, на 5000 руб. каждая, за № 251—302 серии 183 и за № 1323—1350 серии 182, всего на сумму 400 000 руб. с правом пользоваться этими ценностями исключительно для взноса их в правительственные учреждения залогом по контрактам с казной, в том же 1896 году самовольно обратил эти процентные бумаги в свою собственность и израсходовал на свои личные надобности.

Все эти преступления предусмотрены в отношении С. И., В. С. и С. С. Мамонтовых и Арцыбушева — ст. 1198 Уложения о наказаниях, кроме того, в отношении С. И. Мамонтова — ст.ст. 1199, 1681 Уложения о наказаниях, а в отношении Кривошеина — ст. 1681 Уложения о наказаниях.

На все вопросы о фактах совершения преступлений присяжные заседатели вынесли утвердительный ответ. По вопросам о виновности — ответили отрицательно. Таким образом, все подсудимые были оправданы.

### Речь в защиту С. И. Мамонтова

Над семьею Мамонтовых оправдалось старое русское изречение: «От царской тюрьмы да от нищенской сумы не отрещивайся».

Все, казалось, сулило благополучие этой семье: и богатые средства, и воспитание в холе да в воле. Савву Ивановича Бог не обделил умом, душу вложил широкую, энергичную, отзывчивую, а что же мы видим?

Некогда — во всей Руси ведомое имя, а теперь — разорение, падение, осмеяние, обвинение, — вот удел главы семейства, печаль которого усугубляется тем, что, по его вине, здесь делят с ним его страшную судьбу его дети и, как сын, преданный ему брат.

В своевольном хищении миллионов обвиняют этого человека, но ведь хищение и присвоение оставляют следы: или прошлое его полно безумной роскоши, или настоящее — несправедливой корысти. А мы знаем, что никто, от об-



винения до самого злобно настроенного свидетеля, не указал на это.

Когда же, отыскивая присвоенное, судебная власть с быстротой, вызываемой важностью дела, вошла в его дом и стала искать незаконно награбленное богатство, она нашла 50 руб. в кармане, вышедший из употребления железнодорожный билет, стомарковую немецкую ассигнацию, да записку, где он, под влиянием надвигающейся грозы, говорит о чем-то страшном, к счастью, не сбывшемся в его намерениях.

Изучим эту трагическую историю, постараемся уразуметь начало и конец ее.

Фамилия Мамонтовых — старая купеческая фамилия, члены которой давно ведомы, как люди, умевшие жить и жить давать другим.

Савва Иванович — сын известного деятеля, сотоварища Чижова, Федора Васильевича, — человека не без следа, и славного следа, прожившего в мире: имя Чижова ведомо и в мире финансов, и в науке.

Савва Иванович был учеником и любимцем этого человека. От отца и Чижова он унаследовал, среди других добрых сторон своего духа, страстную любовь к Северу, к родному, позабытому, русскому Северу, и мечтой его было послужить этому краю, связать его путями с центром России, приблизить к московскому рынку бесполезно гибнущие богатства и оживить спящие силы далекого края.

Дело это уже осуществилось его отцом и Чижовым: уже коротенькая линия, вышедшая из Москвы и дошедшая до Сергиевой лавры, пробилась к Ростову, Ярославлю. Открывались далекие горизонты.

Но прежде, чем войти в дело, Савва Иванович, тогда еще полный юношеских сил, получает огненное крещение в деле железнодорожного хозяйства на юге России.

Надо было построить Донецкую дорогу. Русская финансовая власть устала от того способа созидания рельсовых путей, который практиковался дотоле. Свидетель Лосев заронил своим показанием, дышащим знанием, точностью и умелым обобщением фактов, в нашу память дорогие сведения об этом моменте деятельности Саввы Ивановича.

До той поры царил концессионный тип хозяйства, постройка с наибольшими воспособлениями из средств казны, при стремлении выполнить работу с наименьшим расходом, удовлетворить минимальные требования подряда. Это — то хозяйство, которое создало русских крезов — Мекков, Дервизов, Поляковых, — хозяйство, давшее возмож-

ность не только заправилам, но и их споспешникам возможность коротать свои дни в роскошных палаццо на набережной Невы, на Ривьере или близ ласкающих волн Средиземного моря.

Савва Иванович выполнил работу иным путем: руководимый уроками Чижова и заработав законную долю прибыли, похоронил удачным примером старое, нерусское хозяйство, заслужил восторженное одобрение от имущих власть и заботящихся об интересах страны; в своем первом самостоятельном деле он исполнял работу, одушевляясь не только величиной прибыли, но еще более того — значением данной ему работы, ее будущей судьбой.

Припомните слова свидетеля: он мог удовлетворить подряд, положить рельсы меньшего, более дешевого типа, но он верил в развитие движения на Дону и, не обязанный договором, ставил рельсы, которые вынесут большее движение, принесут пользу — тогда, когда его дело уже будет сдано и когда выгоды прочной постройки будут принадлежать не ему.

Отчетливость работы он предпочитал лишней выгоде.

Заручившись этим успехом, Савва Иванович принимает бразды правления на Ярославской дороге. Я сказал уже, что это был еще небольшой путь. И хозяйство велось на нем скромно, несмело. Считались только с наличным движением и бюджет составляли помножением копеечной выгоды от пассажирского билета на число богомольцев, выходявших за Крестовскую заставу. Мамонтов внес новый прием. Дорога должна оживить край, ширь ее будущих работ — в прямой зависимости от разветвлений, которыми она прорежет забытый север и привьет его к полносильному центру, к богатому югу, к столицам и к путям, связующим Русь с мировыми рынками. Дорога пробивается к Вологде, переносясь через широкую Волгу, соревнуясь с водным путем, устремляется с востока на Кострому, с запада на Рыбинск. Рисуется дальние планы... Белое море... Питер... Вятка...

И никто в это время не мешал Савве Ивановичу. Он стоял во главе дела, стоял бессменно, единогласно избираемый не кучкой подставных акционеров, артельщиков с чужими акциями, а получавший свое место и свою власть вольной волей крупнейших акционеров (мелких-то там и не было) — акционеров, ворочающих миллионами, совершеннолетних, не нуждающихся для накопления своих богатств ни в чьей опеке, не исключая опеки прокурорского надзора. Эти люди верили ему, верили в его планы, верили в его

звезду, видели в наличных фактах результаты своей веры: 150-рублевые акции в его руках росли в 200, 250 и 400-рублевые, ибо приносили удивительные, из года в год возрастающие дивиденды, прямо обусловленные ростом движения, ростом деятельности, не обслуживаемой, а вызванной к жизни стальными путями и призывным свистком паровоза.

И делается это дело, и достигаются эти успехи той особенностью природы Саввы Ивановича, которая позднее обусловила его несчастье.

Вы знаете, что он воспитан в школе широкой предпринимательской деятельности, но деятельности, прежде всего одухотворенной идеей общественной пользы, успеха и славы русского дела. Рядом с этим он человек общих идей, принципиальных вопросов, но не их детального выполнения.

Люди этого типа думают, что и окружающие одухотворены тем же духом и верят в тех, кто словом или делом разделяет их взгляды. Прибавьте к этому несомненную художественность натуры Саввы Ивановича: над холодным рассудком, над расчленяющим и сочетающим понятия разумом у него берет верх воображение, мечта и греза. Будущее у нас, обыкновенных людей, представляется в неясных образах, скорее в виде возможностей того или другого результата нашей преднамеренной деятельности, в виде удач или неудач задуманного... У него не так: задуманное силой воображения воплощается в ясный, неотличимый от действительности образ, мечта реализуется в осуществленное, победоносное, подавляющее жалкую действительность бытия... Ему странны, ему жалки те, кто так слепы, что не видят того, что стоит перед их очами... Сам он стоял бы в противоречии с самим собой, если бы отвернулся от этих образов в сторону трусливой наличности.

И вот человеку с этими задатками в себе, с успехом в законченном деле на Дону, с непрерывающим успехом в развитии Ярославской дороги, представился случай стать лицом к лицу с новым независимым предприятием — с Невским заводом.

Начало этого дела вы знаете. Закончив Донское дело с прибылями в несколько сот тысяч рублей, он, по совету сотрудника своего Титова, приобретает гибнущее дело Невского механического завода. На заводе этом изготовлялись паровозы и предметы оборудования движения на дорогах. Там же могли быть выполнены и работы по заказам министерства морского. К заводу в моменты падения про-

тягивались уже руки охотников покупать за бесценно гибнущие дела. Мамонтов увлекся мыслью оставить это дело в русских руках, вверил делу все свои средства и, веря делу, привлек туда капиталы самых близких его сердцу людей: родни и друзей своих.

Мы понимаем его веру и его замыслы. Паровозное дело в России — дело относительно новое. Тут мы — в зависимости от иностранного исполнителя заказа. Свидетели здесь вам говорили, что с иностранными заказами бывает то, что полтора года ждешь паровоза и в ожидании тормозишь движение. А ведь дорога без орудий движения — что тело Адама до одушевления его членов разумной душой. Как же не побороться за попытку создать тут же, в родной стране, бок о бок со своим детищем — Ярославской дорогой — свое дело и снять иго зависимости? Как допустить сюда хозяйничать неведомые, может быть, инородные силы, которые тут заведут колонию труда, ничего общего с нашими интересами не имеющую?..

А в заводе есть еще одна отрасль, послужить которой значит послужить уже не местному или частному интересу — торговому делу, а послужить интересу государственному: завод может исполнять заказы, обусловленные надобностью русского военного флота. Неужели же и это отдать в неведомые руки? Кто знает? Быть может, во всей своей яркости перед мечтательно настроенной душой Саввы Ивановича носились картины того времени, когда в ряду славных русских твердынь, защищающих отечество, будут мелькать и вышедшие из его мастерской миноносцы и суда, и послужат делу русской славы и русского интереса и в морях, и в океанах, и здесь в Европе, и там далеко, где в эти минуты льется русская кровь за дело мира и правды...

Он отдался новому делу. Он вручил его людям, в которых он верил и которым он должен был верить, когда они вводили свои приемы в порученное ими предприятие.

Первая польза, которую можно было ожидать от завода, — это была польза для вверенной Мамонтову дороги. Сам — хозяин завода и сам — хозяин Ярославской дороги, он надеялся, что его заводское дело снабдит железную дорогу своими работами, старательно исполненными и на более выгодных условиях.

И действительно, никто не упрекает даже первых работ, по первым заказам, в непригодности и браковке. Свидетели сказали, что была только одна неудовлетворительная сторона, это — несоответствие типа паровозов (по образцам южных дорог) потребностям северных дорог, работающих по

преимуществу дровами. А что касается до цены, то работы шли по ценам ниже того, во что они обходились заводу, чем открывался счет убытков, впоследствии разросшийся в громадную цифру.

Но с этими убытками можно было мириться; это были убытки борьбы за существование, борьбы, имеющей целью привлечь доверие к делу, которое считалось до перехода к настоящим владельцам за гибнувшее. Нужно было только обеспечить в будущем и прилив заказов и удовлетворительное выполнение их.

Но для этого недоставало оборотных средств. Савва Мамонтов решается поддержать дело авансами за сделанные заказы. Эти первые шаги не заключают в себе ничего незаконного. Авансы даются всюду. Дать своему заводу аванс — непредосудительно: веря в себя и в дело, с большим спокойствием вверяешь ему авансы, потому что не носишь в душе сомнения в возврате или отработке этих сумм. Да у Саввы Ивановича в этот момент дела не могло быть и раздвоения интересов: ведь он стоял во главе дела, между прочим, и как крупный акционер. Интересы дороги были и его интересами. Завод и дорога были для него, что две руки у моего тела: они равно мне дороги, и боль, причиняемая любовью из них, мне одинаково тяжела.

Когда ему указано было, что будущее завода, как обширнейшей мастерской паровозов, обусловлено переделкой и заменой старых орудий производства новыми, стоящими много денег, он усилил или согласился на усиление авансов. Ведь в это время у него строилась дорога к Белому морю и созревала завершающая его цели мысль о линии Вятка — Петербург, линии, которая сопровождалась переменой устава, образованием громадного дела «Северных Дорог» и обещала в будущем несметные выгоды, покрывающие расходную статью, вызываемую линией Архангельской, линией, по преимуществу идейной, преследующей великие указанные выше цели, но цели, уходящие в далекое будущее, а пока требующие жертв и расходов.

А когда будет дана Вятка, когда понадобятся сотни, если не тысячи паровозов для нужд Севера и понадобятся многомиллионные работы на изготовление прочих принадлежностей движения, тогда скажется все значение Невского завода: он превратится в громаднейшую собственную мастерскую будущего Общества Северных дорог, сбережет не одну сотню тысяч акционерам Общества, и тогда поймут, о чем думал и во что верил Савва Мамонтов, вверяя авансы заводу в счет его будущего заработка.

Но пока оборудовался завод и авансы имели или совершенно законное основание, или только форму излишнего доверия, не вызывая ни малейшего чувства брезгливости к принятой мере, новость дела, излишнее увлечение в погоне за приобретением заказов, между прочим заказов морского министерства, неудачный выбор людей во главу технического надзора, — все это обуславливало убытки. Цены не соответствовали ценам других заводов, а недостача в оборудовании и в людях, знающих дело, увеличивала стоимость заказа для самого завода. Ущерб приняли угрожающий вид.

Вот в этот-то момент Савва Иванович делает ту ошибку, которая привела его в суд. Он видит, что за заводом накопился значительный долг. Требование этого долга поведет к ликвидации, причем, по примеру всех случаев понудительной продажи, имущество пойдет за гроши и кредиторы потеряют свои деньги. Ярославская дорога понесет ущерб — первый ущерб при его хозяйничании, а между тем его можно избежать.

История крупных финансовых затруднений и счастливых выходов из них вам известна. Вовремя поддержанный, поколебленный временными неудачами банкирский дом или многомиллионное промышленное дело избегают краха и спасаются сами и спасают связанных с собой клиентов. Незначительный толчок роняет мощную силу, если он нанесен в момент, когда она пошатнулась. Савва Иванович знал это.

Но лучше потерять меньше, чем терять больше. Правда. Но обвиняемый верил, что в круг линии Ярославской дороги введется линия Вятка, обуславливающая такую массу заказов, что завод сможет отработать кредиты. А Вятка — это не праздная мечта, это действительно намеченный путь, который, как вы знаете, и был дан обществу Северных дорог, и взят назад только тогда, когда задолженность завода Ярославской дороге и вызванные этим затруднения последней побудили высшее правительство к чрезвычайной мере во избежание дальнейших осложнений.

А рядом с Вяткой надежды Саввы Ивановича обосновывались и приспособлением завода к нуждам флота. Давались заказы, исполненные работы удовлетворяли требованиям, завод в этом отношении был снабжен средствами исполнения. Ожидался заказ не на один миллион из тех 90 000 000 руб., которые ассигнованы на поднятие русских морских сил. Можно было со спокойной совестью верить в жизненные соки должника, временно застоявшиеся, и под-

держкой его, пожалуй, и рискованной, спасти от краха и вернуть суммы, вверенные ему до этого момента.

Савва Иванович поскользнулся, завода не поднял, Ярославской дороге нанес ущерб. Но рассудите, что же тут было? Преступление хищника или ошибка расчета? Грабеж или промах? Намерение вредить Ярославской дороге или страстное желание спасти ее интересы? Истребление вверенных сил или проигранное сражение, начатое полководцем, убежденным, что он принял бой в интересах отечества?

Сожаления заслуживает и тот растратчик, который, видя гибнущие интересы свои и своих ближних, иногда неосторожно хватается чужие, на руках его находящиеся средства, хватается незаконно, но с одной, как страсть безумная, его охватившею мыслью — спасти себя и, победив беду, внести в кассу законного владельца на минуту позаимствованные чужие средства. Жалко потерявшего рассудок игрока, проигравшего нечаянно чужие деньги и, в страстном желании спасти свою честь, делающего новые и новые ставки, кладущего на карту последнее платье, ведь он не хочет отнять, он не хочет раздеться!

А здесь — не то. Хорошо или дурно — избранный путь имел в виду выручить отпущенные в долг деньги. Ведь подъем заводов, обессиленных неудачами прежних лет, в самом радужном будущем только возвращал ущербы Ярославской дороги, — о возврате сумм, внесенных в дело из средств Саввы Ивановича и близких ему людей, нечего было и думать.

И делал он все это не тайно. Каждый шаг, каждое распоряжение записано, перерыва следов от его воли к делу нет ни на йоту. Цифры записаны в книги, и назначение их там отмечено с общедоступной ясностью.

Хозяева дела, избравшие Мамонтова и три десятилетия переизбиравшие его, все знали или могли знать. Ведь не дети, не полуграмотные вкладчики лопнувших банков, акционеры-избиратели вроде Джемгарова, Грачевых, Солодовникова. Эти люди видели плоды власти Мамонтова и верили в удачу его планов. Если бы эта ошибка была против их положительных намерений, они удержали бы его. Жаль, что обвинители вовремя не подали им совета. Может быть, они тогда согласились бы на пресечение кредитов и на списывание со счета неотработанных авансов; они, по указанию обвинителей, лишили бы Савву Мамонтова его места, как хищника и грабителя, занявшего место с целью погубить ярославское железнодорожное дело.

Но отучневшие на доходы дороги и сгорбившиеся от

труда отрезать купоны и считать дивиденды, щедрой рукой приносимые им дорогой, нуждающиеся в чужом совете, названные акционеры рассуждали иначе: они видели, что дорога крепнет, растет, развивает движение до размеров, какие не снились им. Малоумные, они не понимали, что Савва Иванович разоряет их! Факты так очевидны для беспристрастного наблюдения коронного обвинения и гражданского добровольца: 150-рублевые акции вырастают до 600, до 700 руб., вырастают до 900 руб. (но последняя цена обусловливается иными соображениями, о которых я скажу после), дивиденды с 19 руб. достигают 40 руб., составляя чуть не учетверенную в общем итоге капитальную сумму.

Разорение, разорение... Но общеупотребительная логика, которой не только учит нас книга в школе, но которая срослась с нашим умом, если он не потерял спокойствия, говорила хозяевам дела другое. Она говорила им, что дело их в руках смелых, но удачных. Они, палец о палец не ударяя, пожинали плоды смелых планов Саввы Ивановича... и не хотели никого, кроме его, во главе дела. Другой, может быть, не ошибся бы на заводском деле, но другой, может быть, и теперь бы давал им грошовые дивиденды и держал бы акции на их первоначальной оценке. Подсчитайте, было бы это выгодно акционерам...

Вот почему они действовали не так, как им рекомендуется задним числом. Их мнение расходится с мнением обвинения: оно осуждает их в непонимании своего интереса, в подчинении своих дел хищнику! Если так, то прежде чем начать уголовное дело, следовало бы этих несчастных, не понимающих своих выгод, отправить в губернское правление и освидетельствовать в умственных способностях, чтобы спасти их капиталы.

Но не беспокойтесь о них. Солодовниковы, Джамгаровы, Грачевы умеют блюсти свои интересы и извлекать из всякой силы то, что увеличивает их достатки. Они не мешали человеку дела, опытом изведав его способности, не мешали смельчаку, ощущая результаты его удачных замыслов, они не сомневались в продуктивности его мероприятий, в целесообразности его расходов из подотчетных сумм на поездки. Люди жизни, они, подобно свидетелю Лосеву, знали, что, прежде чем приобрести известную линию, иногда надо огромными негласными сделками откупиться от appetитов конкурентов, они знали, что время очистило от подозрений в забвении долга людей, служащих в местах, заведующих железнодорожным хозяйством, но еще живы в столице те частные, сановитые ходатаи, которые дорого



продают свое «замолвить слово», те генералы не у дел, которых коснулась и обессмертила наша литература, способные если не сделать что-нибудь, то — повредить, легши поперек дороги, если не сдвинешь их с пути, подав им необходимую и дорогостоящую помощь.

Когда дела приняли угрожающее положение, когда закралось сомнение в ум Мамонтова о способности заправить на заводе справиться с задачей, пришлось поступиться своими заветными мечтами и попытаться передать дело иностранцам. Сколько, думается мне, бессонных ночей, сколько болезненных перебоев в сердце испытал Савва Иванович, когда, в отмену всего пережитого, пришлось ему впервые постучаться в двери к иностранцу-капиталисту.

Приходилось это и потом, когда впервые выслушал при одном из таких же визитов Савва Иванович лекцию о благодетельном учреждении синдиката, и хотя на душе его было неосторожное, противоуставное дело авансов, а все же дрогнул он перед сущностью ему предложенного соучастия.

Вот ко времени этой поездки или обращения к иностранцам, кажется, и относится здесь мало освещенный факт двойственности баланса Невского завода с наличностью, отраженной в книгах. Говорят, что у завода каждый год были убытки громадные, миллионные, а отчет общего собрания показывал их в скромных цифрах, иногда утверждал и небольшую пользу. Если это так, то замечу, что раз показывался убыток, то безразлично, был ли убыток в рубль или в миллионы. Дивиденда уже не выдавалось. Если же выдавался дивиденд в год мнимой пользы, то это незаконно. Но, кажется — другой защитник, занятый больше меня цифрами, докажет вам, что Савва Иванович только расписался в дивиденде, а взял его другой пайщик, и что эта сумма списана с личного счета Саввы Ивановича.

Если это так, то никакой преступной цели здесь не было, а было неумение составлять два счета с особой целью в каждом.

Дело в том, что убытки Невского завода обуславливались не соотношением между материальными затратами и продажной ценой произведений, а массой убытков от прежней задолженности и несоответствием стоимости заказа со стоимостью производства, по неверной расценке при заказе. Выходило, что завод в данный год, вычитая расходы производства из цены заказа, имел или прибыль, или меньший убыток, обусловленный недостатком оборотных средств и недостатком в людях, но на баланс ложился бременем тяготеющий долг. Завод, значит, сам по себе оправ-

дывал свое существование или свое упорство в существовании, но хозяин нес ущербы от наложенных платежей. А завод надо продавать. Кто же даст цену за завод, который рекомендует себя как пропасть? Вот и надо было выделить заводское дело с точки зрения соотношения его расхода и прихода без влияния на это тех пассивов, которые на приобретателя не перейдут.

Позвольте мою мысль иллюстрировать примером. У меня есть дом: обошелся он в 10 000 руб. и доходу дает тысячу рублей. Но я на постройку занял семь тысяч у одного из тех капиталистов, которым приходится посылать деньги-проценты или просить отсрочки телеграммами в Олонецкую губернию. Плачу ему этих процентов 1400 руб. Выходит: что ни год — убытка 400 руб.. Но значит ли это, что самый дом есть дело, приносящее убыток? Продавая его, я говорю, купите вещь, приносящую 1000 руб. дохода, и говорю правду, ибо тот, кто купит и даст десять тысяч, которые у меня будут фондом покрытия моего долга, купит вещь, дающую десять процентов дохода. Надо различать доходность дела от доходности хозяина, обремененного платежами, не обуславливающимися наличной деятельностью предприятия.

На оценку вины Саввы Мамонтова влияет вопрос о количестве убытка, который им наносился дороге в момент авансирования и в момент, когда дорога выручала долг продажей паев. Вам известно, что пай продан по 30 за рубль их нарицательной стоимости: разница образовала убыток. Мы говорим, что убыток этот не верен, ибо правление дороги, с г-ном Хитрово во главе, продешевило и не проявило достаточной заботливости в ограждении интересов вверенного им дела. Словом, завод стоил несравненно дороже. А ведь если бы было выручено все сполна, то вся вина приняла бы почти формальный характер.

Эта часть дела — самая суть процесса. Мы утверждаем, что продажею заводских паев по 30% продавцы добровольно расстались с возможностью выручить более подходящую цифру: ведь было же соглашение с бельгийцами, в легендарности которого никто не упрекал Савву Ивановича, — многомиллионное предложение.

Как же это случилось?

А вот как. Получили предложение оценить с точки зрения покупателя Невский завод господ Дрейер и Калашников, кстати, ныне заседающие в новом заводском управлении. Исполняя поручение начальства, они громаднейшее предприятие осмотрели будто бы во всех частях в три или

четыре дня, да, кажется, и осматривал их один г-н Дрейер. Они составили счет, по которому выходит, что больше 30% дать нельзя.

Г-н Дрейер, делая это заключение, был тогда еще в добром расположении духа. Сначала был он и здесь таким же и стоял на той же цифре. Вы помните этого свидетеля, властно, крикливо отвечавшего на законный перекрестный допрос моих товарищей. Когда же ряд вопросов или, может быть, некоторая страстность их ему не понравилась, то он заявил, что и два миллиона за семь давать не следовало, ибо завод, по его настоящему положению, и ни копейки не стоил (в смысле додач за пай).

Удивительный свидетель-эксперт! Или он не берег казны и бросил даром два миллиона, поскольку его мнение было решающим, или он очень сердит: раздражился, — и на два миллиона хочет оштрафовать нас.

Недоумеваю. Разве помириться на мысли, что обесмертившаяся героиня в пьесе великого писателя, замоскворецкая купчиха, различавшая обыкновенные миллионы от особливых, маленьких, не умерла еще!..

Нет, я не верю этому неустойчивому свидетелю и обязан ему не верить. Спорный вопрос о ценности этого завода, к счастью для нас, имеет ответ, произнесенный сведущими людьми не того узкого кругозора, каким руководился г-н Дрейер. Судом, по моей просьбе, допущено здесь удовлетворение нашего законного требования огласить точное содержание документа высокой важности: журнала «Сообщения» о приобретении заводов в казну. Вот что мы там читаем: «вмешательство в управление делами товарищества вполне обеспечивает дальнейшее существование завода, серьезное значение которого, в особенности для государственного судостроения, не подлежит сомнению.

По заявлению вице-адмирала Тыртова, завод этот в течение последних 6 лет исполнял большие заказы морского министерства с ассигнованием 90 000 000 руб. на государственное судостроение; на нем, главным образом, сосредоточена постройка минных и других судов небольшого размера, а также мелких механизмов и паровых котлов, для чего товариществом произведены были значительные затраты на оборудование завода новыми машинами и станками, и в настоящее время он может успешно соперничать с иностранными заводами.

Вполне удовлетворительное состояние завода в смысле его оборудования и продуктивности засвидетельствовано также действительным тайным советником князем Хилко-

вым и тайным советником бароном Иксулем, по мнению которого происходившие на заводе неурядицы объясняются не неудовлетворительным состоянием завода, а недостатком оборотных средств и слабой организацией управления, обусловливаемой частой переменой директоров.

Как могло случиться такое противоречие между мнением о благосостоянии заводов и недостатке их лишь оборотными средствами и людьми, высказанное умами, способными и призванными решать государственно-хозяйственные вопросы, — и умом человека, имя которого, быть может, впервые огласилось дальше той конторки, где он нес свою службу?

Да полно, все ли эти три дня он осматривал завод? Судя по созерцательному характеру его заключения, которое не требовало обмера и осмотра, не уделил ли он часть своего делового времени на уединение в каком-нибудь, во всяком случае отдаленном от завода клубе, ресторане, где удобно думать о порученном деле, но откуда не видать даже заборов и труб оцениваемого здания...

Странное свидетельство! Особая точка зрения!.. Ново-устроенный завод оценивается ниже действительности на несколько миллионов, когда с его стоимости, несмотря на новизну и образцовое, выдерживающее конкуренцию с иностранными предприятиями состояние, сделан уже общий бухгалтерский список.

Люди дела свидетельствуют о нахождении того, что отрицает г-н Дрейер. Как ни больно, но свидетель, в ревностном умалении действительности, напомнил, только в сторону отрицания, прием бессмертного продавца, который, продавая свое имя, говорил покупателю: и это — мое, и что дальше — мое, и то мое, что там, дальше, чего не видать отсюда...

В увлечении услужить начальству свидетель, видимо, боялся переплатить, думая, что государственная казна заинтересована, подобно покупщикам с молотка, купить на грош пятаков. Нет, ни высокое положение казны, как государственного хозяина, ни политика ее заправил никогда не руководились этим началом. Казна даст больше частного лица, потому что лишний рубль в карман частному лицу — это усиление его же полезной производительности, но выгадывать на вынужденной продаже, но пользоваться стесненным положением продавца — этой черты не было и не будет в практике казенного хозяйства.

Я крепко убежден, что состояние заводов соответствует тому, что мы читаем в журнале совещания и верю в полнейшую обоснованность мнения лиц, подписавших его.

Не идолопоклоннический страх перед сильными мира диктует мне эти слова, не трепет перед саном, — да они и не нуждаются в этом, — а простая, свободная критика фактов. О состоянии заводов, о готовности их к выполнению не только железнодорожных, но и морских заказов, о важном значении их в будущем говорят лица, компетентности которых не только вверены, но компетентности которых обязаны своим состоянием обширные отрасли государственного хозяйства, именно в тех областях, которые связаны с глубоким знанием машиностроительного и судостроительного дела.

Мне может сказать обвинение: вы подрываете следственный материал, вы умаляете значение свидетеля, показание которого так полно и подробно записано в предварительных актах следствия, что не верить их положительному содержанию нельзя.

Нет, господа, бумага предварительного следствия и обвинительный акт прокурора, на актах следствия обоснованный, свидетельствуют только о том, что следователь делал свое дело, т. е. точно отмечал показания свидетелей, а прокурор точно вывел из них надлежащие выводы.

Но только здесь, на суде, расценивается вами истинная годность свидетеля. Ведь свидетель, как и потерпевший, потерпевший, как и привлеченный, могут быть под влиянием всевозможных впечатлений и состояний духа, когда слова их, по намерению правдивые, в самом деле только плод душевных движений, иногда своекорыстного пристрастия к своему интересу и т. п.

Попутно надо остановить ваше внимание на происхождении паев на 6 000 000 руб. в руках Саввы и Николая Мамонтовых.

Говорят о безденежном получении ими этих паев. Это мнение — просто результат малого знакомства с бытовыми условиями промышленности.

Невский завод всем достоянием своим обеспечивал долг Ярославской дороге. Но как реализовать этот долг, раз дорога нуждается в возврате денег? В кассе наличности мало... Предъявить иск и с молотка продать завод? На многомиллионную покупку (тогда казна еще не заявляла своего согласия на покупку) немного охотников, потому что немного людей со свободными миллионами. Публичная продажа может бросить завод за ничто в руки покупателя, предложившего самую скромную, до неприличия скромную цифру.

Сходите в дни торгов в кредитные учреждения, и вы

увидите, как буквально за рубль, надбавленный к оценке, пропадают миллионные здания неисправных должников.

Продать завод? Но охлаждение иностранцев, замечаемое в последние годы, объясняет временную неудачу этой попытки. Оставалось одно: превратить долг завода дороге, как имущество, пошедшее на оборудование его и на выдержку в неудачные годы, балансируемую ожидаемыми выгодами от будущих морских и железнодорожных заказов, в паевое дело. Паевой выпуск правительство разрешило. Что же? Выпускать на 6 миллионов бумаг на биржу? Это — удар, отражающийся на всех делах. Только медленным сбытом, по мере подъема завода, можно привлечь капиталы. И вот поступают так: дорога списывает долг с завода, а завод валюту этого долга, как цену стоимости завода в его позднейшем состоянии, оплачивает паями тому лицу, которое за него уплатит долг дороге. Долг этот принимают Мамонтовы и за это получают пай. Пай эти они сейчас же вносят в ту самую кассу Ярославской дороги, перед которой обязываются погасить долг.

Цель всего этого: спокойное, без публичной продажи, реализованное значение стоимости завода, вырученными, по партиям проданными, паями, которые, как обеспечение долга, лежат в сундуке дороги и выдаются только по представлении выроченной за партию цены.

С точки зрения обвинения, которое соглашается с Дрейером в оценке завода, выходит, что завод всего долга своей стоимостью не покрывает. Тогда ведь разницы нет, получит ли дорога по векселям завода неполное удовлетворение, равное выручке из продажи, получит ли эту выручку частью по векселям, частью по паям — в итоге, в сумме стоимости завода.

Справедливость требует сказать, что новое правление ничего не сделало в интересах дороги. Упрекая старое правление, не следовало бы новому с большой заботливостью отчуждать обеспечительные ценности. Но делалось другое, недостаточно красивое.

Вы помните: к Савве Ивановичу едет г-н Хитрово и достигает того, чтобы он заявил его кандидатом в председатели нового правления, даже опирается на ценз из акций, которые ему любезно вручает Савва Иванович, а он принимает от него.

Хорош прием. Невольно скажешь, что иногда действительно носимые фамилии напоминают манеру старых писателей давать прозвище своим персонажам по основной черте их характера: Правдины, Скалозубы, Стародумы...

Время возникновения нового правления знаменательно. В это время разрешается вопрос о Вятской дороге. Впервые устав дороги меняется. Выпустятся новые акции. Старые получают право на получение новых по шести на одну. В мире биржи и спекуляции оживление. Акции поднимаются, несмотря на слухи о задолженности и неудаче по постройке Архангельской линии.

В это знаменательное время, в неясных контурах обрисовываются новые деятели, по-видимому, решившие, что страдное время работ по устройству северных путей прошло и приближается жатва. Савву Ивановича приглашают вступить в синдикат; его акции выкупаются от банка, который, будучи мало осведомлен в железнодорожном деле, тяготеет портфелем (акции Саввы Ивановича лежали в банке для Внешней торговли): они переходят по солидной стоимости в Международный банк. Приходится Савве Ивановичу вести разговор о синдикате, знакомиться с деятелем, с фамилией не на «ов», к каким он привык в своем северном районе. Услужливый юрист, тоже с фамилией не на «ов», а на «вич», не помню его фамилии (*в это время подсудимый Савва Мамонтов поправляет защитника, громко напоминая фамилию Шайкевича*), — пишет условие сделки: полторы тысячи акций должны перейти в портфель Международного банка не в залог, а в собственность.

Все спутывается... Будущая дорога перейдет в руки деятелей, которым чужда идея спасти ошибку старого путем солидарности между заводом и дорогой. Для них завод — только неисправный должник, стоящий столько, сколько можно выручить от продажи его с молотка. Мечты Саввы Ивановича лопаются. Его мероприятия, из которых он тайны не делал, которые все занесены в книги, напечатаны в балансах и утверждены своевременно общими собраниями, объявляются сплошным рядом преступлений, и человека, которого восторженно благодарили за 25-летнюю службу акционеры, получившие по несколько сот рублей на акцию дивиденда, которые аплодировали его смелым планам, — теперь, при первой неудаче, сбившей с акций лишь биржевую спекуляционную цену и спустившей ее до цифры в 500 руб. (почти вчетверо против номинальных 150), бросаются, под предводительством г-на Хитрово, в камеру прокурора...

Сибирское дело — особенное дело. На него набросился Савва Иванович не по своей воле. Здесь говорили, что принять это дело его просили очень большие люди. А просьбы эти — хуже приказаний. Не исполнишь приказания, нака-

жут тебя по ст. 29 Устава для мировых судей — и все. Но просьба, не исполненная просьба, оставляет более глубокий след, изменяет мнение о человеке, решает его нравственную оценку у сильнейших людей. Толкала его на это и его жажда не отдавать дел в инородные руки, заманчивая перспектива оживить умершее дело и блеснуть русской сметкой.

Надо всем, конечно, господствовала надежда найти новый источник для получения в кассу дороги ошибочно истраченных сумм. И это дело он внес в книги дороги и не скрыл от акционеров... И тут не было ни одного заявления или критического запроса...

Остается сказать о третьяковской ссуде.

Я утверждаю, что это был заем, прикрытый формой ссуды. Ведь в это время дела Мамонтова уже были трудны. Знаменитый маклер Шульц не мог этого не знать. Г-н Шульц не мог не знать, что у самого Мамонтова нет казенных подрядов. Это было просто подражанием тому, как прежде, чтобы увеличить ответственность должника, давали ему деньги под вымышленную сохранныю расписку, грозя обвинением в растрате, если он в срок не уплатит процентов или капитала.

Здесь все налицо для этого предположения. Юноша Третьяков верил Шульцу. Этот последний брал гласный договор о ссуде беспроцентной и сейчас же сопровождал ее тайным договором о процентах сверх купонов. Когда защитники интересов г-на Третьякова подавали жалобу, то они представили договор беспроцентный и позабыли о приложениях.

Шульц знал, что он дает деньги не Мамонтову. Перед выдачей 400 000 руб. он встретился на Ильинке со свидетелем Альбертом, тогда деятелем Невского завода, и крикнул ему: «Я вам приготовил уйму денег». Нужна была только рука и голова Саввы Ивановича.

Как долг, мы его не отвергаем: он должен быть возмещен из арестованного имущества, какое успел сберечь к судному дню когда-то богатый, кредитоспособный Савва Иванович...

Исчерпав материалы следствия, обвинитель возбуждал наше гражданское негодование против подсудимых указанием на удар русскому кредиту за границей, на затруднения и ущербы казны, на страду за чужие грехи бедного русского крестьянина, который в лице казны оплачивается за их грехи.

Иностранцы — не дети и знают лучше нас, что и в более сильных промышленных странах совершаются отдельные



крахи, но они, как песчинка на мече, не извращают общего состояния страны.

Казна оборудовала Ярославскую дорогу оборотным капиталом. Но оборотный капитал, внесенный в приобретенную дорогу, не есть расход, а только видоизменение ценности. Обменивая осенью свои деньги на семена и работу, которые мне нужны в моем имении, я не беднею, а только в чаянии грядущего урожая заменяю металл трудом и семенами.

А о народе лучше бы не говорить. Казна купила имение-дорогу за ее действительную цену; приобретая вместе и право иска, казна, конечно, как благоразумный хозяин, не ценила иска на разоренных людей выше стоимости заарестованного имущества.

Народ? Серых людей в числе хозяев-акционеров мы не встречали на общих собраниях Ярославской дороги. Солодовниковы, Грачевы, Джамгаровы и подобные им в лаптях не ходят, а преспокойно выбирают проценты на капитализованные доходы и на учетверенную плату, данную им за акции казной. А если не так, если они вам кажутся нищими и разоренными и удовлетворить их надо нашей карой, — что ж, подайте Христа ради им!..

Я не возношу на пьедестал Савву Ивановича. Он — не герой, не образец. Но я оспариваю обвинение в том, что он умышленный хищник чужого.

Ущербы его ошибок — не плоды преступления. Он погиб от нетерпения тех, кто быстро пожинали плоды его удач, но были слабопамятны, когда пошатнулся подсудимый.

Я утверждаю, что быстрота продажи имущества и смутное время ликвидации не выяснило настоящей цены и не ввело в оценку Невского завода той идеальной ценности, какую имеет всякое дело, если оно вовремя и на месте потребностей рынка.

Правда, против моего последнего воззрения авторитет г-на Дрейера.

Господа, значение и ценность завода, связанные с его значением, нам засвидетельствовали авторитеты, участвовавшие в совещании.

Если в своей вере ошибался Савва Мамонтов, если вместе с ним ошибаюсь и я, а прав только г-н Дрейер, то, припоминая, что противный взглядам г-на Дрейера вывод звучит в мнениях господ Тыртова, князя Хилкова и статс-секретаря Витте, я лучше ошибусь с ними, нежели доверюсь свидетелю г-ну Дрейеру...

## Возражение обвинителям

Если бы Мамонтовым не помешали — все их грехи были бы забыты и Россия обогатилась бы и новыми путями сообщения, и прекрасными заводами, которые в русских руках служили бы государству.

Упрек, брошенный мне прокурором, — упрек в том, что здесь, на судебном следствии, произнесены были неуместные и неосторожные слова, — этот упрек несправедлив.

Между положением прокурора и защитника — громадная разница.

За прокурором стоит молчаливый, холодный, незыблемый закон, а за спинами защитника — живые люди.

Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и...страшно поскользнуться с такой ношей!

Если я сказал лишнее слово, я сам должен держать и ответ: на меня негодование, но ни одной стрелы — туда!..

Несомненно, что завод в тяжелую минуту продан с убытком. Увлекся ли Савва Иванович, или это была ошибка человеческого расчета, во всяком случае, убытки — результат не умысла, а несчастья...

Русское правительство никогда не желало купить рубль за грош. Просто выбор Дрейера был неудачен. Этот человек — преданный казне, что и говорить. Но Дрейер считает ценность имущества только по его убыточности, забывая другие условия...

В торговом деле много значит известность предприятия, его возраст. Газета, просуществовавшая один год с убытком в 20 тысяч, по мнению Дрейера, будет дешевле той, которая, просуществовав 5 лет, дает 50 тысяч убытка. Земледелец, вспахавший землю с осени и засеявший, по мнению Дрейера, будет беднее того, который сохранил в кармане 20 руб., оставив землю без обработки.

Люди, более Дрейера понимавшие, говорили, что завод, это — дело, нужное русскому народу...

Неправильно далее толкование обвинителями слова «умысел». Ведь перед присяжными заседателями судятся не дела, а люди: что можно требовать от людей, имеющих 10 талантов, того нельзя требовать от человека, имеющего один талант...

Закон властен во всем, но он говорит присяжным: «Судите». Это потому, что он считает себя лишь формальной истиной, а вам, судьи, предоставляет искать и найти жизненную правду.

В книге, в святость которой мы все верим, — в Новом

Завете, сказано, что придет некогда суд общий, на котором Судия будет судить, «зане Он Сын человеческий».

И вы рассудите по-человечески!

Здесь нет героев, но нет и преступников.

Сказалась ли в Савве Ивановиче преступность по распоряжению чижовскими капиталами, которыми он был бесконтрольным распорядителем? Газеты нападали на него, кричали, что капиталы пропали. И что же оказалось?!

Он выгодной операцией утроил эти капиталы и создал то дело, благодаря которому Кострома теперь по постановке промышленного образования может соперничать с любым уголком Европы...

Сюда явились Лазаревы и обвиняют Мамонтова в том, что жалование рабочим на Ярославской дороге платилось маленькое.

Однако там рабочие жили по 20 лет и по 2 тысячи человек подписывались под адресом. Это оттого, что к рабочим относились по-человечески, не возносились над ними, не углубляли пропасти...

Говорят, что в Америке прислуга берет меньше жалованья, если по условию она может не снимать шляпы перед хозяином...

Московские лакеи ходят в таких же сюртуках, как мы, однако крестьяне не любят отсылать своих детей в Москву...

Человеческое достоинство, человеческое отношение — дороже рубля...

Вручаю вам судьбу подсудимых. Судите, но отнесите часть беды на дух времени, дух наживы, заставляющий ненавидеть удачных соперников, заставляющий вырывать друг у друга добро.

В наше время мало работать — надо псом сидеть над своею работой.

Если верить духу времени, то — «горе побежденным!»

Но пусть это мерзкое выражение повторяют язычники, хотя бы по метрике они числились православными или реформаторами.

А мы скажем: «Пощада несчастным!»...

## ДЕЛО МОСКОВСКОГО ССУДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Заседание Московской судебной палаты 2—24 октября 1876 г. под председательством П. А. Дейера.

Обвиняли товарищ прокурора П. Н. Обнинский и А. М. Симонов.

Защищали: Струсберга — Спиро; Полянского — Харитонов и Курилов; Ландау — Куперник, Борисовского, Ленинова и Вишнякова — Ф. Н. Плевако; остальных — Рихтер, Пржевальский, Вульферт, Капеллер, Ясинский, Шайкевич, Геннерт и др.

Московский ссудный коммерческий банк оказался в 1875 году не в состоянии удовлетворить своих вкладчиков. Возникшее после этого следствие обнаружило в ряду других злоупотреблений и неправильностей выдачу 7-миллионной ссуды Беттелю-Генри Струсбергу под обеспечение процентных бумаг, не котировавшихся даже на бирже. Струсберг должен был банку 7 миллионов рублей, чего, однако, в его личном счете не значилось, а вся сумма этого долга разнесена была в ежедневных балансах по разным статьям — несогласно с книгами банка.

На разрешение присяжных заседателей было поставлено 127 вопросов, содержание которых сводится к тому, что директора банка Ландау и Полянский, приняв от Струсберга денежные подарки, выдали ему незаконную ссуду в 7 миллионов рублей, что Струсберг путем подкупа склонил их к выдаче незаконной ссуды, воспользовался их заведомо преступными действиями и денег не возвратил и что Ландау и Полянский составляли после обнаружения дефицита в кассе ложные отчеты о состоянии счетов банка на 1 октября 1875 г.

Члены же Совета банка обвинялись в том, что, узнав в первых числах октября 1875 года о неверном составлении отчетов, скрывали от публики состояние дел банка, что

имело последствием вовлечение третьих лиц в невыгодные сделки, а равно дало возможность некоторым вкладчикам из их среды получения вкладов полным рублем. Кроме того, члены Совета банка обвинялись в том, что распродавали принадлежащие им акции, чем также содействовали расхищению кассы.

Ответами присяжных заседателей признаны неверность и подложность отчетов о состоянии счетов банка за 1875—1876 годы, составленных Полянским и Ландау, а также подкуп Струсбергом директоров банка.

Вовлечение членами Совета третьих лиц в невыгодные сделки также признано, но остальные пункты обвинения отвергнуты.

На основании этого вердикта приговорены: к лишению всех особых прав и ссылке в Томскую и Олонецкую губернии — Полянский, Ландау, Струсберг и Борисовский; Шумахер приговорен лишь к аресту на один месяц.

Остальные подсудимые члены Совета банка — Лажечников, Милиоти, Лямин, Сорокоумовский, Крестовников, Редер, Гивартовский, Волков, Вишняков, Грачев, Ленинов, Корзинкин, Прен, Граббе, Бостанжогло и Ильин — оправданы.

### Речь в защиту Борисовского, Ленинова и Вишнякова

Господа присяжные заседатели!

Ввиду продолжительности настоящего процесса с моей стороны было бы совершенно лишним повторять то, что уже было сказано, и тем отнимать у вас понапрасну время.

Но тем не менее есть вещи, о которых я только первый начну говорить и о которых до сих пор еще не было сказано, не потому, что они не приходили на память другим, а потому, что их тщательно скрывали...

Настоящее дело представляется замечательным и обращающим на себя внимание публики потому, что сидящие здесь на скамьях подсудимых 14 человек, принадлежащие к именитым гражданам Москвы и пользовавшиеся до сих пор всеобщим доверием и уважением, вдруг оказались мошенниками, ворами и грабителями.

Следовательно, вся задача присяжных заседателей, особенно трудная, состоит в том, чтобы разрешить вопрос о том, действительно ли право обвинение, которое бросило всей Москве перчатку и сказало: ваши излюбленные, именитые граждане, ваши городские головы на взгляд проку-

рорского надзора суть грабители, воры и мошенники: вы не умеете отличать хороших людей от дурных.

Таким образом, теперь нужно обращаться к их превосходительству и спрашивать: кто хорош и кто дурен...

Поставленный мною вопрос заслуживает полнейшего внимания, и потому считаю нужным остановиться на нем подробно. Может быть, я проговорю час, два и более и надеюсь, что вы выслушаете меня с полным вниманием. Я думаю, что честные люди никогда не вменят в вину подсудимому то, что защитник его не умел сообразоваться со временем и не пощадил вашего терпения.

Действительно, стоит остановиться на настоящем деле, потому что мы видим, что люди, которым мы с удовольствием подавали руку, которые защищали интерес общества, вдруг превратились в каторжников, в кандидатов в острог.

Поэтому если у вас даже пропадет лишний час, слушая меня, то это принесет великую пользу...

Повторяю, до сих пор вам еще не сказали всего, потому что тщательно скрывали то, что оправдывает подсудимых. До сих пор вам представляли только то, что чернило людей, которых я и вы считали еще вчера честными людьми. До настоящего дела вы бы не поверили тому, кто сказал бы вам, что Борисовский — вор, Лямин — мошенник, Шумахер — грабитель.

Но ныне не только обвинение, но целая масса гражданских истцов тешатся над ними безо всякой надобности и раздражаются ругательствами. Они говорят: смотрите, это — воры, это — мошенники, это — такие люди, каких еще не было на свете.

Мне кажется, что следует относиться к этим людям со всею справедливостью. На этих скамьях сидели убийцы, государственные преступники, но и к ним никогда не относились с такими ругательствами, и до последней минуты объявления приговора мы слышали только слова: «подсудимый, обвиняемый». Никогда еще ни представители прокурорского надзора, ни гражданские истцы не кричали до вашего приговора: воры, мошенники, грабители, никогда еще в подсудимых не кидали грязью, как в настоящем деле. Ныне в первый раз храм правосудия огласился такими криками, и ныне стало стыдно за тех, которые принадлежат к одному с нами сословию, как нам стало стыдно, что они так скоро позабыли ту школу, из которой они вышли вместе с нами.

Два дня говорили здесь гражданские истцы, целый день говорили представители обвинения, — но улики они не разо-

брали. Вы постоянно слышали здесь только одно: «семь миллионов, семь миллионов, два миллиона, пятнадцать тысяч». Происходит не суд над человеком, а гражданский иск в 7 000 000 руб. — рассматривается требование гражданских истцов.

Но для гражданских истцов вас не оторвали бы от домашнего очага, вы не сидели бы три недели, и не было бы собрано сотни свидетелей. Задача ваша состоит в том, чтобы судить человеческую душу, разобрать, как она дошла до настоящего положения, рассмотреть, как эти люди, у которых есть средства к жизни, которые пользуются всеобщим почетом и уважением, дошли до того, что целой шайкой в 15 человек решились на обманы, подлоги и мошенничества. Для того чтобы совершить подобные преступления, надо, чтобы при своем рождении человек был со всеми пороками. Мы видим здесь людей, которые прожили по пятидесяти лет и которые могут сказать тем, которые так чернят их: «Посчитаемся прошлым, кто из нас больше принес пользы», — и тогда пришлось бы краснеть не подсудимым, а тем, которые по недостатку собственных достоинств желают корить людей, прежде чем вы произнесете свой приговор...

Подсудимые, которых я защищаю: Борисовский, Ленов и Вишняков, обвиняются в трех преступлениях.

Первое обвинение состоит в том, что подсудимые, с целью не потерять дивиденда на акциях банка, не подвергнуться ответственности за нарушение § 11 Устава банка и скрыть от публики критическое положение дел, подложно составили отчеты за 1873 и 1874 годы и достигли утверждения их общими акционерными собраниями. Вот первое зло, первое ужасное преступление, которое приписывается им и которое ставит их на одну доску с ворами.

Второе, не менее гнусное деяние, которое им приписывается, состоит в том, что члены совета, за исключением Волкова и Сорокоумовского, знали о дурном положении дел, не закрыли банка до 11 октября и воспользовались этим временем для того, чтобы мошенническим образом сбить свои акции.

Вот два ужасных преступления, в которых обвиняются подсудимые. Если они будут признаны виновными в этих преступлениях, то они уйдут отсюда нравственно убитыми, честное имя их будет отнято навсегда, они будут жить фиктивной жизнью...

Есть еще третье преступление, которое состоит в том, что они нерадиво относились к своим обязанностям, вслед-

ствие чего в банке были сделаны неправильности, и результатом этого было то, что у них под руками вынули 7 000 000 руб., которые перешли к Струсбергу. Я должен сказать, что это даже не преступление, а только проступок. Оправдаете ли вы или обвините их в этом проступке, честное имя их не замажется. Каждый человек может иногда недостаточно ревниво относиться к своему долгу, может иногда не совсем строго исполнять возложенные на него обязанности, ввиду желания сохранить несколько лишних часов для отдыха, — он может не исполнять того, что возлагает на него закон.

Это последнее обвинение не страшно, потому что нет ни одного человека, находящегося в этой зале, который бы мог сказать, что все обязанности, которые возложены на него законом, в точности им исполнены.

Закон, например, говорит, что когда кончится следствие по делу, то через семь дней должен быть составлен обвинительный акт. Я вызову лучшего представителя судебного ведомства, и пусть он скажет, исполняется ли этот закон. Нет, мы знаем, что по несколько месяцев лежат дела в палате, и нередко бывает, что подсудимый появляется на скамье подсудимых через год или через два.

Поэтому люди, у которых в глазах бревно, не должны указывать на спицу, которую они заметили в глазах ближнего.

Я указал вам на три преступления, в которых обвиняются подсудимые. Защищая трех подсудимых, я имел бы право сказать три речи, но скажу только одну, и вместо того чтобы разделить ее по личностям, я разделю ее по предметам обвинений. Сначала я посмотрю, можно ли обвинять подсудимых в подлоге, потом перейду к вопросу о том, можно ли признать их виновными в нерадении при исполнении своих обязанностей, и, наконец, займусь вопросом о том, можно ли их считать хищниками и грабителями кассы банка.

Подсудимых обвиняют в подлоге, в составлении подложных отчетов в 1873 и 1874 годах. Человек не делает зла без цели: непременно нужна какая-нибудь цель. Никто не совершает преступлений для удовольствия, потому что во всяком случае покойные кресла в кабинете гораздо лучше, нежели та скамья, на которой теперь сидят обвиняемые.

По словам обвинения, члены совета совершили подлог с целью не потерять дивиденда на акции банка. Мы знаем, что у большинства членов совета было по 50 акций. Если бы дивиденд был 6%, то им приходилось получить по



600 руб., а если бы дивиденд был 8%, то они получили бы на свои акции 800 руб.

Я спрашиваю теперь: мыслимо ли, чтобы такие лица, как Лямин, Корзинкин и Бостанжогло, могли решиться на подлог только из-за того, чтобы вместо 600 рублей получить 800, т. е. из-за 200 руб.?

Правда, что в числе обвиняемых есть два крупных акционера, Борисовский и Корзинкин. У Борисовского было 460 акций. Следовательно, если бы дивиденд был не 6%, а 8%, то на каждую акцию пришлось бы получить лишнего 4 руб., а на все — с лишком полторы тысячи рублей. Как бы худо ни думали о Борисовском, но 1500 руб. не такая сумма, которой он мог бы соблазниться, а эти 1500 руб. он мог бы получить и без подлога...

Затем у них есть еще возможность получать лишние деньги. Вы помните содержание устава, который здесь читался. В нем сказано, что члены совета не получают никакого вознаграждения до тех пор, пока дивиденд не будет выше 8%. Поэтому если бы члены совета хотели совершить подлог, то они для того, чтобы получить вознаграждение, показали бы в отчете дивиденд в 10 или 12%, между тем они этого не делают.

Многие скажут, что ведь все-таки можно получить барыш и 1500 руб. Я должен заметить здесь, что тот, кто владеет хотя бы одной акцией, поймет, что если действительный доход на акцию 6%, а он берет 8%, то он сам себя обманывает, потому что кладет себе в карман то, что лежит в основном капитале. Если бы у товарища прокурора было такое основание, что они сами получили 8%, а прочим лицам дали 6%, то тут была бы еще почва для обвинения. Между тем в данном случае этого не было: взяв на себя обязанность обвинять людей, нужно глубоко знать их жизнь.

Таким образом, я утверждаю, что неестественно допустить, чтобы 15 членов совета решились на подлог только из-за того, чтобы получить на свои акции лишних 200 руб.

Но в обвинительном акте указана еще другая цель совершения подлога, а именно та, чтобы не подвергнуться ответственности, за нарушение § 11, п. i Устава банка. В этом пункте сказано, что банку запрещается покупка бумаг более чем на 600 000 руб.

Но обвинение забывает, что в отчете покупка все-таки была записана цифрой большей, чем устав разрешает. Где же логика и справедливость? Мы думали, что эти силы должны быть господствующими на суде, но настоящий процесс доказывает, что какие-то третьи силы, а не эти, господ-

ствуют здесь, отстраняя и логику, и справедливость, как вещи, для них непригодные.

Обвинение умолчало здесь об одной вещи, а именно скрыто то, что происходило прежде, чем отчет был представлен совету для проверки перед 12 членами совета.

Обвинение говорит, что был составлен подложный отчет. Здесь было торжественно доказано, что отчет составлен к 20 марта. А между тем правление еще за 3 месяца до этого, в ведомости о состоянии счетов на 1 января, все указанные в отчете неверности уже напечатало. Значит, оно уже к 1 января ввело в книги эти неверности.

Обвинение умолчало об этом обстоятельстве, как будто бы оно не имеет никакого значения.

Затем, что же называется подложным отчетом? Обвинение говорит, что напечатано неверно состояние счетов. По уставу, совет должен сверить предложенный ему отчет с книгами; он и сравнивает их с книгами, и само обвинение не отвергало того, что книги эти верны с отчетами. Поэтому если отчет согласен с книгами, которые ведутся неправильно, то нельзя сказать, чтобы отчет был подложный: не верны книги, которых совет не ведет.

Я уже сказал вам, господа присяжные заседатели, что немыслимо допустить, чтобы члены совета могли составить подложный отчет, так как они не достигали бы этим указанных в обвинительном акте целей.

Затем можно допустить еще третью цель составления подложных отчетов. Цель эта могла состоять в том, что члены совета хотели скрыть перед обществом недостатки тех лиц, которым они вверили управление делами банка, что они хотели скрыть ошибки Ландау и Полянского, дабы им не сказали в общем собрании, каких людей они рекомендуют.

Допустим эту цель. На это ответ ясен.

Если бы, например, купец хотел прикрыть в отчете грех своего приказчика, то на другой день он спустил бы его со двора. Между тем в настоящем случае мы видим, что приказчики эти остаются на своих местах. Мы знаем, что Ландау было сделано только замечание, что он ведет рискованные операции, что от этих операций банк может потерпеть убытки, и отдают его под власть человека, в которого верила вся Москва, — именно под власть Полянского, каким мы знали его в то время.

Но есть еще другие, высшие соображения, есть иные доводы, которые сильнее фактов могут убедить вас, что подлог со стороны совета немыслим.

Если, например, приведут к вам заслуженного полководца, который совершал великие дела, и вдруг найдут в книгах неправильность, состоящую, для примера, в том, что в книгах показано, что на покупку сапог для нижних чинов его армии истрчено 9 руб., а за них в действительности заплачено только 8 руб., то неужели же этот факт может служить основанием к обвинению этого полководца в краже? Не доказывает ли это, что человек, будучи чист и не запятнан, недосмотрел и что здесь скорее была или ошибка, или непонимание дела?

Но когда посадили сюда 15 именитых граждан Москвы, то, указав только на некоторые лица, прямо решили, что если существуют неточности, то, значит, совет виноват в подлоге, и не обратили внимания на тот вопрос, который невольно приходит в голову мыслящего человека: как эти 15 человек могли согласиться на ненужный им подлог?

Представьте себе заседание совета: сидят люди, известные своей честностью и пользующиеся всеобщим уважением, и к ним входит Полянский с неправильным отчетом и прямо предлагает совершить преступление! Да ведь для того, чтобы решиться открыть им глаза, сказать, что здесь подлог, и звать их в сообщники, надо быть вполне уверенным в том, что находишься среди таких людей, с которыми можно говорить о краже или о подлоге. Даже и дурной человек, когда он идет к такому же дурному человеку, чтобы предложить ему совершить преступление, побоится сделать прямо предложение совершить преступление. Между тем, в настоящем случае 15 именитых граждан точно из удовольствия соглашались, по мнению обвинения, совершить подлог.

Но, господа, род человеческий не от дьявола происходит, чтобы человек совершал преступления с удовольствием; род человеческий имеет в душе своей семена добрые, указывающие на его божественную природу...

Разве прошлое этих людей таково, что обвинение могло сказать, что они похожи на людей, способных по первому предложению совершить преступление? Это не какие-нибудь откупщики, не какие-нибудь концессионеры, не такие люди, которые закрывают свое зло золотыми мешками и наживают деньги подкупами сильных мира сего, зная, по словам одного древнего владыки, что нет такой крепости, которая бы не сдалась перед ослом, навьюченным золотым мешком...

Все эти люди жили между нами, мы все знаем их, мы все знали их прошлое, знали, что они всегда занимались

коммерческими делами, и не знаем ни одного из таких предприятий, служивших общественной пользе, за которые бы они не брались. Мы знаем, что всякий желал иметь с ними дело, и во всей Москве не найдется ни одного торговца, который сказал бы, что они не пользовались кредитом и когда-нибудь нарушили то доверие, которое им оказывалось.

Такие люди, сидевшие в 1873 и 1874 годах в Ссудном банке, представлялись такой силой, с которой говорить о подлогах надо было осторожно. Общество понимает это очень хорошо. Прокурорский надзор пишет обвинительный акт в 120 листов, называет этих людей мошенниками и грабителями, и общество в то же время выбирает их своими представителями и поручает им свои интересы. Ведь Купеческий банк в Москве — самый прочный банк, пользуется отличной репутацией, и дела его идут прекрасно, а между тем пора бы этому банку испортиться, потому что там служат те обвиняемые, которые сидят теперь перед вами.

Но у общества есть великий инстинкт, сравнительно с которым книжная мудрость обвинения есть прах, есть капля в море, тьма перед светом.

Таким образом, я утверждаю, не было им надобности, не было нравственной возможности совершить какой-либо подлог. Над этим вопросом поработали уже другие мои товарищи. По их усилиям вы видите, что недаром мы решились нападать на экспертов, недаром мы решились поднять свой голос. Мы пришли сюда не для того, чтобы молча смотреть, как совершается судебное следствие. Мы готовились к делу честно; каждая страница дела, каждое слово было нами разобрано, потому что мы старались в каждой странице, в каждой букве, в каждом слове отыскать все, что возможно, для разъяснения дела. Мы изучили дело, знаем его хорошо и потому не молчим здесь.

Мы спрашивали экспертов: почему они считают подлогом перенос бумаг на счет корреспондентов?

Нам сказали эксперты, что если бумага куплена, но находится не в банке, то неправильно записывать ее на счет корреспондентов.

Мы возразили и думаем, что наше возражение крепко. Дело в том, что для купца едва ли вразумительно, что находящаяся не в руках бумага может быть занесена в наличную книгу. Житейское торговое воззрение здесь не сойдется с конторским. И об этом вопросе надо было спросить не бухгалтера, а банкиров. Нет сомнения, что вызванные экс-

перты Дуфнер и Лазарев — очень хорошие бухгалтеры и знают, куда нужно занести ту или иную бумагу. Но банковских дел они не знают.

Я приведу следующий пример: у многих купцов есть счетчики, которые прекрасно ведут книги. Но такого счетчика хозяин никогда не пригласит посоветоваться о том, какую лучше купить пшеницу, украинскую или казанскую...

В настоящем же деле то же самое: вызывают бухгалтеров Дуфнера и Лазарева, знающих счетную часть, а между тем требуют от них ответов на вопросы, касающиеся банковских операций. Прежде чем вызывать эксперта, надо знать, зачем его вызывают. Есть люди, которые знают банковское дело лучше, чем господу Дуфнер и Лазарев. Так, например, в Киевском университете есть профессор Бунге, пользующийся большим авторитетом, который в одном из своих трудов говорит, что такие выражения, как «условные выгоды, специальные счета» и, в особенности, «счета корреспондентов», чрезвычайно растяжимы и что под последний термин могут быть подведены какие угодно операции.

Банковское дело не так просто, и случается, что лучшие бухгалтеры иногда не знают, в какую из книг следует записать известную статью, по ее специальности требующую знания товароведения и теории банковских дел. Если бы после того, что вы выслушали здесь, вас попросили в банк и спросили, куда нужно записать бумаги, находящиеся у корреспондентов: в счет наличного или в счет корреспондентов, то у вас явилась бы простая русская сметка, что то, что в чужом кармане, то своим не пиши. Если вы теперь признаете, что отчет — не дело членов совета, то вам сейчас же делается ясным, что для них нет никакого резона проводить этот отчет в общем собрании так или иначе. Общее собрание само по себе, как бы оно составлено ни было, не составляет преступления.

В обвинительном акте, в той его части, где говорится о подложных отчетах, указывается на то, что Борисовский являлся в собрание с большим количеством голосов против того, на которое он имел право. Эта часть обвинения не подведена ни под какую статью закона. Да такой статьи и не существует, и невозможно допустить узаконения о том, что владелец акций не может раздавать их другим лицам. Мы знаем, что многие общества не могут составить общего собрания вследствие того, что не является необходимое число акционеров, или все акции — у немногих лиц. Кому неизвестно, например, что все акции Козловской железной дороги

находятся в одних руках, а нужно 40 голосов для того, чтобы составить общее собрание; и вот для этого-то владелец акций отделяет часть их другим лицам.

Но как бы общее собрание ни было составлено, важно то, какая цель достигается им. Если бы было доказано, что в общем собрании Борисовский достигал какой-либо цели, то тогда можно бы было еще сказать что-нибудь по этому поводу. Но ведь вы знаете, что Борисовский был учредителем и мог оставаться в своей должности три года, т. е. до 1875 года. Для Ленинова также не было никакого интереса в составлении общего собрания, так как он был единогласно выбран в члены совета. Несмотря на то, что сам обвинитель прекрасно сознает, что общее собрание не может считаться преступлением, здесь сообщаются разные мелочи. Например, говорят: посмотрите, в общее собрание пришли дети Борисовского, на них переведены акции.

Но обвинительная власть забывает, что отец есть единственный представитель своих детей. Обвинительная власть скрывает, что отец малолетних не нуждается в указах опеки, чтобы действовать от их имени. Против подсудимых собирают только всякую грязь, но не хотят представить то, что их оправдывало бы...

*Председатель. Я прошу вас быть воздержанным в своих выражениях.*

*Плевако. Я воздержусь.*

Прокурорский надзор цитировал здесь статьи устава уголовного судопроизводства, которыми он хотел объяснить причину, вследствие которой обвинитель отправился к прокурору Судебной Палаты после того, как у него был Шумахер. Но этот устав не был прочитан весь. В нем есть одна статья, которая гласит, что в своей обвинительной речи прокурор должен собирать не только обстоятельства обвинения, но и обстоятельства, которые оправдывают обвиняемого, и что он не должен быть односторонним в своем обвинении. Этот великий принцип, проведенный в наших законах, был ли соблюден теми, которые здесь сидят? Справедливо ли это? Я укажу лишь на то, что в течение 20 дней прокурорским надзором приводились только такие обстоятельства, которые имели целью очернить подсудимых...

Но об этом я скажу еще, когда перейду ко второму отделу. Теперь первый отдел кончен. Из всего мною сказанного вы видите, что для совершения подлога не было никакой цели и подсудимым совершать его не было никакой надобности. Учение об общих собраниях появилось в таком необ-

думанном виде только благодаря тому, что обвинительной власти приходится представлять обвинение по всем предметам. Здесь, в судах, возбуждаются вопросы и финансовые, и экономические, и нравственные, но на суд вызывается не экономист, не финансист, а все тот же прокурор должен выносить все на своих плечах. Понятно после этого, что нередко в обвинительном акте выставляется за истину то, от чего завтра же сама обвинительная власть отказывается...

Итак, я сказал, что составление таких общих собраний, на которые указывает обвинитель, не может считаться преступлением. Очевидно, что без перевода акций на других лиц и не могло бы состояться общего собрания.

Обвинитель говорит, что перевод акций на других лиц делался с той целью, чтобы не допустить в общее собрание других акционеров. Но ведь всех акций было 15 000, из которых, по мнению обвинителя, 6000 находилось в руках обвиняемых, их родственников и знакомых. Но отчего же не являлись в общее собрание те, у кого были остальные 9000 акций?!

Говорят, что нельзя было подавать голоса и что всегда большинство голосов принадлежало родственникам и знакомым членов совета, присланных с известной целью. Но это неверно. Я укажу здесь на свидетелей Стулова и Курочкина, которые сказали, что когда они отправлялись в собрание, то Борисовский никому никаких поручений не давал. Таким образом, Борисовский и другие не имели никакой выгоды в том, что в общем собрании подавали голоса лица, которым были переданы акции членами совета.

Последствием того, что Борисовский, Ленивов и Вишняков безвозмездно служили в банке, теперь является следующее: у Борисовского было на 200 000 акций, теперь они не стоят ни копейки; Вишняков и Ленивов потеряли часть своих денег, и теперь их же называют грабителями и мошенниками.

Но ведь грабители и мошенники наживаются, а в настоящем случае мы не видим, чтобы кто-нибудь из обвиняемых нажился от крушения банка...

Я сказал вам, господа присяжные заседатели, что второе обвинение в нерадении, существенно отличается от обвинения в мошенничестве и подлогах. Весь вопрос заключается лишь в том, достаточно ли внимательно члены совета исполняли возложенные на них обязанности, все ли они сделали со своей стороны, что должен сделать честный человек, стоящий во главе учреждения, которому вверены

деньги, принадлежащие разным лицам, или же сделали слишком мало; все ли они сделали для того, чтобы они могли сказать: нас обманули, и потому мы были не в состоянии предупредить несчастье, — или же они недостаточно зорко следили за делом и тем навлекли бесчисленные бедствия.

Припомните, что обвинение ни одним словом, ни в обвинительном акте, ни на судебном следствии, не считает членов совета прикосновенными к струсберговским операциям и не считает, что акцепты выдавались с ведома совета. Словом сказать, обвинение говорит только то: вы так плохо исполняли свое дело, что, за спиною у вас и не спрося вас, люди выкинули из вашего сундука 7 000 000 общественных денег и отдали их Струсбергу. Далее этого обвинение не решается идти и не набрасывает на членов совета другого обвинения.

Разберем теперь, насколько право обвинение и насколько правы мы.

Обвинительный акт говорит, что все подсудимые, сидящие здесь, будучи обязаны по уставу банка управлять его делами, снабжают директора-распорядителя подробными инструкциями по исполнению всех возложенных на него обязанностей: ревизовать действие правления и поверять кассу банка, определять товары и процентные бумаги, под залог коих могут быть произведены ссуды, подробно рассматривать вопросы по операциям, выходящим из ряда текущих, и наблюдать за размером покупки и продажи бумаг, правительством не гарантированных, — некоторых из этих обязанностей вовсе не исполняли, а к другим относились до крайности нерадиво.

Некоторые вопросы мы здесь устраним, так как обвинитель не коснулся их, и они, очевидно, совершенно уничтожены судебным следствием. Так, например, по вопросу о том, будто бы члены совета не снабжали директора-распорядителя подробной инструкцией, здесь был прочитан журнал совета от 5 декабря 1871 г., в котором сказано, что такая инструкция была дана директору-распорядителю. Очевидно, что здесь была допущена в обвинительном акте ошибка, так как инструкция была дана и ею руководствовались.

Затем в уставе мы не находим указания на то, что инструкция должна быть даваема каждый год. Открылся банк, написана инструкция, которая оказалась удовлетворительной, и затем уже нет надобности давать другую инструкцию.

Я пропущу пока вторую, указанную в обвинительном



акте, обязанность членов совета ревизовать действия правления, и упомяну об обязанности их поверять кассу банка.

При всех ревизиях, даже при тех, которые производились, по мнению обвинительной власти, нерадиво, все-таки касса поверялась, и всегда касса была цела, и в нецелости кассы члены совета не обвиняются.

Далее обвинение говорит, что члены совета должны были определять товары и процентные бумаги, под залог коих могут быть производимы ссуды.

Здесь был прочитан целый ряд журналов совета, в которых сказано, под какие бумаги можно давать ссуду. Затем, на основании устава, определение размера ссуд зависит не от правления, которое обязано только не давать больше 90% по биржевой цене. Здесь было указано вам на то, — и это не опровергнуто обвинительной властью, — что во всех банках при входе висит на стене таблица, из которой каждый являющийся в банк может видеть, какие бумаги принимаются и какая ссуда выдается по ним.

Далее обвинение говорит, что члены совета обязаны были подробно рассматривать вопросы по операциям, выходящим из ряда текущих. Когда правление признало струсберговские операции выходящими из ряда текущих и сообщило об этом совету, то он нашел первую операцию настолько выгодной, что разрешил правлению приостановиться ликвидацией иностранного отделения и предложенную правлением сделку разрешил совершить. Затем, совет бессилён рассуждать о делах, когда правление не сообщает ему о них и не говорит, что есть дела, выходящие из ряда текущих. Совет может быть признан виновным в нерадении лишь в том случае, если бы было доказано, что правление вносило на рассмотрение совета известную операцию, а совет отказался от ее рассмотрения и сказал: делайте, как знаете. Но мы знаем, что когда правление входило в совет с докладом, то он никогда не оставлял его без рассмотрения и давал свое заключение по этому докладу.

Затем, хорошо ли или дурно рассуждал совет, — об этом вы не можете судить, так как это дело умственных способностей. Здесь судят за нарушение устава, а не за то, умно или неумно рассуждал совет.

Итак, эти мелкие обвинения совершенно опровергнуты.

Существуют еще два вопроса, самые спорные, самые страстные в данном деле. Вопросы эти состоят в следующем: могли ли члены совета, по общему наблюдению, лежащему на них, усмотреть операции Струсберга и должны ли они были их усмотреть при ревизиях, при которых совет

только и может рассматривать делопроизводство правления, — достаточно ли хорошо производились эти ревизии и столько ли раз, сколько требуется по уставу.

Если они ревизовали не столько раз, сколько следует, то, конечно, тут есть вина. Если они ревизовали так, что операций Струсберга нельзя было бы обойти, но они сами зажурили глаза от истины, — то они виноваты. Но если все делалось так, что самый ретивый член не мог заметить обмана, если все подготовлялось к ревизии так, что они не могли усмотреть неправильностей, то они не могут считаться виновными.

Собирая все, что здесь происходило в течение трех недель, обвинительная власть видит со стороны членов совета нерадение. Обвинитель говорит членам совета: вы сами создавали, что иностранное отделение никуда не годится, вы сами хотели его ликвидировать и после этого все-таки разрешили ему продолжать операции.

Здесь, очевидно, обвинитель недостаточно ясно понимает коммерческую суть дела. Он полагает, что коммерческие учреждения имеют сходство с судебными, которые, постановив известное решение, не вправе его отменить. В коммерческом деле — совсем другое. В прошлом году покупать пеньку было невыгодно, и члены совета могли постановить запретить правлению выдавать ссуду под пеньку. Но если затем в следующем году оказывается, что пенька стоит в хорошей цене, то члены совета, ввиду того, что этот товар исправился, могли дать правлению разрешение выдавать ссуду под этот товар. Ведь иностранное отделение было закрыто не вследствие того, что в нем происходили беспорядки, а вследствие того, что Ландау завел новое дело, арбитражное, и стал делать операции, которых большинство членов совета не понимало.

Члены совета рассуждали совершенно правильно, таким образом: подчиненный тогда у меня в руках, когда я знаю то дело, которое находится в его заведовании; когда же он умнее меня, когда он больше меня смыслит и заводит такие дела, которые он понимает лучше, нежели я, то тут не может быть над ним надлежащего наблюдения. Я убежден, что все 15 членов совета могли приходить к Ландау ежедневно, и Ландау под самым их носом мог обделывать с немецкими корреспондентами какие угодно дела. Ландау, ведущий дела по новым операциям, заводящий какие-то срочные тратты, иностранные переводы и т. п., был похож на медика, который говорит о болезни по-латыни, стоя около больного. Он может говорить, что угодно, а больной все-таки ничего не поймет.

Но члены совета исполняли свою обязанность тем, что рассуждали так. Зачем мы будем иметь дело, для нас непонятное, зачем мы будем отдавать в руки человека такое производство, в котором ничего не смыслим? Вот причина, почему та партия членов совета, которые называются торговцами и которые не вели дел за границей, естественно стали думать о том, нельзя ли закрыть иностранное отделение, и действительно постановили ликвидировать его дела.

В это время Ландау является с новой сделкой Струсберга. Я думаю, что, разрешая эту сделку, члены совета вовсе не входили в противоречие со своим прежним постановлением. Правда, они не понимали дел иностранного отделения, но предложенная сделка не носила такого характера. Это было дело, понятное всякому простому смертному, и оно состоит в следующем: купец имеет за границей вагоны и ставит их на русскую железную дорогу; затем они привезутся в Россию, и когда сдадутся на железную дорогу, которая примет их, когда пришлют накладные, то под этот товар просят дать денег до расчета. Тут всякий человек поймет, что можно дать ссуду.

Говорят, что нужно было остановиться выдачей ссуды, потому что дела Струсберга находились в это время не в хорошем положении.

Правда, личный кредит можно оказывать только человеку надежному, но под залог можно дать деньги и человеку ненадежному. Самый надежный человек может иногда не заплатить по личному кредиту; но коль скоро деньги даны под залог, то даже самый нечестный человек отдаст их, потому что не захочет, чтобы пропал залог.

Поэтому, когда членам совета была предложена новая сделка со Струсбергом, то они видели в ней прямую выгоду и не могли предвидеть, чтобы на ней можно было что-нибудь потерять: выданные деньги они получают от русского железнодорожного общества, ссуда должна быть выдана тогда, когда пришлют накладные, удостоверяющие в принятии товара, квитанции в наших руках, следовательно, мы владельцы вагонов, а потому можем дать под них по 600 руб.

Вот сделка, которую разрешили члены совета и которая впоследствии совершилась. Я утверждаю, что члены совета поступили вполне правильно, и в этой сделке нет никакой вины.

Но после этой сделки г-н Ландау пошел далее и стал губить банк. Здесь одни доказывали, что сделка эта носит на себе характер уголовного преступления, а другие говорили,

что здесь обыкновенная коммерческая сделка. Здесь важно то, что Ландау должен был хорошо понимать, что купцы поверили Струсбергу под вагоны, лично же ему кредита не дадут. Поэтому для Ландау было важно то, что последующие сделки были скрыты, и, действительно, они скрывались от членов совета.

Я прошу вас припомнить то обстоятельство, что все семь счетов Струсберга начаты после ревизии 16 мая. Только два счета записаны были в книги так, что при ревизии 16 мая ревизоры должны были увидеть их. Но относительно этих счетов существует сомнение в том отношении, записаны ли они своевременно или несвоевременно.

Впрочем, один из них, бесспорно, записан несвоевременно. Ревизия была 16 мая, а счет этот был записан 19 мая, т. е. в то время, когда Шютта, который должен был занести этот счет в книгу, не было в Москве.

Затем существует счет от 10 апреля, который ревизоры должны были увидеть. Но относительно этого счета существует следующее сомнение: он записан 10 апреля, а письмо, вследствие которого возник этот счет, было от 23 апреля. Таким образом, счет этот записан несвоевременно.

Но если один счет записывается несвоевременно, то отчего же не предположить, что и другой счет был записан несвоевременно, а именно два месяца спустя. Почему 16 мая не записан счет *separato-conto*? Потому что он не был разрешен, а между тем ревизоры налегают на этот счет. Я повторяю, что коль скоро скрыли один счет, то весьма естественно допустить, что скрывали и другие счета.

Затем все прочие счета состоялись после 16 мая, так что ревизовавшие 16 мая не могли их видеть, и в этом они ни сколько не виноваты. Следующая затем ревизия была 28 сентября.

Теперь является вопрос о том, не должны ли были члены совета в промежуток времени от 16 мая до 28 сентября, в силу общего наблюдения, знать, что совершается в стенах банка? Здесь я считаю нужным обратиться к Уставу банка. В нем говорится, что члены совета служат безвозмездно. В этом отношении Ссудный банк отличается от Промышленного и Учетного банков. В этих банках все находится в руках совета и членов правления нанимают там, как бухгалтеров или кассиров. В этих банках члены совета делают все то, что в Коммерческом ссудном банке делало правление. Членам совета Коммерческого банка говорят: наблюдайте только вообще, мы вас мучить не будем, собирайтесь только один раз в месяц. Естественно, что человек, который по

закону может являться только один раз в месяц, не может быть подвергнут ответственности за то, что совет не соби-рался чаще. Положим, что, действительно, члены совета бывали в банке весьма часто и каждый день приходили то Борисовский, то Лямин, то Ленивов, — но они не могли со-ставить собою совета.

Может быть, обвинение скажет, что все равно, если бы пришел даже и один, то он должен посмотреть, как идут де-ла банка.

Но на это я должен заметить, что в уставе банка не ска-зано, чтобы отдельный член совета мог вмешиваться в дела банка собственной своей властью. Если бы какой-нибудь член совета явился к Ландау и потребовал от него сведений по его операциям, то Ландау мог бы сказать: я вас не знаю, как отдельный человек, вы предо мною ничего не значи-те, — пусть соберется совет.

Это очень понятно. У нас существуют различные судеб-ные инстанции: окружной суд, судебная палата, мировой съезд. В целом составе мировой съезд властен спросить у мирового судьи отчет, и судья обязан его дать. Но если к мировому судье явится отдельный член съезда и попросит его показать делопроизводство, то судья вправе со своей стороны попросить оставить его в покое и не обязан пока-зывать ему свое делопроизводство. Точно такой же порядок применим и к членам совета.

Говорят, что каждый член совета мог наблюдать за дела-ми. Но в уставе об этом ничего не сказано. Следовательно, нельзя требовать от членов совета, чтобы они чаще смотре-ли балансы и книги, чтобы они чаще требовали сведения о каждой крупной сделке и чтобы ни одна крупная сделка не могла возникнуть без их разрешения.

Мы спрашивали здесь свидетеля Найденова о том, ка-ким образом совет может наблюдать за всеми действиями правления. Г-н Найденов объяснил нам, что на членов со-вета не возложено такой обязанности, что они должны на-блюдать в том смысле, чтобы ежеминутно стоять у кассы. После крушения банка грозил всеобщий кризис, потому что лица, принадлежащие к купеческому сословию, хотели выйти из всех банков. Они говорили следующее: служба без-возмездно и будучи обязаны собираться только один раз в месяц, как можем мы знать, что совершается в банке во время нашего отсутствия? Если производить проверку каж-дый день, то членам совета нужно быть и в кассе, и в учет-ном отделении, и в иностранном отделении. Обо всем этом нам говорил свидетель Найденов. При этом свидетель ска-

зал еще, что общее наблюдение состоит в том, что члены совета решают только общие вопросы и судят об операциях после их совершения по тому, что им подается в виде отчета, и они смотрят, согласен ли отчет с действиями правления, причем дают правлению некоторые указания насчет общего хода дел.

Вслед за показанием Найденова защита обратилась к суду с просьбой о том, чтобы было прочитано удостоверение министра финансов относительно того, как следует понимать устав. Но суд отказался от прочтения этой бумаги.

Не ваше дело, господа присяжные заседатели, разрешать наши пререкания с судом: есть другая власть, более высшая, которая разрешает пререкания между судом и защитой. Но вы — суд по совести, а суд по совести придает каждому факту свое значение, едва его существование дает себя знать. Скажете ли вы теперь, что этой министерской бумаги нет, когда защита требовала ее прочтения и когда суд отказал нам в прочтении ее? Нам не говорили, что такой бумаги нет, что ее вовсе не было написано, а сказали только, что министр финансов, как эксперт, должен был сам явиться на суд, если же он не явился, то бумага эта не может быть прочитана. Но все-таки существует тот факт, что министр понимает устав так, как он мною был объяснен.

Во всех уставах сказано, что всякое сомнение, возникающее при толковании этого устава, разрешается министром финансов, который в этом отношении представляется высшею властью. Да это и понятно, потому что устав банка есть специальный закон. Устав кредитный есть тоже закон специальный, который может быть разъясняем и дополняем только лицом, знающим финансовую часть. Точно так же и медицинский устав есть закон специальный, который может быть разъяснен только теми лицами, которые принадлежат к медицинскому сословию.

Итак, я говорил, что посредством общего наблюдения ничего сделать нельзя. Но на всякий случай и против этого общего наблюдения были приняты некоторые меры, так что если бы какой-нибудь член совета и хотел узнать о ходе дел, то ему можно было бы отвести глаза. Вы знаете, как было организовано иностранное отделение. Во главе его стоял немец, не говорящий по-русски. Следовательно, если бы члены совета и приходили к нему, то только тратили бы свое время совершенно понапрасну.

Затем около него было очень много бухгалтеров: Шютт, Полетаев и Ложечников. Особенность их состояла в том,

что один из них говорит только по-немецки, а другие двое — и по-русски, и по-немецки, для того чтобы объясняться с Ландау. Мало этого, все эти бухгалтеры носили еще одно свойство: они только от щедрот Ландау получали подарки, а тот, кто получает, служит тому лицу, от которого он их получает.

Заметьте дальше следующее: когда-то Миллиоти, над которым здесь так много смеялись, чувствуя, что он не понимает хорошо бухгалтерского дела, вздумал провести в директора Веденисова, так как он был известен как хороший бухгалтер, служивший в Обществе взаимного кредита, где ему давали 6000 руб. жалованья. И вот г-н Миллиоти рекомендует банку Веденисова. При этом он имел в виду, что теперь уже ничего не скроют в книгах и что Веденисов, как хороший бухгалтер, разберет все неправильности и ошибки. Несмотря на то, что Веденисов был рекомендован банку господином Миллиоти, все-таки на общем собрании подают против него голоса. Свидетель Полетаев прямо признался, что хотя он ходил на общее собрание по чужим акциям, но тем не менее он подал голос против Веденисова. Из этого каждый поймет, какие меры принимались к тому, чтобы обойти членов совета.

Говорят, что и Ложечников, и Шютт, и Полетаев очень опытные бухгалтеры. Но вот мы рассматривали здесь книги, и в них найдены были ошибки.

Говорят, что ошибок этих так немного, что можно сказать, что книги велись хорошо. Но дело в том, что все ошибки, которые мы нашли, относились к струсберговскому счету, и странно, что не было ошибок по другим счетам. Струсберговский счет записан позднее, он перенесен не на ту страницу, наконец, для него существует особая секретная книжка.

Мы обратили ваше внимание на все ошибки, так как нашей обязанностью было доказать, что по струсберговским операциям они не ошиблись, а скрывали истинное положение.

Упрекающие нас в том, что мы выставили ошибки струсберговского счета, скрыв другие, пусть потрудятся найти эти другие ошибки. Их нет. Утверждать их могут лишь те, кто не знает дела.

Перехожу к последнему вопросу по этому отделу.

Итак, общим наблюдением члены совета ничего не могли сделать. Но не могла ли сделать что-нибудь ревизия?

Последняя ревизия была 16 мая, и затем до 28 сентября не было никакой ревизии. Не следует ли вменить членам

совета в вину, зачем они ревизовали так редко. Действительно, ревизия есть единственное средство для наблюдения за ходом дел.

Здесь я должен представить еще одно соображение относительно общего наблюдения.

Кто сам находится у сундука своего кассира, у стола своего директора, тот и сам знает, что делается, а, следовательно, здесь незачем ревизии. Самый факт назначения ревизии доказывает, что делопроизводство находится в руках правления, в руках директора-распорядителя, а не в руках членов совета. Я не знаю такой ревизии, чтобы кто-нибудь сам себя ревизовал, чтобы, например, министерство само себя ревизовало. Итак, самый факт назначения ревизии доказывает, что посредством общего наблюдения следить за делопроизводством невозможно.

Переходя к вопросу о ревизии, я должен исправить одну ошибку, допущенную одним из гражданских истцов.

Вообще речи гражданских истцов были совершенно одинаковы.

Это были два дня мучительных страданий для подсудимых, которых гражданские истцы осыпали всевозможными бранными словами. Но между ними нашлись, однако, люди, которые не так сурово относились к подсудимым. Я говорю про г-на Владимирова. В своей речи он высказал, что все верили совету, и, следовательно, совет должен отвечать за пропавшие деньги, что совет производил ревизии.

Но нигде не говорится, что совет производил ревизии. Совет только назначает ревизию и командирует для этого своих членов. Самым фактом назначения ревизии совет исполняет свою обязанность. Затем, как исполняют свою обязанность назначенные им ревизоры, — это уже не его дело.

Я приведу здесь следующий пример: Московский губернатор обязан ревизовать каждый уезд или сам лично, или через чиновников. Лучшие чиновники, посланные им, находят все в порядке и доносят об этом, и худшие чиновники, которых провели при ревизии и которые не заметили существующих беспорядков, доносят, что все обстоит благополучно. Может ли отвечать губернатор за то, что он верит тому чиновнику, который не исполнил в точности того, что он был обязан сделать?..

Затем я обращусь к ревизии 16 мая. Говорят, что она производилась небрежно, и эту небрежность видят в том, что ревизия делалась на выдержку.

Но, господа присяжные заседатели, мы спрашивали



представителей многих банков, и все они сказали, что ревизию иначе нельзя, немислимо производить и что во время ревизии можно обойти каждого.

Положим, что в известном отделении лежит 1 000 000, в другом отделении тоже 1 000 000, в третьем отделении 2 000 000 квитанций от товаров. Но ведь в один день нельзя обойти все отделения, и пока ревизоры находятся в одном отделении, могут быть приняты меры к тому, чтобы исправить те недостатки, которые существуют в другом отделении. История русских учреждений, как правительственных, так и частных, показывает, что нередко злоупотребления в этих местах длились по несколько лет, и самых рьяных ревизоров обходили, подогнав дела так, чтобы все было чисто к ревизии. Дело не в том, что ревизии производились редко, а в том, что самая суть дела находилась не в руках членов совета, а в руках членов правления. Если бы ревизии производились даже каждую неделю, то все-таки можно было бы не заметить неправильностей. Мы слышали здесь показание Войнова, который сказал, что человек, который желает погубить банк, может сделать это в 1/4 часа. Ревизоры могут ревизовать дела банка, а в это время в Германии могут обращаться векселя, подписанные директорами Ссудного банка на несколько сот тысяч рублей, и затем, когда придется платить, банк будет уже бессилён...

Я более не буду утомлять вас по этому отделу. Я утверждаю, что эти люди исполняли свои обязанности как умели и как понимали их и что трудов своих они не жалели. Их дело было учитывать векселя, и они не жалели на это своего времени: они собирались в учетном комитете по 275 раз в год.

Правда, здесь было поднято обвинение, что они могли наживать при учете векселей известный процент. Но, господа, клеветать можно, а доказывать трудно. Мы знаем, что в банке кредитовалось 6900 человек. Гражданские истцы могли бы просить, чтобы суд вызвал кого-нибудь из этих 6900 человек, который мог бы сказать, что члены правления взяли с него известный процент, чтобы разрешить учет векселя. Но никто не заикнулся здесь о том, чтобы члены совета устраивали из этого дела выгодную для себя статью. Этим учетом векселей они спасали банк. Всех векселей было учтено в год на 23 000 000 руб., а они ошиблись только на 13 000. Учетное отделение выносило на себе все грехи иностранного отделения. Даже в 1873 и 1874 годах, когда иностранное отделение работало в убыток, то и тогда было выдано по 8%, благодаря только тому, что операции учетного отделения были выгодны.

Кто знает банковское дело, тот должен иметь в виду еще следующий факт. Прежде чем раздать 180 000 в дивиденд акционерам, нужно было выработать проценты на вкладчиков, а сумма вкладов доходила до 10 000 000. Следовательно, банк, работая чужими деньгами, должен был выработать процент и на них. Чтобы иметь такой громадный оборот, нужно было много труда. Члены совета желали работать, и это доказывается их деятельностью в учетном комитете. Их ли вина, что принятая ими на себя работа оказалась им не под силу? Их ли вина, что около них завелись свои собственные похитители, которые обошли их?

Между тем обойти их было очень легко. Если бы во главе дела стоял только Ландау, человек, который входил в такие дела, о которых вы слышали, то такой человек весьма скоро попался бы совету. Но между Ландау и советом стоял Полянский, а этот Полянский — человек очень замечательный. Несомненно, что прошлое его прекрасно, что все с удовольствием жали ему руку, что он был передовой общественный деятель, что каждое его слово было так влиятельно, что трудно было допустить, чтобы этот человек когда-нибудь сказал неправду.

Но слабое место Полянского было следующее: он школьного образования не получил, но у него был прекрасный ум, чтобы казаться развитым. Если кому удавалось дойти до чего-нибудь собственным умом, тот сильно верит в самого себя и благодарит судьбу, что она наградила его такими качествами.

Но эта способность есть в то же время и больное место самолюбия. Ландау понял, с какой стороны надо действовать на Полянского. Не сразу он принес провизию от Струсберга, потому что очень хорошо знал, что Полянский отвернулся бы. Он действовал на ум Полянского. Ландау сказал Полянскому: мне удалось сойтись с великим талантом. Я познакомился с железнодорожным королем, я сделался его другом; мы совершим с ним большие дела, удивим всю Вселенную и будем говорить другим: слушайте нас и благоговейте.

Затем пошли обширные дела. Тут Ландау является с другим предложением. Он обращается к Полянскому со следующими словами: обширные дела со Струсбергом делаются не одним банком: банк получает хорошие выгоды за то, что ссужает Струсберга деньгами. Вы своим умом много помогли успешности и выгоды всех этих дел, и потому мы вас наградим.

Я уверен, что деньги были предложены не в виде подку-

па, а как подарок. Вчера защитник Ландау говорил: не одинаково ли дурно взять 150 000 или 5000 руб.?! Мне кажется, что здесь есть разница. Если я совершаю крупное, миллионное дело и мне дарят небольшой процент, то я могу рассуждать так: люди простые, неразвитые, хотят выразить этим свою благодарность. Но если мне приносят 150 000, то я должен подумать, что здесь что-то нечисто. Слыханная ли вещь, чтобы за миллионное дело давали 150 000?

Все деньги Струсберг передавал прямо Ландау. Струсберг не имел никаких сношений с Полянским. Ландау посредством хитростей мало-помалу проникал в душу Полянского, действуя на его ум, так что спустя некоторое время Полянский был окончательно в руках Ландау.

Получив первый подарок, Полянский походил на игрока, который поставил на ставку чужое состояние; у него 10 000 р., которые должен отдать своему доверителю, и из этих денег он ставит сначала 1000 и проигрывает. Верит в счастье, хочет отыграться, ставит другую, третью и т. д., до тех пор, пока не отыграется или не проиграется в пух.

Полянский в этом деле был увлекшийся игрок. Но прежде чем погибнуть, он слишком верил в дело.

В свою очередь, и все члены совета вполне ему доверяли, так что ему достаточно было сказать, что все идет хорошо, и все были спокойны. Не подлежит сомнению, что когда дело находится в руках честных, то тут можно остановиться на доверии. Честный человек крепче замка: замок можно сломать, но честная душа недоступна ни для какого соблазна.

Но мир так создан, что люди падают, когда мы не ожидаем. Я полагаю, что нет ничего удивительного, если члены совета могли ошибиться в г-не Полянском.

Что еще сказать? Переходя к концу этого отдела, т. е. обвинения в нерадении, я замечу, что подсудимые вправе сказать, что они со своей стороны делали все, что могли, и что «от своего вора не убережешься»...

Обращаясь к отдельной деятельности подсудимых, мною защищаемых, я скажу несколько слов: Борисовский и Вишняков участвовали в той ревизии, которую совестно назвать нерадивою. Они первые разобрали неправильности, существовавшие в иностранном отделении, и разобрали все недостатки. Им принадлежала инициатива ликвидации иностранного отделения. Они вполне верили Полянскому и потому передали на его руки иностранное отделение. Все свои обязанности они исполнили по совести.

Третий из подсудимых, Ленивов, первый раз ревизовал 28 сентября. Назовете ли вы его нерадивым ревизором,

когда он, вместе с прочими лицами, был при ревизии, которая открыла беспорядки? Ведь он мог бы написать, что все обстоит благополучно. Ведь в банке оставалось еще около 15 или 20 миллионов; а вы могли видеть, что планы Струсберга так велики, что потом ему понадобились бы и эти деньги, и он нашел бы им помещение.

Довольно по этому отделению. Это обвинение не грозит ни чести, ни доброму имени подсудимых, и я вверяю их вашему праведному суду...

*(Перерыв на 1/4 часа.)*

Чтобы не утомлять вас, господа присяжные заседатели, я этим и ограничусь по вопросу о нерадении; я предоставлю вашей совести судить о том, в меру или не в меру эти люди исполняли лежащие на них обязанности. Я покончу с этим обвинением простым и верным советом.

Не законом решается вопрос о том, в меру или не в меру люди исполняют свой долг. Этот вопрос разрешается человеческим умением представить себя на месте этих людей. Если бы вы были на этом месте, то сумели ли бы найти больше времени и вникнуть глубже в дело?

Если вы разрешите этот вопрос отрицательно, в чем не может быть сомнения, то вы, конечно, сочтете, что люди эти не могут быть признаны виновными в нерадении...

В начале своей речи я сказал вам, что буду говорить по убеждению и исполню мою задачу. Я веду дело со страстью лишь там, где решается вопрос о человеке. Но у меня не хватит душевных сил дрожать и плакать о золотом мешке, как дрожали здесь те, которые только и отстаивали этот золотой мешок...

Я перейду к последнему вопросу, чрезвычайно важному. Я желал бы не быть здесь в эту минуту, потому что сил, данных мне Богом, может быть недостаточно, чтобы снять клевету, брошенную в этих людей, которые увлекли обвинение на путь, по которому оно идет. Люди, которые являлись на биржу только для того, чтобы купить подешевле, продать подороже, и которые ошиблись в своем расчете, начали обвинять в мошенничестве тех, с кем они имели дело. Это — те люди, которые здесь прямо сказали, что если бы они купили акции по 100 руб., а потом они дошли бы до 200, то назад их они не вернули бы; но им не удалось; вместо барыша они потеряли свое, и вот вдруг из биржевых спекулянтов они сделались плачущими жертвами, вопиющими о потере своих достатков.

По обвинительному акту, все члены совета, за исключением Волкова и Сорокоумовского, обвиняются в том, что,

узнав 5 и 6 октября 1875 г. о противозаконной выдаче Струсбергу 7 000 000 руб. и о неверности отчета на 1 октября 1875 г., не приостановили банковских операций, а продолжали их, скрывая истинное положение дел банка, и этим допустили выдачу вкладов полным рублем лицам, состоявшим в дружеских и родственных отношениях с членами совета.

В чем же тут видит прокурор преступление? В том ли, что в банк приходили вкладчики и брали деньги?

Нет. Кроме обвиняемых, знавших о дурном состоянии дел банка, об этом было известно весьма многим лицам, не состоявшим ни в каких отношениях с обвиняемыми, и эти лица приходили в банк и брали свои деньги, потому что нужно быть до известной степени героем, чтобы оставлять свое имущество в доме, который горит.

Видит ли обвинение преступление в том, что продавались акции?

Нет. Мы знаем, что те люди, которые продавали акции и покупали их у Борисовского, не сидят на скамье подсудимых. На бирже всякий старается купить то, что дешевле, и продать то, что дороже, — одним словом, всякий старается сделать выгодное дело. Никто никогда не считал подобных действий преступлением. Когда люди вместо закона будут управляться одними нравственными началами, когда общее благо будет бесконечно выше блага отдельного человека, когда между моим и твоим не будет никакого различия, — тогда этого не будет. Но до тех пор, пока человек, видя нужду других, все-таки не отдает им последней копейки, потому что она нужна ему самому, — до тех пор подобные сделки не будут считаться преступными.

Эти сделки могут быть названы только грешными. Они противны нравственности, но не закону. И я не ошибусь, если скажу: грех было Борисовскому продавать свои акции и грядущую беду сложить на других, грех был Вишнякову допускать продажу акций своего племянника, грех Ленивову и Шумахеру вынимать свои вклады; но — только грех!

Что же, обвините вы их и за грехи? Нет, вы не смеете, потому что грех судит Бог. У греха есть другое средство исправления — раскаяние, исправление зла.

Представим пример: надо ходить в церковь, но я не хожу, и закон не может наказывать меня за это. Только Бог может наказать меня. Грех брать проценты, но закон их разрешает, и человек, берущий с нищего 4 и 5 коп., — грешник, но вы его судить не можете — это не преступление.

Вы чистые люди, но и вы не безгрешны. А между тем,

только за грехи привели сюда этих людей, а с грехами этими они рассчитались так, как дай Бог рассчитаться каждому христианину. Вы слышали: вклады возвращены, акции взяты назад от всех, кто добровольно предлагал взять их. Они исправили зло, на которое поддались по мгновенному увлечению собственными интересами, и не заслужили тех нападков, каким подвергались, и той грязи, которую в них кидали, кидали так много, что мне хотелось спросить их (*указывая на гражданских истцов*): откуда у них берется такая запас грязи?!...

Перейдем к делу. Дело было так. 28-го числа была ревизия, которая открыла, что 7 000 000 руб. нет. На бирже сделалось об этом известно. Биржа имеет свой особый знак, недоступный очень многим. Биржа не говорит: банк лопнул или банк получил хороший барыш. Если за акцию, которая вчера стоила 200 руб., платят сегодня 250 руб., то биржа и видит, что дела банка хороши; если же за акцию платят на бирже 180 р., то между строк биржевой таблицы читай: биржа говорит, что дела этого банка не в порядке.

На бирже, как только открылась ревизия, все уже знали о положении дел банка. Ни Борисовский, ни Вишняков, ни Ленивов не скрывали струсберговских операций, ибо только этим можно объяснить, что акции вдруг падают со 180 на 170, потом на 125, на 115 и т. д.

Почему акции упали не сразу, это объясняется тем, что сведения получались не вдруг, потому что не сразу узнали, что Струсберг должен 7 000 000 руб.

Притом важно было не то, что банку были должны большую сумму, а важно было то, кто должен и как? Правда, в это время было уже известно, что Струсберг потерял доверие, но ведь члены правления сказали, что они дали ссуду под обеспечение.

Конечно, теперь, когда собрали все сведения, легко говорить, что струсберговские бумаги ничего не значат. Но когда они лежали в форме накладных, в форме приоритетов, то надо было быть ясновидящим, чтобы сказать, что эти бумаги ничего не стоят, а члены совета — не ясновидящие.

Когда открылось, что принятые обеспечения не имеют биржевой цены, то члены совета приглашают представителей других банков, просят у них помощи, но им отказывают в ней, и тогда они едут к министру финансов с просьбой оказать помощь. Говорят, что не надо было ехать к министру, так как цель не была бы достигнута. Но так могут рассуждать только люди, которые не знают коммерческой жизни. Я могу здесь сослаться на факты.

Кому неизвестно, что в России был кризис, когда горные заводы оставались без всяких средств? Правительство летело к ним со своими миллионами, чтобы поддержать их. Эти заводы отдохнули и впоследствии сделались передовыми борцами по русскому железнодорожному делу.

Кому неизвестно, что один из больших банков в Москве, именно Волжско-Камский, получил огромные субсидии, чтобы поддержать банк. Наконец, кому неизвестна субсидия, которая была дана Петербургскому Коммерческому банку?

Ввиду этих примеров члены совета имели полное основание обратиться за помощью к министру финансов.

В улику совету ставят то, что речь его депутатов перед министром была не просьбой о помощи, а упреком правлению. Представьте себя на месте членов совета, на месте людей, потерявших голову, и вы поймете их язык, этот возбужденный страхом и переполохом язык отчаяния...

Говорят, что после обнаружившихся беспорядков надо было закрыть банк. Но мы знаем, что по уставу члены совета не могли этого сделать, так как в нем сказано, что ликвидация дела банка может быть разрешена только общим собранием.

Если 11 числа и закрылся Банк, то это потому, что тогда нельзя было составить ни присутствия, ни правления, и в это время прокурорский надзор вмешался в дело Банка. Строго говоря, нельзя сказать, что Банк перестал существовать, что он был закрыт, а можно только сказать, что члены перестали собираться, потому что негде было. Считать Банк закрытым можно только с того времени, когда была учреждена ликвидационная комиссия, которая приняла дела Банка.

Между тем это-то незакрытие Банка есть существенный пункт обвинения. Обвинение говорит, что не потому не закрыли Банк, что не могли, а потому, что обвиняемым нужно было не закрывать его.

Но я опять спрашиваю: как же члены совета могли закрыть Банк, когда по уставу они не имели на это права? Говорят, что здесь разыгрывалась комедия. Но обвинение было о представителях других банков, которые говорили, что вопрос о закрытии Банка был разбираем ими вместе с членами совета весьма тщательно и что все были за закрытие Банка, но г-н Чижов, председатель Торгового банка, сказал, что вы будете врагами всех банков, если закроете банк. Затем, когда было решено закрыть Банк, то до получения ответа от министра члены совета еще не знали, что бу-

дет впереди, как разыграется эта история и даст ли правительство помощь или нет.

В это время, кроме Банка, члены совета были ведь и хозяевами своих собственных дел; и, видя, что их имущество находится в месте опасном, естественно, спасали его.

Где же тут мошенничество? Ведь мошенником может быть назван тот, кто берет чужое, а Шумахер брал свое, Вишняков брал тоже свое, Ленивов взял тоже свои 30 000 руб. для того, чтобы заплатить свой долг по векселю в тот же банк.

И это называют мошенничеством!

Давно ли честная расплата с кредиторами стала называться мошенничеством? Человек наиболее из них образованный и развитый, г-н Шумахер первый понял, что все-таки на служащих в совете лежит обязанность заботиться об интересах лиц, вверивших Банку свои деньги, и рассуждал так, что если будет беда, то по справедливости она должна отразиться на всех поровну.

Я думаю, что именно этим соображением и руководствовался г-н Шумахер, когда вносил в Банк взятые им отсюда деньги. Мне важно говорить здесь о г-не Шумахере потому, что ему принадлежит эта идея, и идея не преступная, как говорит товарищ прокурора, а идея честная, — о том, чтобы не пользоваться чужим ущербом, вместе со всеми нести ущерб от грозившей беды. Эту мысль он сообщил Ленивову, который сделал то же самое, т. е. внес свои деньги обратно в Банк.

Здесь говорят, что он не внес все деньги, что он взял деньги, принадлежащие наследникам Сенькова, которых он не возвратил в Банк.

Я должен сказать, что по отношению к Сеньковым Ленивов был приказчиком. Но можно ли порицать приказчика за то, что он заботился об интересах своего хозяина или доверителя и берет из Банка обратно деньги, которые он должен беречь? Если бы он не взял из Банка те деньги, которые принадлежали Сеньковым, то обвинительная власть, может быть, точно так же посадила бы его сюда и сказала бы, что вот, глядите, этому человеку вверили имущество, принадлежащее малолетним, или его верителям, этот человек знал, что дела Банка плохи, и, несмотря на это, он не взял из Банка вверенного ему имущества, — следовательно, он грабитель.

Но вот он взял эти деньги обратно, а его все-таки обвиняют и видят в этом преступление.

Вообще обвинительная власть видит здесь во всем пре-



ступление. Берут деньги из Банка — обвинитель видит в этом преступление, продают акции — в этом тоже видит преступление, утирают слезы нищим, отдавая им деньги за понесенный ими убыток, — в этом опять-таки видят преступление...

Надо очень дурно смотреть на человека, чтобы говорить, что все делается им из корысти. Нет ничего легче, как бросать в человека подозрением. Прежде чем решаться сажать его на скамью подсудимых, нужно взглянуть на него как на человека. Прокурорскому надзору следовало бы разобрать хорошенько те факты, которые приводятся как улика. Суд у нас идет не старый, когда уликой представляли нередко такие факты, которые не имели никакого жизненного значения. У нас идет теперь суд человеческий, суд по совести, а потому надо судить не по одним фактам, но нужно войти и в душу человека и осветить эти факты вопросом об их цели и смысле. Обвинение этого не сделало, и мы должны были исполнить ту задачу, которой оно не исполнило.

Искупили ли обвиняемые тот грех, который они сделали и который, по моему убеждению, не может быть рассматриваем и обсуждаем судом присяжных? Да, они совершенно искупили его! Когда Борисовский продавал акции, он продавал их не нищим, не бедным, а людям со средствами, которые могли рассчитывать на выгоды. Затем, когда эти люди пришли к Борисовскому, прося взять назад купленные у него акции, он возвратил им деньги. Ведь банку совершенно безразлично, кто владеет акциями, Иван или Петр, и вкладчики нисколько не страдают от того, что Борисовский продает акции и что владельцем их, вместо Борисовского, будет Залогин.

Мы знаем, что покупателями акций были такие лица, как, например, Сазиков, Алексеев, Залогин и Хлудов. Когда эти лица сказали, что они понесли ущерб, то им предложено было получить деньги обратно. Мы знаем, что проданные Сазикову 500 акций были возвращены обратно точно так же, как были возвращены акции Мочалкина. Напрасно обвинение говорит, что возвращение последовало после возбуждения следствия. Здесь Борисовский заявил, что Мочалкину деньги были возвращены еще до возникновения следствия. Кроме того, здесь было доказано, что, едва только Купчинский прислал купленные акции, ему тотчас же были возвращены деньги.

Наконец, нам известно, что когда продавались акции Борисовского, то никогда не скрывали того, что акции эти принадлежали Борисовскому. Никогда никто не упрасивал

купить акции, принадлежащие Борисовскому, а за ними приходили те люди, которые желали купить их, чтобы впоследствии получить барыш.

Итак, я повторяю, что все эти лица получили обратно деньги, заплаченные за акции, и единственное исключение составляет Лучков, который потерял 4500 руб.

Я не стану смеяться над его несчастьем, как это делали гражданские истцы, смеясь над Миллиоти, который говорил, что в его положении можно было голову потерять. Я только скажу, что Лучков хотел выгодно поместить свои деньги и в этом ошибся. Но разве вы не слышали, что Борисовский хотел отдать деньги обратно. Здесь, во время судебного следствия, была сделана ссылка на некоего Щукина, который будто бы, по просьбе Борисовского, предлагал Лучкову по 50 коп. с рубля и что он говорил об этом Лучкову.

По этому поводу я обратился к г-ну председателю и сказал, что Щукин не мог этого говорить, причем просил вызвать сюда Щукина в качестве свидетеля.

За два дня до предъявления этой просьбы явился в заседание свидетель Протасов, который был вызван по просьбе товарища прокурора; просьба о вызове этого свидетеля была заявлена товарищем прокурора во время судебного следствия и была удовлетворена без всякого замедления. Но когда мы заявили такую же просьбу о спросе свидетеля Щукина, то нам отказали.

Протасов был нужен, чтобы подтвердить три или четыре слова, ошибкой приписанные прокурором другому лицу, и вот, чтобы поддержать достоинство прокуратуры, мчится курьер суда и приводит его. Но когда понадобился подсудимому свидетель, от слов которого зависела судьба и честь подсудимого, вы помните, как поступили с нами... Таким образом, с нашей стороны была полная готовность представить все дело в чистоте и доказать, что Борисовский был безусловно прав и что слова его были справедливы.

Таким образом, Лучков оказывается единственным человеком, который не получил обратно денег. Он потерял 4000 и, однако, отказывается получить назад затраченные им на покупку акций деньги. Он сказал: я хочу через правосудие получить эти деньги, я хочу насладиться страданиями тех, которые мне причинили зло.

Вы видите, что за люди явились сюда обвинять!

Вообще есть очень много злых людей, которые желали причинить много зла Борисовскому и другим. Мы видели здесь много таких людей, которые относились к обвиняе-

мым с большой жестокостью и как бы хвалились тем, что вот им удалось посадить на скамью подсудимых городского голову Шумахера. В этом деле было много страсти, и это понятно, потому что здесь замешан вопрос о деньгах: везде здесь на первом плане деньги, а люди забыты. Когда у человека украдено последнее его имущество, то он выбегает на улицу и сразу же схватывает первого попавшегося ему честного человека, потом другого, третьего и каждого спрашивает, не он ли украл.

То же самое совершается в настоящем деле.

Я могу простить тем лицам, которые действительно много потеряли, но не тем представителям гражданских интересов, которые, ослепленные гражданским иском, говорили здесь много такого, за что можно только краснеть.

Один из представителей гражданских истцов вызывал здесь тени мертвых, умерших будто бы от крушения Банка. Один из представителей гражданских истцов говорил здесь, что он пришел защищать интересы бедных, интересы нищих, а между тем сам проговорился, что он явился от Залогина, которого я никогда не видал нищим у церковной паперти...

Затем говорят: пожалейте бедных!

Бедных пожалели прежде вас! Тех 950 гражданских истцов, о которых с таким сожалением говорил г-н Фальковский, теперь уже нет, — им утерли слезы, и они не проклинают сидящих здесь перед вами, а может быть, молят об их спасении.

В деле имеются бумаги, из которых видно, что вкладчики до 2000 вполне удовлетворены. Если деньги пропали у благотворительных учреждений, то мы отдали им потом до последней копейки. Мы возвратили деньги многим церквям, и не пришли за деньгами только те, которые не хотели.

Если бы это делалось для комедии, то мы платили бы только тем вкладчикам, свидетельство которых для нас опасно.

Мы спросим теперь вас по совести: кто утер слезы нищим — обвинение? Нет!

Может быть, гражданские истцы? Нет! Они заботятся только о том, чтобы, если мы внесем деньги, — чтобы их Сазиковы, Залогины были удовлетворены.

Судите, какой смысл во всем этом деле, какие страсти igraют в нем!

Здесь к обвинению припуталась еще другая сила: на помощь ему явились гражданские истцы. Один из гражданских истцов, г-н Владимиров, говорил, будто бы уголовное обвинение должно быть солидарно.

Но по здравому смыслу в уголовном деле каждый отвечает за себя. Может быть, мысль г-на Владимирова и верна, но не в этом случае.

Неправду говорит г-н Тростянский, что только в уголовном суде можно говорить об убытках. Нет, с требованием об убытках можно обратиться в гражданский суд, в котором считают их на счетах. А вас приглашают сюда не для этого, а для того, чтобы судить по совести действия человека.

Вы знаете, господа присяжные заседатели, что я — представитель трех лиц: Борисовского, Ленинова и Вишнякова. Не осудите меня за то, что я, может быть, отнял у вас много времени. Ведь с меня началась защита членов совета.

Я не стану вам много хвалить их — они в этом не нуждаются. Вы сами можете судить о том, могли ли эти люди сделаться так скоро бесчестными. Вы знаете их прошлое, знаете те огромные заслуги, которые они оказали обществу. Они смело могут смотреть в глаза своим порицателям и хулителям и сказать им: встаньте перед нами и укажите, кто из вас делал в жизни больше, чем мы, укажите, чья жизнь прошла так незапятнанно, как наша...

Здесь со стороны обвинения была сделана попытка доказать вам, что прошлое Шумахера не совсем чисто. Но вы знаете, что эта попытка оказалась очень неудачной.

Я укажу вам на прошлое и других обвиняемых. От какой общественной должности отказывался подсудимый Борисовский? В каком общественном учреждении он не служил? От какого дела бежали Ленинов и Вишняков?

Все они прожили с лишком по 50 лет, и пора им сходить в могилу. Время ли им делаться мошенниками и грабителями? Как могли эти люди, прожившие всю жизнь свою честно, сделаться вдруг дурными людьми и своими действиями довести банк до крушения?

Прежде чем произвести суд над ними, возьмите каждую отдельную личность и посмотрите на действия ее в банке.

Возьмем Борисовского и поглядим, что он сделал в этом банке такого, чтобы его можно было называть мошенником. В совершении подлогов он не нуждался, скрывать чужие преступления ему не было надобности, и он не может быть судим за это, потому что ошибки со стороны Ландау отразились на кармане Борисовского, как и на прочих.

Он обвиняется также и в нерадении. Но мы знаем, что по мере сил своих он исполнял все свои обязанности и назначал ревизии, когда было нужно. Правда, он не знал хорошо дел иностранного отделения, не знал иностранных языков, но незнание не есть еще преступление.

Когда случилась беда, когда, благодаря злым людям, последовало крушение банка, этот человек сначала увлекся и стал продавать свои акции, но потом он одумался, возвратил полученные им деньги и вознаградил за тот ущерб, который он лично причинил.

За что же остается судить этого человека? Разве можно его судить за то, что он до сих пор был честным человеком и примерным членом общества?

Возьмите его прошлое. Он был пионером русской промышленности. Он участвовал в таких предприятиях, которые делали честь его деятельности...

И вот за все это его посадили на скамью подсудимых и теперь называют мошенником, грабителем и составителем подлогов!..

Обратимся к Вишнякову. Он пошел служить в банк безвозмездно, имея только 50 акций, и никакого другого имущества у него не было. Ему не было расчета совершать подлог, потому что это отразилось бы весьма существенно на его имуществе. Он исполнял свои обязанности честно, как умел. Я напому вам его последние слова: «Вся моя вина в том, что я пошел служить в этот банк».

Наконец, возьмите Ленинова. Он считался в Москве человеком, в прошлом которого не было позорящих обстоятельств. Он вел широкую торговлю, и мы ни от кого не слышали, чтобы этот человек, пользовавшийся большим кредитом, нарушил когда-нибудь оказанное ему доверие. Когда разразилось это несчастье и когда, следовательно, он мог предвидеть, какая его ждет беда, не лучше ли бы ему было скрыть свое имущество. Между тем он созвал своих кредиторов и отдал им все свое состояние.

Здесь говорят, что эти люди — грабители. Но ведь грабители делаются богаче после преступления. Между тем мы видим, что один из подсудимых разорен и потерял все свое состояние, у других погибли сотни тысяч...

Защита должна беречь ваше время, и не пройдет четырех минут, как я умолкну.

Страшная минута наступает для подсудимых. Защита должна была сделать все, что могла, но она должна щадить ваше терпение.

Много тут перенесли они в это время и едва ли по заслугам. Тяжело человеку, чье прошлое чисто, кто сознает, что и в настоящем совесть его не замарана виной в позорных делах, стоять два дня под градом оскорбляющих обращений, допущенных гражданскими истцами. Их горе было сугубое, их позор слышали здесь пришедшие их утешать их матери,

дети, жены. Они должны слышать, как их терзали, обвиняя в похищении струсберговских миллионов, когда в самом деле эти деньги не у них, а напротив, в миллионах Струсберга лежат и их сбережения, отнятые незаконными путями, допущенными правлением и Струсбергом. Адские муки, медленная смерть — их положение...

Пора покончить. Я настолько верю в то, что подлоги и мошенничество чужды им, что готов был бы прямо вручить обвинителям секиру, если бы закон карал подобные поступки смертью, и уверен, что в решительную минуту сомнение овладело бы их душой.

Но здесь не место вопросу о казни, здесь место вопросу о правосудии.

Меч этого правосудия в ваших руках.

Извлеките его и рассеките... не сидящих перед вами, — они да живут! — но тот узел клеветы и хитросплетений, который враги собрали над головами осужденных...

**ДЕЛО  
ХАРЬКОВСКОГО ОБЩЕСТВА  
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА:  
ЛЕВЧЕНКО И ДР.,**

*обвиняемых в растрате  
и небрежном хранении  
денежных сумм*

В 1880 году в делах Харьковского Общества Взаимного Кредита назначенной советом банка ревизией был обнаружен целый ряд злоупотреблений.

Было выяснено, что в течение многих лет неправильно велись книги банка; что, вопреки уставу банка, не делалась ежегодная проверка его отчетности; что банк производил недозволенные уставом сделки и т. д.

Производившиеся в отделе текущих счетов операции не оставляли сомнения в преступном их характере. Стоявший во главе этого отдела кассир и член правления А. Левченко был одним из видных деятелей банка. Он слыл богатым человеком, видным дельцом, обладающим в финансовых делах большими способностями. Доверие к нему как со стороны его сослуживцев по банку, так и со стороны публики было неограниченное, чем он широко воспользовался.

В течение нескольких лет он путем неправильного ведения книг присвоил себе около 350 тыс. руб. Вносимые вкладчиками деньги по его распоряжению записывались более ранними числами лишь тогда, когда вкладчики являлись за своими деньгами; он скрывал вносимые в банк ценные пакеты и учитывал в свою пользу представленные банку для учета векселя. По его объяснению, неправильное счетоводство велось потому, что у него за массой работы не хватало времени, для того чтобы следить за книгами, а из денег он присвоил себе лишь 50 тыс., которые он обязуется возвратить.

Помимо действий Левченко, неправомерной казалась и деятельность других членов правления.

Было обнаружено, что банк принимал к учету векселя не только без подписи бланконадписателя, как это требуется уставом банка, но и без всякой подписи; именные ценные бумаги принимались банком без передаточной надписи и,

следовательно, ни в каком случае не могли сделаться собственностью банка.

Правила банка о ежегодной проверке отчетности не исполнялись и за 1879 год, в который больше всего было присвоено Левченко, никаких упущений в книгах замечено не было.

Все эти обстоятельства привели к заключению, что правление, обязанное в силу устава банка заведовать его делами, относилось к своим обязанностям небрежно, и поэтому весь состав правления с председателем Сливичким во главе был предан суду за небрежность при исполнении служебных обязанностей (ст.ст. 351 и 359 Уложения о наказаниях).

Левченко был предан суду за растрату и за злонамеренные действия при производстве ссуд и выдаче вкладов.

Трофимов, ведший книгу текущих счетов, обвинялся в составлении неправильных отчетов для сокрытия преступных действий (ст.ст. 13 и 359 Уложения о наказаниях).

Лысогоренко — в том, что, как депутат, небрежно исполнял свои обязанности (ст. 417 Уложения о наказаниях).

Все подсудимые были преданы Харьковскому окружному суду с участием присяжных заседателей. Заседание происходило с 21 по 25 мая 1881 г.

Председательствовал Любовицкий. Обвинял Дукмасов. Гражданский иск со стороны Харьковского Общества Взаимного кредита поддерживал Ф. Н. Плевако.

Защищали присяжные поверенные: Андреевский, Стойкин, Белинский, Клопов, Сахновский и Краснопольский.

Присяжные заседатели оправдали всех, кроме Левченко. Он признан виновным, но заслуживающим снисхождения, в присвоении и растрате как банковских денег, так и денег миссионерского общества.

Суд приговорил его к ссылке на 4 года в Омскую губернию с лишением всех особенных прав и преимуществ.

### **Речь поверенного гражданского истца**

Я задержу ваше внимание на перепутьи от обвинения к защите.

Так как всякая задержка неприятна, то я буду немногословен.

Меня обязывает к этому и то, что материал данного дела делает бесспорным, что я хотел доказывать на суде: г. Левченко признал ущерб, нанесенные обществу взаимного



кредита, а защита и прочие подсудимые серьезно не оспаривали итогов ущерба, определенных экспертизой.

Бороться со злом я буду не ввиду законов, которые формулировали в обвинительном акте совершившийся факт; я буду бороться ввиду закона, вытекающего из изучения приговоров, выносимых присяжными, нашими русскими присяжными, — закона, обобщающего факты из истории этого молодого института: этот закон — значительное количество, быть может, нигде не повторяющееся, оправданий при создании вины, доходящее до отрицания подсудимым признанного факта.

Здесь, несомненно, немалую роль играет все переносщая, незлопамятная, любвеобильная славянская натура русских присяжных; несомненно, еще более влияет ваше знание среды и условий всякого дела, мощно диктующих вам внешне непонятное, но внутренне разумное суждение о людях и фактах.

Ввиду этого закона я должен доказать вам, что здесь нет данных для отрицания тех преступных фактов, которые открывает иск от общества к виновникам факта.

Возникновение настоящего преступления — история древняя; это — история о возникновении общества взаимного кредита в Харькове, история возникновения подобных обществ в России. Одна и та же, почти шаблонная летопись: додумалось и наше общество до идеи товарищества, банков, как конкуренции союза малых капиталов с крупными капиталистами. Начали возникать одни за другими много-различные союзы. Сначала, конечно, вера в идеал, восторг: служатся молебны с приглашением чудотворных икон, устраиваются обеды, на которых пьют тосты за предрержащую власть, произносят речи, задыхаются от восторга, что у нас так много гениев и мужей добра и правды, моментально могущих осуществить самые пламенные мечты общества.

Первый день банковской жизни кончается изобильными излияниями, объятиями, поцелуями, а затем банк вступает в свою нормальную жизнь. Избраны люди, которые должны руководить делом, избраны власти, которые должны установить порядок и достигнуть тех целей, которые предположены.

Но проходит пора. Избранники начинают забираться властью, начинается несоблюдение тех форм, которые только и могут служить гарантией для всякого члена общества, что избранные власти делают дело. Начинается известная картина: большею частью один человек, более опыт-

ный, забирает все дело, выказывает большую сноровку, избирается своими товарищами и дело принимает форму единовластия — великий визирь и спящий диван.

Но великий визирь, заправляя делами банка, все-таки должен помнить, что власть принадлежит тем, кто избрал его, и нередко возвращается к своему источнику в форме перевыборов. Некоторая мягкость, доброта, снисходительность к заемщикам — и для русского человека этого довольно.

Впоследствии на общем собрании проверки не делается. Начинаются овации, «хорошо», «благодарим», «управляйте нами» и «распоряжайтесь».

Года через 2—3 выражается желание возвеличить своих избранников стипендиями, серьезно помышляют об увековечении дорогих черт лица благодетеля в потомстве помещением его портрета в совете общества.

Но вот очарование прошло. Как ни быстро мы создаем, а еще быстрее разбиваем наши идолы, веру заменяем безверием, доверие к избранникам — доверием ко всякой клевете, ко всякому слуху о наживе, захвате, растрате.

У вас в харьковском обществе разочарование тоже настало.

Но у вас по крайней мере разочарование было основательно. Левченко можно поблагодарить за единственно оказанную им услугу во время его управления: он ценой расхищенных денег, правда, несколько высокой ценой, купил вам правомерное разочарование. Если он привел дело в такой порядок, что чуть не пропали все капиталы, то можно было прийти к основательному заключению, что такой человек никуда не годится.

Великим визирем харьковского общества взаимного кредита был Левченко. Он один при дремоте своих, метко названных «аксесуарными», помощников правил самовластно делами общества и разрушил его чуть не в конце.

Рождается вопрос: каким образом общество могло так жестоко ошибиться относительно этого человека?

Левченко внушал доверие двумя своими качествами: внешним и внутренним.

Внешнее, это — его крупная коммерческая сила; его имущественная мощь, благодаря которой он был, по мнению общества, способным не только взять на себя, но и выполнить самые ценные обязанности.

Внутреннее, это — его снисходительность, верность данному слову, способность не только войти, но и развести чужое горе.

Случаи, о которых говорил Левченко, случаи, где, благодаря ему и ему одному, спасались целые состояния, не подлежат никакому сомнению. Но действительно ли эти качества так прочны, как думали о Левченко его доверители?

Я думаю, что и в лучшей поре своей в них было много кажущегося, искусственного. Если вы отнесетесь критически к направлению моей задачи, то увидите, что богатство Левченко значительно суживается. Он делается крупным собственником только тогда, когда касса общества переходит в его руки. И немудрено. Не фабрики и шахты каменноугольные обогатили его, а обогатила его ему одному ведомая шахта в форме банкового сундука, шахта, не требовавшая больших затрат и снабжавшая своего владельца ассигнациями и благородным металлом по желанию...

Если вы отнесетесь критически ко внутренним качествам Левченко, то вы исключите из числа их доверие.

Доверие — сестра веры. Оба качества не всегда в ладу с логикой. Пламенной вере часто не соответствует предмет веры. Доверие, это — не качество того, к кому его питают, а того, кто его питает. Один из величайших умов средних веков выражался о вере, что вере логика не нужна: *credo quia absurdum*.

А Левченко не мог не заботиться о доверии. Ведь время от времени власть возвращалась к избирателям. Надо было действовать на них одним из лучших свойств хорошего человека — делами, внушающими доверие. Исполнять же слово, когда оно относилось к общественному кредиту, помогать деньгами и средствами Левченко было и легко и нужно: легко — ибо ничего нет легче, как творить добро чужими средствами.

Не зная источника добра, люди восторгаются делами деятеля; но деятель добра тогда только высок и свят, когда свои добрые желания он исполняет своими собственными средствами, побеждая во имя добра эгоистическую волю, неохотно расстающуюся с тем, что нужно самому обладателю. Тогда деятель добра добродетелен действительно.

При изучении дела мы видим, что не только Левченко пользовался доверием, но он и сам доверял другим. Однако доверие его к другим основывалось на простом соображении, что он должен жить в мире с обществом, которое избрало его, потому что при малейшей ссоре, при малейших нехороших отношениях он мог потерять место, а это было бы моментом, при котором старых грехов нельзя было бы прикрыть и пришлось бы за них рассчитываться.

Вот в каком виде рисуется мне нравственный образ Лев-

ченко, — виде, правда, менее радужном, но зато объясняющим нам бытие в его воле и тех прекрасных действий, которые и до сих пор не могут быть забыты, и тех поступков, которые он совершал к изумлению его бывших, им очарованных избирателей.

При этом спешу оговориться, что я этим вовсе не хочу сказать, что Левченко — злодей, вроде Струсберга, Юханцева, что он из числа тех хищников, которые не могут равнодушно взирать на чужое.

Я не могу не напомнить, что он не скрывал, может быть, большей части средств своих: видно, что он верил в свое дело, для которого брал деньги, вероятно, убежденный, что выгоды им задуманного предприятия обеспечат его самовольные захваты сумм общества. Этим он отличается от всех растратчиков, которым имя легион, а тип — Юханцев.

Он не скрывал особенно своих средств: дома его на виду и не заложены по разным закладным, копии также на виду, — скрыто разве что-нибудь себе на черный день. В нем нет этого обыкновенного явления, как в других растратчиках, что у них на виду только такое имущество, которое при быстрой продаже ничего не стоит и которое свидетельствует об утонченном вкусе тех, которые привыкли жить на чужой счет.

Но как бы ни смотреть на дело, он бесспорно виноват в ущербе, нам причиненном. О цифре я говорить не буду по той причине, что для уголовной ответственности цифра играет роль и в скромном размере 300 руб. Точное определение цифры будет принадлежать суду, который будет обсуждать последствия вашего вердикта, и тогда мною будет представлен расчет.

По отношению к прочим подсудимым слово мое тоже будет недлинно. Я прежде всего, чтобы быть верным принятому мною, как человеком известной профессии, началу, должен заявить, что ни одним словом не стану поддерживать даже в смысле гражданского иска обвинения, направленного против Житкова.

При всем моем уважении ко всяким актам, исходящим от судебной власти, я решительно не могу понять, каким образом могло случиться такое явление, что, начав обвинительный акт словами: «в 1880 г. в марте месяце, вступив в число членов правления, Житков тотчас начал изучать делопроизводство и открыл беспорядки», кончают его: «на основании вышеизложенного Житков обвиняется в том же».

При такой деятельности Житкова единственное, что гражданский истец, по отношению к нему, может заявить,

это — что он не находит возможным не только поддерживать как гражданский истец обвинения против него, но даже не находит возможным признать хотя бы в одной копейке ответственным его перед тем обществом, которому он хотел служить честно и добросовестно.

Относительно остальных членов правления я точно также не могу поддерживать взгляда, что они умышленно, сознательно допустили растрату.

Двухдневное изучение дела убеждает, что умышленного отношения с их стороны не было.

Но зато они не могут быть свободны от упрека в нерадении. Доказывать этот проступок незачем: достаточно вспомнить, что растрчено до 360 000 руб. и растрчено не вдруг, а путем медленного процесса обманов по текущему счету. Этот факт сам собой доказывает существование нерадения. Достаточно было нескольких минут для эксперта, чтобы он увидел обманы и ошибки, достаточно было нескольких дней для незнакомого с банковым делом производством Житкова, чтобы среди прений и насмешек окружающих он вскрыл и огласил истину.

Что же делали члены правления?

Они дремали в часы бодрствования и труда. Кажется, они приходили в банк не для того, чтобы трудиться и трудом купить себе право на домашний отдых, а, уставши от домашнего труда, приходили отдыхать в уютные комнаты правления! Они ленились изучать дело, как сделал это Житков; они, наконец, не умели следить за делом!

Лень; и сон, и простота — эти прекрасные качества, которыми наделяет судьба некоторых из своих избранных, — конечно, не проступок и всякий может в своей личной жизни пользоваться сколько угодно своими дарами; но когда лень берется за общественный труд и портит его, когда сон берется стеречь стражу, когда простота хватается за решение серьезных общественных дел, — они делаются преступными.

Я высокого мнения об умственных силах подсудимых, но по отношению к лени, сну и простоте можно применить изречение одного великого писателя Европы относительно человеческой глупости: «Всякий имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом»...

Если общество избрало нас быть хранителями его интересов, а мы делаемся нерадивыми, тогда мы становимся ответственными перед теми, чьим состоянием мы распорядились.

А что нерадение было — для этого достаточно вспом-

нить, что факт самой растраты в 360 000 руб. не доказывается здесь, а сам доказывает то, что из него следует...

Поэтому я по отношению к прочим подсудимым не считаю себя нравственно имеющим право отказаться от обвинения, в смысле гражданского иска.

Я обвиняю их в нерадении, результатом которого было, хотя бы неумышленное, с их стороны допущение Левченко нанести ущерб обществу взаимного кредита, о которых я буду представлять перед судом на основании вашего вердикта.

Я думаю, милостивые государи, что мне необходимо, заканчивая свою речь, остановиться еще на одном факте.

Редкое другое дело, как настоящее, может быть, подтверждает то правило, что в суде присяжных является новым элементом, обыкновенно в суде коронном несуществующий, — так сказать, ограниченная связь с тем обществом, из среды которого вышел известный деятель, и вследствие этого отношение к нему, как к своему близкому, — отношения отеческое, братское, полное любви, полное снисхождения.

Я говорю, редкое другое дело подтверждает это правило, как настоящее.

Все подсудимые, здесь сидящие, не первый раз являются перед вашими глазами. Я думаю, вы каждого из них видели между собою, каждого из них видели в лучшие для него дни и, вспоминая, что силою вашего вердикта ряд лучших дней может для них прекратиться, может начаться преждевременная осень с бурями и непогодами, вы можете отнестись к ним мягко.

Против мягкости уголовного вердикта человек, который случайно стал поддерживать гражданский иск и который, бессильно смотря на те места (*указывает на места защиты*), завидует противникам, не может сказать ничего...

Но я должен сказать одно, — величайшее уважение общества самого к себе должно состоять в следующем: можно прощать подсудимым их вину, но никогда не следует оставлять в их руках того, что они виною приобрели; можно пощадить подсудимых, но никогда не следует щадить их больше тех, кому они причинили вред.

Наказанием, которое ждет каждого подсудимого, когда он обвинен вашим вердиктом, потерпевший сыт не будет, — ему лучше от этого не станет.

Но если преступный факт, совершенный известным лицом, вменяется ему в вину, — тогда для потерпевшего остается справедливое утешение: свое из рук недостойных взять

назад, и рукам, которые не работали, охраняя чужое, сказать: отдайте нам и свое, чтобы видеть, как нехорошо потерять то, что имеешь; мы потеряли по чужой вине, пусть же отвечает тот, по чьей вине наше потеряно.

Я думаю, милостивые государи, что, как бы общество ни относилось мягко к своим членам, оно должно помнить, что правосудие есть та же математика.

Ни один математик не скажет  $3 \times 3 = 9$ , но для моей подруги  $= 10$ : ему  $3 \times 3 = 9$  для всех.

Также и факт преступного деяния остается преступным — все равно, сидят ли на скамье подсудимых люди, которых вы никогда не видели, или люди близкие, хотя бы даже братья, друзья.

Если вы пришли судить о факте, то вы его должны назвать белым, если он бел; если же факт не чист, то должны сказать, что он не чист, и пусть подсудимые знают, что им предстоит умываться и умываться...

Закончу я мою речь одним анекдотом из восточной жизни, — иногда не мешает оглянуться и на восток, у которого есть прекрасные изречения и прекрасные анекдоты.

Один турецкий рассказчик говорит, что в Турции был судья, которому пришлось судить деяния своего отца; он присудил отца к 90 ударам палкою и, смешивая слезы с чернилами, подписал вердикт.

Во время исполнения приговора, когда отец претерпевал удары, сын стоял тут же и плакал, а когда удары были прекращены, он первый бросился обнимать и целовать отца.

Подражайте в хорошем востоку: когда вы видите, что деяние преступно, скажите, что оно преступно, а затем, оставаясь людьми, сжимайте в своих объятиях людей, которые заслужили наказание по своей собственной вине...

## ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В САРАТОВСКО-СИМБИРСКОМ БАНКЕ

(дело Борисова и др.)

Дело это по обвинению подполковника Сергея Алфимова, титулярного советника Николая Якунина, надворного советника Сергея Борисова, коллежского секретаря Александра Коваленко, отставного артиллерии поручика Виталия Трухачева, коллежского асессора Александра Иловайского, дворянина Константина Марцыновского и коллежского регистратора Владимира Исакова в растратах, служебных подлогах, хищениях и других злоупотреблениях слушалось в заседаниях Тамбовского окружного суда с участием присяжных заседателей с 4 июня по 3 июля 1887 г. под председательством председателя Тамбовского окружного суда Муравьева.

Обвиняли — товарищ прокурора Саратовской судебной палаты Маскалев и товарищ прокурора Тамбовского окружного суда Волченский.

Представителями интересов гражданских истцов выступили: присяжный поверенный Ф. Н. Плевако от Государственного Дворянского Банка, присяжный поверенный Немировский от своего имени и присяжные поверенные Бобрищев-Пушкин, Клобуцкий и Якубов от имени отдельных акционеров.

Защищали подсудимых: С. Алфимова — кандидат прав Блюмер, С. Борисова — присяжный поверенный Пржевальский, Н. Якунина — присяжный поверенный Шайкевич, В. Трухачева — присяжный поверенный Шатов, А. Коваленко — присяжный поверенный Телепнев, остальных — присяжный поверенный Лятошинский.

Во главе Саратовско-Симбирского Земельного Банка, открытого в городе Саратове в 1873 году, стояли Алфимов, Борисов и Якунин; остальные подсудимые были служащими или занимали менее ответственные места.

Злоупотребления в Саратовско-Симбирском Земельном Банке, имевшие место в течение ряда лет, дошли слу-



чайно до сведения акционера Банка, присяжного поверенного Немировского, и побудили его подать соответствующую жалобу прокурору Тамбовского окружного суда. В результате этой жалобы было возбуждение предварительного следствия, вызвавшего почти одновременно с быстрым понижением цен на акции переизбрание правления Банка.

Новое Правление произвело ревизию дел Банка и, вопреки публиковавшимся старым правлением отчетов, обнаружило неправильное ведение счетоводства, исчезновение складочного и запасного капиталов, задолженность Банка в размере 456 797 руб., массу служебных подлогов и других злоупотреблений.

Кроме того, было установлено, что Банку и в будущем грозят убытки ввиду выдач усиленных ссуд под некоторые имения. В частности к этому роду ссуд относится ссуда в 1 250 000 руб., полученная Борисовым под залог Кано-Никольского имения.

По всем этим причинам, которые нашли себе подтверждение и на предварительном следствии, новое правление пришло к убеждению, что необходимо, и по положению дел Банка и по его уставу, объявить Банк в положении ликвидации.

После двух общих собраний последовало 8 апреля 1883 г. Высочайшее повеление о передаче дел Саратовско-Симбирского Банка в ведение Министерства финансов. Размер растрат и хищений, по заключению экспертов, простирается от одного до полутора миллиона рублей. Обвинение предъявлено по 1, 2 и 3 ч.ч. ст. 354, по ст. 362, ч.ч. 12, 13, ст. 1154, ст.ст. 1198 и 1666 Уложения о Наказаниях.

Приговорены: Алфимов к высылке в Архангельскую губернию на три года, Трухачев — в Томскую губернию на 5 лет, остальные подсудимые оправданы. При этом Суд постановил ходатайствовать перед Государем о замене назначенного Алфимову наказания 4-месячным арестом без ограничения прав. Гражданские иски оставлены без рассмотрения.

### **Речь представителя гражданского истца Государственного Дворянского Банка**

Несколько лет тому назад, гг. присяжные заседатели, добрая половина из десятка сидящих перед вами подсудимых была сильной, славной, обладающей властью и средствами.

Всего у них было много — и денег, и врагов, и завистников. Не одно осуждение, не одно злое обобщение их деятельности раздавалось за их спинами, но они были свободны, крепки, и им не могли вредить эти слухи, эти мнения.

Теперь не то: они сидят на скамье подсудимых, крепко связанные узами карающего закона, слабые, опозоренные. Всякое лишнее, ненужное для нас, но тяжелое для них слово болезненно отзывается на них, вредит им.

Поэтому здесь, на суде, я не позволю себе ни одного искусственно связанного положения, направленного к тому, чтобы перевесить чашу весов на сторону обвинения.

Да оно и не нуждается в этом. Мощное, поразительное по трудолюбию, оно дало нам столько обличительных для подсудимых фактов, что если вы признаете из них доказанную лишь самую малую часть, то и тогда требования наши будут всецело удовлетворены.

Кроме того, к сдержанности меня обязывает и мое отношение к этому делу, в котором я являюсь представителем дворянского банка.

Сам банк не пострадал и неповинен ни в одном из злоупотреблений погибшего банка: дело ему передано для ликвидации уже погубленное, мертвое. Те ошибки и проступки, которые допускались в правлении саратовско-симбирского банка, выносил другой банк, не наш: мы перед делами, до нас закончившимися, сами стоим в роли вопрошающих, сами ищем виновных, а не свидетельствуем о них.

Все, что совершается перед глазами разумного человека, должно сделаться достоянием его мысли и принять форму грамматического предложения, в котором части, явления или дела распадаются на те же элементы, на какие распадается и предложение: на сказуемое, подлежащее и на случайные части целого суждения.

Какое же слово подходяще для сказуемого настоящего дела?

Банк исчез. Но банки умирают или погибают по недостатку условий жизненности, или их губят люди по недостатку доброй и избытку злой воли.

Нельзя отрицать, что немало банков погибло по первой причине. Когда у нас появилась возможность создавать их, мы увлеклись, засеяли жатву далеко более потребностей рынка. Для живучести этих учреждений не было почвы.

Но земельные банки вне этих условий: в них нет зависимости от личной кредитоспособности должников, их бумаги выходят обеспеченными с избытком заложенными именьями. Для того, чтобы поколебался и погиб банк, на-

добно наличие таких чрезвычайных явлений, как землетрясение или нашествие неприятеля на район деятельности данного земельного банковского учреждения.

Но страсти, гнездящиеся в груди человека, подчас опаснее и разрушительнее титанических сил природы и демонических внешнего врага.

В данном деле нет внешних условий гибели банка. Его погубили.

Таким образом, сказуемое найдено...

Поищем подлежащее к нашему предложению.

По силе сказуемого уже можно догадаться, кто подходит и кто нет к этой роли. Пропало в банке 50 руб. мелочи, — ищите виновных между сторожами, артельщиками, писцами; пропало несколько тысяч и пропажа замаскирована в бумагах и книгах, — виновники выше первой категории.

Но если погиб весь банк, погиб безвозвратно, погиб не в один момент похищением наличности, а погиб путем системы, характера деятельности, то для такой гибели нужны силы, постоянно присущие банку, властные, главенствующие.

Таковыми силами были председатель банка Алфимов и подчинявший все и всех своему фактическому влиянию Борисов.

Но недостаточно отыскать два момента нашего предложения, чтобы требовать осуждения деятелей. Жизнь кишит неправильными и губительными поступками людей, но общественная совесть скупа на жестокие слова. Следует определить общественное значение рассматриваемого дела.

Я утверждаю, что крушение банка есть в одно и то же время и крупное экономическое правонарушение и рана, наносимая самолюбию страны. Банки, как орудия кредита, — давнишняя необходимость общества; но очень долго эту потребность удовлетворяли исключительно правительственные учреждения, а нашу собственную самостоятельность считали преждевременной. Только доверие к нашим силам и к нашей способности подняться выше «личного» и достигнуть «общего» дало жизнь среди многих других новых институтов жизни и институту общественного кредита.

Факт неумелости, преступной или нерадивой, это — материал для признания ошибочным проявления к нам доверия и ступень к регрессу, к возвращению все и вся проникающей опеки, к обременению центральной государственной власти непосильным трудом частного характера.

А если к фактам крушения присоединить еще и равно-

душие общественной совести, — в чем, кстати сказать, она до сих пор не провинилась, — то был бы налицо и материал другого сорта: факт неумелости нашей отразить зло и факт снисходительности нашей к явно незаконным поступкам общественных дельцов...

Установив общественное значение рассматриваемого дела и необходимость отнестись к нему с заслуживающего этого внимательностью к интересам правосудия, вернемся к лицам, имена которых уже названы.

Чтобы решить вопрос: как погубили Алфимов и Борисов саратовско-симбирский банк, необходимо представить общий характер этих лиц, насколько это возможно.

Каждый человек в постоянном образе действий верен своему определенившемуся душевному строю.

Пусть же прошлое Алфимова и Борисова дадут нам ответ на наш вопрос.

Отставной полковник, без всякого опыта в банкирских предприятиях, Алфимов, в эпоху деловой горячки, концесий, уставов, когда вчерашние поручики гвардии вдруг становились способными соединять железными путями концы России, когда дворянство, побросав свои поместья, объявило себя призванным к коммерции, возомнил о себе, что он крупный и серьезный банковый деятель, а благодаря связям и знакомству — стал во главе местного банка.

Понятно, что такой человек легко делается игрушкой и орудием в руках более сильного человека, особенно, если ему польстить в его самомнении.

Все прошлое Алфимова не дает и намека на то, чтобы он когда-либо унизился до грязного и темного хищения. Вряд ли он был способен переключивать из кассы в собственный карман, — он просто верил в гений своего племянника, верил в то, что питерские спекуляции Борисова не только обогатят его, но покроют ошибки банка в его первые годы и доставят громкую известность его деятелям и высшую премию его акциям.

Но этот рядом стоящий с ним человек, более сильный, мог ли он быть простым расхитителем чужого достояния?

Я не могу отказать, что я лично знал этого человека, и не думаю, чтобы он был способен к грязному хищению. Этот человек твердо верил в свои планы и всюду видел миллионы. Он — спекулянт по природе, а у спекулянтов есть болезнь: смешение своих собственных фантазий с действительностью.

Игроков биржевых можно сравнить с горячими игроками в карты. Когда игроки в горячности проигрывают свои

деньги, — они несчастные люди; но когда они пускают в оборот чужие капиталы, вверенные их попечению, — они уже преступники.

Мне думается, что вина Борисова только в том и заключается, что он забыл, что с общественным достоянием, которое вверено не для обращения в миллионы, нельзя поступать так, как он поступил с банковскими деньгами, играя ими на бирже, хотя, может быть, и без корыстных видов. Я не думаю, чтобы Борисов был расхитителем банковских сумм, — тогда ему не для чего было бы прибегать к таким сложным путям, когда он мог прямо задержать миллионы, скопившиеся в его портфеле.

Но раз два влиятельных человека, — эти подлежащие, найдены, то что же представляют собою другие лица?

Коваленков был лишь современником события. Я не могу предъявить к человеку требования, превосходящие его природу. Не Коваленков виноват, а те, кто его, не умевшего сберечь свое, посадили сберегать чужое. Этим лицам, именно, был нужен такой человек, как Коваленков, — тип лишних людей, из породы тех заседателей старых судов, которые приглашались заваривать чай для действительных судей.

Но, кроме Коваленкова, были и другие лица, являющиеся служебными частями предложения. Главным деятелям нужно было вести книги, которые отражали бы не действительное положение дел, а для этого им необходимо было обзавестись таким летописцем, который бы все время лгал и писал не то, что было на самом деле, о действительном же положении дела ему предоставлялось право вести собственные мемуары, которые никогда не должны увидеть свет.

И вот два лица, Трухачев и Иловайский, являются такими летописцами.

Но ни один человек, обреченный весь век писать одну ложь, не удержится, чтобы не написать такую неправду, которая идет для его пользы. Есть такие моменты, когда никто не станет стоять на страже чужого проступка, не требуя и себе выгоды. Но так как деятельность таких летописцев в этом случае самостоятельна, то главные воротилы не только не принимали участия в этих мелких хищениях, но и относились к ним с известною строгостью.

Вот чем и объясняется миссия Якунина, посаженного в банке с целью улучшения его внутренней жизни. Он шел туда с честными намерениями.

Что касается других придаточных частей — Бока и И. Борисова и случайно присоединившегося Марциновско-

го, то по отношению первых я имею одно обстоятельство, которое затрудняет меня произнести слово обвинения: в оценках не упоминается их имен, они появляются в одной лишь оценке Кано-Никольского имения.

Я, конечно, сомневаюсь в крупной стоимости этого имения, но верно, что существовали такие мнения, которые видели в этом имении золотое дно. Почему же Бок и И. Борисов не могли держаться такого же, может быть, и ошибочного, взгляда!

Но ошибки еще мало, надо сознательное преступление, чтобы сесть на скамью подсудимых. Необходимо на дело смотреть с точки зрения житейской правды, отличая формальную правду от действительной.

Вот почему я не требую от вас слова обвинения, а жду лишь одного слова правды.

Слово правды — великое дело: оно нужно нашей стране.

«Делающий правду, — сказал Владимир Мономах, — блюдет отечество свое!»

**ДЕЛО П. П. КАЧКИ,**  
*обвиняемой*  
*в убийстве дворянина Байрашевского*

Заседание Московского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 22 и 23 марта 1880 г., под председательством Товарища Председателя Т. Е. Рынкевича.

Обвинял Прокурор Окружного суда П. Н. Обнинский. Защищал Ф. Н. Плевако.

15 марта 1879 г., около семи часов вечера, в меблированных комнатах Шмоль, у студента Гортынского собралось несколько человек гостей, по большей части, как и хозяин, студентов Технического училища. Среди этого общества находились недавно приехавшие из Петербурга — бывший слушатель Петербургской Медицинской Академии дворянин Бронислав Байрашевский и восемнадцатилетняя девушка, дворянка Прасковья Петровна Качка.

Молодежь пела песни: сначала хором, потом, по просьбе присутствовавших, Качка стала петь одна. Это было уже в сумерках. Поместившись против сидевшего за столом Байрашевского, девушка пробовала петь то ту, то другую песню, но голос ее дрожал и прерывался. В середине романса она внезапно оборвала пение, вынула из кармана револьвер и выстрелила прямо в висок Байрашевскому. Тот мертвым упал со стула.

На допросе у судебного следователя Качка отказалась выяснить причины преступления, но не скрыла, однако, что она и убитый любили друг друга, что любви этой помешало какое-то постороннее обстоятельство, в силу которого совершилось убийство. По словам ее, покончить с Байрашевским она решила еще за месяц до самого преступления, револьвер купила за неделю, а зарядила накануне. Убив Байрашевского, она хотела застрелить и себя, но оружие выпало у нее из рук.

Следствие выяснило, что с августа 1878 г. Качка жила в

Петербурге, где слушала университетские курсы, и близко сошлась с Байрашевским, которого полюбила еще раньше, в Москве, живя с ним на одной квартире. Байрашевский увлекся девушкой и дал обещание жениться на ней, но обещания не исполнил, полюбив другую женщину, близкую подругу Качки, Ольгу Пресецкую. Заметив охлаждение любимого человека, его явное стремление избежать ее общества, Качка переменила свои дружеские отношения к Пресецкой, и сделалась беспокойной, раздражительной и странной.

Так длилось дело почти всю зиму. 26 февраля 1879 г. Байрашевский выехал в Москву, думая пробыть здесь несколько дней, а потом ехать вместе с невестой, Пресецкой, к родным в Вильно. В тот же день, только с другим поездом, отправилась в Москву и Качка, узнавшая об отъезде молодого человека.

В Москве она поселилась в номерах, откуда, дней за десять до совершения убийства, послала в Московское Жандармское Управление письмо с просьбой арестовать молоденькую, но очень опасную пропагандистку, Прасковью Качку, поместив в конце письма адрес своей квартиры. 15 марта утром приехала в Москву и Пресецкая. Байрашевский встретил ее на вокзале, пробыв с ней в квартире ее сестры, М. Пресецкой, до пяти часов вечера, а затем отправился в гости к Гортынскому. Там он встретил Качку и сообщил ей о приезде «Ольги Николаевны». Через непродолжительное время последовало убийство.

Подсудимая рассказала, что родилась в помещичьей семье и рано, пяти или шести лет, лишилась отца, после чего мать ее вскоре вторично вышла замуж за гувернера своих детей. Образование Качка получила в гимназии, но курса не кончила. В 1878 г., весной, приехав с отчимом из деревни в Москву, она очень подружилась с О. Пресецкой и осталась жить в столице, где вскоре познакомилась с Байрашевским. Осенью все трое, сдружившиеся между собою молодые люди, — Байрашевский, Пресецкая и Качка, переехали в Петербург и поселились, как и в Москве, все трое вместе. После этого Качка жила некоторое время на одной квартире с Байрашевским и своим отчимом, Битмидом. Перед поездкой в Москву она жила одна в гостинице.

На вопрос об отношениях Байрашевского к Пресецкой и о своих собственных чувствах к нему взволнованная подсудимая отвечать отказалась. Вообще, почти всякий раз, как вопросы затрагивали личность убитого, Качка приходила в волнение и отзывалась, что ей тяжело говорить о нем. Подсудимая не могла также ни рассказать о событиях,



предшествовавших убийству, ни описать свое внутреннее состояние во время него, говоря, что была тогда в сильном волнении, действовала бессознательно, знает лишь одно, что убила, а как, при каких обстоятельствах, — не помнит. Постановление суда произвести в отдельной комнате через докторов медицинское освидетельствование подсудимой вызвало у нее истерику.

Присяжные заседатели признали факт преступления доказанным, а подсудимую — действовавшую в состоянии умоисступления.

Суд определил отдать П. П. Качку для лечения в больницу.

### Речь Ф. Н. Плевако в защиту Качки

Гг. присяжные!

Накануне, при допросе экспертов, председатель обратился к одному из них с вопросом: «По-вашему выходит, что вся душевная жизнь обуславливается состоянием мозга?»

Вопросом этим брошено было подозрение, что психиатрия в ее последних словах есть наука материалистическая и что, склонившись к выводам психиатров, мы дадим на суде место материалистическому мирообъяснению.

Нельзя не признать уместность вопроса, ибо правосудие не имело бы места там, где царило бы подобное учение. Но вместе с тем надеюсь, что вы не разделите того обвинения против науки, какое сделано во вчерашнем вопросе г. председателя.

В области мысли, действительно, существуют, то последовательно, то рядом, два диаметральных объяснения человеческой жизни — материалистическое и спиритуалистическое. Первое хочет всю нашу духовную жизнь свести к животному, плотскому процессу. По нему наши пороки и добродетели — результат умственного здоровья или расстройства органов. По второму воззрению, душа, воплощаясь в тело, могуча и независима от состояния своего носителя. Ссылаясь на пример мучеников, героев и т. п., защитники этой последней теории совершенно разрывают связь души и тела.

Но если против первой теории возмущается совесть и ее отвергнет наше нравственное чувство, то и второе не устоит перед голосом вашего богатого опытом здравого смысла. Допуская взаимодействие двух начал, но не уничтожая одно в другом, вы не впадете в противоречие с самым высшим

из нравственных учений, христианским. Это возвысившее дух человеческий на подобающую высоту учение само дает основания для третьего, среднего между крайностями, воззрения. Психиатрия, заподозренная в материалистическом методе, главным образом стояла за наследственность душевных болезней и за слабость душевных сил при расстройстве организма прирожденными и приобретенными болезнями...

На библейских примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) защитник доказывает, далее, что наследственность признавалась уже тогда широким учением о милосердии, о филантропии путем материальной помощи, проповедуемой Евангелием. Защитник утверждает то положение, что заботою о материальном довольстве страждущих и немущих признается, что лишения и недостатки мешают росту человеческого духа: ведь это учение с последовательностью, достойною всеведения Учителя, всю жизнь человеческую регулировало с точки зрения единственно ценной цели — цели духа и вечности.

Те же воззрения о наследственности сил души и ее достатков и недостатков признавались и историческим опытом народа. Защитник припоминает наше древнерусское предубеждение к Ольговичам и расположение к Мономаховичам, оправдавшееся фактами: рачитель и оберегатель мира, Мономах воскрешался в роде его потомков, а беспокойные Ольговичи отражали хищнический инстинкт своего прародича. Защитник опытами жизни доказывает, что вся наша практическая мудрость, наши вероятные предположения созданы под влиянием двух аксиом житейской философии: влияния наследственности и, в значительной дозе, материальных, плотских условий на физиономию и характер души и ее деятельности.

Установив точку зрения на вопрос, защитник прочитывает присяжным страницы из Каспара, Шульца, Гольцендорфа и других ученых, доказывающих то же положение, которое утверждалось и вызванными судом психиатрами. Особенное впечатление производят страницы из книги доктора Шюле из Илленау («Курс психиатрии») о детях-наследственниках. Казалось, что это — не из книги автора, ничего не знавшего про Прасковью Качку, а лист, вырванный из истории ее детства.

Далее шло изложение фактов судебного следствия, доказывающих, что Прасковья Качка именно такова, какую ее представляли эксперты в период от зачатия до оставления ею домашнего очага.

Само возникновение ее на свет было омерзительно. Это неблагословенная чета предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и вызванной им плотской сладострастной похоти ей дана была жизнь. Ее носила мать, постоянно волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего груборазгульного мужа. Вместо колыбельных песен до ее младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани да сцены кутежа и попок.

Она потеряла отца, будучи шести лет. Но жизнь оттого не исправилась. Мать ее, может быть надломленная прежней жизнью, захотела прожить, подышать на воле, но она очень скоро вся отдалась погоне за своим личным счастьем, а детей бросила на произвол судьбы. Ее замужество за бывшего гувернера ее детей, ныне высланного из России, г. Битмида, который был моложе ее чуть не на десять лет; ее дальнейшее поглощение своими новыми чувствами и предоставление детей воле судеб; заброшенное, неряшливое воспитание; полный разрыв чувственной женщины и иностранца-мужа с русской жизнью, с русской верой, с различными поверьями, дающими столько светлых, чарующих детство радостей; словом, — семья жизни Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую почву.

Каким-то чудом оно дало — и зачем дало? — росток; но к этому ростку не было приложено забот и любви: его вскормили и взлелеяли ветры буйные, суровые вьюги и беспорядочные смены стихий.

В этом семействе, которое, собственно говоря, не было семейством, а механическим соединением нескольких отдельных лиц, полагали, что сходить в церковь, заставить пропеть над собой брачные молитвы, значит совершить брак.

Нет, от первого поцелуя супругов до той минуты, когда наши дети, окрепшие духом и телом, нас оставляют для новых, самостоятельных союзов, брак не перестает быть священной тайной, высокой обязанностью мужа и жены, отца и матери, нравственно ответственных за рост души и тела, за направление и чистоту ума и воли тех, кого вызвала к жизни супружеская любовь.

Воспитание было, действительно, странное. Фундамента не было, а между тем в присутствии детей, и особенно в присутствии Паши, любимицы отчима, не стесняясь, говорили о вещах выше ее понимания, осмеивали и осуждали существующие явления, а взамен ничего не давали.

Таким образом, воспитание доразрушило то, чего не могло разрушить физическое нездоровье. О влиянии вос-

питания нечего и говорить. Не все ли мы теперь плачемся, видя, как много бед у нас от нерадения семейств к этой величайшей обязанности отцов?..

*В дальнейшем ходе речи были изложены, по фактам следствия, события от 13 до 16 лет жизни Качки.*

Стареющая мать, чувствуя охлаждение мужа, вступила в борьбу с этим обстоятельством. При постоянных переездах с места на место, из деревни то в Петербург, то в Москву, то в Тулу, ребенок нигде не может остаться, освоиться. А супруги, между тем, поминутно в перебранках из-за чувства. Сцены ревности начинают наполнять жизнь гг. Битмидов. Мать доходит до подозрений к дочери и, бросив мужа, а с ним и всех детей первого брака, сама уезжает в Варшаву. Проходят дни и годы, а она даже и не думает о судьбе детей, не интересуется ими.

В одиночестве, около выросшей в девушку Паши, Битмид-отчим, действительно, стал мечтать о других отношениях. Но когда он стал высказывать их, в девушке заговорил нравственный инстинкт. Ей страшно стало от предложения и невозможно далее оставаться у отчима. Ласки, которые она считала за отцовские, оказались ласками мужчины-искателя; дом, который она принимала за родной, стал чужим. Нить порвалась. Мать далеко... Бездомная сирота ушла из дому. Но куда? К кому?.. Вот вопрос.

В Москве была подруга по школе. Она — к ней. Там ее приютили и ввели в кружок, доселе ею неведанный. Целая кучка молодежи живут, не ссорясь, читают, учатся. Ни сцен ее бывшего очага, ни плотоядных инстинктов она не видит. Ее потянуло сюда.

Здесь на нее ласково взглянул Байрашевский, выдававшийся над прочими знанием, обаятельностью. Бездомное существо, зверек, у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она привязалась к нему со всем жаром первого увлечения.

Но он выше ее: другие его понимают, а она нет. Начинается догонка, бег, как и всякий бег, — скачками. На фундаменте недоделанного и превратного воспитания увлекающаяся юность, увидевшая в ней умную и развитую девушку, начинает строить беспорядочное здание: плохо владеющая, может быть, первыми началами арифметики садится за сложные формулы новейших социологов; девушка, не работавшая ни разу в жизни за вознаграждение, обсуждает по Марксу отношения труда и капитала; не умеющая перечислить городов родного края, не знающая порядком беглого очерка судеб прошлого человечества, читает мыслителей, мечтающих о новых межах для будущего.

Понятно, что звуки доносились до уха, но мысль убежала. Да и читалось это не для цели знания: читать то, что он читает, понимать то, что его интересует, жить им — стало девизом девушки. Он едет в Питер. Она — туда. Здесь роман пошел к развязке. Юноша приласкал девушку, может быть, сам увлекаясь, сам себе веря, что она ему по душе пришлась. Началось счастье. Но оно было кратковременно. Легко загоревшаяся страсть легко и потухла у Байрашевского. Другая женщина приглянулась; другую стало жаль, другое состояние он смешал с любовью, и легко и без борьбы он пошел за новым наслаждением.

Она почувствовала горе. Она узнала его. В словах, которые воспроизвести мы теперь не можем, изложено, каким ударом было для покинутой ее горе. Кратковременное счастье только большее, жгуче сделало для нее ее пустую, бесприютную, одинокую долю. Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покой ее друга, представлялось темным, далеким, не озаренным ни на одну минуту, неизвестным.

И она услышала первые приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или его — она сама не знала. Жить и не видеть его, знать, что он есть, и не мочь подойти к нему, — это какой-то неестественный факт, невозможность.

И вот, любя его и ненавидя, она борется с этими чувствами и не может дать преобладания одному над другим.

Он поехал в Москву, она, как ягненок за маткой, — за ним, не размышляя, не соображая.

Здесь ее не узнали. Все в ней было перерождено: привычки, характер. Она вела себя странно; непривычные к психиатрическим наблюдениям лица, — и те узнали в ней ненормальность, увидели в душе гнетущую ее против воли, свыше воли тоску.

Она собирается убить себя. Ее берегут, остаются с ней, убирают у нее револьвер. Порыв убить себя сменяется порывом убить милого. В одной и той же душе идет трагическая борьба: одна и та же рука заряжает пистолет и пишет на самое себя донос в жандармское управление, прося арестовать опасную пропагандистку, Прасковью Качку, очевидно, желая, чтобы посторонняя сила связала ее большую волю и помешала идее перейти в дело.

Но доносу, как и следовало, не поверили.

Наступил последний день. К чему-то страшному она готовилась. Она отдала первой встречной свои вещи. Видимо, мысль самоубийства охватила ее.

Но ей еще раз захотелось взглянуть на Байрашевского.

Она пошла.

Точно злой дух шепнул ему новым ударом поразить грудь полуребенка-страдалицы: он сказал ей, что приехала та, которую он любит, что он встретил ее, был с ней. Может быть, огнем горели его глаза, когда он передавал, не щадя чужой муки, о часах своей радости. И представилось ей вразрез с ее горем, ее покинутой и осмеянной любовью молодое чужое счастье. Как в вине и разгуле пытается иной забыть горе, пыталась она в песнях размыкать свое. Но песни или не давались ей, или будили в ней воспоминания прошлого, утраченного счастья и надрывали душу.

Она пела как никогда.

Голос ее был, по выражению юноши Малышева, страшен. В нем звучали такие ноты, что он, мужчина молодой, крепкий, волновался и плакал.

На беду попросили ее спеть ее любимую песню из Некрасова: «Еду ли ночью по улице темной».

Кто не знает могучих сил этого певца страданий; кто не находил в его звучных аккордах отражения своего собственного горя, своих собственных невзгод...

И она запела...

И каждая строка поднимала перед ней ее прошлое со всем его безобразием и со всем гнетом, надломившим молодую жизнь.

«Друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг предомной промелькнет твоя тень» — пелось в песне, — а перед воображением бедняжки рисовалась сжимающая сердце картина одиночества.

«С детства тебя не взлюбила судьба; суров был отец твой угрюмый» — лепетал язык, а память подымала из прошлого образы страшнее, чем говорилось в песне.

«Да не на радость сошлась и со мной»... попевала песня за новой волной представлений, воспроизводивших ее московскую жизнь, минутное счастье и безграничное горе, сменившее короткие минуты света.

Душа ее надрывалась. А песня не щадила, рисуя и гроб, и падение, и проклятие толпы.

И под финальные слова: «или пошла ты дорогой обычной, и роковая свершилась судьба», — преступление было совершено.

Сцена за убийством, поцелуй мертвого, плач и хохот, констатированное всеми свидетелями истерическое состояние, видение Байрашевского, — все это свидетельствует, что здесь не было расчета, умысла, а было то, что на душу, одаренную силою в один талант, настало горе, какого не выдер-

жит и пятиталантная сила, и она задавлена им, задавлена не легко, не без борьбы.

Большая боролась, сама с собой боролась. В решительную минуту, судя по записке, переданной Малышеву для передачи будто бы Зине, она еще себя хотела покончить. Но по какой-то неведомой для нас причине, одна волна, что несла убийство, перегнала другую, несшую самоубийство, и разрешилась злом, унесшим сразу две жизни, — ибо и в ней убито все, все надломлено, все сожжено упреками неумирающей совести и сознанием греха...

Я знаю, что преступление должно быть наказано и что злой должен быть уничтожен в своем зле силою карающего суда.

Но присмотритесь к этой, тогда 18-летней женщине, и скажите мне, что она: зараза, которую нужно уничтожить, или зараженная, которую надо пощадить?

Не вся ли жизнь ее отвечает, что она — последняя?

Нравственно гнили были те, кто дал ей жизнь. Росла она, как будто бы между своими, но у ней были родственники, а не было родных, были производители, но не было родителей. Все, что ей дало бытие и форму, заразило то, что дано.

На взгляд практических людей — она труп смердящий.

Но правда людей, коли она хочет быть отражением правды Божией, не должна так легко делать дело суда. Правда должна в душу ее войти и прислушаться, как велики были дары унаследованные, и не переборола ли их демоническая сила среды, болезни и страданий?

Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите правды. Пусть по счастливому выражению псалмопевца, «правда и милость встретятся в вашем решении, истина и любовь облобызаются».

И если эти светлые свойства правды подскажут вам, что ее «я» не заражено злом, а отвертывается от него и содрогается и мучится, не бойтесь этому кажущемуся мертвецу сказать то же, что, вопреки холодного расчета и юдольной правды книжников и фарисеев, сказано было Великой и Любвеобильной Правдой четверодневному Лазарю: «Гряди вон»!

Пусть воскреснет она, пусть зло, навеянное на нее извне, как пелена гробовая спадет с нее, пусть правда и ныне, как прежде, живет и чудодействует.

И она оживет.

Сегодня для нее великий день. Бездомная скиталица, безродная, — ибо разве родная — ее мать, не подумавшая,

живя целые годы где-то, спросить: а что-то поделывает моя бедная девочка, — безродная скиталица впервые нашла свою мать и родину, Русь, сидящую перед ней в образе представителей общественной совести.

Раскройте ваши объятия, я отдаю ее вам. Делайте, что совесть вам укажет.

Если ваше отеческое чувство возмущено грехом детища, сожмите гневно объятия, пусть с криком отчаяния сокрушится это слабое создание и исчезнет.

Но если ваше сердце подскажет вам, что в ней, изломанной другими, искалеченной без собственной вины, нет места тому злу, орудием которого она была; если ваше сердце поверит ей, что она, веруя в Бога и совесть, мучениями и слезами омыла грех бессилия и помраченной болезнью воли, — воскресите ее, и пусть ваш приговор будет новым рождением ее на лучшую, страданиями умудренную жизнь!..



## ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЕГОРЬЕВСКОГО КУПЦА ЛЕБЕДЕВА

По обвинению в убийстве егорьевского купца Н. В. Лебедева были преданы суду присяжных заседателей сын убитого Григорий Лебедев, купеческий сын Трефил Князев и мещанин Яков Иванов.

Дело слушалось 13—16 марта 1881 г. в Харькове под председательством Председателя Суда А. Н. Бурнашева. Обвинял Товарищ Прокурора И. Ф. Покровский. Всех троих обвиняемых защищал Ф. Н. Плевако.

7 июня 1880 г. в собственной лавке, находившейся в Суздальском торговом ряду в г. Харькове, был найден без признаков жизни 90-летний купец Николай Венедиктович Лебедев.

Вскрытием трупа были обнаружены не только значительные кровоподтеки в области груди, но и разрыв левого легкого, переломы грудных костей и значительного количества ребер. Заключение врача, ввиду этих данных, сводилось к тому, что смерть Лебедева последовала от задушения вследствие давления на грудную клетку и прекращения дыхательных движений, причем никаких особых орудий для причинения смерти убийцами употреблено не было.

Занимаясь 26 лет торговлей, Лебедев составил себе значительное состояние и в последнее время завел собственную бумаготкацкую фабрику, которою заведовал его сын Григорий, вдовец, имевший трех детей. У отца с сыном отношения были настолько хорошие, что еще в 1857 году отец составил духовное завещание, по которому все свое состояние завещал сыну.

Григорий Лебедев водил компанию со своим соседом по лавке, — Серапионом Князевым, дочь которого была замужем за его сыном Ефимом.

Старик был убит при следующих обстоятельствах.

28 мая Лебедев вернулся из Егорьевска в Харьков. По обыкновению, он остановился в своей лавке, где имел при-

вычку и ночевать во время пребывания в Харькове. 6 июня после обеда старик собрался на вокзал встречать своего внука. В 6 часов вечера, отдав распоряжение относительно ужина в Монастырской гостинице, покойный приказал рабочему Ружину отправиться на вокзал, опустить написанное им письмо и встретить внука, а сам пошел в гостиницу за ужином и к 8 часам вечера возвратился в лавку. Около 11 часов рабочий Омельченко зашел с вокзала к покойному, но, не постучавшись, ушел домой. Около лавки были сторожа, обычно охраняющие ряды, но ни они, ни Омельченко не заметили ничего подозрительного и решили, что старик крепко уснул. Наутро было обнаружено убийство.

Суду были преданы Григорий Лебедев, Трефил Князев и Яков Иванов, причем против Лебедева выдвигалось обвинение в подстрекательстве.

Вердиктом присяжных заседателей все трое подсудимых были признаны невиновными.

### **Речь в защиту Лебедева и других обвиняемых**

**Гг. судьи и присяжные заседатели!**

Настоящее дело я должен начать одним приемом, собственно моей натуре неприятным, но вызываемым необходимостью, — банальным приемом, напоминающим тех певцов, которые перед тем, как открывается занавес, высылают кого-нибудь предупредить публику, что они не в голосе.

Три дня я борюсь не с обвинением (это вы могли видеть), а с самим собою. В то время, когда мне следовало бы лежать в постели, я исполняю одну из труднейших обязанностей, не имея возможности ни передать ее, ни отказаться от нее, что было бы тягостно для подсудимых, потому что им пришлось бы целых полгода еще дожидаться разрешения своей участи.

Ввиду этого при допросе свидетелей мне приходилось только слегка набрасывать тот рисунок, который я должен буду теперь перед вами нарисовать. Этим же обуславливалось и то, что я к некоторым свидетелям, после допроса прокурора, относился как будто индифферентно. Вероятно, это отразится и на моей речи: немощь физическая скажется немощью духовной.

Я прошу только об одном: мое бессилие пусть не будет поставлено в улику подсудимым.

Затем, все, что я помню из этого дела, внимательно вы-

слушенная мною речь г. прокурора, а также следствие приводят меня к речи, которую я буду иметь честь перед вами изложить.

Мы имеем дело с таким деянием, которое никогда и нигде не извиняется. Воззрения людей на преступления меняются, — что вчера сажало меня на скамью подсудимых, то ныне делает мучеником и гражданином; но убийство вообще и отцеубийство в особенности, — это такое деяние омерзительного характера, которое возмущает душу как цивилизованного человека, так и последнего дикаря.

Поэтому, приступая к защите подсудимых, обвиняемых в таком деянии, адвокат должен все силы своего разумения употребить на то, чтобы подобной защитой каким-нибудь образом не провести такой мысли, за которую он мог бы покраснеть потом. Раз у него есть доля совести, защитник не должен в подобном деле пользоваться весьма соблазнительными данными, которые представляются в деле в виде характера и образа жизни того, за которого подсудимые привлечены на суд. Не должно ни одной минуты играть на таких струнах, на каких играли торговцы Суздальского ряда, когда в первый раз увидели труп: они говорили, что человек этот заслужил свою смерть. Никогда человек без суда смерти не заслуживает, да еще не бесспорно, заслуживает ли он ее и по суду.

Поэтому, вопрос о характере убитого Лебедева, вопрос о его нравственных недостатках не войдет в мою речь, как обстоятельство, которое должно клониться к выгоде подсудимых.

Я этот факт приму как данное для указания того, что правосудие не исчерпало всех путей для отыскания истины и слишком поспешно пошло по одной дороге, не разыскав других путей, которых в этой загадке еще слишком много.

Мне, как отвечающему г. прокурору и отвечающему в том положении, в каком я в настоящее время нахожусь, самый удобный путь, это — идти за прокурорской речью. Если она была извилиста, извилист будет и мой путь: преследователь поневоле принимает то направление, которое принял преследуемый. Ответная речь есть преследование, есть борьба.

Возражая прокурору, я должен сначала сделать несколько общих замечаний, потому что с общих замечаний начал г. прокурор.

Он указал нам, что настоящее дело, в отличие от других, которые вами рассмотрены, носит те характеристические признаки, что в нем нет реальных доказательств вины, что

все обвинение строится на обстоятельственных или косвенных уликах. При этом, заявив вам об этой особенности дела, обвинитель поспешил высказать перед вами убеждение, что обстоятельственные улики не только играют важную роль, но что они могут даже спорить с уликами прямыми.

Думаю, что так решительно говорить о силе улик обстоятельственных — это значит неверно понимать их силу. Если английский судья, на которого сослался обвинитель, сказал, что обстоятельства менее всего лгут, что скорее лгут люди — свидетели, то он забыл одно, — что сами обстоятельства, в виде косвенных улик, никогда, без помощи человеческого ума, не ведут ни к каким выводам; но вот тут-то, когда человек начинает прикладывать силу своего разума к изучению обстоятельств, оказывается, что обстоятельства не ложны, но человеческая обобщающая сила разума часто отличается неизвинительной и для себя самой непонятной ложью.

В этом отношении совершенно справедливо другое изречение, которое гораздо остроумнее определяет значение косвенных улик. Я думаю, в этой же зале публика не раз слышала колоссальнейшую силу, посвятившую себя делу защиты, — я говорю о петербургском товарище моем Спасовиче. Определение косвенных улик он выражает таким афоризмом: сколько бы беленьких барашков ни привели, из них одной белой лошади не сделаешь».

Таким образом, при изучении обстоятельств дела, при изучении косвенных улик, соглашаясь с г. прокурором относительно того, что они не лгут, я буду обращать особенное внимание, не страдает ли обобщение этих улик от группировки их. Человеческий ум всегда склонен группировать самое незначительное количество фактов и непременно делать какие-нибудь выводы, часто неправильные: ошибаться свойственно человеку.

Люди науки нередко борются против этого, и такой пример мы видим здесь. Представитель науки, по некоторым немногим данным, как представитель науки, сказал: «Я не считаю этих фактов, при всей их бесспорности, достаточными для известных выводов». Но люди обыкновенной жизни против этого возразили: «Не может быть! Неужели наука бессильна дать нам указание?» В угоду людям не науки человек науки высказал свои предположения и заслужил благодарность, как за сущую истину.

Таким образом, ум человеческий отличается погоней за тем, чтобы поскорее связать немногие данные в одно целое. Таким образом, создается общественное мнение не особен-

но глубокого свойства, а самое законное детище его — это городская и деревенская сплетня.

Но чтобы своим косвенным уликам придать значение в деле, прокурорский надзор сначала устранил естественное возражение против них. Каждой из улик мы имеем противовес в показаниях других свидетелей, в других обстоятельствах, извлеченных из свидетельства не наших, а приглашенных прокурорским надзором свидетелей, но не совсем благоприятно ему показывающих. А потому прокурор предпослал сначала общую картину того, с кем мы имеем дело в лице граждан г. Егорьевска, приехавших, по вызову прокурора, свидетельствовать по делу о подсудимых, уроженцах того же города, обвиняемых в таком тяжком преступлении. Вам было указано, что, вопреки нелицеприятности обстоятельств дела, мы встретились с целой фалангой людей, для которых ложь есть обыкновенное правило жизни. Прокурор объяснил это довольно остроумно тем, что некогда религиозная санкция — присяга стесняла людей говорить на суде неправду, но что мы достигли такого века, когда эта связь порвалась; и далее из этого общего положения прокурор выводит, что и данные лица подходят под это определение.

Но он забыл одно, — что г. Егорьевск прислал сюда свидетелей, которых можно назвать сохранившейся от духа времени независимой группой, группой людей, принадлежащих именно тому мировоззрению, которое отрицает новшества. Люди эти живут по старине и в них, вопреки новым идеям, живет, может быть, даже более крепко, чем следует, то миросозерцание, которое придает особенное значение присяге, освященной религией, и всяким вопросам, определяемым с точки зрения религии. Большинство свидетелей этой группы принадлежит к старообрядцам, к людям, которых менее всего коснулась та язва, о которой прокурор говорил совершенно верно.

Не спорю, что общество наше в настоящее время, преимущественно в людях читающих, грамотных, называющих себя образованными, давно заменило ту скрижаль, которая учила отличать добро от зла, правду от лжи, другою скрижалю, на которой написаны имена Бокля и Дарвина. Но Бокля и Дарвина не читают в Егорьевске, а читают те книги, к которым многие относятся пренебрежительно. С этой точки зрения упрек прокурора — в высшей степени не жизненный, упрек анахронический, который должен пролететь мимо г. Егорьевска, как гроза, которая хотя по какому-то велению и налетела на город, но улетела в пустыню, не причинив городу вреда.

Для прокурора Егорьевск представляется каким-то Назаретом, по отношению которого стоит Нафанаиль, говорящий: «Неужели из этого порочного города может быть добро?» Ной — указан. Это — исправник г. Егорьевска, добрейший и честнейший человек, показывающий согласно с обвинением, достовернее которого нельзя представить достоверного свидетеля на Суде.

Интересно мне в дальнейшей борьбе с прокурором изучить: что же это за тип достоверного свидетеля? Оказывается, что он вполне подходит под тип достоверного лжесвидетеля, прекрасно изображенного Щедриным. Этот человек показал следователю, что старик Лебедев написал дополнительное духовное завещание потому, что не хотел оставить ничего сыну — моту и пьянице. Так, по словам его, говорил ему старик Лебедев, прося его подписаться свидетелем на завещании.

Читаем мы это духовное завещание и видим, что в нем старик Лебедев 2/3 состояния своего оставляет этому самому сыну.

Вот образчик достоверного свидетеля, единственного Ноя, сохранившегося среди всеобщего крушения нравственного мира в г. Егорьевске.

Во втором своем показании этот свидетель уже не был так решителен и начал говорить, что содержание завещания не знает.

По мнению г. прокурора, нравственная гля г. Егорьевска так велика, что ей поддались не только староверы, но и люди интеллигентные. Как на примере, было указано на бухгалтеря банка Радугина. Соглашаясь совершенно, что между показанием этого свидетеля, данным на суде и вне суда, есть разница значительная, почти непримиримая, соглашаясь, что выражение Радугина, что следователь сжал его показание там, где нужно было сжать его, слишком осторожно выражало истинную литературную деятельность Белого, я, однако, не соглашаюсь с г. прокурором в том, что Радугин правду говорил перед следователем, а перед судом начал говорить неправду.

Во-первых, я не вижу, чтобы личность Белого (при всем моем к нему уважении) внушала к себе в глазах Радугина такое особое уважение, перед которым суд народный, коллегиальный был бы ничтожен. Не могу не согласиться с тем, кто имеет за собою хотя маленький авторитет, кому не откажет в значении и г. прокурор, хотя он так сильно настаивает на значении показания, данного на предварительном следствии: составитель Устава, которым мы пользуемся,

мнения г. прокурора никогда не разделял. Он создал судебное следствие, на котором проверяется предварительное следствие, а не наоборот, — не показания свидетелей, данные на суде, при торжественной обстановке, проверяются показаниями, записанными следователем, который составляет протоколы, хотя, быть может, и совершенно добросовестно, но в таком состоянии, в каком обыкновенно бывает человек в борьбе. Так, один свидетель, выслушав здесь свое показание, вспоминает о каком-то крючке, не о том крючке, который знаком был прежде русскому человеку, а об обыкновенном крючке на дверях; другой находит, что его показание является для него здесь сюрпризом; третий отрицает, что это было им сказано.

Не такими протоколами следует проверять показания, данные при торжественной обстановке суда.

Я, с своей стороны, верен традициям Судебных Уставов и всю мою надежду возлагаю на то, что происходило перед вами на судебном следствии. Думаю, что это единственное место, где русский гражданин действительно получает возможно большую гарантию для своей личности против напрасного обвинения. Я не могу не согласиться с общим убеждением, распространенным в обществе, что русское предварительное следствие носит характер совсем не следствия.

В былые времена русский помещик, в свободное от занятий время, любил, оставив сельское хозяйство, поохотиться за красным зверем; с того времени, как выкупные свидетельства стали приходить к концу, охота в отъезде поле за красным зверем исчезает, но зато охота за человеком судебными следователями распространяется все сильнее и сильнее.

Является это в русской жизни с того времени, как самостоятельная следственная часть стала уничтожаться.

Нередко самый добросовестный судебный следователь волей-неволей, во время предварительного следствия, является только пионером прокурорского надзора, собирающим сведения исключительно только в интересах обвинения.

При таких данных у подсудимого и у свидетелей, которые стоят в таком положении, что по воле следователя могут быть пожалованы из числа свидетелей в чин подсудимых, естественно является желание оградить себя, является вместо простой передачи обстоятельств, которые впоследствии будут распределены на уличающие и оправдывающие, указание только таких сведений, которые защищали бы от судебного следователя.

Опытный человек, каковым я смею себя считать в данном случае, должен сказать, что обыкновенный тип судебно-следственной борьбы, с маленькой, конечно, разницей, заключается в том, что каждый хочет бросить свет на тот предмет, который составляет предмет спора. Я сравниваю этот свет с лучами, исходящими от чего-нибудь светящегося. Когда подсудимый или свидетель, возражая против обвинения, начинает освещать предмет, у следователя есть один прием: он обыкновенно зажмуривается; когда же начинает освещать предмет следователь, а подсудимый или свидетель хочет против таких данных защищаться, то обыкновенно ему говорят, что жмуриться перед властью не следует. Результатом этого являются такие протоколы, которым я не могу дать значения, считая их, по крайней мере, незаконными, потому что следователь должен составлять протокол о показании свидетеля, но не составлять за своею подписью того, что он полагает, что говорил подсудимый или свидетель.

Но довольно об этом, — я кончаю эту общую часть моей речи и перехожу к делу.

У меня на руках трое подсудимых. Каждый из них — отдельная личность, и каждый из них имеет право требовать, чтобы внимание ваше было посвящено ему в отдельности и чтобы сомнения, улики или несчастно сложившиеся обстоятельства, затемняющие личность одного, никоим образом не служили основанием для обвинения или предубеждения против другого.

Поэтому я в своем объяснении перед вами буду говорить о каждом подсудимом особо, но порядок, установленный г. прокурором, несколько изменю.

У г. прокурора порядок был таков: он нашел убитое тело, определил причину смерти, до известной степени объяснил, каким образом это убийство совершено, и, когда факт не только смерти, но и убийства преступного выяснился, он стал говорить: отыщем причину, и поспешил найти ее.

Я, наоборот, поищу прежде причину, и, думаю, имею на это логическое основание. Дело в том, что закон причинности свойствен человеческому рассудку. Человек издавна привык думать, что без причины не бывает ничего. Но при изучении всякого дела, которое есть результат человеческой мысли, преимущественно в науке, мы замечаем следующее, — что, хотя факты природы были одни и те же, но причины объяснялись людьми различно. Люди изменяли с каждым поколением свои воззрения, даже нередко одно поколение несколько раз изменяло свои убеждения. Другими



словами, когда дан факт, то человек слишком соблазняется поскорей отыскать ему причину и причиной называет первый факт, который доволствует его в данную минуту, не задаваясь критической мыслью, не мог ли этот факт произойти от другой причины и не следует ли эту другую причину исследовать. В этом отношении человек сначала останавливается на вещах суеверных, затем на легковверных и, наконец, переходит к более точному методу, по которому можно доказать, что известная только причина могла произвести известный результат.

Когда определили смерть, нашли убитое лицо при известной обстановке, когда задались известною целью, то — цель, которая пришла на мысль следователю, натолкнула его и на причину.

Но исследуем сначала причину.

Здесь причина не есть отвлеченное понятие, — она имеет физиономию живого человека, Гр. Н. Лебедева, который говорит: «Я хочу быть не причиной, а подсудимым, и хочу, чтобы прежде, чем считать меня причиной, расследовали, действительно ли я человек виноватый? Такой ли я человек, чтобы на 49-м году жизни, при моей обстановке и моих отношениях, во мне могла зародиться и действительно прийти в исполнение мысль о самом страшном из человеческих злых деяний, — посягательстве на жизнь того, кто дал мне жизнь, посягательстве на старика, который работал для меня 90 лет?»

К изучению этой причины в смысле живого человека я и перейду.

Егорьевск, небольшой уездный город Рязанской губернии, всем известен за город торговый, за фабричный пункт. Из сведений, которые, даже помимо научного пути, мы можем получить от лиц, здесь свидетельствовавших нам о г. Егорьевске, можно видеть, что там зажиточные люди, фабриканты, принадлежат преимущественно к старообрядчеству. При этом отличительная черта этого города, стоящего немного в стороне, только лет 10 назад получившего свою специальную железную дорогу, связывающую его с Москвой, — та, что православные семейства, церковники и староверы друг от друга складом жизни не отличаются. Строгая, патриархальная жизнь, строгие семейные принципы в этом городе существуют не в одном семействе Лебедева, но и во всех других семействах. Отцы считают себя владыками дома; сын, несмотря ни на какой возраст, не стесняется стоять перед отцом, при встрече снять шапку и не надевать ее, пока не велят надеть, бежать по первому зову

из клуба или трактира, кидая свое личное дело или удовольствие для требований семейного долга.

В этом городе из свидетелей, здесь допрошенных, можно сказать, только один человек ушел от этого кружка, — это Радугин. Он и констатировал эту строгость, указавши нам на то, что такая строгость составляет общий характер города. Следовательно, все с нею сживаются. По отношению к себе, тот же свидетель сказал, что таких тяжелых отношений он лично, может быть, и не вынес бы, но Гр. Лебедев переносил их совершенно покорно, несмотря на свои годы, когда он сам был отцом и даже дедом.

Живут Лебедевы, как и прочие зажиточные семейства, довольно просто, но сытно; сын имеет отдельный дом. Особенно роскошной жизни, московской, столичной, не замечается; но в городе есть клуб, куда заходят играть в карты, есть трактир, где пьют чай.

В городе имеются специальные учреждения разного рода, — присутственные места; были они замещаемы людьми по выбору, и подсудимый Лебедев признан был в городе достойным занимать сравнительно выдающуюся должность — председателя Сиротского Суда, т. е. такого учреждения, в котором, в особенности, если г. Егорьевск имеет много зажиточных семейств, есть немало сиротских капиталов и где председатель, следовательно, выбирается не для одного формального отправления своей должности, как выбирались заседатели в старых Палатах, а для действительного надзора за тем делом, которое ему вверено городом. Следовательно, Г. Н. Лебедева пустым человеком не считали, а считали человеком выдающимся, способным занимать ответственные общественные должности.

Общий голос, насколько мы можем вывести из свидетельских показаний, говорит также о том, что мы имеем дело не с забулдыгой, не с человеком, который шатается по трактирам, а с очень обыкновенным человеком, позволяющим себе отдохнуть, выпить и поиграть в карты с товарищами, — все это в пределах умеренности, не доходя до безобразий. Пьяным он домой не являлся, карточных долгов не имел, не слыл за человека, который где-нибудь на стороне делает долги, рассчитывая на будущее наследство, который имеет открыто легкие связи, и т. д.

Таков был Гр. Лебедев.

Отец у него был очень престарелый человек, по мнению большинства, строгий, сомнительно — скупой или нет (я склоняюсь на сторону прокурора и скажу, что скупости в нем было больше, нежели нескупости). Нет сомнения, что

некоторые факты его жизни, объясняемые прокурором его скарედностью, можно объяснить лучше, как и объяснил вчера Гр. Лебедев. Его нечаепитие, лежание на голых досках, когда тут же рядом лежит перина, можно признать аскетизмом, которому предаются на старости люди, готовые перейти от временной жизни в вечную. Конечно, не эту перину, которой вся цена рубль, берет он и не потому спал на голых досках.

Дома жизнь была проста, но строгости и скаредности не видно и в той расходной книжке, на которую указал прокурор. Затем общее мнение таково, что, когда к ним, хотя и редко, приходили гости, приемы не отличались от обыкновенных приемов гостей, какие бывают в других зажиточных домах.

Старик имел недурное состояние, разъезжал сам по ярмаркам. Может быть, в этом увидят доказательство, что этот дом был таков, что старик трудился, зарабатывал, а сын только проживал. Но в этом отношении г. прокурор должен уступить таким людям, как Серапион Князев, в знании обстоятельств торговой жизни и не может серьезно возразить против того положения, что разъезды по ярмаркам составляют более легкое занятие купца, если он торгует произведениями своей фабрики. Продать изготовленное, как говорит С. Князев, легче, чем приобрести материал вовремя, превратить его в товар, найти рабочих, следить за тем, чтобы каждый рабочий принял материал и обработал, держать в порядке контору.

Жил старик Лебедев дома всего около месяца в году; следовательно, остальные 11 месяцев Гр. Лебедев распорядился совершенно самостоятельно. Как бы ни был строг отец, во всяком случае, если он так мало жил в Егорьевске, то у сына были целые месяцы и целые годы жизни, когда он мог отдохнуть спокойно, когда он никакого отцовского гнета не нес. Правда, старик был требователен, — не могу этого отрицать по данным дела, в особенности по письму из Полтавы, — но эта требовательность, как оказывается при более внимательном чтении письма, не есть требовательность отжившего свой век старика, который не понимает самых обыкновенных требований жизни, но который сам, вероятно, в молодости отдал дань этим требованиям.

Его требовательность выражается большею частью в обыкновенных свойствах престарелого возраста, — это метод постоянных нравоучений, постоянных указаний, как следует поступать. Что это не есть действительное раздражение на человека дурного, видно из конца письма из Пол-

тавы от 6 апреля 1880 г. Когда проповедник или моралист делает вразумление человеку потерявшему, то вся его проповедь состоит только из правил и угроз, письмо же из Полтавы заключает в себе, помимо этих обращений к сыну, просьбу, чтобы он за своим младшим сыном, Ваней, смотрел, к обучению его старание прилагал, и указывает на то, что в это именно время, держа мальчика в руках, можно сделать из него пригодного и семье полезного помощника.

Очевидно, что отец только в первой половине письма давал нравоучение, ибо содержание второй половины свидетельствует, что этот самый человек годен в менторы подрастающему поколению. В это обыкновенное содержание письма прокурор не вникнул, и потому для него представилось это письмо величайшим доказательством стеснений и строгости отношений отца к сыну, почти невыносимых. Впечатление это, может быть, образовалось вследствие того, что г. прокурор познакомился первоначально с этим письмом в той выписке, которую сделал Белый, а способность Белого в делании выписок напоминает католического священника, когда он спорит с другим, — у него тексты говорят то, что он хочет, а не то, что они содержат в действительности.

Сорок восемь лет такой жизни Гр. Лебедев выносит. Мы не слышим от свидетелей никаких данных, которые говорили бы о том, что за эти 48 лет сын терял терпение, что сын убежал из дому, что сын принимал меры, чтобы иметь самостоятельное состояние, чтобы родственники или другие лица одинакового возраста с покойным Лебедевым приходили и убеждали, увещевали его сына.

Словом, получается впечатление обыкновенной, серенькой, скорее хорошей, нежели дурной, патриархальной жизни русского обыкновенного человека, по преимуществу старообрядца. Есть строгость, которая и другим людям не чужда, есть патриархальность, которая им обща, и патриархальность и строгость такого рода, что, я убежден, займи завтрашний день место покойного старика его сын, Григорий, как чрез год-два он будет так же строг к своим детям, потому что это — строй их жизни, это — их мирозерцание, а не характер личности, это — общественное понятие г. Егорьевска, подтвержденное здесь свидетельскими показаниями, которые прокурором огульно признаны лживыми.

Но всякое огульное обвинение само прежде всего лживо. Общество г. Егорьевска, свидетельство всех лиц говорит о правильных, даже завидных отношениях отца к сыну.

Я полагаю, что эти свидетельские показания, которыми надобно закончить характеристику отношений отца и сына Лебедевых, имеют глубокое значение и смысл.

Если бы в самом деле в Егорьевске знали о странных, нехороших, тяжелых отношениях отца к сыну, если бы внутренне чувствовали, что отец ставит сына в такое положение, что сын мог поднять свою или чужую руку на своего отца, то именно потому, что в Егорьевске живут патриархальной жизнью, жизнью старообрядческой, в которой семейная жизнь крепка, — этот город из всех человеческих злодеяний возмутился бы более всего таким, как поднятие руки сына на отца, и мы не встретили бы таких отзывов о подсудимом; и это тем более, что между свидетелями большинство представители того возраста, который приближается к возрасту Лебедева-отца, и люди эти полагают, что подобное положение немыслимо, что при таком положении строй жизни уничтожается, всякая нравственность исчезает.

Между тем, здесь отцы, имеющие своих детей и держащие их также в страхе и почтении, ни на одну минуту не задумались отдать свою симпатию Гр. Н. Лебедеву и свидетельствовали о том, что это семейство — правильно поставленное.

И вот из этой семьи исходит мысль сына отделаться от отца, мысль, которой мотивируется преступление.

Рассмотрим же в отдельности каждый из мотивов.

Если сын стесняется строгостью отца, то мы уже знаем тот факт, что из года — 11 месяцев сын пользуется такою свободой, какою только может пользоваться человек в его возрасте, имеющий отца, занимающийся делом.

Если этим мотивом будет духовное завещание, то здесь мы встречаемся с положением очень серьезным.

Прокурорский надзор знает, что дополнительное духовное завещание сохраняет сыну  $2/3$  состояния; прокурорский надзор знает, что остальная  $1/3$  у Гр. Н. Лебедева не отнимается, не отдается кому-нибудь постороннему, его врагу, а отдается его же родным детям. Правда, в завещании сказано: «...ты можешь жениться; у тебя могут быть дети, которые не должны вступаться в эту  $1/3$  часть», и прокурор может рассуждать так: возмутилось сердце Гр. Н. Лебедева, что его будущие дети получают меньше, нежели дети настоящие.

Но такая отвлеченная любовь к ненародившимся еще неизвестно от какой женщины детям против детей, несомненно ему принадлежащих и с ним живущих, — такая отда-

ленная родительская любовь, по меньшей мере, курьезна. И сию минуту Гр. Н. Лебедев не знает других детей, кроме тех, которые живут с ним, а неизвестных, будущих, он не мог любить настолько, чтобы поднять на своего родителя руку из-за них, — что не в их пользу составлено дополнительное духовное завещание. Ведь его же дети получают эту часть, ведь дети его, Ефим и Иван, живущие в таком складе семьи, в таком мирозерцании, где обыкновенная обстановка такова, что они находятся в полном подчинении у отца, не заявили бы сомнения в том, что родительская рука сохранит для них имущество, как сохранил его покойный Лебедев для своего сына.

Таким образом, мотив — убить отца за то, что он из рубля серебром, оставляемого мне, 30 коп. оставляет моим детям, будет мотивом, пожалуй, достаточным для того, чтобы подуться на отца несколько минут, допуская, чтобы огрызнуться, но не для того, чтобы купить убийцу и послать его задушить отца. Чтобы предположить этот мотив, нужно думать, что человеческая природа так гадка, что люди не делают преступлений только потому, что руки их и каждый палец закованы цепями закона, и цепи эти, в лице урядников и полицейских, охраняют Русскую Империю моралью своей во веки веков.

Я думаю и другие мотивы будут такие же.

Г-н прокурор говорит, что Лебедев выносил все, пока была жива его жена; но вот его жена умерла, и с того времени начались его подозрения, что отец не позволит ему жениться и не позволит ему распорядиться своей жизнью по желанию.

И в этом отношении забывают целую массу свидетельских показаний, не только данных здесь, но и показание Маркова, опрошенного на предварительном следствии, что против женитьбы принципиально Н. В. Лебедев не возражал. Он давал только свой совет, если можно, обойтись без брака, посвятить себя детям, но не восставал против женитьбы, потому что, по его строгому взгляду на жизнь, безбрачные, легкие отношения представлялись таким грехом, сравнительно с которым неудобство вступления во второй брак может быть исправлено незначительным изменением духовного завещания. Само это завещание свидетельствует, что отец смотрел спокойно на возможность второго брака.

Далее говорят, что рассказы о Н. В. Лебедеве свидетелей, кроме возлюбленных прокурором, неосновательны, что в самом деле отец смотрел на сына, как на пропащего человека, и соответственно этому делались распоряжения, так что

48-летнему сыну не было доверия ни в чем, — больше имел доверия внук.

И здесь неправда.

Если бы старик Лебедев не доверял сыну, если бы ему было очевидно, что он имеет дело с сыном — распутным человеком и картежником, то дополнительное завещание выразилось бы иначе. Мы знаем, как пишутся купеческие духовные завещания, когда собирающийся покончить с земной жизнью старик видит, что все приобретенное им долголетним трудом может в течение нескольких лет улететь. Видя мотовство и погибшую жизнь сына, его лишают наследства, предоставляется это наследство более твердому члену семьи, в данном случае, например, Ефиму Лебедеву, и говорится, что «родному сыну моему такому-то выдавать на всю жизнь такое-то содержание, позволить ему жить в отведенном ему помещении, не допускать до такого занятия» и т. д.

Вот тогда бывает видно, что состояние, которое составляет результат труда, которое известный человек, если он был расчетлив и скуп, любит так, что считает его единственной силой и смыслом в жизни, передается наиболее твердому члену семейства, а человек неверный устраняется или ему назначается такая ничтожная сумма, что прямо видно, что при таком положении дела лицо это должно считать себя оскорбленным, и тогда можно говорить, что этот обойденный сын при данных обстоятельствах купил убийцу.

Между убийством, совершенным в Харькове, и сыном, находившимся в Егорьевске, проводят связь только, так называемую, интеллектуальную.

Я хочу спросить обвинителя: раз вы привели подсудимого на суд, обвиняете его в таком ужасном преступлении, в самом неизвинительном, в самом страшном по последствиям, в таком преступлении, к которому человеческая мысль и совесть относятся с содроганием, в таком преступлении, за которое в былые годы, когда существовала публичная казнь в России, считали нужным, везя человека на казнь, закрыть ему лицо черным покрывалом, чтобы людям не стыдно было, что между ними нашелся человек, дошедший до такого зверства, — обвиняя в таком преступлении, много ли вы собрали данных, чтобы видеть, как же могла действительно родиться такая дерзкая мысль у человека, как это он сумел выбрать людей и как он с ними уговорился?

Прокурорский надзор чувствует необходимость подоб-

ного рода данных, потому что связь между Егорьевском и Харьковым до сих пор оказывается только в выгоде для Гр. И. Лебедева — совершения убийства.

Но это выгодно и для его сына — Ефима Григорьевича; однако отсюда не следует, чтобы Е. Г. Лебедева нужно было сажать на скамью подсудимых.

Итак, кроме выгоды, надо видеть, как родилась мысль, как стали известные люди совещаться об этом и т. п.

Прокурорский надзор за бедностью почвы в этом отношении отыскивает все, что можно отыскать при данном судебном и предварительном следствиях, и говорит: «Нашел!»

Гр. И. Лебедев бывал иногда в трактире с Ивановым. Иванов — приказчик. По местным обычаям униженно, говорит прокурор, хозяину с приказчиком вместе пить.

Слово «униженно» — слишком сильно. Не униженно, а не совсем прилично водить компанию высшему сословию с низшим.

Но я думаю, такое резкое разделение сословий рождается совершенно при других обстоятельствах.

Прежде всего, одно сословие не ведет знакомства с другим, если они получают настолько неодинаковое воспитание, что, если посадить их за один стол, получится несколько личностей, друг друга непонимающих. Но в том мире, где хозяин немного образованнее своего приказчика, где разница в том, что хозяин ест пироги каждый день, а приказчик только в воскресные дни, — там, чтобы хозяин с приказчиком, в особенности с чужим, не хотел посидеть и чаю выпить, — этого не бывает.

Другая улика в том направлении, что приготавливалось соглашение относительно ярмарки, состоит в факте странного вызова Гр. Н. Лебедева в трактир Филипповым, где они вместе с Ивановым пили чай.

Русские купцы, в особенности нашей северной полосы, все свои коммерческие и семейные дела начинают и кончают в трактире, за чаем. Так как накануне Филиппов с Ивановым окончательно порешили породниться, то они вместе были в трактире, а Гр. Н. Лебедев был в родстве с Филипповым, — вот почему послали и за ним. Пьют они вместе чай, о чем они говорят — неизвестно.

Но судебный следователь собирает об этом данные, и прокурор полагает, что это была минута, когда совещались о том, каким образом убить на ярмарке Н. В. Лебедева.

Таким образом, выходит, что в улику возводится следующее обстоятельство: собрались люди и говорят неизвестно о чем, предрежащие власти об этом не слышали, а пото-



му, надо полагать, что говорили о противозаконном деянии.

Признаться сказать, дальше этого подозрительность власти идти не может.

Затем, если уже таково направление прокурорского надзора, если он полагает, что здесь, около Филиппова, группировались такие люди, которые замыслили против Н. В. Лебедева, то должен же судебный следователь по особо важным делам, ездивший в Егорьевск, согласиться с одним: кроме него есть судебные следователи на Русской земле, до него этот институт был и после него будет; если не сам, то он должен был другому поручить именно эту часть хорошенько обследовать. Осматривали воротник у Князева, осматривали царапины, осматривали ключи, а простой вещи по отношению к Лебедеву не считали нужным сделать! Коль скоро Гр. Н. Лебедев совещался с Ивановым через Филиппова, здесь-то и нужно было собрать сведения об изменившемся образе жизни Филиппова. Раз было совещание, следовательно, предполагая комплот, нужно было разыскать в доме, не найдется ли следов достатка, который указывал бы, что после известного разговора Филиппов разбогател и имеет деньги, происхождение которых он не может доказать. Такие факты, которые могли бы ответить на вопрос положительно, совершенно не исследованы и взамен этого, путем соображений и наведений, связывают самые несвязуемые факты егорьевской жизни с харьковской.

За отсутствием каких бы то ни было улик является учение о причинности, т. е. опаснейшее из всех учений, потому что причин данного факта ум, подозрительно настроенный, может найти тысячу.

Я думаю, что сегодня идет дождик потому, что атмосфера подготовилась к этому, а другой говорит, что причиной здесь то, что накануне впереди стада шла черная, а не белая корова. Это тоже причина.

Если идут на суд с учением о причинности, то пусть, по крайней мере, скажут, что лучшего метода для исследования истины не нашли...

Следователь нашел по смерти старика Лебедева телеграммы и письма, которые писаны отцом к сыну, но у него нет никаких материалов, хотя бы отдаленных, хотя бы таких, в которых видно было бы, что подсудимый скрывал свое намерение, чтобы по отъезде старика Лебедева в Харьков между Ивановым и Князевым — с одной стороны, и Гр. Н. Лебедевым — с другой, шла какая-нибудь переписка.

Напротив, из дела видно, что Гр. Н. Лебедев преспокой-

но занимался в Егорьевске своими делами. Из дела видно, что телеграмма о смерти старика поразила его, — по словам Остроумова, поразила так, как может поразить сына известие о смерти 90-летнего отца; что он выказал такую же печаль, какую обыкновенно выказывают люди в таких случаях, — положим, не особенно резко, потому что при получении известий о смерти человека, который отжил свой век, которого смерть была не особенно неожиданна, печаль не может выказываться в такой резкой форме, как при известии о смерти человека молодого, который подавал надежды на долгую жизнь.

Следователь также не указал никаких данных, которые можно было собрать о том, что, если Филиппов участвовал в комплоте, то через него и Иванова шла бы какая-нибудь переписка, что бывает тогда, когда известное лицо, задумавши совершить какое-нибудь злое дело, поджидает удобного момента, когда можно будет его совершить.

Но, говорят, по получении известия о смерти подсудимый вел себя дурно, и эту дурноту видят в отношении его к имуществу. Говорят, он скрыл часть имущества.

Вопрос, действительно, по-видимому, очень серьезный и к нему нужно перейти.

Вам, людям жизни, конечно, известно то общеупотребительное правило закона, что, когда люди умирают и оставляют духовные завещания, то эти завещания представляют в суд для утверждения; известно вам также, что при этом суд спрашивает представившего духовное завещание к утверждению: скажите по совести, как велико имущество, вам оставленное? Предъявитель заявляет, секретарь записывает объявленную сумму в протокол, взыскиваются изветные издержки, и дело кончено.

Если бы представить себе такой небывалый случай, что в известный момент в России все владельцы-собственники скончались и оставили духовные завещания своим наследникам в один и тот же момент, во всех русских судах эти завещания были бы утверждены, все наследники были бы спрошены о том, что им оставлено по этим духовным завещаниям, — тогда Россия оказалась бы беденькая: вряд ли оказалось бы, что в России осталось больше миллиона-двух рублей, потому что в это время не скрывают только то, чего нельзя скрыть.

Таким образом, из того факта, что скрывают имущество, вовсе не следует никакой посторонней цели, кроме той, что хотят отделаться от платежа пошлин.

При наследстве законном этого не бывает, и я не должен

скрывать от вас, что при наследстве законном пошлин не берут, но зато здесь совершается другой факт.

Хотя закон говорит, что после смерти наследодателя наличные наследники, за силою смерти, немедленно вступают в наследство, хотя закон о времени вступления в права наследства других указаний не дает, но наших приставов мировых съездов не убедишь никакими кассационными решениями, что не нужно опечатывать всего имущества. Есть закон, который говорит: «на случай явки наследников неизвестных». Пусть умрет человек, которому от роду 19 лет, пусть будет видно, что он год тому назад вступил в первый брак и, по естественному порядку, у него может быть один 3-месячный ребенок, который тут же и пищит, вероятно, во время описи. Но по регламенту судебного пристава может быть иначе, и ожидая, что у 19-летнего супруга может быть еще 3—4 наследника других, он описывает все и считает тогда свою юридическую обязанность исполненною.

Ввиду этого и при получении законного наследства совершается тот же факт, именно: неотдача всего состояния в руки судебного пристава.

Это ужасно для купца. Его имущество будет лежать несколько месяцев в съезде после 3-й публикации, пока он будет утвержден в правах наследства; при быстроте русских судов состояние нередко лежит 9—10 месяцев, а между тем дело не терпит, удобное время для торговых оборотов теряется, и ввиду этого, чтобы не все имущество подверглось описи, часть его скрывают, — это явление общеупотребительное в жизни. Из сотни наследств, я ручаюсь, в 99-ти поступают так, в особенности, если налицо тот наследник, к которому это имущество перейдет. Другое дело, если человек умер и законный наследник на стороне. Тогда всякий порядочный человек укажет все имущество, иначе это будет значить украсть, а самому у себя украсть нельзя. Гр. Н. Лебедев ни у кого не крадет, он берет в силу смерти то, что переходит к нему по естественному порядку.

Затем, думаю, впоследствии, когда уже обозначился характер отношений к подсудимым судебного следователя по особо важным делам, тогда при допросе была естественна эта некоторого рода утайка со стороны Гр. Н. Лебедева.

До того времени, пока судебные следователи не окрестятся новым крещением, пока вместо крещения во имя того, чтобы делать все нужное прокурорскому надзору, они не окрестятся иным крещением, — новых Судебных Уставов: «Я, мол, крещусь в то крещение, чтобы собирать дань

ные как для обвинения, так и для защиты с одинаковым беспристрастием», — до того времени правдивого отношения подсудимого к следователю никогда в России не дождетесь.

Бумага, на которой записаны символические цифры гадалки, посоветовавшей купить билеты за такими-то номерами, случайно попав в руки следователя, является уликой, что были такие-то билеты и их скрыли.

Но прокурор говорит: нет, тут просто вот почему не говорилось об известном количестве билетов: этими билетами заплачено за убийство.

Я спрошу только, когда же заплачено?

Если до убийства, то ведь убийство могло и не состояться. Н. В. Лебедев мог воротиться еще в Егорьевск. Наконец, как дать деньги вперед за такое дело? Ведь могут и надуть.

Если же убийство состоялось, и тогда уже дали знать, что он может заплатить деньги, то ведь люди были немедленно заарестованы, и сношения между ними не могли привести ни к каким результатам.

Наконец, для Гр. Н. Лебедева один факт имеет важное значение.

На минуту допустим (я прошу вас только не делать из этого моего признания), что Князев и Иванов во всем виноваты. Вы помните, что, обвиняя их, и судебный следователь, и представитель обвинительной власти, за отсутствием улик в обстоятельствах дела и в показаниях свидетелей, прибегли, так сказать, к мистическому способу обвинения, воспользовавшись тем, что накануне допроса Князев был болен чем-то подходящим к белой ли горячке, к другому ли роду болезни и говорил какие-то вещи, которые судебный следователь записал, — воспользовались этим мистическим способом обвинения и говорят: вот доказательство!

Остановимся и мы на минуту на этом доказательстве и на одну минуту допустим, что Князев или виноват, или знает об убийстве и, смущенный судебным следователем, говорит о способе убийства, называет лиц, говорит о таких обстоятельствах, что можно думать, что он все знает, что он присутствовал на месте. При этом нет ни малейшего намека на то, что это делалось по почину, по желанию, в интересах человека, для которого все это убийство должно иметь значение.

Таким образом, из мистического способа, к которому прибегло обвинение и пользуется им, следует, что между егорьевским купцом Гр. Н. Лебедевым и событием смерти в Харькове нет той связи, по которой люди совести могли

бы сказать: да, ты совершил отцеубийство, ты не пощадил еще двух совестей, которые погибли, замаравшись в крови твоего отца.

Для обвинения в таком страшном преступлении прокурору достаточно, что он не может отыскать другой цели для убийства, совершенно достаточно, что несколько сотен или тысяч рублей при описи судебного пристава и при допросе судебного следователя не представлено было Гр. Н. Лебедевым, достаточно, что Гр. Н. Лебедев ходил когда-то с Филипповым и Ивановым в трактир, пил там чай и о чем-то говорил, что судебному следователю неизвестно.

Правда, Филиппов человек очень опасный. Удивительно, как это еще до сих пор г. Егорьевск стоит на месте. В Губернском Правлении про Филиппова идет дело, что он словом или действием оскорбил полицейского чиновника. Но я полагаю, что это не такое еще доказательство нравственной распущенности Филиппова, чтобы идти за прокурором и говорить, что это человек погибший.

Затем, говорят — он пьянствует и буянит. Но это выражение — пьянствует и буянит, заимствованное из свидетельского показания Радугина, должно быть сокращено ввиду его разъяснения здесь. Радугин говорит, что Филиппов не пьяница, но иногда его прошибает, иногда он позволяет себе выпить и, когда пьян, буянит, — это две вещи разные.

Затем, если этот буян способен был на то, чтобы сосватать Гр. Н. Лебедеву такое дело, как отцеубийство, найти такие руки, то, нет никакого сомнения, он извлек бы для себя из этого выгоду.

Между тем, этот вопрос совершенно не обследован. Прокурору достаточно, что кто-то проговорился, что этот человек — буян и пьяница, что он оскорбил полицейского чиновника, чтобы нарисовать облик ужасного злодея. Однако можно полицейских чиновников обижать с утра до вечера, можно за это вечно сидеть в тюрьме, но отсюда еще далеко до гнуснейшего преступления.

Этот вывод обвинительной власти объясняется тем, что прокурор, вероятно, не видит разницы между оскорблением полицейского чиновника и таким преступлением, за которое и в гробу человеческая совесть не получит успокоения.

По этим данным я утверждаю, что Гр. Н. Лебедев ничем не изобличается в том, что жизнью своей в г. Егорьевске доведенный до отчаяния, до невозможности выждать естественной смерти старика отца, он решился найти людей, которых подкупил выгодами или обещаниями совершить в

его интересах гнуснейшее преступление. Я утверждаю, что между ним и харьковским делом не было никакой связи и нет ни юридических, ни нравственных данных для обвинения, которого не существует, а существует только одно предположение, самое странное, за которое уничтожить человеческую жизнь и взводить на человека обвинение в том, что он страшный преступник, не приходится.

Переходя к Князеву, я только еще минуты на 2 остановлю ваше внимание на том предмете, о котором сию минуту говорил.

Защищая Лебедева, я отправлялся от положения, что я не поднимаю вопроса, виноват ли Князев или Иванов, или нет, но не мог не заметить следующего: прокурорский надзор особенно останавливается на мысли, что убийство это было бы полезно Лебедеву.

В каком смысле?

От человека скупого, скряги, который замки берег как следует, имущество перешло бы к человеку тароватому, не скупому, слабому.

С точки зрения отыскивания цели, я думаю, не помешало бы прокурору, если бы он предположил таким образом: Лебедев убит с целью сделать его сундуки легко отворимыми, с целью сделать его имущество не таким крепким, с целью поживиться этим имуществом. Просто могли найтись люди, которые не имели доступа к старику, но хорошо знали, что изменись наследник, будь помягче человек, — и тогда замки скрипеть не станут, тогда многое, что лежит в этих сундуках, будет легко переходить к ним благодаря тому, что новый хозяин будет человеком слабым, доступным, которого можно держать в руках...

Закончив, таким образом, слово мое о Лебедеве, я обращаю внимание ваше на то, что при изучении Лебедева в смысле разрешения вопроса, мог ли он быть главой, душой этого отцеубийства, я останавливался главным образом на таких фактах, которые рисовали домашнюю жизнь Лебедевых, отношения отца к сыну, общественное положение сына и мнение о нем города.

Мне могут сказать, что я, таким образом, вращался в области пустых вопросов, что у меня не было почвы под ногами, что при изучении дела нужно останавливаться на реальных фактах.

При изучении человека и при суждении о человеке, способен ли он к такому-то делу вообще или к данному в особенности, думаю, что следует держаться точки зрения, к которой я ближе стою. Нравственным уликам нужно давать

предпочтение перед вещественными. Нравственная улика при изучении характера человека ближе разрешает вопрос. У всех людей есть по 2 руб., у всех по 5 пальцев, которые могут сжаться в кулак и схватить нож; но из этого не следует, чтобы всякая здоровая рука могла наносить удары; наносит удары только рука, привешенная к такому телу, внутри которого живет дух развращенный, который не знает удержу перед всякими страстями и всякими соблазнами.

Я полагаю, что прежде всего нужно изучить человека, и, если эта натура долгой жизнью доказала, что это человек твердый, прямой доброты, зло различающий, живущий в таком мирозерцании, которое строго преследует всякого рода проступки семейственности, то такой человек может из честного гражданина сделаться отцеубийцей, но не по предположению, а по тем несомненным данным, которые сказали бы: да, событие совершилось, 47-летние убеждения погибли, верования потерялись, человек должен был сделаться злодеем и сделался им.

От подобного учения о нравственных уликах, которые, по моему мнению, берут перевес над реальными, я перехожу к Князеву.

Князев стоит к данному преступлению в другом отношении, несколько более соблазнительном: соблазнительность эта, так сказать, материальная. Он был в день убийства не только в том городе, где совершилось убийство, — он владелец той лавки, относительно которой собраны наиболее компрометирующие данные, он владелец, хозяин и держатель ключей той лавки, через двери которой легче всего было проникнуть для совершения преступления.

Поэтому, при изучении дела Князева наиболее было обращено внимание на улики реальные, и без поглощения вашего внимания этим вопросом обойтись нельзя.

Но, я думаю, правильная постановка вопроса требует остановиться и посмотреть: с каким человеком мы имеем дело. Сначала, так сказать, очертить самого человека; прежде чем задаться вопросом об этих уликах, подойти к этому человеку и посмотреть, следует ли отвернуться от него.

Для совершения убийства отыскиваются люди, которые не имеют никакой причины бороться с соблазном, которым терять нечего. Князев оказывается человеком молодым, сытым, принадлежащим к семейству, в котором целые поколения пользовались добрым именем, почетным положением в городе, и жил так, что ему нуждаться в чем-нибудь, продавать свою совесть за деньги, предлагать руки свои для преступления — не приходилось. Между тем, он стоит по делу в таком соблазнительном положении.

Лавка Князева компрометирует его, как я сказал, всего более. Но лавку эту занимает не один Князев. В ней есть работники и приказчики его, работники и приказчики его товарища по лавке. Обвинение прежде даже и направлялось против всех этих лиц. В этот период дела Князев должен был, сравнительно говоря, стоять в более благоприятном положении. Кажется мне, я не погрешу против истины, если скажу, что его социальное положение представляло меньше искушений, чтобы впасть в преступление, нежели его товарищей по лавке, их приказчиков и работников.

Но одно обстоятельство ставит здесь вопрос. Это — обстоятельство, состоящее в том, что, по мнению обвинения, пройти иначе, как через эту лавку, убийцам было нельзя; а раз нужно было пройти через эту лавку, то следует предположить, что прошли только живущие в этой лавке; а раз живущие в этой лавке, — нужно определить характер преступления, и, если это был не грабеж, тогда представляется вопрос: кому же жизнь Н. Лебедева могла помешать?

С этой точки зрения, Дворниченко совершенно правильно освобожден судебной палатой от преследования, и несколько дней и часов, которые он провел в тюрьме, были днями, которые ему надо зачесть как дни, которые он напрасно томился, и я не позволю себе подымать сомнения относительно этого лица. Но поведение этого лица, при сравнении с поведением Князева, послужит основанием для некоторых выводов.

Итак, Князев привлечен к делу. Что он против этого мог возразить? Он прежде всего мог возразить: посмотрите на меня, принадлежу ли я к категории тех людей, которые, не имея для себя прямой практической цели, свою волю и совесть, и даже весь вопрос жизни предлагают первому товарищу в услугу, за которую берут деньги.

Но само обвинение ни одной минуты не останавливается на том предположении, что Князеву можно было что-нибудь заплатить за то, чтобы он совершил такое деяние. Любимый сын у отца, человека даже более богатого, чем Лебедев, Князев не стоял в положении нуждающегося и из-за рубля не отдавал бы направо и налево свою совесть и руки для услуги.

Следовательно, надо подыскать другие основания. Эти другие основания видят в слабости характера Князева, в податливости разного рода впечатлениям.

Но здесь обвинение забывает одно. Вообще под первым впечатлением разговора или сцены, где одно лицо, по моему мнению, в высшей степени несправедливо поступает с



другим, при родившейся в одну минуту мысли, что такого рода отношения одного человека к другому постоянны, под впечатлением этой постоянной несправедливости может зайти в голову идея пожертвовать собою в пользу такого-то лица для того, чтобы восстановить справедливость и дать возможность человеку жить. Но у впечатлительных натур, по мере удаления от такого впечатления, теряется и желание чего-нибудь достигнуть. Люди, которые при виде известных неприятных фактов плачут, отойдя на известное расстояние от предмета, раздражающего их, делаются гораздо спокойнее тех сосредоточенных натур, которые не слишком плачут при горе, но зато долго его помнят.

Итак, если даже Князев был несколько раз в Егорьевске свидетелем отношений отца к сыну, которые, по его понятиям, были тяжелы, если ему стало жалко Гр. Лебедева, то я полагаю, он мог бы принять участие в истории, которая совершилась бы в тот же день, там, в Егорьевске. Но Гр. Лебедев с отцом своим расстался несколько дней назад; никаких сцен, по-видимому, между ними не было; Гр. Лебедев остался полномочным хозяином на фабрике, а отец уехал; и вдруг через 8—10 дней у впечатлительного Князева явилась мысль освободить своего друга Лебедева от гнета родительского. Вот такого влияния впечатлений на характер Князева я не признаю, тем более, что про Князева есть данные, извлекаемые из предварительного следствия, что у него всякое раздражение моментально проходит и он возвращается в нормальное состояние.

Когда он был вызван к следователю, когда давал те показания, которых не подписал, о которых свидетельствовал сам следователь, что он их давал в бессознательном состоянии, то, как говорит сам следователь, за этим показанием через 5—10 минут он успокоился и начал рассказывать дело как следует.

Чтобы такой человек, живя в отдалении от Лебедева, которому он сочувствовал, не видя никаких неприятностей между отцом и сыном, вдруг вздумал совершить отцеубийство, с целью освободить сына от гнета отца, — это представляется с точки зрения, которую принял прокурор, — с точки зрения совершения преступления из сочувствия к человеку, не выдерживающим критики.

Таким образом, эта улика, по-моему, отпадает. Другие реальные улики против Князева представляются в ином виде. У самого Князева нашли после убийства один след, по-видимому, борьбы. Это — маленький порез на руке. Я не спорю, что в числе массы улик и такое обстоятельство мо-

жет играть некоторую роль, но при изучении их прежде всего должно каждое взвесить отдельно. Я думаю, что царапина у человека, который и жизнь ведет не совсем трезвую, который приехал на ярмарку проводить время, как заезжий купец проводит его после торговли, не зная куда пойти, у человека, который играет на миллиарде, который ходит купаться, иногда выпивает лишнее, — у такого человека, чтобы не было ссадины на руке или на теле — вещь почти невозможная, и сама по себе царапина служить уликой против него не может.

Но, говорят, эта улика идет в связи с другой. На другой день убийства в первый раз увидели Князева в ночной рубашке, а дневную нашли под подушкой с разорванным воротником. Относительно этого обстоятельства надо припомнить одно. Я думаю, предположение, что Князев носил постоянно голландское белье, вряд ли будет верно, если мы примем в соображение, что этот человек приехал на ярмарку всего с 4 сорочками. Но, кроме того, вы вспомните, что этот день, в который видели его в ночной сорочке, играет особенную роль в его жизни. Он жил напротив той лавки, в которой совершилось убийство; во всем Суздальском ряду он был самым близким человеком к семейству Лебедевых; несомненно, когда прошел шум о том, что в лавку не допускались, что в лавке несчастье, когда Князеву сказали об этом, то Князев, несомненно, должен был поспешить на место, и в торопливости он, не переодеваясь, пошел в той ночной сорочке, в которой был. Да и в Суздальском ряду, видно, не особенно посещаемом большою публикой, большого внимания на это не обратили бы и переодеваться в другую сорочку не приходилось.

Мы эту сорочку рассматривали. В ней есть сомнительный порок. Я просил бы вас прежде всего представить себе, какое движение должен был сделать тот человек, который, бросаясь на Князева, разорвал бы сорочку таким образом. Если бы человек схватил за ворот и стал тянуть сорочку, то разорвалась бы петля с запонкой, потому что тогда точкой опоры было бы, с одной стороны, то место, которое прилегает сзади к шее, а с другой — место, за которое тянет человек, — что слабее, то разорвалось бы: если сорочка будет ветха, то разорвется воротник сзади; если крепка, то петля представляется единственным началом для разрушения; но оторвать это место возможно только, специально схватившись за края воротника двумя-тремя пальцами.

Я не знаю, в каком положении должен был находиться старик во время борьбы, чтобы для него было удобно бо-

роться таким образом, — вытянувши свои старческие руки, ухватиться специально за кончики и надорвать понемногу с одной и другой стороны. Но примите во внимание, что Князев не принадлежит к такому элегантному обществу, которое в движениях своих соблюдает комфорт: это — люди, которые по-товарищески толкнут друг друга, выпив лишнюю рюмку вина или стакан пива, схватив друг друга за руки; вообще это — серенькая, буржуазная жизнь, и я могу представить себе целую массу случаев в ней, без всякого вопроса об убийстве, где эти порывы сорочки могли быть сделаны.

У Князева есть еще улика, и самая главная, состоящая в том, что он не сумел, по-видимому, доказать, где он находился в момент убийства, так как убийство предполагается совершившимся через его лавку. Я не намерен об этом умолчать, потому что не в привычках моих не возбуждать вопроса по таким частям судебного следствия, которое, по-видимому, заслуживает наибольшего доверия. Я сам с большим доверием отношусь к тому, что путь, найденный судебным следователем, реален. И потому иду около тех вопросов, которыми разрешается предположение: кто же должен был совершить убийство через открытый судебным следователем ход.

Нам говорят, что наше *alibi*, т. е. нахождение в другом месте, совершенно не доказано. Мне думается, что это не совсем верно, конечно, если не идти путем прокурора, который, когда доказывает, что какое-нибудь событие совершилось в известное время, делит всех свидетелей на две половины и утверждает, что одним верит, а другим не верит. На такой почве спорить нельзя. Не веря свидетелям, надо найти основания к недоверию в них самих.

Между тем, из дела видно, что свидетели — некоторые с вероятностью, а другие положительно — утверждают, что вечером 6-го числа видели Князева. Я могу утверждать, что время от 6 до 8 часов положительно недурно доказано. Это признает и сам прокурор. Посещение Князевым своего родственника, посещение знакомых на Чеботарской улице, выход на Екатеринославскую улицу или, по крайней мере, направление туда, — все это положительно доказано.

Затем прокурор освобождает меня от обязанности доказать поздний вечер этого дня: он сам говорит, что конец вечера доказан недурно, придавая значение тем свидетелям, которые говорят, что Князев ночевал и ужинал дома. Дело только в часах. Я соглашаюсь с тем, что полагаться на определение часов по показанию кухарки, которая делит время на часы до и после ужина, — нельзя.

Таким образом, начало и конец вечера доказаны, середина представляется немного сомнительно доказанной.

В этот день, подобно другим, Князев гулял по Екатеринославской улице, в этот день он играл с Герасимовым на бильярде, встретился с Смоленским. В рассказе этих лиц, при некоторой неточности в деталях, главные черты сохраняются. Обыкновенно неточность свидетелей служит порукой того, что они говорят правду. Сомнительно, если 5—7 человек точно выделяют известный день и с необыкновенною точностью рассказывают о безразличных для них деяниях. Человек не помнит своих безразличных деяний, потому что, если они ему особенно не нужны, он, совершивши их, забывает о них; когда же несколько человек о таком незначительном событии говорят буквально одно и то же, — всегда можно заподозрить некоторый камертон.

Относительно 6-го числа такого камертона не было. Между Смоленским, Герасимовым и Тимофеевым не существует такого плотного союза, чтобы они составляли одно целое: они друг друга даже не знают. Между тем, Тимофеев свидетельствует, что именно с 6-го на 7-е число, когда он ходил по Екатеринославской улице, он встретился с Князевым и Ивановым и при этом сообщает о встречах с такими лицами, которые также со своей стороны не отрицают, что они там были. Из них Смоленский, совершенно стоящий в стороне, приказчик Морозова, с необыкновенной подробностью рассказывает о порядке своих встреч, о времени прихода и ухода и выделяет для Князева время до 11 часов. Он говорит, что хорошо не помнит, было ли это 6-го числа, но с достаточною вероятностью полагает, что в этот же день он заходил в лавку Пономаренко, где его звали посмотреть портрет Пушкина. Никакого портрета Пушкина в то время в Харькове не показывали, но, по всей вероятности, это относится к событию, о котором все знали из газет, — что 6-го числа в саду «Тиволи» предполагалось отпраздновать в скромном виде тот же праздник, который в это время праздновали в Москве, где чествовали память Пушкина, было возложение венков, было чтение стихотворений у памятника поэта.

Вот, если теперь припомнить предположение Смоленского, что эти события относились к одному дню, то, установив, что событие пушкинского праздника было 6 числа, мы должны предположить, что и прочий его рассказ относится к 6 числу; если же все эти события относятся к 6-му числу, тогда и говорить нечего, что участие Князева в убийстве не могло не совпасть с пребыванием его на Екатери-

нославской улице со знакомыми до такого часа, который исключает возможность найти время на то, чтобы отправиться в лавку Лебедева для совершения преступления.

Из лиц, с которыми Князев встречался на Екатеринославской улице, Тимофеев утверждает положительно, что это было 6-го числа. В том, что одни из них помнят с точностью, другие не так твердо помнят, что это было именно такого-то числа, я вижу поруку того, что мы имеем дело с житейским явлением, с лицами, для которых это дело было безразлично, которые боялись сказать утвердительно, чтобы не ошибиться. Боялись они так настаивать на 6-м числе, — хотя во время предварительного следствия все прямо начинали с 6-го числа, — еще и по другой причине. Показание Смоленского было здесь прочитано после его личного допроса. Сначала и он прямо говорил о 6-м числе, но затем под обыкновенным напором вопросов судебного следователя относительно всего, что вначале утверждалось, начинает говорить: «кажется», «может быть». Это вещь очень понятная. Было уже слышно по Харькову, что идет следствие, что забирается под арест народ, что немало и купечества попало под арест; и при грозном отношении следователя к свидетелю, который утвердительно скажет об обстоятельстве, бывшем за несколько дней, о котором он мог тогда помнить, что это было 6-го числа, — не мудрено, что свидетель этот, встретив отпор человека власти, с которым ему не равняться, раз эта власть настаивает: «может быть, это так кажется», ей, этой власти, уступает.

Мне кажется, что началу показания Смоленского, данного на предварительном следствии, сам прокурор доверяет. Мне следует думать, что я имею право утверждать, насколько это по-человечески возможно, что Князев достаточно твердо указал, что 6-го числа вечером, после закрытия лавки, он лично провел время не в этой лавке, а был на Екатеринославской улице, где встречался с товарищами, играл на биллиарде и т. д. По свидетельству кухарки, которая подавала ему ужинать, ему было подано обыкновенное количество кушанья, и ей не бросилось в глаза, чтобы Князев не ел. Мне думается, что это незначительное обстоятельство бросает свет на дело. Я думаю, что человек, не закоренелый убийца, у которого на душе убийство и даже более мелкое преступление, не мог быть спокоен тотчас по совершении преступления и с аппетитом кушать. Вряд ли это было бы с человеком, который 8—9 числа после того, как видел труп Лебедева, после того, как при нем анатомировали его, ведет себя так, как больной, впадает в галлюцина-

цию. Такой человек — проводить совсем спокойно время, не обратить на себя внимания странностью своего поведения тотчас по совершении преступления не может, — это представлялось бы в высшей степени неестественным.

Поэтому я о Князеве, с точки зрения реальных улик, скажу, что в этой лавке, в момент совершения убийства, несомненно, ему быть не представлялось никакой возможности. У него был ключ, который может свидетельствовать, что, кроме него, никто другой в лавку проникнуть не мог. Но относительно ключа вы должны помнить, что возможность пользоваться им с Князевым одинаково разделяет и его товарищ Иванов и мог разделить каждый из рабочих, которые приходили за ключами.

Дело в том, что теперь на суде предполагается, что соблюдался особенный какой-то порядок аккуратности: один человек является за ключом, другой идет с рапортом к хозяину, который и выдает ключ. В действительной жизни, пока не стряется беда, с обыкновенными вещами такой строгости не соблюдают. Я думаю, не существовало правила, чтобы один рабочий непременно запирает заднюю дверь, а переднюю запирает бы такой-то рабочий, чтобы ключ клался на такое-то именно место, чтобы на задней двери, которая выходит во двор, непременно осматривался замок. Все это для очистки совести, для отклонения всякого рода сомнений все теперь утверждают; все говорят, что каждый был при исполнении своих обязанностей, а в действительности обязанности, вероятно, не так точно выполнялись. Бывают лавки, которые вовсе забывают запирать.

Следовательно, хотя из того факта, что ключ был у Князева, для него и является большая возможность проникнуть в лавку, вовсе не следует, что не было возможности проникнуть туда кому-нибудь другому, хотя бы кому-нибудь из товарищей его по лавке: факт владения ключом ничего не доказывает в смысле улики против Князева.

Говорят: Князев вел себя очень странно на другой день около трупа, упрасивал власти не производить анатомирование трупа. Здесь спрашивали свидетелей, не существует ли у староверов учения, воспрещающего, как грех, анатомирование, и ответ получен отрицательный.

Как религиозного учения, правил в этом отношении не существует, все равно, как вы не найдете в учении староверов правила о том, можно ли или нет ходить в театр-буфф, но у них существует известное миросозерцание, которое не допускает новшеств. Все то, чего не было, когда это учение устанавливалось, считается нетерпимым. В этом отноше-

нии не одни старообрядцы, но и общество нестарообрядческое очень недавно примирилось с таким фактом.

Да что говорить о старообрядцах. Кто знает историю медицины, тот знает, что в числе изгнанников был медик Вецель, который первый произвел анатомическое исследование над телом человека. Я знаю картину художника, где изображено около 20 человек изгнанников из отечества, борющихся за истину, — между ними сидит тот медик, который произвел первое анатомирование. Не только наши старообрядцы, но и вся образованная Европа несколько столетий не могла примириться с мыслью, что с точки зрения христианства допустимо анатомирование мертвого тела. Старообрядчество есть фиксированное православие II века. Они не захотели принять ничего нового, что входило к ним после известного периода, и жили теми убеждениями, которыми жили до 1666 года в России, — а в то время, конечно, все русское общество смотрело на эти вещи пренебрежительно.

Напрасно говорит прокурор, что этого не может быть, что в таком случае невозможно исследование преступления — убийства у старообрядцев. Убийство преследовали и в то время, когда анатомирование еще не производилось; только находили возможным собирать данные об убийстве другим путем, менее совершенным, нежели в настоящее время.

Таким образом, ходатайство Князева, знавшего, к какой секте принадлежал Н. Лебедев, знавшего, как встретят это событие в Егорьевске, ничего странного не представляло.

Затем говорят: Князев ведет себя очень странно у судебного следователя. Я не могу не заметить, что, как защитник подсудимого, я не вправе не остановиться на одном факте. Если читать предварительное следствие, то выйдет, что бред Князева с намеком на доски и т. п., констатированный судебным следователем Белым и свидетелем — приставом, который был здесь спрошен, предшествовал осмотру лавки; но, как защитник, я имею право сказать, что протоколу 8-го числа, подписанному судебным следователем, мы, в смысле реального доказательства, не должны верить. Такого рода протоколов, как настоящий, следователь даже и не уполномочен составлять. Вот почему, несмотря на желание сторон, такой протокол не мог быть и оглашен перед вами. Мы прежде всего не имеем ручательства, что он составлен в то время, к которому относится; протоколы выемок, осмотров утверждаются следователем потому, что при нем находятся понятия; протокол же допроса свидетеля скрепляется под-

писью свидетеля, которая гарантирует, что он спрошен именно в число, значащееся в заголовке. Но личное воззрение судебного следователя, занесенное в протокол в форме повести от отсутствующего подсудимого, никогда не имело значения в судебном мире, и если мы будем придавать значение таким доказательствам, то будут такие предварительные следствия, в которых будет 4—5 страниц допроса свидетелей и затем огромный том повести: сочинение прокурора такого-то, просмотренное судебным следователем таким-то и тщательно дополненное.

Поэтому я прежде всего юридически не знаю, когда Князев говорил, и если Князев здесь не подтвердил, что он это говорил, то я до известной степени сомневаюсь: все ли то он говорил, что там написано.

Но даже допустим, что он говорил это. Опять обращаю ваше внимание на то, что при этом бреде он собственной своей роли совсем не изображает. Опять-таки не видеть, что же он сам в этом случае делал. Даже сам следователь говорит, что рассказ идет не то в форме показания, не то в форме предположения. Другими словами: не то в форме воспоминания о том, что было, не то в форме предположения, как другой человек делал. А раз возможно второе, значит, делал тогда, когда меня не было, ибо, если я стоял тут, когда другой человек совершал, и видел подробности, то мне не нужно предполагать, а я вспоминаю; если же предполагаю, то меня не было, но потом я стороною узнал об этом.

По поводу Князева мы должны остановиться еще на таком положении: мы имеем дело с человеком, который по своему социальному положению принадлежит к дому, вовсе не нуждающемуся добывать себе средства к жизни путем продажи себя на преступление.

Затем, мы можем сделать вывод, что Князев вовсе не находился в таких отношениях к Гр. Лебедеву, чтобы мог для него погубить себя преступлением. Если Гр. Лебедев раздражался дополнительным духовным завещанием, то надо припомнить, что для Князева точка зрения должна быть другая. Князеву Еф. Лебедев ближе, нежели Гр. Лебедев, потому что за ним его родная сестра замужем, и, следовательно, для него факт отделения части имущества в пользу внука, т. е. мужа родной его сестры, не должен был представляться обстоятельством, которое его раздражало настолько, чтобы он готов был предложить свои услуги Гр. Лебедеву.

С точки зрения улик в Харькове, самое большее внима-



ние останавливали на Князеве — ссадина и сорочка, специально до него относящиеся, затем бред, которому придает значение судебный следователь. Но в отношении к бреду я уже упоминал, что нельзя останавливаться на его содержании: в самом деле, что это за странный бред, в котором один человек другого выдает, а двух бережет? Одно из двух: или этот человек бредит, тогда он вспоминает все, или это не бред, тогда ему не нужно было выдавать и Иванова.

Что касается *alibi*, то, мне кажется, оно представляется доказанным, потому что относительно 6-го числа нет таких сведений, основанных на каких-нибудь твердых данных, при которых прокурорский надзор мог бы доказать, что 6-го числа Князев там не был. Напротив, Герасимов и Тимофеев на 6-е число указывают точно; Смоленский, хотя 6-е число ставит не так точно, но говорит о тех же событиях, о которых говорят Тимофеев и Герасимов, вспоминающие 6-е число. Раз вы соедините это, окажется, что Князев был 6-го числа на Екатеринославской улице, что видели его в таком положении, в каком вряд ли бывают люди, которые через час совершат преступление: разве обычная игра на бильярде, обычное питье пива, обычное гулянье под стать человеку, который убийство сделал своим ремеслом и который спокойно рассчитывает отправить свою жертву на тот свет? На первый раз такое спокойное положение убийцы, принимая во внимание весь характер Князева, представляется в высшей степени загадочным.

За Князевым на скамье подсудимых сидит Иванов, против которого есть специальные улики и общие против него и Князева. Вместе с тем у Иванова и Князева есть и такие улики, которые пригодны для них обоих вместе, чтобы в глазах ваших обвинение не было доказано.

Специально для Иванова я не могу представить таких данных, при которых я мог бы нарисовать его образ и доказать, что он принадлежит к категории тех людей, которые не способны на дело, ему приписываемое. Происходит это не потому, что Иванов не имеет таких данных, а по причине, в которой он менее всего повинен. Жизнь делит людей на состоятельных и несостоятельных; на людей, которые, благодаря состоянию, всем видны и заметны, и на людей, которые каждый день работают из-за куска хлеба; считаются они обыкновенно тысячами, а потому о них история молчит.

Иванов, простой приказчик, в последнее время получавший достаточное вознаграждение, рублей до 800, а прежде и менее того, не имеет такого крупного знакомства в Егорь-

евске, чтобы можно было нарисовать его прошлое. Достаточно, если приведены данные, что он — скромный работник, приказчик, следовательно, может только представить аттестацию того, что он никогда не проворовывался и хозяином считался за хорошего человека. Больше у него ничего нет. Поэтому ему всего труднее бороться с уликами.

Но, борясь с уликами, ему важно обратиться к вам с просьбой: этот недостаток в характеристике не счесть за улику против него и не считать бедности таким положением, которое обуславливает наше легкое отношение к человеку.

Возьмем его, каким он есть, и посмотрим, какие данные собраны в настоящем деле против него и какие за него.

В числе доказательств, говорящих за то, что он в данном деле не участвовал, несомненно первенствующее значение имеет то, как он провел подлежащее время. До закрытия лавки он провел его, как и все. Никто не говорит, что он из лавки отлучался; никто не говорит, чтобы в последние дни он вел себя так, как человек, приготавливающийся к какому-то важному делу. Ни переписки его с кем-нибудь, ни отсылки через кого-нибудь писем в Егорьевск, ни получения сомнительных писем в лавке, — ничего этого нет. Напротив, 6-го числа, после закрытия лавки, и 7-го числа, в день обнаружения убийства, он не меняет своей обыкновенной жизни: спокойно уходит в 8 часов купаться, где его видит Тимофеев, 7-го числа отправляется к обыкновенным своим занятиям, предварительно выкупавшись. Таким образом, это время проведено им совершенно спокойно.

Материальных улик против него, в смысле знаков, собирается еще менее. Находят у него незначительный кровоподтек, очень сомнительно когда происшедший, потому что лица, видевшие его на другой день утром, свидетельствуют, что этот кровоподтек им в глаза не кидался. Он объясняет это так, что он мог получить этот кровоподтек во время купания, когда плавал в общей купальне, где возможны столкновения. Так что самый кровоподтек не играет никакой роли.

Но ему говорят: ваше *alibi* не так ясно доказано.

Есть маленькая разница, но не настолько существенная.

Несомненно, что и он в этот вечер гулял на Екатерининской улице. Притом весьма важно, что он никакого общего, особенно уединенного от всех прочих знакомых разговора с Князевым отдельно не вел. Он также участвовал в общей беседе, гулял по скверу, заходил в ресторан. Правда, он расстался с этими лицами раньше 11 часов, но, во вся-

ком случае, один из них, Тимофеев, свидетельствует, что в лавках горели огни, когда он окончательно довел его после встречи домой и при этом пригласил зайти в погребок выпить вина или пива, но тот отказался.

Затем, другие свидетели говорят, что он ужинал и ночевал дома. Правда, вырвать из этого времени около часу возможно, возможно также в течение часа совершить то преступное деяние, в котором его лично обвиняют. Но здесь, как по отношению к нему, так и по отношению к Князеву, прошу обратить внимание на то, с какой экономией они должны были пользоваться всякой минутой и твердо знать, что у них есть определенный час, в который они должны совершить преступление.

Покойный Лебедев до конца 9-го часа, несомненно, был жив; несомненно, он, поужинавши, гулял по галерее с приставом, которому сообщал имена владельцев лавок, и, только отправивши на железную дорогу рабочего Омельченко с письмом и для встречи своего внука, он отделился от всех и вошел в свою лавку. В это время сторожа ни Иванова, ни Князева около лавок не видели. Очевидно, они должны были знать, что в это именно время неудобно приходить; они должны были знать, что он будет гулять с приставом и что останется один час, в который тот будет в лавке один.

Сторожа садятся пить чай: совершается какая-то благоприятная вещь для убийц. Все сторожа, которые должны ходить кругом, в этот только день собираются у ворот пить в неположенное время чай и сидят вместе. Мало того, кроме одного неявившегося и, кажется, непривлеченного ни разу к уголовному делу сторожа Погорелова, прочие даже утверждают, что при этом тщательно были затворены двери из коридора в ворота. Таким образом, сидящим внизу на площадке в этот раз представлялась полная невозможность видеть человека, который проходил бы по коридору в свою лавку.

Вот момент, в который Иванов, будучи уверен, что Омельченко дома нет, что он не только понес письмо на вокзал, но непременно там останется столько времени, сколько нужно, чтобы не только встретить поезд, но и пробыть до отъезда последнего пассажира, чтобы убедиться, нет ли Ефима Лебедева, — Иванов смело идет, уверенный, что в этот именно день все сторожа соберутся у ворот пить чай, уверенный, что именно в этот день пьющие у ворот чай закроют двери из коридора и не будут видеть того человека, который пройдет по коридору. Со смелостью, с полным убеждением, что никто не помешает ему, он один, или в со-

провожении Князева, идет к лавке и отворяет дверь, уверенный, что шум, который раздастся, не будет слышен.

Останавливаюсь. Шум этот, говорят, не мог быть так громок, как теперь: указывают на разницу в дереве летом и зимой; но один из экспертов показал, что истинная причина стука не в дереве, а в дребезжании стекол. Дребезжание не могло быть тогда и теперь.

Итак, Иванов должен был быть уверен, что этот шум из лавки не будет слышен сторожами.

Говорят, его трудно было слышать в этом месте, так как улица эта проезжая и в эту ярмарочную пору здесь проходят обозы. Но согласитесь с другим фактом: сторожа, поставленные для охранения известного имущества в известном месте, обладают специальным слухом; их слух настолько применился, что они легко различают, при множестве посторонних звуков, звуки, происходящие от предметов, им вверенных. В этом отношении они напоминают собою обер-кондуктора во время хода поезда. Нам кажется, что идет постоянный шум, совершенно одинаковый; однако бывают случаи, что при этом шуме обер-кондуктор различает, что происходит что-то особенное, и выбегает счастливо потому, что происходит шум, соответствующий порче поезда; он слышит особенный звук, а не тот, который мы, обыкновенные пассажиры, слышим. Точно так же люди, стоящие близко к известному предмету, свои особые звуки умеют отличать.

Каким образом этот человек идет смело к своей лавке, уверенный, что, как он ни будет шуметь, — его не услышат?

Затем, он должен явиться туда и быть уверенным, что дальнейшая работа произойдет без всякой помехи.

Положим, производились опыты, и оказалось, что стука при открытии потолка и забивании его не слышно с того места, где сидят сторожа. На это я скажу следующее. Для того, чтобы этот опыт был произведен как следует, нужно было изолироваться в этом отношении таким образом, чтобы звуки эти производились в то же самое время и, сравнительно, при таком же движении по улице. Нет сомнения, если в 15—20 лавках будут колоть сахар, никто не обратит на это внимания, потому что днем звуки будут исходить, не возбуждая подозрения. Но ночью малейший шум слышен, и малейший шум, происходящий в здании, в котором нет жизни, наводит всегда на сомнение.

Каким же образом Иванов в этот час мог с такой уверенностью в себе продолжать дальнейшее дело, продолжать бить потолок и уйти, скрыв следы преступления?

Говорят, что, помимо следов, которые найдены на потолке, Иванов, как и Князев, изобличаются неверностью в объяснениях этого явления: то они говорят, что потолок был прежде испорчен, то иначе объясняют причину неровности досок. В этом видят против них улику.

Но здесь, кроме Иванова и Князева, сам прокурор обратил внимание на пятикратное изменение показания Дворниченко. Какой же из этого делают вывод? Прокурор не делает вывода, что Дворниченко в чем-нибудь виноват, а делает вывод, что Дворниченко только не умеет показать истины. Почему же неточные показания Князева и Иванова должно объяснять таким образом, что это есть доказательство их виновности? Причина, я думаю, здесь одна и та же. Когда их привлекли к суду и когда на этот потолок было обращено внимание, то у них не хватило мужества, которое может спасти людей, напрасно привлеченных к суду, помогать судебному следователю в расследовании этого обстоятельства. Первым делом они хотели спасти себя, чтобы как-нибудь не запутаться, и тут начали давать объяснения не совсем точные.

Но из этого ничего не следует, так же точно, как и из показания Дворниченко не следует, что он преступен в чем-нибудь. С этим согласна и прокурорская власть, которая не нашла возможным привлечь его к суду. Дворниченко давал объяснения, которые тоже противоречат одно другому, и тем не менее он находится на свободе. Почему один и тот же прием, признанный по отношению к Дворниченко, является уликой против Князева и Иванова, дающих такие же объяснения, — я понять не сумею.

При выяснении, каким образом произошло убийство, когда человек хочет доказать, что убийство произошло при таких-то обстоятельствах, что оно совершено такими-то лицами, самый лучший путь — исключительность доказательств, т. е. самое лучшее или доказывать, что такой-то и никто другой, кроме него, это сделал, или доказывать, что он не мог этого сделать, а могло совершить другое лицо, которое сюда не привлечено. Поэтому-то вы и выслушали мои возражения прокурору, когда я не соглашался с его доводами, что непременно Иванов и Князев прошли через этот потолок.

В таком случае мне скажут: докажите другое положение, попробуйте доказать, кто же другой, кроме Иванова и Князева, совершил это деяние?

Я этот вызов принял бы, и не приму его только по условиям нашего процесса. Надобно не забывать, что у нас в

России защитник является подсудимому на помощь только тогда, когда подсудимый получил обвинительный акт, когда следствие закончено, когда направление делу дано. Будь защитник на предварительном следствии, о чем и мечтает современная наука, тогда, нет сомнения, при всяком исключительном направлении внимания обвинителя на известное лицо, как бы сам подсудимый ни был неопытен, предлагающий ему свои услуги адвокат мог бы указать, чтобы его законные права были ограждены, и другой путь, который одновременно надо исследовать, чтобы не увлечься тем, что мы идем по торному пути, и не дать зарости другому пути, не дать потеряться следам.

Но у нас на предварительном следствии защитника нет; он приходит тогда, когда все дело уже кончено, и от нас даже иногда требовать нельзя указания, каким образом иначе объяснить дело.

В данном случае, например, лежит труп Лебедева, собираются суздальцы и самыми циническими речами сопровождают это тело. В этих похоронных речах целая масса предположений, — что у человека этого, если и не было специального врага в Харькове, как говорит прокурор, то были люди, которые имели против него много неприязненных чувств, благодаря которым они о нем были самого низкого мнения.

Но я при следствии не был, как не было и другого защитника. В деле нет ни малейшего намека на исследование того, кому убитый продавал товар, не продавал ли в кредит, не брал ли за это лишних денег, не получал ли каких-нибудь задатков и не отказывался ли от своих слов в прошлом, не было ли у него каких-нибудь неприятностей с торговцами или рабочими. Ничего этого исследовать я не могу потому, что имею в руках только тот материал, который прокуратура приготовила при предании суду.

Я не могу идти дальше: я, например, согласен с прокурором, что есть некоторое сомнение, положим, о Филиппове; но благодаря тому, что я в предварительном следствии не участвовал, я не мог данного вопроса исследовать: не было ли между Ивановым и Филипповым более нравственной связи, нежели между Ивановым и Князевым; не было ли людей, которым интересно было сделать Григория Лебедева хозяином, помимо Князева? Не участвовали ли Князев и Иванов в этом деле только тем, что слишком невнимательно смотрели за своей лавкой, чем позволили угнездиться там злодею? Были ли действительно их рабочие такие аккуратные люди, что можно положиться на верное, что двери

были заперты? Действительно ли была заперта задняя дверь? — Все эти вопросы, которые нас интересуют, которые давали бы возможность нам идти по другому пути, для нас закрыты.

С подсудимым встречается защитник уже в то время, когда он от всего мира отрезан. В данном деле вы заметили, что защита является совершенно даже безоружной. По Уставу, когда подсудимый имеет своих свидетелей, защита допрашивает их первая. Как помните, здесь не было ни одного свидетеля, которого допросить предоставлялось бы прежде мне, а потом прокурору. Это признак, что в настоящем деле защита не представила ни одного свидетеля. Здесь мы имеем материал отборных свидетельских показаний, которые облюбовала прокурорская власть и судебная палата.

При таких данных защита имеет право ограничиться разбиванием улик, собранных против известных лиц.

Вы, говорят известному лицу, совершили такое-то деяние. Мы должны только доказать, что нет доказательств, что подсудимые могли быть на месте преступления. Нам говорят, что только эти лица могли проникнуть в лавку, — мы должны доказать, что прочие пути для того, чтобы проникнуть в эту лавку, не были преграждены, что задняя дверь могла быть незаперта. Нам говорят, что против нас сильная улика — потолок. Я относительно потолка имею свидетельские показания Дворниченко и некоторых других рабочих той же лавки, которые говорят, что потолок не был в совершенном порядке.

Правда, нас бьют эксперты, которые указывают на свежесть работы, на гвозди, которые не носят того характера, как на прочих досках. Но для меня рождается вопрос: если эти гвозди не похожи на прочие, то каким образом утром ни один рабочий не нашел выбитых гвоздей? Если подсудимые, вскрыв и забив потом потолок, были так дальновидны, что старые гвозди унесли с собой, то значит они слишком много думали о том, как совершить преступление, а тогда они могли подобрать гвозди, как следует.

Говорят, у подсудимых могло быть другое орудие, более тонкое, чтобы вырывать гвозди, — поэтому не было следов.

Но если бы они запаслись более тонким орудием для вырывания гвоздей, то почему же они не запаслись более тонким орудием и для забивания гвоздей, вроде хорошего молотка, а пользовались первым попавшимся под руки орудием, которым они не могли попадать куда следует.

Таким образом, масса отрицательных улик показывает,

что подсудимые в самом деле уличаются не настолько сильно, чтобы можно было сказать им спокойно: вы убийцы.

По отношению обоих существует *alibi*; по отношению к Князеву существует нравственная невозможность допустить, чтобы он был страшным орудием без всякой цели; по отношению к Иванову существует отсутствие реальных улик, которыми можно было бы его изобличить в том, что он извлекал какую-либо выгоду.

Та неполнота средств, которая видна в действиях судебного следователя, сказалась здесь в высшей степени. Поэтому пришлось предположениями прокурора связывать маленькие улики, как белыми нитками.

Прокурор в одном не выдержал своего сравнения: правда, из тонких ниток можно свить канат, которым можно поднять громадную тяжесть, но когда тысячи белых ниток связаны так, что образуют одну длинную нить, то силы в ней не будет и при первом прикосновении тяжести эта нитка лопнет.

В настоящем деле, как вы заметили, я считал долгом ограничиться изучением улик.

Можно защищать подсудимых двояко.

Бывает, что преступление, как бы тяжело оно ни было, совершено подсудимым в таком положении, когда ему вменить его нельзя: бывают преступления, которые совершаются людьми тогда, когда они по обстоятельствам дела, что называется, подавлены средой, подавлены известными причинами, которые влекут к тому или другому преступлению. Тогда у защиты широкое поле для мотивов психологических; тогда поднимается вопрос о количестве сил, свойственных человеку вообще или в особенности для борьбы со злом; тогда ставится на разрешение широкая задача: вопрос о невменяемости.

Но когда перед вами судятся люди, обвиняемые в таком деянии, которое неизвинительно по своему характеру, когда обвиняются люди, которые по натуре своей не представляют ничего особенного, почему они могли бы быть невменяемы: они здоровы и в таком возрасте, — тогда другой защиты не может быть, как борьба с уликами. Поднимать всякий другой вопрос о том, что иногда подобное преступление не может быть наказуемо, что старик много пожил, — это значит унижать защиту, это значит способствовать внесению в ваш приговор элемента вовсе не желательного, как всякий вообще безнравственный элемент. Мы можем защищать подсудимых в таких случаях исключительно только посредством изучения улик.



С другой стороны, и вы в таком деле имеете одно правило: совершилось убийство, возмездие должно быть.

Но из того, что за убийство должно быть возмездие, не следует, что вам непременно нужно найти жертву, — это значило бы дурно понимать правосудие.

Вы должны найти жертву тогда, когда жертва связана с преступлением такими данными, при которых вы можете сказать: ты виновен, ты непременно совершил это дело, — один или вы вместе.

Если при этом вы видите, что такой нравственной связи нет, или что совершилось убийство, два человека стоят в некотором подозрительном соседстве, но совесть ваша недоумевает и не знает, оба они или один из них виновен, — то это значит, что перед вами поставили подсудимых преждевременно, что не собрали таких данных, чтобы человеческая совесть могла сказать: вы виновны, вы удаляйтесь из общества, и, сказав эти слова, судьи могли бы уйти с уверенностью, что они видели истину, как видели ее пророки и сердцеведы.

Полагаю, моя задача закончена.

Я рассмотрел улики, я собрал их по отношению к каждому подсудимому, указал, где их нет, указал, где их недостаточно, и вашему решающему слову предоставляю судьбу подсудимых.

**ДЕЛО**  
**О ДВОРЯНИНЕ В. В. ИЛЬЯШЕНКО,**

*обвиняемом  
в убийстве Энkelеса*

В 1882 году в своем имении при селе Остролучье, Переяславского уезда, умер глухонемой дворянин Василий Ильяшенко. После покойного осталась вдова Александра Ильяшенко, два сына, в том числе обвиняемый Василий Васильевич Ильяшенко, и замужняя дочь — Зинаида по мужу Лесеневич.

Между этими наследниками и подлежало разделу имущество умершего.

Раздел был произведен 31 марта 1883 г. Мировым Судьей 4 участка Переяславского уезда, г. Маркевичем.

Но не все наследники, ближайšie родственники покойного, получили свои части: вместо В. В. Ильяшенко к участию в разделе явился в село Остролучье еврей Моисей Энkelес, по улиточной записи приобретший у В. В. Ильяшенко его наследственную часть в отцовском имуществе.

По показаниям свидетелей и объяснению подсудимого, отношения между Моисеем Энkelесом и В. В. Ильяшенко, приведшие к только что упомянутой сделке, возникли следующим образом.

За несколько лет до события в соседнее село приехал бедный еврей Энkelес, снявший в аренду шинок. Сперва дела шинкаря шли плохо: у него была большая семья, а тут стряслась беда — случился пожар, во время которого сгорело все его имущество. Пережить это горе помогла Энkelесу, между прочим, семья Ильяшенко, приютившая его у себя со всем его семейством. Затем Энkelес, по-видимому, оправился и с течением времени даже снял у Ильяшенко в аренду их имение. Мало-помалу между Энkelесом и В. В. Ильяшенко, тогда еще 15-летним мальчиком, завязались какие-то «деловые» отношения, долгое время остававшиеся тайными для старших семьи Ильяшенко. Энkelес снабжал мальчика деньгами то «под честное слово», то под

расписки. Юноша Ильяшенко очень любил лошадей, и вот Энкелес то сам продает лошадей В. В. Ильяшенко, в долг, конечно, то покупает у него обратно, с большой скидкой в цене, то дает ему деньги на расплату за лошадей с барышниками. Бывало так, что одни и те же лошади раза по четыре переходили из рук Энкелеса в собственность В. В. Ильяшенко и обратно. Купив лошадь за 200 руб., Энкелес сбывал ее Ильяшенко за 500 руб., а потом приобретал обратно за сто.

Долг В. В. Ильяшенко Энкелесу все рос и рос. С наступлением совершеннолетия Ильяшенко первоначальный долг на слово и под расписки был облечен в форму векселей, но от этого рост его не прекратился: он достиг, наконец, 7000 руб., когда Энкелес потребовал у Ильяшенко в обеспечение долга замены векселей улиточной записью на долю Ильяшенко в отцовском имуществе. Улиточная запись была совершена.

Узнав об этом, родные Ильяшенко попытались выкупить обязательство Ильяшенко у Энкелеса, но последний был неумолим, потребовав за выкуп своего права сперва 5, потом 7, потом 12 тысяч, и, наконец, вовсе отказался от сделки.

Осуществить это-то свое право и явился Энкелес 31 марта 1883 г. в семью Ильяшенко, которая делила между собою имущество умершего старика.

На долю Василия Васильевича Ильяшенко приходилась, между прочим, 1 десятина пахотной земли в усадьбе его покойного отца. Василий просил Энкелеса не отнимать у него этой десятины: ее он вспахал под табак и надеялся на доход с нее начать самостоятельную трудовую жизнь.

Энкелес отказал.

На следующий день, 1 апреля, Энкелес снова появился в усадьбе Ильяшенко: он пришел доплатить Лесеневичу 450 руб., следовавшие по разделу с Энкелеса его жене.

Тут Василий Ильяшенко снова стал просить оставить ему десятину земли хотя бы на одно лето.

Энкелес остался неумолим и вышел вон.

За ним вышел Василий Ильяшенко с ружьем в руке. Встретившимся его знакомым парням он показывал ружье и говорил, что идет убить ворону.

Вскоре после этого раздался выстрел и послышался голос Ильяшенко: «Люди, идите сюда, я убил жида!»

Оказалось, что, увидев Энкелеса, мерившего складным аршином перешедший в его собственность амбар Ильяшенко, Василий Ильяшенко выстрелил в него из ружья и на расстоянии 25 шагов убил Энкелеса наповал.

Сын глухонемого от рождения, человека чрезвычайно нервного, раздражительного до бешенства, обвиняемый, по отзывам свидетелей, был человек тихий и скромный. Денежных расчетов ни с кем, кроме Энкеlesa, он не имел. Доля подсудимого в имуществе отца, целиком отошедшая к Энкелесу, стоила, по мнению свидетелей, от 25 до 40 тыс. руб.

19 и 20 сентября 1883 г. Ильяшенко, обвиняемого по ч. I ст. 1455 Уложения о наказаниях судили в Лубенском Окружном Суде с участием присяжных заседателей.

Председательствовал Товарищ Председателя Суда Орловский. Обвинял Товарищ Прокурора Китицин.

Вдова Энкеlesa предъявила к подсудимому гражданский иск через присяжного поверенного П. А. Андреевского.

Ф. Н. Плевако защищал обвиняемого, которому присяжные вынесли оправдательный приговор.

### Речь в защиту Ильяшенко

Скажу ли я блестящую речь, как пророчит гражданский истец, ограничусь ли более или менее связным рядом мыслей, продиктованных мне моим положением в деле и фактами, им разоблаченными, — не знаю; но, во всяком случае, все ваше внимание и сила принадлежат теперь мне; соберите их, если вы утомлены, займите их у завтрашнего досуга, если они истощены, — но дайте их мне; ведь мое слово — последняя за подсудимого борьба; ведь замолчу я — и уж никто больше не заступится за него; начнется последняя, решительная минута — минута оценки его воли, приговор об его судьбе — едиными устами и единым сердцем судей, судящих по совести и внутреннему убеждению.

Но знаю я зато другое, — что боязнь моего соперника, чтобы настоящее дело не выступило на шаблонную и соблазнительную тропу расовой борьбы, чтобы здесь не было превращения печальной драмы в «погром еврейства» выведенной из терпения толпой коренного населения страны, — что эта боязнь напрасна.

Защита в лице моем не забудет своих гражданских и общечеловеческих обязанностей и кровавую сцену не будет возводить в правовую норму жизни. Пусть кто хочет, но я то не решусь, подняв руку, направлять страсти моих братьев по Христу на несчастных братьев моих по Адаму и Адоннай-Саваофу. Я ишу суда, а не карикатуры на правосудие, и

надеюсь, что ваше глубокое проникновение в душу подсудимого, ясновидение вашего опыта, руководимое милующей человечностью, — лучшее прибежище для подсудимого, чем страстью и злобой продиктованное решение!

Я приглашаю вас судить не русского, убившего еврея; я приглашаю вас изучить вину человека, пролившего кровь своего ближнего под давлением таких обстоятельств, которые, медленно подготавливаясь, как горный снег, мгновенно, как снежная лавина, обрушились на душу и задавили ее со всеми ее противоборствующими злу силами, не дав им не только времени на борьбу, но даже краткого момента на сознание того, что вокруг них совершилось и куда их бросила навалившаяся стихийная буря.

Еврейства же я коснусь в своем месте настолько, насколько национальный характер дает колорит добру или злу, совершенному тем или другим человеком, дело которого приходится рассматривать на суде.

Но прежде мне надо покончить с одним воззрением, высказанным обвинителем — стражем закона. Он сказал вам, что настоящее дело разрешается простым применением закона к бесспорно совершившемуся факту; что закон, запрещающий проливать кровь ближнего, уже сам предусмотрел те случаи, когда это страшное дело сопровождается обстоятельствами, наталкивающими на него; что закон, по мере казни, существенно снисходительнее отнесся к одному роду убийств сравнительно с другим и что обходить требования закона и идти вразрез с духом его никто, кому мир общественный дорог, кто призван служить ему, — не имеет права.

Слова и мысли — безусловно истинные, но не вмещающие всей истины.

Обвинитель забыл, что закон наш, подобно законам всех, даже далеко опередивших нас в развитии стран, все важнейшие преступления, где человеку грозит неисправимая казнь, отдал на суд присяжных; что, несмотря на мастерство составителей закона, на многоопытность судей короны, он предпочитает суд людей жизни и опыта.

В чем причина подобного приема власти?

Законодатель хочет судить волю, обуздывать волю, но отрекается от всякой солидарности с идеями тех времен, в которые думали, что для правды и мира в мире полезно, чтобы среди шума и суеты общественной жизни раздавались из подземелий тюрем и застенков приказов стоны жертв правосудия и наводили ужас на граждан, не напоминая им ничего другого, кроме того, что у власти есть и сила

и средства давать знать о себе. Законодатель наших времен карает волю только тогда, когда совершенное ею зло могло быть преодолено или когда она, вместо попытки на борьбу с ним, с радостью, с охотой, по крайней мере без отвращения, бросилась на его соблазнительные призывы.

Там же, где зло совершилось потому, что силы духа были сломлены и подкопаны, или потому, что оно неожиданно, вдруг, подкралось, — там закону противна казнь, там ему, как отеческому слову, жаль столько же погибшего под гнетом зла, как и того, кого погубил погибший.

Но усчитать вес давящих волю обстоятельств, смерить рост и силу духовную каждого отдельного человека закон сам не может: каждый из нас имеет свою особую духовную физиономию, как каждый из нас внешним обликом не похож на другого. И вот это-то живое созерцание он передает вам, живым людям. Только вы в силах в каждом отдельном случае, взвесив все данные, умея себя представить в обстановке подсудимого, решить человечески безошибочно, что причиной падения вашего ближнего: лень ли души, не желающей нести тяжесть нравственного закона, не превосходящего ее силы, или естественный закон, по которому слабая организация падает под бременем, переходящим предел ее способности к поднятию.

Итак, не только не вправе, а наоборот, вы обязаны рассудить этого человека по его вине и сознанию, меряя их тем чутьем, без которого никто, никогда, никакими средствами не сумеет определить теплоту или холод души, чутьем, дающим только непосредственным прикосновением испытывающего к испытываемому.

Эта обязанность вас ждет. Поспешим к ней навстречу. Чтобы исполнить ее, изучим действующих лиц печальной трагедии и переживем ту жизнь и те встречи, что были между ними. Может быть, старая истина, — кто понял, тот простил, — оправдается еще раз на живом примере настоящего дела.

Столкновение Ильяшенко и Энжелеса подготовлялось на почве имущественных отношений. Падению первого предшествовала полная интереса борьба, где опытный и меткий охотник высмотрел и выследил добычу, загнал ее в сети и запутал, довел до бешенства в борьбе ее за освобождение; и в ту минуту, когда, казалось, совсем с ней покончено, она неловким движением, погибая сама, погубила своего преследователя.

На исход влиял характер борьбы и характер тех людей, которые вступали в нее.

Здесь не Русь и еврейство, повторяю вам. На целую нацию клеветать — богохульство. Еврей не хуже нас может возвыситься до мудрости Натана; а своекорыстие и пороки Шейлока расцветают и на всякой иной почве, кроме еврейской.

Здесь борьба, которая в наше время, по предмету своему, принимает особо страстный и упорный характер. Ведь к нашему меркантильному веку более, чем ко всякому иному, применим обвинительный приговор поэта: «Бывали хуже времена, но не было подлей».

Бывало, как и теперь, в массе погоня за наживой, и пороки, обусловленные ею, были преимущественным предметом судебных разбирательств, но они не были характеристикой века; лучшие люди знали иные идеалы, умирали и отдавали свои силы иным задачам; а им вторили те, более слабые, но не совсем худые люди, которые пойдут на добро или зло, глядя по тому, куда им показывают путь пионеры общественной нравственности и настроений...

Теперь власть, даваемая деньгами, — самая обаятельная цель самолюбия и деятельности; иные идеалы или терпимы или поощряемы; но присмотритесь к жизни, и вы увидите, что мать, укачивающая ребенка, мечтает не о том, чтобы ее дитя стало в ряды этих, а хочет, молит судьбу о завидной доле или карьере, где золото, много золота, обеспечивает богоподобие на земле и райские блаженства у себя под рукою.

Это настроение охватывает всех; осколки его западают в ум и знатного и простака, и русского и еврея, и девушки и ребенка. Отсюда много энергетических сил, прежде находивших иное применение, идут на борьбу в этой области; таланты и злодеяния обостряются в ней; отсюда, с другой стороны, лишения в этой области наиболее ощутительны: падение имущественного благосостояния сводили с ума и кредиторов Бонту и мелкие жертвы мелкой эксплуатации.

Энкелес, жертва трагической развязки 1 апреля 1883 г., во всем, что предшествовало и натолкнуло на ужасное дело, был тираном, а поднявший на него руку Ильяшенко, наоборот, в длинный ряд годов развития борьбы был жертвой и только жертвой ненасытной страсти Энкелеса.

Борьбу вызвало вожделение Энкелеса, ум и душа которого во что бы то ни стало стремились к обладанию, не разбирая средств, лишь бы то, чего он ищет, плотнее приставало к похотливым щупальцам его, чем к мускулистым рукам законного обладателя.

Здесь место указать, что национальные свойства Энке-

леса, раз он избрал себе недобрую задачу, придали общечеловеческому пороку такую силу, что справиться с его напорами уже не имела никакой возможности бедно одаренная от природы и национально-апатичная южно-русская натура подсудимого.

Энселес, как вы знаете, пожилой и опытный человек, 12 лет тому назад — нищий, собравший несколько рублей, чтобы спекулировать на страсть к стакану вина у утомленного сельского работника, мало-помалу превратился в арендатора и, наконец, в собственника целого поместья дворян Ильяшенко. Видно, следовательно, что он не убивал времени даром, а денег — зря; видно, следовательно, что в свободные часы, в антракте между двумя пропойцами — посетителями его шинка, он недремлющим оком высматривал добычу покрупнее, страсть пошире и средства поинтереснее, чем те, с какими приходится считаться из-за прилавка «с распитием на месте».

На беду — он еврей; он — сын той нации, исторические судьбы которой развили ее душевные силы настолько, что в этой области трудно отыскать им равно крепкого соперника. Разбросанные между другими нациями, гостеприимство которых отошло в область мало достоверных легенд, евреи вечно между чужими, вечно чувствуют на себе нелюдимость взгляды недовольного хозяина — исторического собственника страны.

Вечно в боевом положении, вечно с недоверием к завтрашнему дню, еврею некогда спать и медлить, — оттого он настойчив в цели и чуток к окружающему. Он отдыхает с открытыми глазами, — оттого он прозорлив; мимо него не проходят незаметными ни одно живое лицо, ни одно его действие: он все запомнит, запомнив — обдумает и поймет. Поэтому там, где мы — на авось, он ясно видит и верно измеряет ширь и глубину природы своего врага и его силы.

Мы дремлем днем, — он просыпается ночью; если мы — кладоискатели, то он — гробокопатель; наша мечта — пять раз в день поесть и не затежелеть, его — в пять дней раз и не отощать.

С этими задатками за что бы, за добро или за зло, ни взялся еврей, в его руках уже половина успеха; захочет он спасти утопающего, вытащит из бушующего водоворота, не подвергаясь риску; захочет утопить, — утопит в луже, не обмочив краев своей одежды.

Не надо быть особо глубокомысленным, чтобы предвидеть, что апатичный, непредприимчивый, нетерпеливый по расовой особенности южнорусса, Ильяшенко был обречен



судьбой на жертву, если глаз Энкелеса случайно упал на него. Тем более добыча не уйдет из рук, если вспомнить личные особенности Ильяшенко, поставив их рядом с выдержанным характером Энкелеса.

Вы помните, что я возбуждал вопрос даже о медицинской экспертизе и оставил ее только потому, что отсрочка заседания подсудимому была невыносима. Но данные, которые вытекали из дела, и сами по себе убедительно говорят о надломленности и слабости душевного строя подсудимого.

Он родился не под счастливой звездой. Отец его был глухонемым. Обучить его чтению или азбуке знаками — не умели. Книга природы и богатство, заключающееся в слове, для него были закрыты. Не понимая радостей и горестей, возбуждаемых в окружающих его передачей мысли и чувств, он бесился, рвал и метал. Досадуя на вечное молчание кругом него, он впадал в бешенство, рисуя себе раздражающую его, кругом кипящую жизнь, как всякий озлобленный, в мрачном свете, сурово и дико...

Подсудимый — его сын. Когда настала пора первых впечатлений, когда закон природы, связующий любовью отца с детьми, закрепляет за последними несменного, горячего и преданного учителя, — в эту пору мальчик Ильяшенко ничего не видал, кроме безобразных сцен, ничего не слышал, кроме звероподобного мычания немого. Семейная жизнь, судя по всему, по намеку на побочного сына, по свидетельству матери об ее отъезде в Киев, была печальна. При родителях — сирота, и тем хуже, что нахождение их в живых освобождало общественную власть от особой заботы.

Учили его плохо. Стоило мальчику залениться — и курс кончен; и брошен был он на произвол судьбы, на произвол дурных инстинктов, не облагороженный воспитанием, обучением.

А враг был близко. Разуваевские инстинкты Энкелеса давно уже заготавливали паутину; оставалось только плести ее там, где добыча вернее, где даром не пройдет время, где посеянное возвратится сторицею.

Вся семья Ильяшенко была перед глазами Энкелеса. Все они, по болезни, по слабости пола, по возрасту могли остановить на себе хищнические инстинкты его. Но выдержка характера Энкелеса помогла ему спокойно, со знанием психолога, выбрать себе жертву.

Сам отец Ильяшенко — игра, не стоящая расходов: как больной, он под опекой; отчуждать он ничего не может, до-

ходы с его имени идут в руки опекунов, на содержание семьи, — поэтому его оставил Энкелес в покое.

Мать — опекушка, по местным правам — будущая временная владелица, но не собственница имения. Большого барыша здесь нажить нельзя; можно дешевле снять аренду, угодлившись расположить ее к себе и отвести ее глаза от подозрительной близости с ее детьми. Энкелес дальше этого не идет и ее веры в свою благонадежность не подрывает. Вы слышали здесь, что вся махинация зла велась втайне от нее, что решительные удары Энкелес нанес в те полтора года, когда она бросила семью и уехала в Киев, чтобы отдохнуть от непосильных сцен домашнего очага. Дочь Ильяшенко? Но она выйдет замуж. Каков будет ее супруг — неизвестно, а Энкелес не делает дела наугад.

Младший сын в гимназии, в школе, за стены которой не долетали приманки хитрого мироеда.

Остался подсудимый, совмещавший в себе все условия, обеспечивающие успех предприятия.

Борьба завязалась.

Плохо воспитанный, без присмотра, мальчик походил на заброшенную ниву, где сорные травы заглушают рост небрежно кинутых и позабытых культурных семян.

Энкелес благосклонно взглянул на ребенка и обласкал его. Тебе хочется лошадку? Тебе надо денег на нужды и на охоту?.. Чего дома тебе не дают неласковые родители, тем поделится бедный Энкелес.

Расположение куплено. Из году в год подобными, здесь рассказанными фактами, мальчик привязался к Энкелесу. Там, если не запрет, то, по крайней мере, равнодушие, а здесь такое теплое, ласковое удовлетворение самых дорогих желаний, удовлетворение молодых страстей.

Правда, Энкелес делает не даром, — он одолжает его. Несмотря на малолетство, он доверяет честному слову. Это льстит ребенку и еще более располагает его к своему сообразителю.

Конечно, тут риск. Слова и обязательства малолетнего ничтожны. Как же так опрометчиво поступал Энкелес?

Но, господа, ребяческие страсти пагубны, но они дешевы. Их удовлетворяли ничтожные копейки и рубли. Ценны они были для Ильяшенко; Энкелес не шел далее того риска, каким поступает всякий, возделывая надежную полосу земли.

Так продолжалось долго.

Чего же дремала мать? Чего же она-то не удержала сына от пагубной привычки не знать сдержки в своих страстях и

удовлетворять их путем вредных запутываний в денежных сделках с бывшим шинкарем?

Об этом думал Энкелес и думал не даром, не бесплодно.

Подогревая страсти мальчика, чтоб не дать время уму его оглянуться и осмотреться, удовлетворяя их, чтобы этим держать его в руках, Энкелес в то же время приучал свою жертву скрывать свои отношения от матери. Она и родные не знали ничего о денежной зависимости ребенка. Энкелес, стоя между матерью и сыном, обучил последнего предпочитать дружбу с ним любви и доверию к ней: последние остатки нравственных задатков, последние надежды исправления устранены; страсть осложнена ложью, и изгнано лучшее чувство, — чувство родственной связи из души человека.

Наступает совершеннолетие Ильяшенко.

Долгие ожидания близки к концу.

Страшный труд Энкелеса — многолетнее преследование Ильяшенко, перевоспитание его, уход за ростом его страстей, уничтожение в душе его привычки к долгу, к сдержанности — не пропал даром. Совершеннолетний, но еще не наследник (отец жив), он может теперь давать на себя документы, настоящие, действительные.

Энкелес работает: старые долги теперь облекаются в тысячные векселя; страсть Ильяшенко к лошадям удовлетворяется в низших размерах, покупки и перекупки мелькают перед глазами. В то же время Энкелес, вы знаете, отрезает путь Ильяшенко к кредиторам, могущим одолжить его деньгами на ликвидацию дел, распутив слухи, что тот ему должен много, очень много; наоборот, тем, кто не прочь поживиться на счет Ильяшенко, сбуть втридорога своих лошадей, ненужную конскую сбрую, он не мешает, он даже помогает им, делится с ними барышами. Этот маневр — чудо житейской прозорливости.

Эти сделки показывали Ильяшенко, что и собратья Энкелеса, Вишнецкий и Бинецкий, продают не дешевле и не лучше Энкелеса, чем возвышали в глазах молодого человека его операции; эти сделки, если велись на наличные, не обходились без Энкелеса: ведь продавцы гнилого товара жаждали денег, а денег, кроме него, взять Ильяшенко негде, и он все более и более запутывался в данных документах. Если же Ильяшенко продавали в кредит, то рано ли, поздно ли потребуется расчет, кроме Энкелеса выручить некому, — и тогда-то свершатся заветные мечты его.

Вся эта махинация шла заглазно для матери Ильяшенко. Когда она вернулась, он был уже крепко в руках Энкелеса.

Между тем, кроме совершеннолетия Ильяшенко, рядом совершился и другой факт: умер отец. Ильяшенко теперь собственник. Эксплуатирующая братия почуяла запах готового блюда. Первый клич раздался со стороны владельца векселей, одного из продавцов лошадей. Чтобы избежать описи, Ильяшенко обратился к Энкелесу. Он ждал этой минуты. Он предлагает выручить своего стародавнего баловника; но суммы велики, у скопидома не наберется столько, да и риск велик; он постарается, но с тем, чтобы и его добро не пропало: он просит дать ему документ повернее, документ, который был бы сильнее векселей Ильяшенко. Может быть, Энкелес увидел, что его опекаемый надавал векселей и без его ведома, и это заставило его бояться конкурентов в преследовании за той же дичью. Просьба сопровождалась уверением, что сильный документ нужен для обеспечения, что больше должного Энкелесу ничего не нужно, что, получив свое, он вернет ему его; что он зато заплатит за Ильяшенко все его долги, что кредиторы, узнав о преимущественном праве Энкелеса, будут уступчивее.

Все это было так убедительно: за Энкелесом было еще полное приятных воспоминаний прошлое. Кроме Энкелеса, денег взять негде, а если он не даст, имение опишут и, может быть, продадут за бесценок. Выхода нет, и Ильяшенко подписывает улиточную запись о продаже Энкелесу всего имения, не получая ничего, кроме своих старых векселей и еще векселя в 5000 руб., на случай, если Энкелес в течение года не получит с Ильяшенко старых долгов и оставит имение за собой. В счет старых долгов, которых было, по словам мирового судьи Маркевича, близко знавшего отношения молодого человека к Энкелесу, не более 3500 руб., вошли и долги Ильяшенко Вишневному и другим кредиторам — барышникам лошадьми, которые обязался уплатить Энкелес.

Едва запись совершилась, как неожиданно произошла метаморфоза в отношении Энкелеса и Ильяшенко. Угодливый, услужливый, он вдруг высоко поднял голову. Прежнее «здравствуйте» заменилось «здравствуй, братец». Обещание ждать год выкупа имения забыто: в лубенский суд подано прошение о вводе Энкелеса во владение бывшим имением Ильяшенко. Кредиторы, ожидавшие уплаты долгов за Ильяшенко, получили только 1200 руб., но и это, по словам обвиняемого, сделано под условием уничтожения векселя в 5000 руб.

Наконец, Энкелес открыл карты. Своих мыслей присвоить имение он не скрывал: ряд свидетелей здесь говорили,

что он хвалился дешевизной покупки и посмеивался над ними, приговаривал, что не всякому такое счастье, что не надо упускать из рук случая. Еще до уничтожения векселя в 5000 руб. он говорил Маркевичу, что имение ему пришлось за 8000 руб., а ему и другим говорил, что не продаст его и за 20 000 руб.

Новые кредиты уже не делались: с трудом выпрашивал Ильяшенко у Энkelеса по 3, по 5 руб. Энkelес изредка отпускал такие суммы, хорошо соображая, что некоторое время надо сохранить мир с Ильяшенко, чтобы показать всем, что сделка его с ним правильна и добросовестна.

За вводом последовал раздел. В это время ловушка, в которую попал Ильяшенко, стала известна всем его родным. Зная, что его часть стоит не менее 25 000 руб., что долг его Энkelесу не превышает 5000—7000 руб., они хлопотали о выкупе. Что-то похожее на совесть или на расчет, одетый в маску совести, заставило Энkelеса согласиться взять 8000 руб.

Родные съехались в Переяслав. 15 дней ждали Энkelеса. На 16-й он вместо приезда прислал требование заплатить 12 000 руб. Потолковали — согласились; он увеличил до 14 000 руб. Собрались с последними силами, рассчитали на выкупную ссуду всей семьи, но через 12 дней он ответил требованием в 20 000 руб. Энkelес выиграл время, насмеялся над теми, кто еще доверял ему; поняв все, родственники разъехались.

Приспело время раздела. 31 марта у мирового судьи Маркевича собрались члены семьи Ильяшенко за исключением подсудимого. Его место занял Энkelес. При производстве дела обнаружилось, что подсудимый в усадьбе своих родных обработал своими руками одну десятину земли, убил в нее те суммы, рублей 25, что были у него в руках, и мечтает посеять табак.

Родня просила Энkelеса уступить эту десятину, попавшую в его жребий, Ильяшенко, — уступить даже не в собственность, а в пользование на год.

Энkelес не согласился. Его начали осуждать. Поднялась буря. Сам судья, возмущенный поступком, упрекал Энkelеса, что ему, почти даром взявшему все имение Ильяшенко, следовало бы быть человечнее. Но для Энkelеса, все до копейки высосавшего у подсудимого, Ильяшенко уже был нулем. Всякая уступка была бы непроизводительна; человеколюбие и долг, честь и совесть, на которые ссылался судья, были пустыми и глупыми звуками, мотовством, расточительностью. Энkelес отказался. Разъехались.

1 апреля в усадьбу Ильяшенко пришел Энкелес, принес деньги зятю их, Лесеневичу. После вчерашнего окончательного и бесповоротного закрепления за ним прав на имущество, после сцен, бывших у Маркевича, после вероятной передачи об этих сценах Василию Ильяшенко, это было первое свидание Энкелеса с жертвой своей эксплуатации.

Что же здесь случилось?

Никакой ссоры из-за потери имения, никакой вспышки гнева или мести. Подсудимый, не корясь, не бранясь, повторяет просьбу о десятине. Энкелес не дает ни согласия, ни отказа, полубещающая, полуоткладывающая вопрос. В это время входит мать подсудимого и вступает в разговор: «Вы пришли к нам нищим, кабатчиком, а теперь сидите здесь с нами, как равноправный помещик; так относитесь и к слову вашему по-помещичьи: либо дайте, коли у вас есть капля совести, либо откажите, а не виляйте словом, как хвостом». Все замолчали, у всех замерло сердце. Молчал и Энкелес; вдруг он схватил шапку и со словами: «Так вот вам — нет, нет и нет» — уходит из комнаты.

Этот ответ ошеломил Ильяшенко. До этой минуты ему все с ним совершившееся представлялось неясно; ссора с Энкелесом, бывшая вчера у Маркевича, еще, может быть, объяснялась как натуральная, как вспышка делящихся.

А теперь?

Вся пережитая боль, все уловки и сделки Энкелеса, истинный смысл всякого шага его, притворное уважение и настоящее самодовольство, горячие обещания и соблазны, и теперешнее, холодное, бессердечное отношение — все это само собой предстало перед прозревшим человеком. Гадливость, брезгливость к поступку легального разбойника, высосавшего все и теперь имеющего столько духу, чтобы, не краснея, глядеть прямо в глаза легковой жертве, смеяться над ее простотой и малоопытностью, — как удар ошеломили юношу. Шатаясь, толкаемый точно невидимой силой, он схватил ружье и бросился вон.

При выходе из дома он встретился с двумя молодыми парнями. Живые люди, видимо, вывели его из оцепенения. Он остановился. Сконфуженный той дьявольской мыслью, что как молния пронеслась по его душе, он опустил ружье, стал с ними разговаривать, показывал устройство ружья и способ заряда. Освободившись от ошеломившего его впечатления, он, на вопрос, куда идет, сказал, что хочет стрелять ворон, на гнездо которых и было здесь указано свидетелям.

С парнями говорить было больше не о чем. Он спустил-

ся во двор, отделявшийся частоколом от улицы, и пошел. Если слова, ошеломившие его и вызвавшие в душе взрыв подавляющего волю аффекта, и перестали волновать его, то возбужденные ими образы пережитого, поднявшись из глубины души, еще держали ее в положении неодолимого раздражения. Он, вероятно, весь был погружен в созерцание этого прошлого. Вдруг он видит — перед его глазами, на той стороне улицы, за частоколом, около амбара, доставшегося Энкелесу, но подлежащего переносу на землю его, стоит он, довольный и торжествующий, и, нимало не смущенный происшедшей сценой, нимало не встревоженный гадливостью своего поступка, точно у него за спиной нет ничего недоброго, нечестного, мерил складным аршином свое приобретение и наслаждался сознанием своей победы.

Кровь бросилась в голову, потемнело в глазах. Ничего не сознавая, не думая ни о нем, ни о себе, взмахнул, не метясь, не выбирая места прицела, ружьем Ильяшенко... Выстрел раздался. Энкелес упал...

«Точно что-то спало с глаз моих», — говорит подсудимый. — Я тут только увидел, что я что-то сделал».

«Братцы, послушайте, я убил жида», — закричал он подошедшим лицам и, не скрываясь, не думая хотя в минутном заперательстве найти спасение, сообщил о случившемся.

Вот событие.

Что это? Дело ли это его воли?

До этого у подсудимого отсутствует воспоминание о моменте, когда мысль об убийстве запала в его душу; до этого он не мог открыть у себя в душе следа борьбы добра и зла, как сознанных, взаимно противодействующих сил: мысль об умоисступлении невольно напоминает о себе.

Понятен и тот вопрос, который задан был подсудимому вашей мудростью: не выстрелил ли он случайно, не имея намерения ни убить, ни ранить Энкелеса.

Может быть, идя по саду и видя Энкелеса, так кощунственно оскорбившего всю веру его в людей, так сатанински хвалившегося и гордившегося торжеством своего человеконенавистнического дела, он злобно, как бессильный раб, грозящий рукой господину, стоя у него за спиной, взмахнул ружьем, а оно, будучи последним словом человекоубыющей техники, выстрелило от конвульсивного движения пальца по знакомому ему направлению к курку, и случайный удар, встретившись с злой мыслью, мелькнувшей в душе, спугал самого автора несчастья...

Медики утверждают, а закон с ними соглашается, что на

свободную волю человека влияют разнообразные физические недостатки человека, физические причины, приобретенные и унаследованные.

Случайный удар по голове, прыжок со второго этажа, отуманивающие мозг яды и напитки извиняют часто самые различные противообщественные поступки.

Ну, а разве нет ударов, бьющих прямо в существо души, в волю человека?

Разве удар нравственный — неожиданная смерть другого человека, весть о нравственном падении дочери, сына, — легче переносятся душой?

Разве не бывало, что, например, страх, до того, благодаря быстроте впечатления, смешивал понятия, что человек от кажущейся опасности, например, страха сгореть, выскакивал с пятого этажа из окна и разбивался, тогда как огонь еще не лишил его возможности спуститься по лестнице?

Старые люди крепко верили, что сатана смущает человека на великие грехи, и радовались, когда слушали рассказы о тех случаях, когда удары соблазненного обращались вспять на самого соблазнителя.

Не сатаной ли при Ильяшенке был Энкелес? И в данном случае, из всех возможных грехов Ильяшенко не случился ли из худших лучший? Не случилось ли, что падающий раздробил своим падением того, кто соблазнил его стать на колеблющуюся доску? Не в таком ли состоянии был Ильяшенко?

Виной самого Энкелеса был Ильяшенко нравственно хил, невыдержан; виной самого Энкелеса привычка рассуждать, привычка борьбы с наплывом впечатлений у него была устранена. Виной самого Энкелеса эта слабая душа доведена была до непрерывного, уже целые месяцы не прекращающегося состояния беспокойства, муки обманутых надежд, оскорблений, причем все эти движения сердца вызывал сам Энкелес, и только он.

И вот на этот-то осложненный данными обстоятельствами, духовно болезненный организм, только что одолевший набежавшую на него мысль о мести, опять хлынула волна.

Картина распорядяющегося Энкелеса, грабителя, спокойно распределяющего плоды побед своих, тирана, на глазах у жертвы любующегося добычей, — масса впечатлений, перевортывающих душу, всплыли наружу мгновенно. На самую простую мысль надо хотя малую долю времени, хотя долю секунды — это знает всякий; но не нами возбужденные, а в нас возбуждаемые впечатления не ждут: они ох-



ватывают душу без ее воли, и что для Ильяшенко все случившееся было неожиданностью, что у него пред убийством не было даже сознательной минуты, когда бы он замыслил его, это видно из всей обстановки. Он не покушается на него в те минуты и дни, когда его блага — самые ценные — отходили к Энкелесу. Он не выходит из себя, когда нарушены были все обещания Энкелеса о возврате договора. Он вспыхнул, когда грозный и жестокий поступок Энкелеса, при отказе в пустой, грошевой просьбе, возмущил те чувства, которые законно и необходимо носит всякий в душе своей. Вспыхнул — и раз победил их. Через минуту не он, а Энкелес вызвал их опять на свет Божий, и, не будь у него в руках этого Пибоди, они исчезли бы сами из души.

Уничтожая врага, свойственно желать успеха своему намерению, свойственно желать себе безнаказанности, тайны; а Ильяшенко боится даже подойти к тому, кто его враг, посылает других узнать, чем кончилось ошеломившее его самого движение, и, не скрываясь, сам кричит всем о том, что случилось, сзывая их быть свидетелями своего ужасного дела.

Переживите в душе эти дни и эти минуты, сравните их с похожими из своей жизни. Не те ли это минуты, о которых мы говорим «за себя ручаться нельзя»? В эти минуты результат сделанного — не результат воли, а случая: что под руку попало! Несчастье или счастье, а не выбор воли, — что в минуту гнева одному падает в руки дубина, а другому детская тросточка, и один поражает, а другой только насмешит врага бессилием средств.

Так вот какую печальную страницу человеческой жизни приходится оценить вам, так вот какая задача, полная глубочайшего психологического интереса, ждет вашего решения.

Не прав ли я был, говоря, что только вашему суду под силу оно?

Идите, и да не смущают вас предостережения обвинителя, что иное решение, чем то, на которое вас властительно двигают глубочайшие инстинкты справедливости, сокрушит силу закона. Великий и могучий, державствующий нами, он непоколебим, и уважение к нему не подкапывают приговоры, на которые он же дал вам право, ценя и сознавая голос жизни и человечности.

Не бойтесь быть милостивыми и не верьте тем, кто осуждает вас за это, говоря, что вы не имеете права милости.

Да, милость, которая отпускает вину человеку, совер-

шившему вольное зло, отпускает вину за прежде оказанные услуги, за пользу, ожидаемую страной от прощенного, за слезы жен и матерей, по человеколюбию, не останавливающимся даже перед рукой злодея, просящего о помощи, — эта милость вам не дана: эта милость живет у трона, составляя один из светлых лучей окружающего его сияния.

Но мы представляем не о ней.

Есть иная милость — судебная, милость, завещанная вам творцом великих уставов 20 ноября: милостивый суд, милующее воззрение на человеческую природу, любвеобильное понимание прирожденной слабости души, склонное и в обстоятельствах, подобных настоящим, скорее видеть падение подавленного злом, чем творящего зло по желанию своего сердца. Милостивый суд, о котором я говорю, есть результат мудрости, а не мертвого, отжившего человеконенавидящего созерцания.

Люди этого склада ума, точно слепорожденные, щупая форму, не видят цвета. Тряпка, запачканная красками и равная ей по величине художественно выполненная картина — для слепца одинаковы: два куска холста — ничего более.

Так и для них останутся одинаковыми два преступника — разбойника, судившиеся в одну и ту же неделю: Варрава и распятый на кресте о бок с Мессиею. И не поймут они внутренней правды, которой полон приговор, возводивший одного из них в праведника...

А что мне сказать по поводу иска, здесь возбужденного, по поводу просьб гражданского истца?

Потерпевший имеет право взывать к суду о помощи, и, представляя его на суде, мой собрат стоит на законной почве.

Но за закономерностью дела стоит личная цель тех, кто пользуется своим правом. Она подлежит оценке, и мы ее делаем.

Семья Энкелеса ищет денег с Ильяшенко? Но ведь она сама же не отвергает того, что в руках ее все, все, до последней копейки, принадлежавшей несчастному. Ведь сам представитель обвинения, сам гражданский истец не могут отрицать этого. Не последних же тряпок его, не тех грошей, что дают ему на его нужды любовь родных и приязнь друзей, вам надобно?

Нет, вы ищете другого. Вы — мстите, подобно тому прототипу эксплуатации, которого обессмертил Шекспир, — Шейлоку; вы точите нож вашей злобы на Ильяшенко и говорите: «Фунт этого мяса мне принадлежит.

Он — мой, и я хочу иметь его. И если он не питателен ни для кого, то он питателен для моего мщения».

Сравните же теперь себя с ним и скажите, в чем сердце — в вашем и вашего отца или в его — более ненависти и злобы.

Этот, погубивший в минуту душевного движения ближнего, терпеливо выносил невзгоды и обманы Энкелеса и забылся, поддавшись стихийной разрушительной силе на минуту, чтобы, очнувшись, поразиться самому нежеланными результатами своего падения.

Тот — целые годы злобно преследовал врага, предпочитая своему прибытку не только права жертвы, но попирая, развращая, калеча ее душу, чтобы легче справиться с ней.

Вы — поминающие своего покойника за трапезой, где все ваши яства и питье приготовлены из плодов добычи, плодов эксплуатации вашим наследодателем подсудимого, сытые чужим, одетые в не ваше, — вы острили вашу злобу и ваши мстительные намерения на того, кто в эти часы, голодный и оскорбленный, томился в каземате, данном ему в обмен за отнятое у него среди белого дня.

Вы зовете себя — жертвой, мучеником, а его — мучителем?

Но не следует ли переменить надписи к портретам?!

Когда-то Энкелес опутал эту душу страстями, раздувая их в мальчике. Потом он связал его кучей обязательств, втянув его в сделки. Теперь месть его родных кует оковы для всей жизни несчастного!

Но вы посмотрите — быть может, они ему не по мерке!

**ДЕЛО  
СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ  
ГРИГОРИЯ ИЛЬИЧА ГРУЗИНСКОГО,**

*обвинявшегося  
в убийстве доктора медицины Э. Ф. Шмидта*

Дело это было рассмотрено в заседании Острогужского Ок-  
ружного Суда с участием присяжных заседателей  
29—30 сентября 1883 г.

Председательствовал Товарищ Председателя Бестужев-  
Рюмин, обвинял Прокурор Рубан. Защищал Ф. Н. Плевако.

В состав присяжных заседателей вошло 10 крестьян, 1  
купец, 1 мещанин. Старшиной избран крестьянин.

Обстоятельства дела заключаются в следующем.

17 октября 1882 года кн. Г. И. Грузинский несколькими  
выстрелами из револьвера убил в имении своей жены ее уп-  
равляющего, бывшего гувернера его детей, доктора меди-  
цины Э. Ф. Шмидта.

Предварительное следствие выяснило следующие под-  
робности этого дела.

В качестве гувернера кн. Грузинский пригласил к себе  
доктора Шмидта, который вскоре после своего приезда в  
имение князя стал в близкие отношения к княгине.

Однажды, будучи по делам в Москве, где несколько лет  
тому назад он и познакомился со своей будущей женою,  
тогда еще продавщицей у кондитера Трамблэ, — князь Гру-  
зинский заболел горячкой. Не надеясь встать с постели,  
князь выписал из имения свою семью. Княгиня не замед-  
лила приехать в Москву, взяв с собою детей и сопровождав-  
шего их гувернера Шмидта.

В период своего выздоровления князь Грузинский слу-  
чайно подслушал разговор княгини со Шмидтом, который  
обнаружил перед ним их интимные отношения.

Оправившись от болезни и вернувшись в имение,  
князь, по настоянию княгини, отдал ей половину своего со-

стояния, а уволенный им губернёр Шмидт поступил на службу к княгине в качестве управляющего.

17 октября 1882 г. двое детей князя, живших с матерью, гостили у отца; им понадобилась свежая перемена белья. Ввиду того, что княгиня была в отъезде, князь обращается с письменными просьбами к Шмидту о выдаче белья. Отказы Шмидта вынуждают князя поехать к Шмидту.

При встрече князь несколькими выстрелами из револьвера убивает Шмидта.

Присяжные заседатели вынесли князю Г. И. Грузинскому оправдательный вердикт.

### Речь в защиту князя Грузинского

Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами. Думалось и догадывалось, о чем будет говорить прокурор, на что будет особенно ударять, где в нашем деле будет место горячему спору, — и свои мысли держал я про запас, чтобы на его слово был ответ, на его удар — отраженье.

Но вот теперь, когда г. прокурор свое дело сделал, вижу я, что мне мои заметки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержания речи не ожидал.

Много можно было прокурору спорить, что поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг решился на дело, что никакого беспамятства не было, что думать о том, что Шмидт со своей стороны готовит кровавую встречу и под этой думой стрелять в Шмидта — князю не приходилось. Все это спорные места, сразу убедиться в них трудно, о них можно потягаться.

Но подымать вопрос, что князь жены не любил, оскорбления не чувствовал, говорить, что дети тут ни при чем, что дело тут другое, воля ваша, — смело и вряд ли основательно. И уже совсем не хорошо, совсем непонятно объяснять историю со Шмидтом письмами к Фене, строгостью князя с крестьянами и его презрением к меньшей братии — к крестьянам и людям, вроде немца Шмидта, потому что он светлейший потомок царственного грузинского дома.

Все это ново, неожиданно, и я, бросив задуманное слово,

попытаюсь ответить прокурору так, как меня наталкивает сердце, возбужденное слышанным и боязнью за будущее моего детища — подсудимого.

Я очень рад, что судьбу князя решаете вы, по виду вашему, — пахари и промышленники, что судьбу человека из важного рода отдали в руки ваши.

Равенство всех перед законом и вера в правосудие людей, не несущих с собой в суд ничего, кроме простоты и чистоты сердца, — сегодня явны в настоящем деле. Сегодня, в стороне от большого света, в уездном городке, где нет крупных интересов, где все вы заняты своим делом, не мечтая о великих делах и бессмертии имени, на скамью обвинением посажен человек, которого упрекают в презрении к вам, упрекают в том, что он из стародавней, некогда властвовавшей над Грузией фамилии... и вам же предают его на суд!

Но мы этого не боимся и, не краснея за свое происхождение, не страшась за вашу власть, лучшего суда, чем ваш, не желаем, вполне надеясь, что вы нас рассудите в правду и в милость, рассудите по-человечески, себя на его место поставите, а не по фарисейской правде, видящей у ближнего в глазу спичу, у себя не видящей и бревна, на людей возлагающей бремя закона, а себе оставляющей легкие ноши.

В старину приходящего гостя спрашивали про имя, про род, про племя. По имени тебе честь, по роду жалование. Подсудимому не страшно назвать себя, и краснеть за своих предков ему не приходится. Он из рода князей Грузинских, прямой внук последнего грузинского царя, Григория, из древней династии Багратидов, занесенной в летописи с IV века после Рождества Христова. При деде его Грузия слилась воедино с нашим отечеством, его дед принял подданство, и фамилия Грузинских верой и правдой служит своему Царю и новому отечеству.

Несчастье привело одного из членов этого дома на суд ваш, и он пришел ждать вашего решения, не прибегая к тем попыткам, какие в ходу у сильных мира, к попыткам избежать суда преждевременными ходатайствами об исключении из общего правила, о беспримерной милости и т. п.

Дело его — страшное, тяжелое. Но вы, более чем какое-либо другое, можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески. То, что с ним случилось, беда, которая над ним стряслась, — понятны всем нам; он был богат — его ограбили; он был честен — его обесчестили; он любил и был любим, — его разлучили с женой и на склоне лет заставили

искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени; он был мужем — его ложе осквернили; он был отцом — у него силой отнимали детей и в глазах их порочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им жизнь.

Ну, разве то, что чувствовал князь, вам непонятно, адские терзания души его — вам неизвестны?

Нет, я думаю, что вы — простые люди, лучше всех понимаете, что значит отцовская или мужнина честь, и грозно охраняете от врагов свое хозяйство, свой очаг, которым вы отдаете всю жизнь, не оставляя их для суеты мира и для барских затей богатых и знатных.

Посмотрим, как было дело и из-за чего все вышло.

Чтобы решить: дороги ли были князю жена и дети, припомним, как он обзавелся семьей и жил с ней.

20 лет тому назад, молодой человек, встречается он в Москве, на Кузнецком мосту у Трамблэ, кондитера, торговца сладостями, красавицу-продавщицу, Ольгу Николаевну Фролову. Пришлась она ему по душе, полюбил он ее. В кондитерской, где товар не то, что хлеб или дрова, без которых не обойдешься, а купить пойдешь хоть на грязный, постоялый двор, — в кондитерской нужна приманка. Вот и стоят там в залитых огнями и золотом палатах красавицы-продавщицы; и кому довольно бы фунта на неделю, глядишь — заходит каждый день, полюбоваться, перекинуться словцом, полюбезничать.

Конечно, не все девушки там не строги: больше хороших, строгих. Но, уж дело их такое, что на всякое лишнее слово, на лишний взгляд обижаться не приходится: им больно, да хозяину барыш, — ну и терпи!

А если девушка и хороша и не строга, отбоя нет: баричи и сыновья богачей начнут охотиться за добычей. Удача — пошлют, до нового лакомого куска; шалют наперебой; но, шалют и играя, они смотрят на ту, с кем играют, легко. Они отдают ей излишки своего кошелька, дарят цветы и камни, но, если поддавшаяся им добычка заговорит о семье и браке, они расхохочутся и уйдут. Если добычка становится матерью, им какое дело: заботу о ребенке возьмет на себя воспитательный дом, бабка, есть рвы, куда подкидывают, есть зелья, которые выгоняют из утробы... Им какое дело!

Князь иначе отнесся к делу.

Полюбилась, и ему стало тяжело от мысли, что она будет стоять на торгу, на бойком месте, где всякий, кто захочет, будет пялить на нее глаза, будет говорить малопри-

стойные речи. Он уводит ее к себе в дом, как подругу. Он бы сейчас же и женился на ней, да у него жива мать, еще более, чем он, близкая к старой своей славе: она и слышать не хочет о браке сына с приказчицей из магазина. Сын, горячо преданный матери, уступает. Между тем Ольга Николаевна понесла от него, родила сына-первенца. Князь не так отнесся к этому, как те гуляки, о которых я говорил. Для него это был его сын, его кровь. Он позвал лучших друзей: князь Имеретинский крестил его.

Ольга Николаевна забеременела вновь. Ожидая второго, привязавшись всей душой к первому сыну, князь теперь уже сам знал, что значит быть отцом любимого детища от любимой женщины, а не от случайной встречи с легкодоступной продавщицей своих ласк. Отец в нем пересилил сына. Он вступил в брак. Мало того, он бросился с просьбой о милости, просил Государя усыновить первенца. Вы слышали про это из той бумаги, которую я подал суду. Само собой разумеется, что на полную любви просьбу последовал ответ ее достойный.

Что ни год, то по ребенку приносила ему жена. Жили они счастливо. Муж берег добро для семьи, подарил жене 30 000 руб., а потом, чтобы родные не говорили, что жена не имеет ничего своего, купил имение на общее имя, заплатил за него все, что у него было.

Бывали у них вспышки. Но разве без вспышек проживешь? Может быть, жена его, нет, нет, да и вспомнит привычки бывшей жизни... А мужу хотелось, чтобы она вела себя с достоинством, приличнее... Вот и ссора.

С честью ли, с уважением ли к себе и к мужу несла свое имя и свое звание жены и матери княгиня Грузинская до встречи со Шмидтом — я не знаю; у нас про это ничего сегодня не говорили. Значит, перейдем прямо к этому случаю.

Дети подрастали. Князь жил в деревне. Нужен был учитель. На место приехал Шмидт. Что это доктору, немецкому уроженцу, Шмидту, вздумалось ограничиться учительским местом, — не знаю. Студент, семинарист мог бы заменить его. Не с злой ли думой он прямо и пришел к ним, почуяв возможность обделать дело? В самом деле, за все хватался он: и практиковал, как лекарь, и каменный уголь копал, как горный промышленник... Что ему в учительстве?

Подрастал старший сын — Александр. Князь повез его в



Питер, в школу. Там оставался с ним до весны. Весной заболел возвратной горячкой. Три раза возвращалась болезнь. Между двумя приступами он успел вернуться в Москву. Тут вновь заболевает. Доктора отчаиваются за жизнь. Нежно любящему отцу, мужу хочется видеть семью, и вот княгиня, дети и гувернер Шмидт — едут. Князь видится, душа его приободрилась и приобрела энергию: болезнь пошла на исход, князь выздоравливал.

Тут-то князю, еще не покидавшему кровати, пришлось испытать страшное горе. Раз он слышит — больные так чутки — в соседней комнате разговор Шмидта и жены: они, по-видимому, перекосятся; но их ссора так странна: точно свои бранятся, а не чужие, то опять речи мирные... неудобные... Князь встает, собирает силы... идет, когда никто его не ожидал, когда думали, что он прикован к кровати... И что же? Милые бранятся — только тешатся: Шмидт и княгиня вместе, нехорошо вместе...

Князь упал в обморок и всю ночь пролежал на полу. Застигнутые разбежались, даже не догадавшись послать помощь больному. Убить врага, уничтожить его князь не мог, он был слаб... Он только принял в открытое сердце несчастье, чтобы никогда с ним не знать разлуки.

С этого дня князь не знал больше жены своей. Жить втроем, зная, что ласки жены делятся с соперником, он не мог. Немедленно усладить жену он тоже был не в силах: она мать детей. Силой удалить от княгини Шмидта было уже поздно: княгиня теперь носила имя, дававшее ей силу, владела половиной состояния и могла отстоять своего друга.

Так и случилось.

Князь отказал Шмидту, а княгиня сделала его управляющим своей половины. В дом к князю при нем он не ходил, но жил в той же слободе, к которой прилегают земли Грузинских.

А когда князь уезжал, Шмидт не расставался с княгиней от 8 час. утра и до поздней ночи.

В это-то время он внушил княгине те мысли, которые обусловили раздел. Княгиня сумела заставить князя поспешить с разделом, причем все расходы на него были мужнины.

Чуя власть в руках, зная, что князь не прочь помириться с женой, лишь бы она бросила связь со своим управляющим, немцем Шмидтом, последний и княгиня не стеснялись: они гласно виделись в квартире Шмидта, гласно

Шмидт позволял себе оскорблять князя; мало этого: княгиня в ожидании, когда кончится постройка приготавливаемого для нее в ее половине имения домика, съехала на квартиру в дом священника, из окон в окна с домом князя, от него сажень за 200, от Шмидта в двух шагах. Тут, на глазах всей дворни, всей слободы, всех соседей, на глазах детей, оставшихся у отца, они своим поведением не щадили ни чести князя, ни его терпения, ни его сердца.

Оттуда они переезжают в Овчарню, в тот домик, который выстроил Шмидт княгине. Там-то и случилось несчастье.

Но прежде чем голубки переберутся в свою Овчарню и заворкуют, вспоминая, как они ловко обманули князя, отняли у него его добро, надругались над его мягкостью и будут замышлять, как им захватить еще и еще, — посмотрим, как следует отнестись к одному делу, на которое так сильно напирает прокурор: к письмам князя к солдатской дочке — Фене. Уж очень эти письма ему нравятся: он ни за что не хотел, чтобы их не читать, наизусть их повторял в своей речи. Займемся и мы с вами, рассудим: какую они важность имеют в этом деле?

Князь пишет ласково, как к своей. Князь признается, что у него с Феней было дело. Но письма эти писаны в июле и августе 1882 г., а князь разошелся с женой, как с женой, еще в 1881 г., весной, когда узнал об измене. Свидетель, князь Мещерский, был у князя Грузинского за пять месяцев до несчастья, — значит, в мае 1882 г.; княгиня тогда жила уже не с князем, а в слободе, рядом со Шмидтом, а при визите, сделанном Мещерским княгине, Шмидт держал себя как хозяин в доме ее; в то же время, по свидетельству старика управляющего, немца же Карлсона, Шмидт, у которого гостил свидетель, ночью, не одетый, ходил в спальню к княгине... Значит, во время отношений князя к Фене жена была ему чужой. Правда, она приходила в дом мужа, к детям, забирала вещи, но женой ему не была, потому что жила со Шмидтом. Что же? Как было быть князю? Он мужчина еще не старый, в поре, про которую сказано: «Не добро быть человеку едину...» Он имел и потребность и право на женскую ласку. Тот муж и та жена, которые, будучи любимы, изменяют, конечно, грешат пред Богом, но муж, брошенный женою, но жена, покинутая мужем, — они не заслуживают осуждения: на преступную связь их толкают те, кто оставляет семью и ложе.

Письма князя свидетельствуют лишь то, что он не так распутен и развратен, каким бы были многие из нас на его месте. Он не подражает тем, кто свое одиночество развлекает легкими знакомствами на час, сегодня с Машей, завтра с Дашей, а там с Настей или Феней... Он привязывается к женщине, уважает ее.

Мало подумал прокурор, когда упрекнул в кощунстве князя за то, что в день именин своей жены он был в церкви и молился за Феню. Что же тут дурного? Княгиня бросила его и обесчестила дом и семью... Он мог отнестись к ней равнодушно... С Феней он близок, — он, женатый и неразведенный, под напором обычной страсти и ища ласки, губит жизнь доверившейся ему девушки... Это не добродетель, а слабость, порок... и с его и ее стороны. Князь верует в молитву и молится за ту, которая грешит. Ведь и молятся-то не за свои добродетели, а за грехи.

Князь ограничился легкой связью, а не женитьбой. Благодаря гласному нарушению супружеской верности со стороны княгини, он мог бы развестись. Но жениться — значит привести в дом мачеху к 7 детям. Уж коли родная мать оказалась плохой, меньше надежды на чужую. В тайнике души князя, может быть, живет мысль о прощении, когда пройдет страсть жены; может быть, живет вера в возможность возвращения детям их матери, хоть далеко, после, потом... Он невольный грешник, он не вправе для своего личного счастья, для ласки и тепла семейного очага играть судьбой детей. Так он думает и так ломает жизнь свою для тех, кого любит...

Вернемся к делу.

Поселились в Овчарне. Скандал шел на всю губернию. Ведь всего верста с чем-нибудь отделяла усадьбу князя от домика княгини. Живя там, Шмидт и его подруга то и дело напоминали о себе оскорбленному мужу. Князю было странно, неловко чужих и своих. Когда к нему заходили гости, он мучился, мучились и гости: надо было не упоминать о княгине и делать это так, чтобы не выдать преднамеренности молчания. Выйдет князь к прислуге, к рабочим, а в глазах их точно сквозит улыбка, насмешка. Он отмалчивается, ему неловко посвятить их в суть своего горя, а жена и Шмидт этим пользуются: жена приходит без него в дом, не пустить ее не смеют — приказа не было, и хозяйничает, берет вещи, белье, серебро.

Князь боится встретиться с детскими глазами, так вопросительно смотрящими на него.

О, кто не был отцом, тому непонятны эти говорящие глазки!

Они ясны, светлы, чисты, но от них бежишь, когда чувствуешь неправду или стыд. Они чисты, а ты читаешь в них: зачем мама не с тобой, а с ним, с чужим? Зачем она спит не дома, обедает не с нами? Зачем при ней он бранит тебя, а мама не запретит ему? Он, должно быть, больше тебя, сильнее тебя?

От мысли, что дети подрастут, подрастут с ними и вопросы, которые они задают, кровь кидалась в мозг, сердце ныло, рука сжималась. Героическое терпение, смирение праведника нужно было, чтобы удержаться, вязать свою волю.

Бывают несчастные истории: полюбит или привяжется человек к чужой жене, жена полюбит чужого человека, борятся с своей страстью, но под конец падают. Это — грех, но грех, который переживают многие. За это я бы еще не осмелился обвинять княгиню и Шмидта, обрекать их на жертву князя: это было бы лицемерием слова.

Но раз вы грешны, раз неправы перед мужем, зачем же кичиться этим, зачем на глазах мужа позволять себе оскорбляющие его поступки, зачем, отняв у него, как разбойник на большой дороге, его трудовую и от предков доставшуюся и им для детей береженную копейку, тратить ее на цветы и венки своего гнезда? Зачем не уехали они далеко, чтобы не тревожить его каждый день своей встречей? Зачем не посоветовал Шмидт княгине, уходя из дома мужа, бросить все, на что она имела право, пока была женой, а грабительски присвоил себе отнятое, гордо заявляя князю, что это его дом? Зачем, наконец, он встал между отцом и детьми, оскорбляя первого в присутствии их, а их приучая к забвению отца? Не следовало ли бы, раз случился грех, остановиться перед святыней отцовского права на любовь детей, и, с мучением взирая на страшный поступок свой, не разбивать, а укреплять в детском сердце святое чувство любви к отцу и хоть этим платить процент за неоплатный долг?

Они, Шмидт и княгиня, не делали этого, и ошибка их вела роковым образом к развязке.

В октябре княгине удалось с поля захватить двух дочерей, Лизу и Тамару, и увести к себе; князь и тут человечно отнесся к поступку матери, щадя, может быть, ее естественное желание побыть с детьми.

Но не того добивались там. Сейчас же из этого делают

торг: не угодно ли, мол, присылать на содержание их 100 руб. в месяц. Князь отвечает: у тебя состояние равное моему, а я содержу всех сыновей и дочерей; мне не к чему платить, когда дочери могут быть у меня.

Князь уезжает по делам в Питер. Без него можно взять и третью дочь, но раз князь в содержании отказал, то о Нине и не думают, а двух дочерей продолжают держать, намереваясь мучить князя, зная его безумную любовь к детям.

Князь возвращается домой и узнает, что княгиня уехала куда-то, но детей оставила у Шмидта. Это взорвало отца: как, он, отец, живет тут, рядом, у него все, что нужно детям, он — они знают — любит и хочет иметь детей у себя; он мог уступить их матери, а теперь мать, уезжая, оставляет их с чужим человеком, с разлучником.

Он шлет за детьми карету. Шмидт ломается, не пускает, но, вероятно, детская воля взяла перевес, — он разрешает повидаться им с отцом. Князь, само собой, оставляет детей, по крайней мере, до возврата матери.

Шмидт, раздосадованный переходом детей, вымещает свою злобу на пустой вещи, на белье; но это-то и стало каплей, переполнившей чашу скорби и терпения. В этой истории сила была не в белье, а в дерзости и злобной хитрости Шмидта.

Вы знаете, что вежливые просьбы и записки князя встретили отказ. Шмидт, пользуясь тем, что детское белье — в доме княгини, где живет он, с ругательством отвергает требование и шлет ответ, что без 300 руб. залогом не даст князю двух рубашек и двух штанишек для детей. Прихлебатель, наемный любовник становится между отцом и детьми и смеет обзывать его человеком, способным истратить детское белье, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогом? Не только у отца, которому это сказано, — у постороннего, который про это слышит, встают дыбом волосы!

Князь сдерживается; он пытается образумить Шмидта через посредника, станового, пишет новые записки и получает ответ — «пусть приедет»!

А Шмидт в это время обращает, как нам показали все свидетели, свое жилище в укрепление: заряжает револьвер, переменяет пистоны на ружье, взводит курки. Один из свидетелей, Цыбулин, по торговым делам заезжает из усадьбы княгини к князю и рассказывает виденное его прислуге.

Получает князь записку Шмидта, вероятно, такого же

содержания, каковы были словесные ответы: ругательную, требующую залога или унижения. Вспыхнул князь, хотел ехать к Шмидту на расправу, но смирил себя словами: «Не стоит!..»

Утром в воскресенье князь проснулся и пошел будить детей, чтобы ехать с ними к обеду.

Нина, беленькая, чистенькая, протянула к нему руки и приветливо улыбнулась. Потянулись и Тамара с Лизой; но, взглянув на их измятые, грязные рубашонки, князь побледнел, взволновался: они напомнили ему издевательство Шмидта, они дали детским глазкам иное выражение: отчего, папа, Нина опрятна, а мы — нет? Отчего ты не привезешь нам чистого? Разве ты боишься его?

Сжалось сердце у отца. Отвернулся он от этих говорящих глазок и — чего не сделает отцовская любовь — вышел в сени, сел в приготовленный ему для поездки экипаж и поехал, ... поехал просить у своего соперника, снося позор и унижение, рубашонок для детей своих.

При князе был пистолет. Но нам здесь доказано, что это было в обычае князя. Сам обвинитель напоминает вам, со слов молодого Карлсона, о привычке князя носить с собой револьвер.

Что ждет князя в усадьбе жены его, в укрепленной позиции Шмидта?

Я утверждаю, что его ждет там засада. Белье, отказ, залог, заряженные орудия большого и малого калибра — все говорит за мою мысль.

Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целостность, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собою из-за пары детского белья, он бы выдал его. А Шмидт отказал и, зарядив ружье и пистолет, взведя даже курки, с лампой всю ночь поджидал князя.

Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать и белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные основания, а не оскорблял бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу.

Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе, а он, едва увидел едущего князя, как выслал Лойку, говорившего с ним о делах, из дому и остался один с лакеем, которому поручил запереть крыльцо, что-

бы помешать князю добровольно и открыто войти в комнату и чтобы заставить князя, раз он решится войти, прибегать к стуку, ломанью дверей, насилию.

А раз князь прибегнет к насилию, к нападению на помещение, в него можно будет стрелять, опираясь на закон необходимости. Если и не удастся покончить, а, напротив, бранью и оскорблениями из-за засады довести его до бешенства, до стрельбы, то самый безвредный выстрел может оказать услугу: обвиняя князя в покушении на убийство, можно будет отделаться от него на законном основании.

Все делается по этому плану. Оказалась ошибка в одном: слишком рассчитывал Шмидт на счастье.

Князя видели в довольно сносном состоянии духа, когда он выехал из дому. Конечно, душа его не могла не возмутиться, когда он завидел гнездо своих врагов и стал к нему приближаться. Вот оно — место, где, в часы его горя и страдания, они — враги его — смеются и радуются его несчастью. Вот оно — логовище, где в жертву животного сластолюбия пройдохи принесены и честь семьи, и честь его, и все интересы его детей. Вот оно — место, где, мало того, что отняли у него настоящее, отняли и прошлое счастье, отравляя его подозрениями...

Не дай Бог переживать такие минуты!

В таком настроении он едет, подходит к дому, стучится в дверь.

Его не пускают. Лакей говорит о приказании не принимать.

Князь передает, что ему, кроме белья, ничего не нужно.

Но вместо исполнения его законного требования, вместо, наконец, вежливого отказа, он слышит брань, брань из уст полюбовника своей жены, направленную к нему, не делающему с своей стороны никакого оскорбления.

Вы слышали об этой ругани: «Пусть подлец уходит; не смей стучать, это мой дом! Убирайся, я стрелять буду».

Все существо князя возмутилось. Враг стоял близко и так нагло смеялся. О том, что он вооружен, князь мог знать от домашних, слышавших от Цыбулина. А тому, что он способен на все злое, — князь не мог не верить: когда наш враг нам сделал много нехорошего, мы невольно верим сказанному о нем всему дурному и, видя в его руке оружие, взятое, быть может, с самой миролюбивой целью, ожидаем всего того зла, какое возможно нанести им.

В этом состоянии он ломает стекло у окна и вслед за уг-

розой Шмидта стрелять стреляет с своей стороны и ранит Шмидта той раной, которую врач признает не смертельной.

Шмидт бежит: это видно в окно, сквозь стекло, — бежит к парадному крыльцу. Дым мешает рассмотреть — ранен он или нет, есть у него в руках оружие или нет. Князь бежит по двору к тому же крыльцу. Здесь дверь уже растворена испуганным Евченкой; князь — туда и у дверей встречается с Шмидтом. Тот от боли припадает к земле, но сейчас же вскакивает и бежит в комнаты.

В это-то едва уловимое мгновение, когда гнев, ужас, выстрел и кровь опьянили сознание князя, он в том скоропроходящем умоисступлении, которое в такие минуты естественно, еще не помня себя, под влиянием тех же ощущений, которые вызвали первый выстрел, конвульсивно нажимает револьвер и производит следующие два выстрела: положение трупа навзничь, а не ничком, ногами к выходу, головой к гостиной, показывали, что Шмидт не бежал от князя, и он стрелял не в спасающегося врага. При этом припомните, что ружье и пистолет оказались не там, где лежали утром, т. е. не в спальне княгини, а уже на столе в гостиной, — тогда будет не невероятно объяснение князя, что Шмидт выронил пистолет из рук, и уже после перенесения Шмидта в комнату, во избежание несчастного выстрела, ружье было освобождено от пистонов, а револьвер поднят с полу.

Сомневаются в состоянии духа князя, могущем преувеличить опасность и злобные намерения врага; их оспаривают. Оспаривают и законность того гнева, что поднялся в душе его.

Но, послушайте, господа: было ли место живое в душе его в эту ужасную минуту?

Не говорю об ужасном прошлом. Еще тяжелей было настоящее. Он, на глазах любопытных, которые разнесут весть по всей окрестности, стоит посмешищем зазнавшегося приживалки и тщетно просит должного. На земле, его трудом приобретенной, у дома его жены и матери детей его, чужой человек, завладевший его добром и его честью, косит его. В затылок его устремлены насмешливые взоры собравшихся, и жгут его, и не дают голове его силы повернуться назад. Куда идти? Домой? А там его спросят эти ужасные, милые, насмешливо-ласковые детские голоса: а где же белье? Что, папа, бука-то, знать, сильнее тебя? не смеешь взять у него наших рубашек? Плох же ты, папа! Уж лучше отпусти нас к нему. Мы его любить будем. Он нас будет чисто одевать. Мы тебя забудем, от тебя отвыкнем...



И кто же и за что же его ставит в такое положение?

Шмидт — орудие, но он был бы бессилён, если бы не слился воедино с женой его. А она? Что он ей сделал? За что? Не за то ли, что так горячо и беззаветно полюбил ее и пренебрег для нее и просьбой матери и своим положением? Не за то ли, что дал ей имя и власть? Не за то ли, что готов был прощать ей вины, простить которые из ста мужей не решатся девяносто девять?

А чем мстят? Отняли у него добро, — он молча уступил. Отняли честь, — он страдал про себя. Он уступил человеку жену, когда она, изменив ему, предпочла ему другого... Но детей-то, которых Шмидту не надо, которых мать, очевидно, не любит, ибо приносит в жертву своему другу, — зачем же их-то отрывать от него, зачем селить в них неуважение, может быть, презрение к своему бессильному отцу? Ведь он, по выражению Карлсона и Мещерского, — отец, каких мало, отец, давно заменивший детям своим мать их.

Справиться с этими чувствами князь не мог. Слишком уж они законны, эти им овладевшие чувства.

Часто извиняют преступления страсти, рассуждая, что душа, ею одержимая, не властна в себе.

Но если проступок был необходим, то самая страсть, когда она зарождалась в душе, вызывала осуждения нравственного чувства. Павший мог бы избежать зла, если бы своевременно обуздывал страсть. Отсюда — преступление страсти все-таки грех, все-таки нечто, обусловленное уступкой злу, пороку, слабости. Так, грех Каина — результат овладевшей им страсти — зависти. Он не неповинен, ибо совесть укоряла его, когда страсть, еще не решившаяся на братоубийство, изгоняла из души его любовь к брату.

Но есть иное состояние вещей: есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грехами, возмущается законно, возмущается во имя нравственных правил, в которые верует, которыми живет, — и, возмущенная, поражает того, кем возмущена... Так, Петр поражает раба, оскорбляющего его Учителя. Тут все-таки есть вина, — несдержанность, недостаток любви к падшему, но вина извинительнее первой, ибо поступок обусловлен не слабостью, не самолюбием, а ревливой любовью к правде и справедливости.

Есть состояние еще более извинительное. Это — когда поступок ближнего оскорбляет и нарушает священнейшие права, охранить которые, кроме меня, некому, и святость которых мне яснее, чем всем другим.

Муж видит человека, готового осквернить чистоту брачного ложа; отец присутствует при сцене соблазна его дочери; первосвященник видит готовящееся кощунство, — и, кроме них, некому спасти право и святыню. В душе их поднимается не порочное чувство злобы, а праведное чувство отмщения и защиты поругаемого права. Оно — законно, оно — свято; не подымись оно, они — презренные люди, сводники, святотатцы!

От поднявшегося чувства негодования до самовольной защиты поруганного права еще далеко. Но как поступить, когда нет сил и средств спасти поруганное, когда внешние, законные средства защиты недействительны? Тогда человек чувствует, что при бессилии закона и его органов идти к нему на действительную помощь, он — сам судья и мститель за поруганные права! Отсюда необходима оборона для прав, где спасение — в отражении удара; отсюда неодолимое влечение к самосуду, когда право незащитимо никакими внешними усилиями власти.

И вот такие-то интересы, как честь, как семья, как любовь детей, самые святейшие и самые дорогие, в то же время оказываются — раз они нарушены — самыми невознаградимыми. Опозорена дочь: что же, тюрьма оболстителя возвратит ли ей утраченную честь? Сворачена с дороги долга жена: казнь соблазнителя возвратит ли ей семейную добродетель? Дети отучаются от отца: исполнительные листы и судебные пристава сумеют ли наложить арест на исчезающее чувство любви в сыновьем сердце? Самые священные — в то же время самые беззащитные интересы!

Вот и подымается, под давлением сознания цены и беззащитности поруганного права, рука мстителя, подымается тем резче, чем резче, острее вызывающее оскорбление.

Если это оскорбление разнообразно, но постепенно, то оскорбленный еще может воздержаться от напора возмущающих душу впечатлений, побеждая каждое врозь от другого. Но если враг вызывает в душе своими поступками всю горечь вашей жизни, заставляет в одно мгновение все пережить, все пережить, то от мгновенного взрыва души, не выдержав его, лопнут все задерживающие его пружины.

Так, можно уберечь себя проходящему от постепенно падающих в течение века камней разрушающегося здания. Но если стена рухнет вдруг, она неминуемо задавит того, кто был около нее.

Вот что я хотел сказать вам.

Пораженный неожиданной постановкой обвинения, я растерялся. Вместо связного слова я отдал себя во власть впечатлениям, которые сами собой возникли в душе при перечувствовании всего, что видел, что выстрадал он...

Многое упущено, многое забыто мной. Но пусть не отразятся мои недостатки на судьбе его.

О, как бы я был счастлив, если бы, измерив и сравнив своим собственным разумением силу его терпения и борьбу с собой, и силу гнета над ним возмущающих душу картин его семейного несчастья, вы признали, что ему нельзя вменить в вину взводимое на него обвинение, а защитник его — кругом виноват в недостаточном умении выполнить принятую на себя задачу...

## ДЕЛО ОРЛОВА,

*обвиняемого  
в убийстве Бефани*

9 марта 1889 г. хористка Императорских театров Павла Николаевна Бефани через несколько минут по приезде в театр на репетицию была убита двумя выстрелами из револьвера канцелярским служителем Василием Владимировичем Орловым.

Орлов был женат на подруге Бефани. С Бефани он познакомился за 2 года до убийства и, вскоре после знакомства, с ней сошелся. Вначале связь Орлова с Бефани ото всех скрывалась, затем она сделалась открытой, и Бефани со своими малолетними детьми (муж ее покончил жизнь самоубийством) переехала на квартиру Орлова. Первое время они жили хорошо. Но это продолжалось недолго. Вскоре Орлов безо всякой причины стал ревновать Бефани ко всем ее знакомым, начал к ней очень плохо относиться и временами бить ее. Впоследствии побои сделались мучительными: они происходили целыми днями и следы от них надолго оставались на теле Бефани. Жизнь Бефани у Орлова становилась невыносимой, и, по ее собственным словам, только страх перед тем, что Орлов убьет ее, заставлял ее жить вместе с ним.

Наконец, она все же поборола этот страх и оставила Орлова. Вместе с детьми она поселилась в доме своей матери.

Орлов начинает преследовать ее, ищет возможности свидания с ней. Когда это не удается, обращается к ней с угрозами. Она принимает меры предосторожности, никогда не выходит одна из дома. Но все же он настигает ее в театре и убивает.

После убийства Орлов говорил, что в театр он пришел для того, чтобы на глазах Бефани покончить с собой, так как разлуки с ней он перенести не мог. Стрелять в Бефани

он и не собирался, а выстрелил, рассердясь на сестру Бефани, вследствие ее грубого с ним обращения.

Судили Орлова в Московском Оружном Суде 27 октября 1889 г. Обвинял Товарищ Прокурора А. А. Саблин, защищал — кн. А. И. Урусов. Ф. Н. Плевако выступил поверенным гражданского истца, — опеки двух малолетних детей Бефани.

Вердиктом присяжных заседателей Орлов был признан виновным в убийстве Бефани, и Суд приговорил его к каторжным работам на 10 лет.

### **Речь поверенного гражданского истца Ф. Н. Плевако**

**Гг. присяжные!**

Если бы я был охотником поговорить независимо от уместности и надобности слова, сегодня мне было бы просторно и привольно: убийство женщины, убийство признанное, ненормальность душевных сил подсудимого не доказана, — какая благодарная тема для обвинения, для возбуждения благородного негодования в ваших сердцах!..

Но я этим не воспользуюсь — из уважения и веры в вас, как людей и судей.

Нет никакого сомнения, что вы не признаете убийства делом безразличным; нет сомнения, что настоящее убийство не вызовет в вас тех редких, впрочем, чувств сострадания, которые внушают к себе дошедшие до кровавой драмы, влекомые к ней не страстями и похотью плоти, но несчастным стечением обстоятельств, когда оскорбленный в самых святых своих верованиях человек видит совершающуюся неправду, зовет на помощь и никто ему не откликается... И вот, под давлением благородного негодования, он сам становится судьей и исполнителем своего приговора.

Настоящее дело не из таких: не супруг здесь защищал семейный очаг от непрошенного гостя, не отец или мать мстили надругавшемуся над честью их детища, — здесь низкая, чувственная страсть уничтожила чужую жизнь, раз последняя, отрезвав от временного опьянения увлечением, захотела вернуться к долгу матери и честной женщины.

Здесь слепое самолюбие, не зная иного закона, кроме своих желаний, разрушило чужое существование, осмелившееся заявить свое право на свою личность...

Нет, другая сторона дела влечет меня сказать вам два слова: я хочу напомнить вам, что, говоря об убийце и убитой, вам сказали не все, позабыли о многом.

Когда 9 марта в коридоре театра Орлов всадил две пули в несчастную Бефани, он сделал более зла, чем кажется... Удар выстрелов отразился в другом углу Москвы и в одну минуту превратил в круглых сирот двух малюток, которые только что испытывали счастье возвращенной любви со стороны временно увлеченной матери, теперь страхнувшей с себя путы нечистой страсти...

И вот за этих-то сирот я и говорю теперь.

Но не денег, не цены крови ищущая с подсудимого. Их нет у него.

Сиротская доля, с холодным благодеянием чужих, с ласками, которые будут поставлены в счет, с вечной тоской об утраченном счастье — удел моих малюток.

А за что? Что сделала ему бедная женщина?

Слава Богу, мы не слышали более попыток со стороны подсудимого смешать с грязью ее имя, чего мы так боялись, судя по программе, которую предполагал провести подсудимый на предварительном следствии; но кое-какие попытки были: оглашены здесь гласно и вне публики интимные записки, свидетельствующие о понижении души, о потере целомудрия не только в делах, но в словах и думах покойной, когда она увлеклась Орловым.

Но ведь это — обвинение и укор только ему. Ведь это он, встретив эту женщину, низвел ее в пропасть падения, превратил ее не только в теле, но и в духе.

К чести ее, она не потерялась окончательно. Измученная, искалеченная внешне, разбитая внутренне, она очнулась, ужаснулась и бежала от него к своей прежней, скромной жизни, в родной угол, к долгу матери.

А за то, что она решилась на этот путь добра и блага, он произнес ей приговор смерти и безжалостно привел его в исполнение...

Пройдут года. Сироты подрастут, воспитанные в нужде и горе, в одиночестве и нищете. Не раз, не два их мысли будут возвращаться к памяти о матери и об отце, так безвре-

менно погибших. Память и люди скажут им, что мать их погибла под ударом убийцы, злые языки, пожалуй, начнут повторять те сплетни, которые посеяны намеками Орлова.

Дайте же вашим приговором, карающим убийцу, основание для сирот защитить память матери; дайте им возможность сказать, что судьи, взявшие в свои руки дело их матери, осудив убийцу, защитили и очистили ее имя от всех тех подозрений, достоверность которых заставляла нередко судью смягчать суровые веления писанного закона приложением закона любвеобильной благодати; дайте им возможность, указав на ваш приговор, сказать: «Он виновен, следовательно, мать наша была невиновна в своей горькой доле!..»

## ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО СТАРОСЕЛЬСКОГО

Дело о Мамед Рза бек-Бакиханове, Фатаха Гаким-оглы и Мешади Мамеда-беке, обвиняемых в убийстве присяжного поверенного С. Д. Старосельского, слушалось на выездной сессии Тифлисской Судебной Палаты в г. Баку 27—28 сентября 1899 г.

Председательствовал Старший Председатель Тифлисской Судебной Палаты Врасский, обвинение поддерживал Товарищ Прокурора Холодков, защищали подсудимых: Мешади Мамеда — присяжный поверенный П. П. Пуцило, Фатаха Гакима — частный поверенный Гурский и Бакиханова — присяжные поверенные П. Г. Миронов и Ф. Н. Плевако.

15 ноября 1895 г. в г. Баку ночью был ранен несколькими выстрелами из револьвера присяжный поверенный С. Д. Старосельский. На другой день он скончался.

Старосельский перед смертью заявил, что в подстрекательстве к преступлению он подозревает сельского старшину села Забрат Монаф Гашим-оглы и члена Бакинской городской управы Балабек-Оруджалибекова, против которых он вел гражданское дело.

Очевидцев преступления не было, и все обвинение было построено на косвенных уликах. Дознание по этому делу производилось чинами местной полиции, фигурировавшими на суде в качестве свидетелей. Результатом этого дознания было привлечение в качестве обвиняемых семи человек: Мешади Мамеда-бека и Фатаха Гакима по обвинению в том, что они нанесли Старосельскому раны, от которых он умер; Гюль Касума и Кербалай Гусейна — в том, что, не принимая непосредственного участия в убийстве, они помогали преступлению, стараясь устранить препятствия к нему; а Бакиханова, Монофан Гашима и Ибрагим Алепке-



ра — в подкупе убийц, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 13, 120, 121 и п. 3 ст. 1453 Уложения о наказаниях.

Дело это разбиралось в Бакинском Окружном Суде 27 февраля 1897 г. Бакиханов был приговорен к ссылке в каторжные работы без срока, Мешади Мамед и Фатах Гаким — к ссылке в каторжные работы на 20 лет; остальные подсудимые оправданы.

На этот приговор обвиненные принесли апелляционный отзыв, в котором доказывали безосновательность обвинения, как по отсутствию мотивов преступления, так и по шаткости улик, добытых дознанием полицейских приставов г. Баку Насырбекова и Мнасарова, которые все время фигурируют на суде в качестве свидетелей.

Приговором Палаты Фатах Гаким-оглы и Мешади Мамед признаны виновными, но наказание уменьшено им до 15 лет каторжных работ. Бакиханову вынесен оправдательный приговор.

### **Речь в защиту бек-Бакиханова**

Все внимание наше устремлено теперь вперед, на будущее, на тот момент дела, когда вы вынесете ваш приговор.

Прокурору, предлагающему предать подсудимого суду первой инстанции, ставящей свой приговор, еще можно утешаться мыслью, что могущую вкрасться в мнение судей ошибку исправит пересмотр дела в высшей инстанции.

Ваша роль — иная: ваше слово — последнее слово по существу, слово, переходящее в жизнь, как слово свободы или смерти заживо. Ваше решающее слово — высший акт справедливости и правосудия; его не ждет критика, и поэтому оно должно быть обставлено всеми возможными условиями, обеспечивающими его истинность.

Для судебной же истины необходимы два условия: чистота материала, из которого строится приговор, и широта горизонта при наблюдении за явлениями, подлежащими обсуждению.

Если первые — нечисты, непрочны, а перед глазом сужено поле наблюдения и зрение ограничено узкой полосой фактов, а не всею наличностью их, — вывод получится неверный, хотя бы ум судьи и совесть его потратили всю свою энергию.

В данном деле налицо оба указанных недостатка.

Решающий материал дела — не свидетели события, а свидетели того, что не подтверждающие ныне своего оговора подсудимые и частью свидетели-оговорщики, тоже отказывающиеся от своих слов, когда-то говорили сыскным чинам, что преступление совершено ими, и указывали подстрекателя. Притом сами эти сыскные чины и являются свидетелями неподтвержденного на суде оговора, им учиненного подсудимыми и свидетелями.

Это не судебный материал, а очевидное доказательство его отсутствия. Сыск в государстве вещь необходимая, но сыскные чины — не свидетели, а лица, доставляющие свидетелей и другие следы преступления. Если взять сравнение из жизни, то они не охотники, добывающие дичь, а собаки, указывающие охотникам, где она находится, потому что у собаки хорошо обоняние, но плохо развито чувство. Собаки — только собаки, гриб не роза, а только гриб, он не будет пахнуть розой, не приобретет ее благовония: от него всегда будет разить мухомором.

В материалах, послуживших составителям судебных уставов для создания нашего уголовного процесса, мы читаем самые резкие упреки ошибкам прошлого, когда сыску вверялось установление наличности преступления. Уставы самому следователю — чину судебному — усваивают не свидетельство, а проверку свидетельств и следов преступления, и не позволяется ему свидетельствовать на суде, хотя он и выше полицейского чиновника.

В настоящем деле у нас есть только два пристава, утверждающие, что одни подсудимые оговорили в их присутствии других — и более ничего. Их слова — указание на доказательство (оговор подсудимыми подсудимых же). Доказательство это подлежало проверке, но не подтвердилось, и, следовательно, его нет...

Еще ярче выступает другой недостаток — узость поля исследования, добровольное ограничение исследования щелкой, вместо широкого окна, в которое льется полный свет.

Один из приставов заявил, что виновность Бакиханова очевидна, ибо он однажды поручил убить и ограбить еврея, что и было сделано, и о чем ему, приставу, говорил, плача, осужденный арестант.

Если событие это верно, то оно должно было бы служить

поводом к следствию, это указало бы, не виновен ли Бакиханов в двух убийствах, и первое убийство не есть ли нравственная улика по второму делу.

Этого не сделано, а ограничились лишь заявлением о факте на суде. Заявителем является сыскной чиновник, который находил, однако, возможным много лет молчать о полученном им сведении.

Верить ли ему?

Нет, верить нельзя.

Пусть его показание дано под присягою. Но, ведь, свидетель, в свое время давший должностную присягу на верность службе и промолчавший о событии, — свидетель не очень достоверный: легкое отношение к долгу служебной присяги дает повод думать о возможности такого же отношения к судебной присяге.

Обвинитель говорит, что сознавшийся в бездействии власти и тем подвергший себя суду за проступок по должности пристав только доказал, что он готов ради торжества правосудия в данном деле пожертвовать своей служебной карьерой. Охотно согласился бы и с этим доводом, если бы было доказано, что преследование это началось. Но показание об участии Бакиханова в убийстве еврея имело место в марте, теперь — сентябрь на исходе. Кажется, было время возбудить преследование? Где же дело против пристава? Возбуждено ли оно? Нет его. Не возбуждено оно. Позвоительно думать, что пристав ничем не пожертвовал ради истины...

Здесь высказано предположение, что убийство могло интересовать генерала Бакиханова, а привлеченный Мамед Рза Бакиханов был его заказопринимателем.

Это соображение более чем неожиданно. Как? Предполагается, что генерал Бакиханов мог подстрекать, и дело судят без него. Да разве в судах по уставу 20 ноября нас учили «бичевать маленьких для удовольствия больших»? Нет, перед судом все равны, хоть генералиссимус будь!..

Что-нибудь одно: либо генерал Бакиханов не причастен к делу, — тогда падает обвинение Мамеда Рза Бакиханова: ведь он сам лично, по данным дела и выводам суда и обвинения, интереса в убийстве и столкновений по делам со Старосельским не имел; либо же — да, причастен, — и тогда удивительно: почему мы не видим его здесь рядом с подсудимыми?..

Итак, подсудимый Бакиханов привлекается, как согла-

сившийся убить Старосельского по заказу названного, но непривлеченного человека, что явно неправильно и ведет к ложному выводу.

Если же привлечение заинтересованного в убийстве Старосельского лица не могло иметь места, по недостатку улик, то незаконно привлечение и Бакиханова, без установления связи между ним, убийцами и подстрекателем его на преступление.

Вот все, над чем вам следует остановиться. Вот все, чем располагает обвинение. Неужели же этого достаточно для постановки приговора, для решающего слова, которым живо погребается человек, — бессрочная каторга разве не могила? Нужны посильные основания, попрочнее данные. На неподтвержденных оговорах, на заверениях сыскных чинов, что им признавались подсудимые, останавливаться нельзя. Мало ли причин для последних быть ретивыми не в меру? Ведь им грозило, по их же словам, неудовольствие начальства за нерозыск! Ведь они — люди, со своими страхами и интересами. Не разыщут — им грозит начальнический гнев. А за спиной жена, дети... А начальство распоряжается не всегда осмотрительно. По массе дел и интересов, ему не всегда время вдуматься в свои распоряжения. Чины сыска не открыли преступления. Может быть, они хорошо спрятали концы его...

Но начальническое внимание было обращено на дело, быть может, в дурную минуту. Расстройство духа, даже печени, могло обусловить особенно скептическое отношение начальства к подчиненному, и он летит... Разве мы не знаем, что движение селезенки принимается нередко за движение мысли.

Вот и силится малый чин исполнить свою задачу и часто со страха и боязни видит разгадку ее там, где о ней нет и помину.

Да, перед нами убийственная неправда, но нет убийства. А задача суда — единая правда. Вы не сочтете возможным произносить ее по внушающим сомнение доказательствам; вы не станете обосновывать приговор на подозрениях относительно людей, каков генерал Бакиханов, и на умалчивании о дефектах в достоинстве свидетельских показаний сыска.

Мы уповаем, что в вашем решении отразятся совесть и мысль честнейших людей страны, принявших на себя долг правосудия, и в слова вашего приговора и в одушевляющее

его начало правды не войдут посторонние соображения, преследующие иные, хотя бы и почтенные цели. В данный момент вы — жрецы, изрекающие слово Божие, — так не место тут узким целям житейской суеты.

Правосудие изображают в виде весов в руках женщины с завязанными глазами. На последнее указывают, как на эмблему беспристрастия и нелицезрения.

Я же верую, что судья, ставящий судебное решение, знает еще и то, что весы в руках правосудия, эмблема — весы, не из того материала, из которого льются орудия торга, веса и меры в местах человеческого торжища. Судья знает, что весы, врученные ему, выкованы из того материала, из которого слиты весы великого Божьего суда, имеющего произнести приговор над всем миром и судьбами его. А к таким весам не должны прикасаться ничьи с правдой ничего общего не имеющие стремления; их верности не должны нарушать, прикасаясь к ним, нечистые руки, в целях увеличения тяжести одной из чашек, все равно, вмещающей интересы обвинения или интересы защиты.

Нет, если подсудимый не изобличен, если его дела не вопиют против него, он выйдет оправданным, как бы приятно или неприятно ни было это для настаивающих на обвинении, и нечистый материал должен быть изгнан. Мы не оскорбим веры народа в святость суда. Наше место свято! Чур меня, чур!.. Мы не дождемся упрека, каким один из великих художников слова заклеил ошибку правосудия, осудившего невинного. «Сто тысяч жертв, ядер и картечи, — говорит он, — не так возопиют пред небом, как та душа, которая, невинно пострадав от ложного решения, предстанет пред Судьей вселенной и скажет там: — Смотри!»...

Вам говорят: вы знаете все! А я вам говорю: вы ничего не знаете, и потому вы не подпишете обвинительного приговора — рука дрогнет...

Я кончил свое ходатайство перед вами. Позвольте еще сказать два слова, вызванные особенностями данного процесса.

Убит присяжный поверенный — член той семьи, к которой принадлежу и я. Зачем же явился я и говорю в защиту подсудимого, мешая мщению за поправное право, за преждевременно пресеченную жизнь его?

Господа! Я не могу простить обвинителю... Я сам не раз в своей деятельности выступал в качестве гражданского истца, помогая правосудию. Тридцать лет я с честью ношу

свой значок и никогда не согласился бы опозорить его, если бы не убеждение в невинности подсудимого.

Покойный был борцом за право, за честь; покойный спасал обвиняемых, защищал сирого и обиженного — так неужели ему нужна тризна, неужели ему приятны слезы осужденного, как благоухание кадильное?

Нет, иную услугу хотелось бы оказать ему, иное слово, чем беспощадное обвинение, хочется услышать в памятные дни по нем.

Товарищ, спящий мирно в могиле, я служу тебе, как и все, здесь бьющиеся за правду, тою службою, в каковой и ты видел благороднейшее употребление твоего призвания! И если невинный, доказав свою правоту, выйдет отсюда оправданный, а не осужденный, правда приговора и счастье спасенного от вечного позора, вызванного подозрением в тяжком убийстве, будет лучшей тризной, лучшим надгробным словом, лучшим памятником, какой воздвигнется тебе друзьями и соратниками твоими по бранному полю, — за честь!..

**ДЕЛО ЧЕРНОБАЕВА,**  
*обвиняемого*  
*в покушении на убийство*  
*студента С. Н. Батаровского*

Дело это слушалось в заседании Московского Окружного Суда 13 сентября 1900 г. с участием присяжных заседателей.

Председательствовал Д. А. Нилус, обвинял Товарищ Прокурора гр. К. Н. Татищев, гражданский иск поддерживал помощник присяжного поверенного А. А. Котлецов, защищал присяжный поверенный Ф. Н. Плевако.

15 мая 1896 г. , близ станции Малоархангельск, Московско-Курской железной дороги, на площадке вагона И. К. Чернобаев выстрелил из револьвера в студента С. Н. Батаровского. Причины, приведшие к этому поступку, были крайне сложны.

В конце 1896 года жена И. К. Чернобаева познакомилась со студентом Батаровским. Это знакомство некоторое время спустя переходит в связь, делавшую крайне мучительной жизнь мужа.

Батаровский имел большое влияние на Чернобаеву, и она по его вызовам несколько раз уезжала из Москвы в Тулу, где проводила с ним время в кругу его товарищей.

Чернобаев смотрел на поведение жены, как на нечто, выходящее за пределы ее воли, объяснял это поведение тем влиянием, которое имел на нее Батаровский. Измену жены он считал несчастьем временным и всегда верил, что, поставленная вне сферы и влияния Батаровского, она вернется к нему. Несколько раз он мирился с женой, и поездка в Киев, которая окончилась покушением на убийство, носила характер средства, отвлекающего внимание жены от Батаровского.

Однако Батаровский поехал за Чернобаевыми в Киев и

тайком от Чернобаева возвращался в одном поезде с ними в Москву.

На обратном пути из Киева в Москву Исаевич, свидетель по делу, сообщил Чернобаеву поразившую его новость, что из окна соседнего вагона какой-то студент в отсутствие мужа делает знаки Чернобаевой.

Чернобаев выскочил на площадку и произвел в Батаровского выстрел из револьвера. Пуля произвела поверхностную ссадину, попала в левую руку и причинила Батаровскому сквозную рану в верхней части предплечья. Врачами рана признана легкой.

Вердиктом присяжных заседателей Чернобаев был оправдан. Гражданский иск оставлен судом без рассмотрения.

### Речь в защиту Чернобаева

В заботах о судьбе подсудимого, которого я явился защищать, мне не время вступать в бесплодные препирательства с г. гражданским истцом.

Не нам будут выдавать премии и награды, не о нас дело идет.

Ни о героях, ни о легендах я не буду говорить. Здесь нет героев, а просто в этом романе — трое несчастных, и весь вопрос в том, кто из них несчастнее.

В обыкновенных процессах все сочувствие на стороне потерпевшего. То ли мы видим в этом деле? Я думаю, что самый несчастный не занимает места потерпевшего, а сидит здесь, на этой скамье.

Да, господа, он глубоко несчастен тем, что встретил эту женщину, несчастен, что сделался ее мужем, несчастен, что полюбил, и несчастен тем, что она не примирилась с выпавшей ей долей.

Посмотрим, как они встретились.

Человек молодой встретил молодую девушку и полюбил ее. Этой поры даже фантазия гражданского истца не коснулась.

Правда, Чернобаев явился в эполетах, до которых ему следовало еще дослужиться: вы слышали, здесь говорилось об офицерском мундире, в котором явился Чернобаев в дом своей будущей жены, еще не будучи офицером.

Ну, что же, что надел человек эполеты, — но он не наде-



вал ложной личины, той некрасивой маски, в которой щеголял доверитель гражданского истца с его подложными телеграммами и всякими уловками и ухищрениями. В этом отношении Чернобаев бесконечно перерос Батаровского. Он повел женщину в церковь, в семью, а ваш доверитель (*оратор негодующе обращается к Котлецову*) куда ее повел? В отдельный номер гостиницы! Как зовут женщин после этого, вы сами, г. истец, знаете.

Не хлебом с солью, которой, якобы, Чернобаев, по словам истца, засорял уши своей жены, а Бог знает чем были заткнуты уши тех, которые ничего хорошего не слышали, которые глухи ко всему доброму и пришли требовать казни во имя какой-то царापины, которая давным-давно зажила.

Молодая женщина ждала, что человек поведет ее завоевывать мировое счастье, ждала блеска, силы, успеха от своего избранника и не удовлетворилась той небольшой частицей счастья, которая выпала на ее долю. Ей захотелось пококетничать, правда, без греха; с ее стороны наступило охлаждение, и место мужа занял другой.

Я не стану, да и права не имею бросать в него камни, как в человека окончательно погибшего. Ему понравилась женщина; это — нормальное явление: страсть и любовь приходят помимо воли. А тут он еще слышал сетование этой женщины, которая жалуется на дурную жизнь, и, конечно, пошел дальше в своем увлечении.

Но, видите ли, человек сильный нравственно приносит в жертву во имя любви себя, но никогда не женщину; такой человек не станет жадно искать награды, которой еще не заслужил, не возьмет всего, что можно взять, — и честное имя, и счастье, и покой, не дав взамен ровно ничего...

Нет, г. Батаровский не герой: это — хилая натура. Человек, который лжет целых полтора года перед обманываемым мужем; по милости которого молодые люди, которым еще доучиваться нужно, вовлекаются в роль каких-то почтарей, посредников между любовником и чужою женой, — такой человек не является носителем твердых нравственных убеждений.

Да, Батаровский желал ей добра, желал ей счастья, но так, чтобы оно само с неба свалилось. Да и почему было не желать ей счастья? Ну, хотя бы в награду за те незабвенные свидания в Александровском саду, одного воспоминания о

которых было достаточно, чтобы забыть все невзгоды настоящего.

Таков второй герой, который, конечно, тоже несчастен, ибо человек, падающий от недостатка внутренних сил, — несчастный человек.

А вот и сама героиня. И она несчастна. Разве это двоедушные, эта раздвоенность, когда она в объятиях одного бранила другого, а в объятиях последнего направляла брань по адресу первого, могло принести счастье? Она должна была изолгаться, измучиться и отравить свою семейную жизнь: мира, — мира не было уже больше в недрах этой семьи...

Была минута, когда Чернобаев верил, что этот мир может вернуться; это было после поездки в Киев. Он только начал верить после ее клятвы в восходящую звезду нового счастья, как вдруг эта сцена на площадке вагона.

Гражданский истец говорит, что они не могли обниматься, не могли стоять, прижавшись друг к другу, ибо, видите ли, у студента сюртук оказался простреленным на груди. Между тем, они могли стоять просто друг возле друга и он держал ее за талию...

При виде их все рухнуло, все надежды были разбиты: над Чернобаевым насмеялись, ему наступали на горло. Он выстрелил и причинил рану.

За эту рану у нас денег требуют из тех грошей, которые зарабатывает Чернобаев тяжелым повседневным трудом.

А Батаровский не нанес ему раны, такой раны, которую никаким хирургам и медикам в мире не залечить?!

Он разорвал студенту сюртук, а тот расколол ему жизнь.

Наше общество так устроено, что, если тебя ограбят, украдут часы, ты можешь найти управу, защиту; а если украдут честь, счастье, то негде искать управы.

Чернобаев и решился на самосуд над Батаровским.

Когда разбойник или тать идет к чужому хранилищу, он рискует, он подвергается опасности и в этом отчасти его оправдание.

Когда вторгается человек в семейную жизнь, когда лезет в чужую спальню, он должен знать, что может быть убит, и это должен был знать Батаровский.

Не вина Чернобаева, что ему приходится самому защищать те интересы, которые так неумело защищает общество...

Но Тому, кто владеет судьбами мира, Тому, кто управляет стихиями, угодно было, чтобы буря разразилась внутри человека и чтобы она дала себя знать только ничтожными царапинами.

Люди живы, гг. присяжные заседатели, злоба утихла, и несчастные разошлись по своим углам кое-как исправлять последствия того зла, которое причинили.

Эта развязка дает нам возможность спокойнее разобраться в деле.

Иногда при всей симпатии к подсудимому не можешь его простить, видя страдающую жертву преступления.

Тут судьба создала иное положение вещей, тут она нам указала счастливый след, по которому нам и следует пойти в погоне за правдой и милостью...

**ДЕЛО**  
**Е. Ф. САНКО-ЛЕШЕВИЧА,**  
*обвиняемого*  
*в подстрекательстве к убийству*  
*Е. Ф. Шиманович, урожденной Санко-Лешевич*

Дело это рассматривалось в заседании Смоленского Ок-  
ружного Суда с участием присяжных заседателей в г. Смо-  
ленске 12—14 декабря 1903 г. под председательством  
И. Н. Отто.

Суду преданы четверо: крестьянка Анастасия Дмитрие-  
ва и мещанка Акулина Мификова — по обвинению в убий-  
стве с заранее обдуманым намерением; крестьянин Иван  
Дмитриев и брат убитой, штабс-капитан Ефим Фотиевич  
Санко-Лешевич, — по обвинению в подстрекательстве пер-  
вых двух к совершению преступления.

Обвиняли товарищи прокурора Чебышев и Нилендер.

Санко-Лешевича защищали присяжный поверенный  
Ф. Н. Плевако и В. А. Александров.

17 сентября 1902 г. недалеко от берега р. Днепра был  
найден стоящий в воде на мелком месте ящик. В ящике  
лежал труп женщины — Е. Ф. Шиманович.

Муж убитой, учитель Плещеевского Земледельческого  
училища И. Д. Шиманович, разошедшийся с женою за  
2 года до убийства, нарисовал следователю, производивше-  
му предварительное следствие, картину постоянной вражды  
между братом и сестрою, возникшей на почве столкнове-  
ния их имущественных интересов.

Ряд допрошенных следователем свидетелей дал основа-  
ние для привлечения к делу в качестве обвиняемой Дмит-  
риевой. Сначала запиравшаяся, она впоследствии созна-  
лась, что убийство Е. Ф. Шиманович было произведено ею  
при участии Мификовой и по наущению мужа ее, Дмитри-  
ева, и Санко-Лешевича, сулившего ей за преступление  
деньги и участок земли.

Но уже во время судебного следствия она снимает ого-

вор с мужа и инициатором убийства называет одного Санко-Лешевича.

При первом рассмотрении дела Санко-Лешевич был оправдан, но по протесту прокурора Сенат кассировал дело.

При вторичном разбирательстве Санко-Лешевич был признан виновным и присужден к каторжным работам.

Здесь приведена речь, произнесенная Ф. Н. Плевако при слушании дела в первый раз.

### Речь в защиту Санко-Лешевича

Гг. присяжные заседатели!

Когда родные: отец, мать и жена Санко-Лешевичи ввели мне судебную защиту опоры семьи своей — Ефима Фотиевича Лешевича, я приступил к изучению документов дела, старался изучить его чернила и бумагу, снять слова и звуки, проникнуть в тяжелую действительность, приблизиться к решению роковой задачи, чтобы сказать вам, гг. земные судьи, мой взгляд и ждать вашей оценки, вашего согласия или несогласия с тем, что мне кажется ложным и неправдоподобным.

Как ни читал я обвинительный акт, как ни старался я постигнуть из него действительность, — увы! — эта бумага не дала мне ответа, потому что то, что представляла она, отталкивало от себя, оскорбляло идеал сердца, мою исконную веру в святость, высоту и хрустальный, сквозящий свет того, что называется судом над человеком, священнодействием истины!

Я с трепетом ждал живого слова!..

Но страшная загадка осталась загадкой!

О, я хорошо вижу и знаю, что обвинение делает свое настоящее, необходимое, государственное дело. Но как ни велика задача обвинения, — закон ставит между ним и его желаниями и убеждениями — суд!

А что такое прокуратура, гг. общественные судьи?.. Это — неустанный страж закона, неопускающий рук воин, недремлющее око, отыскивающее нарушителей прав и требующее им законной кары.

И мне хотелось бы, чтобы вы прислушались к своей душе, ибо настоящее темное, тенденциозное и ужасное дело требует особого напряжения ваших умственных сил, вашей

совести и вашей гражданской бдительности. Если вы так не отнесетесь к этому делу, — «правосудие в опасности совершить судебную ошибку!»

Мысли эти пришли мне в голову по необходимости, во время следствия, когда здесь заговорили живые люди, когда пред вами предстали одновременно: правда и ложь, злость и жалость, любовь и ненависть, акты священнодействующего правосудия и кощунственное прикосновение к святыне рук, недостаточно одухотворенных для великого дела.

Я увидел, что в громадной массе собранного судебного материала всего менее исследован вопрос о виновности Ефима Фотиевича Санко-Лешевича в подстрекательстве к убийству. Мы знаем получаемые Лешевичами проценты по векселям, знаем об их браках, о баснословной цене земли отца Лешевича, знаем, с кем гуляла покойная Елизавета Фотиевна, чему училась, знаем о происходивших сценах в семейной жизни их, о братних делах, заводах, — словом, мы знаем обо всем, что относится и не относится к жизни Лешевичей, но того, что «едино на потребу», — нет!..

Это отступление от прямых задач правосудия сказалось и в оригинальности устройства защиты, и мне только приходится удивляться перед данными предварительного следствия. Вместо спокойной работы ума и сердца судебного следователя, получился какой-то полицейский сыск, и, благодаря ему, раздастся: «Ату его!»

Но это нехорошо! Мы привыкли видеть в суде опору правды, ибо трудно найти, кроме него, более о ней заботливости... «Да не погибнет ни одна овца из стада!»

Велика уверенность суда в виновности Ефима Лешевича, но — увы! — я нахожу, что почва под ней ослабла! Я чту закон, считаю правду дороже всего, и я принимаю вызов, ибо верю в ваш справедливый приговор.

Итак, «измем все, и Божеское и человеческое, и добьемся истины и правды!»

Вопрос таков: можно ли по данным, добытым следствием, прийти к решительному убеждению, что Еф. Санко-Лешевич — это Каин, убивший родную сестру свою, и, по чистой совести, сказать ему: Умри! Истина против тебя!..

Я говорю: нет!.. При тех обстоятельствах и семейных отношениях, в каких состояла несчастная покойная Елизавета Шиманович с подсудимым, братом Ефимом Лешевичем, надо быть настоящим дьяволом, чтобы убить родную сестру!

Семьдесят веков тому назад на земле впервые пролилась кровь брата, и народные легенды даже на месяце запечатлели навек эту страшную картину. Обыкновенно человек-брат до такого разврата без основательных причин не доходит. Надо в прошлом испортиться, в настоящем быть дьяволом, даже сатаной.

Во имя природы, во имя прав человеческих я протестую.

Обвинительный акт, предварительное следствие дают нам груды писанной бумаги.

У нас есть одно доказательство — оговор подсудимой... Обвинительный акт к нему относится с большим доверием.

К оговору отнести с доверием?!

В оговоре даже то, что показывает обвинительный акт, защите идет на пользу... Ведь это же ересь, господа! Где здесь внутренняя юридическая логика? Когда оговорщик говорит — обвинитель верит, — разве это можно? К оговору нужно относиться критически; надо изучить человека, надо в прошлом у него поискать, можно ли относиться к нему с доверием...

Оговорила Дмитриева... Что это за женщина?

Сатанинский убийца с легкостью, с которой не всякий зарежет курицу для пирога, уничтожает жизнь молодой женщины. Убийце помогает в этом ужасном деле случайно пришедшая ее знакомая, 19-летняя девушка, чтобы оказать тем приятельнице услугу и... душит жертву.

Главный убийца — Анастасия Дмитриева, совершив злое дело, не стесняется, для отвода глаз, спустя 5—10 дней, поднимать икону и — молиться!..

Есть воры, которые в Благовещенье служат молебны и начинают тем сезон воровства. Несомненно, это — религиозные люди, но религия у них покрывает злодейства. Такое понятие о божестве не оправдывается никакими соображениями.

Такова Дмитриева в отношении к религии...

Но следствие обратило ее слова в слова истины. Таким образом, дьявол обращается в пророка. О, кощунство!

Мой сотоварищ по защите Ефима Лешевича, В. А. Александров, с очевидной ясностью разобрал перед вами, гг. судьи, те улики, какие были выдвинуты обвинением в подтверждение оговора Ефима Лешевича в подстрекательстве к убийству сестры. Я к ним возвращаться не буду и буду краток, чтобы не утомлять вас, и без того утомленных этим делом.

Вы, конечно, знаете, что убийца, Дмитриева, меняет свой оговор, как аристократка — перчатки. Сперва оговорила мужа и этим посадила его с собою в тюрьму. Здесь же, на суде, сняла с него оговор, сделанный ею будто бы из ревности. Бесстыдно затем признается вам сперва в преступной любовной связи с Ефимом Лешевичем только до свадьбы, а затем, на суде, уже утверждает, что жила с ним и после его женитьбы.

Чем могла Анастасия Дмитриева прельстить Ефима Лешевича? Красотой? Умом? Нет!.. Имея молодую, красивую жену, вряд ли кто мог пойти к ней...

Я очень рад, что здесь перед нами жена подсудимого... Она рассказала нам, что жила с мужем дружно, любовно и что она не может поверить измене мужа... и кому? Дмитриевой...

Эта же бесстыдная женщина на все пойдет! Если солгала на мужа, то почему же ей не солгать и на Ефима Лешевича? А между тем, ей... суд верит!..

Правда, остроги велики, но и нам нужны люди!..

Нам говорят, что в тюрьме ее преследовала тень несчастной убитой, что она нигде места не находила от нее, и даже опасались, что она сойдет с ума.

Но, простите, я этому не верю.

Да! Для подобных натур, как она сама нарисовала себя, поверьте мне, подстрекателей не нужно! Всякий нерв ее, мускулы рук ее ведь не дрогнули, разбивая молотком, 12-ю ударами, череп своей благодетельницы и искренней подруги, посвящавшей ее во все свои сокровенные тайны. Что она спокойно совершила это неслыханное убийство, свидетельствует и то, что в присутствии здесь же, в ее избе, еще неохладевшего трупа подруги, она спокойно пьет с Акулиной водку и сладко засыпает.

Неужели после этого может еще быть правда в груди этой женщины? Нет!

Да и правосудие не терпит оговора от лиц, подобных Анастасии Дмитриевой, для которой, как вы убедились, нет ничего святого.

Остается еще один оговор, это — ребенка, 10-летнего сына Анастасии Дмитриевой. Но, господа! Молитва, вложенная отцом в уста своего ребенка за какого-то офицера, — возмущает меня до глубины души. Этот оговор, не ребенка, конечно, а того, кто его вложил ему в уста, — оскорбителен и для Божеского и для человеческого суда.



Говорят, что похороны были недостаточно пышно обставлены, — но об этом, кажется, не следовало бы и упоминать... Люди убиты горем, люди растерялись, а от них требуют, чтобы они заботились о пышной обстановке... Не смешно ли это?..

Говорят, что Санко-Лешевич после убийства замечает следы, научает свидетелей, мешает следователю... Разберемся.

Сделав обзор свидетельских показаний, защитник выводит заключение, что все данные обвинительной власти говорят о чем угодно, только не об участии Санко-Лешевича в преступлении.

Вот и все, что касается взведенного следствием на Ефима Лешевича оговора, повторяю, не имеющего под собою ни малейшего фундамента.

Мать уверяла вас, гг. судьи, в невинности своего сына, Ефима Лешевича, во взведенном на него Дмитриевой обвинении в подстрекательстве. О, этот голос идет от чистого сердца! Она уже лишилась так зверски убитой дочери. Неужели же вы думаете, что материнское чувство не подсказало бы ей, что убийца ее несчастной Лизы не кто иной, как ее брат, ее родной сын? И вы думаете, она тогда стала бы защищать его? Нет! Тысячу раз нет! Я безусловно верю, что она не стала бы защищать перед вами, общественные судьи, сына — убийцу родной сестры!..

Скажите, в какой семье не бывает недоразумений, ссор? И в благородной и простой: поссорятся и помирятся; но до страшного преступления — убийства доходят или в припадке иступления, опьянения, или в особо исключительных случаях, какие в данном деле не имели места.

Говорят, что будто бы жена Ефима Лешевича, под предлогом продажи какого-то шкафа, просила приехать к ней мужа убитой, г. Шимановича, дабы склонить его отказаться от взведенного им на ее мужа обвинения. Нет, это неправда! Шкаф — это был только предлог, чтобы вызвать Шимановича, ибо она в продаже его не нуждалась; но горячо любящая мужа женщина воспользовалась им, как единственным средством поговорить с Шимановичем, разуверить его в виновности мужа, в чем она глубоко убеждена, и... это ей ставят в упрек. Стыдно!..

Извините меня, но пока гласный суд не замуравлен, — голос честной женщины должен быть выше всего, и, если судебный следователь не записал его, уставши в таком громадном деле, то это не ее вина.

Дай Бог, чтобы наши дочери и жены верили в честность своих отцов и мужей!..

Судебное следствие, между прочим, говорит, что отец Лешевич положил в банк на имя покойной Лизы 6000 руб. и подарил ей еще  $2\frac{1}{2}$  десятины земли; что этим, будто бы, он лишил Ефима большого наследства. Не забудьте, гг. судьи, что перед вами, на суде, выяснилось новое обстоятельство, и очень важное, упущенное следствием. Еще до подарка этих  $2\frac{1}{2}$  десятины дочери Лизе старик Лешевич подарил сыну Ефиму 3 десятины земли, на что и выдал ему купчую, каковую вам, здесь же на суде, и представил он, Ефим Лешевич.

Где же здесь кровная обида в разделе земли между братом и сестрой? Я ее не вижу.

Но допустим, что неравномерно разделил их отец, — все же Ефим Лешевич далек от Каина, ибо у отца осталось еще много земли и имущества, которые он мог при своем, как говорят, давлении на отца получить в свою пользу.

Таким образом, если нет особенных материальных выгод желать смерти единственной сестры, то других мотивов к этому приписать Лешевичу не приходится.

Много говорили здесь про ростовщичество отца и сына. Но на это ответил мой сотоварищ В. А. Александров. Я только прибавлю, что Ефим Лешевич — человек среднего образования и, несмотря на то, что добился офицерского звания, тем не менее, действительно, ушел в дело рубля. Но тут дело сводится исключительно к тому, что он принимает меры такие, чтобы не обобрали его престарелого отца, и оберегает его интересы. Далее, из показаний свидетелей мы узнаем, что Ефим даже уменьшает проценты отца, а нижние воинские чины отзываются о нем, как об отзывчивом начальнике-офицере, готовом всегда оказать помощь солдату, в чем бы она ни заключалась. Спрашивается, какой же после этого Ефим Лешевич ростовщик?..

Далее нам известно, что покойная Елизавета Шиманович имела в банке положенные на ее имя отцом 6000 руб., из которых получила 13 февраля 1902 г. 700 руб. и затем 6 июля того же года проценты — 160 руб., а всего получила 860 руб. Убийство ее совершено 15 сентября 1902 г. Мы знаем, что она жила при родителях, стало быть, за стол не платила, роскошных нарядов не делала и балов не задавала, а между тем, денег после ее смерти не осталось! Куда же они девались?.. Это вопрос довольно важный! Вот Мифникова

показала нам, между прочим, что после убийства Елизаветы Шиманович карман ее платья оказался вывороченным, и из него Дмитриева взяла носовой платок. А что было в нем, этом носовом платке, суд не выяснил... Были, быть может, и деньги, а быть может, и что-либо другое...

Нам говорят, что когда Елизавета Шиманович пропала из дому, то на другой день знакомые просили брата Ефима поискать ее, и ставят ему в вину, что он сразу не обратился к полиции и не пошел к Дмитриевой, а пошел к родным. Да и я бы так поступил на месте Ефима Лешевича, если бы у меня пропал сын: непременно сперва обошел бы родных, а затем уже пошел бы к дворнику — не играет ли он с ним в шашки?

Указывают на то, то Ефим Лешевич в день убийства, 15 сентября, пошел с женою в театр. Да если бы он знал, что уже убита его сестра, то неужели на лице его не виден был бы Каин? Конечно, да! Но этого никто не заметил, ибо он был спокоен за сестру, которая не ночевала дома уже несколько раз.

Гг. присяжные заседатели! В обвинительном акте есть только оговор Ефима Лешевича да денежные дела! Но ни сестра, ни брат нищими не были и не остались. Правда, когда было сделано отчуждение земли старика Лешевича под железную дорогу, — ему за 200 кв. сажен было заплачено по 5 руб. И из этого г. прокурор вывел заключение, что 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> десятины земли покойной стоят 30 000 руб. Но, гг. судьи, это цена баснословная! Когда последует еще отчуждение земли Лешевичей под железную дорогу и сколько за нее заплатят, — это вопрос будущего, а в данный момент мы хорошо знаем, что 4 десятины пригородной земли Лешевича, сданные в аренду под огород, приносят ему только 400 руб. в год дохода.

Перед вами, гг. присяжные заседатели, трудная задача! Но судите, общественные судьи, Ефима Лешевича по вашей совести. Помните, что ваше дело священное.

Я называю ваше дело священным потому, что вы, разбирая нечистый материал, должны отыскать в нем святое зерно истины...

В деле, которое вы рассматриваете, столько клеветы, сплетен, ненависти к обвиняемому, — точно погоня волка за зайцем... Кричат: ату его, ату!.. Страшно становится за человека...

Он осужден общественным мнением!..

**Но что такое, господа, общественное мнение?..**

Святейшему святых общественное мнение вчера провозглашало «Осанна», а на другой день уже — «Распни, распни его»!..

Господа! Не страшно, что человек пострадает, страшно, что он пострадает напрасно... Вы, гг. присяжные заседатели, слуги общества, вы поклялись изучить дело по совести. Я только скажу вам: виновен Ефим Фотиевич Лешевич или не виновен — Бог его знает... Сомнение в виновности есть лучшее доказательство того, как много нужно подумать над тем материалом, который вам предложен...

Отдаю его на суд ваш... Судите... Дай Бог вам разобраться в этом деле.

Но я все же в заключение должен сказать вам, что у стариков Лешевичей есть уже один гроб — убитой дочери...

Не дайте же старикам другого такого гроба!..

## ДЕЛО ДМИТРИЕВОЙ,

*обвиняемой  
в покушении на отравление мужа*

Дело это слушалось в заседании Изюмского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 26 июля 1886 г.

Обстоятельства его заключаются в следующем.

26 октября 1884 г. живший в Старобельске врач П. А. Москалев был приглашен в дом купца Дмитриева для оказания ему медицинской помощи.

Врач нашел больного в удовлетворительном состоянии и назначил ему соответствующее лечение.

Больной уже стал поправляться, как вдруг, через 3 дня, у больного начались болезненные припадки, после чего болезнь приняла угрожающий характер.

Причины такого состояния больного были совершенно непонятны врачу Москалеву, тем более, что припадки начались у больного после приема лекарства.

Просьбы врача о сохранении испражнений больного для их исследования окружающими больному — его женой, Дмитриевой, и тещей, Крикуновой, не исполнялись.

Ввиду всего этого врач Москалев заподозрил отравление Дмитриева. Подозрения его вскоре нашли себе подтверждение в сознании жены и тещи Дмитриева.

После того, как Дмитриев оправился от болезни, врач Москалев сообщил ему обо всем происшедшем. Пораженный Дмитриев, по просьбе врача, написал ему письмо, в котором изложил все обстоятельства своей болезни. Письмо это было передано Москалевым судебному следователю.

Через некоторое время Дмитриев изменил свое отношение к делу. Он заявил, что жена к его отравлению не причастна, что во всем виновата теща и что теща действовала заодно с доктором Москалевым.

Такое показание, в его последней части совершенно несогласное с фактами и с тем, что говорил Дмитриев рань-

ше, нашло опровержение и в письме, написанном тещей Дмитриева, Крикуновой, судебному следователю. В этом письме она снимает оговор с врача Москалева и заявляет, что участие в отравлении принимала она одна.

На основании таких данных перед судом предстала, ввиду смерти Крикуновой, одна Федосья Ивановна Дмитриева.

Вердиктом присяжных заседателей Дмитриева оправдана.

### **Речь Ф. Н. Плевако в защиту подсудимой**

Во время предварительного и даже судебного следствия заметно было как у подсудимой, так и у благоприятных ей свидетелей стремление сбросить обвинение в покушении на отравление ее мужа с нее на врача Москалева.

В свою очередь, свидетель Москалев, защищаясь от этого обвинения, и там и здесь утверждал, что покушение на жизнь Дмитриева сделано его тещею, совместно с дочерью ее, женой потерпевшего, нынешней подсудимой, Дмитриевой.

Обвинительная власть, видимо, и от меня ожидала той же системы действий, а свои силы по преимуществу тратила на защиту Москалева от возводимого на него оговора, стараясь предупредить все мои нападки на этот пункт дела.

Обвинительная власть в образе своих действий и вы, если вы ожидали, подобно ей, от меня такого, а не иного слова, — жестоко ошиблись: 20 лет постоянной работы на этой трибуне научили меня и правам и обязанностям защиты.

Да, в интересах истины мы вправе на суде оглашать всяческую правду о ком бы то ни было, если эта правда с необходимостью логического вывода следует из законно оглашенных на суде доказательств и установленных фактов; но мы обязаны не оскорблять чести свидетелей, призванных дать суду материал для дела, призванных свидетельствовать, а не защищаться от неожиданных обвинений. Мы обязаны воздерживаться от всяких выводов, легкомысленно извлекаемых из непроверенных фактов, обвиняющих кого-либо, кроме подсудимого. Короче: мы призваны оспаривать слабые доводы напрасного или недоказанного обвинения против наших клиентов, а не произносить или создавать обвинения против лиц, не заподозренных и потому не преданных суду.

Так я и поступлю, — поступлю с тем большей охотой, что я лично убежден в совершенной неповинности врача Москалева в деле, в которое его замешали городские сплетни и скороспелое, неосторожное обвинение, высказанное как Дмитриевым, так и его женою. Скажу более: за исключением некоторых шероховатостей в поведении Москалева, о чем я скажу тоже в свое время, факты дела свидетельствуют, что Москалев по отношению к Дмитриеву выполнил все, чего требовала от него обязанность врача, понятая надлежащим образом.

Защита, вдумавшись в обстановку дела, нашла ключ к решению задачи не там, где его искали.

Проста и несложна та нить мыслей, которую вы должны выслушать и обсудить, проста и несложна потому, что она выхвачена не из хитросплетений кабинетного изучения дела по бумагам, а создана под натиском вопросов, обращенных к жизни и к действительности.

Я не выжимал из протоколов и из слов свидетелей винтэссенции судебного материала, я старался при посредстве этих данных догадаться и представить себе, как шло дело там, тогда, до первого следственного действия, или в стороне от следственного производства. Я помнил истину, — что знание истории состоит не в знакомстве с источниками науки, а в умении по источникам представить себе живо и образно эпоху, описываемую историей.

Вся загадка настоящего процесса вертится на двух вопросах: доказано ли участие Дмитриевой в преступлении ее матери и как объяснить поведение врача Москалева, оговаривающего Дмитриеву в преступном деянии, если Дмитриева не изобличена во взводимом на нее поступке.

Настаивая на доказанности обвинения, прокуратура обратила ваше внимание на количественную силу доказательств и на качественное достоинство показания Москалева. Масса свидетелей — по-видимому, подкрепляет первое положение обвинителя, а согласие показания Москалева в его значительной части с бесспорными фактами дела, кажется, дает крепкий устой и второму его утверждению.

Но я докажу вам сию минуту, что заключение от количества показаний к их достоверности и от достоверности одной части данного показания к достоверности всего свидетельства, — часто ведет к ошибкам. Я докажу вам, что в данном случае и качество, и количество показаний — мнимо; это так показалось только по первому впечатлению, а

проверьте ваши впечатления контролирующей силой разума, и вы сами поразитесь бедностью остатка данных, полученных по освобождении вашего ума и вашей памяти от всего, что действовало на ваше представление, а не на ваш разум.

Конечно, чем больше свидетелей спорного факта, удостоверяющих, что факт совершился, тем тверже убеждение в действительности факта. Но если, по исследовании источника познания факта, — свидетелей, окажется, что очевидцем факта был один человек, а прочие свидетели или слышали о факте от этого единственного, выдающего себя за очевидца, свидетеля, или даже слышали из вторых рук, от первоначально слышавших о факте от очевидца, — тогда не прав ли буду я, утверждая, что в таком случае мы, при кажущемся богатстве свидетельств, имеем лишь одного свидетеля и что все остальные показатели, в случае недостоверности или недостаточности данных, заключающихся в показании очевидца, ничего делу не дают и не укрепляют веры в существование спорного факта?

В нашем деле мы имеем именно такое сочетание свидетельств. Только один Москалев утверждает, что подсудимая Дмитриева созналась ему в соучастии в преступлении своей матери. Никто другой не удостоверил ее прикосновенности к делу, как факта, им лично наблюдаемого, или факта, ему Дмитриевой удостоверенного.

Обвинение располагало и располагает несколькими намеками на то, что Дмитриев, оправившись от болезни, везде славил своего врача и жаловался на свою тещу и на жену, как на отравительниц его.

Если, несмотря на отрицание этого обстоятельства мужем Дмитриевой, его допустить, то и тогда мы имеем такую схему: Москалев, по его собственным словам, заподозрил мать и дочь в отравлении Дмитриева и, получив их сознание, открыл об этом больному. Больной поверил его рассказу и, поверив, передавал его на базаре своим знакомым. Знакомые Дмитриева показывали, что они слышали от Дмитриева что-то в этом роде. Здесь они, впрочем, ссылки на них не подтвердили, говоря, что Дмитриев обвинял свою тещу, а не жену.

Допустим достоверность показания на предварительном следствии и тогда все-таки выходит, что единственный свидетель будто бы сделанного подсудимую сознания, Москалев, передает это сознание ее мужу, этот сперва верит



словам Москалева и говорит о том со слов Москалева на базаре, а базар говорит следовательно со слов Дмитриева.

В результате всех этих показаний мы получаем положение, что факт сознания Дмитриевой утверждается одним Москалевым. Никто более никакого, даже частичного, обстоятельства, относящегося к признанию, не дал. Наоборот, муж потерпевшей отрицал факт признания его жены перед ним, а свидетели, даже по показаниям, записанным в протокол предварительного следствия, удостоверили лишь то, что Дмитриев говорил, что ему Москалев сказал, что его отравили теща и жена.

Итак, мы доказали, что один Москалев и никто более не утверждает, что жена Дмитриева участвовала с матерью в отравлении мужа.

Но и одно показание имело бы силу, с которой пришлось бы считаться, если бы мы не располагали противоположительными показаниями и доказательствами.

Прежде всего вы должны обратить внимание, что сознавшаяся в преступлении и сама окончившая, вне всякого сомнения, насильственной смертью, теща не оговорила своей дочери. Даже в ту минуту, когда она готовилась расстаться с этим миром и когда ее мучила ложь против Москалева, оговоренного ею из мести, когда тайна смерти подсказывала ей, что нет ничего выше правды и что правда должна быть обнаружена без всяких сделок с выгодами и привязанностями, она ни одним словом не выдала своей дочери, видимо, не имея к этому никаких фактических данных.

Сам Дмитриев во все время следствия твердо и решительно отрицал виновность своей жены. Он, правда, — муж, но ведь он и потерпевший, если его в самом деле покушалась отравить жена. Жизнь, которой угрожала опасность от жены, — такое благо, защита которого не остановится и перед женою; а жена, покусившаяся на отравление мужа, уже не то дорогое существо, за которое муж готов отдать себя на жертву.

Если же муж так твердо отстаивает невинность жены в преступлении, направленном против него, то, вероятно, этого преступления с ее стороны и не было.

Отравить могла только нелюбящая, ненавидящая жена, а кому, кроме мужа, ведомо, кем была с ним его подруга: злодейкой и убийцей, или полной ласки и любви, преданной спутницей жизни?

Этот вопрос, от решения которого все зависит, не поддается минутному наблюдению чужого глаза, вторгнувшегося неожиданно и негаданно в домашнее гнездо супругов. Любовь и ласка бегут света и свидетелей, и их знает и испытывает любимый человек в той таинственной, покровами ночи покрытой, сени, куда, кроме самих супругов, проникает только око Господне. Если вы хотите знать о взаимной любви супругов, спросите их самих, а бумаги и случайные свидетели в этом деле — самые негодные проводники сведений.

Свидетели, здесь спрошенные, показали, что во время болезни Дмитриева жене приходилось быть за него в лавке, и они видели ее плачущею о нем. Свидетель нотариус Гаговец показал, что во время болезни Дмитриева, или перед нею, властолюбивая теща взяла с Дмитриева документ на его состояние, что же касается до жены Дмитриева, то эта ничего не брала, а, напротив, почти в это же время, по требованию мужа, перевела ему свое недвижимое имущество по купчей, и только формальные причины помешали окончательному отчуждению: настоящее дело, или изменение в мыслях Дмитриева повело к тому, что он передумал представить выпись к утверждению старшего нотариуса.

А раз обвинительному показанию Москалева противопоставляется ряд иных показаний, опровергающих его слова, или несовпадающих, несовместимых с ними, то как объяснить эту часть показаний его?

Прежде всего замечу, что показание Москалева делится на две части: на свидетельство его о таких предметах, которые, вне всякого сомнения, были гласны и без него; и на свидетельство его о таком событии, которое никому, кроме него, неизвестно и которое составляет весь базис обвинения Дмитриевой.

Принято давать веру такому свидетелю, который в тех частях своего показания, которые допускали проверку, оказался точным. такому свидетелю верят уже во всем, и верят весьма основательно: он не только дает материал для дела, но и отличается основательностью в сообщении материала.

Но и здесь мы часто злоупотребляем по существу верным методом: мы часто судим о верности показания свидетеля, ставя ему в заслугу согласие его слов с такими обстоятельствами, о которых и самый лживый человек показал бы правду, раз он желает внушить веру к своему слову.

Представьте себе свидетеля, имеющего надобность или почему-либо иному показывающего не совсем верно о та-

ком-то событии; если предполагаемое событие случилось при известной обстановке, в известном месте, то то, что общеизвестно, — будет изложено свидетелем верно, независимо от верности или неверности его коренного показания. Так, например, не совсем верный свидетель, говорящий о событии, будто бы случившемся в Старобельске, если он сам из этого города, конечно, опишет местоположение города согласно с действительностью.

Только такой свидетель дает нам основание заключать точность его показания, слова которого совпали с истиной по таким вопросам, которые не были общеизвестны и не обязывали, так сказать, свидетеля к невольной правдивости.

С показанием Москалева поступили именно по указываемому мною неверному способу расценки: в его словах много правды, но по каким предметам дела?

Он верно говорит о том, что Дмитриев заболел, — но это и без него было известно всем. Он сказал, что ему показалось странным, что после приема его лекарств Дмитриеву стало хуже, — но и все, кто посещал Дмитриева, это знали. Он рассказывает, что Дмитриеву вливали яд тещи, — но она сама это говорила и подтвердила.

Москалев, да и всякий другой на его месте, в этой части своего показания не мог не быть правдивым. Это — общеизвестные факты, и при этом факты, которые важны для свидетеля, как снимающие с него оговор городской сплетни.

Неверное показание о соучастии Дмитриевой в преступлении ее матери могло наслоиться лишь на этом бесспорном основном грунте дела.

Наша задача теперь сама собой выяснилась: имея в виду противоречие показания Москалева с объяснениями подсудимой и с противоположениями как потерпевшего, так и некоторых свидетелей, а равно и ввиду несовместимости этого показания с красноречивыми фактами действительности: с горем подсудимой во время болезни мужа, с ее согласной жизнью с мужем, с ее кротким нравом, засвидетельствованным в самом обвинительном акте, — мы должны объяснить себе этот грустный факт — неправду в показании Москалева.

Я прошу вас принять во внимание совет, который вам даст в свое время председатель от имени закона: он вам скажет, что при оценке свидетельских показаний надобно раз-

личать свидетеля — потерпевшего от преступления от свидетеля — постороннего делу. Тогда как первый склонен пристрастно отнестись к своему врагу, последний не имеет повода преувеличивать событие или факт, о котором он свидетельствует. Склонность эта объясняется не недобросовестностью или лживостью свидетеля, а постоянно наблюдаемым свойством большинства людей видеть истину в окраске, внушаемой настроением души: сочувствие смягчает, а ненависть или месть преувеличивает то, что видит глаз свидетеля.

Еще резче эти чувства влияют на те сведения, которые мы приобретаем путем смешанным, — внешним чувством и догадкой, или выводом: чего-чего не заключаем мы о людях нам ненавистных по самому поверхностному наблюдению или сведению, полученному о них; с каким доверием мы относимся к показанию посторонних или к свидетельству наших чувств, если они дают нам желанные данные, как мы скептически отрицаем все, что не вяжется с тем, что нам желательно думать о нашем враге.

Москалев по отношению к Дмитриевой и к ее мужу очутился как раз в этом положении: со времени предварительного следствия супруги Дмитриевы — его смертельные враги, и враги тем более ненавистные и смертельные, что Москалев не может простить им их неизвинительной клеветы на него, осложненной черною неблагодарностью: не он ли спас жизнь Дмитриева от отравы, данной тещею? Не он ли открыл глаза мужу — Дмитриеву на опасность, ему угрожавшую? И что же! Этот Дмитриев и его жена его же обвиняют в преступлении, которому он помешал.

Негодование и понятно и велико в душе Москалева. Два мотива стали властвовать в душе его: сплетни и клевета требовали от него очищения, толкали на борьбу за свою честь. А эта борьба — самая страстная: человек жизни не пощадит, когда его чести угрожает опасность; и притом в борьбе за честь мы, люди, часто отстаиваем не ту честь, которая есть результат нашего согласия с великими принципами нравственности, — а отстаиваем честь в смысле признанного в среде, где мы живем, доброго имени. Этой последней честью мы дорожим более, чем действительной, и последнюю часто приносим в жертву первой. Кому из нас неизвестны примеры, что люди готовы на тяжкие и злые поступки и действительно их совершают, лишь бы спасти себя от унижения по поводу действительно совершенного дурного по-

ступка, дела? Кому неизвестно, что многие женщины без борьбы падают, но не щадят ни сил, ни средств, не разбирая последних, чтобы отстоять во мнении общества свое мнимое право на безупречное имя?

Второй мотив — ненависть к лицам, его оговорившим во мнимом преступлении, и желание открыть истинных виновников.

Первый мотив делал его потерпевшим: его чести нанесен удар, и очищение необходимо. Он идет к следователю, он берет на себя тяжелую, едва ли согласную с положением врача роль доносчика на преступников, открывших ему свою вину, как врачу. Он становится тем открывателем, который, раз донес, должен доказать свой донос, — иначе, как лживый доносчик, он понесет тяжелое обвинение.

Все это располагало его к страстному желанию доказать то обвинение, в которое он крепко верил: я говорю о его уверенности в том, что его оговаривают ложно и что для убеждения других в своей невинности ему необходимо указать на этих других, как на деятелей того, что ему приписывалось ими.

Второй мотив изгонял из его души всякое сожаление и осторожность по отношению к Дмитриевой: врага и клеветника, так казалось ему, — нечего жалеть.

Но и это еще не все: он искал объяснения, повода к оговору, и, настроенный мрачно против Дмитриевых, он, естественно, мог с доверием остановиться лишь на мотивах наиболее неблагоприятных для чести и доброго имени подсудимой и ее супруга. Они его оговорили, — значит, это им было надобно; надобно другого оговорить, — когда это необходимо для спасения себя или близких. Дмитриева, оговаривающая его в среде горожан, значит, нуждалась в этом средстве для своего спасения; значит, — она виновата.

А супруг, тот супруг, которому я, Москалев, спас жизнь и который с моих слов бил тревогу по всему городу, — он-то почему переменил тон? А, понятно: он страстно любит жену и для спасения ее топил меня, не останавливаясь перед черной неблагодарностью; он нравственно так же гадок, как и другие; оба они — мои враги, и враги, которых жалеть нечего, ибо они достойны казни. Весь вопрос в доказательствах их несомненной вины; эти доказательства должен доказать я один. Я их и достану, потому что я убежден в их вине, и, каковы бы ни были эти доказательства, как бы ни был нечист их источник, они в конце концов не будут ложными

доказательствами, ибо на основании их погибли люди, того заслуживающие.

Таким путем складываются те пристрастные показания, существование которых во всяком процессе не редкость. Так складываются людьми, относительно хорошими, те односторонние мнения о людях почему-либо нежеланных и неприятных им.

Вглядитесь в борьбу партий, хотя бы в обычных наших городских и земских делах, или, еще яснее, всмотритесь в те исторические случаи борьбы за власть, или за влияние на государство, о которых нам повествуют летописи: такие фантастические обвинения своих противников, и притом обвинения убежденные, искренние, хотя и мнимые, создают взаимное озлобление, отрешившееся от веры и любви друг к другу, — создает, подчиняясь указанным мною мотивам: желанию дать перевес тому течению дел и тем людям, которые кажутся лучшими, и страстному желанию не дать своим противникам и их делу, кающемуся делом неправым и пагубным, хотя бы временного торжества.

Непримиримое противоречие в словах Москалева со словами Дмитриева и теми обстоятельствами, которые заставляют всякого непредубежденного человека отнестись с недоверием к обвинению Дмитриевой, находит себе исход лишь в применении к делу вышеуказанных соображений.

Москалев убежден в том, что Дмитриева его оклеветала, чтобы отклонить от себя подозрение в отравлении мужа. Он убежден, что это сделано ею потому, что она сама виновна вместе с матерью в этом деле. Клевета делает ее достойной казни, а он, Москалев, должен во что бы то ни стало добыть доказательства ее вины, и он спокойно оговаривает ее в том, что будто бы она ему самому призналась в своей вине.

Для предания суду это достаточно сильно, а для совести есть успокоение в том, что здесь нет греха, ибо здесь не оговаривается невинный, а на виновного дается несколько форсированное показание.

Старый грех: истина в цели и ложь в средствах.

А, между тем, задача могла быть разрешена проще, не вводи только Москалев этой подозрительности и замени ее человечностью.

Не так ли, на самом деле, происходила история: теща совершила преступление и была уличена Москалевым. Она созналась ему, но просила его, восстановив силы больного, не говорить ему о ее преступном покушении. Москалев не считал этого возможным и открыл глаза Дмитриеву.

Состояние духа Дмитриева: благодарность Москалеву, ненависть к теще — логические последствия открытия.

Но теща, признаваясь врачу, вероятно, призналась и дочери. Дочь, как ей ни дорог был муж, все же была дочерью и, раз опасность была вовремя устранена, а муж выздоровел, — конечно, симпатизировала просьбе матери скрыть ее вину.

Но Москалев открыл грех тещи перед зятем. Последний в гневе хочет запрятать ее в тюрьму, погубить. Но злое дело, слава Богу, прошло без последствий, отравка не удалась, — и дочь пробует умолять мужа о прощении виновной. Эту сцену слышит свидетель...

Озлобленная на Москалева за обнаружение тайны, боясь, что он огласит ее и далее, за порогом дома Дмитриева, Крикунова придумала средство обезоружить Москалева и отомстить ему: она оговорила Москалева в соучастии, оговорила сначала в среде своей семьи.

Дочь, любящая свою мать и жалеющая ее, поверила этому оговору; за ней поверил и Дмитриев, которому все прошлое его тещи и без того не давало повода заподозрить ее в чем-либо, не будь оговора Москалева.

А раз супруги Дмитриевы поверили Крикуновой, они моментально переменялись с Москалевым, видя в нем руководителя преступления. Чувство благодарности сменилось негодованием, и Москалев, конечно, был поражен резким осуждением, возводимым на него тем, от кого он вправе был ожидать иного отношения.

Посмотрите на дело с этой точки зрения, и вы увидите, что для объяснения его не нужно представлять Дмитриевых клеветниками, Дмитриеву отравительницей, а Москалева ложным доносчиком.

Дмитриева просто с доверием отнеслась к оговору матерью врача Москалева и, веря матери, искренно обвиняла последнего; Дмитриев, отчасти доверяя теще, отчасти не понимая мотива ложного оговора Москалевым его жены, составил себе искренний, но ложный в своем основании, образ мысли о поступке своего врача, мешает в своем показании то, что было, с тем, что ему кажется, и грешит против истины, думая, что передает суду истинный рассказ о событии. Наконец, Москалев, весь уйдя в заботу о своей репутации, оскорбленный до глубины души оглашением о нем позорного, но в существе ложного факта, поддаваясь нервному чувству, возбуждаемому наносимой нам обидой

или болью, — чувству отместки, отпора, дал этот отпор, объяснив себе поступок супругов Дмитриевых в самом мрачном смысле, и затем, согласно этому взгляду на них, смешав, как и они, действительные факты с фактами своего воображения.

В результате и получилось то, поистине трагическое, но вместе и понятное положение, что два враждующие лагеря, каждый искренно, но вместе и ложно, кидали в своего противника самыми тяжкими обвинениями.

Разрешить этот узел призваны вы.

Если мой взгляд на дело имеет за себя нечто достойное вашего внимания, то вы в вашем совещательном зале не откажетесь дать место и ему; может быть, согласившись с ним, вы одновременно и спасете молодую жизнь, и разрешите предложенное вам дело с наибольшей вероятностью.

А от человеческого суда никто не имеет права требовать более этого.

Безусловная истина доступна одному Богу.



**ДЕЛО**  
**А. Е. МАКСИМЕНКО,**  
*обвиняемой в отравлении мужа*

Дело это слушалось в заседании Таганрогского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 15—20 февраля 1890 г. в г. Ростове-на-Дону, под председательством члена суда Е. Н. Хмельницкого.

Обвинял прокурор Е. Н. Хлодовский; поверенным гражданской истицы Ефросинии Максименко выступил присяжный поверенный Л. Я. Леве. Защищали Александру Максименко присяжные поверенные Н. И. Холева и Ф. Н. Плевако.

Суду были преданы Александра Егоровна Максименко и Аристарх Данилович Резников по обвинению в предумышленном отравлении мужа Александры Егоровны, Николая Максименко.

Обстоятельства этого дела представляются в следующем виде.

19 октября 1888 г. в Ростове-на-Дону, в доме своей тещи Варвары Дубровиной умер Николай Максименко.

Смерть его врачами не могла быть объяснена какими-либо естественными причинами. Врачи предположили отравление.

Первоначальное исследование внутренностей умершего не подтвердило предположения врачей и только тщательное вторичное химическое исследование не оставило сомнения в том, что Максименко был отравлен.

Вопрос о самоотравлении не мог иметь места, так как Николай Максименко, незадолго до смерти перенесший тиф, из дома в это время не выходил и все время был под надзором своей жены. На нее и пало подозрение.

Обстоятельства дела как будто бы изобличали ее. Частью свидетелей она характеризуется как женщина очень не-

уравновешенная, некультурная, грубая. Принадлежа к богатой семье, она выходит замуж за бедного Максименко и очень скоро, по словам свидетелей, начинает ему изменять. Во время, предшествующее смерти ее мужа, она близко сходитя со служившим в конторе покойного Резниковым, с которым и остается одна у постели больного Николая Максименко.

Лечивший Максименко врач Португалов обратил внимание на то, что Резников постоянно находился в квартире Максименко, что он вел себя там как хозяин, что между Резниковым и Александрой Максименко несомненно существовали близкие отношения.

Последним обстоятельством, доказывавшим, по мнению обвинения, причастность Резникова к отравлению, явилось то, что он несколько раз приезжал к врачу Португалову и просил его выдать свидетельство о смерти Максименко, уверяя, что бояться нечего, так как священник — свой человек.

Все эти обстоятельства послужили основанием к тому, что Резников и Максименко были преданы суду.

Вердиктом присяжных заседателей факт отравления был признан доказанным, а Максименко и Резников оправданы.

### **Речь Ф. Н. Плевако в защиту Максименко**

Завтра, к этому часу, вы, вероятно, дадите нам ваше мнение о свойстве настоящего дела и об отношении к нему предстоящих подсудимых.

Томительный вопрос: какое впечатление производит на судей совокупность проверенного здесь материала и кто вероятный виновник содеянного зла — получит удовлетворение.

Подсудимые — и та, которую я защищаю, и тот, за кого скажет слово третий защитник, — отрицают свою вину. Следовательно, нам нужно сосредоточиться на изучении улик против них.

Но чтобы правильной разобратся и безошибочнее решить дело, я советую вам разделить ваше внимание поровну между подсудимыми, обдумывая доказательства виновности отдельно для каждого подсудимого так, как будто судьба другого сегодня не предстоит вашему вниманию.

Этот прием спасет вас от вредной для дела и особенно вредной для подсудимых перепутанности улик. Известна человеческая слабость к быстрым обобщениям: мы охотно спешим впечатление, полученное от одного ряда явлений, перенести на соседние, сходные с ними. Мы незаметно объединяем в одно целое группу независимых предметов и думаем о них, как об одном.

То же повторяется и при решении дел уголовных. Совершилось преступление. Подозреваются несколько лиц. Мы начинаем смотреть на всех подсудимых, привлеченных по одному делу, на всю скамью, как на одного человека. Преступление вызывает в нас негодование против всех. Улики, обрисовывающие одного подсудимого, мы переносим на остальных. Он сделал то-то, а она сделала то-то, откуда заключается, что они оба сделали и то и другое вместе.

В примерах нет недостатка. Вы слышали здесь показания, которыми один из подсудимых изобличался в возведении клеветы на врача Португалова, а другая — в упреке, сделанном ею соседке Дмитриевой в неосторожном угощении больного мужа крепким чаем, что было на самом деле. И вот в речи г. обвинителя эти отдельные улики объединяются в двойную улику: оказывается, что Максименко и Резников клеветали на доктора, Максименко и Резников упрекали Дмитриеву.

Испросив у вас отдельного внимания каждому подсудимому, я обращусь к делу. При этом, памятуя, что мы призваны содействовать, а не мешать вашему правосудию, я откину из моей речи все то, что, имея полную возможность принять вид серьезного довода за подсудимую, на самом деле не представляется доводом перед моим внутренним зрением. Я буду вести не *придуманную*, а *продуманную* речь, не заботясь о том, что во многом, быть может, разойдусь с моими товарищами по защите.

Итак, во-первых, я не стану отрицать того, что насильственная смерть мне представляется фактом. Те неточности химической экспертизы, на которые указал вам мой молодой сотрудник, та шаткость вторичного медицинского мнения, констатировавшего смерть Максименко от отравы, которое опиралось на выводы химического анализа и падало вместе с неверностью последнего, — все это, может быть, и сильно, но я признаюсь, что мне лично не справиться с этими техническими выводами людей знания, что, сверх того, окончательный вывод экспертизы и по ослаблении

его критикой остается довольно сильным, по крайней мере, в моих глазах, так что я думаю обойти его без возражений, успокаиваясь тем, что, в случае, если улики против того или другого подсудимого недостаточны, то и с признанием преступности у обвинителя не будет в запасе данных, связывающих преступление с намеченной им личностью.

Но прежде чем подойти к детальным уликам, собранным против Александры Максименко, я нуждаюсь в указании на одно положение, от верности или неверности которого зависит достоинство моих заключений по делу, и затем должен буду высказаться по вопросу о пределах исследования жизни подсудимой, ввиду далеко заходящих вдаль биографических изысканий г. обвинителя, рисующего нам жизнь подсудимой чуть не с самого детства.

Положение первое таково: здесь давали преобладающее место показаниям врача Португалова и полицейского чиновника Дмитриева, а равно и жены последнего. Со своей стороны, более меня принимавшие участие в судебном следствии товарищи и некоторые свидетели говорили о возбужденном, по извету подсудимого Резникова, деле о вымогательстве Португаловым трехсот рублей за выдачу свидетельства о смерти покойного Максименко. Указано было и на то, что Дмитриев и его жена, — те лица, к которым относился упрек Александры Максименко, слишком страстно относились к делу и высказывали подозрительные предположения против подсудимой, не подтвержденные ссылкой на тех лиц, на которых они ссылались.

Я, подобно обвинителю, не доверяю клевете на Португалова и признаю, что ее ложь доказана бесспорно. Далее, я допускаю, что Максименко упрекала Дмитриевых в угощении больного мужа чаем.

Но что же отсюда следует? А то, что Португалов был глубоко оскорблен этой, бьющей в самую сердцевину человеческого достоинства, инсинуацией. В меньшей степени, но тоже недовольны были обвинением в неосторожности и Дмитриевы. Обе обиженные стороны, сознавшие полнейшую несостоятельность обвинения против них, естественно, с подозрением отнеслись к авторам выдумки. А когда оказалось, что смерть Максименко была неестественной, то подозрение перешло в предубеждение против клеветников, вероятно, имевших-де цель этими инсинуациями отводить глаза от виновников преступления.

Между тем, пущенная о Португалове, во всяком случае,

не мою подсудимую, клевета — о чем свидетельствуют все обстоятельства дела — передается автором лжи в семью Дубровина. Там рассказу верят и громко передают о поступке Португалова, даже идут, в лице свидетеля Леонтьева, жаловаться полиции на вымогательство врача.

Понятно негодование Португалова на дерзость лжи. В негодовании он уже не анализирует развитие клеветы, а объединяет всех, разносящих ее, в одну шайку, вероятно, имеющую цель клеветать на него, чтобы подорвать веру в его сомнения о причине смерти Максименко и добиться похорон без вскрытия.

Происходит трагикомедия: Португалов, оскорбленный, подозрительно истолковывает все поступки в семье Дубровина, а семья Дубровина, с вдовой Максименко, доверяя пущенной клевете, в подозрениях Португалова видят только новые и новые придирки.

В меньшей мере, но та же история повторяется в отношениях к Дмитриевым.

Подозрение, высказанное вдовой покойного, раздражило их. Они недоверчиво относятся к ней; она, не зная истинной причины смерти мужа, их подозрительность объясняет иными мотивами.

Эти причины дали окраску отношениям этих свидетелей к делу. Они озлоблены и поэтому пристрастны; тем более опасно, что их подозрительность искренна. Но они — люди правдивые, особенно я это скажу о Португалове.

Поэтому, в их показаниях надо различать две стороны. Там, где они, а особенно Португалов, говорят о своих действиях, о своих поступках и действительном их значении, там он правдив, ибо порядочность его гарантирует нас от сочинительства того, что для него явно не существует. Но там, где он говорит о значении чужих поступков, где он характеризует чужую душу и оценивает чужие чувства, — а самая опасная часть его показаний и составляет его мнение о недостаточности внимания вдовы к покойному супругу в предсмертные дни, о холодности ее при гробе и т. п., — там его мнения, как таковые, всего более страдают недостатком беспристрастия.

Тут уже нет гарантии в его личном достоинстве, потому что самые достойные люди отдают дань чувству и страсти и под углом их не безопасны от воображения, заменяющего действительность.

И вот моя просьба к вам: верьте Португалову и Дмитриевым, где они свидетельствуют о себе, не верьте им, где они судят и рядят о людях, им неприятных за причиненное ими воображаемое зло.

По вопросу о биографических подробностях относительно подсудимой я, пожалуй, готов признать долю правды в мнении моего сотоварища по защите, — что необходимым предел таких исследований, дабы избежать излишнего влияния этих подробностей на силу настоящих улик; готов согласиться, что не обвинителю, а защите дозволительно далеким прошлым, если оно безупречно, испрашивать снисхождения к виновному; согласен, что в устах обвинителя этот прием может переродиться в осуждение подсудимого не за обследованное деяние, а за необследованную прошлую жизнь, может быть, и непохожую на ту, какой ее рисуют случайные свидетели.

Но раз дело сделано, раз обвинение старается заглянуть в прошлое подсудимой и вызвало с этой целью несколько свидетелей, то нам уже надобно считаться с совершившимся фактом следственного производства. Одной просьбой о забвении этой страницы дела ничего не сделаешь: она уже прошла перед глазами присяжных. Просьбы о забвении остались бы неисполнимыми и даже возбуждали бы особое внимание к исключаемым фактам.

Так бесплодна просьба матери, которая, давая дочери своей какой-либо модный роман, предлагает ей не читать некоторых, отмеченных красным карандашом страниц: они будут прочитаны, прочитаны ранее других, и только сильнее запечатлятся в молодом мозгу.

Нет, я мирюсь с приемом прокурора, и, выслушав его обличительную речь о далеком прошлом подсудимой, принимаю вызов, ввожу в мои объяснения апологею ее молодой жизни до встречи с Резниковым и думаю, что обильный материал дела дает нам вывод совершенно противоположного свойства.

С него-то мы и начнем.

Дяди и родня, как ее, так и ее покойного мужа, здесь сказали нам, что она оставалась почти ребенком после отца. Особенно старательного воспитания ей не давали: мать, — женщина, вышедшая из низменных слоев, и не умела, и не желала дать дочери образования. Здесь отметили, что мать притом несвободна от порока неумеренности в вине. Затем, все мы знаем, что после отца у Саши Дуброви-

ной, — все так звали девушку, — осталось хорошее состояние в трети капитала в торговом доме пароходства бр. Дубровиных.

Достигает Саша Дубровина 15 лет. Из девочки начинает формироваться девушка. Просыпаются девичьи грезы, предвестники инстинктов будущей женщины. Засматриваются на нее молодые люди околотка. Стыдливо засматривается и она на них. К матери засылают сватов и свах. Обвинитель отмечает, что в течение года было до 30 женихов и что с одним было что-то вроде сговора, — это с каким-то греком, а с другим, судя по письму к ней от него, девушка сама объяснилась в любви, без участия матери. И вот это называют первыми признаками ее нравственной порчи.

Но разве это так? Женихи, в такой массе попытавшиеся просить ее руки, свидетельствуют как раз о противном. Значит, она была желанная невеста для многих и не спешила броситься на шею первому искателю. Сговор, не повлекший, однако, к браку, свидетельствует только о том, что она своей девичьей воли не позволила отдать без ее спроса. Обвинение не располагает никаким указанием, хотя бы от самого недостоверного свидетеля, что жених отказался от невесты по причине ее сомнительного поведения. Письмо моряка, памятное вам по вычурному титулу «многуважаемая, позволившая назвать себя моей невестой», писанное из Афин в Ростов, к шестнадцатилетней девушке, свидетельствует только о том, что она честью дорожила, и нелегко было вырвать у ней полунамек на готовность вступить в брак, так что искателю ее руки приходится подчеркивать молодой девушке слово, слетевшее с ее языка.

И я вас спрошу: неужели это порок? Неужели это начало тех «злодеяний», каким эпитетом обозвал эти поступки мало продумавший свое слово гражданский истец. Кто из нас, имея в семье молодых девушек, сестер или дочерей, не знает, что серьезному чувству, которое ведет их к алтарю, предшествуют, как эскизы предшествуют картине, мимолетные вспышки нежности, скоропреходящие печали молодого сердца?..

Нет, гг. присяжные, грешно клеймить именем порока светлые грезы юности. Этими грезами наполнена любая начинающаяся девичья жизнь. Ссылаюсь на ваши собственные семьи: разве у вас нет того же? Разве вы отвернетесь за это от ваших детей, а не ограничитесь добрым советом, дабы не было ошибки в выборе?

Перехожу к истории брака с покойным мужем подсудимой. Этот момент важнее и дает место для размышлений.

Обвинителем выставлено положение, что девушка стала принадлежать мужу еще до брака. Но, не довольствуясь этим, обвинение прибавляет, что девушка сама бросилась на своего избранника и, так сказать, женила его на себе.

Проверим доказательства и построенные на них выводы.

Встречу подсудимой со своим мужем рисуют нам, главным образом, два свидетеля: брат и сестра покойного Максименко. Обвинитель останавливается преимущественно на показании сестры, как более мрачном. Брата-свидетеля, ценимого обвинителем весьма высоко, как и нами, — найдено нужным в данном вопросе обойти.

Вот что говорит сестра: я приехала к брату, служившему у Дубровиных в конторе. Стала рыться в его грязном белье и нашла подозрительные пятна крови. Спросила брата, и он мне объяснил, что дочь хозяйки, вопреки его воле, стала с ним в такие отношения, которые прикрываются браком. Тон показания не в пользу девушки: она-де сама взяла себе брата свидетельницы, не дорожа своей девичьей честью. Такой рассказ летописца в юбке. Прокурор верит ему и отмечает этот факт, как доказательство развращенности подсудимой.

Летописец-брат покойного говорит другое.

Прежде всего, он, как здесь установлено без возражений, был покойному вместо отца. Он воспитал его и содержал его до тех пор, пока тот не встал на свои ноги. Брат покойного, по свидетельству и по объяснению гражданского истца, действующего от имени матери покойного, человек совершенно порядочный. Он содержал всю семью. Истица свидетельствует, в лице своего поверенного, что он прекращал содержание матери только на время брачной жизни покойного Максименко, на которого, как на более состоятельного, была перенесена повинность содержания матери, безропотно исполнявшаяся дотоле братом-свидетелем. Со смертью покойного Антонин Максименко опять заботится о матери.

Так вот этот свидетель-брат и воспитатель покойного говорит нечто другое: «Брат был со мной откровенен, как с отцом. Это была натура честная и прямая. Алчности в нем не было. Вступая в брак с Дубровиной, он тяготился неравносостоянием, — его, простого рабочего, и ее, наслед-



ницы богатого отца. Но брат мой говорил мне, что они друг друга любят, говорил еще нечто, что заставило сказать мне ему: какой тут может быть вопрос. Твой нравственный долг — жениться на ней».

Согласитесь со мной, гг. присяжные, что это не то, что говорила сестра. А верить ему приходится больше. Он здесь произвел впечатление лучшего свойства, чем все другие свидетели-родичи. Он имел право на откровенность брата, и брат в откровенности ему не отказывал. Неестественно, чтобы тайну отношений брат передал сестре с таким цинизмом, если даже что-либо подобное было.

Но главное: надо совершенно не знать человека и девушки, чтобы доверять показанию Елизаветы Максименко. И развратные девушки рождаются чистыми созданиями, и у них до поры потери чести богат запас того целомудрия, которое то стыдом, то страхом, то отвращением спасает их от бездны падения. Потеря стыда — состояние духа, приходящее много спустя после утраты целомудрия. В минуту же гибели чести девушка — всегда жертва, а не хищница. В минуту падения не она, а тот, кто убаюкивает ее страх, кто заговаривает ее стыд, кто искусными стонами возбуждает ее жалость к себе самой, — не она, а он преступен. И это не только по отношению к девушкам порядочного круга, нет, это, кажется, общее правило. Куда бы мы ни спустились, хотя бы в вертеп разврата, и там сумели бы вырвать горькое признание, исповедь падения у несчастной жертвы греха, — мы услышали бы и в сотый раз убедились бы, что у порога гибели девушки стоит не ее, а чужая порочная и развращенная воля.

И сближение Максименко со своей будущей женой не нарушало господствующего правила. Полюбил он, полюбили его. Искренность обоюдных чувств была вне сомнения. Брат и шафера, — друзья жениха, даже сестра его, — все здесь это удостоверили. Жених не дождался брачных дней, и, может быть, боясь за отказ ему, бедняку, со стороны матери, подкараулил минуту, когда было легко усыпить страхи девушки, и овладел ею.

Она отдалась любимому человеку. А любимый человек оказался лучше тех, кому бы только победить да насмеяться над легковой дурочкой. Он пал и уронил, но он умел встать и поднять свою жертву.

Они вступили в брак. Не люб он был теще, холодно встретили весть о браке богатые родные. Были помехи, так

что пришлось играть свадьбу в другом городе и скромно отпраздновать ее в кругу друзей.

Все, кто был на свадьбе, все здесь показали, что жених и невеста любовно шли друг к другу, что ни она, ни он не казались идущими к венцу насильно, нехотя, по необходимости.

За вступлением в брак потянулась успокоенная, пришедшая в норму общая жизнь молодых супругов. Эту жизнь обвинение и гражданский истец также не оставили в покое, но также осветили ее односторонне, также явно несогласно с достовернейшими обстоятельствами дела.

Предполагалось в обвинительном акте, что супруги жили несогласно и что Максименко горько жаловался на свою долю. Но проверка этого предположения опровергла его. Вы здесь слышали, что свидетели, посещавшие дом молодой четы, никогда не встречали и тени несогласия между ними. Они жили, как все хорошие люди живут. «Дай Бог нам так жить», — вот какие отзывы даны здесь. Обвинителю пришлось опровергнуть это дружное единогласие в показаниях замечанием, что свидетели судят по обхождению супругов при чужих. Но *он* на чем строит свое противоположное мнение? За нас — опровергаемые, но не опровергнутые данные, за него — ничего. Мы оказываемся сильнее.

Но за нас, кроме свидетелей, говорят и документы. А мало этого, то за нас свидетельствует и самый компетентный свидетель — сам покойный. У нас есть две серии писем — от жены к мужу и наоборот. Первые подвергались сомнению со стороны обвинения во время следствия, но во время прений эта точка зрения была оставлена.

Вы помните эти письма молодой женщины к своему мужу. Так может писать только любящая и привязанная жена к дорогому человеку. Легко и свободно, перебегая от предмета к предмету, болтает жена мужу о всех интересах дома. Серьезное денежное поручение, об исполнении которого жена отчитывается мужу, сменяется сообщением о скукающей собачонке. Поклоны чужих перерываются собственными ласками и зовом к свиданию. Нелюбящая и тяготящаяся постылым браком жена так не могла бы писать.

Но обвинение и тут ищет опоры для мрачных предположений о нравственных недостатках подсудимой. Оно указывало на следствии на одну вам памятную фразу, повторенную в нескольких письмах. Эта фраза почти нецензурна. Мы все ее поняли, понял и обвинитель, но почему-то поже-

лал от подсудимой объяснения фразы. Она не дала этого объяснения, найдя спасение своей естественной стыдливости в законе молчания.

О чем свидетельствует эта вольность языка, допущенная молодой женщиной? Не о разврате и распущенности. Ведь она пишет не любовнику, не «альфонсу», не мимолетному знакомому. Она пишет мужу. Неужели же и с мужем нельзя позволить себе чересчур игривой фразы, нельзя и с ним увлечься чувственными ласками? Нет и нет.

Ни природа, ни закон не обрекают женщины на аскетизм. Целомудрие запрещает женщине расточать эти ласки пред чужим, требует скромности слова с чужими, но и увлечение и вольность в тайнике, доступном только супругам, не осуждается. Ведь письма эти не предназначались для света, они были такой же тайной, так же бежали от чужого уха и глаза, как бегут от них забавы и нежности супружеского ложа. А эти ласки, а эти нежности настолько дозволительны, что даже великий проповедник учения Христова не запрещает супругам-христианам радостей их положения.

Живя дружно и привязываясь друг к другу, молодые не делили своих средств на мое и твое. Родные дяди показали нам, что в этом отношении не было никаких пререканий между супругами, которые бы затрудняли счета с ними в конторе. Муж управлял делом, имея доверенность жены, ни разу не уничтоженную женой, что имело бы место, если бы супруги ссорились, особенно на почве материальных вопросов. Брат покойного, Антонин, бывший попечителем подсудимой, свидетельствует то же самое. Мало того, он нам дал показание, восполняющее собой факт, удостоверенный представленным мною договором, по которому жена все свое состояние в торговом доме бесповоротно уступила своему мужу.

Вы знаете и помните это обстоятельство. Молодая Максименко почувствовала себя матерью. Первые роды страшны. Мысль о смерти носилась перед ней. Но она еще молода и не может распорядиться своим состоянием на случай смерти, в форме завещания. Если ее не будет, то имущество пойдет к матери и дядям. Если бы она не любила мужа, то ей это было бы все равно; да и не думала бы она о других, когда страх за свой тяжелый, для многих женщин смертный, час овладевал всем существом роженицы. Но она любила мужа, и мысль о нем стояла рядом с мыслями о себе. И вот она, не принуждаемая, сама, думая о муже, передает

ему, не на случай смерти, а бесповоротно, свое право в торговле в его собственность.

Что это делается не под влиянием других, — это сказывается в ее последующем поведении: она не выдает этой сделки никому, знают про нее только муж, жена да его брат. Что это не была сделка принуждения, а акт сердечности, это видно из следующих отношений: получив эту сделку, покойный ни единым поступком не переменял своих отношений к жене и ее состоянию. Никто ни единым словом не указал на какую-либо меру, принятую мужем, чтобы лишить жену средств к жизни: на бескорыстие жены муж вторил взаимным бескорытием. Слова Антонина Максименко о бескорыстии брата и о сердечных мотивах, побудивших супругов совершить нотариальное условие об уступке женой мужу своего состояния, подтверждаются силой самих событий после совершения условия.

Чувствуя, что на этом пункте обвинение не устоит, прокурор и гражданский истец высказывают соображение такого рода: нотариальное условие было скрыто после смерти Максименко — значит, жена не желала вовсе добровольно расстаться со своим добром.

Но брат покойного был попечителем подсудимой, когда она подписывала условие, значит, существование условия не могло быть скрыто. Условие это — не договор о займе, с потерей которого взыскатель лишается средств доказать долг, условие это — передача имущества в собственность, а подобные условия, раз они совершены, не теряют силы с утратой акта. Потеря купчей не ведет к потере права собственности, и копия, выданная нотариусом, пополняет пробел утраты.

Но я уклонился в сторону. Вернемся еще к периоду брачной жизни. Я забыл напомнить вам о факте, победоносно доказывающем, что для подсудимой ее муж был самым дорогим человеком.

Мать ее, женщина, как мы уже знаем, грубоватая и неразвитая, была сварлива. Те жалобы, которые иногда слышал от покойного его брат, касались все — помните его свидетельство — отношения к теще. Она любила попрекнуть зятя куском хлеба.

И вот, выведенный из терпения, Максименко уходит в гостиницу из дому.

Что же жена? Остается с матерью, отделившись от бедняка-мужа? Нет, она уходит к нему в гостиницу делить с

ним его судьбу. Это горячее, открытое предпочтение мужа матери смирило последнюю, и она сама пошла просить зятя вернуться в дом.

Но у обвинителя есть еще один факт, которому придается выдающееся значение в оценке нравственной стороны подсудимой. Выдвинуто показание Левитского, первого набросившего на подсудимую черную тень. Левитский показывал здесь, что подсудимая обманывала мужа и вела на его глазах грязную интригу с полицейским офицером Панфиловым.

Свидетель этот необыкновенно счастлив в деле накопления опорочивающих подсудимую фактов. Знакомит, видите ли вы, Панфилова с Максименко он сам, желая добыть первому куму, крестную мать для имеющего родиться у Панфилова ребенка. Максименко крестит. Панфилов делается другом дома и, незамеченный пока еще никем в дурных намерениях по отношению к своей куме, в один из первых визитов, когда был дома и Максименко, в присутствии мужа и свидетеля, позволил себе выходку крайне неприличную, — поднял ногой подол платья подсудимой, но поднял так, что все это было видно свидетелю и ничего не видно мужу, так что тот ничего и не заметил.

Не замечает никто ничего особенного в отношениях Панфилова, а стоило раз свидетелю отворить дверь в свою квартиру, и он опять натывается на соблазнительную сцену: подсудимая в чужом доме, в доме свидетеля, сидит с обнаженной грудью, а рядом с ней злополучный любовник Панфилов.

Вслед за этим тот же Панфилов приходит к свидетелю и без всякой надобности предъявляет ему золотые кольца, в которых свидетель узнает кольца подсудимой, очевидно подаренные ею любовнику.

Никто не сказал здесь, чтобы покойный Максименко унижался до побоев жены своей. Брат Антонин не допускает этого. Он никогда от брата не слышал жалоб на неверность жены. Левитскому везет и в этом отношении: ему расточает жалобы покойный на жену, при нем идет потасовка — муж учит жену уму-разуму.

Правда, не все то, что рассказывал здесь Левитский, сказано им и на предварительном следствии. Но никто, кроме него, не давал такого оригинального объяснения причин противоречия. Обыкновенно свидетель или забыл, что говорено прежде, если прежде, по напоминании, ему

кажется вероятнее позднего показания; или свидетель настаивает на позднем показании, утверждая, что следовательно его не понял, и он подписал неверно воспроизведенное показание. Но у Левитского — все особенное: он писал показание собственноручно, и, видите ли, оно, по его словам, оттого и неверно, что он сам писал его.

Приняв во внимание, что он — свояк потерпевшему, а главное, что он уж очень счастлив в умении появляться на место свидетельствуемых событий, я не могу его признать столь же достоверным, сколь он счастлив. Уж эти счастливые свидетели! Отворят двери, — видят сцену неверности жены, уронят перчатку и нагнутся поднять ее, — и в то же время в щелку замка заметят повод к разводу со стороны мужа. В консисторских производствах эти счастливицы давно известны и составляют большое место бракоразводного процесса. Не думаю, чтобы они упрочились на суде состязательном.

Устранив это показание, мы о всей панфиловской истории имеем от Антонина Максименко только одно, конечно, верное сведение. Брат ему ничего подобного сказанному Левитским не передавал, а жаловался на Панфилова, что он ведет себя неприлично (Панфилов пил) и спрашивал Антонина: может ли он выгнать его из дома, если не хочет принимать.

Итак, до 1888 года, вопреки мнению обвинения, жизнь супругов Максименко не только не хуже жизни обычного, средней руки и среднего счастья семейства, но дает нам достаточный запас данных утверждать, что взаимная привязанность у них все крепла, что не было никаких причин для размолвки, что не было ни резких уклонений от супружеского долга у жены, не было никаких черт в характере мужа, обещавших в будущем строгого и деспотичного домовладыку.

А вы забыли, скажут мне, что в одном из писем подсудимой, вами здесь принятом как доказательство, есть указание на то, что супруг стеснял жену, не позволяя ей распорядиться покупкой башмаков и платья, так что она выпрашивает у него позволение купить себе то и другое, указывая, что иначе ей не в чем ходить.

Такое указание в письме есть. Оно писано перед праздником Пасхи, когда муж замешкался приездом домой. В связи с теми показаниями, какие давали здесь родные подсудимой о том, что она ни в чем недостатка не терпела, что

касса торгового дома не была замкнута для вдовы и ее дочери, что Максименко не запрещал выдавать доходы своей жене и не заявлял на них своего права, а равно в связи с показаниями родни покойного, что он не был ни тираном ни алчным, а скорее тяготился тещей и был уступчив, я считаю себя вправе истолковать это место в письме согласно с общим тоном жизни супругов.

Жена ждет мужа к празднику, а муж говорит ей, чтобы подождала его покупать праздничные обновы, — ведь так приятно вместе встречать праздник и готовиться к нему вместе, начиная с покупки обнов. И вот жена ждет. Но праздник близко, а обнов еще нет. Бойтся молодая женщина остаться без новенького платья и, быть может, без новых дорогих башмаков, которые так красят маленькую ножку, и просит мужа либо приехать скорее, либо позволить ей уж самой заняться своими нарядами. Всякое иное толкование этого письма шло бы вразрез с прочими данными процесса. Тирания мужа, доходившая до того, что его богатая жена сидит разутая и раздетая, требовала бы проявления наружу его характера в более существенных фактах их экономических отношений. А мы уже знаем от свидетелей, даже вызванных обвинением, совсем другое. Остается этих свидетелей вычеркнуть. Но тогда что же у обвинения останется?..

Теперь мы переходим ближе к трагическому месту процесса. Появляется Резников. Краски сгущаются. Факты делаются уже чрезвычайно важными, потому что их приходится относить к призванным дать ответ обвинению подсудимым. Противоположные объяснения здесь уже имеют другой характер: ослабляя подозрение против одного, они усиливают его против другого. Но если где-либо мои соображения, высказанные в интересах подсудимой, будут вредны для другого и, вопреки моему желанию, будут неверны, заступник за второго подсудимого, да и вы сами исправите их.

Смею надеяться, однако, что, вступив в область самых опасных фактов и улик, я успел доказать вам, что до этого момента прошедшее Александры Максименко не навлекает на себя подозрения, что в этом прошлом нет поводов к ненависти, к страданию, к страстному желанию, хотя бы ценной преступлению, выйти на волю, что прошлое рисует нам ее мужа таким человеком, около которого живет легко, по крайней мере сносно.

Отсюда: обвинение обязано в этом периоде, к которому

мы подходим, найти мотивы к убийству Максименко; эти мотивы, если оно хочет обвинять обоих, распределить между ними; здесь найти улики, подкрепляющие мотивы, и затем доказать, что мотивы эти общие, что цели — одни и что им соответствуют общие и согласные действия подсудимых.

Мне же представляется, что этих условий основательно, требуемого законом, обвинения в деле нет.

Появляется в доме молодой четы Резников. Вы его сами видите. Это человек, которому нет еще и 20 лет, шустрый и юркий. По-видимому, в нем течет та кровь, с которой у нас сложилось предположение о ловкости, услужливости, умении сделаться необходимым в доме, где ему отворили двери. Введен он в дом самим покойным. Благодарный по природе, чем-то обязанный в годы нужды отцу Резникова, Николай Максименко отплатил отцу тем, что пристроил сына в конторе своего пароходства, а затем познакомил его и со своей женой. Через сына Резникова с подсудимой подружилась вся семья, которая стала бывать у Максименко. В минуту смерти жертвы рассматриваемого преступления, в доме его, кроме родни, мы видим именно Резниковых.

Резников для дома средней руки — интересный знакомый. Он занимателен, он заметно культурнее той среды, какая обыкновенно бывала у Дубровиных. Это не образованный человек, не развитый в лучшем смысле слова, но он вкусил, по крайней мере, внешних благ цивилизации. Я называю этих людей людьми уличной культуры, т. е. нахватавшимися тех сведений и усвоившими те приемы и условия культуры, которые, как общепотребительные слова иностранного модного языка, чаще других раздавались в разговоре, делаются достоянием и тех, кто не знает вовсе этого языка.

Он, повторяю, принят в доме, он сумел понравиться и жене и даже ее неживчивой матери...

Как далеко зашли его успехи относительно подсудимой, следствие не дало неопровержимых доказательств ни в пользу предположения прокурора, ни в пользу основательного опровержения его мнения.

Предположение, выходящее из показания Португалова о болезни Резникова и одновременной болезни подсудимой Максименко, набрасывает тень на последнюю; но оно находит себе противопоказание в истории с боченком, когда молодая женщина могла надорваться и получить здесь на-



званную болезнь. Правда, эту болезнь Португалов назвал заразной; но ошибки вообще в диагнозе возможны, а в таких болях, как женские немочи известного сорта, ошибки далеко не редкость.

Но я готов допустить и здесь уступку прокурору. Я готов думать, что Резников увлек Максименко, увлек до падения. Но тогда, раз увлечение имело место, раз женщина пожертвовала долгом, не стесняясь именем жены, — тогда удовлетворенная страсть, резких проявлений которой следствие не констатировало, равно как не удостоверило, чтобы покойный муж серьезно тревожился этим увлечением и противопоставлял ему сильные препятствия, — тогда, говорю, не раздраженная препятствиями страсть не давала, сама по себе, достаточного повода для такой развязки, какую предполагает обвинение.

В руках обвинения есть довод, направленный против Резникова. Для него интересно было быть возлюбленным богатой хозяйки. Но положение слуги-друга опасно. Узнает и прогонит муж, да и сама хозяйка, охладев, не задумается расстаться с предметом своей слабости. Нет, уж если судьба помогла сделаться любовником, то отчего не попытаться упрочить место, сделавшись хозяином своей хозяйки, благо случай дает возможность скрыть следы преступления исходом болезни, начинающей, к несчастью, проходить.

Но этот довод, раз на него обращено внимание, разделяет, а не соединяет подсудимых. Что интересно одному, то прямо не входит в расчеты другого...

Не могу не отметить еще одного обстоятельства, — что к периоду предполагаемого романа относятся свидетельские показания, письма супругов, доказывающие, что никакой резкой размолвки между ними не было, что жизнь их не была невозможной и что к этому времени относятся показания врача Португалова о резких отзывах о покойном Максименко со стороны одного Резникова.

Для единства цели, для зарождения одной и той же преступной мысли, для союза двух злобно настроенных волей надо доказать наличие непреодолимых иным путем препятствий на дороге этих двух лиц, надо доказать, что страсть, неудовлетворенная страсть, или обоюдно разделяемая ненависть к покойному одушевляла обоих предполагаемых преступников и объединяла их в одно демоническое лицо, — но этого-то и не доказано.

Чтобы восполнить это требование, обвинению прихо-

дится жертвовать цельностью плана своих соображений, приходится, вместо задуманного характера «развращенной природы», перепридумать подсудимую в строгую женщину, которая пала, но желает подняться до порядочной, для чего и задумано ею преступление: отравление первого мужа, чтобы открыть дорогу для второго.

Второе препятствие на обвинительном пути — условие, по которому жена уступила все свои права в торговом доме мужу, условие, в силу которого не перестает верить наследник покойного, Антонин Максименко, здесь отбрасывается таким образом: оно-де спорно, и, кроме того, его похитили в момент смерти, рассчитывая на то, что таким образом все права покойного утратились.

Но, как я уже говорил, условие о передаче прав собственности на вещь, раз оно совершено гласно, и время, место и содержание сделки известны заинтересованным лицам, не уничтожается с потерей акта: это не долговой документ, где с потерей его уничтожается доказательство сделки и на ней основанного права.

Условие отрезало дорогу покойной от ее имущества. Если бы ее тяготило супружество и тяготило между прочим и материальной зависимостью от мужа, то она попыталась бы какими-нибудь средствами, лаской и просьбами, во время болезни уговорить мужа быть таким же заботливым о ней, как была заботлива она о нем, когда боялась смерти от родов. Но мы знаем, что никакой подобной просьбы не было, ибо, делая все, что от нее зависит, для здоровья мужа, она не ожидала не только его намеченной, но даже и естественной смерти от болезни.

В ином положении к этой улике стоит Резников. Условие о передаче прав было заключено женой с мужем без особой огласки: ни мать, ни дядя не знали о нем — его не оглашали. Знали участники да то лицо, которому перейдет наследство после смерти покойного, — его брат. Значит, жена укрыть его не могла. Но существование его неизвестно было Резникову. Будь жена с ним в союзе преступления, совершай они вместе задуманное зло, расчетливые инстинкты Резникова оставили бы след в мерах к обеспечению утраченного имущества...

Отметив различие целей подсудимых до наступления злополучного дня смерти и начала последней болезни покойного, я перехожу к последнему моменту дела.

Максименко заболевает тифом в г. Калаче, где с ним его

жена. Она там уже несколько месяцев и ни по ком не скучает, никуда из Калача не едет. В Калач она уехала вскоре после мужа, как это, кажется, бесповоротно установлено здесь, вопреки неясным показаниям сторожа и г-жи Дмитриевой, разошедшихся с прислугой и родней, которым эти события домашней жизни лучше известны.

Если бы жена тяготилась мужем, если бы смерть была желанной мечтой ее, то к чему было ей тревожиться о состоянии его здоровья и везти его в Ростов, где медицинский персонал надежен и многочислен и где каждая минута жизни больного будет проходить на глазах родни и его и ее?

Но она, едва заболел муж, как и следует жене, посылает за врачом в ближайший город Царицын, где медики опычнее медиков Калача, по совету врачебному везет больного в Ростов, везет, не боясь быть с заразным больным в одной каюте, спеша с ним, чтобы скорей воспользоваться надежной медицинской помощью не на своих тихоходах, а на первом пассажирском пароходе.

В Ростове она немедленно посылает за Португаловым и по совету близких проверяет его лечение консультацией врача Лешкевича.

В то время, как раздраженный Португалов, бросая взор назад, но взор, уже отуманенный обидой, осуждает ее холодность к больному и безучастность, врач Лешкевич, спокойный наблюдатель происходившего, говорит, что ничего бросающегося в глаза не было, и жена вела себя, как жена. А родные и посетители больного говорят, что она ухаживала за ним, как и следует.

Я допускаю, что и Португалов имел данные к своему слову. Но он забывает, что больной был болен тифом, болезнью заразной, по общему мнению. Отчего же не допустить, что боязнь иногда заставляла жену отходить от постели больного, чтобы подышать свежим воздухом?

Вопрос жены к врачу: «Умрет мой муж?», так не пришедшийся по душе Португалову, — вопрос естественный. Важен тон, которым он сказан. Простая, по стилистике не обработанная речь простой женщины в вопросе с подобной расстановкой могла включить самую тревожную тоску об исходе болезни.

Итак, предшествующие дню смерти обстоятельства не дают разгадки вопроса, кто убил покойного. Приходится обратиться ко дню преступления и к последующим дням, когда содеянное зло должно было вызывать известное поведение и образ действий виновников.

Во весь день смерти Максименко, когда мать подсудимой, не любившая зятя, своим счастливым «алиби» отклонила от себя подозрение, когда так тщательно доказано членами семьи Резникова, что и он значительную часть дня пробыл дома, хотя не опровергнуто, что, однако, он несколько раз приходил к больному и был с ним во время припадков болезни, — жена не отходила от больного и не устраивала себе преднамеренных доказательств физической невозможности для нее быть виновницей смерти мужа. Она не отрицает, что она носила ему последний стакан, когда, вернувшись от Дмитриевых, он попросил дать себе чаю. Этот стакан для обвинителя — самая сильная улика.

Но не говоря уже о том, что по данным экспертизы количество мышьяку, обнаруженного в трупе, требовало большего количества выпитой жидкости, а по данным обвинения жена вынесла едва отпитый стакан сейчас же и назад, не говоря о том, что свидетели, сидевшие за самоваром, Марья Васильева и Большакова, утверждают, что стакан был вынесен совсем не отпитый или чуть отпитый, — я обращаю ваше внимание на то, что стакан был вынесен и поставлен на тот же стол, перед теми же людьми, при чем подсудимая сама вскоре ушла назад к больному, а стакан уже прислугой был вылит в полоскательную чашку.

Я прошу вас сообразить: стала бы отравительница, поднеся отраву мужу, ставить стакан с тем же отравленным чаем на стол, где его могли нечаянно выпить, благо чай был внакладку, и нечаянная отравка выдала бы преступницу?

Спокойствие, с которым жена носила чай и возвратилась, указывает, что в чае или посуде отравы не было, или подсудимая не знала о ней, а отравка была дана чьей-либо посторонней рукой, быть может побывавшей тут же в доме или и в эту минуту тут находившейся.

Вечером больной почувствовал боли. У постели был Резников. Чужих никого. Дмитриевы ничего не знают. Португалов, сочтя больного выздоровевшим, к ним не придет. Чего бы лучше, если жена знает, что ею дано мужу, а Резников — ее сообщник, молчать и не вызывать врача; но жена требует врача, и Резников не может отклонить ее от желания, а должен ехать за Португаловым.

Лекарства прописаны. Но, по замечанию Португалова, касторовое масло не развязано, а микстура едва тронута. Обвинение говорит, что это — улика против жены, доказательство ее нежелания спасти мужа.

Но ведь если она отравила, а лекарство, как и доктор, ею выписано лишь для отвода подозрения, то что мешало ей давать лекарство, — ведь это было не противоядие, а бесполезное против яда средство?

Доктор Португалов ставит в вину жене, что она в эту ночь легла отдохнуть, когда муж умирал. Обвинение подчеркивает эту же улику.

Но они забывают, что, не зная об отраве, а зная, что утром врач считал больного уже выздоровевшим, жена могла временные боли считать за преходящий припадок и позволить себе отдохнуть после многонедельного ухода за больным, надорвавшего силы.

Наоборот, если бы подсудимая знала, что происходит с мужем, она, полная тревоги за исход своего зла и просто по закону потревоженной совести, не провела бы ночи спокойно.

Максименко скончался. Португалов требует вскрытия. Нежелание жены уродовать труп вообще естественно. Это нежелание стало бы подозрительно, если бы от нее исходили средства обойти вскрытие и приемы, подрывающие веру в достоинство врача, потребовавшего вскрытия. Но мы знаем, что это выдумка не ее сочинительства.

Покойного хоронят. Опять только Португалову и Дмитриевым кажется, что вдова слишком равнодушна к убитому. Но все родные, даже знакомые, этого не говорят, а свидетельствуют противное. Она плакала дома, и ее уводили в комнату; она была подавлена горем у гроба. А когда мы спросили жену одного из ее дядей, Дубровину, о том же, то она нам дала глубоко поучительный пример практической справедливости, который не лишне бы помнить свидетелям Португалову и Дмитриевым: «Вдова стояла у гроба, как прилично всем в ее положении, а глубока ли или неглубока была ее печаль, свидетельствовать не берусь, — ведь не в моем это было сердце».

Из послепохоронных данных отмечено здесь, что вдова в первые же дни уходила ночевать к Резниковым. Но забыли одно, что в доме Резникова в пяти комнатах жило семь человек, и у предполагаемого сотрудника по преступлению не было особой комнаты, а подсудимая ночевала с сестрой его. Причина же ухода так проста: в доме Максименко не было ни одного мужчины, одни трусливые старухи. Бояться остаться в доме, где был покойник, так естественно. Обычное явление, что для успокоения оставшихся в живых их уводят к знакомым.

Впрочем, я не отрицаю, что семья Резникова, видимо, ухаживала за вдовой и при жизни, и по смерти ее мужа. Но это не улика против нее.

Подсудимую видели вскоре, около шести недель спустя по смерти мужа, в театре, вместе с Резниковыми и с ее матерью.

Это, конечно, очень скоро. Но не будем требовать от жизни лицемерия. Простая среда и не знает его. Тогда как в высших слоях общества приличие налагает оковы далее внутреннего побуждения, но зато и превращает эти оковы в простые символы скорби, вроде флера и крепа, да платьев установленного цвета, что не мешает слишком скоро и повеселиться, и потанцевать, пожалуй, с знаменитым ограничением: «танцуем мы, но только с фортепьяно», — простая жизнь делает иначе: она плачет, пока плачется, и, когда пройдут дни плача, живо входит в колею обычных забот и радостей. Едва ли это неприлично. В простой жизни так мало действительных радостей, так много невзгод, что прибавлять к последним еще искусственные, право, не следует.

Слухи о сговоре в сороковой день опровергнуты, а знаменитое объяснение Резникова с Антонином Максименко о намерении его вступить в брак с вдовой — факт многоговорящий, но не по адресу подсудимой.

Во время следствия, сидя в остроге, Максименко хлопотала, вопреки мнению следователя, о вторичном вскрытии, которое решительно установило отравление. Если бы она отравила, то стала ли бы она добиваться доказательства против себя. Прокурор признал, что это факт.

Больше в деле нет ничего. Обвинителю приходится иметь счет с этими данными. Мне кажется, что они не дают ему логического и юридического основания привлекать обоих подсудимых вместе.

Обвинение ошиблось в пользовании одним бесспорно умным правилом практической юриспруденции. Оно гласит, что при исследовании какого-либо преступления самое вероятное направление для следователя — в сторону заинтересованных в преступлении.

Да, это так; но если предполагается несколько заинтересованных, то, прежде чем остановиться на всех, надо выяснить природу преступления: таково ли оно по данной форме совершения, что требует участия нескольких воли и сил. Если у меня в дому дурная прислуга и у меня в одну ночь пропало, «дверям затворенным», такая масса вещей, что од-

ному или двоим не успеть сделать этого, я основательно заподозреваю массу служащих; но если у меня пропал со стола бумажник, при доступности кабинета всей прислуге, то необходимость совместного участия в преступлении нескольких лиц не требуется. Только положительные данные могут заставить власть привлечь группу, без них же природа содеянного зла не оправдывает общего подозрения.

В нашем деле та же история. Отравка — действие, не требующее участия многих сил. Здесь всего нужнее момент и тайна. Поэтому для привлечения двух лиц нужна достаточная причина к подобному предположению.

Но вы знаете, что и здесь, и в обвинительном акте распределение ролей в преступлении не указано, даже названо это распределение безразличным или неважным. И здесь упоминалось, что яд дан либо в чае либо в сельтерской.

Но если первое, то к чему сюда позвали Резникова? Тогда надо обвинять только мою клиентку, а для Резникова, отсутствовавшего в момент отравления, искать иной формы пособничества.

Если в чае яда дать не могла подсудимая, если и вас, как и меня, открытый образ действий ее во время подачи чая мужу и отсутствие цели отделаться от мужа, человека не злого и не тирана, и, наоборот, невыгодность подобного действия, которое разоряет ее, передавая ее состояние в чужие руки, — если все это и вас располагает не доверять выводам, сделанным из недостаточных данных, то нет места ее содействию, и нет надобности иному лицу в сотоварище, далеко не представляющем из себя умного и надежного сообщника, каковой она была и по летам и по развитию.

Где же тогда виновник и кто он? Неужели же отпустить привлеченных, не указав достойную для правосудия жертву? Не разразятся ли тогда на вас и на нас люди, подрывающие способность вашу служить делу правосудия? Что скажут о вас?

Не дело защиты указывать виновника, — ее дело отстаивать того, чья вина не доказана или опровергнута. Принцип нашего образа действий всего лучше определится указанием на сходный, но слишком яркий пример.

Во времена давно прошедшие, когда столпы церкви громче заявляли свои мысли по делам общественным, жил в Египте святой Макарий, глубоко веровавший, что небесное правосудие не может быть равнодушно к ходу земного.

На его глазах осудили невинного.

Нося в душе ту веру, что двигает горы, он в присутствии судей спросил могилу убитого. И слышали, — говорит христианская повесть, — голос из могилы, свидетельствующий в пользу невинности обвиненного.

Когда же заинтересованные просили Макария спросить могилу о том, кто убийца, святой ответил просителям: «довлеет бо ми неповинного от напасти избавити, несть же мое повинного предавати суду»...

Правосудие — вовсе не путь, которым, как жребием, выделяется из общества жертва возмездия за совершившийся грех, очищение лежащего на обществе подозрения.

Правосудие наших дней есть всестороннее изыскание действительного виновника, как единственного лица, подлежащего заслуженной казни. Вы являетесь в этой работе лицами, содействующими от общества законной власти, поставленной на страх злодеям, на защиту неповинных. Являясь сюда, вы несете не беспринципную власть народную карать или миловать, — страшно было бы жить там, где суды по произволу убивали бы неповинных и провозглашали бы дозволенность и безнаказанность злодеяний, самих в себе.

Только в этом случае были бы правы ваши порицатели.

Но если вы принесли сюда здоровое понимание вашего положения, положения людей, исполняющих повинность государству, тогда не опасайтесь ничего, кроме неправды, в вашем приговоре.

Если вы будете требовательны к доказательствам обвинения, если трусливость перед тем, что скажут о вас, не заставит вас унизиться до устранения рассудительности в вашем решении, — вы только исполните вашу миссию.

Державному законодателю, как отцу, дороги интересы своих подданных и чтобы напрасно не погиб человек жертвой ограниченности всякого человеческого дела, Он, вручая органам своей воли суд и преследование, требует от них проверки своих взглядов, прежде чем дать им перейти в грозную действительность карающего правосудия.

И вот, в глубоко гуманной заботе о неприкосновенности человеческой личности, прежде чем слово обвинения перейдет в слово осуждения, перед вами предстательствуем мы, предстательствуем не напрасно и не вопреки интересам закона, а во имя его. Если обвинение есть дело высокой государственной важности, то защита есть исполнение божественного требования, предъявляемого к человеческим учреждениям.



Но и этим не ограничивается забота законодателя о чистоте и достоинстве судебного приговора.

Чтобы органы власти не впадали в невольные ошибки, тяжело отражающиеся на участи личностей, привлеченных к суду, им предписано проверять их окончательные выводы путем, исключаящим ошибки в сторону осуждения невинного почти до невозможности противного.

На суд призываетесь вы, люди жизни, не заинтересованные в деле иными интересами, кроме интересов общечеловеческой правды, и вас спрашивают о том, производит ли общая сумма судебного материала на вас то же впечатление, какое произвела на органы власти. Если да, то власть успокаивается на том, что ею сделано все, и выводы ее суть те же, какие сами напрашиваются на ум всякого честного человека; если нет, — то власть считает, что сомнение существует, и не решается дать ход карающему приговору.

Останьтесь верны этому призванию вашему: не умаляйте силы улик, но и не преувеличивайте их, — вот о чем я вас прошу. Не преувеличивайте силу человеческих способностей в изыскании разгадки, если таинственные условия дела не поддаются спокойной и ясной оценке, но оставляют сомнения, неустранимые никакими выкладками. Тогда, как бы ни не понравилось ваше решение тем большим умам, которые ищут всякого случая похулить вашу работу, вы скажете нам, что вина подсудимой не доказана.

Если вы спросите меня: убежден ли я в ее невинности, я не скажу: да, убежден. Я лгать не хочу.

Но я не убежден и в ее виновности. Тайны своей она не поверила, ибо иначе, поверь она нам ее и будь эта тайна ужасна, как бы ни замалчивали мы ее, она прорвалась бы, вопреки нашей воле, если бы мы и подавили в себе основные требования природы и долга.

Я и не говорю о вине или невинности; я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела.

Не наша и не обвинителя это вина. Не все доступно человеческим усилиям.

Но если нет средств успокоиться на каком-либо ответе, успокоиться так, чтобы никогда серьезное и основательное сомнение не тревожило вашей судейской совести, то, и по началам закона, и по требованию высшей справедливости, вы не должны осуждать привлеченную или обоих, если все сказанное равно относится и к нему.

Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения должны решаться в пользу жизни.

Таково веление закона и такова моя просьба.

## ДЕЛО БРАТЬЕВ БАБАНИНЫХ,

*обвиняемых в покушении на убийство  
и оскорблении мирового посредника  
и других должностных лиц*

*Дело это слушалось в заседании Полтавского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 9 ноября 1872 г., а события, давшие место процессу, происходили в 1862 и следующих годах. Тогда еще не было главного суда в Полтавской губернии, а следовательно, не было и института следователей по Уставам 20 ноября 1864 г. Действия, соответствующие предварительному следствию, производились чинами полиции и следственными комиссиями с явной тенденцией к формальной теории улик и с полным отсутствием представления о гласности, о допросе свидетелей на суд, об образовании судейского убеждения «по совести», о решении вопроса, о вине или невиновности общественной силой, — присяжными, призванными законом на служение правосудию<sup>1</sup>.*

Председательствовал Товарищ Председателя Барщ, обвинял Товарищ Прокурора Маджевский, защищал Ф. Н. Плевако.

Судность определения Харьковской Судебной Палаты от 7 января 1871 г., заменившего обвинительный акт, сводится к ряду следующих событий, совершение которых на протяжении нескольких лет приписывалось обвиняемым.

18 ноября 1862 г. братья Александр, Егор и Степан Бабанины избили в доме их соседа Н. Заньковского мирового посредника Григория Павловича Сулиму вследствие давних споров между ним и Бабаниными на почве разрешения Сулимою различных дел Бабаниных с крестьянами.

22 февраля 1863 г. вся семья Бабаниных, кроме Егора

---

<sup>1</sup> Набранные курсивом слова представляют собою собственноручную заметку, написанную Федором Никифоровичем на полях большой, в лист писчей бумаги, объемистой тетради, сохранившейся в его делах и представляющей собой подробное изложение судебного следствия по делу Бабаниных. — *Ред.*

Степановича Бабанина, а именно Александр, Степан Степановичи, отец их Степан Егорович, мать Юлия Александровна и сестры Надежда и Мария Бабанины изругали и выгнали из дому целую комиссию, приехавшую по поручению Полтавского губернатора для освидетельствования больного крестьянина Кирилла Диканя.

30 сентября 1865 г. Егор и Александр Бабанины выгнали из своего дома приехавшего к ним в село Черняковку по делам службы станowego пристава.

9 ноября 1865 г. поручик Александр Бабанин, встретясь на дороге с тем же приставом, оскорбил его непристойными словами.

12 апреля 1868 г. Егор Степанович Бабанин нанес оскорбление бранью смотрителю Федоровской почтовой станции.

Кроме всего этого, при производстве расследований по этим преступлениям, Бабанины подавали в разные места и разным лицам отзывы и прошения, в которых оскорбляли должностных лиц.

Дознание, заменившее предварительное следствие, величины полиции и так называемые следственные комиссии.

Все эти преступления дознанием были подтверждены, и в качестве обвиняемых была привлечена вся семья Бабаниных в числе семи человек. Однако Полтавскому Окружному Суду 9 ноября 1872 г. пришлось рассматривать действия только двух братьев — Александра и Степана Бабаниных, так как остальные члены семьи Бабаниных частью оказались за границей, частью же не были разысканы.

Ввиду того, что между временем совершения преступления и разбором дела прошло около десяти лет, большинство свидетелей отзывалось на суде запямятованием. Но путем оглашения тех показаний, которые были сняты со свидетелей при дознании, и сопоставления их с показаниями, данными на судебном следствии, картина инкриминированных подсудимым событий на суде значительно видоизменилась в пользу подсудимых.

Присяжные заседатели вынесли обоим подсудимым по всем пунктам обвинения оправдательный вердикт.

### Речь в защиту Бабаниных

Обвинитель несколько смело утверждает, что единственно правильным приговором, какой могут вынести изучившие этот процесс лица, должен быть приговор обвини-

тельный. Пока здесь есть один человек, который, изучив это дело, мнения прокурора не разделяет: этот человек — защитник подсудимых, т. е. я. Надеюсь, что через несколько часов к разделяемому мной мнению присоединятся многие, кто действительно глубоко вникнет в это дело.

Последние слова обвинения изобличили слабость почвы, на которой оно стоит. Прокурор вместо данных, которыми бы следовало убедить вас, что вот эти два брата Бабанины виноваты в том-то и в этом-то, начал доказывать общественное значение этого дела, начал утверждать, что общество ждет кары нарушителям закона, постоянно, во всю жизнь сопротивлявшимся деятельности слуг его.

Думаю, что это не так; думаю, что обществу и мыслящему человеку настоящее дело может внушить совсем иные соображения. В голове возникают вопросы: неужели могут пользоваться значением судебных доказательств сведения, собранные комиссией, добытые путем, который здесь разоблачился? Неужели для суждения по совести — все равно, какие должностные лица и как были оскорблены? Неужели довольно чиновнику сказать, что его оскорбили, как чиновника, чтобы подсудимый не смел представить доказательств, что чиновничьего достоинства не оскорблялось? Неужели довольно быть чиновником, чтобы предполагаться непогрешимым, и чтобы подсудимому нельзя уже было доказать, что под формою отправления обязанностей службы некоторые лица совершали деяния, противные всем велениям, исходящим от небесного и земного законодателя? Рождается вопрос: неужели и на гласном суде, где ищется единая цель правосудия — правда, может состояться обвинение, когда материалы, из которых оно должно строиться, так нехороши, так сомнительны, так нечисты, если взглянуть хорошенько и рассмотреть их поспокойнее?

Приступим же к делу и сначала займемся теми обвинениями, на которые обращает внимание прокурор; потом, в конце, скажем и о том, которое прокурор оставил. Вас спросят и о нем, потому что оно написано в обвинительном акте. Закон велит спросить вас обо всем, что в вину подсудимым там написано.

Однако то, что есть в обвинительном акте, еще от этого не должно считаться достоверным. Если бы акты были безусловно верны, то тогда незачем было бы здесь переспрашивать свидетелей: прописать, какое по закону следует, внушение — и все кончено. Но законодатель и верховный

суд, т. е. сенат, объясняют, что обвинительный акт есть одно предположение, на бумагах следствия основанное, что его еще надо проверить на суде, и тогда уже решить: вправду ли во всем том, что там было написано, повинен подсудимый.

Прокурор утверждает, что 18 ноября братья Бабанины оскорбили и избили Сулиму, как посредника, по поводу его должностных действий.

Хорошо, посмотрим, чем это обвинение доказано, как вы должны в нем убедиться.

Говорят вам, что буйные братья Бабанины были только верны своим необузданным привычкам; говорят, что благородный и достойный представитель закона подвергался обидам и с кротостью претерпел их.

Но следствие нам показало, как у кроткого, как агнец, безгласного Сулимы всегда с собой были стилет и пистолет, принадлежность далеко не кротких личностей. Следствие показало, что эти орудия были при нем и в доме Заньковского и не оставались без надлежащего употребления.

Вот с такими атрибутами входит Сулима в дом Заньковского, где последовательно встречается с тремя братьями Бабаниными, из которых вот этот, Степан Степанович, был в конторе и доме, а вот этот, Александр Степанович, приехал только к обеду. Егора Бабанина, третьего, которого на суде нет, мы оставим в покое; напомним только одно, что по обвинительному акту просьбу скандального содержания читал Егор Бабанин, а Степан виноват только в том, что имел уши и слушал ее.

Обвинение утверждает, что в конторе началось оскорбление должностного лица. Кем и кто оскорблен? спрашиваете вы. — Братьями Бабаниными, отвечают вам. Какой из них и чем оскорбил? На этом обвинение не считает нужным останавливаться. Довольно быть Бабаниным, чтобы быть виновным, в чем вам угодно.

Но правильное обвинение должно сказать: который из них и что говорил, чем оскорбил. Нельзя одного судить за вину другого. Если же обвинение не может распознать вины отдельного лица, то оно должно пасть, а не огульно, оптом привлекать всех Бабаниных.

Жалобу подала какая-то старушка, подала исправнику. Читать ее заставил исправник. Почему же не привлечен исправник? Потому что он не Бабанин. Почему перешептывание и переписка, без определения даже ее содержания, вменяются в вину подсудимым и не вменяются исправнику? Потому что они Бабанины.

Да, наконец, что же преступного в шептании и переписке? Неужели нужно непременно молчать или громко говорить, чтобы быть безнаказанным? Давно ли стало преступлением чтение чужой просьбы, поданной чиновнику, когда он сам об этом просит?..

Переходим из конторы в дом, во время обеда.

Обедают Сулима, Бабанины; в числе их уже находится Александр. Начинаются остроты, колкости. Сам г. Сулима говорит, что эти остроты до существа дела не относились, а Заньковская даже в комиссии говорила, что беседа была прилична. Судебное следствие по этому поводу ничего не прибавило: оно нас ознакомило лишь с одной подробностью, которая нам будет нужна. Мы теперь знаем, что обед был не будничным, а званый; еды и питья было вдоволь, и никто, ни хозяин, ни гости, ни Сулима, ни Бабанины, себе не отказывали. Преступных стычек здесь не было. Ведь не считать же преступлением колкости, взаимно расточаемые гостями? Ведь до существа дела не относящиеся остроты, которых Сулима не умел отражать, не могут быть воспрещены людям. Ведь так уже на свете бывает, что один умеет состричь, другой — нет, не находчив, не сообразителен...

Обед кончился. Гости вышли из столовой. Отправимся и мы следить за Сулимой и Бабаниными в те моменты, в то время, когда между ними произошла главная схватка, главное законопреступное дело, в котором Бабаниных обвиняют.

Предпошлем еще следующие замечания.

К стычке этой, говорит обвинение, давно готовилась семья Бабаниных, недовольная действиями посредника. Здесь давнишнее желание их исполнилось, и они отомстили ему за его деятельность, которая не по сердцу была им, помещикам, принужденным уступать крестьянам в спорах, благодаря посредничеству Сулимы.

Что Бабанины давно собирались побить Сулиму и с этой целью приехали, это обвинение выводит из того, что Бабанины приехали без приглашения. Хозяйка дома Заньковская, однако, утверждает, что в приглашениях Бабанины не нуждались. То же сказали муж ее и прислуга. И это очевидно верно: соседи, 20 лет знакомые, станут ли церемониться?

Напрасно думает обвинение, что, сделавшись посредником, Сулима уже не имел и к нему не могли иметь иных, неслужебных отношений. И у Бабанина, и у Сулимы под

форменной одеждой или сюртуком билось хорошее ли, дурное ли, но человеческое сердце; у того и другого были в семье сестры, и по поводу одной из сестер одного из них шла размолвка между Александром Бабаниным и Сулимой. Это я беру со слов Бабанина, неопровергнутых обвинением; этим словам я верю, потому что свидетели Заньковский, Дублянский и др. говорили, что семейные неприятности были поводом ссоры.

Обвинение напрасно полагает, что, если Сулима посредник, то ссора могла выйти только из служебных отношений. Ссора могла совпасть со временем вступления Сулимы в должность, но обуславливаться неслужебными столкновениями.

Обвинение, утверждая, что было недовольство Сулимой, как посредником, должно было нам представить: какие именно служебные обязанности Сулимы привели к оскорблению, какие законные его действия, как посредника, были награждены обидой со стороны Бабаниных? А так как этих причин и этой связи нет, то, несмотря на то, что Сулима был посредником, когда у него с Бабаниными вышла история в доме Заньковского, я утверждаю, что она была домашней, частной обидой, частной ссорой между двумя частными лицами, а посредническое достоинство было в стороне.

Если же, как это было здесь указано, дело началось из-за семейной истории, если одно лицо позволило себе быть неделикатным в своих мнениях о другом, и поэтому произошла брань и свалка, то говорить об оскорблении чиновника не приходится. Перечитав все, что относится до обязанности чиновников вообще и посредников в частности, я утверждаю, что семейные интриги, неделикатные отзывы о частной жизни известных нам лиц не входят в круг обязанностей должности, в особенности посреднической, и неприятность, вызванная ими, не может считаться оскорблением по поводу исполнения посредником своего служебного долга.

Обвинитель, настаивая на оскорблении по должности, говорит, что Бабанины имели ссоры с крестьянами, что эти ссоры решались не в пользу их, что притеснения Бабаниных были такого рода, что распутать их пришлось, подарив крестьянам надел.

Люди, подарившие нескольким сотням крестьян наделы и усадьбы, стали ли бы спорить из-за вершка земли?

Люди, отдавшие даром землю, которую ценить приходится покрупнее, чем десятками тысяч, по замечанию свидетеля, мирового посредника Якубенко, — могут ли подозреваться в крепостничестве и давлении на крестьян?

И какие это притеснения, которые устранить можно было лишь даром усадьбы и надела? Я бы желал, чтобы, не оставив почвы законности, на основании Положения, прокурор приискал бы мне такое столкновение прав крестьян и помещика, разрешить которое должно бы было даром усадьб и надела. Я бы сдался со своими доводами.

А до тех пор я настаиваю, что отказ в пользу крестьян свидетельствует не о крепостничестве Бабаниных, а о человечности, и устраняет предположение, чтобы между этими людьми и бывшими их крестьянами, в интересе последних, нужно было вмешательство кроткого посредника Сулимы, примирителя с пистолетом в руке, и судьи, не расстающегося со стилетом.

Не забудьте еще и того обстоятельства, что, если и были служебные отношения Сулимы, как посредника, приходившиеся не по нраву Бабаниным, то это были такие действия, которым вряд ли можно дать название служебных обязанностей.

Исправник Дублянский говорит, что в имени Бабаниных Сулима заявил свое существование тем, что побуждал крестьян к самым противозаконным притязаниям. Он и посредник Якубенко показали, что крестьяне, под влиянием советов Сулимы, боялись даже взять даром землю. Само собою разумеется, сказал Якубенко, когда мне поручено было дело Бабаниных, то в три дня все недоразумения кончились, и крестьяне с радостью приняли дар старика Бабанина.

Так неужели же, если допустим, что эти отношения Сулимы озлобили Бабаниных, то историю у Заньковского следует считать оскорблением по должности? Возбуждение к неосновательным требованиям безнравственно, а безнравственное не может включаться в круг чьих-либо служебных обязанностей.

Переходим к самой истории.

Пообедавши, как и все гости, Бабанины идут в гостиную. Они выпили не больше хозяина, не меньше Сулимы. Полупьяный человек находится в состоянии, когда всего сильнее просятся наружу бурные и буйные инстинкты, когда чешется язык, напрашиваясь на лишнее слово. В этом



состоянии идет разговор Александра Бабанина с Сулимой. Сулима отвечает на крупное слово крупным. Вмешиваются хозяева, умиряют, разводят. При этом Заньковская и Блонский видят, что под влиянием ссоры Сулима вынимает пистолет и угрожает Александру Бабанину. Последний при виде оружия весь отдается гневу и бранит Сулиму.

Несколько минут спустя гости вновь сошлись, не забывая своего боевого положения. Тут, вспомнивши обиду, о которой шла речь, вспомнивши высокомерное обращение Сулимы: «Я вас не знаю, милостивый государь», вероятно, и сделал неприятность Сулиме Бабанин, бросив в него папиросу.

Сулима бросается, чтоб оскорбить Александра Бабанина, но тот, видя намерение Сулимы, мнет его под себя. Братья бросаются на помощь: они не выручают брата, потому что брат сильнее Сулимы и один справится — они разнимают схватку. Степана Бабанина никто не видит участвующим в драке, Егора видят со стилетом и палкой, с орудием, отнятым им у Сулимы, с орудием, а не с орудиями, ибо стилет и палка не две вещи, а две части одного и того же целого — палки со стилетом. При этом ни палки, ни стилета Бабанины в дело не пускают. Хоть и говорят, что Бабанины ими пользовались, но мы не имеем указания, чтобы на теле Сулимы были какие-либо знаки: был изорван лишь сюртук.

Вот история. Она утверждается показанием Заньковской, видевшей пистолет; она утверждается Блонским, видевшим пистолет, направленный на грудь Бабанина. Драку, а не одностороннее оскорбление, видят и прочие гости.

Что Степан Бабанин не принимал участия в драке, — это следует из того, что никто его не видал в этой роли. Скляр видел всех трех, но не может и теперь утверждать, какую роль играл Степан Степанович. Между тем, со стороны не различишь того, кто дерется и того, кто разнимает; и поэтому одно присутствие кого-либо на месте еще не повод считать его непременно участником побоища.

Сравните с этим предположение прокурора. По его словам, в конторе мешают Сулиме делать дело, — он тихо уходит; за обедом над ним острят, — он смиренно отмалчивается; его бранят, — он сносит с кротостью; ему кидают пеплом в бороду, — он встает, чтобы стряхнуть пепел; его бьют, — он вручает Бабанину стилет, чтоб заколоть себя.

Похоже ли это на характер Сулимы?

Не думаю. Мы уже познакомились с ним, он в нашем воображении является с другими чертами. Пистолет и кинжал в трости «для Бабаниных, для встречи» мы уже видели; от свидетелей по делу о разгоне комиссии мы знаем, что эти орудия у Сулимы не оставались без некоторого употребления. Когда-то глаз крестьянина Диканя испробовал острие этого стилета. Сбитые с толку по вопросу о своих правах советами Сулимы, крестьяне Бабаниных, едва было не потерявшие предлагаемого им дара, испытали «миролюбивые» способности посредника.

Вот каков Сулима до входа в гостиную Заньковских. Что же его могло переменить в эту минуту и сделать кротким агнцем? Не наливки же Заньковского и сытный обед его?

Меня, если мои выводы неверны, могут предупредить: надо было бы спросить самого Сулиму. Но заметьте, его-то, потерпевшего, обвинительная камера и не позвала! Может быть, чувствовалось, что Сулима вряд ли будет полезным для обвинения свидетелем, что допрос, ему сделанный, всего скорее расшатает обвинение.

Мне же вызывать его не приходится, потому что, оставаясь при убеждении, что его личные объяснения, записанные в обвинительном акте, не согласны с истиной, я не могу поручиться, что он на суде проникся бы чувством правды. Спрошенный, как потерпевший без присяги, без этой религиозной гарантии верности, он легко мог бы быть опасным для нас.

Эти соображения не должны были существовать для обвинения, и поэтому отсутствие Сулимы не указывает ли, что обвинение сомневалось само в достоверности того свидетеля, чье слово дало толчок делу.

Не пригласив Сулиму, обвинение не пользуется судебными показаниями и прочих свидетелей. Оно с любовью возвращается к предварительному следствию, восхваляет вам достоинство комиссии, собиравшей показания, и чуть-чуть не ставит ее выше суда с вашим участием, гласного суда — с допросом и свободным исследованием правды.

Этого приема нельзя одобрить. Предварительное следствие получает цену, когда оно здесь подтвердится; тем больше нужно осторожности, когда проверяется следствие, собранное старою следственной частью.

Сама государственная власть, даруя нам новый суд, изменила новый порядок следствия, уничтожила все эти комиссии, признала их негодными для дела и создала судеб-

ных следователей с новыми порядками. И если следствие, которое производит новый следователь, по новому, лучшему наряду, можно проверить судебным разбирательством в вашем присутствии, то не более ли того подлежит проверке дело старого, правительством признанного негодным к употреблению, порядка? Ведь комиссия — это часть старого суда, а старому суду в отмену создан новый, про который сказано, что он «скорый, правый, милостивый»; следовательно, старое было и не скоро, и не право, или, по меньшей мере, оставляло многого желать в этом отношении.

Так благоговеть пред комиссией и ее актам верить больше, чем исследованию дела здесь, ни по каким причинам не следует.

И какие показания мы слышали? «Помните ли, что вы показали?» «Не помним». «Вы ли писали показание?» «Нет». «Вы подтверждали показание такого-то; знали ли вы его?» «Нет». Показания самых простых лиц записаны деловым языком и заключают рассказы о таких вещах, которых они и сейчас не понимают. Помните ответ Склера об уставной грамоте?

Сулима был тогда силой. Заньковские имели с ним сношения и невольно глядели на все его глазами. Многие лица распускали ложный слух, что дело это интересует начальника губернии и что он предубежден. Комиссия работала, как и все ей соименные, без уважения к обвиняемым и их интересам. Показания писались делопроизводителем и подписывались сторонами, едва ли разумевшими, что там написано. Многие, например, Заньковские, были встревожены, испуганы и не давали себе отчета в том, что делали и говорили.

Теперь все это прошло, страсти улеглись, влияния, действительные и мнимые, исчезли, и, при торжественном обещании говорить правду, свидетели представили единственно достоверный источник для решения дела.

Итак, история 18 ноября есть, как сказал Заньковский, обоюдная ссора старых приятелей, разошедшихся на всю жизнь из-за семейных неприятностей и личного неудовольствия. Действовали Александр Бабанин и Сулима, а Степан Бабанин привлечен случайно, так как обвинение ни разу не умело указать ни на одну йоту участия Стенана в борьбе.

Александр Бабанин обвиняется в оскорблении станового пристава по поводу исполнения обязанностей службы.

Не думайте, чтобы я позволил себе обращать внимание ваше на незначительность проступка, на неважное положение станového пристава в сонме многочисленных властей, отовсюду нас окружающих. Было бы нечестно глумиться над тем, что недостаточно сильно: скромная доля низшего чиновничества обязывает нас к уважению.

Я избираю другой путь. Я останавливаюсь на данном случае, на столкновении Бабанина с Шепеном, бывшим станovým приставом, и задаюсь вопросом: как его оскорбили и по какому поводу?

При вопросе, с которым Бабанин обратился к Шепену, о том, зачем он подает на него бумаги в комиссию, Бабанин употребил несколько неуместных выражений. Но как они были сказаны? Как брань, к лицу Шепена обращенная, или как приставки, которыми пересыпается подчас самая дружелюбная беседа в вульгарной речи нашего степного помещика?

Свидетеля об этом не расспросили. А, между тем, слова Бабанина в этом втором случае могут считаться лишь неприличными, но не оскорбительными. Оскорбление только тогда должно считаться совершенным, когда было намерение оскорбить...

Когда становой пристав Шепен ответил на вопрос: «Я ничего не писал», тогда Бабанин сказал — «лжешь» и выругал станového.

Вот этот второй факт требует некоторого объяснения.

Вы припомните, что на следствии выяснилось, что становой подал донос на Бабанина о том, что он увез в Харьков брата своего Егора и при этом избил и разогнал стражу, которой велено было охранять дом Бабаниных. Мы знаем, со слов Бабанина, что этот донос не подтвердился, и стража отвергла всякое насилие.

Впрочем, и без помощи слов Бабанина мы имеем полновесное доказательство, что донос оказался ложным. Какое, спросите вы? А вот какое: если бы этот донос подтвердился, то к этому акту присоединили бы еще несколько страниц, изобразив картину, как богатырь Бабанин бьет и гонит чуть не полсотни народу, расставленного для стражи у дома его отца.

Говорить неправду, лгать, в число обязанностей службы не входит. Неправду сказал Шепен, как частный человек. Должностное лицо может попеременно действовать то как частное лицо, то как чиновник: ваши крупные разговоры

могут возникать из его речей и слов по службе и из слов, произнесенных им в качестве частного человека.

Представьте себе, что идет судебный пристав в вашу лавку арестовать ваш товар; в кармане его лежит исполнительный лист. Вы его встречаете на дороге с вопросом: куда и с чем идет он. Он отвечает, что несет исполнительный лист и идет описывать ваш товар. Вы недовольны им и браните его. Здесь вы оскорбляете чиновника по поводу обязанности.

Представьте того же пристава с тем же листом, идущего к вам. Вы, встречая его, спрашиваете, куда он идет, тревожимые слухами о том, что арестуют лавку. Он, улыбаясь, вам скажет: иду гулять на бульвар. Вы, зная, что это не так, скажете ему: лжешь и т. п. Эта фраза будет ли оскорблением пристава по должности? Думаю, что нет, потому что ложь и шутка, не входя в обязанности пристава, сказанные им в роли частного человека, не составляют какой-нибудь части служебных действий. Ваши слова обидны, неприличны, могут заслуживать наказания, но не как проступок, именуемый «оскорблением чиновника по поводу исполнения им обязанности службы».

Перейдем к третьему обвинению, — к оскорблению на бумаге различных должностных лиц. Я беру только те выражения, которые выписаны в обвинительном акте, и ими ограничиваюсь. Полагаю, что сама обвинительная камера видела неуместность только в тех местах, которые она поместила в акте.

Какое же мнение следует иметь о них?

Прежде всего заметьте, что бумаги эти писались давно, очень давно, 7 лет назад или около того. Даже комиссия по делам Бабаниных на эти бумаги не обратила внимания и следствия не производила; безгласно пролежали они эти годы и только во время составления обвинительного акта были прочитаны и дали повод к целой цепи обвинений прибавить еще это — новое.

В объяснении с судом, если до этого дойдет дело, я укажу, что сам закон не дает таким обвинениям ходу; сам закон признает, что приписываемое подсудимым деяние, если оно совершено давно, более 5 лет, если по нему не было следствия и производства, ненаказуемо за давностью. Закон допустил давность не как что-то случайное; давность времени примиряет со злом, изглаживает его из памяти. Будете ли вы строже закона? Будете ли вы вменять людям то, что за давностью не преследует законодатель?

Обращаясь к содержанию бумаг, замечу, что Степан Бабанин порицает комиссию за то, что она, по составу своему, противоречит известным статьям наказа для следователей. Оспаривать законность состава присутствия дано всякому заинтересованному. Степан Бабанин говорит, что губернатор хочет во что бы то ни стало обвинить его семейство. Но не каждый ли день здесь в прении сторон защита выражается, что обвинитель настаивает на обвинении, хочет во что бы то ни стало обвинить, — и вся прокуратура русских судов еще не обижалась на эти выражения?

Выписка в обвинительном акте о наемниках Сулимы оказалась неточной. Заявление Степана Бабанина, что комиссия односторонне и слепо исполняет волю начальника губернии, писано им за несколько времени раньше того, как комиссия для преобразования судебных учреждений выразилась, что старый следственный порядок был негоден, ибо подчинялся личным усмотрениям и целям местных властей, а не служил правосудию. Так нельзя же карать за то, что Степан Бабанин опередил своими словами всенародно произнесенную истину.

Степан Бабанин противопоставил деятельности членов комиссии честное исполнение долга Верховским и Васильевым. Я не знаю Васильева, я не слыхал о полезной деятельности прочих членов комиссии, но что касается Верховского, то мы сегодня слышали, что он, хотя не пользовался доверием местной власти во времена комиссии, но зато более высшею властью удостоен звания члена новых судов, возведен в несменяемые судьи нового порядка. Поэтому я не считаю преступным отзыв Бабанина о превосходстве нравственных достоинств Верховского сравнительно с прочими членами комиссии. Последствия оправдали слова его.

Александр Бабанин выразился бесспорно неприлично и оскорбительно. Но если правда, что становой сделал на него ложный донос, если правдив его рассказ о поступках станowego в доме отца, то раздражение делается понятным. Затем, на обыденном языке неправильный донос, о котором напоминает становому Бабанин, иначе не называется, как клеветой. Можно было выразить иначе, но сущность осталась бы та же.

Я окончил беседу по тем предметам обвинения, которые поддерживаются обвинителем.

Мне остается разобрать обвинение Бабанина Александра в угрозах и оскорблении комиссии.

К несчастью, мне приходится начинать с г. Сулимы. Вы помните, как сложились обстоятельства. За несколько времени до истории в доме Заньковского, Сулима обзавелся палкою с кинжалом, т. е. стилетом. При вводе уставной грамоты, как показали здесь молодой Дикань и исправник Дублянский, Сулима выколол глаз у старика Диканя, 70-летнего крестьянина; выколол, говорит Дублянский, нечаянно, в то время, когда спорил со стариком. Болезнь свалила последнего.

На помощь явилось семейство Бабаниных, которое, тем не менее, изображено чуть не разбойничьим гнездом. И вот какие странные роли выпадают на долю образцового чиновника — Сулимы и разбойничьего семейства Бабаниных. Сулима выкалывает глаз Диканю, Бабанины являються на помощь; Сулима не дает ходу жалобам на себя, Бабанины едут в Петербург, и там, вблизи источника земного правосудия, добиваются наказа о начале следствия над Сулимою за обиду Диканя. «Благородный» Сулима отказывается дать денег Диканю на лечение, оставляет нищего без помощи, — разбойничье гнездо дает приют, лечит Диканя, помещает в своем собственном доме. Сулима отталкивает от себя того, кого сам сделал несчастным, — Бабанины чужому человеку, ради его страданий, оказывают человеколюбие.

Дикань страдает, чувствует близость кончины. Он хочет идти в вечную жизнь примиренным с Богом. Бабанины приглашают священника, и больной в таинстве веры очищает свою совесть.

Но в тот день, когда в логовище «злодеев» Бабаниных совершалось святое таинство, иная тайна совершалась недалеко от дома, где умирал страдалец. Вопреки всем известным законам, комиссия спешила в дом Бабаниных, чтобы взять, во что бы то ни стало взять и увезти в Полтаву, — не обвиняемого Сулиму, а того, кому нанесено это оскорбление, — Диканя.

Не хочется этому верить, а между тем это так. И вот этому объяснение: когда был получен указ о следствии над Сулимою, начальник губернии, вероятно, пожелал лично прекратить историю. Он хотел видеть Диканя и поручил доставить его в Полтаву. Тут нет ничего незаконного. Не ехать же губернатору самому!

Получается ответ, что Дикань не едет. Заинтересованные лица, пользуясь тем, что Дикань в доме Бабаниных, да-

ют этому факту известное объяснение. Тогда губернатор поручает освидетельствовать Диканя, взять его и доставить в Полтаву, если здоровье его позволяет. Таково содержание бумаги начальника губернии. Губернатор не желает нарушать законных прав больного, не желает подвергнуть страдальца опасностям переезда из дома Бабаниных в город. Но раболепные слуги его воли слышат только его желание видеть Диканя в Полтаве, а его вполне справедливое распоряжение: взять, если можно, откуда следовало другое положение: не брать, если Дикань не может ехать, — они забывают.

Так ведется исстари: скажи слуге, чтобы вывел он из комнаты негодного гостя, он, наверно, его спустит с лестницы. Раболепство служит только тем, кто выше, не думая о правах тех, кто слабее.

Комиссия оказалась в доме Бабаниных. Дикань болен. Комиссия знать не хочет этого препятствия. Ее упрашивают пощадить больного, она — глуха. Домашний доктор заявляет о серьезности болезни, — ничтожное мнение. Старушка Бабанина, сидевшая у изголовья больного, ссылается на то, что больной сегодня причастился Святых Таин, — комиссия не понимает смысла этого заявления. Старушка протестует, заявляет, что она напишет телеграмму министру. Телеграмму министру? Это оскорбление комиссии, это угрозы ей.

Никаких людей Александр Бабанин не созывал; свидетели ни одного человека, ни одной живой души не видали, собранной по зову Александра Бабанина. Чего же струсилась и чем оскорбилась комиссия? Ничем. После оскорблений и угроз чай пить не пошли бы. От угроз комиссия уехала бы со двора, а она из флигеля, где, по словам акта, совершились угрозы, сделала бегство к чайному столу.

Вы слышали одного свидетеля, Оголевца, который признался, что уход комиссии из флигеля был немножко преждевременным, — он был ничем не вызван. А из дома бежала комиссия по иной причине.

Вы слышали, что с сестрой Бабаниных сделался обморок. Свидетели целой массой подтверждают, что председатель комиссии Биорковский сказал, что обморок сестры Бабаниных — притворство, и взялся ее вылечить. Лечение было очень странно. На лицо ее был брошен кусок ваты с огнем. От этой операции обгорели ресницы и брови у бедной молодой женщины, но она не очнулась от своего, казавшегося г. Биорковскому притворным, обморока.



Тут благородный член комиссии Селихов протестует против каннибальского поступка; тут все члены поняли мрачный характер своих действий; они поняли, что им не поверят, будто они исполняли волю начальства, именем которого они прикрывали свои действия... Они бежали, преследуемые не сотней крестьян, созданных Александром Бабаниным, а тенью их безобразного поступка, бежали в имение Заньковского, чтобы там за ужином и произведениями, прославившими его подвалы, составить тот акт, подписать который не соглашался Селихов и содержание которого оказалось неизвестным тем из понятых, подпись которых на нем значится.

Гг. присяжные! Я закончил обзор дела, которое пред вами сегодня так подробно рассмотрено. Защита в моем лице приступила к опровержению обвинительной речи немедленно, и многое могло ускользнуть от ее внимания. Но я уверен, что вы непосредственно и сами увидели множество обстоятельств, говорящих в пользу подсудимых, сами достаточно убедились, что обвинение построено на сведениях далеко не твердых, не точных, на показаниях более чем недостоверных.

От части, важнейшей во всем деле, отказалось обвинение; оно увидело действительную картину, не запинаясь скажу, темного поведения лиц, приехавших творить волю начальства, но, вместо того, совершивших деяние, достойное кары закона, и осмелившихся утверждать, что они в доме Бабаниных исполняли обязанности службы, исполняли поручение губернатора. Обвинение отказалось потому, что никаких угроз комиссии сделано не было, кроме одной — жаловаться министру на ее действия; угроза очень внушительная, но, конечно, не незаконная, если мы не будем считать незаконным все, что делалось Бабаниными.

Обвинение отказалось... Но оно привлекало их, оно их сделало подсудимыми, и чтобы пятно судимости было снято с них, мало взять обвинение; надо, чтобы их очистил ваш приговор, могучий приговор, который возвращает обществу людей честными и незапятнанными, если он не милует вины, а отрицает ее.

Я не кончил бы своей задачи, если бы не сказал вам, во имя вашего права снисходить к вине подсудимых, о том, чего стоит подсудимым настоящее дело.

Богом благословенная семья — отец, мать и целая группа сыновей и дочерей — распалась, разбрелась, гонимая

страхом грозящего ей незаслуженного наказания. Больной отец не мог явиться; далеко за рубежом нашей земли коротает дни старший сын; там же и дочери. Страхом за своих детей, страхом потерять их истомилась мать, и страх этот, быть может, сократил ее уже пресекавшиеся дни. Богатые поместья без глаза хозяина расстроены, разорены.

На суд явились два брата: Александр и Степан, чтоб первыми принять удар обвинения и сказать семье, чего ждать ей от суда судей по совести. И мнится мне, что если они сколько-нибудь виновны, то и тогда в душе их нет того чувства, с которым преступник слушает о своих законопротивных делах.

Дела, о которых сегодня говорилось, шли давно, почти десять лет. Тогда они были едва оперившиеся юноши, в 20—21 год, а теперь это — люди за 30 лет, семейные, люди пожившие, опытные. Ни склад их ума, ни их характер, сложившийся под влиянием обстоятельств более зрелого возраста, — ничто не похоже на их давнопрошедшее, на их юное время, может быть, и бурное, и кипучее, и заносчивое.

Они в настоящую минуту даже утратили внутренний смысл этого прошлого, — оно им так же странно и непонятно, как непонятны старику ошибки и увлечения молодости; события, за которые их судят сию минуту, ответственность, которою грозят, так странны и чужды им, как странно было бы вам выслушивать сейчас выговоры и осуждения за непослушание, в котором вы провинились, когда были еще детьми. Не в той мере все это, но — в том же роде.

От вас я ожидаю спасения подсудимых, спасения вполне заслуженного, оправдания необходимого, вызываемого фактами, с которыми мы ознакомились. В былое время все это было бы под спудом, общество осталось бы при том напускном мнении, что правосудие имело дело с людьми, попирающими законы. Но теперь этого не будет, теперь свет увидит правду, благодаря великому дару, полученному русской землей, — гласному суду, свободной речи защиты, которая вправе, доискиваясь истины, огласить на суде все дурное и темное, все пошлое и незаконное, которого было так много в этом деле.

## ДЕЛО В. Н. СЕМЕНКОВИЧА,

*обвиняемого  
в буйстве и оскорблении*

Дело это случилось в заседании Московского Съезда Мирowych Судей 9 октября 1896 г. под председательством С. И. Печкина.

Защищал обвиняемого присяжный поверенный Алексеев. Обвинение со стороны потерпевшего присяжного поверенного А. С. Шмакова поддерживали присяжные поверенные Н. П. Зыков и Ф. Н. Плевако.

Дело разбиралось в Мировом Съезде по апелляционному отзыву защитника В. Н. Семенковича присяжного поверенного Алексеева на приговор Мирового Судьи Тверского участка от 13 марта 1896 г., коим В. Н. Семенкович был признан виновным по ст.ст. 39 и 131 Устава о Наказаниях и приговорен к заключению в Городском арестном доме на десять суток.

29 ноября 1895 г. на собрании уполномоченных Московского Городского Кредитного Общества, происходившем под председательством присяжного поверенного А. С. Шмакова, В. М. Пржевальским было внесено предложение о необходимости подвергнуть баллотировке вопрос о предании Суду состава правления Общества. Председатель собрания, А. С. Шмаков, отказался поставить этот вопрос на баллотировку, чем и вызвал поступок обвиняемого, который был удален из собрания при содействии полиции.

Приговор Судьи удовлетворил обвинителя. Семенковичем же был принесен апелляционный отзыв, в котором он просил или об освобождении его от наказания по взаимности обид или об ограничении наказания денежным штрафом.

Мировой Съезд вынес следующую резолюцию: апелляционный отзыв защитника Семенковича, как неосновательный, оставить без последствий, приговор Мирового

Судьи утвердить. За силой же манифеста 14 мая 1896 г. обвинение Семенковича по ст. 39 прекратить, а наказание по ст. 131 Устава о Наказаниях уменьшить на одну треть, подвергнув его аресту в городском арестном доме на 6 суток.

**Речь Ф. Н. Плевако —  
представителя частного обвинения**

Гг. судьи!

Обида, нанесенная моему товарищу, когда он вел заседание уполномоченных Кредитного Общества, как избранный председатель его, — вне спора и сомнения. Оскорбительность сказанных по его адресу слов и противозаконность воплощенного в слова деяния г. Семенковича признаются этим последним.

Он и его защита думают только умалить значение вины, облагородить побуждения к обиде — указанием на порядки в Кредитном Обществе и на характер заседания уполномоченных, в котором было нанесено оскорбление.

Я смею думать, что вы не убедитесь в правомерности способа защиты г. Семенковича. Не убедитесь и в той ее части, где на подмогу к главному доводу, — неправде, царящей в стенах Кредитного Общества, добавляется еще и оскорбление о взаимности обид.

Дело идет об оскорблении чести человека, который по положению и образованию развил в себе чувство ее. Дело идет об оскорблении чести человеком, который и сам по развитию и образованию должен иметь правильное понятие о чести и о формах, какими может оскорбиться человек.

Многолетний и, я хочу верить тому, бескорыстный боец с Кредитным Обществом, принявший на себя эту задачу по равнодушию к общественному интересу, г. Семенкович должен был понимать и понимает, что для правильного разрешения общественных вопросов необходимы: уважение к чужому мнению при обмене мыслей и легальная форма борьбы. Г. Семенкович знает, что общее собрание уполномоченных не случайная толпа, бесправно галдящая о своих интересах, а закономерное собрание, установленное для обсуждения своих дел. А собрание невозможно, если в нем нет порядка, невозможно, если мнение, не получившее признания, переходит во вздор и крик, в гвалт и насилие.

Г. Семенкович знал, что собрание решает предоставлен-

ные ему дела и что порядок его — на ответственности председателя. Он должен был подчиниться заведенному им порядку.

Г. Семенкович не имел правильного основания даже оспаривать непостановку на очередь вопроса о предании суду правления Кредитного Общества, так как не мог не знать, что уголовные поступки, если они имеют место, не могут быть оставлены без преследования потому только, что не призванное прекращать дела собрание выскажет о том свое мнение. Беспрепятственное возбуждение дела о правлении, имеющее теперь место в суде, тому лучшее доказательство.

Г. Семенкович не может видеть оскорбления в распоряжении г. Шмакова об удалении его из залы собрания, ибо распоряжение подобного рода, как вытекающее из условия всякого разрешенного собрания — быть правильным и упорядоченным собранием и из условия обязанности председателя заботиться о том, — было закономерным проявлением распорядительной власти, данной собранием своему председателю.

Остается освобожденный ото всяких отрицательных признаков факт оскорбления чести, тяжелое, возмущающее душу неуважение к ближнему.

Здесь вам предлагают за него денежный штраф, — по мнению противника, достаточное вознаграждение за оскорбление.

Станем надеяться, что этого не будет.

Есть у нас пословица, что иногда надо бить рублем, а не дубьем. Эта горькая истина об относительной тяжести кары высказана теми, кто забит жизнью до нечувствительности духовного бича и кто тяжким путем добывает себе заработную плату, связывая с каждою копейкой капли кровавого пота.

Но да избавит нас Бог от кары рублем оскорбителя, с легкостью толстосума выкидывающего из своего кармана легко заработанные рубли и думающего, что чужая честь может быть куплена ценой его серебра.

Нет, только те, кто не имеет надлежащего представления о благе честного имени, могут дешево ценить оскорбления.

Честь — это весь человек. Отнеситесь к вопросам чести легко, снизойдите к мирозозерцанию тех, кто обтирается после удара и смеется, слушая обиды — и общество, приученное этим пониманием к бесчувственности, превратится в толпу рабов, забывших достоинство человеческой личности.

**Нет, не так будете вы смотреть на дело!**

**Сознавая, что оскорбленный человек, сумевший сдержать негодование и не уничтоживший самосудом своего обидчика, а вручивший защиту своей чести суду, являет миру глубокую веру в нравственную мощь правосудия, вы оправдаете его упование.**

**Ваш приговор, которого я прошу, как возмездия обидчику, как удовлетворение законного требования обиженного, не будет противоречить самым гуманнейшим взглядам христианского общества.**

**По вопросу о чести, как величайшем благе личности, да будет вам руководящим светочем слово апостола языков Павла, так выразившегося о значении доброго имени: «лучше мне паки умереть, нежели похвалу мою кто да испразднит!..»**

**ДЕЛО**  
**М. Ц. ШИДЛОВСКОЙ,**  
*по первому мужу Ковецкой,*  
*обвиняемой в двоемужестве*

28 февраля 1886 г. в заседании Витебского Окружного Суда рассматривалось дело о жене подполковника Шидловской, по первому мужу Ковецкой.

13 ноября 1883 г., в церкви погоста Телятники, Витебского уезда, дворянка Мария Цезаревна Ковецкая, урожденная Стульчинская, вступила в брак с преподавателем кадетского корпуса, подполковником Влад. Шидловским.

Перед венчанием Ковецкая представила метрическую выпись о смерти своего первого мужа, дворянина Мечислава Александровича Ковецкого, выданную 27 октября 1882 г. за № 642 из книг Бозговецкого приходского костела ксендзом Игнатием Симановичем.

Между тем по собранным впоследствии справкам оказалось, что, как подполковник Шидловский и священник телятниковской церкви Рачинский, так и поручители по невесте введены в заблуждение, так как выяснилось, что дворянин Ковецкий, бракосочетавшийся с девицей Марией Цезаревной Стульчинской 28 июня 1874 г., хотя и разошелся вот уже более 5 лет со своей женой, но жив и состоит в настоящее время на службе в Петербурге, и что ни Бозговецкого костела, ни ксендза Игнатия Симановича, ни фольварка Крумы, в котором будто бы умер 9 июня 1880 г. Мечислав Александрович Ковецкий, вовсе не существует.

Кроме того, из Полоцкой духовной консистории 9 августа 1883 г. за № 4701 выдано было Марии Ковецкой метрическое свидетельство о рождении и крещении ее, в котором оказался переправленным год рождения — 1854 на 1859, причем, как это видно из показаний свидетелей, титулярного советника Тихомирова, крестного Петра Смирнова и др., Мария Ковецкая совершила этот последний подлог, чтобы не показаться жениху слишком старой.

Совместно с присяжным поверенным Цитовичем подсудимую защищал Ф. Н. Плевако.

После 10-минутного совещания присяжные заседатели вынесли подсудимой оправдательный вердикт.

### Речь Ф. Н. Плевако в защиту Шидловской

Дело так просто, что, право, трудно что-либо прибавить к тому, что сказано моим сотоварищем по защите.

Подберу кое-какие крупички.

Полное страданий прошлое несчастной женщины было бы материалом для речи даже в том случае, если бы она признала те факты, которые ей приписываются. Судьи, люди живые, не могли бы не отнестись к ней со всевозможным состраданием и снисхождением.

К счастью, одно из преступлений, приписываемых этой женщине, до очевидности вымышленно: оно было нужно другим, а не подсудимой, и все, чем мы располагаем, говорит за нашу мысль.

Мы знаем, что первый муж подсудимой выгнал ее из дому. Предлог, о котором он впервые заявил здесь, до очевидности ложен: 24-летний мужчина, неужели он не мог распознать беременную женщину на 9-м месяце от девушки?.. Свидетели первой супружеской жизни все в один голос говорят о скромности подсудимой. Связь Ковецкого с какой-то повивальной бабкой — факт. Факт и изгнание жены и попытка к разводу. Факт — побои и оставление жены и ребенка без всяких средств к существованию.

Словом, гонения подсудимой кому-то были нужны, кому-то права ее и ее имя мешали.

И вот, когда старые средства не удались, то придумали новое и решительное: прислали покинутой жене весть о ее свободе.

Что бы ни сделала эта женщина с полученным документом, она попадает в руки правосудию. Живи она по этому документу, ее стали бы обвинять за прожительство по подложному виду; выйди она замуж, как она сделала, — двойное преступление налицо.

Что не она виновата, ясно из всего следственного материала.

Документ ею получен, когда она не думала выходить замуж, а второго мужа вовсе не знала. Что она верила доку-



менту, это видно из ее обращения к адвокату за советом о получении вдовьей части.

Свойство документа также наводит на догадку о враждебной руке, улавливавшей подсудимую в сети. Как известно, документ оказался выданным из несуществующего прихода несуществующим ксендзом. Спрашивается, какая цель у подсудимой составлять документ, выдающий себя при первом испытании?

Лицо, совершающее подлог, стремится подделаться под истину, а здесь, наоборот, все сделано, чтобы тотчас опорочить свое дело. Я думаю, что в этом была цель — цель сторонней руки, облегчающей себе работу по изобличению того, кто будет пользоваться документом: доказывать подлог путем сличения руки — это все-таки работа и, до известной степени, риск, а при несуществовании прихода и ксендза — факт подлога очевиден. Не ясно ли, что документ шел от человека, которому было важно не помочь, а погубить подсудимую.

Что касается документа о рождении, где подсудимая поправила себе год рождения, чтобы показаться моложе, следует иметь в виду следующее.

Закон должен преследовать подлог потому, что им вносится масса зла в жизнь: присваиваются незаконные права, освобождаются от обязанностей; а так как закон не может допускать, чтобы в обществе царил неправда, то он строго и справедливо карает злую волю, подлогом достигающую противозаконных выгод.

Но быть не может, чтобы закон карал деяния, ничего общего со злом не имеющие.

А для того, чтобы выделить злонамеренные подлоги от безразличных, мы должны спросить себя о цели подделки.

Перед вами две подчистки: в обеих две девушки переменили себе имена; но в одной это сделано с целью назваться именем своей покойной сестры и получить по завещанию то, что было назначено ей, но что за смертью ее ранее завещательницы должно перейти к законным наследникам. Это наказуемый подлог.

А другая девушка сделала то же самое потому, что ей дано крайне неблагозвучное имя: ей стыдно подруг, и она переделывает неблагозвучное имя какой-нибудь Голендухи в более приятное — Глафира. Прав эта перемена никаких не дает, кроме права похвалиться звучным именем, — неужели и это преступление?

Подсудимая, мне кажется, сделала то же самое: она, изменив себе года, позволила себе самую обычную женскую слабость: она, подобно тем, кто румянами, белилами и красками молодят себе лицо, кожу и волосы, помолодила себя путем «юридической косметики».

Итак, все это дело в одной своей части есть дело чужой руки, а в другой, не имея преступного характера, едва ли может быть караемо.

Разрешить это дело не трудно, и мне ни к чему словами красноречия вымаливать у вас снисхождения и милостивого суда.

Истина здесь ясна и легко доступна; она не требует долгой, тяжелой работы; она поддается самому быстрому вниманию, лишь бы судья был стоек в правосудии.

А так как я, как и вся земля, верую в ваше правосудие, то с моей стороны будет благоразумно ограничиться этими немногими словами.

## ДЕЛО ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА И ДУБЕНСКОГО, *обвиняемых в диффамации*

Дело это слушалось в заседании Московской Судебной Палаты 30 января 1875 г. без присяжных заседателей.

Обоих обвиняемых защищал присяжный поверенный Ф. Н. Плевако.

В № 256 «Современные Известия» была напечатана корреспонденция из Судогодского уезда, Владимирской губернии; в корреспонденции этой, между прочим, сообщалось следующее: «Вызванный губернатором становой пристав рассказал ему о притеснениях, а вместе добавил, что, по собранным сведениям, в уезде, кроме яичного, существуют еще денежные сборы, о которых закон умалчивает, а именно: в пользу судогодского полицейского управления по 1  $\frac{1}{2}$  коп. серебра с каждой души, в пользу становых приставов по 2  $\frac{1}{2}$  коп. с души и, наконец, в пользу исправника 1  $\frac{1}{2}$  коп. Сколько всего собирают яиц и денег в пользу судогодской полиции, всякий может высчитать, сообразив, что в судогодском уезде число жителей более 30000».

Далее, в том же номере «Современных Известий» в передовой статье, между прочим, было напечатано следующее: «Это — курьез не из обыкновенных. Мы говорим о яичном сборе в Судогодском уезде. Жаль, что корреспондент не объяснил, по скольку же яиц с души собирается на каждую из полицейских особ. Если пропорция та же, что в денежном сборе, то выходит, что становой пристав получает 2  $\frac{1}{2}$  яйца с души, исправник 1  $\frac{1}{2}$  яйца и полицейское управление 1  $\frac{1}{2}$ . Но нет, это невозможно! Ну, случится — три души в семействе? В каком виде представит оно следующую с него половину яйца?»

Судогодский уездный исправник Агокас, находя, что означенными статьями опорочены его честь и доброе имя, как должностного лица, просил прокурора Московской Су-

дебной Палаты возбудить против редактора и корреспондента упомянутой газеты надлежащее преследование по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 1039 Уложения о наказаниях.

На судебном следствии обвиняемые, признавая себя авторами статей, отрицали желание опозорить исправника.

Оба обвиняемые были оправданы.

### Речь в защиту обвиняемых

Напечатанная в номере «Современных Известий» статья, которую цитировала перед вами обвинительная власть, далеко не дает нам права сделать из нее тот вывод, который развил перед вами прокурор.

Корреспонденция сообщает нам факт, в достоверности которого не может быть никакого сомнения, ибо он подтверждается документами, доказывающими, что сотские обходили селения и производили сборы частью деньгами, по 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. и более с души, частью натурою, и именно яйцами.

Сообщение этого факта, при его достоверности, никоим образом не может быть поставлено в вину ни корреспонденту, сообщившему его, ни редактору, напечатавшему сообщение.

Но обвинительная власть утверждает, что будто корреспондент не только написал, что сбор совершается, но и утверждал, что этот сбор достигает своего назначения.

Я не думаю, чтобы можно было сделать из корреспонденции такого рода вывод.

Прежде всего мы видим из циркуляра станового пристава, разосланного по волостным правлениям, что полиция с своей стороны принимала меры для прекращения этого сбора; следовательно, читатель корреспонденции должен был понять, что здесь говорится о таких сборах, которые существуют независимо от желания тех лиц, в пользу которых они собираются. Затем, в корреспонденции нет указаний на то, что исправник знал что-либо об этих сборах или чтобы он приказывал собирать их.

Таким образом, личность исправника не задевается указанною корреспонденцией ни с которой стороны; откуда же, спрашивается, исходит обвинение, что корреспондент и редактор возводят на исправника поступок, от ко-

того страдает его доброе, как выражается он, честное имя?

Обвинение это основывается единственно на том месте корреспонденции, которое говорит, что после того, как становой пристав разослал циркуляр по волостным правлениям, запрещающий сотским собирать, а крестьянам давать яйца, собираемые на имя станового, он заметил, что ему по службе не так-то повезло и что исправник стал к нему часто придирааться. И вот из этого-то места обвинение сделало тот вывод, что исправник обвиняется во взятках, где его доброе и честное имя страдает.

Но такой вывод слишком поспешен и потому неверен.

Только тот вывод мы имеем право назвать верным, далее которого нельзя сделать никакого другого предположения. Если исправник обижается разглашением события, совершившегося в районе его власти, из этого еще нельзя заключать, что оглашенное событие включает в себе опозорение его честного имени. Не одни ретивые исправники, но и люди, выше их стоящие, не любят разглашать какое-либо событие, какое-либо упущение, происшедшее в пределах их власти и выплывшее наружу, и часто бывают в претензии на подчиненных за оглашение того, что должно быть шито и крыто.

В корреспонденции, подавшей повод к обвинению, удостоверяется только тот факт, что исправник не был доволен действиями станового пристава, который, вместо того, чтобы обратиться к нему за помощью против зла, вздумал сам раскрывать и уничтожать злоупотребление и таким образом давать ему ненужную огласку, помимо своего ближайшего начальства и, быть может, не совсем согласного с его выводами.

Вот, по-моему, тот вывод, который можно сделать из указанной корреспонденции.

Затем обвинение приводит нам напечатанную в том же номере «Современных Известий» передовую статью, из которой усматривает, что редактор обвиняет полицейские чины Судогодского уезда во взятках, в незаконных поборах.

Вот эти слова: «Если пропорция натуральной повинности та же, что в денежном сборе, то пристав получает 2  $\frac{1}{2}$  яйца с души, исправник 1  $\frac{1}{2}$  яйца и полицейское управление 1  $\frac{1}{2}$ ».

Но обвинительная власть забывает, что в упомянутом месте редактор рассуждает предположительно; он делает из

факта только условный вывод, говоря, что если упомянутые сборы остаются в руках старшин, то обогащаются они; а если яичный доход идет в полицию, то такому-то приходится столько-то, такому-то столько-то.

Наконец, что такое взятки, в которых будто бы редактор обвиняет исправника?

Взятка есть вымогательство от известного лица; если человек изобличается в том, что не предпринимает только достаточных мер к устранению незаконных поборов, совершаемых его именем, то в этом еще нет обвинения во взятках; а что у нас существуют такие поборы, это известно всякому. Целые фаланги ходоков и мироедов, собирая на разные мнимые расходы сумму, кладут в свои карманы общественные деньги. Но кто же будет обвинять редактора и корреспондента за то, что они выводят такие факты наружу?

Затем, я не могу не обратить внимания еще на одну сторону дела.

Когда обвинение бывает основано на 1039 и 1040 статьях, обвинитель и обвиняемый не пользуются на суде равноправностью: жалующийся имеет право представлять всякого рода доказательства в подтверждение своего обвинения, подсудимый же обязан защищаться только письменными документами, следовательно, связан по рукам и по ногам.

Высшая справедливость требует поэтому, чтобы центр тяжести доказательств вполне был перенесен на обвинение; должно требовать от него, чтобы оно являлось на суд с неотразимыми доводами, — с такими доводами, которые с непреодолимою логикою доказывали бы виновность известного лица. Если вывод, на основании которого обвинительная власть строит свое обвинение, не обладает такою неотразимостью, которая исключает возможность всяких дальнейших предположений, словом, если этот вывод не есть единственный, — на что я указал в настоящем случае, — то, значит, обвинение расширено.

Мелочное самолюбие весьма легко оскорбляется и выводит обвинение в оскорблении, в опозорении своего честного имени там, где для этого нет никаких оснований.

Да и, наконец, оскорбившийся исправник выбрал не совсем прямой путь для очищения своего будто бы опозоренного имени: прямее и легче было бы путем исследования на месте, путем расспроса прикосновенных к делу лиц восстановить действительные факты, чем прямо обращаться к

суду и возбуждать неосновательное обвинение, и притом против такого органа, как «Современные Известия».

Будучи газетой очень распространенной по количеству, весьма обширной и разнообразной по программе, серьезной по направлению, «Современные Известия» не имеют ничего общего с теми газетами-сплетницами, которые имеют только то сходство с органами печати, что воспроизводятся типографическими средствами и на писчей бумаге. Редакция этой газеты, конечно, сумеет пользоваться сообщением и корреспонденцией, не нарушая интересов истины и доброго имени тех, чья вина еще подлежит сомнению.

В своей передовой статье редактор говорит не более как гадательно; он исчисляет только возможности, — что, если действительно незаконно существующими поборами пользуются, то положение страны печально; если исправники берут — дурны наши исправники; если поборы не достигают своего назначения, то они остаются в руках старшин и сотских, отчего не легче простолюдину; если же и этого нет, то, значит, все обстоит благополучно.

Ввиду этих обстоятельств, я не погрешу против истины, если скажу, что обвинения исправника во взятках в указанной корреспонденции нет, а есть только указание на такой факт, который часто встречается в жизни и совершенно доказан обстоятельствами дела; но на этом основании обвинять моих клиентов по строгому праву не приходится.

## ДЕЛО КНЯЗЯ В. П. МЕЩЕРСКОГО,

*обвиняемого  
М. А. Стаховичем в клевете*

Дело это было заслушано в заседании Петербургского Ок-  
ружного Суда 22 ноября 1904 г. Обвинение поддерживали  
присяжные поверенные В. А. Маклаков и Ф. Н. Плевако.

Камергер Высочайшего Двора М. А. Стахович, Орлов-  
ский предводитель дворянства, участвуя в качестве сослов-  
ного представителя в заседании Судебной Палаты по делу  
об истязаниях, которым подвергся со стороны орловской  
полиции сарт Ибрагимов, написал по этому поводу статью.

Статью эту М. А. Стахович направил сперва в «Орлов-  
ский Вестник», затем в «Петербургские Ведомости» и «Пра-  
во», но эти издания по разным соображениям статьи Ста-  
ховича у себя не поместили.

Спустя некоторое время статья Стаховича появилась в  
заграничном органе «Освобождение», издававшемся  
П. Б. Струве, с оговоркой редакции, что статья печатается  
без согласия автора.

По этому поводу князь В. П. Мещерский в № 28 газеты  
«Гражданин» за 1904 год поместил заметку следующего со-  
держания:

«Куда же дальше на пути психопатической разнузданно-  
сти и утраты понимания, что можно и чего нельзя, идти?

Передо мною № революционного издания «Освобожде-  
ние», и в нем статья за подписью Михаила Стаховича.

Этот Михаил Стахович — Орловский губернский пред-  
водитель дворянства и камергер Двора Его Величества.

Статья эта, разумеется, потому явилась в «Освобожде-  
нии», что она заключала в себе, по поводу преступлений по  
службе, совершенных полицейскими чинами пять лет на-  
зад, явный умысел г. Стаховича воспользоваться этим еди-  
ничным случаем, чтобы набросить обвинительную тень на  
нынешнюю административную власть.

Я решился обнародовать этот возмутительный факт с



целью задать г. Стаховичу вопрос: в каком отношении сбереглось у него что-либо в понимании имени русского дворянина, которое он носит?

Неужели ни в каком?

Я принужден это думать, ибо поступок, совершенный г. Стаховичем, обличает, что в нем не осталось уже ни одного чувства, ни одного принципа, к которым можно было бы обратиться, чтобы вызвать к ответу его совесть.

К патриотическим? Нет, ибо, если была искра в этом человеке патриотического чувства, он бы не мог в такое время, когда России и русским людям трудно и когда долг любви к родине велит забыть всякие личные интересы для общего с правительством служения своему Государю, своему народу, — он бы не мог, говорю я, не признать в факте сотрудничества в «Освобождении» оскорбление патриотизма, почти равное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству.

К дворянским? Еще менее, ибо, чтобы в должности губернского предводителя дворянства, во время войны, идти в сотрудники «Освобождения», надо плевать на все дворянство, избравшее его предводителем, надо плевать на самого себя, как на предводителя дворянства и как на дворянина.

Итак, нельзя тронуть ни одной струны в этом заболевшем духовною анемию человеке в надежде вызвать пробуждение совести: все струны заржавели».

За эту статью М. А. Стахович возбудил против князя В. П. Мещерского обвинение в клевете.

Дело слушалось в отсутствие как обвиняемого, князя Мещерского, не явившегося на суд и не приславшего представителя, так и М. А. Стаховича, бывшего в это время на Дальнем Востоке.

Как речь Ф. Н. Плевако, так и приговор Суда, признавшего кн. Мещерского виновным в клевете и приговорившего его, с применением Высочайшего манифеста, к двухнедельному аресту на гауптвахте, были встречены рукоплесканиями многочисленной публики.

### **Речь представителя частного обвинения, Ф. Н. Плевако**

Гг. судьи, я бы не хотел проронить ни одного лишнего звука в моих объяснениях и в особенности не хотел бы быть непонятым. Поэтому позвольте мне начать эти объяснения с тезисов, которые я буду защищать.

Здесь уже установлено, что статья Стаховича помещена в заграничном русском печатном органе «Освобождение» без ведома и согласия автора.

Во-первых, я буду утверждать, что не место, где она появилась, а самое содержание статьи вызвало со стороны князя Мещерского тот натиск, юридической оценкой которого мы заняты.

Во-вторых, я буду утверждать, что рознь между содержанием этой статьи и статьей князя Мещерского не есть рознь между чьим-либо поступком и его юридической критикой, не есть голос права, оскорбленного беззаконием разнузданной воли. Нет! Князю невыносимы мысли и взгляды Стаховича, как противные его мирозерцанию и его своеобразному воззрению на обязанности, историческое призвание и нравственный долг дворянина.

Я буду утверждать, что озлобление против Стаховича, как носителя иных взглядов на этот долг и иного понимания образа служения своему Царю и своей родине, толкнуло кн. Мещерского на то деяние, в котором мы видим незаконное посягательство на неприкосновенность нравственной личности обвинителя.

Я буду, далее, утверждать, что князь Мещерский избрал оружием своего озлобления печатное слово не в форме литературного спора или критики взглядов противника, а воспользовался появлением в «Освобождении» ненавистной ему статьи и, хотя имел все данные к тому, что статья эта напечатана без ведома автора и знал об этической обязанности писателя не выдавать лжи за истину и не считать истиной своих заведомо неверных искажений факта, — приписал Стаховичу сотрудничество в нелегальной прессе.

И, наконец, я буду утверждать, что князь обстоятельно сообразил в момент своих нападков на Стаховича и то, что его статья может тяжело отозваться на его враге, может вызвать в одних лицах, и лицах сильных в сферах власти, убеждение, что Стахович и впрямь изменник и враг строя и друг врагов его, а в других, его избранниках, — что он клятвопреступник и двоедушный общественный деятель.

Перехожу к первому тезису.

Михаил Стахович написал статью, продиктованную ему скорбью, которая выпала ему на долю: присутствовать в качестве члена суда с сословными представителями при разбирательстве дела о нанесении смертельного увечья сарту, проходившему по г. Орлу на пути в священную для магометанина Мекку.

Сарт был виноват в двух вещах: он думал, что пять лет тому назад можно было, не рискуя жизнью, пройти по русскому губернскому городу, он думал, что в случае обиды от злых людей, подонков общества, его спасет бдительность полицейской стражи.

Стаховичу пришлось убедиться, как судье, что вера сарта была неправая: босяки его пощадили, а жизнь его была принесена в жертву какому-то неведомому культу. Стахович говорит, как бывший судья по делу, что его поразило не самое событие в рамках процесса: преступление нижних чинов полиции понесло заслуженную кару. Ужас охватил его от картины правового убожества, царящего в воздухе повсюду: напрасная смерть человека никого не тронула, отдаленные причины оставлены в покое, без последствий, как будто все так и быть должно... Человеческое, слишком человеческое, не навело никого на волнующие мысли, хотя бы в том размере, как вспыхнули они, например, при вопросе: американский или русский рысак стоял в конюшне спортсмена Шишкина.

Он не захотел остаться в рядах равнодушных и безвредных, когда полезным можно быть, и, движимый всем запасом нравственного негодования, всем запасом судейского мужества, сознанным долгом представителя того сословия, которое сугубой борьбой за интересы младших братьев смыывают исторический грех свой перед родиной, он взывал к исследованию по возникшим вопросам.

Не найдя отклика, он перенес свое мнение на лист бумаги и послал его в ближайший местный печатный орган, чтобы найти сочувствие к одушевляющему его идеалу: борьбе за право, истовое, действительное, живое, бодрящее, а не за тень его, за мертвое тело, лишенное духа.

Отклика на месте он не нашел. Правда в своей беспощадной наготе жгла, ослепляла, пугала. Приниженным умам казалось, что лучше замолчать ее, чем обнажить язвы. Лучше пусть немоществует закон, чем негодуют сильные, думали одни; лучше пусть будет повязка на глазах, чем обличающая истина — другие.

Стахович понял, что то равнодушие, которое его возмущало, осложнено запасом провинциального расчета, трусости... И он направил статью в Петербург, где, мечтал он, — иные точки зрения. Там, около нашей исторической народной святыни, около правотворящей власти, дающей законы стране и требующей их исполнения, — там слуги ее

велений поймут всю чистоту намерений, всю правоту средств, которыми истинный гражданин своей страны борется с неправдой, оглашает ее и призывает к исправлению.

Статья не нашла приема.

Следствие установило, что редактор газеты «Право» счел возможным напечатать ее, но по разномыслию с подлежащими цензурными властями ее пришлось не выпускать, хотя десятки писаных, а может быть корректурных оттисков успели проникнуть в публику.

Содержание статьи Стаховича, адресованной в «Право», — вот побудительная причина негодований князя. Выйди она в этом журнале, князь все равно ополчился бы на нее, — только тогда, быть может, он был бы недоволен недостатком средств для уничтожения политического врага, и, быть может, его ум работал бы над иными взрывчатыми средствами, чем то, которое пущено им в ход в настоящих обстоятельствах.

Я понимаю его: как знамение креста корчило фигуру Мефистофеля, так искажало черты княжеского лица свободное слово Стаховича.

Служение отечеству истиной — непонятно ему.

Но Стахович не один; не одинок и князь Мещерский. В столкновении их — обнаружение борьбы двух течений, не тех, на которые обычно делят культурное мирозерцание, — либералов и консерваторов, — нет: это борьба иных групп.

Здесь встретились два наших русских течения, два лагеря выстроили борцов. Из них — одно я сравню с общественным строем московского уклада, с земщиной, рвущейся послужить своему Царю-Отцу и своей земле, умеющей умирать за них по первому призыву Порфироносца, умеющей в потребный час выставлять святых Филиппов, мужественных Гермогенов, благородных князей Пожарских, широких сердцем граждан Мининых и великих героев от сохи и сермяги — Сусаниных.

С другой стороны — поклонники дьячества, выродившегося в подьячество, видящие спасение в тихом и безмолвном житии, в спряжении всех глаголов, в которых воплощается представление о действиях ума и сердца в одних только страдательных формах. Крайние из них чуть ли не превозносят опричнину времен Ивана Грозного и готовы канонизировать Малюту Скуратова, списав со счета святых замученного Филиппа.

Первая живет верою, что между отцом и детьми нет и не должно быть средостения.

Нет ничего естественнее, что дом владыки охраняется от злого человека стражею и двуногою, и четвероногою, и похвально, если стража недремлющим оком блюдет хозяина и добро его и с самозабвением, не щадя себя, бросается на каждого, преступно переступающего священный порог.

Но нет ничего больнее, ничего мучительнее, когда та же стража разобщает отца от детей и бросается душить их, идущих выплакать на родной груди свои многолетние скорби.

Их антиподы не то: они ненавидят, что любят те. Я сказал бы — и любят то, что ненавидят те, но я сомневаюсь в их способности к любви.

Будь она у них, они поняли бы, что взаимное недоверие, опорочивание и опозоривание, литературный донос и искажение фактов не могут исходить из чистых источников. Они поняли бы, что это — та проклятая рознь, которая и в XX веке, как и в печальной памяти удельный период нашей истории, парализовала и обессиливала русское общество.

И как она ужасна! Когда Бог посылает нам испытания, когда сознавая грех свой, мы хотим сплотиться и добыть славы и чести земле своей, язвы многолетней розни сказываются: мы принуждены удесятерять свои усилия там, где, будь иное, нам легко бы давался тот подвиг, которого ждет от нас, от каждого, по жребию его стояния, и Царь, и Отечество...

И — апостол попятного движения не вынес свободного слова. Он сказал свое в намерении смыть врага. Ему нужно клич кликнуть по всей земле о Стаховиче, как о человеке, достойном порицания и нравственного осуждения, как о человеке, способном, стоя на одной из высших ступеней государственной лестницы, в первых рядах своего сословия, правой рукой изображать крест во свидетельство честного и верноподданнического служения Державному Вождю, а левой рукой стучаться в клуб революционно настроенных людей и шептать им: я ваш, я там лгу, я там в роли передового разведчика вашего полка.

А для того, чтобы это опозоривание честной личности было веско, князь делает такой прием: он не сообщает читателю, что же в самом деле сказал Стахович. Ведь появись в органе «Освобождение» чья-либо статья, в которой русский человек, не скрывая своего имени, упрасивал бы пишущих

там авторов и корреспондентов бросить их затею, идти домой и вместо волнующих и выводящих из колеи спокойной работы статей, отдаться той деятельности, которая, без скачков и подражаний, своими путями приведет нас к постепенным культурным успехам, если бы автор взывал не только к русским идеалам, но вплетал бы в них долю из мирозерцания князя, — ведь такая статья не знаменовала бы измены и ренегатства.

Князь Мещерский знает это и поэтому просит читателя верить, что Стахович — сотрудник этой газеты и, сотрудничая, порицает русскую власть, сотрудничает так, что из его поступка видно, что в авторе не осталось ни одного чувства, ни одного принципа, к которым можно было бы обратиться, чтобы вызвать к свету его совесть.

Князь уверяет читателя, что это сотрудничество таково, что знаменует собой отсутствие патриотизма, забвение долга, презрение к сословию и врученным ему сословием полномочиям.

Стахович, по словам Мещерского, изменил заветам предков и даже клятвопреступник, ибо изменил присяге. Стахович совершил ведомые князю Мещерскому деяния, которые обязывают его снять с себя и полномочия, и внешние знаки оказанного ему Двором и сословием доверия. Князь заканчивает обращением к дворянству, подсказывая ему, что их предводитель совершил деяния, несовместимые с доверием их к нему.

Но этим не кончилась игра. Прием князя, сверх того, заведомо недоброжелательный. Вы помните, в какое время появилось мнимое разоблачение князя. Я оценю значение этого момента в данном деле.

Когда в стране не все благополучно, носители власти озабочены умиротворением волнующих настроений, они, подобно докторам у постели трудно больного, пробуют ряд лекарств и ряд медицинских методов, в надежде хорошего результата.

Я не поверю, чтобы между ними стояли желающие смерти общественного организма. Но между их методами есть такие, которые вместо оздоровления ведут к ухудшению недуга.

Общество же — что организм: оно бывает в горячках и лихорадках, в параличе и с увечьями, возбужденное или подавленное. И его лечат на разные лады, идущие к цели и ошибочные, удачные и неудавшиеся, своевременные и за-

поздалые, применимые к данному организму и неприменимые. Между средствами есть и диета, и предписанный после утомления покой, есть рекомендация путешествий на берега морей, есть общий массаж и ампутирование больных членов организма.

Который метод прав — не нам и не в настоящем собрании судить. Для этого существует суд истории и науки и спокойного общественного мнения.

Но вот что важно. В пережитые нами годы практиковался или пробовался на организме хирургический метод. Все кажущееся зараженным или заражающим устранялось из организма: в собственные оздоровляющие силы его потеряна была вера, и вместо гигиены и обыденной терапии в ходу были операции и *medicamenta heroica*.

Повторяю: не нам судить об удаче или неудаче принятого метода. Но вот что несомненно. Во времена, когда объявляют существование заразной болезни, а организм и отдельные молекулы его — неспособными к борьбе за существование, крик: вот зараженный, вот зачумленный, вот человек идет в одежде, которую я вчера видел на заразно-больном, — страшен и опасен. Врачи, озабоченные оздоровлением целого, легко справляются с частичными случаями сомнительного состояния: они удаляют из жилищ с заразными и сомнительных, они сжигают в дезинфекционных очагах и то, что заражено, и то, что кажется таким...

В такое время с словом публичным надо обращаться трепетно и честно.

Я забыл сказать, что, приписывая Стаховичу измену долгу и присяге, князь Мещерский сравнил его мнимый поступок с сочувственной телеграммой русского подданного японскому микадо.

За это ядовитое сравнение, за это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете свое, князю Мещерскому отомстила судьба, — и как отомстила!

Тяжелый год переживаем мы, сыны отечества: наша лучшая молодая кровь льется за дело страны. Орошена русская земля потоками слез и благословений, с которыми провожали мы близких сердцу на великое служение.

Но между нами не все только плакали и рыдали. К гордости и славе Русской земли, не исключительными единицами, а тысячами поднялись добровольные труженики, заявившие, что сердца их не тут, а там, с ведомыми и неведомыми страстотерпцами-воинами.

Они полетели к ним, они окружили своими заботами умирающих от ран. Не зная усталости и утомления, они вырывают у смерти ее победы, борются за эти чудные жизни и не думают только о своей.

Мы гордимся ими и для нашего права на уважение потомства сохраняем списки этих великих людей. И что же: имени патриота князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там...

Но среди святых граждан и гражданок страны внесено имя Михаила Стаховича. И разве один Искарриот решится своим змеиным языком изречь хулу на их подвижничество!

И это — изменник, и это — худший сын сословия, это — враг земли родной!

Нет, сколько бы ни исписал бумаги князь, не краснеющий и бесстрашный, он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Мещерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович. Тогда мы встретим их и на ратном поле, умирающими за родину, и в лазарете, утоляющими раны и боли мучеников, и в мужах совета, говорящими смелую правду.

Отсутствие князя Мещерского налагает на нас только одну обязанность: предоставить суду определить меру заслуженной им кары, не внося в этом смысле ни одной прощальной фразы.

Осуждение князя Мещерского нужно нам, как символ, как оправдание нашей веры в правосудие, чтобы дышалось свободно честным сердцам и задыхалось от собственного яда клевет недобросовестное, лживое слово, на какой бы бумаге оно ни было написано, на серой ли, из обихода мужика, или на глянцевой, с княжеским гербом, как это сделал князь Мещерский.

Оцените же поступок князя, и к его древнему имени пусть добавят и имя клеветника!

И никто никогда не смеет этого указания на его подвиг!..



## ДЕЛО СЕВСКИХ КРЕСТЬЯН,

*обвиняемых в участии в преступном скопище*

В июне и июле месяцах 1905 года на выездной сессии Харьковской Судебной Палаты в особом ее присутствии, с участием сословных представителей рассматривалось несколько однородных дел, возникших на почве так называемых аграрных беспорядков.

Первым из них слушалось дело о разграблении крестьянами имения барона Мейендорфа при селе Погребах, Севского уезда.

Этот процесс должен был служить введением в целую серию других аналогичных дел и установить точки зрения сторон и самой Палаты на общий характер крестьянского движения.

В качестве одного из защитников крестьян в процессе участвовал Ф. Н. Плевако.

Крестьянские беспорядки в имении барона Мейендорфа были простым отголоском того, что происходило по всему уезду, и не были вызваны никакими специальными причинами. Формы, в которые вылилось в данном случае общее раздражение крестьян, также не заключали в себе никаких особенностей.

Вечером 18 февраля, т. е. приблизительно на десятый день с начала погромов в уезде, большая толпа крестьян подошла к амбарам барона Мейендорфа, сбила замки и расхитила около 3000 пудов зерновых хлебов, несколько десятков пудов шерсти и кое-какое другое имущество.

Прибытие властей и войск, сопровождавшееся сечением крестьян, мало содействовало обнаружению виновных. Только дознание, произведенное позже и не сопровождавшееся никаким насилием, обнаружило 29 участников погрома, которые не только чистосердечно во всем признались, но возвратили и все имущество, похищенное в день погрома.

30 июня 1905 г. дело по обвинению этих 29 крестьян в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 269<sup>1</sup> Уложения о наказаниях, слушалось особым присутствием Харьковской Судебной Палаты под председательством Старшего Председателя Палаты Соллертинского.

Все обвиняемые признали себя виновными. Судебное следствие установило, с одной стороны, отсутствие ближайших и местных поводов к погрому, с другой, — крайне тяжелое экономическое положение крестьян, обусловленное недостаточным земельным наделом, отсутствием на месте заработков и общими правовыми и культурными условиями.

Прения сторон по необходимости приняли характер дебатов об имущественном и правовом положении крестьянской массы. В них уже чувствовались настроения, развивавшиеся в обществе в промежутке между 18 февраля и 17 октября 1905 г. и намечались контуры будущих программ и партий.

Представителем «гуманного обвинения, обезоружившего» защиту, был товарищ прокурора В. И. Сокальский. Севские беспорядки, в его глазах, «лишь отдельный эпизод картины, заставляющей страдать всякое сердце, любящее свою родину», и естественный результат той культурной и экономической беспомощности, на которую до последнего времени было осуждено крестьянство. Настаивая на необходимости снисходительного отношения к крестьянам, обвинитель, однако, не допускал оправдательного приговора, так как «полная безнаказанность подорвала бы в крестьянах чувство порядка и явилась бы гибельною для них самих».

Слушание дела продолжалось с 9 часов утра до 11 часов ночи. Приговором Палаты, постановленным после часового совещания, 4 обвиняемых оправданы, 23 приговорены к 8 месяцам и 2 — к 2 месяцам заключения в тюрьме с лишением всех особенных прав и преимуществ.

### **Речь Ф. Н. Плевако в защиту подсудимых**

Гуманное обвинение обезоружило меня, многосторонне рассмотревшие дело мои молодые товарищи — обобрали меня. Как адвокату, мне не остается ничего сказать.

И я хочу просить вас, гг. судьи, позволить мне преобразиться в одного из подсудимых, стать между ними и гово-

рить не за них, а от лица их, их словами, их думами и чувствами.

Сами они не смогут этого: частью безучастные, не уразумевающие того, что происходит между ними, частью испуганные — они немые.

Но внутри их гнездится одно чувство, чувство изумления самими собой: как это могло случиться, что они из мирного, терпеливого, судьбой забитого и вседозволенного люда вдруг превратились в бушующую, все уничтожающую толпу, чтобы через несколько дней опять превратиться в наивных, покорных, кающихся, добродушно отдающих все взятое мужиков?

Они просят вас и себе и им самим объяснить эту непонятную для них муть, ослепившую их.

Были они, как вы знаете, не день, не год, а рядами поколений работниками, не покладавшими рук; они были довольны экономией, где они работали; они не имели обид от нее и не частили своими жалобами у судей и у земских начальников; они не искали у судьбы большого, умеряя свои потребности почти до невозможного *minimum*'а удовлетворений.

Набежала волна. Не от них она и не от отдельных соблазнительей. В воздухе, точно перед грозой, затомило, в ушах зазвучали неведомые звуки, во сне — беспокойные видения. И они — как лицо, потерявшее на минуту самообладание, увлеклись, забылись, разошлись.

32 вспышкой настало раздумье, сознание ужаса своих дел и последствий.

Некоторое время чувство самосохранения внушало утайку, замалчивание, но правда взяла свое. Стоило не с кулаками, увеличивающими страх, а со спокойными словами обратиться к ним, и они понесли навстречу и признание, и раскаяние, и все взятое незаконно...

Русская национальная черта сказалась: тишь, молчаливое страданье и взрыв на мгновение...

И хорошее, как подвиг, и дурное, как проступок, у смиренного и безответного, что пятно на лице, как-то случайно, на час-другой, не в смысле природного дефекта, а набегом, мутью, заразой.

Русский человек даст порой Минина, порой Пугачева, порой Пожарского, порой Разина.

А между этими именами — десятилетия и столетия молчания и мертвой зыби...

Да, дурное дело, совершенное ими, сегодня им чуждо, как и нам.

Их надо пощадить насколько возможно.

Русские силы теперь гибнут массами. Будемте скупы на трату их, хотя бы в области правосудия. Оно еще требует жертв, алтари его, приспособленные к человеческому жертвоприношению, не убраны...

Но закон дал вам, гг. судьи, широкое право на сокращение кары, на скупость в расходовании человеческой крови и слез.

Поменьше их! Ведь за ними, за этими испуганными людьми, — десятки, живущие их трудами, будущие граждане страны. Не обездольте и этих и тех суровостью судейского слова и лишениями жизни.

Вспомните, что подсудимым негде было научиться правде. Наоборот, чувство правды убивалось у них всеми средствами и заменялось чувством тупого молчания.

Недавно окончились работы комиссии по реформе крестьянских учреждений. Не было двух мнений ни у общества, ни у правительства: мелкие суды крестьянские были школой гражданского разврата, а не правосознания. Общественное мнение давно произносило свой приговор и о многих других, соприкасающихся с крестьянским бытом, учреждениях.

Да и здесь мы слышали, что, борясь с неправдой, выразившейся в беспорядках и хищениях, служители «дисциплины», забыв то, о чем раздалось слово сверху, опозорили время и веру нашу в новую пору жизни свистом розог... И это после 18 февраля 1905 г.!

Учить правде следует правдою же! Учить уважению к закону — примерами!

А где они!..

Скажите же в вашем приговоре, мягком и человечном, что поднять народ может свет, а не тьма, что пока узки двери в школу и широки в тюрьму, — люди, вроде судимых ныне, подобны слепорожденным: спотыкаясь, они не столь виновны, как зрячие.

Скажите, что нечего искать подстрекателей для объяснения подобных печальных и нежелательных явлений в отдельных лицах.

Подстрекатель нашего бедного люда — ставни, загораживающие доступ света в убогие дома его.

Не будьте же строги и защитите их от несчастья...

## ДЕЛО О СТАЧКЕ РАБОЧИХ НА ФАБРИКЕ ТОВАРИЩЕСТВА САВВЫ МОРОЗОВА

Дело это слушалось в заседании Владимирского Окружного Суда 7 февраля 1886 г. без участия присяжных заседателей. Обвинял товарищ прокурора Товарков. Защищали присяжный поверенный Ф. Н. Плевако, Н. П. Шубинский и Коптев.

7 января 1885 г. рабочие фабрики Товарищества забастовали. Стачка продолжалась несколько дней и ознаменовалась в первый день крупными уличными беспорядками, а позднее столкновением рабочих с войсками.

Еще задолго до января 1885 года среди рабочих Никольской Мануфактуры возникло глухое недовольство. Причиной его было уменьшение на 25% заработной платы и строгость штрафов за недоброкачественную работу. Особенною строгостью по взиманию штрафов отличался ткацкий мастер Шорин.

Во главе рабочих стали Петр Анисимович Мосеенок и Василий Сергеевич Волков.

Прекращению работ предшествовало несколько собраний, которыми руководили эти рабочие. 7 января, когда работы прекратились, толпа в несколько тысяч человек двинулась по местечку, перебила стекла в фабричных зданиях и в квартирах главных служащих, разгромила квартиры директора прядильного отделения Лотарева и вышеупомянутого ткацкого мастера Шорина. После приезда губернатора между администрацией фабрики и рабочими начались переговоры, которые ни к чему не привели.

Стачка закончилась вмешательством казаков, действовавших нагайками, и высылкой в административном порядке около шестисот рабочих.

33 человека были привлечены к суду мирового судьи по обвинению в буйстве в публичном месте, а 17 человек с

Мосеенком и Волковым во главе были преданы суду Владимирского Окружного Суда без участия присяжных заседателей по обвинению в буйстве и стачке, т. е. по ст. 1358 Уложения о наказаниях и ст. ст. 37 и 38 Устава о наказаниях, так как прославившейся в русском общественном движении ст. 269<sup>1</sup> Уложения о наказаниях в то время еще не существовало.

Из числа 17 подсудимых двое были оправданы, остальные приговорены к аресту, в том числе Мосеенок и Волков, приговоренные к аресту на три месяца.

### Речь в защиту рабочих Мосеенка и Волкова

Я защищаю Волкова и Мосеенка.

Но так как им приписывается главенство в настоящем процессе, то на суждение о виновности их решающее значение имеет общий фон дела, нами сегодня рассматриваемого, а далее отсюда же следует и то, что суждение ваше должно отрешиться от лучей, падающих на настоящий вопрос из другого, имеющего быть решенным, более важного и серьезного обвинения, предъявленного против рабочих Никольской Мануфактуры: то дело решите не вы, и, поэтому, пока нет по нему установленных фактов, справедливость требует отрешиться от этого дела.

Раз ради удобства дело разорвано на две самостоятельные судебные задачи, то позвольте и подсудимым воспользоваться данным обстоятельством в свою пользу и бороться только с ныне обследованными уликами, по поводу ныне рассматриваемого дела.

Вопрос вертится около стачки.

Познакомимся прежде всего с законом, нормирующим понятие о ней. Это тем более необходимо, что определение, данное прокурором понятию о наказуемой стачке, будучи верно, не исчерпывает, однако, всех признаков воспрещенного деяния, необходимых для вменения.

Обратите внимание на текст ст. 1358 и на соседку ее, на ст. 1359, сообразите отведенное им место в Уложении. Тогда не буду ли я прав, предложив следующий комментарий к закону, подлежащему применению по делу.

Статья 1358 не ограничивает понятия стачки наличностью массового прекращения работ до срока, с целью повы-

шения заработка; она требует, чтобы целью стачки, при данных условиях, было увеличение платы по договору, той платы, уменьшать которую, в свою очередь, ст. 1359 воспрещает хозяину. Речь идет о той плате, о которой, как об эквиваленте труда, говорят соответствующие статьи X тома в отделе о личном найме.

Словом сказать, у стачки цель — увеличить до срока, вопреки договору и законам, ограждающим исполнение заключенных условий между работниками и работодателем, наемную плату.

Подтверждение моей мысли я вижу и в мотивах к закону о наказуемости стачки во французском Code penale. Я знаю, что мы должны русское дело разрешить русскими законами; но так как ст. 415 Code penale есть почти образец для нашей ст. 1358 и начертана она в стране, ранее нас вступившей на путь машинного и капиталистического производства, а, следовательно, имевшего опыт богаче нашего, — то для изучения природы стачки и мотива к ее наказуемости рассмотрение ст. 415 Code penale будет очень полезно.

Господствующий мотив к наказуемости стачки это — обман, облеченный в форму насилия (*fraude et violence*), обман, состоящий в том, что рабочий хочет уничтожить данное условие во время его исполнения и прибегает к способу, рассчитанному на принуждение хозяина к невыгодному для себя изменению договора.

Вот отправная точка ст. 415 Code penale: несомненно, она же руководила и русским законодателем. Если бы здесь преследовалась самая форма протеста, как противная строю нашей жизни, недолголюбивающей всяческих мер, облеченных в массовое, мирское, демонстративное требование, то место статьи было бы во главе о шуме, о нарушении тишины и спокойствия, в главах, преследующих полицейские и общегосударственные цели; наш же закон поместил ст. ст. 1358 и 1359 в рубрику нарушения фабричного устава, т. е. устава не карательного, а нормирующего частные, гражданские правоотношения, насколько она нуждается в содействии общей власти.

К этой мысли вас приведет и ряд резко поставленных примеров, намеренно доводящих вопрос до невозможности распутаться в деталях его.

Фабричная администрация, вопреки общему закону и условиям, не отапливает заведения, — рабочие стоят у стан-

ка при 10 — 15 градусах холода. Вправе они уйти, отказаться от работы при наличии незаконных действий хозяина или должны замерзнуть героической смертью, буде не переживут срока договора? Хозяин, вопреки договору, дает не условленные работы, рассчитывает не по условию, а по произволу: должны ли рабочие тупо молчать, или могут врозь и вместе отказаться от работы не по обязательному условию?

Полагаю, что закон охраняет законные интересы хозяина против беззакония рабочего, а не берет под свою защиту всяческого хозяина, во всяческом его произволе, против всяческого, хотя бы и законного прекращения работ.

Всякое сомнение в том, что закон не отдает в жертву рабочего до недозволения ему какого бы то ни было протеста даже против бесправия в действиях хозяина, устраняется при изучении духа тех актов, которыми законодательная власть высказала свое отношение к быту фабричного.

1 июня 1882 г., установив правительственную фабричную инспекцию, закон, по выражению одного из знатоков дела, «вносит ныне свет в темный промышленный быт, энергически охранявший себя от постороннего глаза».

За ним явился ряд положительных правил и проектов, из которых видно, что, настаивая на необходимости твердого и решительного принципа «исполнения законных договоров рабочего с работодателем обеими сторонами», законодатель, однако, устанавливает необходимость правительственного надзора с целью охранения интересов слабейшего из договаривающихся — рабочего от злоупотреблений сильнейшего, хотя бы под благовидною формой свободного договора.

Осуждается «благодетельный», под контролем хозяина, забор провизии из особо устроенных фабричных лавок; воспрещается добровольный расчет с фабричными купонами чуть не XX столетия; нормируется излишняя свободная конкуренция детского и женского труда с мужским, и заботе хозяина о заработке фабричного путем непрерывной, день и ночь непрерывающейся работы положен предел.

Вот путь, принятый законом. Он таков, что, опираясь на него, можно утверждать, что в фабричном быту существуют злоупотребления сильных, нимало не стесняющихся условиями о ряде и о плате.

Суду, поэтому, предстоит задача не выводить непременно из всякой забастовки ее наказуемость, а рас-



смотреть предварительно вопрос о том, в чем заключается цель ее.

Так и в данном случае фабричные оспаривали не договор, а нарушение договора, предъявляли на распрос губернатора претензии на произвольную цифру штрафов, состоявшую не в том, что табель была велика, а в том, что под предлогом штрафа списывалась цена с куска, не подлежавшего штрафу.

Что это так было, лучшим доказательством служит то, что власти, приехавшие восстановить порядок, убедили администрацию снять штрафы и что администрация сама удалила истинную причину стачки — главного мастера Шорина, наводившего своим произволом в штрафах уныние и смуту в умах рабочих.

Вот что я должен был сказать вам.

Во всяком случае, чтобы ваше решение было плодотворно для подсудимых и указывало бы им волю закона, я прошу вас точно и твердо ответить нам, — и дать тем спорному мнению возможность дойти до высшей, интерпретирующей смысл закона судебной инстанции, — запрещено ли законом всякое массовое прекращение работ или только прекращение, нарушающее договор рабочих с хозяином с целью добиться изменения его в интересах забастовавших? Закон стоит на страже и обороне нарушенного условия или запрещает рабочему поднять голос против всяческого произвола, идущего от фабричной администрации?

Придерживаясь иного взгляда, по-моему, усвоенного законодателем даже в былую крепостническую пору нашей истории, я убеждаю вас, гг. судьи, разобраться в причинах стачки: если эти люди отказывались от должного и добивались недолжного путем стачки, они нарушили закон; если они отказывались от недолжного и добивались должного — их забастовка вне сферы наказуемости.

Вышесказанное определяет положение в деле Мосеенка и Волкова.

Если это преступная стачка — сугубо преступно и их участие, раз оно доказано. Если же это — протест против бесправного произвола, протест, который вызвал со стороны власти и фабричной администрации отсылку Шорина и уничтожение штрафов, то с ненаказуемостью протеста не наказуемы и те, чей голос был громче, чьи натуры отзывчивее и на чужую неправду и на несчастье своего ближнего...

## ДЕЛО О БЕСПОРЯДКАХ НА КОНШИНСКОЙ МАНУФАКТУРЕ

В заседании Московской Судебной Палаты с участием словных представителей под председательством старшего председателя Палаты А. Н. Попова 10—12 декабря 1897 г. было рассмотрено дело по обвинению нескольких десятков рабочих Коншинской в г. Серпухове Мануфактуры в устройстве противозаконной стачки и в участии в действиях публичного скопища, образовавшегося по экономическим побуждениям и проявившего разрушительную деятельность. События, давшие основание к уголовному преследованию обвиняемых, — так называемые фабричные беспорядки рабочих, протекли и на этот раз при обычных для этого периода рабочего движения условиях.

В январе 1896 г. рабочие фабрики «Новая Мыза» Товарищества Мануфактур Н. Н. Коншина в г. Серпухове, будучи недовольны порядками, существовавшими на фабрике, представили управляющему ряд требований о сокращении рабочего дня, об изменении расценок и проч.

Переговоры с управляющим ни к чему не привели, и уже ночью громадная толпа рабочих человек в 500 стала выбивать стекла в окнах фабричных зданий и квартир некоторых высших фабричных служащих, а также, при звоне колокола, уничтожать, а частью и расхищать различное фабричное имущество.

На другой день беспорядки возобновились. Толпа направилась к деревне Глазечне, в которой находится много трактиров, и, переходя от одного трактира к другому и увеличиваясь в числе, требовала бесплатной выдачи денег и громила винные лавки.

В это же время коншинские рабочие пытались силою прекратить работы на соседней фабрике Каштановых.

Тогда из Серпухова были вызваны казаки, и порядок был восстановлен обычными мерами. Рабочие В. Терещен-

ков, В. Стекольников, Н. Медов, К. Кузнецов и ряд других были преданы суду по обвинению по первой части ст. ст. 269<sup>1</sup> и 1358 Уложения о наказаниях.

Заключительное слово солидарной защиты обвиняемых было предоставлено Ф. Н. Плевако.

Палата применила к обвиняемым ст. 269<sup>1</sup> Уложения о наказаниях, возможность применения которой к данному случаю принципиально отрицалась защитой, назначив, однако, подсудимым минимальные в пределах этой статьи наказания. Принесенная защитой по вопросу о составе преступления кассационная жалоба была отвергнута Сенатом, который в подробно мотивированном «отделенском» указе впервые по этому делу высказался в смысле расширительного толкования по вопросу об объеме применения ст. 269<sup>1</sup> Уложения о наказаниях.

### Речь в защиту коншинских рабочих

Как старший по возрасту между говорившими в защиту подсудимых товарищами, я осторожнее всех. Моя недлинная речь будет посвящена просьбе о снисходительном отношении к обвиняемым, если вы не разделите доводов, оспаривающих правильность законной оценки предполагаемых событий.

К этому прибавлю и просьбу, вызываемую особенными чертами этого дела.

Время, которое вы отдадите вниманию к моему слову — это лучшее употребление его.

Когда на скамье сидят 40 человек, для которых сегодня поставлен роковой вопрос: быть ли и чувствовать себя завтра свободными, окруженными своими близкими, или утро встретит их картинами тюремной жизни, представлениями о безлюдных пустынях и, может быть, о зараженном миазмами воздухе отдаленных стран ссылки, — лишний потраченный час судейского времени — ваш долг, даже если бы слово мое оказалось излишним и несодержательным.

Пусть, если не суждено им избавиться от тяжелых кар, они уйдут с сознанием, что здесь их считают не за зараженный гурт, с которым расправляются средствами, рекомендуемыми ветеринарией и санитарями, а за людей, во имя которых здесь собрано это почтенное судилище, в защиту которых здесь велением закона допущено и слушается представительство защиты.

Особенный состав присутствия, установленный законом для данных дел, внушает мне смелую мысль воспользоваться благами, из того истекающими.

Простите, что хочу я внести не мир, а меч в сердце коллегии в минуты, когда она должна будет обсуждать дело. Я хочу говорить о тех условиях, которым должны быть верны представители сословий, когда начнется высказывание мнений по делу.

У вас, гг. коронные судьи, масса опыта, — не к вам слово мое: не напоминать вам, а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление.

Но законодатель ввел в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декорума.

Вносится слово живой действительности, не искаленной в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений, составляющих самую живую душу изучаемого дела.

И вот я прошу носителей этого непосредственного миропонимания не въезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта, а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела.

Есть у настоящего дела громадный недочет, — люди жизни его понимают.

Совершено деяние незаконное и нетерпимое, — преступником была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.

Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая: ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи и обвинители.

Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпою, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйство и движения массы, — приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа, — ушла.

Подумайте над этим явлением.

Толпа — это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14-й и 15-й тома делают ей честь, внося ее имя на свои страницы.

В первом — толпе советуется расходиться по приглашению городских, и чинно, держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу, идти к своим домам (ст. 113 т. XIV Сводов Законов).

Второй — грозить толпе карами закона.

Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм Богу и тюрьма — жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом.

Но разрушите тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения...

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие — воздействие силой, пока она не рассеется. С толпой говорят залпами и любезничают штыком и нагайкой: против стихии нет другого средства.

Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать, или спешит встретить святыню народного почитания.

Так живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.

Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с пилигримами воров по профессии.

Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных.

Только рассмотрением улик, выясняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы выполните требование закона, и кара ваша обрушится на лиц не за бытие в толпе, а за ношение в себе первичных, заразных миазм, превратившихся в эпидемию, по законам, подмеченным изучающими психологию масс.

Здесь вам доказывали, что не было стачки.

А если была?

Тогда выступает вопрос о целях стачки.

Доказано, что часть требований была законна и удовлет-

ворена. Доказывали, что и все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения.

Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю, что базарные инстинкты взяли верх над духовными, и уже давно заповедь о посвящении субботы Богу (хотя бы со всеобщего бдения) отменена другою, гласящею, что суббота — время чистки машин на фабриках.

Спорить не будем против законности господствующего инстинкта, но не откажем виноватым в снисхождении за увлечение святыми, но отживающими в сознании хозяев идеалами.

Скажем только, что они жестоко ошибаются, урывая время у осатаневшего от недельного труда рабочего.

Церковь — это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нравственных заповедей, самосознания и любви.

Там он слышит, что и он человек, что пред Богом несть эллин или иудей, что пред Ним царь и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокрушенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, нуждающихся и озлобленных, всех вкупе помощи Божией требующих.

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем.

Хотите сделать из народа зверей — не напоминайте ему про Божию правду; хотите видеть работника-человека, — не разлучайте его с великою школой Христовой.

Обвинение вменяет в вину избличенным подсудимым их тоску по церкви. В надежде, что вы в этой тоске найдете основание к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела.

Отгоняемые от церкви, они, преданные страсти, разбивают кабаки. И за кабак их влекут к еще строжайшему ответу.

Остановимся.

Буйство было. Но относить это буйство к беспорядкам скопищем, направленным против порядка управления, — несогласно с требованием закона. Вам это доказывали, и я вычеркнул из моей памяти все, что хотел сказать по этому предмету.

Добавлю одно: закон, ст. 269 Уложения, — закон новый,

но мотивы к нему выяснены весьма подробно. Закон этот целиком взят из нового Уложения.

Вам, вероятно, присланы, как высшему суду местности, для заключения работы комиссии по Уложению. Там, во 2-м томе, под ст. ст. 82—83 вы найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливими карами лишь в исключительных, статьей перечисленных, случаях; там приведено ценное мнение светила французской юриспруденции Нелі о границах общепасного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти страницы.

Вас поразит дерзость буянов, вторгающихся в чужие помещения, и хозяйничание их за чужим вином.

Да, перед чужою дверью чувство деликатности и врожденное признание святости чужого очага сдерживает всякого человека с непреступно направленной или неиспорченной совестью.

Но в том-то и беда, что здесь для этого чувства не было места.

Разбивались кабаки, ютящиеся около той же фабрики, где жили обвиняемые. А что такое кабак в жизни большинства наших фабричных?

Это его клуб, его кабинет. Здесь он оставляет весь свой заработок, остающийся от необходимых домашних затрат. Кабацкая выручка — это склад, где сложены и трудовые деньги и здоровье, и свободное время рабочего.

Кабак построен около фабрики, чтобы своим видом, запахом смущать и напоминать о себе рабочему. Кабаку нужны не трезвые и сдержанные: его друзья — буйные и безвольные гуляки. Для этих последних он не чужой дом, а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домицилий, где ищет рабочего, уклонившегося от работы, надзиратель, где сыщут его и власти, находящие нужным задержать его.

А если так, то не вмените в особый признак злостности буйство пьяного рабочего в кабаке, где все, от чайной чашки до последней капли одуряющего спирта, есть кристаллизация его беспросветного невежества и его непосильного труда.

Судя этих людей, вы должны, по требованию закона и справедливости, принять во внимание нравственные качества их, как ту силу, которая противостоит преступным сообразкам всякого рода.

Посмотрим же, какова эта сила и среди каких условий возникает и растет она?

Вечный визг махового колеса, адский шум машины и пыхтение паровика, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых ютятся, как мало значащие винтики, рабочие люди...

Титаническая сила-машина блестит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки; и только они, легко заменимые в случае порчи, винтики, чужды любви и внимания.

Это ли условие подъема личности?

Выйдем из фабрики.

Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула.

Это ли здоровое условие нравственного роста?

Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином.

Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине?

Пожалеем его. Не будем прилагать к нему не ради правды, а ради соображений неправового свойства мерку, удобную для наших сил.

Нас воспитывают с пеленок в понятии добра, нас блюдут свободные от повседневного труда зоркие очи родителей, к нам приставлены пестуны. Вся наша жизненная дорога, несмотря на запас сил и умение различать вещи, обставлена барьерами за счет нашего достатка, благодаря которым мы и сонные не свалимся в пучину и рассеянные идем автоматически по прямой и торной дороге.

А у них не то.

Обессиленные физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами, они тем не менее сами должны искать путь и находить признаки правого и неправого направления.

Справедливо ли требовать от них той выдержки, какую мы носим в нашей груди?..

Чудные часы предстоит пережить вам, гг. судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от кар неповинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злою волею, сколько нерадостными условиями своей жизни.



**Будьте снисходительны!**

Правда, не велика разница для рабочего между неволей по закону и неволей нужды, приковывающей всю его жизнь, все его духовные интересы к станку, бесстрастно трепещущему перед его глазами. Но все же эти люди, куда бы вы ни послали их, — к станку или в тюрьмы и ссылку, услышав в вашем приговоре голос, осторожный в признании вины и свободный в приложении милости, исполнятся чувства нравственного удовлетворения.

Они увидят, что великое благо страны — суд равный для всех — коснулось и их, пасынков природы; что и им, воздавая по заслугам, судейская совесть сотворила написанное народу милосердием, внушенным русскому правосудию с высоты первовластия.

И пусть из их груди, чуткой ко всякой правде, им дарованной, дорожащей всякою крупичей внимания со стороны вашей, вырвутся благодарные клики, обращенные к тому, чьим именем творится суд на Руси, клики, какие, правда, по иным побуждениям вырывались из груди гладиаторов Рима: «Vive, Caesar, morituri te salutant!»

*РЕЧЬ Ф. Н. ПЛЕВАКО  
НА СОБСТВЕННОМ ЮБИЛЕЕ*

29 октября 1895 г. в Москве состоялся обед в честь Ф. Н. Плевако по случаю 25-летия его деятельности в качестве присяжного поверенного. В обеде приняло участие много представителей адвокатуры и судебного ведомства. Было произнесено много речей. Приветствовавшим его Ф. Н. Плевако ответил следующими словами.

**Речь Ф. Н. Плевако  
на собственном юбилее**

Вы очень добры ко мне: памятуя, что 25 лет тому назад, приведя меня к присяге и надев на меня знак, мои старшие братья, члены адвокатского совета, и высшая магистратура венчали меня славою и честью принадлежать к судебной семье, мне бы надлежало выделить этот день из ряда прочих и светло торжествовать выпавшее мне на долю счастье, а вы меня же чествуете!

Благодарю, благодарю вас!

Отрадно оглянуться назад и вспомнить то, чему свидетелем меня Господь поставил, и хочется вместо всяких словоизлияний возобновить в благодарной памяти и людей прошлого и их деяния — чему мы обязаны тем, что любим наш суд, нашу alma-mater, и чтим уставы, как то вековечное слово истины, которое, будучи произнесено, не забывается, не умирает, но, как свет, во тьме светится, и тьме его не объять!

Сотни лет русская правда была делом случая или делом энергии отдельно действовавших добрых и сильных людей, большею частью для удовлетворения своего личного чувства на своих плечах выносивших или проводивших тот или

другой вопрос, то или другое частное дело, неудовлетворительно или несправедливо разрешенные.

Но вот подуло свежим весенним ветром, и по русской ниве, как дух вверху воды, пронеслась благодатная идея творчества новых условий жизни, взамен бывшего неустройства, и тьмы, и хаоса, и безобразности бездны.

*Fiat lux!* — слышалось всюду; *fiat lux!* — раздавалось с кафедр и в литературе, и отклик возгласа отзывался в каждом чутком сердце.

Людам моего возраста пришлось слушать профессоров русских университетов как раз в предреформенное время.

Может быть, небогаты содержанием были вдохновенные уроки многих из наших учителей, но в них было то, что одновременно и учит и воспитывает.

Там был призыв к новой жизни, там были вещи пророчества о насаждениях на родной ниве чудес общечеловеческой культуры, там возвещалось, что правда — не случайная милость судьбы, но прирожденное право человека, там говорилось, что работа над правовыми интересами человечества — не занятие досужих умов, а одно из лучших воплощений нравственного долга тех, кто жаждет честного труда и не отождествляет с ним своекорыстную эксплуатацию своего времени и жизни.

Приподнятая духом эпохи и простая толпа, и толпа людей мыслящих, но еще не вошедших в новые русла жизни, за невыработкой их, откликалась на зов науки.

Не хлеба, не зрелищ просила она; она алкала и жаждала той же жизненной правды, внутри которой свободно дышится груди и верится в неприкосновенность нравственного достоинства человека.

Удовлетворяя этому течению и упиваясь им, руководительная власть земли призвала людей, которые, точно пророки во время свое, точно на то и родились, на то и пришли в мир, чтобы отдаться работе честной и святой.

Дорогие, незабвенные имена составителей Уставов Обновления, — не станем называть их, чтобы случайное упоминание кого-либо не сочли за непризнание заслуг, — проходят перед нашим внутренним зрением величавые, блистающие чистотой совести и патриотически-настроенного сердца...

Почтите их в тайниках вашего духа, как строителей царства правды и обновления!..

**И слово плоть бысть.**

Идеи перешли в Уставы, Уставы — в жизненные нормы.

У дела освобождения и правосудия, вопреки боязни, что у нас нет людей, появились могучие фигуры, сумевшие в страданные годы сберечь в себе и силу для дела и веру в него.

Явилась внушительная плеяда первозванных деятелей, проводящих в жизнь новозаветные порядки.

Деятели, подчас седые и сгорбленные летами, но с блестящим взглядом и с новоявленным притоком сил, — они воочию свидетельствовали нам о чудотворной силе свободы, воскрешающей и оживляющей унылое и мертвое от века.

Великие и дорогие имена и лица! Вы счастливы тем, что потрудились на чреде в те дни, когда впервые засияло солнце русской правды, вы счастливы тем, что вам пришлось открыть двери в новые обители правосудия, — звать русскую землю отпраздновать новоселье, будить уснувших и возвестить лето, приятное тем, кто от волнения давно уже не смыкал глаз своих!

Дорогие имена! Под вашим руководством, при вашем приветливом ободрении, снисходительности, почти отеческой любви начали мы, в то время молодые люди, свои первые шаги на служении словом в защиту борющихся за право.

Вам принадлежит наше сердце и вашими именами будут укреплять и направлять себя преемники ваши и грядущие за ними смены поколений, когда, усталые и обессиленные или добровольно обленившиеся, мы вдруг вздрогнем перед недоконченными работами своими и сравним их с титаническими запасами сил, проявленных вами при первослужении вашем!

Мы, — я между многими, — мы были свидетелями этой эпической поры обновления жизни под теплотой нового духа. На нас лежит долг свидетельства о том, что мы видели и слышали, чтобы виденное и слышанное не умирало, но жило и оживляло позднее пришедших.

И мы свидетельствуем, свидетельствуем, веруя, что жизнь этих людей и труды их не пропали даром, но, как сильный корень для ветвистого дерева, служат дальнейшему развитию вашему в беспредельном боевом подвиге сохранения на Руси задач правосудия и распространения благого во все концы необъятного отечества.

Согретый этою верой, я подымаю мой бокал в память вечную творца Уставов 20 ноября, в пожелание бессмертия слову, вышедшему из-под царственной руки его, в память вечную отошедших и в долголетие живущих строителей слова и служителей его в начинательные дни, в знак веры в вашу преданность ему, в знак моего желания, чтобы единение любви, как следствие единомыслия нашего, связывало в достойную семью всех нас, и учащих правде, и судящих во имя ее, и обличающих беззаконие, и защищающих требующего помощи, и жаждущих дела, и довольно потрудившихся!

И всем вам, друзья по сердцу и упованию, низко кланяюсь и всем вам, благодарный, многолетствую!..

*РЕЧЬ В ГОДОВЩИНУ ИЗДАНИЯ  
НОВЫХ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ*

Ниже печатаемая речь найдена в бумагах Федора Никифоровича уже после его кончины. Это — случайно сохранившийся набросок одной из речей, сказанных им в одну из годовщин издания Новых Судебных Уставов в период их ломки на его «излюбленную тему» — о силе Судебных Уставов, о их «неотменимости», о ничтожности и временности посягательств на Новые Уставы, которых — «да не коснется рука скверных».

Дорожа образцами настольных речей Федора Никифоровича, сохранившихся в ничтожном количестве, мы печатаем найденный набросок.

**Речь Ф. Н. Плевако о Судебных Уставах**

Везде и всюду, в кругу товарищей по профессии и в собраниях представителей судебного ведомства, у меня одна и та же излюбленная тема: сила Уставов — в единстве целей и стремлении всех деятелей нового суда, в отсутствии непримиримых интересов.

Уставы созданы не для карьеры судей и прокуроров, не для довольства и роскоши адвокатов; они — для водворения правды на Руси.

А эта цель — неотложная, неотменимая.

Нечего тревожиться, что временно течение в печати, — я хочу сказать — в одной ее части, — отрицательно. Оно — временно: солнце правды, раз оно взошло на наше русское небо, совершит весь свой установленный ход.

Еще так недавно взошло оно; еще лучи его розовым светом ласкают нас. О закате не может быть и речи; а пока заката нет, не может быть иного мрака, кроме минутного, проходящего затмения.

Но мы сами можем отворачиваться от света своими делами, можем устранять тепло своим холодом.

В чем же наш долг?

В единстве цели! Правды искать, а не победы и гегемонии одной части над другой...

Есть люди, которым невыносимы не ошибки, не уклонения, которые жаждут не роста правосудия: есть люди, которым невыносимо самое существование Уставов, — суд, творящий дело по закону и совести, а не по усмотрению и посторонним соображениям.

Бояться ли их ворчливых жалоб?

Я не боюсь.

На уставах Императора Александра II в том издании, первый экземпляр которого был вручен нашему старейшему судье при открытии памятника в здании Московских Судебных Установлений, я написал себе слова одной духовной песни, слышанной мною при таких обстоятельствах.

Был вечер 20 ноября. Я стоял в церкви, слушая вечернюю службу праздника Введения во храм. Уже ходили слухи, что Уставы готовы; уже все мы — тогда молодые и верующие в расцвет русской жизни — ждали.

В церковь входит мой товарищ и говорит: «Радуйся, уставы нового суда, говорят, утверждены!»

А в церкви в это время хор певцов, молодых и старых, пел: «К одушевленному Божию животу да не коснется рука скверных».

## СОДЕРЖАНИЕ

- «Рыцарь правосудия» (предисловие) 5
- Дело Н. А. ЛУКАШЕВИЧА, обвиняемого в убийстве  
мачехи 41
- Дело КОСТРУБО-КАРИЦКОГО, обвиняемого в краже и  
изгнании плода 71
- Дело А. И., Н. И. и М. Д. НОВОХАЦКИХ, обвиняемых в  
лишении свободы сестры, вымогательстве денежного  
обязательства и подлоге 95
- Дело БУЛАХ, обвиняемой в причинении с корыстной  
целью расстройства умственных способностей  
Мазуриной 115
- Дело братьев БОСТРЕМ, обвиняемых в ограблении  
присяжного поверенного Гольдсмита и вымогательстве у  
него документов 137
- Дело супругов ЗАМЯТНИНЫХ, обвиняемых в  
вымогательстве векселей 148
- Дело ПЕРВУШИНЫХ, обвиняемых в уничтожении  
духовного завещания 162
- Дело ГОРНШТЕЙНА и др., обвиняемых в поджоге 168
- Дело А. Ф. МОРДВИНА-ЩОДРО и князя  
А. Д. ОБОЛЕНСКОГО, обвиняемых в растрате 16  
лошадей 174
- Дело Ф. И. МЕЛЬНИЦКОГО по обвинению в растрате  
казенных денег и М. Ф. ЛИТВИНОВА в преступлении по  
должности 185
- Дело МАРУЕВА, обвиняемого в подлоге 193
- Дело РОСКОВШЕНКО и др., обвиняемых в подлоге  
векселей 202
- Дело ГАВРИЛОВА и БЕКЛЕМИШЕВА, обвиняемых в  
подделке билетов Государственного Казначейства 210



Дело братьев АЛЕКСАНДРА и ИВАНА ПОПОВЫХ,  
обвиняемых в мошенничестве 234

Дело об искусственных авариях в Керченском проливе  
(Франческо и др.) 243

Дело САВВЫ ИВАНОВИЧА МАМОНТОВА и др.,  
обвиняемых в злоупотреблениях в обществе Московско-  
Ярославско-Архангельской ж. д. 257

Дело Московского Ссудного Коммерческого банка 281

Дело Харьковского Общества Взаимного Кредита:  
Левченко и др., обвиняемых в растрате и небрежном  
хранении денежных сумм 316

Дело о злоупотреблениях в Саратовско-Симбирском  
банке (дело Борисова и др.) 325

Дело П. П. КАЧКИ, обвиняемой в убийстве  
дворянина Байрашевского 332

Дело об убийстве егорьевского купца  
Лебедева 342

Дело о дворянине В. В. ИЛЬЯШЕНКО, обвиняемом в  
убийстве Энкелеса 383

Дело светлейшего князя ГРИГОРИЯ ИЛЬИЧА  
ГРУЗИНСКОГО, обвиняемого в убийстве доктора  
медицины Э. Ф. Шмидта 401

Дело ОРЛОВА, обвиняемого в убийстве Бефани 417

Дело об убийстве присяжного  
поверенного Старосельского 421

Дело ЧЕРНОБАЕВА, обвиняемого в покушении на  
убийство студента С. Н. Батаровского 428

Дело Е. Ф. САНКО-ЛЕШЕВИЧА, обвиняемого в  
подстрекательстве к убийству Е. Ф. Шиманович,  
урожденной Санко-Лешевич 433

Дело ДМИТРИЕВОЙ, обвиняемой в покушении на  
отравление мужа 442

Дело А. Е. МАКСИМЕНКО, обвиняемой в отравлении  
мужа 454

Дело братьев БАБАНИНЫХ, обвиняемых в покушении на  
убийство и оскорблении мирового посредника и др.  
должностных лиц 479

Дело В. Н. СЕМЕНКОВИЧА, обвиняемого в буйстве и оскорблении 496

Дело М. Ц. ШИДЛОВСКОЙ, по первому мужу Ковецкой, обвиняемой в двоемужестве 500

Дело ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА и ДУБЕНСКОГО, обвиняемых в диффамации 504

Дело князя В. П. МЕЩЕРСКОГО, обвиняемого М. А. СТАХОВИЧЕМ в клевете 509

Дело севских крестьян, обвиняемых в участии в преступном скопище 518

Дело о стачке рабочих на фабрике товарищества Саввы Морозова 522

Дело о беспорядках на Коншинской мануфактуре 527

Речь Ф. Н. Плевако на собственном юбилее 535

Речь в годовщину издания Новых Судебных Уставов 539

**Ф.Н. Плевако**  
*Избранные речи*

Редактор Л.А.Казакова

Художник **Е.И.Петрова**  
Художественный редактор **А.Б.Бобров**  
Технический редактор **М.С.Караматозян**  
Корректор **М.В.Сладкина**

**ИБ 2399**

Сдано в набор 14.08.91. Подписано в печать 10.08.93  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать высокая.  
Объем: усл.печл. 28,56; усл.кр.-отг. 28,56; учет.-издл. 30,39  
Тираж 30000 экз. Заказ 59.

Издание подготовлено к печати на ПК  
в ОМФЦ "Юридическая литература".  
Издательство "Юридическая литература"  
Администрации Президента Российской Федерации  
121069, Москва, Г-69, ул. М. Никитская, д.14

Отпечатано с готовых диапозитивов Санкт-Петербургской типографии № 6  
Министерства печати и информации Российской Федерации.  
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10



